
БОРИС ЗАЙЦЕВ
МОИ
СОВРЕМЕННИКИ
БОРИС ЗАЙЦЕВ
МОИ СОВРЕМЕННИКИ



БОРИС ЗАЙЦЕВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

МОИ СОВРЕМЕННИКИ



ВОСПОМИНАНИЯ
ПОРТРЕТЫ
МЕМУАРНЫЕ ПОВЕСТИ

Москва
<< РУССКАЯ КНИГА >>
1999

УДК 882
ББК 84Р
З-17

Составитель, автор вступительной статьи и примечаний
Т. Ф. Прокопов

Издание осуществляется при участии дочери писателя
Н. Б. Зайцевой-Соллогуб

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

Зайцев Б. К.
З-17 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6 (доп.). Мои современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести.— М.: Русская книга, 1999.— с., 1 л. портр.

Шестым (дополнительным) томом Собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972) начинается публикация его мемуарно-автобиографических произведений, с которыми многие читатели-россияне познакомятся только сейчас. В томе впервые издаются вместе книги воспоминаний «Москва», «Далекое» и «Мои современники» (дополнена новыми главами-очерками). Здесь же публикуются две малоизвестные в России автобиографические повести в письмах — «Повесть о Вере» и «Другая Вера», документальной основой которых стала многолетняя дружеская переписка жен писателей Веры Алексеевны Зайцевой-Орешниковой и Веры Николаевны Буниной-Муромцевой.

ISBN 5-268-00446-8 882
ISBN 5-268-00402-6 84Р

ПАМЯТЬ ВСЕОТЗЫВНОГО СЕРДЦА

Мемуарная проза Бориса Зайцева

О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...
К Ф. Батюшков

Прожив девяносто один год, из них без малого три четверти века служил русской литературе Борис Константинович Зайцев. Из писателей-изгнанников он внес в нее вклад едва ли не самый значительный, щедро открыв для нас, по словам Блока, «пленительные страны своего лирического сознания: тихие и прозрачные». В библиографии Рене Герра, изданной в 1982 году в Париже, описаны пятьдесят зайцевских книг на русском языке и более двадцати на других языках. Целая библиотека замечательных произведений, восхищавших самых взыскательных мастеров слова! И это еще не весь Зайцев. В подшивках многих российских и эмигрантских газет, журналов, альманахов найдены сотни его этюдов, эссе, литературных портретов, очерков, рассказов, дневниковых записок и писем — числом более шестисот. Многие из них, до сих пор не переиздававшиеся, включены теперь в наше собрание. Написанные талантливо, пером и сердцем большого художника, глубокого мыслителя, эти публикации принадлежат не только тому времени, в какое писались. Им суждена долгая жизнь, потому что все это бесценные документы эпохи, достоверные свидетельства человека, на долю которого выпало прожить вместе с неспокойным XX веком все его восторги и скорби.

Книга, которую вы держите в руках,— первая из числа тех, что продолжают многотомное зайцевское собрание. Они представят его мемуарно-публицистическое наследие: воспоминания, дневники, письма. Эта часть созданного классиком Серебряного века и русского зарубежья только сейчас становится доступной широкому читателю. От Короленко и Чехова, благословивших литературного новичка в конце прошлого века, до Цветаевой и Пастернака, с которыми Зайцев встречался и переписывался,— таков временной размах его художественной мемуаристики. Впе-

чатляет один только перечень имен тех, с кем дружил, с кем преданно и самозабвенно служил русскому слову Борис Константинович и о ком оставил он нам свои воспоминания. Это Ю. Айхенвальд, М. Алданов, Л. Андреев, А. Ахматова, Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, А. Белый, А. Бенуа, Н. Бердяев, А. Блок, И. Бунин, З. Гиппиус, М. Горький, Вяч. Иванов, А. Куприн, Д. Мережковский, П. Муратов, М. Осоргин, Б. Пастернак, А. Ремизов, А. Толстой, И. Шмелев...

А начало этим публикациям положили автобиографические записки «Мы, военные...», напечатанные в июне 1917 года в двух номерах еженедельного журнала Г. И. Чулкова «Народоправство». С этого, казалось бы, рядового эпизода открывается в творческой судьбе маститого прозаика новая стезя: наряду с романами, повестями и рассказами он отныне активно обращается к жанру публицистическому. Впоследствии лишь малую толику из напечатанного в периодике он отберет сам и издаст в книгах, которые сразу же станут знаменитыми (но останутся неизвестными только нам, россиянам). Это «Москва» (1839, 1960, 1973) и «Далекое» (1965), вышедшие в Париже, Мюнхене и Вашингтоне. А затем последовали посмертные издания, осуществленные при активном участии дочери писателя Натальи Борисовны Зайцевой-Соллогуб: «Мои современники» (Лондон, 1988), «Странник» (Париж; Петербург, 1994) и «Дни» (Париж; Москва, 1995). Все они включены в наше собрание («Странник» и «Дни» вместе с «Дневником писателя» составят отдельный том).

* * *

Прочитав книгу «Далекое», поэт Юрий Трубецкой, молодой современник восьмидесятипятилетнего патриарха русского зарубежья, записал в «Литературном дневнике»: «Существуют слова, как бы пришедшие из других миров» (газета «Новое русское слово». Нью-Йорк, 1965, 26 сентября). В этом высказывании точно определена присущая только Зайцеву стилистическая манера, которая во всей полноте выявляется в его лирической прозе и органично, естественно переходит в его мемуаристику. С высот пантеистической надмирности, где утихают страсти, угасают распри и раздоры, где в мистической тишине поселяется только добро, взирает на земные дела и на сподвижников своих Художник. Умиротворенно и возвышенно повествует он нам о них, не жалея при этом акварельных, поэтически изысканных красок. Вот о Блоке, например:

«Когда идешь, пред вечером, по гребню гор, среди душистых сосен, а внизу разостланы долины, взгорья, хвойные леса, олив-

ковые рощи и рыжеющие весной виноградники, фермы с задумчивыми кипарисами, вдали белеющие городки с храмами древними, и дальше все нежней и шире раздвигаются холмы, и тонкий голубеющий свет разливается над всем — когда спокойно видишь чистый и изящный край, пронизанный благословенным солнцем, когда так *один* в горах, то... часто чувствуешь ваш облик, наш поэт. Быть может, это странно и не нужно: кажется, показать бы вам этот светлый Божий мир. Дать бы глазам вашим, замученным туманами, болотами, снегами, войнами и бойнями,— взглянуть в голубоватые дали Прованса, светом и благоуханием смолистым вам омыть бы душу, как омыл лицо росой Чистилища при выходе из Ада Данте,— и вы вспомнили бы о Прекрасной Даме, вырвали б, раз навсегда, слова кощунственные. Вы бы дышали Истиной, она бы оживила вас.

Но это все напрасные слова. Вас нет. Мы все души Чистилища. Из светлого Прованса хочется послать вам ток благоволения, благожелания. На этом свете не пришлось нам сблизиться».

А вот Леонид Андреев — «милый *призрак,* первый литературный друг, литературный старший брат, с ласковостью и вниманием опекавший первые шаги» Зайцева:

«Я вспоминаю о нем часто и охотно так: мы идем где-нибудь в белеющем березовом лесочке в Бутове. Май. Зелень нежна, пахуча. Бродят дачницы. Привязанная корова пасется у забора; закат алеет, и по желтой насыпи несется поезд в белых или розовеющих клубах. С полей веет простором и приветом родной России. Мы же идем легко, быстро и говорим взволнованно. Вот он меня провожает на платформе — в своей широкополой шляпе, в какой-нибудь синей рубашке, с летящим галстуком, с возбужденными, черно-блистающими глазами. Это оживление и возбуждение так молодит! И так хороша молодость пылкими разговорами, одушевлением, легкой влюбленностью...»

Эти две пространные цитаты нам понадобились для того, чтобы наглядно показать читателю: мемуарные этюды Зайцева — те же поэмы в прозе, что и его рассказы. Созерцательность, внимание к впечатляющей детали, выразительному эпизоду плюс акварельный пейзаж, создающий необходимое настроение,— вот палитра изобразительных средств, используемых импрессионистом Зайцевым и в прозе, и в мемуаристике, и в беллетризованных жизнеописаниях, и в письмах, и даже в статьях. Во всех жанрах, к которым обращается его мысль и его перо, он остается поэтом, художником. А еще был он свидетелем неравнодушным, участником деятельным, летописцем заинтересованным многих важных событий XX столетия, три четверти которого охватила его долгая жизнь труженика слова.

* * *

Борис Константинович Зайцев пришел в литературу в ту ее знаменательную пору, когда на российском небосклоне еще только зажигались первые литературные звезды века, названного впоследствии Серебряным. Это было время, о котором на склоне своих лет писатель восхищенно скажет: «Полоса выдающаяся, большой остроты и оживления, много новых дарований, особенно в лирической поэзии, и — как бы блестящий и прощальный фейерверк перед началом катастроф. Серебряный век!» Возбужденная приходом нового столетия, творческая энергия художников слова встревоженно устремилась к поиску ответа на вставший перед каждым из них вопрос, сформулированный М. Горьким: как отобразить «всю адову суматоху конца XIX и бури начала XX века»?

Зайцев внимательно следил за всеми новациями, рождающимися пред его глазами в литературе, и потому не мог не замечать — вряд ли с огорчением, скорее с удивлением познающего,— что у некоторых даже крупных мастеров словесности, его современников, броская виртуозность формы подчас подавляет, подчиняет себе содержательную сторону, омертвляя ее. Учительно звучали для него тургеневские слова-предостережения: «Горе писателю, который захочет сделать из своего дарования мертвую игрушку, которого соблазняет дешевый триумф виртуоза, дешевая власть его над своим опошленным вдохновением».

Эти размышления и урок классика, о котором Зайцев напишет роман-биографию, не раз он вспомнит, сдерживая себя в формотворчестве, шлифуя от вещи к вещи свой стиль, освобождая его от красивостей и мелодраматизма, чутко прислушиваясь к тому, что говорили критики, товарищи по перу, его читатели. В литературе утверждался мастер, ответственно осознающий свою высокую художническую миссию. Уже первые его рассказы с их «тихим и прозрачным» (Блок) лиризмом не затерялись, а стали приметным явлением в том многоцветье стилевых манер и художественных индивидуальностей, коими прославились первые десятилетия нашего века.

Зайцев, читаем мы в его мемуарах, с изумлением и небезучастно наблюдал за тем, как приверженцы модернистских течений, среди которых он встретил немало друзей, вели отчаянную войну с литературной обыденщиной, серостью во всех ее проявлениях, прикрывающейся флагом (не личиной ли обманной?) верности классическим традициям. Небезуспешные попытки максимального обновления всего и вся в искусстве слова, рекламировавшиеся в шумных, подчас скандальных манифестах и

декларациях, не помешали, однако, естественноисторическому движению литературного процесса: нить его не прервалась, в новых условиях литература лишь обретала новые качества. Внешне же борьба идей, стилей, манер носила революционно-острый характер, но, многое дотла сокрушая, сбрасывая с «корабля современности», истинные художники оставались созидателями. Миновали годы и годы, остыли былые кипения, и новое время по правде и справедливости все расставило по своим местам: отвергло фальшивые ярлыки, отправило в безвозвратное небытие дутые авторитеты, избрало для долгой жизни в будущем истинные духовные ценности, среди которых нашлось почетное место и для книг Бориса Зайцева.

Рассказывая нам в мемуарах «Москва» и «Далекое», в очерках и статьях о литературных ристалищах начала века, Зайцев и сам, как ни стремится быть летописцем беспристрастным,— нет-нет да срывается с тона, влекомый так близкими его всеотзывному сердцу воспоминаниями. Ведь все это им самим тревожно и светло прожитая жизнь, это не чужаки, а его друзья и соратники ликовали и бедствовали, наслаждались высшим счастьем духовного общения и конфликтовали до вражды и дуэлей.

Молодость его была озарена встречами с Чеховым, оставившим след неизгладимый и в душе, и в творчестве. Выпала на его долю и скорбная миссия провожать последнего титана Золотого века в последний путь. «Мы хоронили его в Москве в светлый день июля,— вспоминает Борис Константинович.— На руках несли гроб с Николаевского вокзала и много плакали. Плакать было о ком — не пожалеешь тех слез. Долго шла процессия, через всю Москву, которую так любил покойный. Служили литии — одну у Художественного театра. И лег прах его в родную землю Новодевичьего монастыря. Дождь прошумел на кладбище, а потом светлей закурились в выглянувшем солнце купола. И ласточки над крестами прореяли».

В художнической памяти Зайцева сохранились сотни живых, метких деталей и примет давно ушедшего юношески неистового времени. Удивительно точны и впечатляющи его портретно-бытовые зарисовки. Вот знаменитые не только хлебосольством «Среды» у Н. Д. Телешова, где бывали реалисты Чехов, Короленко, братья Бунины, Л. Андреев, В. Вересаев, С. Глаголь, М. Горький, А. Куприн, И. Шмелев; модернисты К. Бальмонт, В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый... Особенно сердечные отношения, читаем мы, установились у Зайцева с «Сергеичем» — Сергеем Сергеевичем Голоушевым (Глаголем), художником, литератором скромного дарования, дамским врачом, а еще —

человеком необыкновенно ярким, ставшим душой «Среды». Это он «в юности, сидя на козлах (кареты), мчал Веру Засулич», выкрав террористку прямо из зала суда. Побывал «в местах не столь отдаленных» ссыльнопоселенцем. «На «Среде»,— вспоминает Зайцев,— мы с ним и Андреевым были «крайняя левая», то есть защитники символистов: тогда здесь и был «ключ позиции»... Сергеича же вообще тянуло к новизне, молодости. Наша «Среда» была весьма пожилая, степенная». Но не таков был «Сергеич». Вот портрет этого незаурядного человека, возникающий из его краткого монолога: «Зайчик,— говорил, как обычно, откидывая рукой волосы, глядя из-под пенсне серыми, живыми глазами из глубоких впадин, весь вытягиваясь сухим, остро-изящным лицом, всегда напоминавшим мне симпатичного пса,— душка, ты опять мармелад свой развел? — И щелкал пальцем по книжке.— Ты мне дай, чтобы с жутью...»

А по вторникам московские литераторы собирались у Н. Н. Баженова: это был «психиатр, гастроном, Дон Жуан, холостяк — с лицом жирным и заплывшим, маленькими глазками, с толстыми губами и огромным кадыком,— он и водрузил клубно-литературное знамя над Москвой», «рядом с Филипповым, с калачами и булками, с шумной кофейной». Главенствовали здесь Бальмонт и Брюсов. «Брюсова,— отмечает мемуарист,— не любили, но вокруг себя он сумел создать некую «магическую» славу. Его боялись. И прислушивались к его теориям художническим».

Баженовский знаменитый Литературно-художественный кружок стал полем не знавших пощады поединков вопреки советам Бальмонта: «Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды». И действительно, рассказывает нам Зайцев, «идолов типа Потапенки и Боборыкина волокли не без жару, да и другим доставалось — во славу символизма и декадентства». Из этих задорных, задиристых собраний получался порой веселый митинг, на который сходилась вся богемная Москва и который Зайцев впоследствии живописал в романе «Дальний край» (большая цитата из него анонимно приводится в книге «Москва»). Жаркие споры иногда доходили до скандалов. («Раз Андрей Белый,— в скобках, как и мы, приводит типичный эпизод Зайцев,— с эстрады вызвал на дуэль литератора Тищенку, друга Толстого. Пришлось спускать занавес, под руки сводить с лестницы изнеможденного, в истерике, автора «Серебряного голубя».)

Как увлекательные повести читаются мемуары Зайцева. И, как во всяких повестях, есть в них свои драмы, боли, горести. «Бедный Сергеич! — пишет Зайцев об одной из многих горестных утрат.— На его закатные дни легла страшная лапа истории. Узнал бывший студент в плаще семидесятых годов,

спаситель Веры Засулич — на себе испытал новое царство. Сергеича в Москве взяла смерть — среди бедствий, голода, холода и унижений». Голод свел в могилу и Юлия Бунина, отказавшегося уехать с братом на чужбину. Голод отнял у Марины Цветаевой младшую дочь Ирину. Смерть пришла и в дом Зайцевых. Писатель нам рассказывает, как погиб, растерзанный обезумевшей толпой, его племянник Юрий Буйневич; как был расстрелян фронтовик, обвиненный в участии в заговоре, сын Веры Алексеевны Зайцевой от первого мужа Алексей Смирнов; как не выдержало тревог и тягостей времени сердце отца писателя Константина Николаевича — крупного русского инженера, возглавлявшего гужоновский металлургический завод-гигант в Москве...

Трагизм эпохи революционных смут заключался еще и в том, что рвались былые привязанности, рушились старые дружбы. Вот сцена одного из последних заседаний «Среды», с болью описанная Зайцевым. Андрей Соболь «в горячей, нервно-истерической речи, захлебываясь, предложил исключить Серафимовича из «Среды».

— Кто против свободной печати и литературы, тот не с нами...»

Итог этой распри оказался безрадостным для всех: «Кружок он (Серафимович.— *Т. П.*) закрыл быстро — «как контрреволюционное гнездо». «Не хочется его судить,— печалится незлобивый Борис Константинович.— Все же... этот человек бывал некогда в моем доме, мы находились в добрых отношениях, из времен юности сохранились даже некие ласковые слова и улыбки. Тем грустнее все остальное».

В 1921 году Зайцева избирают председателем президиума Союза писателей. Но не к радости была для него и для всего писательского руководства эта, казалось бы, почетная и высокая миссия: и полугода не минуло, как все они очутились в подвалах чекистской Лубянки, а оттуда — кто в тюрьмы, кто в ссылки, кто в пожизненное изгнание. Рассказывая об этом в книге «Москва», мемуарист ошибочно считал, что инициатором массовых высылок в изгнание был Троцкий. Нет, не только он. К декрету ВЦИК от 22 августа 1922 года, раскрывает нам сегодня тайну С. Хоружий в статье «Философский пароход», опубликованной 6 июня 1990 года в «Литературной газете», «причастны все трое главенствующих вождей России 1922 года — Ленин, Троцкий, Зиновьев». Но первой на всех кровавых документах стояла подпись ненавистного всем изгнанникам «самого,— по словам Горького,— человечного Ильича».

Отъезд семьи Зайцева в эмиграцию совпал с днем шумного

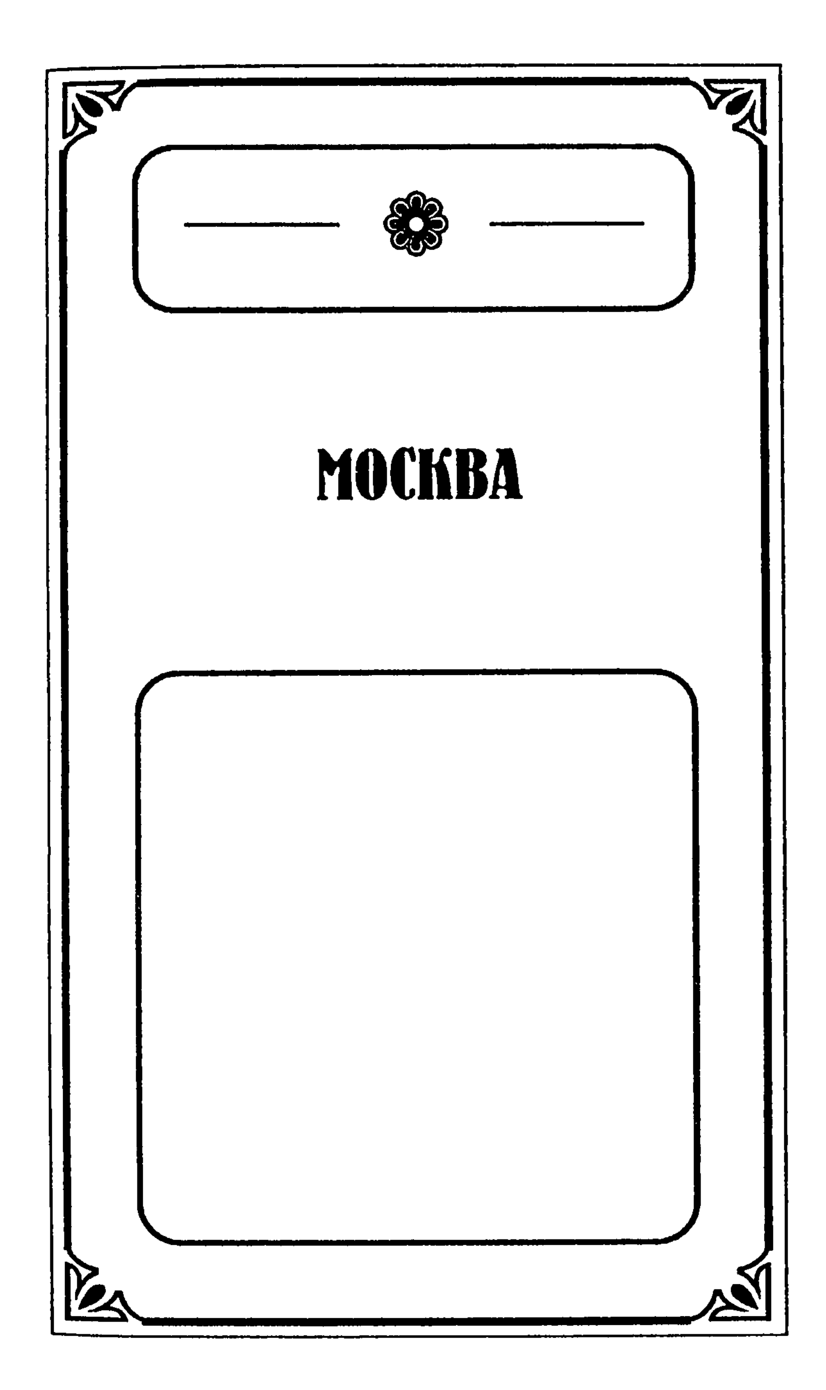
политического судилища над партией эсеров, сопровождавшегося хорошо организованной многолюдной манифестацией, словно и его изгонявшей вон из Москвы. «Шли люди в кепках и юноши, отряд голоногих спортсменов, работницы, служащие, несли плакаты, знамена, флаги. И везде одно: «Смерть! Смерть! Смерть!»

Под эти еще долго звеневших в ушах и навсегда оставшиеся в памяти страшные, злобные, бесчеловечные выкрики-лозунги расставался с родиной замечательный русский писатель. Он еще не знал, что если не ему самому, то книгам его уготована гражданская смерть, что все написанное им будет на родине подвергаться изничтожению, замалчиванию, хулению. Такая же участь постигла и тех, с кем он делил скорбь изгнания, о ком рассказал в мемуарах — а это десятки замечательных портретных этюдов! По чину современники и друзья Зайцева назвали его воспоминания лучшим наглядным пособием по истории русской литературы XX века. Всего века, ибо мало кого из выдающихся он не углядел, мало кого из них не знал близко.

Как и его друзья по эмигрантскому рассеянию, Борис Константинович, увы, не дождался светлого часа, когда придут его книги, его высокое поэтическое Слово к читателям России. Но зато дождались этого и мы и благодарно, покаянно возвращаем русской культуре все то, что он вдохновенно создавал для нее и во славу ее. Отныне и вовеки веков его имя будет украшать страницы истории русской литературы XX века наряду с теми, кто, как и он, творил в изгнании с думой о России.

Сбылись вещие слова поэта критики Юлия Айхенвальда, сказавшего о судьбе своего друга — поэта прозы: «Легкий ветер времени», сметая все, неприкосновенными оставляет некоторые слова. Пролетая над Россией, он, несомненно, среди других, более мощных и жгучих слов пощадит и прекрасные в своей тихости печальные, хрустальные, лирические слова Бориса Зайцева».

Тимофей ПРОКОПОВ


МОСКВА

Москва представлена в этой книге не во всей ее полноте, она взята лишь в связи с жизнью пишущего. Соответственно с этим сделан и выбор зарисовок, и характер их: люди, дела, пейзаж Москвы.

Если слова автора дадут Москву почувствовать (а может быть, и полюбить), то и хорошо, цель достигнута.

Париж, ноябрь 1938 г.

I

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Человеку семнадцать лет. Он кончает гимназию. Отец только что назначен в Москву управлять огромным заводом. И вот первые рождественские каникулы... Человек дик, застенчив, самолюбив. Он провинциал, но куда едет, где будет жить две блаженных, свободных недели? В самой Москве!

И Москва не обманула. Сколько нового, необыкновенного! Из уютного дома на заводе Гужона каждый день возит извозчик Сергей, в санках, по декабрьскому снегу, мимо Андрониева монастыря, Николо-Ямскою — на Кузнецкий, Петровку, Театральную площадь. Старый портной Кан, на Рождественке, примеряет первый «штатский» костюм, ползает на коленях, черкает мелом брюки, пыхтит, косым, солидным глазом осматривает художество свое. На Кузнецком стрижет парикмахер Теодор. У Зимина в кассе можно купить билет на начинающего Шаляпина, у Трамблэ сесть за столик и выпить чашку шоколада в накуренной, небольшой комнате. По зимним тротуарам на Петровке идут дамы — с картонками, покупками. Зажигаются фонари, летят снежинки. Елки у Большого театра, толпа — все кажется нарядным и волшебным: это не что-нибудь, это столица. Необычные люди, неизвестные красавицы, сияющие театры, балет, Дворянское собрание, рестораны, куда можно будет заглянуть лишь когда старый Кан пришьет последнюю пуговицу. Но какое счастье — на том же Сергее катить через два дня Солянкою домой — уже в мерлушковой шапке, пальто, в черном костюме — взрослым, свободным!

Дома — особняк на заводе. Камин потрескивает и пылает у отца в кабинете, в столовой матовая люстра — электрическая. Сквозь зеркальные стекла видны оснеженные деревца сада. За забором паровозик-кукушка тащит три вагона с болванкой: дом вздрагивает, когда он проходит у самой стены.

Новый мир продолжается. У того же камина, впервые в руках новая книжка: Антон Чехов, «Хмурые люди». Оторваться нельзя.

Все особенное. Люди, манера, язык. И сам автор особенный, ни на кого не похожий. Тургенев, Толстой — уже известны. И хотя Толстой жив, но он и легенда: «классик», Синай, облака над горой. Чехов же «молодой» автор, вот тут, чуть не рядом, в этой самой волшебной Москве живущий. Первая встреча с ним: юность и жажда, счастье и неутолимое стремление.

Собинов распевает на утренниках Большого театра (ложа бельэтажа, позолота, тяжеловесный красный бархат, вековая пыль, капельдинеры, похожие на министров — величавое дыхание Империи). У Зимина Шаляпин дьявольски хохочет в красном Мефистофеле, или лениво возлегает, как огромный тигр, в шатре Олоферна. Но Антон Чехов за этим, под этим, уже где-то в сердце — скромный и как будто незаметный: но вошел, покорил и отравил.

* * *

Слава его развилась быстро, в сравнительно ранние годы,— ему не было и сорока (да и краткой жизнь оказалась!) — славу эту дала и питала Москва, наиболее — Художественный театр. Много тогда шумел Горький, но по-другому, шумом мутным и безвкусным, как безвкусен, груб, плебейски-плосок был всегда. Чехова Москва полюбила чистою, застенчивою любовью. Лавры ему несла незапятнанные — да и он никогда поз не принимал. Покашливал, говорил баском, пенсне надевал-снимал. Долгие годы стоял у меня на столе портрет его, тех времен (в революцию погиб): слегка растрепанные волосы, умные русские глаза, интеллигентское пенсне, бородка, прямой, стоячий воротничок...— крестьянской семьи человек, а без капли плебейства. То же народное в нем, как и в Толстом,— одинаково они «первоначальной» стихии.

Чехов был из Таганрога, но Москвой крещен, кончил университет Московский, ладом своим, складом сдержанно-великорусским очень к Москве подошел и не зря дал сестрам в пьесе знаменитый клич: «В Москву, в Москву!» — для многих непонятный.

В эти годы, конца прошлого, начала нового столетия, было у него именьице под Москвой, близ станции Лопасня Курской дороги, Мелихово. Там он и жил, врачевал, благотворил — как русский писатель. Ему и подобало продолжать давний завет нашей литературы.

Мой отец вздумал тоже купить имение. Чехова же в это время врачи направили на юг, в Крым, так что Мелихово продавалось. Мы вычитали о продаже из газет, отец списался

с Чеховым, а я — тогда уже студент, тайно писавший,— вызвался Мелихово осмотреть.

Повидать Чехова. С Чеховым познакомиться! Я уже знал его теперь насквозь, видел и «Чайку», «Дядю Ваню», поклонение мое росло. Значит, надо устроить паломничество.

Лопасня верстах в семидесяти от Москвы. Березовые леса, поля, перелески — пейзаж средней России, мягкий, и приветливый, и «ничего особенного». На станции пара лошадей в тележке, выбитые колеи, езда трусцой, в пыли, с кнутиком, поля, деревни и наконец это самое Мелихово. Вот уж тоже «ничего особенного». Толстому и Тургеневу — барские дома с колоннами, парки, пруды, александровских времен церкви. Чехов устроился в тесноватой усадебке с небольшим садом вокруг дома да флигельком в стороне. В саду забор, под густыми елями, а рядом еще чье-то именьице, с темной аллеей. Пруд свежевыкопанный. Мутная вода в нем. Но самое оказалось смешное, когда бричка моя подкатила к крыльцу: хозяина дома нет. Вот так Чехов! Я его не предупредил, он и уехал в Москву.

Меня встретила Марья Павловна, его сестра, будто давно знакомого, оставила обедать. Мы обедали на стеклянной террасе дома, опрятного и аккуратного — даже довольно весело. Была молодая художница Хотяинцева, смешливая и приветливая, с высоким узлом волос на голове, еще кто-то, старушка — матушка Антона Павловича. Думаю, во мне быстро разглядели не столь «покупателя», как поклонника. Разговор вертелся вокруг Чехова. После обеда показывали его флигель, где в одиночестве работал он. Кажется, там была маленькая вышка-балкончик, куда он подымался и любил сидеть по вечерам, рассматривая ночное небо, звезды.

— Здесь у нас бывал Станиславский,— говорила Марья Павловна,— особенно перед постановкой «Чайки».— (Какая-то ель в саду, скамеечка, лужайка очень напомнили первый акт «Чайки» — улыбка Марьи Павловны дала понять, что корни этих декораций тут.) Даже в заборе и в усадьбе рядом что-то «треплевское» показалось. Вообще, хоть и не увидал хозяина, все же его облик в незатейливом, но слаженном, обсиженном гнезде сильно почувствовал.

Было ясно, Мелихово нам не подходит. Все-таки я ходил с каким-то старостой, глубокомысленно осматривал «Вишневый сад», про себя же решил Чехова непременно повидать.

...Через несколько дней это произошло — уже в Москве, в жаркий, пыльный летний день. Человек со слегка растрепанными волосами, в пенсне, скромном пиджачке, отворил мне дверь

квартиры на Дмитровке, закрывая поднятым воротником костюма шею, и баском, приветливо сказал:

— Пожалуйте, пожалуйте...

Это мой грех перед ним. Я наверно уж знал, что Мелихова мы не купим, все же делал вид, что нужны справки. Обманул ли я его? К нему много ходило молодых людей, и по тому, как упорно сводил я разговор на писательство, вероятно, быстро он разобрал, что за гусь перед ним. Все-таки, «секрета» своего я не выдал. И на этот раз Бог уберег его от моей рукописи.

* * *

Курский вокзал в Москве, вечер, ресторан, отец за кружкой пива. Сейчас подадут севастопольский курьерский поезд. Новенький китель, вензеля Горного института на плечах, фуражка с белым верхом — первый раз один, в Ялту, на виноградный сезон. Артельщик, чемодан, веселое лицо отца на перроне, поцелуи, прощанье — и купе первого класса с синей занавеской фонаря. Поезд трогается. Плавно идет, постукивая на стрелках. Огни чертят в окне дуги. Сейчас слева запылают сталелитейные печи Гужона, белые электрические фонари — и уже кончилась Москва. Впереди Лопасня, мимо нее пролетим с грохотом, а там неведомое: юг, Севастополь, Ялта... Все опять подстроено, чтобы повидать Чехова. Но теперь на дне чемодана рукопись, теперь уж ему не уйти.

Ночью не сразу заснешь — от сладкого волнения — хоть и целый мягкий диван для тебя. Но день меж Орлом и Лозовой, в жарких, дымных степях успокоит. И наутро солнце, другой воздух, тополя, кипарисы, полутатарские деревушки, минареты Бахчисарая, долины, горы, белые скалы Инкермана и, как дышащее темно-синее небо,— море... От окна не оторвешься. Белоснежный Севастополь с белоснежными моряками. Колыхание синих бездн моря, душаще-опьяняющий ветер — закричал бы от радости. Влага, ласка, беспредельная широта ветра, пронзенного солнечным туманом, пахнущего йодом, солью,— над блестящими волнами в белой пене проносящегося.

...«Пушкина» сильно качало. Дамы на палубе изнемогали. Чемодан мой подбрасывало, но рукопись от этого не стала ни лучше, ни хуже. Проходили слева красные глинистые берега. Георгиевский монастырь белел. Из всех пассажиров нырявшего парохода один разбойник гимназист, возвращавшийся в Ялту, ел в столовой за четверых. Остальные в лучшем случае «удерживали позиции». Шли долго. Но у мола Ялты, в темноте блестевшей по горе огоньками, все огорчения забылись.

И началась мирная южная жизнь.

Гостиница моя «Гранд отель» — не из первых, но мне все нравилось: и Ялта, и гостиница, и сплошной балкон по фасаду на море, и само море, и паруса на нем. Я объедался сладкою шашлой, кофе пил на набережной, вечером сидел в городском саду на музыке, но думал все об одном: о чеховской даче в Аутке (над Ялтой).

...И вот вызвали меня однажды к телефону, низкий глуховатый голос сказал:

— Да, да, получил рукопись... Приезжайте, потолкуем.

Он назвал меня по имени и отчеству. Я был в восторге — «помнит, не забыл!».

Часов в пять подвозил меня ялтинский парный извозчик к даче Чехова. Я позвонил. Дверь отворилась, такой же юноша, как и я, но с трубкой рукописи под мышкой, вышел на крыльцо, за ним слегка сгорбленная, знакомая фигура. Мы прошли в кабинет.

Из большого окна видны горы. На стенах фотографии, левитановский пейзаж. В нише — мягкий турецкий диван — туда Чехов и забрался, а у меня плыло в глазах. На письменном столе лежала моя рукопись.

Чехов покашлял, помолчал.

— Это у вас в форме дневника... Вы туда можете что угодно всунуть. Вы вот мне повесть напишите...

Для него я готов был написать и роман, и стихи, что угодно.

— Очень уж мрачно. Это от молодости. А так... ничего. (Он прибавил несколько «ободряющих» слов.)

Я всплывал, начинал дышать.

Пенсне он свое подергивал, продолжал сидеть глубоко на диване, замолчал. Стало опять жутко. Чтобы как-нибудь сдвинуться, попробовал я спросить, как сам он пишет: «с натуры, или воображением?»

Должно быть, о таких глупостях спрашивали его не раз. Он мрачно ответил:

— Если у меня на руке пять пальцев, не могу же я сказать, что шесть.

И замолчал совсем. Я не знал, как дальше поддержать разговор.

Но вдруг сам он заговорил — приветливее, мягче: стал расспрашивать, сколько мне лет, где учусь, хочу ли и где напечатать свою вещь. И сразу простой естественный тон возник. Правда, я недолго его мучил. Минут через двадцать выходил, в ту же дверь, окрыленный, сияющий, навсегда окончательно уже Чеховым «взятый».

Я встречал его еще несколько раз — в городском саду, в ресторане. Он нередко сидел за столиком, пил красное вино, в пальто с поднятым воротником (вечера бывали прохладны). Раз, довольно поздно, натолкнулся я на него в уединенном конце набережной, он сидел на скамейке, тоже в пальто, глубоко шляпу надвинув. Очень к нему шло одиночество, пустынное море, шумевшее в скалах, ночь, звезды... Так и остался в памяти Чехов ялтинский: надломленным и кашляющим, одиноким, прохладным, со складкою задумчивости, грусти. Он уже сильно был болен. Временами шла горлом кровь. Дамы, поклонницы, поклонники, общее внимание на музыке в городском саду вряд ли особенно и развлекали. Любимый журавль, собачка на даче, ночное море... Он писал в это время «Трех сестер». Жить ему оставалось три года.

* * *

Именно эти три года — наибольшая его слава, проявление любви к нему, даже обожание. «Три сестры» и «Вишневый сад», прелестные вещи, как «Архиерей»...— и болезнь, быстро съедавшая. Чехов жил в Аутке, как в санатории. В Москву всегда его тянуло, особенно зимой, когда театр: там и играла О. Л. Книппер, на которой только что он женился. Иногда он в Москву «сбегал», всегда к ущербу для здоровья. В Москве любил то, чего теперь как раз нельзя было: морозы, ресторан «Эрмитаж», красное вино.

И когда раз зимой, кажется, в 1903 г., встретил я его на «Среде» у Телешова, Чехов был неузнаваем. В огромную столовую Николая Дмитриевича на Чистых Прудах ввела под руку к ужину Ольга Леонардовна поседевшего, худого человека с землистым лицом. Чехов был уже иконой. Вокруг него создавалось некое почтительное «мертвое пространство» — впрочем, ему трудно было бы и заполнить его, по слабости. Он сидел в центре стола. За веселым ужином почти и не ел, и не пил. Только покашливал, да поправлял волосы на голове. В январе 1904 года, в день его именин, шел впервые с триумфом «Вишневый сад». Чехов кланялся со сцены, через силу улыбался. А спустя полгода, в Баденвейлере, сказал: «Ich sterbe»[1] — вздохнул и умер.

Мы хоронили его в Москве, в светлый день июля. На руках несли гроб с Николаевского вокзала и много плакали. Плакать было о ком — не пожалеешь тех слез. Долго шла процессия,

[1] «Я умираю» *(нем.)*.

через всю Москву, которую так любил покойный. Служили литии — одну у Художественного театра. И лег прах его в родную землю Новодевичьего монастыря. Дождь прошумел на кладбище, а потом светлей закурились в выглянувшем солнце купола. И ласточки над крестами прореяли.

НАЧАЛО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Константин Васильевич Мошнин, веселый и красивый барин, слегка заикающийся, профессор механики в Александровском училище и страстный охотник, был приятелем моего отца. Отец управлял заводом Гужона. Мы жили в директорском особняке, при заводе. Константин Васильевич у нас бывал, и мы у него. Однажды, в светлой нашей столовой с окнами в сад, за завтраком, обратился он к отцу:

— Ко-Константин Николаевич, а у меня но-вость. Я ведь те-атр сдал... У меня новая т-труппа сняла.

Ему принадлежал дом в Каретном ряду, и такой невредный, что помещался там целый театр «Эрмитаж». Летом при нем открывался и сад со всякими увеселениями. Зимой больше оперетка, легкая комедия. Но вот тут появилось что-то другое...

— Неосновательный народ а́ктеры (отец из какой-то причуды делал ударение на первом слоге). Что же они у вас будут изображать, тезка?

— Что-то но-овое. Да вы приезжайте погляде-деть. У меня пообедаем, а потом прямо в ли-терную ложу, она за м-мной...

Отец налил ему рюмку водки.

— Пустое дело, тезка. Поедем лучше на волчью облаву. Чего там с актерами возиться. Ну-ка, чи-ик!

Отец любил только деревню и охоту. И разговор тотчас перепрыгнул на то, как стреляет Алексей Николаевич Милюков, на Катуара, на обед в клубе, и тому подобное.

Все-таки сообщением своим Константин Васильевич заинтересовал — женскую половину и молодежь. Сестра моя училась у Игумнова в Консерватории, у нас всегда бывали ее приятельницы, жених сестры и я — студенты, нас больше занимал театр, чем отцова охота. Мать поддержала нас. И вышло так, что однажды, на трех извозчиках двинулись мы перед вечером в Каретный ряд.

Квартира у Мошнина была огромная, с явно охотничьим выражением лица: бесконечные чучела, шкуры, рога, ружья, патронташи. Произошло опять то же деление: на охотников и «штатских». Обед для последних не столь веселый, но около восьми Константин Васильевич поднялся, не обманув надежд:

— Ну, а теперь по-осмотрим...

Дом был так устроен, что надо пройти коридорами, разными закоулками и переходами довольно далеко — потом вдруг оказываешься у литерной ложи. Она совсем рядом со сценой. Занавес только что поднялся, рампа резко делит театр на две части: справа темная зала судей и зрителей, слева...— там бояре, пир, вид на Москву — «Царь Федор Иоаннович». Константин Васильевич был прав: театр, конечно, оказался «новым», и по постановке, и по игре. Всю левую часть сцены занимала крытая терраса «в русском духе», от зрителя ее отделяла балюстрада, срезáвшая наполовину туловища артистов. Слуги подавали огромные блюда, на которых во весь рост — свиньи, гуси, куски быка; вкатывались бочки с вином. Споры, балагурство бояр, подписывавшихся под челобитной царю, красавица княжна Мстиславская, обходившая гостей с кубком,— все это особенное, ни на что ранее виденное не похожее — живое, в старую Москву переносящее. И, наконец, сам герой дня, молодой, никому тогда еще не известный Москвин — царь Федор — «я царь, или не царь?» — первый неврастеник на русском троне, обаятельный и несчастный, родственник «идиота» Достоевского, дальний предшественник несчастного царя Николая. Не-охотники так и впились в спектакль. Охотники сидели в глубине, посмеивались. В антракте публика аплодировала, но выходить на вызовы в этом театре не полагалось.

— Хо-хотят все по особен-ному,— говорил Мошнин.— Станис-славский — Алексеев, он сам с Таганки, Хи-вы, купеческого рода, но б-большой чудак.

— Пойдемте, тезка, лучше пиво допивать,— говорил отец.— А актеры пусть доигрывают. Вы мне ружья нового еще не показали, где левый ствол чок-бор.

И охотники ушли допивать пиво, а нам, оставшимся, показывал «большой чудак» Яузский мост с нищими и слепым певцом-гусляром. Толпился народ, вели на казнь Шуйского, окруженного стрельцами. Сторонники Шуйского пытались его отбить, стрельцы одолевали. Бабы целовали руки своему герою, прощались с ним. Опять это было совсем не то, к чему привыкли мы в Малом театре или у Корша (не говоря уже об опере).

* * *

Вот что рассказывает сам Станиславский о первом представлении «Царя Федора»: «Стараясь подавить в себе смертельный страх перед грядущим, представляясь бодрым, веселым, спокойным и уверенным, я перед третьим звонком обратился к артистам

с ободряющими словами главнокомандующего, отпускающего армию в решительный бой. Нехорошо, что голос мне то и дело изменял, прерываясь от неправильного дыхания... Вдруг грянула увертюра и заглушила мои слова. Говорить стало невозможно, и ничего не оставалось сделать, как пуститься в пляс, чтобы дать выход бурлившей во мне энергии, которую я хотел тогда передать моим соратникам и молодым бойцам. Я танцевал, подпевая, выкрикивая ободряющие фразы с бледным, мертвенным лицом, испуганными глазами...»

* * *

Картина получилась, вероятно, «достойная кисти Айвазовского». Действительно, чудак,— но чудак оказался особенный, перворазрядный, создатель лучшего русского театра. А в тот вечер, 14 октября 1898 года, режиссер Александров с позором изгнал его со сцены.

«Константин Сергеевич, уйдите! Сейчас же! И не волнуйте артистов...»

«Мой танец прервался на полужесте, и я, изгнанный и оскорбленный в своих режиссерских чувствах, заперся у себя в уборной». Горько ему было, что вот он столько сил отдал этому спектаклю, а его гонят, точно постороннего!

Но своим «Художественно-Общедоступным» театром заварил Станиславский кашу. Успех был большой, очень бурный. Отцы и дети разделились. Отцы или оказались холодны (как мой, например, любивший литературу, но театр находивший вообще слишком «преувеличенным» и «театральным») — или прямо враждебны, особенно поклонники Малого театра. Мы — то есть студенты, барышни, разные молодые экзальтированные дамы, затем все интеллигенты-провинциалы (без «традиций» театральных), сразу театром пленились. Вот именно его полюбили, как любили тогда Чехова, некую особую линию в московской — и общерусской — культуре.

* * *

В том же сезоне шел «Потонувший колокол» Гауптмана — мы смотрели его из той же литерной ложи. Бурджалов гоготал лешим, М. Ф. Андреева носилась по сцене феей Раутенделейн. Отец из ложи довольно громко и весело задавал ей разные вопросы — приходилось его унимать: и в конце концов все-таки не досидел, ушел сговариваться о лосиной облаве с Мошниным и Милюковым. А колокол на сцене вызванивал что полагается.

Но «Потонувший колокол» не был боевым спектаклем. Боевою оказалась чеховская «Чайка». Она дала лицо театру, окончательно завоевала Москву.

История этой «Чайки» известна: предварительный провал в Александринском театре, колебания Художественного — большое желание Немировича-Данченко поставить пьесу и некое сопротивление (вначале) Станиславского. У самого Чехова, как раз, обострился туберкулез, близкие очень боялись, что неуспех пьесы может совсем дурно на него повлиять — приезжала даже в Москву Мария Павловна, настаивала на отмене спектакля. Но спектакль был театру необходим — и решили рискнуть...

Чуть не сорок лет тому назад мы с сестрой, в юной компании, без взрослых, сидели в ложе бенуара справа — в обыкновенной ложе, сообща купленной. Ни о каких волнениях автора и театра не знали. Даже не знали, что пьеса провалилась уже в Петербурге (у нас Москва, мы только своим интересуемся). Занавес поднялся — на сцене полутемно, какой-то парк, прямо перед зрителем скамейка. Говорят и ходят довольно странно какие-то люди. Наконец, выясняется, что молодой писатель, нервный и непризнанный, ставит тут же, в саду, свою декадентскую пьесу. Молодая актриса, закутанная в белое, читает нечто лирико-философическое о мировой душе... На скамье сидят зрители — спиною к публике...

Все это поначалу показалось очень уж причудливым. Публика молчала, в недоумении. Но чем дальше шел первый акт, тем сильнее сочилось со сцены особенное что-то, горестно-поэтическое, сжимающее сердце. Что? Не так легко и определить. Внесловесное, может быть, музыкальное — но некая в л а с т ь шла оттуда — зрительный зал подпадал сладостному наркозу искусства. Как удалось уловить «им» внутренний звук пьесы, ее стон, ритм? Это уж загадка художества, живого и органического, то есть очень таинственного дела. Пьеса, как говорят в театре, «дошла». Занавес опустился. Зрительный зал молчал. За сценой актеры умирали со страху. Одна из актрис упала в обморок.

Молчание зрителей было плодоносное, самое дорогое для театра: настолько сильно впечатление и волнение, что не сразу и вырывается в аплодисмент. Зато, вырвавшись, долго не смолкает.

...Ничего актрисе было падать в обморок. Первый акт имел огромный успех — он и нарастал до самого конца.

* * *

В «Чайке» театр показал основные свои черты: единство спектакля, его музыкальную цельность, как бы оркестровый характер. Показал и основное ядро своих сил.

Играли: сам Станиславский, Лужский, Вишневский, Артем, Книппер, Лилина. Все это — будущая слава театра, художники, которым предстоял живой, естественный рост. Чудесного Артема, к сожалению, нет уже в живых, нет и Лужского, остальные здравствуют, напоминая собой о прекрасных, героических временах московского театра.

Странна судьба двух участников первого представления «Чайки» — Мейерхольда и Роксановой.

Мейерхольд играл отлично — неудачника. Треплев — Мейерхольд стреляется по пьесе. Нервное, и одаренное, и недоодаренное дал Мейерхольд в этой фигуре: сыграл как бы себя самого. Черты талантливости без некоего «Божьего благословения», нервность без влаги, головная, сухая возбужденность и неспособность к творчеству органическому, из почвы, подсознания идущему — это, кажется, и есть Мейерхольд. Он ушел довольно скоро от Станиславского. Как актер, ничего не дал. Как режиссер, обнаружил много и выдумки, и изящества — прямо даже дарования («Балаганчик» Блока — замечательная постановка). Но, в общем, неблагодарность и бесплодие определили путь этого незаурядного человека. Он стал врагом Станиславского, врагом Москвы, корней, истинных соков русской земли. В жилах его будто не кровь, а клюквенный сок блоковского «Балаганчика». Как многие неудачники и полунеудачники, примкнул сразу, с бешенством и яростью, к коммунизму. Сделал одну-две интересные постановки и прославился «переделками» (искажениями) классических пьес. Сейчас, кажется, и у советской власти не в почете...[1] А во всяком случае: как был, так и остался в безвоздушном пространстве.

Роксанова...— Станиславский, в воспоминаниях, перечисляет актрис, выдвинувшихся в «Чайке» (Книппер и Лилина). О Роксановой — самой Чайке — не сказано. И не мог он сказать: она просто плохо играла. Единственный слабый пункт пьесы — сама Чайка! В тех же воспоминаниях говорится, что Чехов был в отчаянии от «одной актрисы»... Он даже требовал, чтобы у ней взяли роль. Она тоже не удержалась в театре, не прижилась в нем. Какова ее судьба дальнейшая, не знаю.

...Не она ли и упала в обморок после первого акта? Если да, то о пьесе ошиблась, а о себе — нет.

---

[1] Строки эти были написаны до гибели Мейерхольда от руки Советов. Как именно он погиб, в точности не знаю.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Кажется, в жизни Андреева (писательской, а может быть, и личной) годы 1901—1906 были самыми полными, радостными, добрыми. Все его существо летело тогда вперед; он полон был сил, писал рьяно; несмотря на самые мрачные «Бездны», на «Василия Фивейского» — полон был надежд, успехов, и безжалостная жизнь не надломила еще его. Он только что женился на А. М. Виельгорской, нежной и тихой девушке. Светлая рука чувствовалась над ним. На его бурную, страстную натуру, очень некрепкую, это влияние ложилось умеряюще. Слава же росла, шли деньги; Андреевы жили шире; давно была оставлена квартирка на Владимиро-Долгоруковской, где мы познакомились. Квартиры становились лучше; появился достаток. Часто люди бывали, чтения. В те времена процветал в Москве литературный кружок «Среда». По средам собирались у Н. Д. Телешова, у С. С. Голоушева и у Андреева. Бывали: Бунин Иван, Бунин Юлий, Вересаев, Белоусов, Тимковский, Разумовский и др. Из заезжих: Чехов, Горький, Короленко. Бывали и Бальмонт, и Брюсов. Каждый раз что-нибудь читали. Много прочитал Андреев — думаю, всех больше. Он читал сдержанно, несколько однообразно, иногда поправляя густые волосы, свешивающиеся на лоб; в левой руке папироса; иногда помахивал ею в такт, и из-под опущенного лба вдруг быстро взглядывал горячими своими глазами.

Меня, наверно, он гипнотизировал. Мне все нравилось, и безраздельно, в нем и его писании. В спорах о прочитанном я всегда был на его стороне. Впрочем, и вообще он имел тогда большой успех, очень всех возбуждал, хотя образ его писаний мало подходил к складу слушателей. Но на «Среде» держались просто, дружественно; дух товарищеской благожелательности преобладал. И тогда даже, когда вещь корили, это делалось необидно. Вообще же это были московские, приветливые и «добрые» вечера. Вечера не бурные по духовной напряженности, несколько провинциальные, но хорошие своим гуманитарным тоном, воздухом ясным, дружелюбным (иногда очень уж покойным). Входя, многие целовались; большинство было на ты (что особенно любил Андреев); давали друг другу прозвища, похлопывали по плечам, смеялись, острили, и в конце концов, по стародавнему обычаю Москвы, обильно ужинали.

Можно сказать: Москва старинная, хлебосольная и благодушная. Можно сказать и так, что писателю молодому хотелось больше молодости, возбуждения и новизны. Все же свой, великорусский, мягкий и воспитанный воздух «Среда» имела.

Знаю, что и Андреев любил ее. А судьба решила, чтобы из членов ее он ушел первый — один из самых младших.

Иногда я ходил к нему по утрам — это значит, о чем-нибудь хотелось говорить; как порядочный писатель русский, он вставал поздно: как москвич — бесконечно распивал чаи, наливал на блюдечке, дул, пил со вкусом; к приходившему относился с великим дружелюбием. Может быть, и нехорошо было идти к человеку утром; может быть, и необязательно разговаривать так много; все же вспоминаешь с удовольствием об этих утренних русских разговорах где-нибудь на Пресне, при белом снеге с улицы, деревцах вдоль тротуаров, низком лете ворон с веток на крышу дома. Говорили о Боге, смерти, о литературе, революции, войне, о чем угодно. Куря, шагая из угла в угол, туша и зажигая новые папиросы, Андреев долго, с жаром ораторствовал. Говорил он неплохо. Но имел привычку злоупотреблять сравнениями и любил острить. Юмор его был какой-то странный: и была в нем эта жилка, и чего-то не хватало. И во всяком случае, в его писании юмор несвободен. Он не радует.

В три Андреев обедал, а потом ложился спать, черта не европейская, как и во всем был он весьма далек от европейца. (Носил поддевку, а позднее ходил в бархатной куртке. Среди «передовых» писателей была у нас тогда мода одеваться безобразно, дабы видом своим отрицать буржуазность.) Проснувшись вечером, часов в восемь, опять пил крепкий чай, накуривался и садился на всю ночь писать. Тут он разогревался; голова накалялась, и легко, непроизвольно родила образы страшные, иногда чудовищные. Писание было для него опьянением, очень сильным: в молодости, впрочем, он вообще пил; и, как рассказывал, наибольшая радость в том заключалась, что уходил мир обычный. Он погружался в бред, в мечты; и это лучше выходило, чем действительность. Студентом, после попойки, в целой компании друзей, таких же фантасмагористов, он уехал раз, без гроша денег, в Петербург; там прожили они, в таком же трансе, целую неделю; собирались даже чуть не вокруг света.

Неудивительно, что писания утреннего, трезвого, как и вообще дисциплины, он не выносил. Ночь, чай, папиросы — это осталось у него, кажется, на всю жизнь. Иногда он дописывался до галлюцинаций. Помню его рассказ, что, когда он писал «Красный смех» и поворачивал голову к двери, там мелькало нечто, как бы уносящийся шлейф женского платья. Бредовое писание не было для него выдумкою или модой: такова вся его натура. Его развязанное подсознание всегда стремилось в ночь, таков его характер; но устремление это было подлинное,

и его не без основания ставили рядом с Эдгаром По, которого он знал, любил. Он нравился ему за то, что говорил о Ночи.

Андреев сам чувствовал Мировую Ночь, и ее выразил — писанием своим.

Но не надо думать, что эта Ночь им вполне владела. Я уже говорил, что был в Андрееве мягкий орловец, он любил теплый домашний быт, никогда в нем не умирала жилка московского студента легендарных времен; он любил русское, нашу природу, пруды и влажные, благоуханные вечера после дождя в Царицыне (под Москвою, где он жил летом), белые березки и поля Бутова; любил закаты с розовыми облаками; да и в писании его кое-где, например, в «Жили-были», есть и свет, и цветущие яблони, и славный дьякон. Я вспоминаю о нем часто и охотно так: мы идем где-нибудь в белеющем березовом лесочке в Бутове. Май. Зелень нежна, пахуча. Бродят дачницы. Привязанная корова пасется у забора; закат алеет, и по желтой насыпи несется поезд в белых или розовеющих клубах. С полей веет простором и приветом родной России. Мы же идем легко, быстро, и говорим взволнованно. Вот он меня провожает на платформе — в своей широкополой, артистической шляпе, в какой-нибудь синей рубашке, с летящим галстуком, с возбужденными, черно-блистающими глазами. Это оживление и возбуждение так молодит! И так хороша молодость пылкими разговорами, одушевлением, легкой влюбленностью. Поезд, зарей вечерней, летит в Москву; смотришь в окно, вновь переживаешь пережитое, и дома, возвратясь, заснешь не сразу.

При мне Ночь, которую так чувствовал Андреев (и оттого на Бога восставал, много шумел),— эта Ночь впервые на него дохнула. В 1906 году умерла его жена, от родов, в Берлине. Мы хоронили ее в Москве, в Новодевичьем, при жестокой стуже. Андреев же остался за границей. Из Германии попал на Капри. Жил там тяжко, бурно. Вот отрывок из его письма, 9 января 1907 г.: «Для меня жизнь так: несколько людей, которых я люблю, а за ними города, народы, поля, моря, наконец, звезды, и все это чужое. И если бы все люди, немногие, кого я люблю, вдруг умерли бы, или забыли меня — я оглянулся бы и завыл бы от ужаса и одиночества». Далее говорит, что хорошо, если бы мы с женой приехали туда, и прибавляет вновь:

«Здорово я тут один, несмотря на Горького. С вами бы я мог говорить о смерти Шуры, постараться понять ее».

Мне и пришлось встретиться с ним в Италии, в мае того же года; но говорить о том, о чем он писал, не случилось. Перебирая его письма, я наткнулся на открытку во Флоренцию: «Еду из Неаполя в Берлин безостановочно, так что во Флоренции

можем увидаться только на минутку на вокзале... Пожалуйста, приходи с Верой хоть на минутку!» Это «хоть на минутку!» и сейчас колет сердце: вот и не увидишь его больше, даже «на минутку!».

Мы с женой в светлый, жаркий флорентийский вечер вышли встретить его, принесли букет роз красных (ими полна благословенная Флоренция). В грохоте, с пылью, влетел на скромный вокзал международный экспресс, из первого класса выскочил тот же Андреев, в широкополой шляпе, с летящим галстуком, в артистической бархатной куртке, как знавал его я в Бутове, в Москве. Как и тогда, он ни слова не знал «по-заграничному»; в купе оказалась матушка его,— ни себе, ни ей за весь день он не мог достать стакана чая. Матушка охала. Сам он задыхался от жары в бархате своем, но глаза его так же блестели, как и в былые годы. Он нюхал наши розы; говорили мы быстро, бестолково, ибо некогда было, и через несколько минут он махал нам букетом из окна поезда уходящего. На мгновение я его увидал, и снова забурлил и загромыхал европейский экспресс, унося людей московско-орловских. А сейчас, вспоминая те семнадцать лет, что знал Андреева, я чувствую, что рядом с бесконечностью, нас разлучившею, те года, куда легла чуть ли не вся его художническая жизнь,— не длинней краткой минутки на вокзале во Флоренции, в знойный, чудесный итальянский вечер.

С этого года Андреев переехал в Петербург. Может быть, тяжело ему было заводить в Москве прочную, оседлую жизнь. Его душевное настроение было бурно-мрачное, с какими-то срывами. Перегорало горе, разъедало. Но натура живая, страстная гнала вперед. Он никак еще не знал, что сделать, как наладиться. «Опять с некоторого времени,— пишет он от 17 августа 1907 г.,— день мой, каждый мой день и каждая ночь — до краев налиты тоской. Что делать, я не знаю, ибо убивать себя не хочу, в сумасшедший дом тоже не хочу, а жизнь не выходит, а тоска, поистине, невыносимая. И все о том же, о той же — Шуре, о ее смерти. Отпустила было не на долгое время, а теперь снова гвоздят одни и те же мысли и сны. Сны! Ужасная, брат, вещь эти сны,— в которых она воскресает и всю ночь поит меня дикою радостью, а наутро уходит».

В Москву он наезжал довольно часто. Нередко останавливался в «Лоскутной», вблизи Иверской и Исторического музея. Живший там П. Д. Боборыкин не без ужаса рассказывал: «представьте, я встаю в шесть утра, к девяти поработал уже; а он в девять только возвращается». Петр Дмитрич, никогда за полночь не ложившийся, пивший минеральные воды, носивший ослепительные воротнички, и наш Леонид Андреев... О, Русь!

В это время помню я Андреева всегда на людях, в сутолоке, с интервьюерами, в угаре. Это был год, когда впервые он вступил на путь театра,— путь, давший ему славу еще шумнейшую, но и тернии очень острые. «Жизнь Человека» была первая его символическая трагедия, в чертах схематически-условных обнимавшая жизненный путь и судьбу «человека вообще». Это вещь роковая для него. Можно ее любить или не любить; но с душевной, и писательской, и человеческой судьбой Андреева связана она неразрывно. В ней кончился один период, начался другой. Кончилась молодость Андреева, возросла схема, патетизм, и яснее означился надлом в душе его. В ней есть и нечто пророческое о самой жизни автора — если пророчественность понимать широко. Умер Леонид Андреев не так, как погибает Человек, и в бедность не впал, но некоторый наклон жизни своей почувствовал.

«Жизнь Человека» имела крупный успех — в Москве в Художественном, в Петербурге у Мейерхольда. Андреев более и больше увлекался театром. И более и больше укреплялся в Петербурге. Стал очень близок сильно успевавшему издательству «Шиповник», в альманахах издательства слыл гвоздем. «Шиповник» же издавал его книги. К нам, к «Москве», он питал чувства дружественные по-прежнему; когда бывал, сам читал свои пьесы, или присылал читать рукописи на «Средах». Но находил, что Москва — это «милая провинция», благодушная и теплая. Ему казалось, в Петербурге попрохладней и построже. Ему казалось, что воздух севера, воды Финляндии, ее леса и сумрак ему ближе, чем березки Бутова. Верно, что в «Жизни Человека» не было уж места для березок. Все-таки обращать Андреева, русака, бывшего московского студента, в мрачного отвлеченного философа, решающего судьбы мира в шхерах Финляндии с помощью Мейерхольда, было жаль. Никто не вправе сказать, каким должен был быть путь его. Ему виднее было самому. Но можно, кажется, заметить, что его натура не укладывалась вся в Финляндию и Мейерхольда.

С весны 1908 г. он поселился на своей даче у Райволы, на Черной Речке. Эта дача очень выражала новый его курс; и шла, и не шла к нему. Когда впервые подъезжал я к ней летом, вечером, она напомнила мне фабрику: трубы, крыши огромные, несуразная громоздкость. В ней жил все тот же черноволосый, с блестящими глазами, в бархатной куртке, Леонид Андреев, но уже начавший жизнь иную: он женился на А. И. Денисевич, заводился новым очагом, был полон новых планов, более грандиозных, чем ранее, и душа его была смятена славой, богатством, жаждой допить до конца кубок жизни — кубок, казавшийся

теперь неосушимым. Обстановка для писателя (в России) — пышная. Дача построена и отделана в стиле северного модерн, с крутою крышей с балками под потолком, с мебелью по рисункам немецких выставок.

Мы много говорили, очень дружественно, мне хорошо было с Андреевым, но жилище его говорило о нецельности, том, что стиль все-таки не найден. К стилю не шла матушка из Орла, Настасья Николаевна, с московско-орловским говором; не шли вечные самовары, кипевшие с утра до вечера, чуть не всю ночь; запах щей, бесконечные папиросы, нервность, мягкая развалистая походка хозяина, добрый взгляд его глаз, многие мелочи. Правда, стремление к грандиозу находило некое применение: нравилось смотреть с башни в морской бинокль на Финский залив, наблюдать ночью звезды. Но как раз рано утром следующего дня, проснувшись в боковой комнате для гостей, не совсем еще отделанной, я услыхал, как двое маляров, снаружи малевавших на подмостках, напевали неторопливо простую, славную нашу песню. Вот в ней — земля Москвы, березки Бутова, поля Орла. И нет Финляндии. Нет майоликовых отделок, матовых кубов, нет модерна. Нет и «Жизни Человека».

На этой новой даче написал Андреев «Царь-Голод», «Черные Маски», «Анатэму», «Океан» и другое. Хорошо было удалиться из столицы, но это не было удалением в Ясную Поляну, столица перекочевала к нему в самом суетном и жалком облике: взвинчивала, гнала к успеху, славе, шуму, и обманывала. Кто не любит обольщения успеха? Андреев жадно его вкусил и не мог уже забыть; не мог уже жить, чтобы о нем не писали, не шумели, не хвалили. Не знаю даже, мог ли он теперь писать лишь для себя, вне публики. Он ненавидел публику и поклонялся ей. Он презирал газетчиков, освободиться же от них не мог. Для славы нужны были журналисты, налетавшие роями, которым он рассказывал о своей жизни, замыслах, писаниях; сердился, что рассказывает, а назавтра вновь рассказывал. Они печатали нелепые интервью, раздражавшие друзей Андреева, а врагам дававшие материал для издевательства. Вся эта чушь газетная, в море вырезок с отчетами о пьесах, отзывами, критиками, бранью, клеветой, заметками, каждый день притекала к нему и одурманивала душу. Вряд ли чувствовал он себя хорошо. Тем более, что все настойчивее в критике твердили об упадке его дарования.

За всей этой горькой мишурой у него был и свой мир. Вот что говорит он в письмах этого периода о второй действительности. «С каждым уходящим годом я все равнодушней к первой действительности, ибо в ней только я раб, муж и

отец, головные боли и с прискорбием извещаем. Сама природа,— все эти моря, облака и запахи — я должен приспособить для приема внутрь, а в сыром виде они слишком физика и химия. То же и с людьми: они становятся интересны для меня с того момента, как о них начинает писаться история, то есть ложь, то есть все та же наша единственная правда. Я не делаю из этого теории, но для меня воображаемое всегда было выше сущего, и самую сильную любовь я испытывал во сне. Поэтому я, пока не сделался писателем и не освободил в себе способности воображения, так любил пьянство и его чудесные и страшные сны».

Флобер, столь бесконечно далекий от Андреева, говорит где-то в письме: «La vie n'est supportable qu'en travaillant»[1] — и правда, одурманивал себя работой. Для Андреева, как писателя настоящего, смысл этих лет, годов зрелости, так же, видимо, сводился к работе, как наркозу, уводящему от скучной действительности. «Сколько скучных дней и просто неинтересных людей в первой действительности! А в моей все дни интересны, даже дождливые, и все люди интересны, даже самые глупые. Сейчас за окнами моросит, просто моросит, и нет ничего, кроме просто мокрой Финляндии и озноба в спине,— а начни описывать, и получится интересно, явится настроение; и чем правдивее я буду изображать, тем меньше останется правды. Ибо само слово принадлежит ко второй действительности, само по себе оно картина, рассказ, сочинение».

Впрочем, он оговаривается: не вся действительность презренна.

«Не скажу даже, чтобы я был прав, так настоятельно и убежденно предпочитая воображаемое сущему, и если устроить между ними состязание, то окончательная, последняя красота будет на стороне последнего. Но такая красота — моменты, далеко разбросанные в пространстве и времени. Не только собрать, а можно прожить всю жизнь и ни одного не встретить. Немало на свете красивых людей, а расстояние между ними — словно между звездами; и один еще не родился; а другой давно умер. Пусть даже живет, но или он далеко бесконечно, либо говорит на другом языке, либо я совсем не знаю о его существовании. Ведь все эти, кого мы любим и считаем настоящими друзьями, Данте, Иисус, Достоевский, существуют только в воображении нашем, во второй действительности, во сне».

В первой же действительности, несмотря на славу, деньги, шум и суету вокруг, вряд ли Андреев чувствовал себя теперь

[1] «Жизнь переносима, только когда работаешь» *(фр.)*.

хорошо. Он не производил такого впечатления. Во всяком случае, видимо, становится он одиноче. О дружбе, о «мужской, крепкой, глубокой, серьезной дружбе», он говорит теперь с горечью. («Как странно звучит слово «дружба» — ты помнишь, что оно означает? Я забыл». 8 июля 1909 года.) И еще: «...Заметил ли ты... что дружба ранняя ягода и приходит прежде других? Любовь, как тень, сопровождает, пока есть свет, а для новой дружбы положен ранний предел. И если не захватил друга из юности, то нового не жди; да и старого-то не удержишь. И не случайность для меня, что кончилась моя дружба с Горьким,— все писатели дружат в юности, а со зрелостью приходит к ним неизбежное одиночество. Так оно и надо, пожалуй» (23 июня 1911 г.).

Кажется, за эти годы Леонид Андреев, и действительно, новых друзей не приобрел, а от старых отдалился, находясь в Финляндии. Кажется, жизнь его там ограничивалась кругом (важнейшим, разумеется) — семьи. В Москве он появлялся редко. В Петербурге литературных друзей и всегда у него было мало; а в литературе критической к нему относились теперь дурно. Вообще же в его литературной судьбе много русского: безудержное возношенье, столь же беспощадная брань. Ни шум, ни гонорары, ни интервью не могли скрыть резкого охлаждения к нему публики. Та исключительность его, что раньше восторгала, теперь сердила. Чем громче он старался говорить, тем раздраженней слушали. И за короткий срок своих удач и поражений мог бы вспомнить покойный слова Марка Аврелия: «судьба загадочна, слава недостоверна». Или же обратиться к собственной «Жизни Человека».

За это время мало приходилось его видеть. Доходили временами письма, но все реже. Я знал, что он обрился, что завел лодку моторную и скитается по шхерам. Мореходские инстинкты пробудились в нем внезапно; нравились брызги, пена, шум ветра, одиночество. Быть может, нечто байроническое мерещилось ему в этих одиноких блужданиях. Вызов жизни, людям, гордость, честолюбие надломленное.

Я видал его в последний раз в Москве, осенью 1915 года. Шла его пьеса «Тот, кто получает пощечины». Вряд ли она удача; вряд ли совершенна, как и вообще мало совершенного оставил Леонид Андреев. Хаос, торопливость и несдержанная пылкость слишком видны в его писании. Но как и во всем главнейшем, что он написал, есть в этой пьесе андреевское, очень скорбное, сплошь облитое ядом горечи...

Тяжкая душа, израненная и больная, мне почувствовалась и в самом авторе. Этой иной был Андреев; не тот, с кем философствовали мы некогда на Пресне, бродили в Бутове. Надлом,

усталость, тяжко бьющееся сердце, тягостная раздраженность. И лишь глаза блестели иногда по-прежнему.

— Пьесу испортили,— говорил он.— Сгубили. Главная роль не понята. Но посмотри,— он указывал на ворох вырезок,— как радуются все эти ослы. Какое наслаждение для них — лягаться.

Он уехал в Петербург смутный и подавленный, хоть иногда и много смеялся и острил. Мы же, прощавшиеся с ним тогда в Москве, его немногие друзья, вряд ли угадывали будущее, вряд ли и думали, что живого, настоящего Андреева, в бархатной куртке и с черными глазами, не «сон», и не «мечту» второй действительности,— нам уже не увидеть.

И мне трудно говорить об этих заключительных годах земного странствия Андреева.

Знаю только одно: с октября 1917 г. он не возвращался даже в Петербург, жил в Финляндии. Революция задела его чрезвычайно. Он ее проклял. Пережить ее ему не удалось. Он скончался в сентябре 1919 г. от припадка сердца — сердце у него всегда было больное и нервное.

Когда мысленно я вызываю образ Андреева, он представляется мне молодым, чернокудрым, с остроблистающими, яркими глазами, каким был в годы Грузин, Пресни, Царицына. Он лихорадочно говорит, курит, стакан за стаканом пьет чай где-нибудь на террасе дачи, среди вечереющих берез, туманно-нежных далей. С ним, где-то за ним, тоненькая, большеглазая невеста в темном платье, с золотой цепочкой на шее. Молодая любовь, свежесть, сиянье глаз девических, расцвет их жизни.

И наверно, не могу я говорить с холодностью и объективностью об Андрееве, ибо молодая в него влюбленность на всю жизнь бросила свой отсвет, ибо для меня Андреев ведь не просто талант русский, тогда-то родившийся и тогда-то умерший, а, выражаясь его же словами, милый призрак, первый литературный друг, литературный старший брат, с ласковостью и вниманием опекавший первые шаги. Это не забывается. И да будут эти строки, сколь бы бедны они ни были, дальним приветом чужестранной могиле твоей, Леонид.

СЕРГЕЙ ГЛАГОЛЬ

— Да вот что,— сказал Андреев, блестя своими черными, удивительными глазами,— вы зайдите к Сергеичу, обязательно! Надо познакомиться. И ваш рассказ у него. Сборник редактирует он, я и Тим-Тим (Тимковский).

Андреев дал мне письмецо, и я отправился. Сергей Сергеич Голоушев, среди друзей «Сергеич», по литературе Сергей Глаголь, жил в Хамовниках, в месте странном: помещении Хамовнической части! Был он полицейский врач и занимал квартиру во втором этаже, с окнами на площадь.

Я попал к нему во врачебный кабинет. Мягкая зеленая мебель, книги, картины, жуткий гинекологический эшафот, машина с кругом, беспорядок, сумеречно-синеватый свет из окна, откуда белел снег, и над снегом, над каланчой, тучею галки — за бархатной портьерой плесканье воды в умывальнике.

Потом оттуда выглянул высокий, очень стройный и широкоплечий человек в ослепительной рубашке и, вытираясь полотенцем, откинувши назад длинные волосы движеньем головы, пристально-добрыми глазами на худощавом, в морщинах, лице взглянул на меня.

— А-а, душка, знаю. Садитесь, сейчас разговаривать будем.

Так, зимними сумерками, в Москве очень далеких лет, началось мое знакомство, перешедшее скоро в дружбу, со всему городу известным «Сергеичем». Через десять минут казалось уж, что он мне родственник, такая простота, открытость и широкий жест, чуть и картинный, были в нем. Конечно, к нему можно с чем угодно прийти — и с болезнью, и с картиной — чем только не занимался Сергеич?

В юности, сидя на козлах, мчал Веру Засулич из суда в карете, спасая ее. Побывал в «местах не столь отдаленных» ссыльнопоселенцем. Политическую «левизну» свою там и оставил. Занялся живописью. Дружил с Серовым, Левитаном и Коровиным. В Третьяковской галерее есть его этюд лошади. Стал писать. Лечил дам. Статьи печатал и о живописи, о театре, о литературе. В том же сборнике, из-за которого я пришел к нему, был и его рассказ — не хуже других. Он интересовался психиатрией, был друг всех Россолимо и Токарских, яростно превозносил Андреева, работал по гравюре и офорту — что-то изобрел даже в этом деле. Жил холостяком. Всегда к кому-нибудь пылал. Да женщинам и не мог не нравиться, если б и захотел,— что-то изящное и суховато-мужественное в нем было, и безупречное, и бескорыстное. Он много говорил, слегка даже витийствовал, то собирал, то распускал морщины на остроугольном лице и широким жестом откидывал волосы седеющие. Но как принять его за старика! Вот умер старым, в памяти остался молодым.

Он был душой «Среды». Для меня, только что принятого,

эти собрания, в частности дом Сергеича, навсегда связаны с первыми литературными шагами, первыми встреченными писателями, первыми чтениями — в полутемном кабинете Сергеича, под бледным кругом лампы с зеленым абажуром, перед старшими художниками дела нашего, некоторые из которых вызывали восхищение и жуткое волненье. Очень страшно так читать, впервые, не забудешь... Небольшая, полная этюдов Васнецова, Поленова, Левитана квартира Сергеича наполнялась, сидели и в гостиной под какими-то персидскими щитами, у бухарских копий, в кабинете на гинекологическом ложе, спорили о символистах, декадентах (тогда модный спор), быте, реализме и т. п. А потом слушали — очень часто читал Андреев. Реже Бунин, Телешов, я и другие. Кончалось все ужином. Сергеич сам готовил удивительнейшую селедку, хоть бы в «Прагу». Разные водки в графинчиках, пироги, грибы, заливные... вообще Москва — то русское тепло, и тот уют, немножко лень, беспечность, «миловидность», что и есть старая Русь.

Расходились поздно. По скрипучему снегу, под холодными звездами, шли пешком, хохотали, досказывали недосказанное, дразнили друг друга. Иногда старый писатель Гославский, с серебряной бородой — его звали Богом Саваофом за торжественный вид,— сильно подвыпив, начинал бранить кого-нибудь, меня, например,— неизвестно за что. Звали Ваньку, усаживали Гославского, кто-нибудь вроде безответного Ивана Алексеича Белоусова, в хохлацкой шапке и шевченковских усах, и увозили его.

Сергеича я полюбил скоро и крепко. Да и как было не любить этого славного и такого открытого — весь нараспашку — «прелестника» из Хамовников? Он был мне старший, вроде дядюшки и заступника. Если какая беда, затруднение или болезнь, он тут как тут, зимой в серой мерлушковой шапке, всегда живой и картинный, многоречиво-приветливый. Правда, он больше сам говорит. Слушает неохотно, рассеянно. Чувствуешь, что только скользит по нем...

На «Среде» мы с ним и Андреевым были «крайняя левая», то есть защитники символистов: тогда здесь и был «ключ позиции». Сергеича же и вообще постоянно тянуло к новизне, молодости. Наша «Среда» была весьма пожилая, степенная. Это его не вполне насыщало. И он водился с художниками младшего возраста. (Например, с Петровым-Водкиным, тогда юношей. И, разумеется, покровительствовал ему.) Милая странность Сергеича в том состояла, что, никак не будучи «инфернальным», он очень любил в литературе всякие «бездны», «тайны», достоевско-андреевское... и для чего это ему надо было? Весь он так хорош

был простосердием и чистодушием, а любил «жуть». В тех долгих годах, что я его знал, за эту самую жуть он меня много бранил. Ему нравились, он всегда защищал мои «мрачные» вещи, а другую сторону писанья — не одобрял.

— Зайчик,— говорил, как обычно откидывая рукой волосы, глядя из-под пенсне серыми, живыми глазами из глубоких впадин, весь вытягиваясь сухим, остро-изящным лицом, всегда напоминавшим мне симпатичного пса,— душка, ты опять мармелад свой развел?

И щелкал пальцем по книжке.

— Ты мне дай, чтобы с жутью... Понимаешь, писатель, вот как Леонид, он должен опускаться вглубь, в психологию, и разворачивать перед нами тайны и провалы души...

Я улыбался, частью виновато, частью безнадежно: что же делать, каждый пишет по-своему. И если быть вполне искренним, то в делах своего ремесла (или искусства?) и я слушал Сергеича не очень внимательно, как славного дядюшку, но не как мэтра. Для мэтра был он слишком поверхностен, слишком между прочим в нашем занятии, которому или всего себя надо отдать, или уж за него и не браться.

В Сергеиче была какая-то неаккуратность и забывчивость, барски-просторная рассеянность. Это касалось, впрочем, мелочей. Если ж в беде нужна поддержка, нужно через всю Москву ехать к больному — этого Сергеича никогда не забывал. Много людей московских, из которых первый я, добрым словом помянут бессребреника.

А жизнь его была полет сумбурный, в этом основная черта натуры: не было центра, точки, куда била бы вся сила его существа. Дилетантизм — вот слово, говорящее о несобранности души, о ее некотором распылении. Сергеич все умел делать, от гинекологии до гравюры, и все делал даровито, замечательно же ничего сделать не мог, ибо безраздельно ничему не отдавался. Его след не начерчен в истории ни одной из тех деятельностей, коими он занимался. В нем, в его вкусах, жестах, картинности, доброй беспорядочности — Русь, Москва.

Бедный Сергеич! На его закатные дни легла страшная лапа истории. Узнал бывший студент в плаще семидесятых годов, спаситель Веры Засулич,— на себе испытал новое царство. Сергеича в Москве взяла смерть — среди бедствий, голода, холода и унижений. Тяжело вспоминать об этом. И как часто бывает, ущемляется сердце сознанием, что вот ушел человек, доброе от него брал как должное, а сам что давал? Мало дано, долг остался.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК

Николай Николаевич Баженов — психиатр, гастроном, донжуан, холостяк — с лицом жирным и заплывшим, маленькими глазками, с толстыми губами и огромным кадыком — он и водрузил клубно-литературное знамя над Москвой.

Считался парижанином (и парижским москвичом) — из Парижа вывозил галстуки, анекдоты, моды. Имел к литературе отношение — какое? Не совсем понятно: кажется, интересовался ею. И другие нашлись «интересующиеся»: актеры, литераторы, адвокаты, зубные врачи. Соединенными усилиями сложившись, подписавшись, соорудили в переулке с Тверской на Дмитровку свое учреждение. Начали скромно, а потом разрослись, даже в историю литературы в некотором смысле попали.

Рядом с Филипповым, с калачами и булками, с шумной кофейной (чуть не самой большой тогда в Москве), где заседали барышники, коммивояжеры, беговые жучки и прочее мелкое, но приличное население,— открылся Литературный Кружок, начались его «вторники». Они очень совпали с оживлением литературным: выступал символизм, появились молодые писатели особенного оттенка.

В «Скорпионе» Поляков («нежный, как мимоза») издавал Бальмонта, Брюсова, выпускал «Северные цветы», Кнута Гамсуна, Пшибышевского... «Homo sapiens» — кто из барышень не зачитывался этим романом? («Встал. Вскочил. Выпил рюмку коньяку» — через несколько строк: «Сел. Лицо искривилось гримасой. Выпил рюмку коньяку».) За мирного и прелестного гамсуновского «Пана» дочерей чуть не выгоняли из родительских домов (с Таганок, Сыромятников, «чтобы не зачитывались чепухой»). Впрочем... и Иван Бунин в «Скорпионе» выпустил «Листопад». А совсем юный Белый, тогда студентик голубоглазый,— «Золото в лазури» и «Симфонии».

Но главенствовали Бальмонт и Брюсов. «Будем как солнце», «Только любовь», «Горящие здания» — Бальмонта в Москве сразу приняли и полюбили (молодежь, конечно). Брюсова не любили, но вокруг себя он сумел создать некую «магическую» славу. Его боялись. И прислушивались к его теориям художническим. Он редактировал «Весы», тоже журнал скорпионовский.

Революция так революция... В литературе она начиналась, хоть и благоразумно советовал Бальмонт поклонникам: «тише, тише совлекайте с древних идолов одежды». Молодежь есть молодежь. Благоразумием она не отличалась никогда. Идолов типа Потапенко и Боборыкина волокли не без жару, да и другим доставалось — во славу символизма и «декадентства».

Вот для этих сражений Кружок подоспел кстати. В небольшой зале Козицкого переулка, на эстраде, перед рядами зрителей, заседал в каком-нибудь кофейном жакете с красной бутоньеркой, в белых гетрах Николай Николаевич Баженов,— председатель, а Бальмонт читал, скажем, об Уайльде — тогда тоже новшестве и пугале — Бальмонт молодой, горячий, «златовласый» — читал остро и с задором. Главное задор. Он являлся непроизвольно, из ощущения, что говоришь о новом, спорном, что одни тебе будут яростно рукоплескать, другие свистать. И, действительно, зал разделялся. «Старшие» ужасались, молодежь ликовала. Получался отчасти митинг, но скорее веселый. Вот как описывает это летописец: «Благородные зубные врачи и статистики призывали к заветам, Некрасову, шестидесятым годам. Юноши в красных галстуках — к Уайльду. Публика свистала, это выводило из себя Лизавету, и она отколачивала себе ладоши. Черноглазая Зина тоже хлопала, хлопал и Петя, взволнованно улыбаясь, а солидные дамы вокруг пожимали плечами, и выражали негодование. Впрочем, с Лизаветой шутки были плохи. Она оборачивала свое разгоряченное лицо, розовевшее гневом, и громко говорила:

— На дур не обращаю внимания!

— Браво,— хлопал Петя,— браво!»

Случалось и так, что молодой человек, днем более или менее успешно заседавший в восьмом классе Поливановской гимназии, вечером появлялся на эстраде, в штатском, с демоническими начесами, демонически возглашал:

— Окунемся в освежающие волны разврата!

Не так особенно он окунулся, и домашняя, довольно безобидная была тогда Москва, но так уж полагалось «устрашать» и «претерпевать за идею»: юноша, пожалуй, только что получил двойку, но, зачитываясь Бальмонтом и Брюсовым, готов был отдаться на растерзание «мещанству», лишь бы не быть «как все» и чем-то о себе заявить.

«Когда Лизавета с Зиной влетали после чтения в ресторанный зал, вызывали они неблагосклонное шушуканье дам и сочувствие в мужчинах. Усиливалось это тем, что в городе говорили о тайном обществе козлорогов. Федюка бывал в клубе тоже, и как человек толстый, легкомысленный, не внушал доверия; а его считали гроссмейстером ордена, как Лизавету с Зиной — двумя «богородицами».

Общества, разумеется, никакого не было. Жила молодежь бойкой и веселой, может быть, и несколько распущенной жизнью, но обычной в возрасте этом: богемно, с бродяжничеством по кабачкам, романами и «выяснениями отношений», схождениями и расхождениями — а в общем, под крылышками папаш и

мамаш, беззаботно, скорее всего, в духе Бронных и Козих, усовершенствованных «декадентством».

Но, конечно, нравилось являться в Кружок компанией человек в десять — все с желтыми цветами.

— Вот оно, тайное эротическое общество! — И в несуществующую «ложу» нарасхват стремились те, у кого желтых цветов не было (а как хотелось бы, чтоб были!).

* * *

В Козицком стало тесно. Дела шли хорошо — Кружок переселился — неподалеку, на Дмитровку, в особняк Востряковых. Востряковы сами жили на углу, тоже в хорошем доме, но главное свое палаццо, с полукруглым въездом во дворе, зеркальными окнами, нарядной лестницей с колоннами, белыми лепными залами, сдали Кружку. И Кружок въехал. Одного Баженова уж не могло хватить. Ставилось все на прочную ногу, с дирекцией, комиссиями — литературной, музыкальной и пр.

Появилась «материальная основа цивилизации» — карты. Сначала карточные комнаты были скромны, а потом сделали целую пристройку и открыли залу в розовых фресках под Мориса Дени, расставили огромные овальные столы и укрепили фронт. Старухи в бриллиантах, содержанки и актрисы, дельцы, врачи, инженеры и актеры заседали под туманно-нежным светом люстр, казавшихся им слаще солнца, за зеленым полем, погружаясь в мир валетов и девяток, дам, королей. Лица их принимали неживой оттенок. Вспоминаются зеленоватые люди, много лысин, жирных подбородков, толстых ушей, рук в кольцах с драгоценными каменьями, все это несколько и вялое (лишенное «света и воздуха»), но нервное и выключенное из жизни. Наверно, наркотическое есть в игре. Точно бы накурились опия. И их мир, живущий с нами рядом, все же особенный — сильно пьянящий и засасывающий (для них значит же сладкий). Были среди них и профессионалы-игроки. Просто они жили этим. Являлись как на службу, хорошо зарабатывали.

Символистов и поэтов, художников «Голубой розы» или «Мира Искусства», писателей «Знания» или «Шиповника» для них не существовало. Но чем дольше засиживались, чем больше штрафов платили, тем больше книг и журналов можно было купить в библиотеку.

Туда вел длинный коридор, уставленный шкафами — с иногда ценными изданиями. Библиотека быстро росла. В читальне, под мягкой зеленой лампой, на столе газеты и журналы, издания на разных языках, кресла, тишина, полумрак — другой

мир. Пробежит в длинном сюртуке Брюсов, пройдет Юлий Бунин, полный, уютный, особой своей походкой (слегка выкидывая ноги в стороны), рыжеватый Иван Иванович Попов, редактор «Женского дела» (букву «д» выговаривал, как «т» — журнал свой называл «Женское тело»).

«Вторникам» отвели залу обширную, на шестьсот мест, с занавесом, сценой-эстрадой: можно было ставить спектакли, давать концерты. Лекторы стали разнообразней. Многих выписывали из Петербурга. Мережковский, Андрей Белый, Волошин, Маковский, Волынский, Яблоновский проходят в памяти, покойный Айхенвальд. Даже епископ один выступал (имени его не помню). Читали о новых писателях, новых книгах, «вопросах пола» — в общем, все стало спокойнее и солидней. Споры, однако, бывали жаркие, иногда до скандала. (Раз Андрей Белый с эстрады вызвал на дуэль литератора Тищенку, друга Толстого. Пришлось спускать занавес, под руки сводить с лестницы изнеможденного, в истерике, автора «Серебряного голубя».)

Эти «верхние» «вторники» (в верхнем зале) все же приняли слишком шумный характер. В нижних комнатах уединенно собирались «Эстетика» и «Среда».

В первой главенствовал Брюсов. Это было продолжение «Весов». Питались дамами богатыми и снобистическими (из купчих — «Скорпион», коренился в Московском Сити). Брюсов священнодействовал. Молодые поэты трепетали. Почтительно безмолвствовали художники. Дамы сияли бриллиантами, кутались в меха. В общем же: скука и высокомерие, хотя выступали иногда замечательные писатели — Вяч. Иванов, Блок, Белый. «Середа» называлась в Кружке «молодой», или новой,— из прежних, интимных собраний у Телешова и Л. Андреева перешла в большой простор, разрослась численно — и побледнела. Председателем ее был Юлий Бунин. Тон простой и не напыщенный. Состав довольно серый. Как в «Эстетике», читали и стихи, рассказы — беллетристов было больше. Направление в «Эстетике» символизм, здесь реалистическое. Из писателей известных — Бунин, Шмелев, Серафимович, Телешов. Выступал Алексей Толстой (бывал и на «Эстетике»). Но молодежи выдающейся «Середа» не вывела.

* * *

Врос Кружок в жизнь Москвы с достоинствами своими и недостатками, с шумом, оживлением, дебатами об Арцыбашеве и Каменском, концертами и лекциями. Вечером заглянув туда, встретишь знакомых и друзей, посмотришь новости в читаль-

не — вряд ли минуешь белый ресторанный зал. С молодым еще (но уже академиком) Буниным займешь стол, наш обычный, направо от двери. К полуночи подойдет Юлий Бунин с какого-нибудь заседания — в том же Кружке, где с Валерием Брюсовым обсуждали они вопрос, скажем, о поваре (Брюсов во всем был дотошный и неутомимый: переводить ли Вергилия, спорить ли о дежурном блюде). Столики чуть не все заняты. Там Эфрос со Смирновой, Лоло с Ильнарскою, Пермский с женой, Книппер, быть может, Качалов, Правдин из Малого театра. Шмелев, Телешов, покойный Грузинский подсядут к нам. Встретишь приезжего из Петербурга — Георгий Чулков. Из молодых московских — Ходасевич, Муни, Койранский и Стражев. Ровно в час, по хронометру, появлялся философ Лопатин — у него место всегдашнее за «профессорским» столом, через зал от нас. Лысый, в очках, с головой мудреца, начиненной идеализмами и психологизмами, был он так аккуратен, что по нем проверяли часы.

— Лев Михайлович приехал, значит, час ночи.

Надо сказать: подолгу в ресторане засиживались. Много шумели, и спорили, и хохотали, и, поужинав, заходили в игорные залы — можно на счастье поставить (и проиграть!) — может быть, и сорвешь удачу.

А потом зимняя ночь, такой свежий, чудесный воздух. Сонный Ванька, ухабы, затихшие улицы Москвы, тьма.

* * *

Ко временам драм российских Кружок был учреждение цветущее, с библиотекой в двадцать тысяч томов, штатом служащих, канцеляриями, запасным капиталом. Мог жертвовать на просвещение, стипендии, помогал нуждающимся, выдавал ссуды, издавал журнал (небольшой), собирал многосотенные аудитории — литературно-музыкальные. В залах его устраивались выставки. Во время войны там был лазарет.

В революцию он сначала держался. Из первых перешел к «ним» Брюсов — началось медленное удушение. Горестная сцена сохранилась в памяти из того времени. Старый Серафимович, Александр Серафимович, многолетний наш сотоварищ по «Среде», тоже объявился коммунистом.

Помню заседание «Середы» — из последних в Литературном Кружке — из совсем особенных. В верхней комнате было много народу, душно и нервно. Все взволнованы, что-то висит над душой. Сидел за столом и Серафимович, бледный и молчаливый. Попросил слова Андрей Соболь. В горячей, нервно-истерической

речи, захлебываясь, предложил исключить Серафимовича из «Середы».

— Кто против свободной печати и литературы, тот не с нами.

Все молчали. Молчание было тяжелое. Поднялся Чириков.

— Вы нам не товарищ. Все между нами кончено. Больше руки я вам не подаю. (Таков, приблизительно, был смысл его слов.)

— Значит, я могу выйти? — глухо сказал Серафимович.

Никто не ответил — раздались аплодисменты. Он поднялся и, бледный, молча, вышел.

Больше мы его тут не видели. Но Кружок он закрыл быстро — «как контрреволюционное гнездо». Сын его в это время донес на одного юношу, гимназиста, своего же товарища,— и погубил его в чеке. Александра Серафимовича я встречал потом в «Лито»[1] — у него быстро появилась шуба и бобровая шапка. Бог с ними, с бобрами. Александр Серафимович был всегда незадачливым, внутренно озлобленным писателем. Теперь и сравнительно процвел. Это личное его дело, и не хочется его судить. Все же... этот человек бывал некогда в моем доме, мы находились в добрых отношениях, из времен юности сохранились даже некие ласковые слова и улыбки. Тем грустнее все остальное.

Сейчас он в почете, как и Вересаев. Госиздат издает собрание его сочинений — практически выиграл.

«ЗОРИ»

В 1904—1906 гг. выходил в Москве марксистский журнал «Правда». Его издавал В. А. Кожевников, инженер, математик и фантасмагорист. Этот скромный и своеобразный человек со странностями взял да и всадил чуть не все свои средства в издание, где сотрудники — Луначарские, Скворцовы, Базаровы ему же и доказывали, что он эксплуататор, буржуй, темная личность. Удивительно было его терпение. Барство, должно быть, чрезмерное. Захотел сам себя сожигать — и сожигал.

Однако, весной 1906 г. Валентин Алексеевич, загадочно расширив свои глаза и поиграв, по обыкновению, ноздрями, объявил, что он еще новый журнал хочет издавать, но маленький, чисто литературный, вроде приложения к «Правде» (эта «Правда» была необычайно-нелепого вида: пол-аршина длины и узенькая, так что страница выходила чуть не газетным столбцом). Новое детище окрестили «Зори» и отдали молодежи.

---

[1] Литературный отдел — было такое учреждение.

К «Правде» я имел некоторое отношение. Первые номера мною корректировались. Я получал за это 50 рублей в месяц, пропускал много ошибок и напечатал там два собственных рассказа: «Мглу», «Сон», а уже третий, «Тихие зори», не прошел в этом «магазине», а попал, как и дальнейшее, в петербургский «Новый путь».

Из корректоров тоже я был изгнан (вполне справедливо). Но с Валентином Алексеевичем сохранил добрые отношения и бывал в его квартире на Кудринской площади в знаменитом доме Курносова, куда упирается Новинский бульвар, откуда видна вся Москва. И вот в эти «Зори» меня посадили уж в редакцию.

Как все, что затевал Валентин Алексеевич, наши «Зори» оказывались малозлатоносными: журнальчик, где золото пущено было на обложке (и Москва на ней тоже изображена), расходился, кажется, в 60 экземплярах. Существовал недолго — одну весну,— литературного влияния не имел, и теперь представляет величайшую редкость. Но в жизни молодой Москвы того времени известную память оставил и не в одной душе провел свой след.

* * *

Весна, Москва! Не зря назвали мы журнальчик «Зори», и не зря Сергей Глаголь и К. К. Первухин пустили золото на обложку. Что-то от светлой зари, юношеское и чистое, было в этих «Зорях», и навсегда они для меня овеяны светом весны, тех особых неповторимых чувств... Нас было несколько молодых литераторов, и два-три старших, и через всех нас прошел какой-то романтически-весенний ток: «Зори» сделались не только лишь журналом, но и умонастроением и какой-то душевной направленностью.

27 апреля. Открытие первой в России Думы. Наш поэт Александр Диесперов — студент в очках, живущий на 15 рублей в месяц, отшельник, страстный и патетический книжник,— впоследствии автор тома о блаженном Иерониме,— читает свою лирическую передовую для «Зорь» об эре свободы, о вольном народе и о другом, начинающемся... Апрельское золото на его некрасивом, и умном, и восторженном лице. Золото — во влажных от волнения глазах, да и по нас пробегает содрогание восторга. Вообще восторг — одна из важных черт «зоризма». Мы так иногда называли свое настроение. Диесперов воспевал в своих стихах Русь, апрель, колокола, березки, некий град Китеж, иногда приходил ко мне, задыхаясь от волнения и слез. Он был мистик, но не декадент. Страстно поклонялся Белому

(времен «Золота в лазури»), Блоку «Прекрасной Дамы». Поэзию и святую бедность он избрал себе для обручения. Сколько его я помню, облик монаха в нем рос, углублялся. Он совсем отдавал уже свою жизнь другим, иногда с некоторою суровостью; но тогда, в апреле «Зорь», он более всего остался в моей памяти с золотом слез восторга.

П. М. Ярцев, драматург и театральный критик[1].

Еще наш зорист был Владимир Высоцкий,— русский поляк с миндалевидными индусскими глазами, изящный, томный и всегда влюбленный, бредивший Каспровичем, Словацким («Ангелли» — его перевод), переведшим всего Пшибышевского. Он воспламенялся, когда речь касалась Польши или женщин. Верный спутчик по кабачкам, славный товарищ в жизни, звали мы его «Пшерва Тетмайер» или «Пшесмыцкий», а чаще: Пшесмыка. В этом слове казалось всегда мне что-то ласково-нелепое, весьма шедшее к человеку богемы.

П. П. Муратова не было тою весной в Москве. Он писал нам из Парижа, как из Петербурга прислал мне А. Блок свое чудесное стихотворение, впервые у нас в «Зорях» напечатанное (названия не помню: там есть строчка: «твой узорный, твой цветной рукав»). Андрей Белый тоже был наш, но не так близко-лично, и на наших собраниях, у меня, или Ярцева, кончавшихся иногда на рассвете, не участвовал. Но зорист, и упорный, был тогдашний ближайший друг его Эллис,— в то время бодлерианец и мистик, с большой исступленностью. Он писал нам мистические стихи, переводил Данте и всегда был готов к крайностям. Однажды покойный Б. А. Койранский оскорбительно пошутил над гипсовым Данте, стоявшим у Эллиса. Тот не стерпел и, схватив бюст (поруганный, по его мнению), разбил его вдребезги. Эта мучительная и «летящая» душа прошла много испытаний, ныне, надо думать, нашла прочную успокоенность в лоне католической Церкви. (Эллис — ученый монах и переводчик русских религиозных писателей на немецкий язык).

«Зорям» принадлежал также поэт Самуил Викторович Киссин (Муни). С грустью вспоминаю его прекрасные глаза, черную еврейско-ассирийскую бороду, его всегдашнюю тоску и ненасыщенность,— с грустью за недолгую жизнь, за горький конец. (Он застрелился во время войны.) И я зашел бы слишком далеко, если бы подробней написал о двух мне лично очень близких зористах А. А. Койранском и В. И. Стражеве. Кажется, мне остается добавить, что лирико-мистический «рассказ» был у нас представлен П. Кожевниковым, Венеция — К. К. Перву-

[1] О нем см. ниже.

хиным, санскрит и Индия — М. А. Эртелем, ученейшим филологом, Византия и Рим — А. П. Воротниковым.

* * *

Кто мы такие были: сотрудники, редакторы, издатели? Почему при марксистском журнале для увеличения его тиража печатался в двухстах экземплярах тоненький журнальчик мистико-романтического свойства? Почему мы все собирались и вслух читали свои произведения, а потом обсуждали, спорили, «выясняли отношения», отвратительно сами корректировали и т. д.,— для чего все это? Значит, так по-русски полагается, чтобы выходило бестолково. Но нам было весело и легко. Мы прожили отличную весну с тем сознанием делаемого дела, которое всегда есть у писателя, если даже разумом он понимает, что, в сущности, никому до его писания дела нет. Какая была наша публика? На кого мы влияли? Кому что-нибудь приносили? Женам, сестрам, разным молодым людям и барышням, для которых я был Зайчик, а Муратов — Патя. Но мы так разохотились, что, проведя кто где лето 1906 года, осенью вновь соединились, и всю зиму собирались у меня на Спиридоновке, где мы с В. И. Стражевым вместе сняли квартиру. Собирались для издания нового «органа», на этот раз вполне собственного: «Литературно-художественная неделя». Это было продолжением «Зорь», но более боевого и задирчивого типа. «Зори» никого не трогали. В «Литературно-художественной неделе» Б. Грифцов ставил Блока выше Толстого, кажется, мы заодно разгромили и Репина, а за нападки на Брюсова (вот от чего меньше всего отрекаюсь) вышла целая история с Андреем Белым.

«Неделя» наша тоже погибла,— и тоже от безденежья и «холодности» публики. Зористы же ходили ко мне целую зиму. Эти собеседования были очень горячи, искренни и светлы. Все-таки у нас было что-то вроде братства, секты романтиков; внутренний голос нас сводил; из душевной потребности родилось общение. Мы даже пытались определить «зорическое» миросозерцание. Конечно, мы все со всем «соединяли», «примиряли», разумеется, не обходилось без Владимира Соловьева. В то же время был у нас и особенный «русский» уклон и христианский. С христианством нас сближал как бы свет наших душевных устремлений и их музыка. Но мы были литературный кружок, а не религиозно-философский.

Все это прошло: но хорошо, что было. Вспоминая Москву, всегда вспоминаешь светлую горячку «Зорь». Молодость, братская дружба, энтузиазм,— не так это уже мало. И если для

литературы — песчинка скромная «Зори», то для живых людей, вот для наших душ, это время есть нечто.

Годы нас разбросали — и мировые потрясения. Много лет ничего я не слышу о В. Высоцком, Пшесмыке «Зорь». Горькое чувство мне говорит, что, всего вернее, сложил он, белый офицер, свою головушку где-нибудь под Ростовом. Диесперов, если жив, трудится в глубине России. Остальные мы разбросаны по всему свету. Москва, Россия, Франция, Германия, Чехословакия, Америка... Мир так просторен.

МОЛОДОСТЬ — ИВАН БУНИН

Можно ошибиться в годе, когда встретились. Но не ошибешься в том, что была зима. Неопалимовский переулок, звезды на ночном небе, огненно-сухая, снежная пыль из-под копыт «резвого». Яркий свет, тепло, запах шуб в передней профессора Р. Хозяин, нестарый еще психиатр с волнистыми волосами, в белом галстуке (при пиджаке), пел в гостиной у рояля, громко и смело:

«Целовался крепко... да-а... с твоей же-е-ной!» (Схватывая себя при этом за кок на лбу.)

В столовой молодежь — не то художники, не то студенты, не то поэты, не весьма основательные дамы, и, с черными кудерьками, карими чудесными глазами, сама хозяйка, Любочка Р. Все эти Зиночки, Лены, Васеньки — ее приятели. У Любы тяготение к модерну. У нее встретишь и Бальмонта, и Балтрушайтиса. Она читает «Симфонии» Андрея Белого. И ее брат, Георгий, только что вернувшийся из Сибири, вскоре разовьет свой «мистический анархизм».

Психиатр занимался циркулярным психозом, ездил в клиники на Девичье Поле, на дому лечил гипнозом (больше пьяниц). Принимал у себя молодежь. Относился к читателям «Симфоний» с благодушной снисходительностью, частью как к пациентам. Но задавала тон Люба — ласковостью, весельем, оживлением. Весь этот круг литературно-артистический носил оттенок легкой беззаботной художнической богемы.

Так же шумели, хохотали и танцевали в промежутках между пением и в тот вечер, когда в столовой, под рулады баритона из гостиной, впервые увидел я Бунина. Он сидел за стаканом чая, под ярким светом, в сюртуке, треугольных воротничках, с бородкой, боковым пробором всем теперь известной остроугольной головы — тогда русо-каштановой — изящный, суховатый, худощавый. Ласково блестя на него глазами, встряхивая черными завитками волос, улыбалась из-за самовара Любочка.

Пение оборвалось, раздались аплодисменты. Психиатр быстро вошел в столовую, оглядел всех победоносно. Налил стакан воды из стеклянного кувшина, залпом выпил, надышав туда. Поправил шевелюру и, сверкнув мужицкими своими глазками, весело спросил:

— Ну, как?

Это относилось к пению. Все зааплодировали, он тронул белый бессмысленный галстук и на лакированных ботинках проследовал в кабинет, где какой-нибудь Васенька выяснял отношения с какой-нибудь Зиночкой.

Этот свет и тепло квартиры, белизна скатерти, Любины кудряшки, молодое оживление вокруг, остроугольный, элегантный Бунин,— так и смешались в памяти с морозной ночью и звездами над Москвой — в ощущении остро поэтическом.

* * *

Встретились мы будто бы случайно. Но, принадлежа к одному кругу, занимаясь одним делом, не могли и далее не встречаться. Виделись у Леонида Андреева, Телешова, Сергея Глаголя. А там Литературный Кружок, ресторан «Прага»...

Пестрой и шумной, легкой и радостной кажется теперь жизнь тогдашней Москвы. Может быть, просто молодость? Необычайное по силе чувство жизни?

Но — и само время: какое привольное, сколь подходящее для артистического! Какой интерес к литературе! Сколько молодых дарований... Сколько споров, волнений, чтений, удач и неудач, изящных женских лиц, зимних санок, блеска ресторанов, поздних возвращений...

Иван Алексеевич жил тогда по гостиницам: в номерах «Столица» на Арбате (рядом с «Прагой»), позже в «Лоскутной» и «Большом Московском».

Оседлости не любил Бунин,— нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то в Крыму — или, вдруг, взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу — тогда виз не требовалось!

Живя в Москве, бывал и у нас, по разным Остоженкам, Спиридоновкам, Богословским и Благовещенским. Под знаком поэзии и литературы входил в мою жизнь: с этой стороны и остался в памяти. Всегда в нем было обаяние художника — не могло это не действовать. Он был старше, опытнее и сильнее. Я несколько его боялся, и по самолюбию юношескому ревниво себя оберегал. Мы говорили очень много — о стихах, литературе, модернизме. Много спорили — с упорством и горячностью, каждый отстаивал свое — в глубине же, под-

спудно, любили почти одно и то же. Но он уже сложился, я лишь слагался.

На «Средах» слушали чужие вещи и свои читали. Леонида Андреева, милого Сергея Глаголя я не стеснялся.

Но вот Бунин именно меня «стеснял». И тогда уже была в нем строгость и зоркость художника, острое чувство слова, острая ненависть к излишеству. А время, обстановка как раз подталкивали писателя начинающего «запускать в небеса ананасом» (Белый). Но когда Бунин слушал, иногда фразы застревали в горле.

Раз, выехав вечером из Москвы в Петербург — Иван Алексеевич, я, и жена моя, занимались мы в вагоне, часов в десять вечера, чтением вслух: он читал стихи, я рассказ (вез его в «Шиповник»). Именно там, с глазу на глаз, в купе второго класса Николаевской дороги, при смутном свете свечи, сильно мигавшей, неповторимом запахе русского вагона, неповторимо-плавном ходе поезда Империи, и ощущал я давление в горле — на сомнительных словесных виражах. Поезд неукоснительно-покойно шел зимними нашими полями. Тепло струилось по коридору, занавеска на фонарике покачивалась — полные своих планов, стремлений и чувств мы летели к туманному Петрограду.

* * *

«Почему вы грустны? Почему сегодня такой молчаливый?» — спрашивал меня иногда на «Средах» Бунин.

В молодости грусть и замкнутость — не проявление ли сил еще бродящих, неуверенных? Робости, гордости?

Во всяком случае, простые слова старшего, взгляд сочувственный,— как-то оживляли. И хотя отвечал я не весьма складно и продолжал молчать, все же это облегчало, и вот запомнилось. Значит, было на пользу.

В один апрельский вечер «Среда» собралась у Сергея Глаголя в Хамовниках.

Кто тогда читал, я не помню. Но в этой самой квартире, где из окна видна была каланча, а в комнатах — смесь акушерства с литературой и этюдами Левитана, и подарил мне в тот вечер Иван Алексеевич только что вышедшую книгу: «Песнь о Гайавате», в своем переводе.

Мы всегда ужинали после чтения, засиживались поздно. Извозчики громыхали, развозя по Москве полусонной — кого в «Лоскутную», кого на Чистые пруды. А кто и пешком брел. Я именно так и мерил пространство к Молчановке, там в доме Сусоколова, в деревянном особняке, снимал антресольную ком-

нату за пятнадцать рублей — с лежанкою, тополем за окном, выходившим на переулок Годеинский, где за углом, на Арбате, и жил Бунин в «Столице». Отсюда ходил я в Спасо-Песковский к будущей своей жене, сюда, по скрипучей лесенке, забегала и она.

Теплое было утро, влажное, тихое...— с каплями росы, благоухающими почками тополевыми. Может быть, слегка даже дождик накрапывал? Шел третий час, четвертый. Помню, сидел у окна раскрытого, и читал эту «Гайавату», и мечтал о чем-то, восхищенный, взволнованный. И совсем стало светло...— а еще что?

И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень

Только и всего. Поэзия была. И что-то от нее произрастало в сердце.

* * *

В доме Армянских, кораблем воздымавшемся на углу Спиридоновки и Гранатного, позже мы жили. Над переулком свешивались ветви чудесных тополей и лип особняка Леонтьева. Недалеко от нас дом Рябушинского, с собранием икон. Недалеко и церковь Вознесения, где Пушкин венчался — белая, огромно-плавная, с куполом-небосводом[1].

В доме Армянских много у нас уже бывало народу, во главе с тою же Любочкой Р., и профессор заглядывал, и Бальмонт, Сологуб, Городецкий, Чулков, Андрей Белый...— и все Зиночки, Васеньки, Машеньки прежних времен. И Муратов, и Стражев, Койранский, Высоцкий — сверстники и сотоварищи писания. Иногда спал на турецком диване З. И. Гржебин, «Шиповник», мой первый издатель, приезжавший из Петербурга. Как «неариец» не имел в Москве права жительства — останавливался у нас.

И, конечно, бывал здесь Иван Алексеевич Бунин.

Дух был богемский и бестолковый. Путано, шумно, нехозяйственно — но весело. И весьма молодо. В сущности, то же, что и у Любочки Р., только без пения и циркулярного психоза. И с преобладанием литературы, еще большим на ней ударением. Очень много читали здесь вслух — и я сам, и другие. И Белый, и Бунин. Старше нас, но отчасти, меж Зиночек, Любочек,

[1] Ныне разрушена

Диесперовых и Грифцовых молодея, читал Бунин стихи... Вновь нас обольщал. «Острый Сириус блистал», олень мчался средь чащу зимнюю, в лунную ночь волки брели по снегам к гумну. Или:

Старых предков я наследье чую,
Зверем в поле осенью ночую,
На заре добычу жду. Скудна
Жизнь моя, расцветшая в неволе,
И хочу я смело в диком поле
Силу страсти вычерпать до дна

Силы жизни, жажды жизни много в нем было в те годы.

На одном сборище таком встретил он у нас тихую барышню с леонардовскими глазами, из старинной дворянской семьи... Вера Николаевна Муромцева жила у родителей в Скатертном, училась на курсах, вела жизнь степенную и просвещенную. С женой моей была в давнишних добрых отношениях.

Тот вечер закончился частью в Литературном Кружке, частью в Большом Московском — очень поздно, и вряд ли мог кто-нибудь тогда подумать, что недалеко время, когда обратится Вера Николаевна Муромцева в Веру Николаевну Бунину.

Но это именно и случилось. И весной следующего года уехали они в дальнее путешествие.

* * *

Помню чтение «Астмы» в доме Муромцевых, в комнате Бунина с гильзами, табаком — комнате как бы помещичьего дома (только ружей на стене не хватало, да легавой собаки). «Деревню» читал автор несколько вечеров, в столовой, под висячей лампой, тоже по-деревенски. Слушали: брат Юлий, Телешов, покойный Грузинский, да мы с женой. Это было уже другое — новая полоса в писании его, да в жизни иное пришло. Он креп, рос, временно отходил от лиризма более молодых лет. Через два-три года выбрали его в Академию, по разряду изящной словесности, и мы бурно отпраздновали это событие в московской «Праге». Несколько позже — 25-летний его юбилей, тоже очень торжественно, на всю Москву, чуть не целую неделю. Это значит — уже «маститый», академик.

Жизни же наши шли, как кому полагалось. Вместе приближались мы к рубежу, в грохоте и огне которого погибло все прежнее — кроме таинственных следов в памяти и душе. К ним и обращаешься теперь, как бы из другого мира.

ЮЛИЙ БУНИН

Москва богата улицами, переулками. Их имена порой причудливы. «Середа» применила этот словарь к шуточным кличкам своих сочленов. Телешов назывался «Угол Денежного и Большой Ленивки», Сергей Глаголь (за красноречие) — «Брехов переулок», Гольцев — «Бабий городок», Андреев — «Ново-Проектированный». У Ивана Бунина прозвища не было, но его брата Юлия с отдаленных времен окрестили «Старо-Газетным» переулком.

Юлий Алексеевич никогда в Газетном не жил и в газетах не писал. Он был редактором журнала «Вестник воспитания» из Староконюшенного переулка. Знающие говорили, что это лучший педагогический журнал. Мы, несведущие, могли только утверждать, что журнал помещался по левой стороне Староконюшенного, во флигеле особняка Михайлова. Юлий Алексеевич всегда сидел в своей квартире-редакции — на стене св. Цецилия,— читает рукописи, пьет чай и курит. Из окна видна зелень Михайловского сада, в комнатках очень тихо, если зайти часов в двенадцать, то весьма вероятно, что там и Иван Бунин, и что они собираются в «Прагу» завтракать.

Юлий Алексеевич невысок, плотен, с бородкой клинушком, небольшими умными глазами, крупной нижней губой, когда читает, надевает очки, ходит довольно мелким шагом, слегка выбрасывая ноги в стороны. Руки всегда за спиной. Говорит баском, основательно, точно продалбливает что-то; смеется очень весело и простодушно. В молодости был народовольцем, служил статистиком, а потом располнел и предстал законченным обликом русского либерала.

— Юля,— кричала ему в Литературном Кружке веселая молодая дама.— Я вас знаю, вы из либерализма красную фуфайку носите!

Юлий Алексеевич подхохатывал своим скрипучим баском и уверял, что это «не соответствует действительности».

Был он, разумеется, позитивистом и в науку «верил». Жил спокойной и культурной жизнью, с очень общественным оттенком: состоял членом бесчисленных обществ, комиссий и правлений, заседал, «заслушивал», докладывал, выступал на съездах, и т. п. Но пошлостей на юбилеях не говорил. Нежно любил брата Ивана — некогда был его учителем и наставником, и теперь жили они хоть отдельно, но виделись постоянно, вместе ездили в Кружок, на Середу, в «Прагу». На Середе Юлий Алексеевич был одним из самых уважаемых и любимых сочленов, хотя и не обладал громким именем. Его спокойный и

благородный, джентльменский тон ценили все. Что-то основательное, добротное, как хорошая материя в дорогом костюме, было в нем, и с этим нельзя было не считаться. Когда Середа выступала как-нибудь общественно, Юлий Алексеевич всегда стоял во главе.

Он не сотрудничал в «Русских ведомостях», и это странно, ибо именно «Юлий», как мы его дружески называли, являл собой тип «Русских ведомостей», он потому и назывался «Старо-Газетным», что носил в себе воздух, дыхание некоего мира. «Юлий» был мера, образец и традиция. В сущности, по нему одному, по его речи, суждениям, заседаниям, заграничным поездкам, можно было почувствовать всю ту жизнь, все то время.

* * *

Узнав об объявлении войны, он впал в тяжелое уныние.

— Мы погибли,— сказал в июле 1914 года брату Ивану.

Дальнейшему, видимо, уже не удивлялся. По странному упорству не захотел ехать с братом на юг в 1918 году и остался в Москве — наблюдать гибель мира, к которому принадлежал, и под который сам закладывал некогда динамитный патрон.

Нельзя было во времена моей молодости представить себе дня, когда не вышли бы «Русские ведомости». Трудно себе вообразить и то, чтобы Юлий Алексеевич не заседал во флигельке Михайловского дома над корректурами «Вестника воспитания». И однако, все это случилось. Люди с красными флагами выгнали людей в красных фуфайках. «История» предстала в некий час просто и грозно, опрокидывая и давя «джентльменский» уклад, тонкой пленкой висевший над хаосом.

Надвигались страшные зимы 19—20-го годов. Тут не до Середы, не до литературы. Только бы не погибнуть! Середа к этому времени понесла уже большой урон: умер Леонид Андреев, умер и Сергей Глаголь, и Тимковский. Иван Бунин уехал на юг. Я в Москву лишь наезжал, из деревни. Юлия Алексеевича встречал, но не часто. Ни «Русских ведомостей», ни «Вестника воспитания» уже не существовало. «Юлий» был грустен, недомогал. Пальто его совсем обтрепалось, шапочка также. Из Михайловского флигелька его выжили. Что сделали со св. Цецилией? Вероятно, сожгли в печурке (но она ведь и есть дева-мученица). Как и все, жил он впроголодь.

В 1920 году, когда я перебрался вновь в Москву, здоровье Юлия Алексеевича было уж совсем неважно. Нужен был медицинский уход, лечение, правильное питание...— в тогдашней-то голодной Москве!

После долгих хождений, обивания порогов его устроили в сравнительно прочный дом отдыха для писателей и ученых в Неопалимовском. Там можно было жить не более, кажется, шести недель. (Место, где написана известная и, в своем роде, замечательная «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и Гершензона,— тоже памятка русских бедствий.) Раза два ему срок продлили, но потом пришлось уступить место следующему, перебраться в какой-то приют для стариков в Хамовниках.

Я был у него там в теплый июньский день. «Юлий» сидел в комнате грязноватого особняка, набивал папиросы. На железных кроватях с тоненькими тюфячками валялось несколько богаделенских персонажей. Мы вышли в сад. Прошлись по очень заросшим аллеям, помню, зашли в какую-то буйную, глухую траву у забора, сидели на скамеечке и на пеньке. «Юлий» был очень тих и грустен.

— Нет,— сказал на мои слова о брате,— мне Ивана уже не увидеть.

Этот светлый московский день с запущенным барским садом, нежными облаками, с густотой, влагой зелени, с полуживым Юлием Алексеевичем, остался одним из самых горестных воспоминаний того времени.

Через несколько дней «Юлий» обедал у меня в Кривоарбатском. Обедал! В комнате, где жена стряпала и стирала, где я работал, а дочь училась, он съел тарелку супа и, правда, кусочек мяса.

— Как у вас хорошо! — все говорил он,— как вкусно, какая комната!

Больше живым я его уже не видал.

* * *

В июле представитель нашего Союза добился от власти, чтобы Юлия Алексеевича поместили в лечебницу. Назначили больницу «имени Семашко» — «лучшее, что мы можем предложить». Когда племянник привез Юлия Алексеевича в это «лучшее», то врач задумчиво сказал ему:

— Да, что касается медицинского ухода, у нас вполне хорошо... но знаете... кормить-то больных нечем.

Юлий Алексеевич, впрочем, не затруднил собою, своею жизнью и питанием хозяев этого заведения: он просто умер, на другой же день по приезде.

Мы хоронили его в Донском монастыре, далеко за Москва-рекой, тоже в сияющий, горячий день, среди зелени и цветов. Старые друзья, остатки Середы, все явились поклониться сото-

варищу, в горький час России уходившему. Он лежал в гробу маленький, бритый, такой худенький, так непохожий на того «Юлия», который когда-то скрипучим баском говорил на банкетах речи, представлял собой «русскую прогрессивную общественность», редактировал сборник Середы или, забравшись с ногами на кресло, подперев обеими руками голову, так что все туловище наваливалось на стол, читал и правил в Староконюшенном статьи для «Вестника воспитания».

II

«ДЕЛО БОГЕМЫ»

«Утром нежность, сверхземное успокоение Ассизи открылись и глазам моим. Теперь, с высоты того же балкона я увидел то, что так таинственно молчало вчера. Я увидел деятеля этого молчания, это была воздушная бездна в бледных, перламутрово-сиреневых тонах. Священная долина Умбрии! Тонкий туман стелется в ней по утрам, заволакивая скромные селенья: те как бы евангельские Беттоны и Беваньи, близ которых проповедовал Святой Бедняк».

Вот настроение счастливого паломничества, которое совершали мы, в простеньких условиях, но с большим одушевлением, осенью 1910 года. Молодость, беззаботность, склонность к восторженности. Венеция, Римини, Ассизи...

На возвратном пути остановились во Флоренции. Прелестен был, как всегда, город. Полны, изящны дни.

И тихо жизни быстротечной
Над нами пролетала тень

В один из этих дней подали мне телеграмму из Москвы.

«Vieni subito difendire Vittorio»[1].

Поэт В. С., очень близкий мне тогда человек, находился в это время в Пизе. Как мог я его защищать? И от кого? Почему надо было немедленно возвращаться в Москву?

Вечером на площади Виктора-Эммануила, в кафе, где прислуживали официанты в красных фраках, я прочел, что Бурцев раскрыл в литературной богеме Москвы грандиозную провокацию: ее душой была Ольга Путята. Она оговорила Бурцеву своего гражданского мужа, небезызвестного московского литератора С.— он, якобы, соучаствовал в ее делах. Вот почему надо возвращаться. «Речь» перепечатала это из «Русских ведомостей». «Русские ведомости» считались в Москве верхом со-

[1] Срочно приезжай защищать Виктора *(ит)*

лидности. Если **там** появилось, значит, правда. Как защищать? Чем опровергнуть утверждение: «он тоже знал, и помогал, и пользовался от меня деньгами»?

Если в Москве **поверят**, человек убит. Все отвернутся от него. Ни одна его строчка не появится в печати. Никто не подаст ему руки.

Кончилось наше мирное путешествие. Началась «жизнь». Надо было в нее возвращаться.

* * *

Литературная молодежь того времени связь с революцией имела. Революция считалась носительницей свободы против произвола. Революция заступалась за низших. В революции, наконец, было известное воодушевление. Императорский же режим медленно, но безостановочно разлагался. Молодежи, естественно, хотелось нового, свежего и патетического.

Патетизм-то оказался жалким, «новые» люди убогими, но под тогдашнюю линию все это сходило. Известный гипноз был. Почему-нибудь ведь давали мы свои квартиры под «явки»? Таинственные личности с «паролями», «литературой», иногда шрифтами и обоймами появлялись же в четвертом этаже дома на углу Арбата? Шумели, спорили, раздавали приказания, оставляли в комнатах поразительный беспорядок, и были, за редкими исключениями, удивительно неприятные люди, говорившие на жалком жаргоне («массовка», «столовка», «отзовизм» и т. д.),— беспредельно самоуверенные, но не показавшие еще когтей вовсю. В то время, по молодости лет, я иногда удивлялся, как это нас не арестуют: идешь по Арбату, и видишь «типа» в синей рубашке под жилет, в широкополой бандитской шляпе — он поворачивает в переулок... и я встречаю его у себя в квартире. Но ведь слепому же ясно, что эти подозрительные, и так резко выделяющиеся фигуры не зря являются. Почему же им позволяют собираться так открыто? Позже все разъяснилось.

Наша личная связь с революцией была поверхностна. Некоторые же из друзей моих вклинились в нее крепче — по сердечным делам. Тут-то и появляется Путята.

Наше с нею знакомство восходит к 1904 г. Она сблизилась тогда с моим приятелем В. В., переводчиком Пшибышевского, Тетмайера и других. Они поселились вместе, в изящной и приятной квартирке, на Долгоруковской — Ольга Федоровна всегда заводила уют, сама была элегантная и миловидная маленькая женщина. Происхождением из западного края, полу-

полька, хорошо «стелилась под стопы паньски», хорошо одевалась, была приветлива и образованна. Тоненькая фигурка с красивыми карими глазами. В., ее друга, мы называли Пшесмыцким, или просто «Пшесмыкой» — Пшесмыка был музыкант, тонкая и даровитая натура, его миндалевидные глаза и несколько индусский облик несли в себе известную пряность: нечто среднее между «индусским гостем» из оперы и московским Пшибышевским. Разумеется, он много пил. Но много и работал. Ольга Федоровна отлично им владела, и они жили, несмотря на его богемскую непутевость, довольно ладно.

Но времена изменились. О. Ф. «разлюбила» Пшесмыку и сошлась с нашим общим другом В. С. Их жизнь, однако, хуже сложилась. С. не был так мягок и удобен для управления. Самолюбивый и с характером, очень умный, по образованию филолог, бросивший учительство для литературы, он попал в самую горячку начала века. Вокруг делались быстрые и шумные литературные карьеры. Ему выбиться не удавалось. Из скромного учительского быта он попал в кипение богемы, в новую жизнь с Литературным Кружком, собраниями, лекциями, пестротой и сутолокою ресторанов, в круг изящных женщин, легких романов, в ту нарядную пену, которой тогда было так много. Для Путяты он оставил семью, детей. Но и с ней жизнь его оказалась тяжелой. Ссоры, ревность, с ее стороны — даже попытки самоубийства.

Еще зимою 1910 г. по Москве пошли слухи о «подозрительности» Путяты. Помню вечер, когда мне и жене сообщили, что Путята считается предательницей. Помню ощущение оцепенения... Ольга Федоровна, которая у нас же устраивала явки, у которой мы иногда ночевали, которая при нас переплавляла кого-то за границу (и сходило удачно!), наконец, с кем жена моя на «ты»... Правда, она всегда была лживой, могла и ластиться, и хорьком куснуть (вообще походила на коварного зверька польской закваски),— все же предательство?

— Кто и чем может это доказать?

Доказательств прямых не было. Но из партии ее уже, кажется, удалили. Не то, что «разоблачена», а «подозрительна».

— Да,— решили мы,— но, может быть, просто слухи? Сплетни? Как же так вдруг, Ольга Федоровна провокатор? Мало ли что болтают. Такие вещи надо доказывать.

В. С. также — и с негодованием — обвинение отверг.

Положение осталось неясным. Время шло, улики не являлись. Но Путята худела, мрачнела, замыкалась в себя. Личные их отношения становились все хуже.

Однажды весною С., засидевшись у меня вечером, сказал:

— Проводи меня до дому. Мне что-то очень грустно. Оля все грозится покончить с собою и отомстить мне так, что и в голову не придет.

Его жизнь в это время также приняла несколько болезненный оттенок. Он много играл в карты. Много волновался из-за литературных неудач. Имела она основание и ревновать его.

Летом, в очень дурных отношениях с ней, на случайные деньги (он играл на бегах, скачках), С. уехал в Италию, с нашей легкой руки входившей в моду. Путята — в Париж. Там и созналась Бурцеву, что уже несколько лет служит в охранке и...— вспомнила угрозу! — что и С. знает об этом, помогает и пользуется ее деньгами. Бурцев все это сообщил печати.

* * *

Мы мгновенно собрались из Флоренции. В Москве картина оказалась тяжкой. Да, так и вышло, как мы предполагали: кроме ближайших друзей, все отвернулись от С. Раньше я не видал, чтобы нравственное страдание так искажало физически. С. стал какой-то иной, изменился цвет лица его, звук голоса, выражение глаз. Всегда-то худой, он обратился в трость. На тоненькой шее, несколько набок, сидела голова с серыми, навыкате, замученными глазами. Он сразу прекратил все уроки, все литературные дела и все знакомства.

Предстояла борьба. Пятеро его друзей подписались под вызовом «Русским ведомостям». Вызов появился в «Русском слове». Мы в страстной форме удостоверяли лживость обвинения и свидетельствовали о порядочности С.[1]. Он же потребовал третейского суда.

Если бы газета не пошла на суд, оставалась только дуэль. Косвенно это дано было понять — «Русские ведомости» на третейский суд пошли.

* * *

Вспоминая ту зиму, ничего не помню в ней, кроме этого «дела богемы». Оно стало кровным моим делом. Моего друга бесчестили. Моя квартира оказалась «светлым пятном для охранного отделения» (на этих-то «явках» и выслеживали кого надо. Вот почему нас и не арестовывали!). Вся наша литературная группа прямо или косвенно задета. Если С. мог знать о ремесле

[1] Среди подписавших — П. П. Муратов и тот самый В. В, от которого Путята ушла к С.

своей жены и продолжать с ней жизнь, то каков он, какова среда, каковы мы все...

В обществе приходилось сражаться постоянно.

— Позвольте,— говорили нам,— Путята служит в охране, получает жалованье, муж в течение двух лет ничего не замечает? Ну, это сказки! А откуда же у нее деньги, он не соображал?

Надо сказать, что жила Путята довольно таинственно. Считаясь членом партии, куда-то иногда отлучалась «по партийным» делам, ночевала дома не всегда, вела «конспиративные» знакомства, и т. д. Уследить за ней было бы нелегко. Деньги ей будто бы присылали родные. Она хорошо одевалась, и при врожденной лживости отлично обманывала не только С., но и наших, более искушенных, дам насчет цены своих туалетов («по случаю», «на распродаже», и т. д.). Да и получала она немного. Как скупо платят за предательство! Сперва 35 рублей в месяц, а потом, уж на четвертый год — 100. «Сребреники» не многим превышали Иудины.

Все это так. Но посторонние не знали семейной жизни С., не знали, что именно весной их отношения вполне разладились, не знали о ее истерической ревности и истерически выросшей ненависти к нему. Не знали и о прямой угрозе.

Начался суд. Он был поставлен серьезно. Председатель — Филатов, глава адвокатского сословия в Москве. Стороны — профессора, писатели, известные юристы (Н. В. Давыдов). Заседания происходили на квартире Филатова, в обстановке почти Окружного суда. Разбиралось все по существу. Допросили море свидетелей. Запрашивали Бурцева и Белоруссова (парижского корреспондента). Путята не пожелала ни подтвердить, ни опровергнуть своего показания.

Заседания шли в нервном, остром стиле. «Русские ведомости» взяли тон прокурора, стараясь топить С. Он яростно защищался и переходил постепенно в нападение. Мы показывали тоже в страстном тоне, все приблизительно одно: С. честный человек, мы знаем его жизнь, день за днем, провокаторша мстила из ревности, оговор голословен, и т. д. Позиция С. была такая: газета нарушила литературную этику, возводя вздорные обвинения. Она должна за это ответить.

С обеих сторон ставка была немалая. Этим и объяснялось упорство борьбы.

* * *

В., на суде показавший за С., жалел Путяту. Даже несколько раз с ней виделся. Он считал, что она погибший человек...— все же, это была его прежняя любовь, да и «славянская мягкость»

в нем говорила. И надо сказать, трудно, очень трудно заушить уже опозоренного, уже распятого преступника. Какая бы Путята ни была, я вспоминаю ее лицо за этот год позора и сравниваю с прежним: дорого ей обошлись тридцать сребреников. Каким затравленным зверьком выглядела она уже тогда, когда над ней только скоплялась туча подозрений!

Припоминаю одну ночь, еще до суда. Мы были в Литературном Кружке. Туда заехал и С. Мелькнула изящная фигурка О. Ф. Потом исчезла, неся уже за собой груз двусмысленных взглядов. Через полчаса С. вызвали к телефону. Он вернулся белый, с дергавшимся на щеке мускулом: О. Ф. только что отравилась, вернувшись домой, но жива, ее отправили в Старо-Екатерининскую больницу.

...Три часа ночи. После блеска, говора, вина, электричества — приемная больницы, холодные и темные коридоры. Едва светит лампочка. Мы с женою и С. сидим и ждем. Сверху доносятся вопли, какая-то полоумная икота. Ольгу Федоровну водят под руки по коридору, не давая заснуть,— способ борьбы с остатками яда, только что выкачанного из желудка.

Мы тогда, по наивности, думали, что это последствие ссоры с С. Но, кажется, именно в тот вечер в клубе кто-то ясно дал ей понять, что ее подозревают.

В зиму же «процесса» она не появлялась уж нигде. Болезненную, полудикую жизнь вел и С. Он целыми днями дремал у себя в номере, бессмысленно бродил по улицам, приходил ко мне почти ежедневно — с воспаленным, как бы пьяным лицом, горячими руками... При его мучительном самолюбии, уже ранее растравленном неудачами, при недостатке моральной силы, вести жизнь «человека с пятном», «подсудимого» было ужасно. Иногда мы демонстративно «вывозили» его на люди, пренебрегая общественным мнением (державшимся к нему холодновато). Но чаще — играли в шахматы, или обсуждали подробности будущих заседаний, возможных нападений и ответов. Он становился маниаком.

В эту самую зиму, столь для него горькую, нашлась, однако, юная душа, совсем молоденькая девушка, слепо в него влюбившаяся именно потому, что он как бы «отверженный», что, идя по Тверской в своем зимнем пальто и меховой оленьей шапке с наушниками, он не знает, поклонится ли ему встречный знакомый, или нет.

Эта девушка вышла за него замуж.

* * *

«Дело» тянулось всю зиму. Иногда нам казалось, что оно вообще никогда не кончится. В самом составе судей происходили

перемены, мы думали, что они просто перемрут до окончания его. Судьи распалились тоже очень. Спор о тексте постановления шел, кажется, чуть не месяц.

«Приговор» оказался полной нашей победой. Суд выразил «Русским ведомостям» порицание за неосторожность, с какою они возвели тяжкое и бездоказательное обвинение на неповинного человека.

* * *

С тех пор прошло семнадцать лет.

Те, кто тайком ходили к нам на «явки», ездят теперь в автомобилях, живут в Кремле, носят почтенный титул убийц наших детей. Те, кто тогда волновались и спорили, друзья и враги — одинаково оказались в изгнании. «Русских ведомостей» нет вовсе. Италия жива и всегда будет прекрасной Италией — но и она сейчас иная...

В анфиладе событий, катастроф и трагедий все рассказанное — песчинка. Но живые люди участвовали в нем, гибли, боролись и подымались — в малых размерах это и есть облик жизни.

Путята исчезла. Никогда больше не видал я ее хорькового лица, карих глаз, элегантной фигурки. Весной 1911 г. ее портрет, как «провокаторши», появился в газетах рядом с приговором. И дальше — забвение. Из Москвы она куда-то уехала. Перекинулась ли в революцию, вновь, по-иному, к большевикам? Была ли где-нибудь комиссаршей или нарядной чекисткой? Спекулировала ли? Или служила шпионкой иностранной державы? Прошел слух, что большевики расстреляли ее. Это очень возможно. О, как крепко боролась — думаю — за жизнь эта маленькая, хитрая, остро-пронзительная и в конце концов очень несчастная предательница.

И главное лицо пьесы... С.— Всяко в жизни бывает. Он просто победы не выдержал. Или слишком она запоздала? Страданья зимы раздавили его. Он уже не оправился. Впал в глубокий мрак. Все, как кошмар, преследовали его подозрения. Силы быть выше людей у него не нашлось, в Москве он не удержался и, женившись, погрузился в первоначальный свой быт — стал учителем в провинции.

Это был, одно время, ближайший мне человек. Мы любили друг друга. Многое вместе пережили, вместе начинали литературный путь, даже вместе жили. Странным образом, то самое «дело богемы», в которое оба мы столько вложили страсти, из которого вышли победителями,— оно-то и развело нас...

Я не знаю об С. ни звука.

ФЛОБЕР В МОСКВЕ

Нельзя сказать, чтобы у нас хорошо знали Флобера. При жизни перевел две его новеллы Тургенев («Легенду о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиаду»). Переводы эти очень полны, богаты, и, как все, что писал Тургенев, проникнуты в языке духом свободы, непринужденности — чем от самого Флобера Тургенев очень отличался: во французском писателе было гораздо больше суровой выработки, зашнурованности. Переводы Тургенева отличны. Все-таки «Юлиан» вышел тяжелее, менее музыкален и шершавее, чем подлинный. Странным образом, наряд нашего языка кажется несколько грузным для этой вещи!

«Госпожу Бовари» перевели еще в шестидесятых годах. Позже — «Сентиментальное воспитание», «Искушение св. Антония», «Саламбо» (тоже при жизни автора) — и очень плохо. По этим лубочным изданиям никак Флобера узнать нельзя.

Как следует начал он просачиваться к нам в девяностых годах — посмертно. Семидесятые, восьмидесятые были у нас глубоко провинциальны. Флобер не пришелся бы к месту. Но в девяностых произошло некое освежение. Изменился подход к искусству. Ослабело давление «общественности». Художество заявило права нерушимые, как бы потребовало Великую Хартию вольностей — и получило ее.

Эту полосу мы по себе уже знаем, и не о ней речь. Но ее воздух оказался благоприятным для Флобера.

Одним из ранних его ценителей русских явился князь А. И. Урусов — дилетант-эстет, не профессионал, но человек тонкий и со вкусом. От блестящей адвокатской деятельности урывал он время для литературы. Прославлял Флобера в Москве среди писателей, артистов. Очень неплохо сам переводил отрывки из него. Флобера вознес в «Вечных спутниках» Мережковский (но, сколь мне известно, не переводил). Большими его поклонниками оказались Бальмонт и Бунин. К моему величайшему удивлению, и Максим Горький.

* * *

В 1904 году попался мне от К. Д. Бальмонта урусовский экземпляр «Искушения св. Антония». Бывает, что лицо человеческое сразу, необыкновенно понравится. Бывает так и с книгою. С первых же звуков, слов Флобера, ощутил я, что это мой. Я в него влюбился. Флобер на некоторое время стал моей манией. Как истый влюбленный, я не допускал спора о нем, тем более — осуждения.

«Искушение св. Антония» вещь очень трудная, неблагодарная. В форме видений проходят в ней страны, народы, цари, ересиархи, красавицы, бесы, учители Церкви, звери, сам диавол. В конце Христос является в диске солнца, как бы обнимая природу и мир. Все это втиснуто в триста страниц. Движения и развития нет. Вещь глубокой внутренней горечи. И глубокой поэзии. Держится вся на красоте слова. Некоторые звуки «Искушения» доставляли мне почти физическое удовольствие... Но удовольствие это — на любителя. Среди читателей не много поклонников было у него — находили скучноватым, вроде второй части «Фауста». Французской публике, при появлении своем, «Искушение» вовсе оказалось не по зубам. Русская могла судить лишь по отвратительному переводу, губившему все.

И вот мне вздумалось перевести его на русский. Предприятие очень рискованное, требовавшее больших знаний, силы в собственной словесности и — крепости, зрелости. Всего этого явно не хватало. Приходилось брать увлечением.

Я взялся страстно. Засел в Румянцевском музее за разных гностиков, за Василидов, Валентинов, за словарь Миня, историю Вавилона — и мало ли еще какой премудрости нет в «Искушении»! — хотелось же, переводя любимого писателя, знать все, о чем идет речь. Одновременно читались и другие его вещи — «Бовари», «Саламбо», «Три новеллы». Много радостного и прекрасного дал этот роман с Флобером, радость чистейшего искусства, радость учения, общения с великим художником, столь простым, благородным, одиноким. Среди зимы удавалось уезжать недели на три в деревню, под Каширой, и в отцовском доме невозбранно трудиться над флоберовском словом. Окно небольшой комнаты с ковром по стене над тахтой, с рогами и ружьями на них, голландской печью, всегда жарко натопленной, выходило на открытый балкон. Летом он тонул в жасмине. Теперь, в декабрьские дни, метель завивала по нем белые змеи, он весь в тумане, на стекле окошка налипли снежные узоры, иглы, звезды, фантазии не хуже таинственных стран Флобера. За небольшим столом бился некто над трудными местами мастера, искал, вставал, ходил... Метель трясла немолодую крышу дома, дергала ставни. Из окна тянуло холодом. Ритмическою прозой надо было описывать царицу Савскую, Византию, Рим, Египет. (Особенно хотелось передать звучание флоберовской прозы, ее музыку. На этом пути случалось пускаться и в сомнительные предприятия, чрезмерно напрягая язык.)

Поддерживало то, что сам Флобер писал мучительно. Борьба, погоня его за словом (или фразой) были изумительны. Прелестны

его художнические бдения в Круассэ, в одиночестве, манера самому себе вслух читать написанное... Иногда ночью я просыпался, под тот же зимний, пустынный ветер, и в ужасе вскакивал с тахты: зажигал свечку, как гимназист, не доучивший урок, бежал к столу, смотрел в рукописи — вдруг да ошибся на такой-то строчке!

Работа шла медленно. Заняла не менее года. Раза три перевод переписывался. Весь был испещрен поправками, вставками, зачеркнутыми словами.

Летом, от тех же Бальмонтов, получил я переписку Флобера, в четырех томах: книги принадлежали Александре Алексеевне Андреевой, сестре супруги Константина Дмитриевича. Ныне Александры Алексеевны нет в живых. Прекрасный человек, старый достойный литератор, прежняя Москва! — не могу без волнения вспомнить ее особняк в Брюсовском, ее книжные шкафы, ее самое — высокую, представительную даму, с очками на кругловатом лице... «Correspondance de Gustave Flaubert»[1] — четыре тома в коричневых шагреневых переплетах — как связано это с Александрой Алексеевной, ее солидностью и добросовестностью, ее черным шелковым платьем с золотой цепочкой. И дальше — лето в деревне, дожди, сладкий запах жасмина, пушок весеннего тополя, упавший на страницу «Correspo dance». У себя во флигеле запоем читал я эти удивительные письма, лучше их ничего не знаю в эпистолярной литературе. Видел Круассэ, дом Флобера, Сену, его сад, жизнь суровую и одинокую, высшим достоинством проникнутую. И высшей грустью. «La vie n'est supportable qu'en travaillant» — навсегда ленивому запомнились слова великого столпника нашего искусства.

* * *

В зрелости знаешь, что ни от чего мир не сдвинется, ни от твоих дел, ни от твоей жизни, ни от смерти. Некий высший смысл делания остается, конечно. Без этого мы все обратились бы в поденщиков. Очень загадочная вещь — смысл творчества! К счастью, в душе заложен непонятный разуму закон, или таинственная сила, через года, десятилетия влекущая все к одному: строителя — к строению, дельца к делам, политика к властвованию, художника к словам, звукам, краскам.

Это влечение наджизненно. В зрелости повинуешься ему как знаку свыше, и только. В юности кажется, что «дело» необходимо и для окружающего мира. Это дает, конечно, подъем огромный.

---

[1] «Переписка Гюстава Флобера» *(фр)*

Мучаясь над Флобером, я был убежден, что малейший промах имеет всероссийское значение. Что я могу задеть священную особу Литературы. Что вся работа эта вообще необычайно важна. Кругом были каширские поля и молчаливые пейзане, в те времена загадочно помалкивавшие. Как страшно важно для них, хорошо выйдет Флобер по-русски, или плохо!

«Искушение» появилось в сборнике «Знания». Затем отдельным изданием, в «Знании» же. Солнце вставало совершенно как раньше. И в государстве российском никаких событий не произошло. Гонорар заплатили хороший — читатели же, как и прежде, находили, что «Искушение св. Антония» вещь... ну, скажем, тяжеловесная. Знавшие переводчика лично, опасались задевать при нем Флобера.

На смену «Знанию» вырос «Шиповник» (создатель его, З. И. Гржебин, покоится сейчас на здешнем кладбище). В одном из сборников «Шиповника» появилось в моем же переводе «Простое сердце» (там есть ошибка, до которой никому нет дела, и сами эти сборники разлетелись дымом по лицу Совдепии: меня же она и сейчас жалит). Друзья мои шиповники, Гржебин и Копельман, приезжая из Петербурга ко мне в Москву и у меня останавливаясь, много наслышались о Флобере. И задумали издать собрание его сочинений по-русски.

* * *

Когда Флобер умер, Тургенев, большой его почитатель и ценитель, опубликовал в России призыв подписываться на памятник Флоберу — первая попытка международной дружественности в литературе.

К стыду России, она провалилась. Русские не доросли до общеевропейского чувства прекрасного. На призыв лучшего своего писателя не только не откликнулись — засыпали его насмешками (и оскорблениями!) за самую мысль о солидарности. Какой-то там Флобер! Собирать на Флобера! Тургенев получал ругательные письма.

Пишешь об этом с горечью — и за Россию, за Тургенева, и за Флобера. Но с чувством отдыха вспоминаешь, что все-таки, хоть через тридцать лет, некий реванш Флобер в России взял.

Огромные томы собрания сочинений выходили со статьями, примечаниями, вариантами. «Госпожу Бовари» перевела Чеботаревская под редакцией Вячеслава Иванова, «Саламбо» — Минский, «Искушение» — мое, «Сентиментальное воспитание» — В. Муромцевой и под редакцией Бунина, «Письмами» занимался Блок, для «Трех новелл» взяли переводы Тургенева и мой.

Издание не закончилось (не хватало, кажется, «Бувара и Пекюше»), помешала война и революция. Все-таки и то, что вышло, давало уже Флобера в подобающем виде. Издание это было некоммерческим: Флобер никогда никому прибылей не давал и сам умер в бедности. Тем более надо помянуть добрым словом почин «Шиповника».

Где сейчас эти отлично изданные книги? Кто их читает?

Пожелаем, чтобы для России будущего стал Флобер «Вечным спутником» — прекрасным и нужным обликом Запада.

ГОГОЛЬ НА ПРЕЧИСТЕНСКОМ

Пречистенский бульвар связан с чем-то повышенным, неопределенно-романтическим. Романтика начинается уже с Никитского бульвара, с дома Талызина, где жил и умер Гоголь. Это область купола Христа Спасителя: здесь всегда он плывет в небе над идущим — как золотистый корабль. И чем ближе к нему, тем сильней ощущение легкости, надземности. За Арбатской площадью, на Пречистенском, гений местности самое слово: Пречистая. Бульвар ведь действительно чище, и тише, и благообразней других. Александровское училище, церковка, контора Уделов (где столько живал Тургенев), дом Рябушинского — и зеленый откос к бульвару. Зеленый и опрятный бульвар: дети с няньками, студент на лавочке с книжкой, розовый закат, сквозь наливающиеся почки лип. Летом прохладно от густой листвы. Ранней весной — первый обтаивает откос, глядящий на юг, и первая зазеленеет на нем травка. Вообще же, вспоминая милое это место, всегда ощущаешь свет и облегчение.

Гоголь любил Пречистенский бульвар. В нем самом не было светлого, но стремление к красоте — Рима ли, Италии, наших золотых куполов — всегда жило. И то, что прославить писателя Москва решила на Пречистенском, не удивляет. В 1909 г. исполнилось столетие со дня рождения его. На Тверском бульваре Пушкин уже входил в пейзаж, задумчиво поглядывая со Страстного на площадь с трамваями. Очередь дошла до Гоголя. Времена были мирные, денег достаточно. Памятник заказали скульптору Андрееву, Николаю Андреевичу, и разослали приглашения на празднество по России и Европе.

* * *

Той зимой жили мы в Риме. Уезжая весной из Москвы, бросили квартиру, лето провели в деревне, а там в Италию.

Возвращаясь, не очень-то беспокоились об устройстве: Москва велика, где-нибудь да приткнемся. (Все тогда в нашем кругу так жили: неужели стали бы заводить «обстановочки», сберегательные книжки и т. д.?)

И на этот раз мы не ошиблись. Получили две комнаты большой квартиры на Сивцевом Вражке, у близкого нам человека. Занимали низ старинного особняка. Мои окна выходили во двор, за забором которого стоял дом Герцена. Наискось жил Бердяев — его кабинет смотрел на герценовский двор. Была теплая, серая зима, со снегом, после Италии холодным. В нашем доме все шло чинно, несколько и в старомодном духе. Девочки ходили в гимназию, горничная Домаша в белом фартуке аккуратно подавала на стол в большой столовой. В окнах тащился на санках Ванька, по ухабам Сивцева Вражка. Домаша, три месяца назад приехавшая из Рязанской губернии, жеманно говорила, что уж ничего не помнит, как там живут у «мюжиков». Одним словом, была вокруг старая, простецкая и приятная Москва — вплоть до этого самого Николая Андреевича, соседа, скульптора из Большого Афанасьевского. Я его знал довольно хорошо. Некогда, в ясные январские утра, ходил к нему в студию, огромную, светлую, где он сажал меня на вертящийся стул, вертел туда-сюда, как игрушку,— вертел и тот глиняный бюст, что лепил с меня.

Для самого Гоголя не нужна была натура. Но для Тараса Бульбы (в барельефе постамента) позировал ему Гиляровский, всей Москве известный, толстый, добродушный старожил, ходивший в поддевке и высоких сапогах — журналист, правда смахивавший на Тараса Бульбу.

Николай Андреевич сам был крепкий человек, мещански-купецкого происхождения, с густым бобриком, бородою лопатой, острым и живым взглядом. Руки у него сильные, и весь он сильный, телесный, очень плотский. Гоголь мало подходил к его складу. Но вращался он в наших кругах, литературно-артистических. Розанова, Мережковского, Брюсова читал. Более сложное и глубокое понимание Гоголя, принесенное литературою начала века, было ему не чуждо, хоть, по существу, мало имел он к этому отношения. Во всяком случае, замыслил и сделал Гоголя не «творцом реалистической школы», а в духе современного ему взгляда: Гоголь измученный, согбенный, Гоголь, видящий и страшащийся черта,— весь внутри, ничего от декорации и «позы». Одним словом, памятник не выигрышный. Кажется, и проект его вызвал сопротивление: находили, что писатель получается что-то мизерный. Не только генеральского нет в нем, но больше смахивал на хилую, пригорюнившуюся

птицу (Гоголь сидит, как известно,— в тяжкой и болезненной задумчивости).

Все же проект утвердили. Зимой памятник поставили, в самом начале Пречистенского, против стены тира Александровского училища. Но был он еще закрыт — до торжественного момента.

Весна выдалась холодная, в апреле перепадал снег с дождем. Гоголю предстояло явиться без блеска: подлинно хмурою личностью литературы. Всем заведовала Дума и Общество Любителей Российской Словесности. Западники, славянофилы, ссорившиеся на пушкинских торжествах, перевелись. Литература делилась на «реалистов» и «символистов». Не было никого, сколько-нибудь равного Тургеневу, Достоевскому (Толстой не в счет, он доживал последние дни)... Чехов в могиле. Надо сознаться: и «реалисты», и враги их отнеслись к Гоголю равнодушно. «На Пушкина» съехалась вся братия (Тургенев даже из-за границы). Гоголя удостоили совсем немногие — неловко даже вспомнить...

Открывали памятник в сырости, холоде, липы едва распускались. Трибуны окружали монумент. Народу много. Помню минуту, когда упал брезент и Гоголя мы, наконец, увидели. Да, неказисто он сидел... и некий вздох прошел по толпе. Потом Грузинский, председатель Любителей Словесности, говорил речь...

Алексей Евгеньевич, пожилой, основательный профессор, читал на женских курсах русскую литературу. Сейчас был параден (во фраке, пришлось доставать цилиндр), несколько бледен, но бодро и привычно сказал, что полагается.

В официальных торжествах всегда есть сторона печальная — надо упомянуть о «великом художнике», «светоче, ведущем нас по пути добра и красоты»,— удивляться и негодовать на это не приходится. Так было, так будет. Все это давно описано у Флобера (сельскохозяйственный съезд в «Мадам Бовари»), наслушались мы таких речей и на гоголевских торжествах.

Первое открытое заседание было днем в Университете. За отсутствием писателей, пришлось говорить людям, далеким от литературы, но «почтенным». Ясно запомнилась на трибуне в актовом зале фигура знаменитого кадета-юриста. Говорил он крепко, самоуверенно, сильно выпячивая белую крахмальную грудь. Видно, что знает цену себе и словам своим,— мы же, слушавшие, так и не поняли, что в них ценно.

Были иностранцы, представители университетов. Из французов Мельхиор де Вагюэ, Лирондель. Немцы отсутствовали. У Вогюэ лучше всего был зеленый академический мундир. Анг-

личанин — в длинном черном сюртуке, стоячих воротничках, бритый, мягко-благодушный. Говорил ровно, скромно и почтительно. Вероятно, хорошо. Я понял только два слова: «gogolian realistic»[1]. Они казались мне очень смешными, и вызывали веселое настроение.

А в общем... Московский Университет, профессора, дамы, черные сюртуки, бороды, интеллигентские голенища из-под брюк, академики на эстраде за столом... какая скука!

Нельзя сказать, чтобы скучно оказалось на другом собрании, в Консерватории. Выступал там Валерий Брюсов.

* * *

> Но последний царь вселенной,
> Сумрак! Сумрак! — за меня.

Мало знал я писателей, кого так не любили бы, как Брюсова. Нелюбовь окружала его стеной; любить его, действительно, было не за что. Горестная фигура — волевого, выдающегося литератора, но больше «делателя», устроителя и кандидата в вожди. Его боялись, низкопоклонствовали и ненавидели. Льстецы сравнивали с Данте. Сам он мечтал, чтобы в истории всемирной литературы было о нем хоть две строки. Казаться магом, выступать в черном сюртуке со скрещенными на груди руками «под Люцифера» доставляло ему большое удовольствие. Родом из купцов, ненавидевший «русское», смесь таланта с безвкусием, железной усидчивости с грубым разгулом... Тяжкий, нерадостный человек.

Я сидел на эстраде, когда вышел он к рампе читать речь. Помню его спину, фрак, выдававшиеся скулы, резкий, как бы тявкающий голос. Из всех выступавших он единственный придумал нечто своеобразное. Гоголя считал «испепеленным» тайными бурями и страстями, художником-гиперболистом, далеким от меры Пушкина. Сравнивал выдержки из него с Пушкиным, и как бы побивал его им.

Все это очень хорошо, одного не было: капли преклонения, любви. Речь не для юбилея. Не того ждала публика, наполнявшая зал. Понимал ли он это? Вряд ли. Душевного такта, как и мягкости, никак от него ждать нельзя было. Он читал и читал, его высокая худая фигура разрезала собой пространство, в глубине дышавшее толпой. Но с некоторых пор в живом этом, слитном существе стала пробегать рябь. Что-то как будто вспыхивало и погасало: сдерживались. И вот Брюсов, описывая

[1] «Гоголевский реалистический» *(англ.)*.

Гоголя физически (внешний облик, манеры), все сильнее стал клонить к тому, насколько он был непривлекателен. Когда упомянул что-то о его желудке и пищеварении — в зале вдруг прорвалось:

— Довольно! Безобразие! Долой!

Кое-где повскакали с мест, махали шляпами, студенческими фуражками, тростями.

— Не за тем пришли! Позор! Похороны какие-то!

— Не мешайте! Дайте слушать! — кричали другие. Раздались свистки. Свистали дружно, в этом нет сомнения. Брюсов побледнел, но продолжал. Было уже поздно. Публика просто разозлилась и улюлюкала на самые безобидные вещи. Распорядители волновались — «скандальчик» в духе праздника гувернанток в «Бесах». Единственно, что мог сделать — и сделал Брюсов: наспех сократил, пропускал целые страницы. Кончил под свист и жидкие демонстративные аплодисменты.

* * *

Так что гоголевские торжества проходили неважно. Единственно весело оказалось на ночном рауте в Думе.

...Около полуночи подымались мы по лестнице, среди разодетой, нарядной, живой толпы. Николай Иванович Гучков, городской голова, во фраке, во всем параде, встречал прибывающих у входа. Залы быстро наполнялись. Много было света, гула, знакомых и незнакомых; с кем-то здоровались, кому-то нас представляли...

Москва показала тут гостеприимство. Фрукты, угощения, цветы, шампанское. Какие-то опять речи — кажется, приветственные иностранцам,— но все это быстро потонуло в общем и веселом гомоне. Разбились по компаниям, расселись по столам, и началось московское объедение и хохот. Мало походило это на Европу. И благонамеренный gogolian realistic в пуританских воротничках не без удивления озирался, как и старый Вогюэ в зеленом мундире с пальмами.

Мы засели с Василием Розановым. Кто-то подсаживался, кто-то отсаживался, лакеи таскали бутылку за бутылкой шампанское — могу сказать, хорошо я тогда узнал Розанова...— всю повадку его, манеру, словечки, трепетный блеск небольших глазок, весь талант, зажигавшийся чувственностью, женщиной. Очень был он блестящ и мил в ту дальнюю ночь гоголевских торжеств.

Все шутки его, и блестки отблистали, как и ночь прошла. Мы возвращались на рассвете мимо Гоголя того же, детища

Николая Андреича, из-за которого столько наговорили ораторы. Гоголь сумрачно сидел на бульваре. У ног его, с барельефов, глядели Чичиковы, Хлестаковы, знакомый Гиляровский-Бульба. Воробьи чирикали. Бульвар был пустынен.

Праздники кончились. Наша жизнь пошла нам данной чредой — Гоголева по-своему. Как и при жизни, мало его любили. Одиноким Гоголь прожил. Одиноким перешел в вечность.

Но напрасно отнеслись к нему так жители Москвы. Памятник вовсе не плох; и в пейзаж бульвара вошел — внес ноту скорбную. Можно удачнее его сделать. Но и мимо такого не пройдешь: среди зелени распускающейся Пречистенского бульвара, задумчивей будешь продолжать путь.

Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД

> Te spectem suprema mihi cum venerit hora,
> Te teneam moriens dificiente manu.
>
> На тебя буду смотреть в последний мой час,
> К тебе припаду слабеющей рукой.

Это двустишие, приведенное в одном из моих рассказов, в последнее время занимало Юлия Исаевича. Он дважды писал весною моей жене: «Спросите Б. К., откуда взяты эти стихи?»

Я ответил: кажется, из Катулла. И показалось странным, почему они его так пристально интересуют?

Летом в Берлин приезжала к нему из Москвы жена, Нина Кирилловна,— погостила и уехала (вся его семья в Москве). Юлий Исаевич снова остался один. Он жил скромно, почти бедно, писал в «Руле» литературные обзоры, читал лекции, давал уроки. Бессмысленный трамвай раздробил ему череп. Он впал в беспамятство. Не приходя в себя, скончался. Ни на кого он не смотрел в предсмертный час. Ни на чью руку не опирался.

Юлий Исаевич был очень замкнут, очень весь «в себе». Он плохо видел, носил очки большой силы. (Никогда не видал звезд. Путешествовал по Италии, но не полюбил ее: не рассмотрел. И смерти своей не увидел.) За этими очками жил глубиной и чистотой души, очень сильной и страстной, очень упорной. Литература, книги — вот его область. Он писал о писателе так, как видел его в своем уединенном сердце, только так, и в оценках бывал столь же горяч, столь же «ненаучен», как и сама жизнь. Все его писания шли из крови, пульсаций, из текучей стихии. Можно было соглашаться с ним или не соглашаться, одобрять или не одобрять его манеру, но это был

художник литературной критики и, за последние десятилетия, вообще первый русский критик.

Как все страстные, он бывал и пристрастен. Вознося Пушкина и Толстого, резко не любил Гоголя и Тургенева. Театр отрицал вполне. Не выносил Белинского, за что много поношений принял от учителей гимназий.

Из живущих, действующей армии...

...Тут одна его черта очень ясна: никогда он не обижал слабых, молодых, неизвестных. Напротив, старался поддержать. Но «кумиры» повергал. Брюсов находился в полной славе, когда сказал о нем Айхенвальд: «преодоленная бездарность». То же произошло и с Горьким («Горький и не начинался...»).

Айхенвальд возрос на немецкой идеалистической философии. Хорошо знал Канта, Гегеля, особенно ему был близок Шопенгауэр. Отлично перевел он «Мир как воля и представление» — точно по-русски написана эта книга в его изложении.

В нем самом была горечь, тот возвышенный, экклезиастовский пессимизм, который можно не разделять, но мимо которого не пройдешь. Вот уж поистине: любил он красоту, и жизнь, и свет, но оплакивал мир. Грубость, насилие, свирепость, все, что с такой полнотой поднесено нашему поколению, было для него безвыходной печалью. В себе самом он носил начало Добра. И в платоновские идеи верил. Но последнего Добра, воплощенного, кажется, целиком в сердце не принял.

Война потрясла его. По самому началу он решил, что победит Германия, а Россия погибнет. В первом он ошибся. Но Россия, его породившая, Россия, которую он любил безмерно, пушкинско-толстовская Россия пала — тут он угадал.

* * *

Юлий Исаевич жил в Москве на Новинском бульваре, в семье, тихой трудовой жизнью. Читал лекции на женских курсах, в воздухе девической влюбленности. Был отличный оратор. Пред началом выступленья, слегка горбясь, протирал очки, и ровным голосом, словами иногда играющими (он любил фиоритуры) живописал литературные портреты.

На кафедре, как и в трамвае, у себя дома, был одет тщательно, и скромно. Всегда безукоризненные манжеты. Ослепительные носовые платки. Чуть-чуть пахло от него духами.

Особенно силен он был в полемике — сильнее, чем в лирическом утверждении. Мы с женой присутствовали однажды на его сражении из-за Белинского (в Москве, в Клубе Педагогов). Учителя гимназий шли на него в атаку бесконечными цепями.

Он сидел молча, несколько бледный. «Как-то Юлий Исаевич ответит?» — спрашивали мы друг друга шепотом. Он встал и, прекрасно владея волнением, внутренне его накалявшим, в упор расстрелял их всех; одного за другим. Он буквально сметал врагов — доводами точными, ясными, без всякой грубости или злобы. Просто устранял.

Грубым Юлий Исаевич и вообще не мог быть, если б и захотел — джентльмен-рыцарь. За это время, что его нет уже в живых, все вспоминаешь его, и, сквозь душевное волненье, слышишь его тихий голос, видишь изящные руки, застенчивую улыбку, его манеру наклонять голову и слегка поддакивать ею, его сутулую фигуру, даже излюбленные его белые отложные воротнички и запах духов — если не ошибаюсь, ландыша. Вот он в пальто с барашковым воротником, не первой молодости, спешит на лекцию по снежным улицам Москвы, еще мирной, вот ведет детей своих, одной рукой мальчика, другой — девочку — через Арбатскую площадь. Ах, если бы эти мальчик и девочка шли с ним и по улицам Берлина в тот роковой день... не писал бы я этих строк.

Но его семья в Москве. Шесть лет прожил он одиноко в немецкой стране, одиноко и умер в ней.

* * *

Помню его в революцию. Вместе мы бедствовали, холодали и недоедали, стояли за прилавками Лавок Писателей. Вместе страдали душевно (что скрывать: много страдали).

Юлий Исаевич был одиночка, аристократ, художник. И — из тех, кто «к ногам народного кумира не клонит гордой головы». Аристократ, всю жизнь работал и всегда ходил в потертом пальто, и деньги презирал, и аскетически жил. Но никакой хам не мог заставить его облобызать себя. Да, он сильно умел любить, и ненавидел как следует. Злой ткани в нем не было, но от зла он отталкивался. Ничто не привлекало бы его к нему. Он сказал раз светловолосой девочке в эмиграции, его «единомышленнице», как он выражался:

— Если весь мир, Наташа, признает их, то мы с вами не признаем. И ваша мама.

В этом он весь. Он не переносил самогона, махорки, чубаровщины. Живя до своей высылки в Москве, не умолкал. В Союзе Писателей, на Тверском бульваре, вскоре после убийства Гумилева, прочел восторженный доклад о Гумилеве и Ахматовой.

Разумеется, его в конце концов выслали.

* * *

В том же Союзе Писателей. Для принятия в члены требовалось представить книгу. Ее давали читать кому-нибудь в правлении. Нередко Айхенвальду. Прочитав, часто он говорил:

— Ну, конечно, очень слабо...

— Значит, не принять? (У нас были довольно строгие требования «уровня» литературности.)

Тут низвергатель Белинских и Брюсовых всегда отвечал:

— Нет, отчего же. Зачем мы его будем обижать?

Он улыбался застенчиво, потряхивал курчавыми волосами, вынимал свой безукоризненный платок, распространявший запах духов, но сдвинуть его с места, переубедить было нельзя. Он сидел за своими очками, как в крепости. В ней решал про себя и для себя разные вопросы — и уж тогда дело кончено: ему легко было отдать что угодно из вещей, денег, но себя, свои мнения, свою истину он никому уступить не мог. Мнения его иногда бывали причудливы. Но мы все, его сотоварищи по правлению, знали отлично: как бы ни был расположен сердцем к тому, к другому из нас, мнения своего не изменит. Он спокойно голосовал один против всех. Впрочем, это, кажется, была и в жизни излюбленная его позиция: именно один, именно наедине с собою, своим сердцем.

Для людей очень «современных» Айхенвальд должен казаться старомодным. Он не скрывал своего пассеизма. Он даже особенно на нем настаивал — революция у него, как и у многих, обострила это чувство. У него были некоторые нерушимые позиции, с которых он и действовал. Для людей спорта и фокстрота он неинтересен. То, что он любил, тому, в сущности, всегда поклонялось и поклонится человечество в лучшей своей сердцевине — доколе оно не обратится в механических «роботов». Он не любил смотреть «вперед», но его очень любила молодежь, и у него всегда был для нее привет, сочувствие, внимание. Как ясно представляю я его себе, например, среди молодежи монпарнасского христианского движения!

Ибо за старомодною его внешностью, за нелюбовью к Маяковским и тому подобным, жила в нем душа очень яркая, очень своя, очень утонченная и сложная.

Он как-то не признавал Истории, течения и изменения жизни. В этом был, может быть, односторонен. Но История не была ему нужна, ибо он жил светом души, светом Вечности.

* * *

Он любил тишину, книги, семью, детей. Он провел конец своей жизни в грохоте европейской столицы в полном одиночестве. Он ненавидел машины и «цивилизацию». Машины отомстили ему и убили его в расцвете сил.

П. М. ЯРЦЕВ

Для одних — «известный театральный критик и драматург», для меня Петр Михайлович, «Ярчик», как мы его звали.

Редеющие, каштановые волосы, зачесанные назад. Большой лоб, впору шекспировскому. Под ним светлые, огромные глаза, так глубоко засаженные, что глядят точно из пещер, обрамленных крепкими, костистыми арками — худоба и остроугольность их удивительна. Низ лица явно стремится к треугольнику с рыжеватой бородкою. Мягкая и не первой юности шляпа, черный галстук, длинный сюртук, крылатка и серые матерчатые перчатки, голова несколько вдавлена в плечи, брови насуплены — так проходит Ярцев в скромном старомодном облике своем по переулкам Москвы, близ Арбата, по Плющихе, в Левшинском...

Петр Михайлыч появляется в моей памяти зимою 1905 года. Художественный театр репетировал тогда «У монастыря», трехактную лирическую его пьесу. Автора вовсе не знали в литературе. Что-то ставил он в Петербурге, чуть ли не у Суворина. Но Художественный театр... Сразу мог он дать славу, деньги, положение. Говорили, что Немирович увлекается новой пьесой и новым драматургом. Драматург жил в небольшой квартирке на Плющихе. В кабинете его висел Ибсен, лежало несколько книг. Стол был покрыт серым сукном, обои серо-зеленоватые. Тут писал, курил, пил крепчайший черный кофе хозяин. Он и дома сидел в сюртуке — очень длинном, не весьма новом. Нечто и донкихотское, и монашеское было в его облике.

Ему поручили отдел театра в одном журнале — он меня пригласил писать. Кажется, я почти ничего и не написал, но мы познакомились и сдружились на многие годы.

Репетиции шли. Он потирал тонкие руки, шагал из угла в угол ибсеновского кабинета. Московские морозы трещали за окном с темными занавесками. Приближалась премьера — декабрьская новинка театра.

Кто пьесы ставил, знает, что такое театр. Вероятно, легко это поймут любители азартной игры. Ни книга, ни журнал

ничего общего с театром не имеют. Театр есть встреча с публикой без ширм — с толпой. В ее руках успех или провал. В том дуновении сочувствия или вражды, какое вызовешь. Нельзя угадать чувств многоглавого противника. Что-то «доходит», что-то «идет в гроб» — сам великий знаток театра, сам Немирович не раз ошибался.

Неясно помню содержание пьесы. Вращалась она вокруг любви — сложных и туманных чувств. Одно действие происходило в гостинице при монастыре — за окнами снег, зима. Качалов ходит по сцене в мягких, белых валенках. Некую роль играет букетик ландышей. Германова была прелестна. Но пока на сцене мечтательно разговаривали, в зрительном зале упорно молчали, молчанием равнодушным.

Знаток театра ошибся. Если «доходила» тишина чеховская, то ярцевская не дошла. Спектакль медленно, как-то беззвучно уходил в небытие — без раздражения или неодобрения: просто соскальзывал.

В антрактах кое-где появлялся автор в длинном сюртуке, с прекрасными глазами, нервными, худыми руками. Зрители равнодушно беседовали о постороннем.

* * *

Пьеса, написанная «для себя», успеха не имела. Она шла — выдержала десятка полтора представлений, но автора не прославила. Ярцев остался тем же: глубокой и тонкой натурою артистической, публику не победившей. Он держался замкнуто, благородно. По-прежнему пил крепкий кофе, курил в ибсеновском кабинете, пожимал сухощавые руки и много о чем-то думал.

Он жил совершенною птицей небесной. Более беззаботного, бессребреного и неприспособленного человека я не встречал. Правда, и время было особенное. Четверть века, прошедшая с тех пор, кажется столетием. Что сказал бы кто-нибудь из нас о пайках, смычках, пятилетках! Считалось, что настоящий человек — это романтик, живущий неуловимыми томлениями сердца, красотой (стиха, Италии, театра). «Хлеб наш насущный» — второстепенно. (И по более легким условиям той жизни хлеб этот легче и приходил. Культа же сытости не было...)

Все-таки, вспоминая Петра Михайловича, думаю, что, будь он один, вряд ли бы выдержал: мера его отвращения к практицизму все превосходила. Но за ним стояла подруга, верная и преданная, Мария Зиновьевна, Мария и Марфа одновременно.

Она его опекала и берегла. Делила радости, горести, волновалась писанием, волновалась и тем, как платить за квартиру, где достать денег. Ее мягкая, большая фигура, тихий голос, улыбка черных глаз — тоже неразрывно с ним связаны, как и он с ее обликом.

Ярцев отрицал собою всякий склад и порядок. Никакое «крепкое и зрелое» общество не может на таких людях держаться. Или он загадочно пьет свой кофе, или уходит — неизвестно куда и неизвестно на сколько.

— Петр Михайлович, ты будешь дома обедать?

— Да, Машенька... Да, может быть, буду.

— Я ведь должна наверно знать.

— Ну да, конечно... Я непременно постараюсь.

Одно дело стараться, другое знать. Петр Михайлович был тогда глубоко богемен. Над чашкою кофе мог сидеть без конца в кафе, что-то записывать, о чем-то размышлять. Встретившись с кем-нибудь из молодежи, мог оказаться в кабачке, от сумрачной молчаливости перейти к нервической оживленности, якобы загореться — поправляя галстук и откидывая назад волосы, увлекательно говорить о театре, все на нервах, на нервах... Где же тут знать, когда вернешься? И что именно приготовила Машенька, и на какие деньги!

— Это не то. Это мелочи!

Мы издавали в то время журнальчик «Зори». Ярцев был деятельнейшим сотрудником его и соредактором.

После редакционных событий — чаще всего у Ярцевых — шли бродить по Москве, спорили на бульварах, заседали в кафе или ресторанчике «Богемия» — случалось, там и раннюю весеннюю зарю встречали.

Ярцев любил такую жизнь. Будучи старше нас, загорался не меньше. Хотя нередко — так же быстро и гас: глубоким неврастеником был всегда, и всегда в сердце его лежало зерно горечи. Душевное опьянение лишь временно затопляло эту горечь.

«Романтический человек с раненою душой» — так можно было бы определить его. Он мечтал об особенном театре (исходя, впрочем, от Станиславского), о высоком, духовно-облегченном искусстве. Ему хотелось, чтобы чувства на сцене сквозили чистейшими, прозрачными красками. Действительность, даже в Художественном театре, этого не давала. Чаще всего несла она успех «Детям Ванюшина».

Огромность требований Ярцева к театру, к любви, к жизни ставила его в тяжкие положения. Во многом и неуспех «Монастыря» с этим связан.

* * *

На углу площади, у Москва-реки, выходя фасадом на Храм Христа Спасителя, стоял большой красный дом, выстроенный затейливо в стиле северного модерн: с крутоскатною крышей, отделкою зеленой майоликой, большими окнами — известный «дом Перцова». Там были и квартиры, и отдельные студии. В квартирах жили люди более солидные. В студиях художники, актрисы. Там тихо обитала «монахиня» Художественного театра Бутова, удивительный облик благочестивой художницы сцены. Там, с нею рядом, помещался Александр Койранский,— «Саша Койранский» — острый, живой, печальный и резкий. Женоподобный Поздняков пробегал нередко коридором. Осип Самойлович Бернштейн таил свои шахматные комбинации, Балиев начинал «Летучую мышь». Много известных и видных людей Москвы — артистов, литераторов, художников перебывало тут.

В одной из студий Ярцев «раскинул свой театральный шатер». Он увлекался опытами молодого интимного театра. Пожалуй, это была завязь позднейших театральных начинаний типа Вахтангова и Михаила Чехова. Выбрал он для постановки мою небольшую пьеску «Любовь». Как всегда, намерения его были предельны. В вещи лирической, нетеатральной, написанной с молодой восторженностью, хотел он передать какой-то трепет, пафос, опьянение. Исполнители — молодежь, барышни из театральных школ, начинающие актеры. Барышни благоговейно смотрели на его глубоко запавшие глаза, но на репетиции запаздывали. Актеры — то кто-нибудь заболевал, то меняли исполнителя, то репетиция начиналась после полуночи, когда кончался театр. Все шло нескладно, беспорядочно. Но создавало удивительный быт. Около репетиции толклись и посторонние. Получался не то клуб, не то кафе, не то театр. Беспрерывно варился кофе, на низких диванах полусидели, полулежали зрители и исполнители, нельзя было и разобрать, кто за чем пришел. Среди ночи пили коньяк. Приезжал Леонид Андреев, треугольный Мейерхольд, кто-то играл на рояле. Борис Пронин, помощник режиссера Художественного театра, с открытой шеей и белым отложным воротничком, как у Блока, вихрем носился, вздувая энтузиазм. Художник писал какую-то декорацию, но, впрочем, никто толком не знал, будет ли декорация, или все пойдет «на сукнах». Главное же, никто не знал, откуда взять денег и как, собственно, все это показать.

— Милый, мама, голуба,— кричал Пронин.— Все будет! Все чудесно устроится... Ах, да все будет замечательно!

Петр Михайлович пил черный кофе, и, устало закрывая глаза, привычным жестом поправляя на голове волосы, говорил:

— Да, да. Все будет. Все придет. Главное — да. Остальное все мелочи. Это так. Да. Остальное — не надо.

Но тут срывался Борис Пронин, терзая свой артистический галстук.

— Боже мой! О, я идиот! Без десяти восемь. Через десять минут давать занавес в Камергерском... Боже мой!

И улетáл.

Мы проводили чуть не целые дни в этом коловращении. Иногда можно было уйти с Ярцевым в ресторан и тоже просидеть часов пять. Раз случилось, что мы трое — он, я и переводчик Владимир Высоцкий, общий наш друг и приятель Пшибышевских и Тетмайеров, на таком ресторанном заседании чуть не уехали за границу — так, ни с того ни с сего. Выработали даже маршрут — Краков, Венеция, Вена, что-то в двенадцать дней,— и в мечтах пережили все прелести поездки.

Глупо все это? Может быть. Но жилось интересно. Не нам одним. Почему-то толпился же народ в нашей «студии»?

* * *

Предприятие развалилось, разумеется, деньги оказались не такой «мелочью». Некоторое время Ярцев, в нелегких условиях, прожил еще в Москве. Потом перебрался в Киев.

Его привязанность к театру не остыла. Начались годы театрально-критической работы. Он писал в «Киевской мысли». Но максимализм не оставлял его. Он всегда требовал предельного. Кого любил, тому поклонялся (Станиславскому, например). Но и к любимому был строг. То же, что отвергал, отвергал начисто. В жизни изящный, безобидный, неспособный питать злобу, в писании бывал и резок, беспощаден. Многие актеры ненавидели его.

В Киеве с ним произошел скандал. Однажды, когда в длинном своем сюртуке, скрестив на груди руки, сидел Петр Михайлович в партере, ожидая поднятия занавеса, на авансцену вышел некто и заявил, что, пока Ярцев в театре, актеры не желают играть. Ярцев поправил волосы, застегнул сюртук, встал и спокойно вышел. («Это не то! Это не главное!» — сказал, вероятно.) Но оказалось именно, что главное. За ним поднялась и ушла, в знак протеста, вся киевская пресса. Премьера осталась без рецензентов. Актерам пришлось туго — такого случая насилия над критиком еще в театре не бывало. Киевские рецензенты выступили затем сообща, печатно. За ними поднялись русские

писатели и драматурги и в столицах. Актерам предстояло или сдаться, или попасть под бойкот полный. Они предпочли первое. На этот раз Петр Михайлович победил вполне, сам, разумеется, никак не действуя.

Из Киева попал затем в Петербург. Тут писал в «Речи» у Гессена и Милюкова. Художественный театр защищал страстно и во всеоружии (весной художественники всегда являлись в Петербург с новыми постановками). Станиславский окончательно пришел тогда к своей теории театра (внутреннее переживание актера, «сквозное действие» и т. п.). Всем этим он делился с Ярцевым в беседах долгих, увлекательных, всегда Петра Михайловича воодушевлявших. Так что писать он мог о Станиславском не со стороны, а изнутри. Его статьи того времени, вероятно, лучшее, что написано о Художественном театре.

Из Петербурга же уехал он однажды с томом «Братьев Карамазовых» (Достоевского всегда глубоко чтил) в Оптину. Монастырь оказал на него великое, удивительное действие. Всегда ища в жизни и в искусстве чистоты, красоты, святости, он нашел их в Оптиной. Образы старцев — он застал, если не ошибаюсь, о. о. Анатолия и Нектария,— показались ему ни с чем несравнимой высоты и красоты. «Смирись, гордый человек» — Петр Михайлович специфически гордым не был, но тщету, засоренность, грязь нашего земного рядом с истинно святым почувствовал. Своеобразно он ощутил старцев, беседующих с простым народом,— как величайших артистов, полных духовного искусства. Помню, он говорил, что в глазах, руках, благословляющем жесте Анатолия, кроме всего прочего, была несравнимая театральная красота. Она являлась непосредственным выражением духа.

С «Братьями Карамазовыми» в руках изучил он каждую мелочь оптинского пейзажа, обстановки, быта, проверяя Достоевского: и нашел, что, при всей своей фантастичности, здесь Достоевский очень точен.

Петр Михайлович написал об Оптиной несколько замечательных статей. Их следовало издать книжкой. Но не таков был Ярцев, чтобы заботиться о жизненном, реальном.

* * *

Сам родом из Коломны, почвенною любовью любил он все русское, особенно же московское. С годами эта любовь росла. В литературе он держался Достоевского, Лескова, Аполлона Григорьева. Театр признавал лишь национальный. Очень высоко в нем ставил Островского и Чехова. И в жизни — к самой

Москве, ее храмам, «древлему благочестию», складу, говору, московским людям, московским извозчикам, трактирам, Замоскворечью, баням,— питал неистребимую привязанность.

Одно время, перед войной, жил в номерах на Балчуге, у Чугунного моста. Тут далеко уже было от Прониных и Мейерхольдов. Вставал очень рано, часов в шесть, и шел куда-нибудь в простую чайную. Ему нравились «человеки» в белых рубашках, расписные чашки и подносы, крутой кипяток, простые русские люди в поддевках, с намасленными проборами, торговцы, прасолы. За «парой чая» сидел Ярцев и писал, любуясь видом на Кремль, золотым лучом солнца, типами Островского у прилавка.

Полагал он теперь, что театр должен выражать народную душу, суть, теплоту. Щепкина считал основателем русского театра, Станиславского (родом с Хивы, за Яузою) — его достойным продолжателем.

Мы встречались в это время часто. Ездил он и ко мне в деревню. Любил землю нашу, сено, ржи, яблоки, телеги и березы, дрожки, мягкий пейзаж средней России. Мы гуляли довольно много и в Москве, тогда еще мирно-благодатной. Помню, он водил меня в трактир Егорова в Охотном ряду — примечательность московская, о которой не имел я понятия. Невзрачный двухэтажный дом рядом с «Континенталем». Внизу извозчичий трактир, во втором этаже «купецкий». Сюда сходились с раннего утра чаевничать охотнорядцы. В невысокой комнате столики, сидят распаренные купцы, пьют чай (тоже с шести утра! — в десять вечера все закрывалось). В клетках канарейки. Ярославцы и владимирцы, в белом, бойко разносят подносы с чайниками, кипятком и стаканами, чудными калачами, баранками. Днем можно обедать. Тут главная приманка Егорова — удивительнейшие осетры, балыки, расстегаи, рыбные солянки — все это на грязноватых скатертях, с колченогими вилками к приборам, с деревянными солонками, но качеством не уступая первоклассным «Эрмитажам», «Прагам».

Трактир Егорова любил Островский. Мы и обедали в комнате Островского — боковой, с камином, вечно пылавшим, с особыми канарейками, потертыми диванчиками красного бархата и большой, потемневшей картиной во всю стену, если не ошибаюсь, что-то китайское на ней изображалось[1].

...Тепло, пахнет ухой, поддевками, синеватый туман, дрова трещат, благообразный немолодой владимирец в белом переднике, вкуснее говорящий по-русски, чем та осетрина, которую

---

[1] Комната эта столь знаменита, что, когда в Александринском театре ставили пьесу Островского, режиссер и художник приезжали к Егорову писать декорацию.

только что поставил, подает нам шкалик «Ерофеича»: кроме егоровского трактира, не было по Москве нигде этого Ерофеича — николаевских времен водки, настоянной на травах. И на потертом диванчике мы сидим... сколько и о чем можно наговориться с Петром Михайлычем, когда он в духе, в ударе — в обстановке, ему нравящейся!

* * *

Все это кончилось. Подошла война, революция, не до театра стало, не до поэзии и любования Москвой. В октябре впервые дрогнули купола Кремля под шрапнелями большевиков. Эти шрапнели рвались и над Савеловским переулком, вблизи Остоженки, где жил тогда Ярцев с Марией Зиновьевной. Как и другим, как всем нам, пришлось им быть свидетелями унижения и разгрома Москвы.

...Я попал из деревни в Москву побежденную,— под ранним зимним снегом, с сумрачным карканьем ворон на крестах церквей, с разрытою кое-где мостовой, чуть не со следами запекшейся крови. Впрочем, снежок все заметал — вводил в страшную зиму голода, холода, примусов, разобранных заборов.

Как и все, дрогли и голодали Ярцевы, в сумеречной квартире первого этажа по Савеловскому. Мария Зиновьевна боролась отчаянно. Откуда-то добывала крупу, хлеб... порциями аптечными. Петр Михайлович подтапливал печурку — чем придется. Он такой же все был худой, так же погружен в Русь, так же поддерживался и духовно, и внешне, все тою же Марией Зиновьевной. Когда нечего было есть, сидел покорно и тихо. Питался любимым кофе. Изможденный и тощий, в бархатной кацавейке жены, накинутой на плечи, с воротником, живописно раскинутым вокруг тонкой шеи, подобно жабо, походил остроугольным лицом и бородкой на испанского гранда. Изгнание начиналось для всех нас. Петр Михайлович мог терпеть голод и холод, но не орду, не татарщину, в чьих руках мы оказались. Крики газет, афиши на стенах, митинги, волчьи зубы вокруг, муть, кровь, заплеванность... горько и вспомнить.

Иногда в изнеможении, закрывая огромные глаза, окончательно ушедшие в пещеры, сидел он подолгу перед разгоревшейся печуркой, неподвижный, полумертвый.

— Петр Михайлыч, съешь, вот тут осталась корочка.

— Нет, ничего, Машенька. Я не голоден. Я не хочу есть. Это не то.

Голод был для него «мелочь», «не то»...

Не имея ни средств, ни, в сущности — сил, сверхъестест-

венным напряжением воли женской, женской любви, вывезла-таки его Мария Зиновьевна из Москвы. Они «отступили» на Киев.

И затем... все, что полагается русским на юге: ужасы разных «властей», погромы, чуть не пешком новые отступления, до самого Понта Эвксинского, до кораблей, увозивших троянцев от пылающего Илиона.

* * *

Я не видел больше Ярцева, и никогда не увижу. Но теперь, вспоминая эту жизнь, полную тревог, горестей, бедности, энтузиазма и преданности высокому, с большой радостью (странно сказать: почти гордостью) думаю о завершающихся, изгнаннических ее годах. С великим счастием замечаю, что в болгарской столице не пал, а вырос Ярцев. Не растерял в Энеиде своей, а приобрел. Глубокую любовь к России вывез вместе с верной подругой, и на чужой земле потрудился.

Он работал режиссером в болгарском Народном театре. Оптина и «Святая Русь» не прошли даром. В театральный свой труд внес он всю страстность служения, бескорыстного и безоглядного. В мои годы, в Москве, лишь начинал путь обращения. В изгнании его заканчивал. Редкий, и русский случай: деятель театра, проникнутый Церковью. Это дало ему, думаю, особые силы. Сгладило угловатости, успокоило, как-то внедрило в жизнь. Все это чувствовали. И маленькая квартирка Ярцевых стала особым центром — привязанности, благожелания, любви. «Весь театр, школа, актеры, от самого маленького до большого, любили его нежно, и в трудных условиях болгарской жизни находили у него прибежище. Все болгарские писатели, художники шли к нему» (из письма). «...Дом был радостный, теплый, уютный... шли люди и находили успокоение у него. Он был очень просветленный и мудрый, очень был религиозен, посещал все службы, молился утром и вечером и ежедневно заходил в церковь».

Последняя его постановка была «Горе от ума». На ней он и надорвался. Приходилось торопиться, спешить к сроку — он сам наблюдал за швальней, носился из этажа в этаж вверх и вниз, даже не пользуясь лифтом. «Он был как на крыльях, и вся швальня работала весело и радостно для него. Они его обожали. Когда кончили все, первый портной подошел к П. М., обнял его, и стал целовать в плечи, и все повторял: «Как я вас люблю, Петр Михалич».

Верно, и «Петр Михалич» любил простых болгарских людей,

как некогда простых русских,— находилась в немолодом «Ярчике» теплота, доброта.

После спектакля он слег — не сразу даже к доктору обратились... причина все та же (нужно, чтоб было, чем платить). Начались жжения в груди. Смерть пришла мгновенно, он скончался на руках Марии Зиновьевны.

Ярцев, будто бы человек мирный, тихий, все свои годы воевал. С упорством, страстностью, любовью нечто отстаивал. Умер он на позициях. Самое страшное — быть побежденным: сдаться, в холоде, равнодушии. Он прекрасный пример несдавшегося, непобежденного. Богатства он не нажил: денег не любил, они к нему не шли, тоже не любили. Но вот сломить его «князь тьмы» не смог.

В глубокой горечи его утраты чувствую и радость:

Не посрамил земли русской Петр Михайлыч.

НАДЕЖДА БУТОВА

...На родине, в Саратове, она была учительницей. Высокая, худая, диковатая, все помалкивала, тайком копила деньги, молча рассталась с сестрой, села в поезд и однажды вышла на вокзале московском из вагона третьего класса, в поношенной шубке, с потертым чемоданчиком, пледом в ремнях. Кончилось дело с Саратовом. Начались меблированные комнаты Москвы. Стала она разучивать стихи, басни, отрывки. И на экзамене в школе Художественного театра внимание привлекла. Чем? Саратовским напором, мощию земли, темпераментом глухим и целомудренным?

Нельзя сказать, чтобы красотой: красива не была. Лицо весьма русское, может быть, и с татарским оттенком — несколько широки скулы, с ярким румянцем, загорелым, худым румянцем; над скулами же глаза непомерной бирюзы. (Могут эти глаза быть ласковы, могут быть почти страшны.) Голос низкий и глуховатый. Крепкие тонкие руки, прекрасные волосы. А во всей ней деревенское нечто, крестьянское: повязать платочком, послать на поденную, а потом в хоровод песни петь. Или черничкою в монастырь.

— Для монахинь пригодится на сцене, для цариц опальных, для Островского... Рост, понятно, велик...

Может быть, и не сказал так экзаменатор, а бессознательно пролетело в нем, и бессознательно рост легкою грустью скользнул: не полагается головой выше всех быть на сцене.

Все равно. Ее приняли. Стала она ученицей, упорной и

страстной. Иначе уж не могла, по натуре. Ночей от волнения не спала, перед Станиславским благоговела. Но и характера оказалась нелегкого. Всегда что-то сидело в ней свое, любимое или нелюбимое. За любимое могла жизнь отдать, с нелюбимым лучше не подступайся. С младости была набожна, истова. Любила порядок, чистоту, строгость. Не выносила курения, неряшливости, актерской распущенности. Некое древнее упрямство было в ней, раскольничье. Двести лет назад за двуперстное сложение жизнь бы отдала — не постеснялась бы.

Художественный театр всегда заглатывал актера — из китова чрева, в сущности, хода уже не было. А особенно для актрис. Актрису молодую и податливую можно «разработать» как угодно, и будет она говорить не «я», и «мы, Художественный театр», и каждый звук голоса Станиславского, каждое его движение станут ее собственными: искренне она уверена, что это и есть она.

Надежда Сергеевна тоже говорила «мы», восторженность Художественного театра в ней сидела, но и свое было. Одолеть его не удалось никому, хотя дар ее не принадлежал к крупным, скорее направлялся вглубь; неблагодарный дар. Впрочем, выигрышного, удобного для успеха в ней вообще ничего не было. Успех в эту судьбу не входил.

Но чем дальше шло время, тем свое разрасталось. Тем труднее с ней становилось.

* * *

Я знал Надежду Сергеевну уже «взрослой», известною актрисой, строгой, требовательной, несколько в тени, без шумной популярности, но с прочностью. Была она как бы и совестью Художественного театра, его праведницей. (Головой выше физически, головой выше душой.) В труппе держалась одиноко, прохладно: не помню особенных ее приятелей из актеров. «Я не могу ни с кем жить вместе, близко»,— говорила она. И никакие капустники, никакие попойки не занимали ее (конечно, зубоскалили актеры над ее отшельничеством: но побаивались).

Платья она носила темные, волосы пышно зачесывала назад. На груди крест. В толпе сразу заметишь ее худую, широкоплечую фигуру, над всеми возвышающуюся. Разговор тихий, степенный, но могла и смеяться по-детски. Не дай Бог рассердить ее — и особенно важным, не пустяком, а идейным: новозаветный человек, она впадала и в библейский гнев.

Жила холостяком, в студии красно-зеленого, северного модерн дома Перцова, против Храма Христа Спасителя. Соседи

в коридоре тоже были у ней актеры, художники. Огромное окно выходило на храм. Кремль виднелся направо, Москва-река, мост. В студии у нее прохладно и «благолепно». Вот где не может уж быть богемского беспорядка! Иконы в углу, лампадка, деревянный стол, русская скамья. Вышитые полотенца, серого сукна диван (Художественный театр!). Фотографии Станиславского, Немировича, Чехова. Много книг на полках. Картины, рисунки современных художников — иногда и соседей по перцовскому дому.

«Под образами» можно в пять часов пить у ней чай, разговаривать — беседа всегда интересна, нечто горнее в ней, как и в самой хозяйке. Скучно никогда не было, и плоско тоже никогда.

В долгих наших, и ушедших разговорах театр присутствовал неизменно — главнейшее для нее. Говорила она медленно, ища слов: старалась точно передать, что нужно. Закрывала глаза, бралась за виски, глуховато выцеживала...

Радостно беседовать с художником, с тем, кто искусством своим дышит, насквозь его знает и может сказать живое (а значит, и новое: всегда живое есть новое). Надежде Сергеевне с годами теснее, неуютнее становилось в театре. Terre à terre[1] Станиславского, плотскость его, гоньба за «жизненными» мелочами, затрудняли. Хотелось большего. Это не удавалось. И она много томилась.

— Он... великий актер, что там говорить, и искатель... Ну, вы понимаете, этот человек в вечном беспокойстве, вечно добивается... он не может просто так сделать...— она сжимала себе виски, разводила длинные руки, как бы дорисовывая пальцами.— Ему надо наполнить... чтобы образ весь налитой... и все подробности... свои, созданные.

Потом останавливалась, говорила еще тише и уж совсем ясно, даже легко:

— Но он не поэт. Поэзии, духовного не чувствует, для него этого нет, он весь, весь, тут... и литературы не чувствует, и многого — высшего — вовсе не знает. Комедийный актер, не духовный...

Вот чего ей хотелось. Не нравились клистирные трубки Мольера, смешные штучки «кавалера» в «Хозяйке гостиницы». Античная трагедия, может быть, Достоевский, Шекспир, Кальдерон...

Для нее самой мало на сцене оказывалось подходящего. В «Трех сестрах» была она одной из сестер, но надолго не удер-

---

[1] Приземленность *(фр)*

жалась — может быть, из-за росту (и больше силы, чем там нужно было! Не тот темперамент, не тот тон). Замечательно сыграла у Островского Манефу — («Идет Егор, с высоких гор...») — и тоже не совсем в тоне спектакля. Дала гротеск, силу подземную, дикую... вспомнила свой Саратов. Но инокинь, древних цариц, как и Федр, Медей, не было в репертуаре. Играла она всегда страшных старух — превосходно, но мало.

Театр не совсем заполнял, не совсем радовал.

Было у ней и другое: женское сердце. Можно знать ее внешнее, роли, театр, послужной список. Чувств не узнаешь. Замкнута, запечатана. Лишь временами доходило дыхание того, от всех скрытого. Иногда особенный блеск глаз, иногда некий стон...

Трудно об этом говорить.

* * *

Подошла революция.

В театре собирались ставить оперетку. Надежда Сергеевна переехала из дома Перцова. Теперь была у ней квартира — небольшая, столь же чинная и поднебесная, только окна в сад выходили. Среди деревьев выступала церковка московская. Что-то от келии монахини вошло, упрочилось здесь навсегда. Но с великою нежностью соседствовал и великий гнев. На слова скорби, беды могла отвечать она взглядом утешения необычайного, ласки, любви. А когда зашла речь о комиссаре, прежнем знакомом ее, завернулась в платок, голову вдавила в плечи, длинною рукою погрозила:

— Проклинаю! Проклинаю и его и всех их!

И была похожа на боярыню Морозову, которую у Сурикова везут в санях в ссылку, а она высохшею рукой, в цепях, утверждает двуперстие. Трудно укрощать страсти. Смирилась ли она? Или так и ушла, раздираемая? Духовник только может об этом знать. А мы знаем другое, и удивляемся, например, тому, как не засадили, не убили Надежду Сергеевну, прямо в лицо называвшую убийцами кого следовало, не подававшую руку сановникам, на всех перекрестках громившую их... От нее не было пощады. (И теперь, когда нет ее, можно сказать: ей обязан жизнью видный белый — ныне тоже умерший,— у ней за ширмами чуть не месяц скрывавшийся. Что ж, и чеку, и смерть встретила бы она в грозном спокойствии.) Многие ее боялись. Некоторые не любили — она стесняла. Но другие преклонялись. Всегда вокруг нее ютились некие благоговейные девицы. Их она пригревала, одаряла чистотой своей и светом.

Занималась в студии, ставила пьесу Тагора, вдалеке от суеты, предпринимательства большой сцены. Театр мог быть ей близок теперь лишь как храм. Лишь высочайший звук могла она в нем допустить. И уж не ей, понятно, принимать участие в банкете Луначарскому. (Давал Художественный театр...)

Все больше отдавалась она Церкви. Православие у ней было страстным, прямым, аскетическим, мученическим. Она читала много Евангелие, св. Отцов, молилась, постничала. Киот над аналоем появился, вся квартирка стала похожа на церковь и внешне, да и внутренне, излучением своим. Сама она как будто все росла, но и худела, и светлела. Духовник ее был о. Медведь, а потом перешла она к известному о. Алексею Мечеву.

Надежда Сергеевна принадлежала к нашему кругу, средне-интеллигентскому. Но вот не все же в нем «рыхлые интеллигенты»! Ничего вялого не было в ней. Инокиня-актриса, праведница в веригах на сцене: редкая и яркая фигура, может быть, слишком для женщины сильная, облик Руси древней...— то, что можно еще в жизни любить. И о чем вспомнишь почтительно.

Как многим праведницам, ей дана была смерть мучительная. Горловая чахотка заела ее. Но душевно сломить не могла (хоть и стенала Надежда Сергеевна, и тосковала по-человечески). Одна она не оставалась. Те же преданные девицы сменялись у ее ложа.

В страшный мороз, солнечный, с жгучим ветром, шли мы за ее длинным гробом. Москва замерзала и голодала. Надежда Сергеевна не видала уже ее позора.

Пред Художественным театром, в Камергерском переулке, служил о. Алексей Мечев литию.

III

«МЫ, ВОЕННЫЕ...»

ЗАПИСКИ ШЛЯПЫ

I

Юным студентом, обитая на Арбате, проходил я нередко по Знаменке в Румянцевский музей, и на углу площади Арбатской, с памятником Гоголя, булочной Савостьянова и старинной церковкой, видел приземистое здание, двухэтажное, с колоннами, времен начала XIX века. Знал, что это Александровское военное училище, и был глубоко к тому равнодушен. Училище и училище. Выпускает пехотных офицеров, мне до этого дела нет. Меня интересуют книги и литература. Я всегда очень любил Москву. Меньше всего, однако, могли бы меня заинтересовать: лагеря на Ходынке, кадетский корпус в Лефортове, да училище на Знаменке...

* * *

Летом 1916 года призвали ратников ополчения 2-го разряда. Не желая идти на войну солдатом, я решил поступить в военное училище.

Странная была та осень в деревне — последняя обычная, человеческая. Вот запись о ней:

«...Березы Рытовки, и узенькая тропка, по которой выходили мы на зеленя, покой равнин, серые вечера сентябрьские с красной рябиной, зеркалами прудов, криком совы и лиловой луной из-за леса,— все осталось, как воспоминание прощальное и светлое. Однажды, выходя из леса, набрели на гнездо птички, опустелое. Взяли с собой. Сентиментальность? Но так захотелось. Пересекли межой поле, и внизу Притыкино, пруды и мельница, деревья парка. Колокольня мирно подымалась из ложбины. И спокойный, мягко-сероватый лик небес, дымки над деревнями, дальний лепет молотилки, дальняя, как облачко, стая грачей, свивавшаяся, развивавшаяся над овинами, все ясное, родное... так пронзительно печальное, как будто мы навеки с ним прощались».

Навеки не навеки, но 1-го декабря подъезжал я, на извозчичьих санках, в новых высоких сапогах, с чемоданчиком, к фронтону того самого здания на Знаменке, мимо которого высокомерно некогда проходил. Попрощался с женой у подъезда, и как сноп был подан в неведомый мне, и казавшийся суровым, барабан. Десятки таких же снопов с разных концов России и Москвы подавались в те же самые двери, в большинстве молодежь. Но они были веселей, бурней и беззаботнее меня.

Низкая прихожая, лестница наверх, огромные коридоры, огромные, холодноватые залы и дортуары. Вот нас переодевают — в цейхгаузе какой-то бойкий тип раздает гимнастерки и шинели: вернее, все сами набрасываются на груду этого добра, он только наблюдает. Скоро нечто мешкообразное, с погонами, однако, оказывается на мне. Я заранее наголо острижен, этот форменный наряд, высокие сапоги, сразу меня топят: не чувствую себя прежним. Что-то случилось. Меня зачисляют во вторую роту. Я юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска. Должен маршировать, «строиться» к обеду, «строиться» на молитву, по трубе вставать... мне должно бы быть не тридцать пять, а двадцать лет... И так далее.

Первый день было чувство, что просто попал в тюрьму. Никто мне ничего дурного не делал. Но меня самого, *такого*, к какому привык, с книгами, рукописями, медлительными прогулками — больше не существовало. Был юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска, и притом «шляпа»[1]. Шляпа, разумеется, первосортная. С военной точки зрения такое существо не радует. Но и у шляпы есть душа, сердце, воображение. Например, лежит этот юнкер-шляпа впервые на своей койке в роте. Огромная колонная зала. Холодновато, сумрак. У столика дежурного маленькая лампочка — небольшое пятно света. В аккуратных станках винтовки. Рядом, сбоку, насупротив, храпят юноши — мой сосед, двадцатилетний Бартенев задувает изо всех сил (обычная его мольба впоследствии: сразу же тормошить при утренней трубе, а то никак не проснется). Раз, другой, в ночь войдет дежурный офицер, пройдет по роте, с дежурным юнкером при тесаке: проверит, все ли в порядке, правильно ли сложено платье у спящих (полагалось складывать его аккуратно, и перевязывать ременным поясом, не туго, но и не слабо). Кое-где офицер подымает этот пакетик жалкий: «Велите подтянуть туже...» — «Слушаюсь, ваше высокоблагородие...»

---

[1] Слово жаргонное. Означает безнадежно «штатского» и нерасторопного человека

Шляпе не спится. Что такое? Где это он? Почему острижен, лежит в холодной зале? Вот она, новая жизнь! Это только начало. Это еще «мир», война впереди. Если мир таков, что же самое-то, «настоящее»?

И часы бегут, в тоске, одиночестве. Добегают до какой-то странной и даже таинственной минуты, когда серо-синеватая мгла в окнах и вся пустынность колонной залы вдруг разрывается от рева дикого, неистового,— вряд ли устояли бы и стены Иерихона! Половина шестого. Сигнал к жизни. Мощь его рассчитана именно на Бартеневых и им подобных, на силу молодого сна.

Начинают в холоде копошиться фигуры. Зажигается свет. Один за другим тянутся в умывальную заспанные «извозчики» (первая, царская рота называется «жеребцы», мы, вторая, «извозчики»). А потом строят «к чаю»; длинными, гулкими коридорами сходят роты одна за другой (их у нас двенадцать) — в полумгле, в начинающемся зимнем рассвете, вниз в огромную столовую, где молитва и чай с булкою за деревянными столами, а там вновь строят, вновь ведут — лекции, строевые занятия, гимнастика: машина заработала.

* * *

Мы, вновь прибывшие, называемся «фараонами». Нас надо обломать, хоть сколько-нибудь привести в военный вид, и только тогда можно пустить в отпуск (мало ли опасностей на воле: а вдруг встретишь генерала, да не станешь вовремя во фронт, прозеваешь резвого капитана, только что вернувшегося с фронта? Сядешь в театре, не спросясь у старшего по чину офицера? Жизнь сложна). И вот, кто хочет в субботу идти в отпуск, должен выдержать «экзамен чести». Это для шляп дело нелегкое. Казалось бы, не так уже хитро: бодро и весело подойти, остановиться, сделать под козырек, отрапортовать, повернуться и отойти... Но это целая наука! Элементы гимнастики (может быть, и балета) входят сюда. И немало надо попотеть, прорепетировать со своими же, прежде чем командир роты пропустит. Но тогда завоевано право отпуска, священное право, то, чем все здесь дышат и о чем мечтают старые и малые, простые юнкера и портупеи, шляпы и строевые орлы.

Кроме отпуска, есть еще развлечение в трудовой жизни: три раза в неделю, с пяти до семи, ждут нас в приемной жены, сестры, друзья — к нам является уголок прежней, «милой» жизни. Но и в залу эту, полную благожелательных, веселых лиц со всяческими приношениями (конфеты, пирожки, яблоки,

мало ли чего можно натащить в Москве еще человекообразной),— к ним туда не так-то легко проникнуть. Некие Церберы стерегут. Надо пройти через маленькую дежурную комнату и сделать, казалось бы, простую вещь: подойти к дежурному по училищу офицеру, взять под козырек и сказать, что юнкер такой-то роты просит разрешения пройти в приемную. Тут-то вот и таятся для шляпы опасности. Обыкновенный юнкер войдет, быстро исполнит номер — и уж он среди болтающих и восхищающихся дам, барышень, невест. Шляпе грозят отовсюду опасности.

I. Распахнув дверь, с перепугу он не заметит, сколько звездочек на погоне дежурного, и на беду бахнет капитану:

— Господин поручик...

Или поручику:

— Господин капитан...

Но тогда дело предрешено:

— Кру-гом!

II. Или он разбежится, и у самого столика как вкопанный замрет со своей сакраментальной фразой (а надо за два шага до столика), и тогда опять:

— Кру-гом!

III. Или, в ужасе, вместо «в приемную» скажет «в отпуск» и снова:

— Кру-гом!

Но жизнь научает. Шляпе тоже ведь хочется повидать родных. И он «ловчит»: заранее разузнает, кто дежурный, и в каком чине, в отворяющуюся дверь на глаз размерит, где сделать балетное па,— в конце концов, малые эти пустяки не остановят; в приемную все-таки прорвешься.

И какая радость — видеть родное лицо, получить какие-нибудь шоколадки... Когда человеку живется туго, всякая малость так освежает, так помогает...

Но особенно, конечно, важен отпуск.

В отпуск идут по субботам — и лишь те, кто за неделю чист и безупречен, преступлениями не замаран, репетиции сдал. Последнее не так-то легко. В четыре месяца надо пройти двухлетний курс — хоть наскоро и с сокращениями — все-таки трудно, и в дне нашем все рассчитано по минутам, до одиннадцати по вечерам мы зубрим. (Помню одно свое поражение: двойку по топографии — не туда как-то заехал по карте. Ночь без сна, удвоенное зубренье, на другой день у того же немца двенадцать, и в отпуск все-таки ушел.)

Час отпуска — час блаженный. Одеваемся, чистимся, друг другу оправляем пояса, складки шинели на спине.

— Отпускные, стройся!

Выбегаем, толкаясь, как маленькие, в коридор. За некую мзду тип в цейхгаузе выбрал выходную шинель, получше, обменил прежнюю. То же и с фуражкой. Сапоги вычищены, пояс затянут, пряжка с орлом сияет. Иногда стоим с первой ротой, с «жеребцами» — они по одной стенке, мы по другой. Все в хорошем расположении духа. Пока не пришел офицер, развлекаемся, как умеем. У нас свои задиралы, у них свои.

— И-го-го-го! — гогочет какой-нибудь наш Гущин, румяный и веселый парень.— Го-го! — и делает вид, что поднимается на задние ноги, скачет на одном месте...

— Эй, извозчик,— кричит правофланговый жеребец,— в Большой театр, полтинник! Живо! В Оперу опоздали!

Гущин копытом роет землю.

— Т-с-с!

Дежурный офицер. Все волшебно меняется. Ни жеребцов, ни извозчиков, замершие, в струнку, грудь вперед, голова несколько на отлете, юнкера,— те, что веселыми, молодыми телами делают на дворе ротное ученье, ходят за Дорогомилово в поход, маршируя, бойко поют «Взвейтесь, соколы, орлами...».

Осмотр опять касается того, все ли в порядке, туго ли стянуты пояса, все ли пуговицы на месте,— александровец должен быть в отпуску на высоте своего училища.

И вот, хлопнула тяжелая входная дверь, заснеженный тротуар, десятки молодых лиц, проезжающий Ванька (на этот раз настоящий уже извозчик, а не символический), Арбатская площадь в сизости сумерек, галки на золотом кресте церковки.

Молодежь разбегается. Шляпа весело, но и осторожно идет к себе на Арбат, норовит больше переулками. Того и гляди, из-за памятника Гоголя, в сумерках выскочит какой-нибудь штабс-капитан, и ты вовремя не откозыряешь...

— А подать сюда Ляпкина-Тяпкина.

Или же другая крайность: вдруг козырнешь земгусару (в сумерках все кошки серы: генеральный штаб, земский союз... да не дай Бог, еще гимназист взрослый пролетит на лихаче... Жутко подумать, если и ему честь отдашь).

Но впереди дом, свой угол, жена, Арбат, что может быть радостней субботнего вечера!

II

Да, блажен отпуск, блажен вечер субботы. В двух комнатках переулка у Пречистенки все кажется так светло, чисто и уютно! Пусть бы и не две, а одна, но вот с этим мирным снегом за

окном, с вороной на дворе, смешно прыгающей около корки, с кустиком, запушенным белым... Благовест церкви рядом — знаменитой приютской Дурновского переулка — тоже особенный: милого московского захолустья. (Там замечательный хор, чудная служба. Если бы не усталость, хорошо бы по чуть протоптанной тропке дойти ко всенощной.)

Но никуда не пойдешь. Никакого желания двигаться. Столько надвигался, столько напрыгался на параллелях, набегался в строевом учении — только б лежать, пить чай, читать — самое большее газету, и чувствовать, что ни фельдфебель, ни дежурный офицер в эту комнатку с образами и мещанскими занавесками не войдут, не придется вскакивать как угорелому и опять садиться по команде:

— Занимайтесь своим делом!

Здесь если заглянет, то какая-нибудь Аксинья или Матрена, полуотворит дверь, робко высунется: дома ли, мол, барин? Самоварчика свеженького не поставить ли? Барин дома, он в субботу всегда, безнадежно и как-то райски дома... и бесконечно может распивать чаи. Ночью же будет, просыпаясь, бормотать спросонку:

— Встать! Смирно! На первый-второй рассчитай-сь!

Но уже воскресный день — иной... Вечером надо уходить. Горизонт мирного утра с калачом, бубликом, свежим маслом омрачен дальней тучей. Ее почти не видать, но она надвигается — медленно, неотвратимо. До завтрака большая часть неба светла. «Мы», здешние,— из Дурновского, еще в большинстве. С двух-трех часов перевес получают «они»: военная машина на Знаменке, пред которой мы ничто.

К девяти надо возвращаться. Тут все точно, очень строго. Если опоздал хотя бы на несколько минут, месяц без отпуска. Так что держи ухо востро! И держали. Лишь самые отчаянные являлись к третьему звонку. Шляпы забирались раньше. Шляпа грустно появляется у колонн фасада, часов в восемь с чем-нибудь, и, простившись с другом, ныряет в знакомые, на блоке, двери.

В передней светло. Дожидаются несколько юнкеров.

— Кто нынче дежурный?

— Капитан Тимохин.

Ладно. Хоть и из «Войны и мира», да зато наверно знаешь, что уж капитан. И через две минуты, в дежурной комнате, вытянувшись пред Тимохиным, вовсе на толстовского не похожим, гаркнет шляпа:

— Господин капитан, юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска из отпуска прибыл!

«Прибыл»! Какое важное событие. Прибывают цари, прези-

денты... Скромный же воин, столь торжественно прибывший, полутемной лестницей взбегает во второй этаж, пустынным, гулким коридором идет к себе в колонную — «извозчицкую». Койки еще пусты. Темно, холодно. Лишь в глубине, у столика дежурного, лампочка под темным абажуром (бедняга целый день сидел тут, сторожил стены и винтовки — дежурство его выпало на субботу).

— Ну вот,— говорит он, зевая,— распишитесь. Хорошо погуляли?

* * *

Меняется жизнь, но меняется и человек. Каждая утренняя труба, каждое умыванье на холоде, каждый обед внизу в столовой как-то его меняют. Через кобылу, конечно, до гробовой доски шляпа не перепрыгнет, и в строю его фигура не из блестящих (портупеем никогда не быть), но в пределах шляпских своих возможностей он пообтесывается и привыкает. Учится хорошо. Устает сильно. Телом похудел, подтянулся, живет изо дня в день, почти без дум, едва поспевая за непрерывным, неустанным ходом жизни. Есть в его монашеско-военном бытии малые радости и кроме отпуска: время от половины пятого до четверти шестого. Тут имеет он право растянуться у себя на койке, пожевать шоколадку, принесенную женой, и блаженно, с детской простотой на несколько минут выйти из условий жизни — зачерпнуть иного мира, тоже бессвязного, но от барабана далекого... Именно несколько минут. Та же труба, что зовет к суду утром, так же разрывает уши ревом в неизменную минуту. Перемирие окончено. До трубы можно лежать не вставая, хоть бы сам батальонный вошел. Теперь надо вставать, хотя в роте и никого нет.

Да и не очень належишься. Раза два в неделю репетиция. Днем на лекциях, готовиться можно лишь по вечерам — и до одиннадцати клонятся стриженые юнкерские головы над учебниками.

Самое страшное в пехоте — артиллерия, в Александровском пехотном артиллерийский полковник Александер: живой, бодрый, пятидесятилетний человек, бодростью-то и нагоняющий на юнкеров ужас.

— Юнкер, чем же пушка отличается от гаубицы?

Ему почти весело, он, того гляди, захохочет, а пехотинец помалкивает.

— А какова траектория?..

Юнкер краснеет. Полковник же чувствует себя превосходно.

— Юнкер, если не умеете говорить, может быть, нам споете?

Юнкер и петь не умеет. Юнкер не знает ничего и о взрывчатых веществах...

— Следующий!

Полковник совсем развеселился. Радостно ставит ноль. (Странным образом, шляпе именно у него и повезло: получил двенадцать, очень редкий балл. Друзья-извозчики устроили ему овацию. И он ощущал славу более, чем выходя на вызовы в театре Корша, на премьере пьесы.)

Зато ученейший и старенький генерал по фортификации, кротостью больше походивший на монаха, подвергался беззастенчивым жульничествам. Правда, предмет его трудный. Хорошо ему, старичку в золотых погонах зигзагами, всю жизнь рисовавшему всякие брустверы да блиндажи: он-то их наизусть помнит, вероятно, во сне способен изобразить какое-нибудь «укрытие». А мы только укрываемся от разных репетиций...— да и вообще, разве можно такую науку, инженерно-строительную, усвоить в четыре месяца?

Выход простой: самопомощь. Пока генерал грустно объясняет что-то слабым, как у ветхого священника, голосом юнкеру у одной доски, к другим доскам, где томятся два других юнкера, летят подкрепления: выдранные странички из лекций.

— Господа, прошу потише!

Бывает так, что стрела с подкреплением упадет у самых ног генерала, или он обернется в ту минуту, когда юнкер Гущин вслух читает бестолковому юнкеру Гундасову страницу учебника.

— Па-а-громче! Не слыш-но! Па-жалуйста, па-а-громче!

Генерал страдальчески вздыхает.

— Господа, я принужден буду налагать взыскание...

Все вытягиваются, лица беспредельно постны, добродетельны. Ни в какие генеральские взыскания никто не верит. Но конец странички Гущин через несколько минут читает все же тише.

— Па-а-громче! — слышится от доски.— Па-жа-луй-ста, па-а-громче!

* * *

«Рождество Твое, Христе Боже наш,— пели в церквах,— воссия мирови свет разу-ума». Юнкеров распустили на три дня. В Дурновском была елочка. Мы с некоею грустью прятались за ней от будущего — фронта, невдали уже рисовавшегося, всех раскатов, ужасов войны. Но многого не понимали и не различали еще в жизни. Мир же все не понимал «света разума», вернее, от него отрекался. Те же бойни шли, и сама родина наша, сама Россия и Москва близились к страшному рубежу.

Новый год встречали у друзей, в роскошной квартире близ Мясницкой. Ужин был мало похож на юнкерские. Воронежская хозяйка, тяжелого купеческого рода, блеснула жемчугами, угощением. Хрусталь сервировки, цветы, индейка, мороженое, шампанское, поляк-лакей в белых перчатках, дамы в бальном, мужчины в смокингах...— прежний русский мир точно давал последнее свое представление: спектакль перед закрытием сезона.

Кроме приятеля моего, хозяина — европейского приват-доцента государственного права — помню другого приват-доцента, анархического, помню еще кой-кого из всем известных московско-российских фигур. Но вот запомнился больше других в тот вечер Кокошкин, может быть, и потому, что не сразу меня узнал.

— Боже мой, вы... стриженый, в этой странной на вас форме...

Кокошкин был надушен, элегантен, кончики его усов, вздымавшихся полукружиями, слегка покачивались, когда нежнейшим платочком проводил он по ним. (Эти усы помню еще с университета, студентом, когда у него держал экзамены.) Кокошкин остался все тот же, такой же культурно-нарядный, такой же московский «кадет», интеллигент, способный, кроме государственного права, поговорить и о музыке, о Вячеславе Ивановиче.

Говорили, конечно, много о войне. Розовый доктор Блюм, с серебряной шевелюрой, бодрый, веселый, все и всех знающий, явился поздно. Блестя глазами черно-сливными, вкусно выпил водки, закусил икрой, обтер салфеткой ус с капелькой растаявшего снега. Наливая вторую рюмку, благодушно кивнул мне и через стол чокнулся.

— Ура! За армию и за победу до конца!

Опрокинул рюмку, проглотил, и засмеялся так раскатисто и весело, точно победить было ему нисколько не трудней, чем выпить эту водку.

— У меня самые свежие новости. Да, мы были на волоске, едва не заключили мира. Не забывайте, что императрица и вся партия ее... немецкой ориентации... Сепаратный мир, а? Как это вам понравится?

Он обвел всех взглядом ласково-победоносным.

— Сепаратный мир, когда Германия и до весны не продержится!

— А вы долго будете держаться? — спросил кто-то.

— Да, но позвольте, вам известно, сколько теперь вырабатывают в день шрапнелей на заводах?

Поднялся спор. Блюм так распоряжался шрапнелями и пулеметами, точно они лежали у него в кармане.

В двенадцать часов, разумеется, чокались, пили шампанское (за победу, за скорый мир, за всеобщее счастье — мало ли за что можно пить в веселую минуту, за обеденным столом, при ярком свете, хрустале, дамах, цветах?). Было шумно, и, как всегда под Новый год, грустно-весело. Все же шла война. (За «серых героев» тоже, конечно, выпили.) Не все были так радостно-самоуверенны, как Блюм. Кой у кого сжималось все же сердце, смутным и волнующим щемлением.

...Мы вышли поздно. По Москве морозной, цепенеющей от холода, мчал нас лихач в Дурновский. Знакомые созвездия неслись над головой, в узких, знакомых улицах. На Лубянской площади у костра грелись извозчики. Думали ли мы тогда, чем будет впоследствии это место, этот дом Страхового Общества?

Небо, да тайна были над нами в канун года, так шумно встреченного. Года, разбившего наши жизни, залившего Москву кровью. А Кокошкина, с его надушенными усами, приведшего к кончине мученической.

III

Первого февраля 1917 года старшая половина нашей роты вышла в прапорщики. Мы с завистью смотрели, как в колонную нашу залу натаскивали свежую обмундировку, офицерские шашки, фуражки, как вчерашние сотоварищи надевали более элегантные сапоги, получали великолепные револьверы-кольты. И неукоснительно, по движению стрелки, произошла перемена: дружески с нами попрощавшись, обратившись в чистеньких, иногда даже изящных прапорщиков, внезапно исчезли. На их место, в тот же час, появились «фараоны», вполне еще шляпы, такие же, как мы были два месяца назад, наполовину в штатском, растерянные, робеющие. Нельзя сказать, чтобы мы их цукали. Но даже шляпы декабрьские все же смотрели на февральских несколько сверху вниз. Их так же, как и нас, готовили к экзамену чести. Как «опытные» строевики, мы снисходительно давали им советы, учили, обдергивали топорщившиеся гимнастерки, заправляли пояса под хлястики шинелей. Вообще, чувствовали себя господами.

Лично я, впрочем, в эти недели потерпел жестокое поражение. Хорошим строевиком не был никогда, все-таки на третьем месяце юнкерства, казалось бы, должен был кое-что смыслить в командовании. Курсовые офицеры знали, что я писатель, Некоторые относились ко мне с подчеркнутой любезностью. Эта любезность однажды меня и погубила. Обычно вечером роту рассчитывали или фельдфебель (юнкер же), или порту-

пей — юноши из самых ловких, залихватских, смелых. Поручик Н., желая оказать мне внимание, стоя перед фронтом роты, вдруг вызвал меня.

— Ну-ка, рассчитайте роту!

Под светом неярких ламп шеренга юношей — многие среди них приятели, с которыми вместе разбирали и чистили винтовки, другие — робкие новые шляпы, еще неподтянутые и мешковатые. Расчет роты производился каждый вечер. Все команды как будто знакомы.

— Рота, смир-но!

Это-то я знал наверно. Фараоны с благоговейным ужасом подтянулись. Рота действительно затихла, обратилась в молодую, живую и неподвижную изгородь.

— На первый-второй рассчитайсь!

Тоже неплохо.

Как в заводной игрушке, головы поворачивались слева направо, и эта волна быстро, легко бежала с одного фланга к другому. Теперь надо раздвинуть взводы, вздвоить ряды, сделать еще какие-то мелочи, повернуть направо, и колонной двинуть вниз, в столовую.

Что со мной сделалось? Очень простая вещь. Я скомандовал так, точно бы сам находился в строю, а не перед строем. И все вышло наоборот, как в зеркале. Команда магическое слово. С ней не спорят и ее не обсуждают. Взводы покорно исполнили, что им было приказано: фараоны с окаменелыми лицами полезли друг на друга, плечо на плечо: вместо того, чтобы раздвинуть роту, образовав промежутки, я обратил ее в бессмысленную кашу. Сразу все пропало! Погибла стройная фаланга, исчез ритм ее и эластичность. «Не так... что вы делаете!» — зашептали из строя приятели. Фараоны испуганно смотрели во все глаза: может, это они еще напутали... офицер поправил меня. Но уже все было потеряно. Растерявшись, я и вновь неправильно скомандовал, опять вышла какая-то чепуха... Нет, под несчастной звездой все затеялось. Остальное Н. командовал уже сам.

* * *

Наступили морозы. Какие холода выпали на начало 1917-го года! Стекла нашей роты промерзли, «пар от дыханья волнами ходил», мучительно — умываться в шесть часов при такой стуже. И именно тут мы ходили в походы. В своем роде это и интересно. С раннего утра возимся с винтовками, одеваемся потеплее — башлыки, шерстяные варежки, прилаживаем сумки

с патронами, веселой колонной выходим на Знаменку, рассыпаемся длинной шеренгой. Настоящий офицер, правильно командующий, строит нас в походную колонну, и мы трогаемся. То ли в Хамовники, то ли за Дорогомилово. Быстрая ходьба разогревает. А там из дымного тумана означится краснеющее над Москвой солнце, и покажется, что теплей, и московский снег, промерзший и певучий, скрипит под сотнями молодых ног. Похоже на прогулку, на какую-то игру. Прохожие оглядываются сочувственно. На каком-нибудь углу поджидают — кого жена, кого сестра, невеста. Машут платочками, смеются: эти приветы дорогих и близких всегда в нашем положении так радостны!

— Взвейтесь, соколы, орла-ами, полно горе горевать...

Наша рота певучая. Какие бы мы ни были «извозчики», а поем, действительно, хорошо, и «жеребцы» нам завидуют. А под песню, даже на морозе, идти легче. По правде же говоря, длинный поход не так особенно и легок: трудно с винтовками. Идти нам нужно стройно и красиво («бравые александровцы»), а для этого штыки должны торчать стойком и весело позванивать иногда, задевая один за другой. Нельзя винтовку просто положить на плечо: и безобразно будет, и, того гляди, выколешь глаза кому-нибудь. Значит, вся тяжесть винтовки на ладони, в которую упирается ложе, а штык в небе. Рука устает. И очень устает. Правда, мы научились и ловчить: приноровишь петельку шинели, и обопрешь на нее ложе. А рукой держишь только для декорации.

За городом рассыпание в цепи, перебежки, атаки, все это уже настоящий спорт, игра. По легкомыслию ли, по могучей ли, таинственной жизненности, вся эта молодежь, и даже шляпы не первой молодости, как-то забывали на пустырях Хамовников, на искрящемся снегом поле пред видом Воробьевых гор, куполов Новодевичьего, что это за игра, к чему, собственно, готовимся. Перебегали, залегали, хохотали в снегу... А тайными путями Провидения в те самые дни нарастали события, долженствовавшие все перевернуть.

С какого-то дня, все же, морозы прекратились.

Походы стали еще легче. И теперь ходили мы больше за Дорогомилово, под Фили — знаменитые Фили 12-го года с Наполеоном, Кутузовым, победоносным нашим отступлением. Тут уже, в снегах лощин, лесочков, деревушек, сразу чувствовалась весна, и нередко теперь, с резким переломом погоды, легкие, прозрачные облачка веялись по голубому небу, шоссе вдруг темнело, рыжело, грачи появились... Как весело и радостно забиваться гурьбою в деревенский трактир — с разрумяненными лицами, широко дышащей грудью: пить из пузатых чайников

чай с калачами, закусывать немудрящей колбасой — игра и охота продолжались перед самыми «событиями».

* * *

Скажи-ка, дядя, ве-едь недаром,
Москва спале-спаленная пожаром,
Французу отдана... Французу отдана.

Мы шли Арбатом, возвращаясь в училище. Роту вел красивый прапорщик Николай Сергеич.

— Ать-два, ать-два.— По временам он обертывался и шагал спиной вперед, на легких, молодых ногах. В первом ряду четыре портупей-юнкера маршировали резво — высоко, точно держа винтовки — узкой лентой колыхалась дальше рота, звякали штыки, отблескивая солнцем. Оттепельный, светлый день! Ноги шлепали по шоколадному, с голубыми лужами снегу Арбата. На углу Серебряного Николай Сергеич отдал честь жене моей, поджидавшей наш проход и шагавшей потом рядом с нами по тротуару... (Приятели мои уже знали ее, и тоже кланялись из строя: вещь не совсем законная, но сходившая с рук.)

На Арбатской площади мы немножко задержались: наперерез неслась пара в дышло. Снег и грязь летели из-под лошадей, кучер воздымался истуканом. Мелькнула полость, сани полицеймейстерские с высоченной спинкой, генерал в серой мерлушковой шапке, с золотым перекрещением на ней. Лицо его тоже пронеслось видением мгновенным...— но что-то было в нем особенное, совсем другое.

Не знаю, как, откуда к нам проникло э т о. Но, лишь мы разделись, придя в роту, из уст в уста побежало:

— В Петербурге восстание!

Сразу все изменилось. То есть, по видимости было прежнее, машина шла, но безумное волнение охватило всех сразу, и шляп, и портупеев, офицеров курсовых и батальонных, поваров и генералов. Выдержка скрывала еще новое, но ненадолго...

В городе что-то происходило. Проходили по Знаменке кучки солдат, штатские, дамы, иногда нам махали с тротуаров, кричали. Мы выставили караул у входа. Нас никуда не выпускали.

Если не ошибаюсь, этот день еще прошел спокойно. Утром следующего дня меня вызвали с лекции вниз в приемную — необычайный случай: с лекции и в неурочный час... Там ждал родственник, профессор медицинский, с зеленым от волнения лицом.

— В Петербурге вчера убит Юра...

Прост, и страшен был рассказ. Я его выслушал. Я его, кажется, и бессмысленно, сразу окоченев, выслушал. И потом все пошло призрачно. Сквозь туман прощался с родственником, вернулся на лекцию — на лекцию-то все-таки вернулся. Да немного из нее вынес.

— Что с вами? — шептали соседи.

Юра был мой племянник. Полковник что-то дочитывал. Я сидел, закрыв лицо руками. В ушах слова о статьях полевого устава. В темноте с радужными кругами — мальчик, на моих глазах родившийся, на моих глазах выросший,— изящный, скромный рыцарь. Только что кончил Павловское училище. Вышел в Измайловский полк. 27 февраля был дежурным в полку — вот он в снаряжении, ремнях, с револьвером и шашкой, юношески стройный, с карими веселыми, смешливыми глазами... Петя Ростов?

Когда чернь ворвалась во двор казарм, он один загородил дорогу. На предложенье сдаться отвечал отказом... так бы и Петя поступил. И тотчас пал.

Началась «бескровная», «великая бескровная» — суд над всеми нами, с непонятною таинственностью начавший с самых юных и невинных: ими сердца наши разивший.

* * *

Юра пал как рыцарь, как военный. Самодержавный строй, его жизнью расплачивавшийся, сам валился стремительно — никто его не защищал. К вечеру войска двинулись в Москве на площадь перед Думою (кажется, присягать Временному Правительству). В нашем училище электрически пронеслось и установилось такое душенастроение: против большевиков и за Временное Правительство. За самодержавие никого, или почти никого, из юнкеров и молодых офицеров. Старые — другое дело.

Часов в шесть была сделана, по приказу Мрозовского, командующего войсками округа, последняя попытка борьбы. Нас выстроили в ротах, роздали винтовки, боевые патроны. Стало известно, что поведут «усмирять». Молнией пронеслось:

— В народ стрелять не будем!

Те часы в памяти остались огненными. В голове вертелась гибель и кровь Юры, предстоящая кровь, неизвестность, мучительная тоска, невозможность стрелять и возможность быть сзади расстрелянным из пулеметов за отказ повиноваться, ненависть к убийцам в Петербурге, и нежелание проливать кровь не-убийц (как нам тогда казалось).

Тот самый офицер, что подвел меня своею любезностью в мирное (казавшееся столь далеким!) время, в боевом снаряжении вышел перед фронтом нашей роты. Рота уже не стояла так «смирно», как тогда. Под светом ламп штыки нервно покачивались у примкнутых к плечам винтовок. Он объяснил, куда идем.

Что-то задышало, заволновалось, начались «шевеления»... глухие слова, сначала неясные. Потом кто-то крикнул:

— Не будем стрелять!

— Юнкер, вы в строю...

— Мы не будем стрелять, господин поручик,— закричали с разных сторон.

Офицер еще сильнее побледнел.

— А вы знаете, что Москва на военном положении, и что бывает за ослушание...

Но уж не мог сопротивляться он той буре, что неслась одновременно, электрически, по всем ротам. Строй потерялся. Штыки звякали, все кругом говорили. Взволнованные, раскрасневшиеся лица...

— Послать узнать в другие роты...

В величайшем волнении сам офицер ушел. Мы остались стоять. Что-то решалось, колебалось в старых стенах училища, с портретами государей, полководцев на стенах... Какие-то стены падали.

Через час нам велели разоблачиться. Никуда мы не вышли. В таком настроении наши двенадцать рот не выведешь.

IV

...На улицу нас так и не пустили, чтобы не подвергать опасностям. По-прежнему в передней стоял караул. На противоположном тротуаре толклись любопытные, студенты, дамы. Махали нам, как бы нас звали. Лекции и занятия все же шли. Вернувшись с ротного учения, встретил я в колонной зале юнкера Гущина. Веселый юнкер, со штыком у пояса, на ходу крикнул:

— Сейчас на улицу вашей супруге салютовали!

— Как так?

— А вон, взгляните...

У окна толпились юнкера. Махали носовыми платками, один кричал что-то в форточку.

— Она спрашивала,— объяснил Гущин,— живы ли вы, и как здоровье. Ну, вот ей и ответили...

Особенную известность жена моя получила в эти дни за то,

что первая дала знать в училище об аресте командующего войсками (генерала Мрозовского). В приемную к ней меня не пустили. Но в бутербродах ухитрилась она передать мне записку о Мрозовском — это произвело у нас огромнейшее впечатление. В знак благодарности юнкера вывешивали ей теперь бюллетени о моем состоянии.

Подойдя, увидел я на оконном стекле, приклеенный, огромный лист бумаги. На нем усердно, крупно было выведено:

— Боря здоров.

* * *

Недолго продолжался наш нейтралитет. Тот самый ветер, что перебуровил всю Россию, проник и сюда. Само начальство наше перешло под власть Временного Правительства.

Все помнят эти дни — ощущение стихии надвигающейся, все сметающей. Мне же особенно врезался один вечер в училище, первый после падения самодержавия. Обычно, при расчете роты, шеренга «извозчиков» пела «Боже, Царя храни!». Офицеры и фельдфебеля держали под козырек, все мы тянулись во фронт. Это считалось минутой торжественной.

Наступила она и в тот день. Когда надо было взять дружно, хором — раздалось всего два-три неуверенных голоса, по привычке.

— Отставить,— сказал высокий, худой ротный наш, с сединою, при Георгии. Все замолчали. Странная, невеселая минута! Одиноко, мы стояли. Сумерки наступали. Где-то вдали играла музыка. Екатерина, во весь рост, смотрела с овального портрета в глубине залы. Александр, насупротив, выставлял белые лосины, зачесанные височки. Николай скакал на коне. Гимна не пели.

Высокий ротный, с сединой и плешью, отирал платочком слезы.

* * *

А на другой день юнкера весело выбегали на мокрую, в мартовском солнце улицу, месили сырой снег, прыгали через лужи — бежали в отпуск. И старый ротный, старый гимн, все это позади. Улицы бурлят народом, еще радостным и оживленным. Разочарований еще нет. Медовый месяц. Что же говорить, большинство наших нацепили красные банты: Временное Правительство как-никак из революции ведь родилось. И все близкие — жены, сестры, матери — приблизительно так чувствовали.

Но дисциплину мы сохраняли. Помню, встретил я на Пречистенском старичка-генерала, худенького, с красными лампасами, в кованых калошах. Он старательно обходил лужу на тротуаре. Бравый александровец, хоть и с красным бантом, стал, разумеется, перед ним во фронт, да так ловко, что треть лужи выплеснул на генералово пальто. Старичок горестно махнул рукой:

— Эх, юнкер, юнкер...

* * *

Новая жизнь началась и у нас, в старом, вековом дворце на Знаменке. Новая жизнь, с революцией пришедшая, состояла в том, что прежний, грозно-крепкий строй вдруг обратился в некий призрак. О, мы вели себя благопристойно, с внешней стороны машина будто бы и двигалась. Но в самом этом движении появилась некая фальшь. Не было ощущения власти, неотвратимой силы, прежде смалывавшей... надо просто признать: лично, для каждого, стало в училище легче. (И если так произошло с нами, то что же стало с солдатами! Как же им было не хотеть революции!)

И начальство переменилось. Как не иным может стать начальство, когда сразу же роты выбрали свои комитеты, и уполномоченные эти в любое время могли докладывать старику-генералу, начальнику училища, о своих нуждах. Царство шляп начиналось. О, если бы я хотел выплыть, время подошло. Но и без всякого моего желания, только за то, что я писатель и шляпа, выбрали меня и в ротный комитет, и потом в комитет семи от всего училища — вы вошли в Совет Солдатских и Офицерских депутатов Москвы. Много интересней, разумеется, было заседать, вместо лекций, в какой-нибудь для нас отведенной аудитории, или ехать в Политехнический музей на общее собрание Совета. Или идти депутацией к нашему генералу, просить о каких-нибудь послаблениях (о «подтягивании» никогда мы не просили) — и при всей внешней почтительности нашей все же генерал смущался... и никак не мог взять тона: что, мы подчиненные его, или он нам в чем-то уже подчинен? Мы старались, разумеется, быть мягче и приличнее, но за спиной нашей «ловчилы» уже действовали: старый, тяжеловесный и суровый строй военный отступал.

По-прежнему ходили мы в походы, были даже на параде на Красной площади, по-прежнему учились стрельбе в тире и разбирали проклятый пулемет (понять устройство коего невозможно). Но все это было наполовину игра, «нарочно».

* * *

Важное, или важным лишь кажущееся, надвигалось так же неотвратимо, как в свое время минута погружения в училище.

...Последние дни нашей жизни на Знаменке были легки, несколько и ленивы, занятны. Помню московскую весну, свет, лужи, огромный офицерский магазин на Воздвиженке, куда ходили мы примерять новенькие френчи, фуражки с офицерской кокардой, шинели. А потом все это волокли к нам в роту. Лекции уже окончились, мы валялись по койкам, вновь мерили, охорашивались, сравнивали револьверы, пробовали острия шашек — возраст наш сразу понижался до полуребяческого, несмотря ни на какие погоны. В эти же дни шло медленное, но тоже непрерывное возвращение к жизни обычной: точно бы просыпался после четырехмесячного сна с удивительными сновидениями (команды, марши, трубы, походы...). В эти светлые весенние дни, лежа на своей койке, опять я читал, как обычный человек и истинная шляпа, нечто глубоконевоенное, совершенно здесь неподходящее, что, однако, уводило в некий иной, романтический мир: «Воображаемые портреты» Уольтера Патера (в переводе Павла Муратова) — и светлый опал с нежным сиреневым оттенком дней московских, дней весенних, сливался с обликами Ватто, пейзажами дальнего Оксерра. Эта смесь поэзии и странной жизни вокруг и тогда волновала, и теперь о ней вспоминаешь с удивленным чувством.

1-го апреля обратились мы в нарядных прапорщиков армии, дни которой и вообще-то были сочтены. Обнимались, прощались весело и грустно. Выходили все в разные полки. Будущее было загадочно и неясно — судьба наша недостоверна. И действительно, веером разнесло нас, кого куда. Из всех полутораста своих сотоварищей по роте лишь одного довелось встретить мне за пятнадцать лет.

...На моих новеньких погонах стояла цифра 192 — запасный пехотный полк Московского гарнизона.

ОФИЦЕРЫ
(1917)

I

...Казармы — вблизи Сухаревки. Огромный двор, трехэтажные корпуса, солдаты, слоняющиеся без толку,— кое-где вялый подпоручик строит взвод, пытается заняться учением. Офицеры,

изредка пересекающие двор,— больше в канцелярию или в столовую. Ненужное, скучное, бестолковое... пока еще мирное, но уже в себе искры таящее. Такой же сумбур и снаружи, вокруг знаменитой башни Сухаревской, пристанища чернокнижника Брюса. Базар, суета, солдаты, квас, палатки, семечки.

Вернувшись из деревни, надеваю парадную форму, со всеми портупеями и крестообразными ремнями, чищусь, подтягиваюсь, отправляюсь представляться полковому командиру.

Часам к десяти собираемся мы, пять-шесть прапорщиков, в небольшой комнате, светлой, носящей еще следы старой, налаженной жизни,— приемная полкового командира. Скоро вышел и он. Мы вытянулись, поочередно представились... Вспоминая лысого старичка с большим лбом, вижу его как бы на сцене: не то из «Трех сестер», не то из другой чеховской вещи. Во всяком случае, это чеховский человек. Он радостно, как родным и близким, пожимал нам руки. Кажется, это был генерал-майор, с седыми бачками, в сюртуке с эполетами, и с красными лампасами (теперь иногда таких показывают в русских фильмах).

— Александровского училища? Так, так-с, прекрасно. Отличное заведение... Надеюсь, будем в согласии работать. Времена трудные, господа, вы сами понимаете, требующие особенного такта, осмотрительности...

Из окна виден двор. Солдаты шляются по нем, иногда в обнимку, другие висят на подоконниках, курят, плюют, лущат семечки. Такой же двор, вероятно, был и в Измайловском полку, когда туда ворвались (тоже лущившие семечки) и убили Юру. Мы многое понимаем и без старенького генерала.

Он отпустил нас с лучшими пожеланиями. Понимаю его. В нашем облике, тоне, почтительности чувствовал уголок своего. Мы не обидим. Не нагрубим — тонкая пленочка, еще отделяющая его от семечек.

Возвращаясь домой, остановился я на Сухаревке, ждал трамвая. В сутолоке базара случайно взглянул на лоток, где лежали разные мелкие вещи: гребни, шкатулки, бусы. Среди них небольшая деревянная икона: без оклада, старинного письма. В середине Ангел-хранитель, в белом с золотом, с округлым, чуть припухлым ликом рублевского типа. Слева Николай Мирликийский, справа св. Татиана. (Редкая по сюжету композиция XVII века.)

Татьяна, это Пушкин, Москва. Имя моей матери, моей сестры, с детства как бы священное. На перекрестке жизни, в нищете и убожестве сухаревского рынка, предстала мне св. великомученица.

...Через несколько минут я вез икону, тщательно завернутую, к себе на Долгоруковскую. И она вошла в дом мой в первые месяцы страстей России.

* * *

Так началась в Москве офицерская моя жизнь. На юнкерскую вовсе не похожая. Там напряженность, дисциплина, труд, здесь распущенность и грустная ненужность. Война еще гремела. На Западе принимала даже характер апокалипсический. У нас вырождалась. Мы уже не могли воевать, мы — толпа. Это чувствовалось и в тылу. В Москве тоже делали вид, что живут, обучают солдат и к чему-то готовятся. В действительности же...

Я поселился в особняке у друзей. Старинный купеческий дом, фасадом на Сущевскую, двором на Долгоруковскую. У меня отличная комната. Для работы огромный кабинет, рядом пустая зала, по которой взад-вперед можно ходить без устали. Блистающий паркет, фанера на стенах, лукутинские табакерки и коробки, жара, солнце и пыльная улица за окном с церковью Казанской Божией Матери (где некогда я венчался).

Служба... Состояла она в том, что по утрам надо ехать в казармы. Там решительно нечего делать, при всем желании. Бездельничали и солдаты, и офицеры. Смысл поездок этих только тот, что в полдень в офицерском собрании, там же в казармах, мы и завтракали. А после завтрака Сухаревка, трамвай — и к себе на Сущевскую.

Но одних суток все-таки и мне не забыть: меня назначили дежурным по полку. Опять снаряжение, ремни, портупеи, теперь и заряженный револьвер. Весь полк на твоей ответственности... А уж какой это теперь полк!

Около полудня спустился я с какой-то лестницы во двор казарм. К великому моему удивлению, там стоял хорошо построенный взвод, со старым фельдфебелем. К моему окончательному изумлению, при моем появлении взвод взял на караул — винтовки тяжело, но правильно взлетели, штыки блеснули — военный театр первого сорта. И на приветствие мое караул ответил совсем по-старорежимному:

— Здравия желаем, господин прапорщик!

Начался «день в караульном помещении»...

Что я там делал? В своем вооружении («до зубов») сидел в нечистой комнате с клеенчатым диваном, у столика. Подписывал какие-то бумажки, пил чай. Бессмысленно смотрел на приходивших, спрашивавших, можно ли послать ефрейтора туда-то, делать то-то, разрешить отпуск тому-то, сделать то-то на

кухне. Если бы был властолюбив, вероятно, все запрещал бы. Но я взял иную линию: все можно. Если угодно, это линия отчаяния: ни в одном распоряжении своем я не мог уловить смысла. Что надо делать на кухне? Как поступить с ефрейтором Ничипоренко?

Ночью «камера» моя обратилась просто в полицейский участок. Беспрерывно ловили на Сухаревке дезертиров, жуликов, воров — перед столиком моим проходили типы с чужими сапогами под мышкой, кое-кто уже с синяками, какие-то мальчишки, солдаты с фантастическими документами... Царь Соломон, разреши, кого куда? В преддверие Ада, или в нижние круги?

Меня выручил тот же фельдфебель, что утром так отлично отсалютовал. Я его взял на ночь «техническим экспертом».

— Этого сукина сына, ваше благородие,— шептал эксперт,— прямо на гауптвахту.

— У того с заячьей губой документ отберем.

Вводят лохматую «косую сажень» с подбитым глазом, растерзанного, в солдатской фуражке: стащил чуть ли не тюфяк.

— Энтого, ваше благородие, прикажите в комиссариат...

Часам к трем ночи в окне бледно-зеленеет. Выхожу на двор, курю. Нежное предутреннее небо, тающий, знакомый узор милых звезд, таинственные дуновения ночные. Сладок дым папиросы на чистом воздухе, майскою ночью! Неужели я писал когда-то книги? Неужели и сейчас в столе на Сущевской лежит начатая рукопись «Голубая звезда»?

Опять ведут дезертира. Этот, пожалуй, украл всю полковую кухню? Папироса докурена. Начинается суд. Клеенчатый диван, спертый воздух, нечистота... Нет, всю жизнь прослужил я в полицейском участке.

* * *

Все-таки, некоторые полки уходили на фронт. Как, кому удавалось уговаривать на это странное предприятие? Но сами мы с женой провожали 193-й пехотный на Днестр. С ним уезжал пасынок мой, прапорщик Алеша С. (впоследствии большевиками расстрелянный).

...Знойный, блестящий день, платформа где-то у Ходынки, товарный поезд с вагоном второго класса для офицеров. Толпа солдат, с гиканьем, песнями валит в вагоны. Круглое, в пенсне, лицо Алеши, нервно смеющегося, бегающего по платформе, на ходу целующего руки матери.

— Ты, мама, не волнуйся... Какая теперь война, просто сидение в окопах...

Ни одна мама мира не утешится такими утешеньями — да станут ли ее и спрашивать? Идет стихия, буря, судьбы российские решаются — приходится тащить таинственный жребий. Мать дала ему на войну иконку — Николая Чудотворца — да по-женски плакала, когда уходил поезд, весь в серых шинелях... и оркестр играл:

По улицам ходила
Большая крокодила..

О, знаменитая музыка революции, Блоку мерещившаяся,— Большая крокодила...

Юношеское лицо в пенсне, конечно, в слезах, виднелось из окна вагона. Белый платочек, да ветер, да солнце. Скоро и мой черед.

II

...В конце мая 192-й пехотный полк выступил в лагерь. Май стоял чудесный. Солнце, тепло, сады московские залились зеленью... Кое-как выстроили полк, даже музыка появилась, песенники. Офицеры в снаряжении — через всю Москву повели мы своих серых героев на зеленую дачу. Не так много в строю их и было: остальные предпочитали слоняться по городу, вечерами флиртовать в Александровском саду. Да и те, кто шли, делали нам великое одолжение: в сущности, с полудороги (если бы надоело) могли они разбежаться вполне безнаказанно: нам бы оставалось лишь доказывать им, что в лагере лучше, чем в казармах.

Впрочем, и действительно лучше. Ходынский лагерь очень приятен. Слева Петровский парк, весь свежий и густой, крепко-зеленый. Прямо — Москва с золотым куполом Христа Спасителя, знаменитое поле, некогда трагическое, а теперь мирное, поросшее травкой,— тропинки по ним протоптаны солдатами. Лагерь окопан канавой — это опушка леса, и все палатки под деревьями. Похоже на дачное место для военных. Роты размещаются по участкам. Приезжают кухни, обозы, начинается извечное военное хозяйство.

Нам, троим младшим офицерам роты, отвели небольшой домик. Мы там устраиваемся «приблизительно»: лишь толстый немолодой прапорщик латвийского происхождения будет здесь ночевать: а мы каждый вечер домой.

Ротный Л. у нас милейший. По профессии певец, с недурным баритоном, и левых устремлений — эсер. Но не шляпа. Высокий и стройный, веселый, отлично командует, верит в республику

и победу соединенных армий. Верит, что нравственным влиянием можно поддержать дисциплину и в наше время.

— Работать надо, господа, дело делать, а не опускать носы. Только этим мы и сможем одолеть анархию и большевизм. Вот вы, например, (обращаясь ко мне): вы писатель, надо завести собеседования с солдатами, объяснять им необходимость войны до победного конца, чтобы они, знаете ли, поняли ту высокую цель, из-за которой мы боремся... подумать только: германский империализм! Ну, да что мне вас учить, сами найдете нужные слова.

Грех мой состоял в том, что тогда я писал для одного издательства брошюру о необходимости войны «до победного конца». Л. знал об этом. И считал меня самым подходящим для таких бесед.

Мы их устроили. Тут же, под березами и осинками лагеря. Никак это не походило на митинги, скорее на семинары. О войне говорили, но мало: тема быстро исчерпалась. Разговор же шел, и оживленно — о деревне, жизни, о литературе. Кое-что я им читал: Толстого, Гаршина. Не знаю, имело ли это смысл и достигало ли какой-нибудь цели. Но в памяти остались некоторые солнечные утра на Ходынке, десятка два-три молодых солдат, сидящих и полулежащих на траве, чтения наши и разговоры. Некоторые из солдат глядели со вниманием и любопытством. Некоторые, казалось мне, даже с сочувствием. Трудно определить, каким кажешься. Приблизительно так представляю себе их впечатления:

— Разумеется дело — барин, и в свою сторону гнет. Книжки читал, рассказывает по-печатному.

Вмешивается пожилой ефрейтор.

— Теперь прапорщик пошел ледащий. Одна видимость. Бывало, как Михаил Михайлыч выскочит, да как гаркнет, вы что тут, сукины дети, лежебоки, прохлаждаетесь — даже в середке похолодеет. Это были военные люди...

— Теперь, дядя, другие времена. Слабода!

Ефрейтор крутит цигарку.

— А коли слабода, так на кой хрен мы тут? Война-война, до победного конца... Я, братцы мои, порядки знаю. Перемышль брал, в руку ранен. Да. А с такими кобелями, как вы, какое мы войско? Нас немецкие бабы в плен возьмут.

Пристает рыжий большевик с веснушчатым лицом.

— Вы, товарищ, несознательный... Это, конечно, прапорщик, как он помещичий сын, то о войне и рассуждает по-буржуйски. А нас ежели на фронт пошлют, мы тотчас братание в окопах устроим...

— Гаврюха, ты куда мою рубаху повесил?

— И даже ничего ее не трогал...

— Вот сукин кот! А мне вечером в город.

Ефрейторская цигарка едко курится. По Ходынке, в летнем зное, вяло бредут несколько солдат. Здесь, в тени, и то жарковато.

— До победного конца! Какие теперь ахвицеры!

* * *

Я знал, что еще в марте были предприняты шаги для перевода моего в артиллерию. Куда-то жена ездила со знаменитым москвичом, что-то налаживала, хлопотала. Но шли месяцы, не было ни ответа ни привета. Войска же понемногу шли на фронт. Наш черед приближался.

Ротный Л. вызвал нас троих в канцелярию.

— Господа, завтра смотр. Приезжает командующий войсками, все как полагается. Прошу показать роту нашу образцово... и вообще,— он улыбнулся,— не ночующим в лагере — не опоздать! Да, трудное время,— он напустил на свое худощавое, бритое лицо серьезное выражение,— но упорство, и культурная, демократическая работа в армии преодолевают анархию. Твердо верю! Надеюсь на вас, господа. Надеюсь.

Мы поклонились. Через четверть часа ротный плескался в умывальнике, приятным баритоном напевал:

— О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупи-ть, верну я че-есть свою и славу! И Ру-усь от недру-гов спа-су!

Может быть, и взаправду, командуя своей ротой, рассчитывал веселый Л. спасти Россию, как, может быть, мечтал о том же и Верховский, молодой генерал, тоже из эсеров, командующий войсками округа.

«Кто штык точил, ворча сердито...» — нам бородинского сражения не предстояло, и штыка я не точил; все-таки шашку с вечера осмотрел — главное: легко ли вынимается из ножен. И опять, не для того, чтобы рубить головы, а чтобы салютовать авантюристу Верховскому.

Встал на другой день пораньше, приоделся, и в седьмом часу ждал на перекрестке Бутырок трамвая, к «Трухмальным». Все прошло правильно. Приехал загодя — видел свежий, зеленый утренний лагерь (по правде сказать — впервые так рано). Л. был нервен, оживлен. Даже кого-то распекал, с театральными переливами баритона. Солдаты тоже подтягивались. Смотр — это большое развлечение.

Что, после Толстого, скажешь об этом военном зрелище?

Откуда взять Кутузовых, Багратионов, Ростовых, Болконских? И «серые герои» наши — не павлоградцы и не апшеронцы: все-таки, сколько могли, мы выстроили их, по опушке вдоль лагеря. Как водится, долго стояли «вольно», а потом увидали группу всадников, на рысях шедших к нам по Ходынке (Наполеон! Александр!). До Александра далеко, всего-навсего Верховский со штабом. Заиграла музыка, полк взял на караул. Наш лысый старичок, в мундире, орденах, трепеща рапортовал командующему. Бедный, трепетал только он один. Солдаты равнодушно зевали. (Замечательно, что еще удосужились взять на караул: вероятно, потому, что командующий тоже делил землю.)

Верховский, фатоватый, театральный, явно кокетничавший перед героями, покачивался на седле высокой, худой кобылы. «Я человек новый, энергический, я этих протухших генералов подтяну...»

С нашим генералом был небрежен, просто груб. Ехал вдоль фронта рысцой, а полковой командир почти бежал за ним, по жаре, пыли, бросал короткие, надменные замечания. (И верхом-то ехал, только чтобы унизить старика, обливавшегося потом. Отлично мог пройтись пешком, да и лучше разглядел бы солдат.) Кончилось же все митингом, как полагается. Для такого случая соблаговолил Верховский даже слезть с лошади. Взобрался на какой-то стол, или пустую бочку, и начал ораторствовать.

Апшеронцы и павлоградцы побросали винтовки, сбились в кучу вокруг «товарища командующего». Резким, неприятным голосом выкликал он знакомые шаблоны.

Вечером большевики устроили свой митинг. Там уж не стеснялись.

* * *

Итак, полк наш считается готовым. Не сегодня завтра чудо-богатыри с «железными» офицерами выступят... мокренько останется от австрийцев при одном нашем приближении.

...Сереньким июньским утром подали мне на Сущевский пакет-распоряжение штаба округа. Прапорщик 192-го полка такой-то переводится в Первую Запасную Артиллерийскую бригаду.

С этой бумагой поехал я в полк. Дождичек покрапал на Ходынке, завешивая дали легкой сеткой. Березы вкусно пахли. Солдаты попрятались. Вблизи ротной канцелярии попался Л. Увидев меня, улыбнулся.

— Вас отчислили. В артиллерию.

— Вот, только что получил назначение.

— Что же, поздравляю. А знаете, наш полк завтра выступает. Вам повезло.

И протянул приказ: действительно, назавтра 192-му уходить на позиции.

«Повезло!» Да, конечно. Это судьба называется. В книге ее было записано, что такому-то прапорщику-шляпе, не воевать. Так и вышло. И потому за него хлопотали, и месяцы пролежало все без движения, в нужную же минуту таинственная рука протянулась...

— Не ехать.

Все-таки было смутное чувство. Точно бы я все подстроил. Пошел к себе в домик, где стояли походные наши постели, прощаться с латышом и К. Они меня тоже поздравляли. И тоже, как Л., не совсем искренно.

За походной постелью, памятью Александровского училища, собирался приехать на извозчике... Да пока собирался, и полк ушел. А постель, разумеется, стащили.

III

...Некогда слушал я лекции в Горном Институте, теперь это пригодилось. В прошлом студент высшей технической школы: явно быть ему в артиллерии. Пусть от всей горной мудрости осталось только то, что кристаллографию понять нельзя. Все-таки для военного начальства я бывший техник. Значит — первая запасная артиллерийская бригада.

Ее казармы недалеко от Ходынки. Но все здесь иное. В лагере зелень, природа, некоторая улыбка. Казармы — как бы военный поселок. Фабрики и казармы — ярчайшие облики некрасоты мира (впрочем, еще: больницы, тюрьмы).

Если бы наши казармы обнести стеной, была бы типическая тюрьма — красные корпуса с запасными окнами, с грязью на дворе, ленивым движением фургонов, подвод, солдат с верховыми лошадьми в поводу. Но в тюрьме должен быть порядок. Мы же — в священно-освободительной анархии. Наша жизнь прямое продолжение Сухаревки.

Собираемся в десятом часу в офицерской комнате. Здороваемся. Пьем чай. (Некие солдаты, денщикообразного состояния, еще подают его.) Читаем газеты. Мухи жужжат на грязных окнах, ползают по грязной скатерти. Если отворить дверь в коридор, там шмыгают писаря с разными записками, бумажками для канцелярий.

— Прапорщик, читали, что в Петербурге делается?

— Да, большевички работают.

— Погодите, скоро и у нас начнется.

Но у нас, собственно, начинался только в полдень завтрак: разумнейшая часть программы. Завтрак тоже казарменный, скучный, но питательный. Белобрысые типы подают тарелки щей, вареную говядину... Клеенка в хлебных крошках, в кругообразных подтеках щей под тарелками.

— Поручик, передайте, пожалуйста, горчицу.

— Я бы этих большевицких болтунов давно перевешал.

Толстый, неповоротливый прапорщик настроен грозно. Успел ли бы он?.. Похоже, что его предупредили бы в этом намерении.

* * *

Приятно-детская сторона новой жизни: форма. Она элегантной. Вместо тяжелой шашки кортик. На ногах краги. Главное же — шпоры!.. Летний московский вечер. Выходишь из квартиры на Сущевской, идешь по Долгоруковской в Литературный Кружок. В летней полумгле зеркальные окна, тихая библиотека, веранда, востряковский сад, столиками уставленный, зелень. Сиренево-зеленоватая ночь спускающаяся. На веранде картежники. Приятен свет свечей под колпачками! В саду фонарики — похоже на какой-то летний праздник. Боскеты (фантастические в ночном свете), листья, мелкий гравий, олеандры в кадках.

Знакомых в Москве много. Шпоры позвякивают. Голубые звезды на небе. Холодная бутылка белого вина. Как далеко это от Александровского училища!

* * *

Все-таки начинается и вновь учение. Для пяти-шести прапорщиков из пехоты устроены занятия. Три раза в неделю поручик Н. водит к орудиям — в поле, за казармы. Пушки глядят на Ходынку. Из Петровского парка тянет свежестью леса, полей. Н. объясняет устройство затвора, приемы наводки. При всей своей шляпности, слушаю с интересом. Нечто добропорядочное, прочное в стройной, слегка полной — несмотря на молодость — фигуре Н. Бедного нет уже в живых. И его, и двух его братьев, должно быть, таких же прямых и славных юношей, через несколько месяцев расстреляли большевики.

Обучали нас и верховой езде. Я с детства хорошо ездил — теперь считал эту науку скучноватой. Все-таки для порядка приходилось делать круги рысью на нескладной артиллерийской лошади.

С верховою ездою связано и решающее событие «военной» моей жизни.

Вот о нем воображаемая запись:

12 июля. В понедельник назначен под Архангельское с солдатами и лошадьми батареи в ночное. Когда-то, ребенком, занимался этим. Что же, пусть и взрослым... Во всяком случае, прогулка верхом за двенадцать верст, ночь в палатке, бивуак, природа. Ничего дурного не вижу. Получше одеться. Взять книгу. Что именно? Марка Аврелия, «Размышления». Всегда любил.

15 июля. Оказалось даже лучше, чем предполагал. В три явился в бригаду — в шинели, снаряжении, на этот раз даже с шашкой. Вот теперь со шпорами надо осторожней — с непривычки можно раздражать ими зря лошадь. Ординарец привел вороную высокую кобылу. Рысь у нее редкая, грубоватая, но неплохая. Тронули сразу полным ходом. Хорошие места. Подмосковные. Леса, долины, извивы Москва-реки. Не зря баре наши любили этот край. Их следы остались: Архангельское, Ильинское, дальше, к Звенигороду, имение графа Гудовича. Тут и дороги хорошие, и деревни зажиточные. Солнце, приятный вечер. Наливающиеся овсы, кое-где рожь убирают уже — что может быть лучше крестцов ее в поле, возов поскрипывающих, загорелых девок и баб, под вечерним солнцем, при небе стеклянно-голубом над синим лесом?

Жарковато одет: под шинель уговорили надеть кожаную куртку — ночи, мол, холодны. Очень распарился.

...Через час приехали. Все прошло благополучно. Шпоры не мешали (не забыть, с детства, покойного отца наставления в езде: «Береги носки! Опять носки врозь!»). Да, тут уж настоящий бивуак, не Ходынка. Сосновый лес, в нем палатки, костер, кухня, фуры... Сквозь деревья видна луговина, там пасутся стреноженные лошади. Верно, где-нибудь и в Галиции так же, только впереди окопы. У меня отдельная палатка — маленькая, но приятная. Постель походная, все как следует. В чем же моя служба? Кажется в том, чтобы просто присутствовать. «Стеснять собою солдат». Верный ли это расчет? Бог знает. Он основан на том, что у пожилых ефрейторов, фельдфебелей сохранилось еще некоторое отношение к погонам.

— Все-таки, неловко при прапорщике...

Мог ли я что-нибудь приказать? Настоять, заставить сделать? Forse che si, forse che no[1]. К счастью, ничего и не приходилось приказывать. Солдаты приглядывали за лошадьми, подбрасывали

---

[1] Может быть, да, а может быть, нет *(ит.)*.

в огонь еловых шишек, кипятили воду в котелке. Когда солнце закраснело у горизонта, спели хором. У меня с ними такие отношения: пассажиры одного и того же поезда. Друг с другом довольно любезны — и безразличны. В одном вагоне проведем ночь, утром, в Саратове, выйдем на станцию, чтобы никогда больше не встретиться.

Пока было светло, читал, сидя на пенечке, своего Марка Аврелия. «Судьба загадочна, слава недостоверна...» Писано это тоже в палатке, в какой-нибудь дикой Паннонии, Дакии. И как волнуют слова, две тысячи лет назад нацарапанные холодным зимним вечером, при свете факела... Слово, великое наше слово!

На закате вышел на луг. Туман по нем зароился. Красная заря гасла над Архангельским. Недалеко Барвиха, где случалось бывать ранее.

Долго сидел на поваленном дереве. Туман все более стелился. Лошади в нем позвякивали бубенцами. Так вот будешь скоро сидеть где-нибудь на Днестре и ждать смерти. «Судьба загадочна...» И одиноко человеку перед вечными звездами, в неверных испарениях родной земли. Думаешь о близких и любимых, одиночество еще острее.

...Все что-то холодно. Слишком распарился в дороге, вот и прохватывает. И в палатке лег, укрылся, а согреться не могу. Удивительный воздух! Лес, хвоя, такой чистейший смоляной настой... Волнение — поэтическое, радостно-грустное, мешает спать. Раза два встаю, в шинели выхожу из палатки. Солдаты спят. Костер догорает. Теперь, с пофыркиванием лошадей в темноте, за кругом света, озаряющего лишь недалекие деревья, да фургон, да храпящих — весь бивуак наш, под черным шатром сосен, похож и на привал разбойников. Только не хватает землянки Дубровского.

Сквозь просвет дерев в небе звезды — милые мои...

20 июля. Нынче утро провели у орудия. Н. разбирал затвор. Нездоровится. Кашляю. Порядочный ветер. Кашель мешает сосредоточиться.

23 июля. Кашляю, голова болит.

25 июля. Приехала жена из деревни. Вид у меня мерзейший. Кашляю и хриплю так, точно в груди плохой граммофон.

26 июля. Вот она и поэзия, и лес, и Марк Аврелий. Зря надел кожаную куртку, только распарился и ночью промерз. Кашляю уже кровью. Доктор выслушал — воспаление легких, гриппозное и сильнейшее, запущенное. Лежу весь в компрессе. Противно, но тепло. Близкие, разумеется, в ужасе. Особенно кровь их пугает. Но врач объяснил: при воспалении легких всегда так. Полагается.

* * *

Вспоминая свою военную «деятельность», не могу не улыбнуться. Но и задумываюсь. Ничто в мире зря не делается. Все имеет смысл. Страдания, несчастия, смерти только кажутся необъяснимыми. Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как небесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения — всегда научают. Бессмысленного нет.

Тот странный, «военный» год мой (при всей незначительности его, объективно) имеет тоже свою философию. Вот почему я не только на него улыбаюсь: он некое звено в моей судьбе. «Хочешь делить с другими бремя войны. опасностей? Хочешь идти в самое пекло, пехотным офицером на фронт? Что же, пробуй».

Военная жизнь, ее суровость, дисциплина настоящей армии были показаны, как показано и разложение. Но как только подходило к действию, в котором мог бы принять участие, невидимая рука отводила.

Я не попал на фронт — ни пехотинцем, ни артиллеристом — хоть именно мои товарищи в бригаде скоро и уехали туда. «Случайная» болезнь, едва не разыгравшаяся в бурный туберкулез, вывела вовремя из строя. В сентябре бригадный врач дал мне шестинедельный отпуск. В последние его дни, когда я жил в деревне, разразилось октябрьское восстание. Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых.

— Нет, не нужно. Нет, не то.

И опять та же рука, что показала военную жизнь, как бы дав ощутить (но издали, со стороны) иное, чего как раз и не хватало в прежнем опыте,— повела далее: не путем воина.

IV

МОСКВА 20—21 гг.

STUDIO ITALIANO[1]

Убогий быт Москвы, разобранные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус («Михаил Михайлыч, верный мой примус!»), «пшенка» без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко.

Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том «Canzonieri» в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо, где висят красные шубы для извозчиков и бабы торгуют всяким добром, а Джованни делле Банде Нере сидит на своем монументе и смотрит, сколько сольди взяла с меня торговка. Думал ли я, покупая, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции же, в это же время мы по-богемски жили в «Corona d'Italia», пили кианти и рассуждали о Боттичелли?

Да, но тогда времена были в некоем смысле младенческие.

...А вот наше Studio italiano. В Лавке Писателей вывешивается плакат: «Цикл Рафаэля», «Венеция», «Данте». Председатель этого вольного учреждения — П. Муратов. Члены — Грифцов, я, Дживелегов, Осоргин и др. И мы читаем в аудитории на углу Мерзляковского и Поварской, там были Высшие женские курсы. В дантовском цикле у нас и «дантовский пейзаж», и Беатриче, и политика, и Дантова символика. Мне назначили лекцию, открывавшую цикл.

На зимних курсах бывало в нашей аудитории холодно! Дамы и барышни, да и другие слушатели сидели в шубах. Вряд ли когда-либо, где-либо, кроме России, при такой обстановке шли чтения.

Но сейчас апрель, влажный весенний вечер. Как и в дни мира, арбатское небо, к закату, к Дорогомилову, затянуто нежно-

---

[1] Итальянское общество *(ит.)*

розовыми пеленами. Можно из Кривоарбатского идти в Мерзляковский даже не сплошь по Арбату, а в Серебряном повернуть у церкви направо, и пройдешь среди развалин уничтоженных заборов, развалин фундаментов, «римским форумом», как я называл, к Молчановке. Прямо к тому старому барскому дому, с мезонином, где — в столь отдаленные времена! — жил я студентом, дышал тополем, светом, милой Москвой. Дом еще держится, тополя уже нет.

Итак, иду читать. Для этого надо бы купить манжеты, неудобно иначе. Захожу в магазин. В кармане четыре миллиона. Манжеты стоят четыре с половиною.

Ну, почитаем и без манжет.

Сиреневый вечер, мягкий туман, барышни, пожилые любители Италии, кафедра, все как следует. Моральный и аллегорический смысл «Божественной Комедии», Данте в Падуе, Орделаффи... В окне апрельский, и влажно-грустный вечер. Аплодисменты, бледное электричество, друзья... и над убогой жизнью дантовский Орел, подобный виденному у венца Афона. Прореял — все к себе поднял.

ДАНТЕ У СКИФОВ

1. На половине странствия нашей жизни
Я оказался в некоем темном лесу,
Ибо с праведного пути сбился.

4. О, сколь трудно рассказать об этом
Диком лесе, страшном и непроходимом,
Наводящем ужас при одном воспоминании!

7. Так он горек, что немногим горше
его смерть.
Но дабы помянуть о добром, что я там
нашел,
Скажу сначала об ином, замеченном в нем
мною.

Что, если бы теперь Данте явился на Кисловках и Арбатах времен «великих исторических событий»?

Он жил в век гражданских войн. Сам был изгнанником. Самому грозила смерть в случае, если бы ступил на родную землю, флорентийскую (сожгли бы его — igne comburatur, sic quod moriatur), «Божественная Комедия» почти вся написана в изгнании.

Данте не знал «техники» нашего века, его изумили бы автомобили, авиация и т. п. Удивила бы открытость и развязность

богохульства. Но борьба классов, диктатура, казни, насилия — вряд ли бы остановили внимание. Флоренция его века знала popolo grasso (буржуазия) и popolo minuto (пролетариат) и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли.

Четыре года назад профессор Оттокар, русский историк Флоренции, выходя со мной из отеля моего «Corona d'Italia», показывая на один флорентийский дом наискосок, сказал:

— В четырнадцатом веке здесь помещался первый совет рабочих депутатов.

Было это во время так называемого «восстания Чиомпи», несколько позже Данте, но в его столетии. Так что история началась не со вчерашнего дня.

Некрасота, грубость, убожество Москвы революционной изумили бы флорентийца. Вши, мешочники, мерзлый картофель, слякоть... И люди! Самый наш облик, полумонгольские лица...

ПАЕК

Думаю, что в осажденных городах население на паек сажали и в средние века. Данте сражался при Кампальдино, но осады ни одной ему не пришлось переживать. Так что насчет пайка он, наверно, столь же непонимающий, как и вообще все на Западе, они в пайке (le payok) ничего не смыслят вследствие своей крайней отсталости.

Пайки бывают разные. Я хорошо знаю академический, и всегда буду ему благодарен, буду курить ладан из кадильниц, и петь, и славить его, ибо благодаря ему и семья моя, и я сам уцелели, и многие из моих знакомых тоже.

— В среду выдают паек!

Это значит, что писатели из Кривоарбатского, философы в Гагаринского, Гершензон из Никольского и еще многие из других мест двинутся ранним утром, с салазками, тележками, женами, свояченицами на Воздвиженку. Там в кооперативе будут стоять в очереди и волноваться, здороваться с математиками и зоологами, критиками и юристами. А потом наступит, наконец, блаженный час: нагрузят в повозку бараний бок (с бледно-синими ребрами), пуд муки, столько-то сахару, спички, кофе, папиросы...

Жены с благоговением взирают. Вот мы везем свое богатство в детской тележке с деревянными колесиками, они скрипят и визжат на весь Арбат, не беда, чередуемся, тащим, когда пересекаем улицу, то старательно сзади поддерживаем поклажу — ведь это все ценное, на целый месяц, стоимость всего этого рубля два, а то и два с половиной. Паек, паек, награда долгих

лет признания, известности, как не ценить костей твоего барана и десятков твоих папирос? Как не потрудиться над тобой, не развести музыки диссонансов на весь Кривоарбатский?

ИНТЕРМЕЦЦО

Облик Орла — это гений в изгнании, нищете и бездомности. Данте был флорентийский дворянин. Жил в своем доме, обладал достатком. Гражданские усобицы разметали все. Он потерял семью, Флоренцию, родную землю. Скитаясь в Северной Италии учителем литературы, полуприживальщиком сильных мира сего, написал великое творение.

Труднее всего было ему одолевать свой гнев и гордость. Он ненавидел «подлое», плейбейское, в каком бы виде ни являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких «царьков» Италии. Не меньше презирал и демагогов. Что стало бы с ним, если бы пришлось ему увидеть нового «царя» скифской земли — с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упрямца и сумасшедшего?

Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения.

ЭКЛЕР ПРИ НЭПЕ

В надвигающемся безумии, в ощущении гибели того, что сам и выдумал, хитрец отменил половину собственного дела. Среди других последствий оказалось одно, малое для «событий», человеческому же сердцу видимое, милое, понятное.

Появился эклер — победа жизни. Его где-то пекли, но уже не тайком, а законно. Законно же и продавали — сладкий, гладко-глянцевый эклер на Арбате, Никитской, где угодно, прямо на улице. Сколько миллионов спустил я на эти эклеры, на ласточек «слишком медленной весны», но все же ласточек, все же эклер знак вольного творчества, личное, а не казарма.

В моего друга Х. была влюблена барышня. Ее болезнь носила нежный, мечтательный, но и упорный характер. Они встречались иногда в обществе, на заседаниях. Но ей этого было мало. С упорством влюбленных она неожиданно являлась где-нибудь на углу Никитской и Спиридоновки, как раз когда он проходил, здоровалась, вспыхивала, бормотала несколько слов и исчезала.

Однажды в сухой августовский день пыль и коричневые листья летели по бульвару. Х. выходил из переулка. И не удивился, встретив темные, застенчивые, но и полоумные глаза.

— Здравствуйте,— сказал он, как обычно, снял шляпу, пожал ее горячую руку. Она молча сунула ему левой рукой теплый и глянцевитый эклер.

— Это вам... возьмите, вам...

Вспыхнула, слезы блеснули на глазах, и от любви, от смущения ничего уже больше не могла прибавить, убежала.

— Что же бы ты сделал с этим эклером? — спросил меня X.

— Я бы его съел.

— Вот именно. Я так и поступил.

— И я считал бы его очень трогательным и милым подарком.

— Так ведь оно и есть в действительности.

— Благодаря чему я сохранил бы славное, с улыбкою, воспоминание.

— Оно и сохранилось. Эклер же показался мне особо вкусным.

ФЕДЕРИГО ДА МОНТЕФЕЛЬТРО

На столе у меня лежит том Сизеранна о знаменитом урбинском кондотьере. Его носатый профиль вспоминается еще во Флоренции, по Пьеро-делла-Франческа в Уффицци. Во время «великой» русской революции, работая над книгой об Италии, я изучал жизнь сына Федериго, меланхолического и несчастного Гвидобальдо.

Да, Италия и красота много помогли пережить страшное время. И, развертывая книгу, сейчас ощущаешь сразу три эпохи русского человека: первую, мирно-довоенную, поэтическую, когда Италия входила золотым светом. Вторую, трагическую,— в ужасе, ярости и безобразии жизни она была единственным как бы прибежищем, Рафаэль и божественная Империя, Парнас и музы Ватикана умеряли бешенство скифа. И вот теперь,— третья...

Как о ней сказать верно? — Революция кончилась. Но для нас кончилось и младенчески-поэтическое. Началась жизнь. Революция научила жизни. С прибрежья, где гуляли, любовались и позировали — спустились мы в «бытие». Пусть ведет вечный Вергилий. Началось схождение в горький мир, в «темный лес». Да будет благословенна поэзия. Не забыть Аполлона, не забыть Рафаэля. Но иное à l'ordre du jour[1]. Не позабудешь Италии, и не разлюбишь ее. Но нельзя уже позабыть «человечества», его скорбного взора, его преступлений и бед, крестного его пути.

---

[1] составляет предмет нашего обсуждения *(фр.)*.

Федериго, уважаемый герцог, покоритель и завоеватель, книголюб, собравший лучшую библиотеку Ренессанса (считал, что напечатанная книга — дурной тон!),— вы теперь мирно будете стоять на полках той моей библиотечки, на которую с высоты своего урбинского замка вы и не взглянули бы, не удостоили. Я прочту книгу о вас — и отложу. Я не буду в н е й, ею жить. Эстет, воитель, государь — вы правы. Но и у меня есть своя правда. Ни вам, да никому вообще я ее не отдам.

М. О. ГЕРШЕНЗОН

Если идти по Арбату от площади, то будут разные переулки: Годеинский, Староконюшенный, Николо- и Спасопесковский, Никольский. В тринадцатом номере последнего обитает гражданин Гершензон.

Морозный день, тихий, дымный, с палевым небом и седым инеем. Калитка запушена снегом. Через двор мимо особняка тропка, подъем во второй этаж и начало жития Гершензонова. Конец еще этажом выше, там две рабочие комнаты хозяина.

Гершензон маленький, черноволосый, очкастый, путано-нервный, несколько похожий на черного жука. Говорит невнятно. Он почти наш сосед. Иной раз встречаемся мы на Арбате, в молочной, в аптеке, или на Смоленском.

Сейчас, мягко пошлепывая валенками, ведет он наверх. Гость, разумеется, тоже в валенках. Но приятно удивлен тем, что в комнатах тепло. Можно снять пальто, сесть за деревянный, простой стол арбатского отшельника, слушать сбивчивую речь, глядеть, как худые пальцы набивают бесконечные папиросы. В комнате очень светло! Белые крыши, черные ветви дерев, золотой московский купол — по стенам книги, откуда этот маг, еврей, вросший в русскую старину, извлекает свою «Грибоедовскую Москву», «Декабриста Кривцова». Лучший Гершензон, какого знал я, находился в этой тихой и уединенной комнате. Лучше и глубже, своеобразнее всего он говорил здесь, с глазу на глаз, в вольности, никем не подгоняемый, не мучимый застенчивостью, некрасотой и гордостью. Вообще он был склонен к преувеличениям, извивался, мучительная ущемленность была в нем. Вот кому не хватало здоровья! Свет, солнце, Эллада,— полярное Гершензону. Он перевел «Исповедь» Петрарки и отлично написал о душевных раздираниях этого первого в Средневековье человека Нового времени, о его самогрызении, тоске.

Но, разумеется, Гершензону приятно было и отдохнуть. Он отдыхал на александровском времени. И в мирном разговоре, под крик галок московских, тоже отдыхал.

* * *

Я заходил к нему однажды по личному делу, и он помог мне. А потом — по «союзному»: Союз писателей посылал нас с ним к Каменеву «за хлебом». Так что в этой точке силуэт Гершензона пересекается в памяти моей со «Львом Борисовичем». Есть такой рассказ у Чехова: «Толстый и тонкий»...

* * *

О Каменеве надо начать издали. В юношеские еще годы занес меня однажды случай на окраину Москвы, в провинциальный домик тихого человека, г. X. Там было собрание молодежи, несмотря на безобидность хозяина, напоминавшее главы известного романа Достоевского или картину Ярошенки. Особенно ораторствовал молодой человек — самоуверенный, неглупый, с хорошей гривой. Звали его Каменевым.

Прошло много лет. В революцию имя Каменева попадалось часто, но ни с чем для меня не связывалось: «тот» был просто юноша, «этот» председатель Московского совета, «хозяин» Москвы. Что между ними общего?

Однажды вышел случай, что из нашего Союза арестовали двоих членов. Правление послало меня к Каменеву хлопотать. Он считался «либеральным сановником» и даже закрыл на третьем номере «Вестник Чека» за открытый призыв к пыткам на допросах.

Чтобы получить пропуск, пришлось зайти в боковой подъезд бывшего генерал-губернаторского дома на Тверской, с Чернышевского переулка. Некогда чиновник с длинным щелкающим ногтем на мизинце выдавал нам здесь заграничные паспорта.

Теперь, спускаясь по лестнице с бумажкою, я увидел бабу. Она стояла на коленях перед высоким «типом» в сером полушубке, барашковой шапке, высоких сапогах.

— Голубчик ты мой, да отпусти ты моего-то...

— Убирайся, некогда мне пустяками заниматься.

Баба приникла к его ногам.

— Да ведь сколько времени сидит, миленький мой, за что сидит-то...

...У главного подъезда солдат с винтовкой. Берут пропуск. Лестница, знакомые залы и зеркальные окна. Здесь мы заседали при Временном Правительстве, опираясь на наши шашки — Совет Офицерских Депутатов. Теперь стучали на машинках барышни. Какие-то дамы, торговцы, приезжие из провинции «товарищи» ждали приема. Пришлось и мне подождать. Потом

провели в большой, светлый кабинет. Спиной к окнам за столом сидел бывший молодой человек Марьиной рощи, сильно пополневший, в пенсне, довольно кудлатый, более похожий сейчас на благополучного московского адвоката. Он курил. Увидев меня, привстал, любезно поздоровался. Сквозь зеркальные стекла слегка синела каланча части, виднелась зимняя улица. Странный и горестный покой давала эта зеркальность, как бы в Елисейских полях медленно двигались люди, извозчики, детишки волокли санки. В левом окне так же призрачно и элегически выступали ветви тополя, телефонные проволоки в снегу, нахохленная галка...

Мы вспомнили нашу встречу. Каменев держался приветливо-небрежно, покровительственно, но вполне прилично.

— Как их фамилии? — спросил он об арестованных.

Я назвал. Он стал водить пальцем по каким-то спискам.

— А за что?

— Насколько знаю, ни за что.

— Посмотрим, посмотрим...

Раздался звонок по телефону. Грузно, несколько устало сидя, поджимая под себя ноги, Каменев взял трубку — видимо лениво.

— А? Феликс? Да, да, буду. Насчет чего? Нет, приговор не приводить в исполнение. Буду, непременно.

Положив трубку, обратился ко мне.

— Если действительно не виноваты, то отпустим.

Мне повезло, Арсеньева и Ильина удалось на этот раз выудить.

* * *

Что могло нравиться Гершензону в советском строе? Быть может, то, что вот ему, нервно-путаному, слабому, но с глубокой душой, «тип» в полушубке даст по затылку? Что свирепая, зверская лапа сразу сомнет и повалит все хитросплетенье его умствований? Но легко ли ему было бы видеть этого типа у себя в Никольском, в светлой рабочей комнате, и в другой, через коридорчик, где у него тоже стояли книги. Гершензон не раз плакался на перегруженность культурой. В нем была древняя усталость. Все хотелось приникнуть к чему-то сильному и свежему. Истинно свежего и истинно здорового он так и не узнал, все лишь мечтал о нем в подполье. И, стремясь к такому, готов был принять даже большевицкую «силушку» — лишь за то, что она первобытно-дика, первобытно-яростна, не источена жучком культуры.

После случая с Ильиным и Арсеньевым я приобрел репутацию «спеца» по Каменеву. Считалось, что я могу брать его без

промаху. Так что в мелких писательских бедах направляли к нему меня.

Одна беда надвигалась на нас внушительно: голод. Гершензон разузнал, что у Московского совета есть двести пудов муки, с неба свалившихся. В его извилистом мозгу вдруг возникла практическая мысль: съесть эту муку, то есть не в одиночку, а пусть русская литература ее съест. Наше Правление одобрило ее. И вот я снова в Никольском переулке, снова папиросы, валенки, пальто с барашковым воротником, несвязная речь, несвязный ход гершензоновских ног по зимним улицам Москвы...

Без радости вспоминаю эти малые дела тогдашней жизни, более как летописец. Что веселого было в восторженном волнении Гершензона, в его странном благоговении перед властью? В том, что мы, русские писатели, должны были ждать в приемной, подгоняемые голодом? В том, что Гершензон патетически курил, что Каменев принял нас с знакомой «благодушною» небрежностью, учтиво и покровительственно? Заикаясь и путаясь, Гершензон говорил вместо «здравствуйте» — «датуте», весь он был парадокс, противоречие, всегда склонное к самобичеванию, всегда готовое запылать восторгом или смертельно обидеться. Рядом с ним Каменев казался ярким обликом буржуазности, самодовольства и упитанности — и торжествующего и «культурного» мещанина.

Да, на каких-то мельницах Московского совета, правда, залежалось двести пудов, и мы по-своему даже должны быть благодарны Каменеву: мука попала голодающим писателям. Но... «ходить в Орду» невесело.

И далее картина: Смоленский бульвар, какой-то склад или лабаз. Морозный день. Бердяев, Айхенвальд, я, Вяч. Иванов, Чулков, Гершензон, Жилкин и другие — с салазочками, на них пустые мешки. Кто с женами, кто с детьми. Кого заменяют домашние. В лабазе наш представитель, И. А. Матусевич, белый от муки, как мельник, самоотверженно распределяет «пайки» (пуд, полтора). Назад везем мы их на санках, тоже овеянные питательною сединой, по раскатам и ухабам бульвара — кто на Плющиху, кто к Сивцеву Вражку, кто в Чернышевский. Ну что ж, теперь две-три недели смело провертимся.

* * *

В эти тяжелые годы многое претерпел Михаил Осипович Гершензон. Много салазок волок собственным горбом, по многим горьким чужим лестницам подымался, много колол на морозе дров, чистил снег, даже голодал достаточно. Он упорно и

благородно боролся за свою семью, как многие в то время. Семью любил, кажется, безмерно. Знал великие скорби болезни детей, их тяжелой жизни и переутомленья. Стоически голодал, вместе со своею супругой, отдавая лучшее детям, за тяготы этих лет заплатил ранней смертью.

Как всякий «истинный», не сделал карьеры при большевиках. Как Сологуб, писал довольно много, для себя, но сдался раньше его. Гершензон умер в 1925 году.

...Гершензоновой могиле кланяюсь.

«ВЕСЕЛЫЕ ДНИ»
1921 г.

ЛАВКА

Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид: мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девицы, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой, разглядывали наши сокровища, а то и самих нас.

«Книжная Лавка Писателей». Осоргин, Бердяев, Грифцов, Александр Яковлев, Дживелегов и я — не первые ли мы по времени нэпманы? Похоже на то: хорошие мы были купцы или плохие, другой вопрос, но в Лавке нашей покупатели чувствовали себя неплохо. С Осоргиным можно было побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым о кризисах и имманентностях, с Грифцовым о Бальзаке, мы с Дживелеговым («Карпыч») по части ренессансо-итальянской. Елена Александровна, напоминая Палладу, стояла за кассой, куда шли сначала сотни, потом тысячи, потом миллионы.

Осоргин вечно что-то клеил, мастерил. Собирал (и собрал) замечательную коллекцию: за отменою книгопечатания (для нас, по крайней мере), мы писали от руки небольшие «творения», сами устраивали обложки, иногда даже с рисунками, и продавали. За свою «Италию» я получил 15 тысяч (фунт масла). Продавались у нас так изготовленные книжечки чуть не всех московских писателей. Но по одному экземпляру покупала непременно сама Лавка, отсюда и коллекция Осоргина. Помещалась она у нас же, под стеклом. А потом поступила, как ценнейший документ «средневековья», в Румянцевский музей.

Итак, Осоргин хозяйничал, Бердяев спорил об имманентностях, горячился из-за пайков, был добросовестен, элегантен и

картинен. Грифцов «углубленно» вычислял наши бенефиции. Нервически поводил голубыми, прохладными глазами, ни с кем ни в чем не соглашался: где-то подкожно заседал у него Бальзак, им он презрительно громил противников. Я... В зимние дни, когда холодновато в Лавке, сидел на ступеньках передвижной лестницы, где было теплее. До конца дней своего купечества так и не усвоил, где что стоит (книги у нас, правда, постоянно менялись). Если покупатель был приятный, то еще он мог рассчитывать, что я двинусь. Если же появлялась, например, барышня и спрашивала:

— Есть у вас биографии вождей? — я прикидывался вовсе не понимающим:

— Каких вождей?

— Ну, пролетариата...

— Нет, не держим.

И вообще для несимпатичных редко слезал с насеста.

Такой книги нет.

А если есть, то обычный вопрос (вполголоса).

— Елена Александровна, где у нас это?

И Паллада, отсчитывая миллионы, молча указывала пальцем полку.

Мы, «купцы», жили между собою дружно. Зимой топили печурку, являлись в валенках. Летом Николай Александрович надевал нарядный чечунчовый костюм с галстуком-бантом. Над зеркальным окном спускали маркизу, и легонькие барышни смотрели подолгу, задумчиво, на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

В глубине лавки была у нас дверка и узкая лестница наверх, на хоры с комнаткой, куда мы иногда прятались от скучных посетителей, где устраивали лавочные собрания,— вообще это были «кулисы» торгового дома. В комнатке стоял огромный стол, заваленный книгами, и вокруг на полках тоже много книг. Но уж что *здесь* находится, не знал не только я, а, пожалуй, и сам Грифцов.

Место это носило несколько таинственный и романтический характер. С хор можно было, незамеченным, наблюдать жизнь лавки. Полутьма, витая лесенка, пыль,— все давало ощущение спрятанности, укрытия.

В этом-то уголке и собрал нас однажды Осоргин — стоял знойный, сухой август, в лавку набивалась пыль, и горячий ветер трепал волосы, как только выйдешь. Осоргин многозна-

чительно сообщил, что в городе организован Комитет Помощи Голодающим, состоять он будет из «порядочных» людей, но под контролем власти. Голод (на Волге, в Крыму) в то лето, правда, был ужасный. В Самарской губернии так выжгло зелень еще с весны, что поля имели вид черно-бархатной, с отливом, скатерти. Урожая «не оказалось», а так как у крестьян своевременно обобрали прежние запасы, то голод наступил мгновенно. Власть растерялась. И под минутой паники согласилась на «Общественный Комитет». Нам, представителям литературы, предложили тоже войти — об этом мы и совещались наверху. Предложение шло от Прокоповича, Кусковой и Кишкина. От «власти» председателем назначили Каменева.

Идти или не идти? Вот о чем мы рассуждали. И так как Лавка заключала в себе президиум Союза писателей, то нас это близко касалось. Решили идти. Выбрали Осоргина и меня.

У русского человека есть такие выражения: «за компанию», «с хорошим человеком и выпить можно». «За компанию»... отчего же не попробовать? Пожалуй, не будь это в Лавке, с Осоргиным, пришел бы меня приглашать какой-нибудь честный бородач в калошах или старая дама, я бы и не согласился. Но тут — была не была!

На другой день уже весь город знал о Комитете. Тогда еще считали, что «они» вот-вот падут. Поэтому Комитет мгновенно разрисовали. Было целое течение, считавшее, что это — в замаскированном виде — будущее правительство! Другие ругали нас, среди них С. П. Мельгунов, за «соглашательство»: ведь мы должны были работать под покровительством Льва Борисовича. Помню какого-то желчного интеллигента, который купил у меня на грош, а расстроил на тысячу рублей: выходило, что мы чуть ли не пособники и т. п. На следующий день в газетах нас превозносили (очевидно, уже считали «своими»), а нашими именами уязвили непошедших.

Газеты эти были расклеены. Выйдя из лавки, завернув в Леонтьевский, я наткнулся на такую «стенгазету». Вокруг нее куча читателей. Безрадостно увидал я свое имя рядом с Максимом Горьким. Мрачный тип сзади, прочитав, фукнул и сказал:

— Персональный список идиотов.

«ДЕЛО»

Были мы идиотами, или нет, каждый решает по-своему. Несомненно лишь то, что наша жизнь приобрела некий острый, романтически-заговорщицкий оттенок. Мы ходили в переулочек у Арбата к Кусковой. В ее квартире шла непрерывная суматоха.

Являлись, совещались, заседали. Смесь барства, интеллигентства с крепкой настойкой Москвы... Вблизи двухэтажного ее дома церковка, окно кабинета Прокоповича выходит во двор, где играют детишки, с деревьев листья летят, самый дом — не то особняк, не то помещичья усадьба, угол старой Москвы. Еще Герцены, Хомяковы, Аксаковы жили в этих краях. Небольшие сады при небольших особняках — разве не деревня?

И Сергей Николаевич и Екатерина Дмитриевна были очень серьезны. Их положение не из легких. Все это они затеяли, предстояло найти линию и достойную, и осуществимую.

Мы составили литературную группу. Осоргин редактировал газету Комитета — «Помощь». Ее внешний вид вполне повторял «Русские ведомости». Как только появился первый номер, по Москве прошел вздох.— «Теперь уж падут! «Русские ведомости» вышли, стало быть, уж капут!»

Подготовительная часть у Кусковой окончилась, открылись собрания уже с «ними» в особняке на Собачьей Площадке. «Наших» было числом гораздо больше: профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы,— вроде парламента. Вот какие люди: Прокопович, Кускова, Кишкин, Кутлер, Ф. А. Головин, профессор Тарасевич (ныне покойный), Вера Фигнер и много других. С «их» стороны: Каменев, Рыков, Луначарский. Большинство было у «нас», права «наши» считались большие, и настроение (в наивности нашей) такое:

— А п-па-звольте спросить, милостис-дарь, а н-на каком основании вы изволили обобрать Нижегородскую губернию? А н-не угодно ли вам будет срочно отправить пятьсот вагонов в Самар-р-рскую?

Волны наших государственных вожделений приходилось принимать Каменеву — он председательствовал. Приезжал и Рыков. Но, сколько помню, всегда пьяный. В тужурке, с длинным мальчишеским галстуком, сальными волосами. Понять, что говорит, трудно, очень плохо двигал языком. Каменев же был взят как наилучший мост к нам.

Вспоминая эту свою «деятельность», я не могу припомнить, что именно путного сделал. Кажется, больше слушал, да рассматривал. Садился в первый ряд, с независимым видом. Однажды сказал Каменеву:

— Прошу слова.

Он любезно кивнул и записал меня, но тут встал Прокопович, и очень толково именно то и сказал («А п-пазвольте, милостис-дарь, на каком основании?»), что я хотел спросить. Мне не повезло. Я от слова отказался, просто только с победоносным видом оглянулся на стулья «наших», за которыми светлые ок-

на — в них вечерняя Москва, невысокие домики Собачьей Площадки, урна, зеркальное небо и раннепадающие листы.

Из этих шумных заседаний я вынес такое наблюдение: «они» и «мы» — это название комедии Островского «Волки и овцы». У них зуб, наглость, жестокость. Все они шершавые, урчат, огрызаются. (Особенно это ясно стало, когда за Каменевым начали появляться какие-то безымянные типы в куртках... Позже мы все это хорошо поняли.) И нет добрых глаз, доброго взгляда. Вот это страшная черта советских людей, я ее часто замечал: недобрые глаза и отсутствие улыбки. А «наши»...— ну, мы себя хорошо знаем.

«Мы» настаивали, чтобы была послана в Европу делегация от Комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места. «Им» это не так-то нравилось. Началась торговля. То ли мы им должны уступить, то ли они нам.

Я жил тогда в Москве один, в Кривоарбатском — семья была в деревне. Ходил обедать на Арбат, в столовую, очень нарядную, только что открывшуюся. Бывал и в Лавке, но реже.

Как-то жарко, ветрено было в Москве, нервно и занято. Так осталась у меня в памяти пустынность московских вечерних переулков, горячая сушь августа, ощущение легкости и полета.

Раз вечером мы выходили с Осоргиным с заседания. Луна хорошо светила. На этом заседании я просил Каменева за «сидевшего» в Одессе писателя Соболя.

Он небрежно спросил:

— Какого Соболя? Который написал роман «Пыль»?

— Да.

— Плохой роман. Пусть посидит.

Я заметил, что он сидит уже семь месяцев, неизвестно за что.

— Ну, это много. Постараемся выпустить.

И вот у выхода Каменев, подходя к своей машине, столкнулся с нами.

— Пожалуйста,— сказал любезно,— вам далеко? Я подвезу.

Не сговариваясь, мы с Осоргиным толкнули слегка друг друга и отказались. Мы шли лунным, пахучим вечером, радостно-грустным в красоте ночи московской. Шли некоторое время вместе, а потом разошлись: я на Арбат, он в Чернышевский. Памятен был этот вечер, сладок и пронзителен. Но и он ушел, и много с тех пор изменилось. Тогда Соболь сидел, а Каменев уезжал на шикарной машине — «генерал-губернатор» Москвы. Затем Соболь — этот глубоко несчастный человек — вышел из тюрьмы, ушел к «ним», окончательно запутался и револьверным выстрелом разрешил свою незадачливую жизнь. Соболя я просто жалею, над Каменевым злорадствовать не хочу.

А в тот вечер мягко нес его автомобиль к Кремлю.

COUP D'ETAT[1]

Мы собрались в свой особняк часам к пяти, на заседание, как было назначено. Сегодня решалось все дальнейшее. Комитет поставил ультиматум: или нашу делегацию выпускают в Европу для сбора денег, или мы закрываемся, ибо местными силами помочь нельзя. Настроение нервное, напряженное. «Наши» сидят на подоконниках залы, толпятся в смежной комнате, разговаривают около стенных карт и диаграмм.

Время идет. Вечереет. Под окнами какие-то куртки, а Каменева все нет. Нервность и удивление. Вынимают часы, смотрят.

Я находился в комнате рядом с залой. Помню,— в прихожей раздался шум, неизвестно, что за шум, почему, но сразу стало ясно: идет беда. В следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами, в высоких сапогах, бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул:

— Постановлением Всероссийской Чрезвычайной Комиссии все присутствующие арестованы!

ПУТЕШЕСТВИЕ

Паники не произошло. Все были довольно покойны. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер и багрово-вспыхнувшую Екатерину Дмитриевну. Еще помню, что через несколько минут по водворении пришельцев, через ту же прихожую пробирался к нам, несколько неуклюже и как бы конфузливо, П. П. Муратов.

— Ты зачем тут? Эх-х, ты...

П. П. был тоже членом Комитета. Он опоздал. Подойдя к особняку, увидел чекистов, увидел арест...

— Ну и чего же ты не повернул?

— Да уж так, вместе заседали, вместе и отвечать...

Тепрерь он уже за чертой чекистов. Не утечешь!

Был бледно-сиреневый вечер, когда мы вышли. У подъезда стояли автомобили. Осоргин, я и Муратов, как прожили полжизни вместе, так вместе и сели. Теплый воздух засвистел в ушах, казалось почему-то, что машина мчится головокружительно. Неслись знакомые переулки, Арбат, мелькнула площадь, Воздвиженка, и странно пустынной казалась Москва. Очень хотелось встретить хоть кого-нибудь знакомого... Моховая, Университет. У книжной лавки Мельгунова мелькнуло, наконец, чье-то знакомое лицо — но машина наддала, через две-три

---

[1] Государственный переворот *(фр)*.

минуты, после удивительнейшего полета (я другого все-таки такого в жизни не запомню!) мы остановились у «приветливых» дверей дома «России», на Лубянской площади, и сошли с автомобиля: два года назад в эти же двери вошел и не вышел живым мальчик — Алеша Смирнов, многострадальный мой пасынок.

НОЧЬ

...Всем нам пришлось перебывать у окошечка, похожего на кассу банка или на бюро спальных вагонов: там о каждом записывали, что требуется, и вновь собрались мы в нашей «случайной» комнате — ждали дальнейшей участи.

Я думаю, самым невозмутимым из нас оказался Ф. А. Головин. Всегда у меня была слабость к этой безукоризненно-лысой, изящной и умной голове, к тонкому, древнему профилю (он потомок Комненов), бесцветно-спокойным глазам. На воле, в барское довоенное время, и в голодные дни революции мы немало играли с ним в шахматы. Он с одинаковым безразличием и выигрывал, и проигрывал. Через полчаса по прибытии, когда другие еще горячились, расходовали подожженную нервную энергию, Федор Александрович уже сел играть с черно-мрачным и так же равнодушным Кутлером. Откуда они добыли шахматы, я не помню: кажется, тут же и смастерили из картона. Впрочем, игра продолжалась недолго: нас повели в еще новое помещение. Ф. А. равнодушно забрал фигурки, записал положение, и в своем элегантном костюме, белых брюках, с шахматами под мышкой зашагал по застеночным коридорам.

Мы вошли в довольно большую комнату с двумя цельного стекла окнами. Надпись на стекле, глядевшую в переулок, можно было прочесть и отсюда:

— Контора Аванесова.

Теперь в конторе нары. Их ненадолго занимали случайные постояльцы. Здесь перст Судьбы сортировал: жизнь — смерть, смерть — жизнь. Кускову, Прокоповича и Кишкина очень скоро увели от нас во внутреннюю тюрьму. Мы попрощались сдержанно, но с волнением. Никто не знал, на что их ведут.

Мы с П. П. Муратовым легли рядом на голые нары, около окна. Осоргин находился в другом углу с гр. Бенкендорфом. Хотелось есть. Электрическая лампочка заливала все сверху мертвым светом. Мы лежали, и сначала говорили, а потом стали умолкать. Заснуть в эту, первую свою ночь в тюрьме, я не мог. К счастью, ужаса не испытывал. Но нервное возбуждение заставляло бодрствовать. Мне даже казалось, что я очень оживлен, почти весел. Странным образом, мало думалось о безумии

окружающего. Знал, что в этом же доме, может быть, в эти глухие часы кого-то ведут в подвал... но (самозащита, что ли?) мысль на таком не останавливалась. Часа в три, например, ясно помню шум мотора, заведенного на дворе,— мы отлично знали, что это значит,— все же впечатление было меньше, чем можно было бы думать. Очень уязвляла мысль о семье: жена и дочь были в деревне, все хотелось, чтобы до них пока не дошла весть о моем аресте.

А затем... затем я наблюдал. По моему мнению, спали многие. Среди них, недалеко от меня,— Ф. А. Головин. Он лежал на спине. На его правильном, лысом черепе блестел, как на слоновой кости, луч электричества. Руки аккуратно сложены накрест, белые брюки в складке, желтые ботинки, воротнички даже не расстегнуты. (Он и позже спал всегда в полном параде. Объяснял так, что если ночью позовут на допрос или расстрел, то нельзя выходить на такое дело не в порядке.) Сейчас клоп медленно взбирался по теневой стороне его черепа, ища удобного места. Доползши до освещенно-блестящей части, испуганно повернул назад.

В это время в камеру ввели высокого человека, неуверенно шагавшего к нам. Я толкнул П. П.— тот подняло заспанное, затекшее от неудобного изголовья лицо и ухмыльнулся: это был его приятель — Борис Виппер, молодой профессор.

— Ну, вот...— пробормотал П. П.,— и вы тут. Нашего полку прибыло.

Виппера взяли ночью и прямо доставили сюда.

«ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МНЕ ГОТОВИТ»

1) Яркое солнце. Было воскресенье, этот августовский свет весело блистал по Москве. В Петербурге сквозь влажно-голубоватую невскую дымку освещал тела безвинно убиенных по Таганцевскому заговору.

2) И очень приятное, что он нам дал, были посылки. Да, за стенами, там, на воле, оказалась Москва, добрая Москва! Чрез тысячи пор, щелей просочилась она в тюрьму, обходя правила адских кругов. Жены, сестры, невесты, дружественные, знакомые и полузнакомые руки упаковывали нам свертки — и в солнечный воскресный день вдруг въехала груда пакетов — «передач». К этому времени Осоргин был уже избран нашим старостой. Ловкий и легкий, в счастливом нервном возбуждении ответственности, он хорошо провел роль, «был в форме». Вот и сейчас элегантно распоряжался раздачей передач, весело выкликая адресатов.

Так как все «мои» находились в деревне, я ничего не ждал. Вдруг улыбающееся лицо Осоргина обернулось, он назвал мое имя. Только тут я понял, как приятно получить в тюрьме знак благожелания и памяти. Этим обязан был я Р. Г. Осоргиной — вместе с пакетом мужу уложила, притащила на себе она и мне подмогу. Никогда, даже в детстве, не радовал меня так подарок, за него храню Рахили Григорьевне всегдашнюю благодарность. Там было одеяло, подушка, белый хлеб, сахар, какао — вообще столько прелестей!

Неполучившие (не-москвичи) сразу заметны были по грустным глазам. Разумеется, тотчас же началась дележка, «первобытно-братственное» равенство осуществилось с некоторым даже напором со стороны получивших. Вся наша «преступная банда» оживилась. Особенно старался один инженер — Метт. Он получил огромную посылку, с нервной расточительностью раздавал свои сокровища.

Вид камеры изменился: стали устраиваться, на нарах появились пледы, одеяла, подушки, началось бритье и умыванье, вообще жизнь вроде вагонной — дальнего следования.

Мы с П. П. Муратовым и Виппером устроили свой уголок у окна аванесовской конторы и залегли крепко, по-медвежьи. После бессонной ночи дремалось неплохо. Время шло быстро. Черно-лохматый Кутлер играл, как полагалось, в шахматы с Головиным, и по их виду нельзя было понять, кто побеждает. Осоргин хлопотал с Бенкендорфом в другом углу. Под вечер он прибежал ко мне, несколько женственно припал, обнял и гаркнул:

— Вот она, жизнь-то какая! Веселая жизнь. Ругаешь меня, что я тебя сюда затащил?

Историко-литературный угол оживленно загоготал.

А Осоргин уже вспорхнул, подобно Нижинскому, помчался для переговоров о кипятке.

ЗВЕЗДЫ

По вечерам мы их видели, но минутно, пересекая тесный двор, когда ходили умываться, за кипятком, и т. п. Никогда звезды не казались столь прекрасными. К сожалению, в том узком куске бархата, что восставал над головой, я не мог найти Веги. Но другие звезды видел. И они видели меня — в грязи, убожестве, кровавой слякоти отверженного места. Звезды и Вега вызывают в памяти рассказ, слышанный тоже в дни революции.

Г-жа Н. была замужем за немолодым человеком. Полюбила другого. После разных колебаний муж согласился, чтобы она

устроила себе новую жизнь с этим другом. Они встретились все трое у Н., и решение было принято окончательно. На другой день г-жа Н. должна была уехать.

Ночью, однако, и она, и муж, и все родные были арестованы по обвинению в контрреволюции. Новая жизнь для г-жи Н. оказалась камерою смертников в Бутырках.

Еще на воле, когда шел их роман, г-жа Н. и г. Х.— оба мистики — полюбили звезду Вегу. Однажды, идя по Кузнецкому, г. Х. увидел на витрине книгу: «Голубая звезда». В повести этой было то же мистическое поклонение Веге, как символу женственного. Книга пришлась по душе влюбленным. Они вместе читали ее.

Г-ну Х. удалось доставить книгу в тюрьму. Подчеркнув буквы слов, он дал понять, что каждый вечер, когда Вега появляется, он думает о г-же Н.— пусть и она поступит так же.

Г-жа Н., женщина изящная и тонкая, очень страдала в заточении. Жизнь отнимали у нее на грани долгожданного счастья! Она исполнила завет любимого человека. И по вечерам, при появлении звезды, глядя на нее, они мечтали друг о друге, тем поддерживали себя. Г-жа Н. при этом часто читала книгу.

Обвинение было ложным. Но погибла вся семья, не пощадили родных и знакомых, по древнему «до седьмого колена». За г-жой Н. смерть пришла, когда она читала о голубой звезде.

Встав, перекрестившись, она с книгою в спокойствии пошла навстречу Вечности.

Этот рассказ слышал я от той, кто последняя, сестрински поцеловала ее в лоб — и кому чудом удалось спастись.

* * *

Звезды в застенке! Вас вспоминаю с любовью, взволнованно и благодарно...

СИДИМ

К нам попали газеты. О, теперь о нас писали иначе, чем в дни «персонального списка идиотов». Клонили к тому, чтобы весь наш Комитет рассматривать как «заговор» и соответственно расправиться. С Таганцевым уж так и обошлись. Наших начали водить на допросы. Кутлер, Федор Александрович, кроме шахмат, получили и еще обязанности, Прокопович, Кишкин и Кускова в эти дни были на черте смерти. Их гибель была решена, спасло вмешательство Нансена. Насколько знаю, он поставил условием своей помощи сохранение их жизней.

Понемногу начали мы сживаться с конторою Аванесова. Нам подбавляли кое-кого, кой-кто из наших уходил во внутреннюю тюрьму. По-прежнему из города шли передачи. Настроение держалось бодрое. Чтобы его не ослаблять, решили развлекаться — читать лекции.

Кутлер читал о финансах. Этот умный, сумрачный человек был глубоким скептиком. Я думаю, он убежденно считал, что вообще все погибло: Россия, финансы, он сам, Комитет... Я спросил его раз:

— Николай Николаевич, а вот вы верили в это дело, когда шли?

Он улыбнулся, как бы отвечая младенцу:

— Разумеется, ни минуты.

— Зачем же вы шли?

Из его слов, сказанных с оттенком горечи, выходило, что и этот многоопытный муж, бывший министр, вроде нас, грешных, тоже пошел «за компанию»... Его лекция доказывала, что с советскими финансами плохо. Вспоминая его, я, однако, все более убеждаюсь в бессилии скептицизма. Люди этого склада мало могут сделать. Верно ли даже они угадывают жизнь? Не нужна ли даже для этого живая сила веры? Ведь вот и не рухнули советские финансы, и сам Николай Николаевич, выйдя из тюрьмы, как раз занялся укреплением червонца — за него верили другие, он, должно быть, действовал и там по инерции, «так уж случилось»...— И с удивлением, вероятно, видел плоды рук своих. На этом червонце он и умер — грустный человек, всегда готовый к смерти и равнодушный к ней. Мне кажется, и умер он в горестном недоумении.

Борис Виппер читал, кажется, о живописи. П. П. Муратов о древней иконописи. С моим чтением произошел маленький веселый случай.

Было утро, солнечный день. Я говорил о русской литературе, как вдруг в камеру довольно бурно и начальственно вошло двое чекистов. В руке у одного была бумажка. По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить.

Правда, я не хотел играть под Архимеда. Вообще ни о чем не думал.

Но, вероятно, подсознанию не понравилось вторжение «постороннего тела», да еще грубоватого, прерывающего меня, я ответил почти недовольно:

— Ну да, да, вот кончу сперва лекцию...

Все захохотали, и я смутился. Улыбнулся даже чекист:

— Успеете на свободе кончить.

МОСКВА

Я пожимал десятки рук. Со всех сторон наперебой давали поручения. И через несколько минут сухой и звонкий ветер, пыль, дребезг московских улиц... Как светло, просторно! Извозчик медленно вез меня с моим тюремным скарбом на Арбат.

Весь этот день слился у меня в какое-то пестро-огненное движение. Я не мог усидеть на месте. Пустынная, большая наша комната в Кривоарбатском показалась скучной. Но Москва — родной. Меня приветствовали в арбатской столовой. На улице останавливали незнакомые и поздравляли. А я все не мог остановиться. Все мне хотелось идти, без конца говорить, волноваться — я и ходил по гостям до двух часов ночи — передавал и рассказывал женам, сестрам, родным об оставшихся. Был на Козихе у Головиных, был в Чернышевском у Р. Г. Осоргиной.

* * *

Что можно прибавить о нас? Кускова, Прокопович, Кишкин, Осоргин и еще некоторые просидели долго. Потом были сосланы. Потом попали за границу. Пользы голодающим, конечно, мы не принесли. Предсказания наших жен при начале Комитета («через месяц будете все в чеке») с точностью осуществились. Но, вспоминая наше сидение, я вспоминаю не плохое дело, а хорошее. Мы ошиблись в расчете. Но мне не стыдно, что я сидел. И Кусковой не стыдно.

Ну а вот Каменеву...

В этом только и смысл. Мы в тюрьме были бодры, потому что правда была за нами. Мало? Нет, очень много!

ЧТЕНИЯ

В декабре 1920 г., на «трудмобилизации» в Притыкине, предложили мне, как человеку «письменному», поступить писарем в Каширу. Жене моей заняться рубкой леса. Это не устраивало нас, и мы выбрались в Москву.

Денег, разумеется, не было. Но друзья нашлись. Друзья взяли в Лавку Писателей, и я встал за прилавок торговать книгами. Это куда лучше, чем служить у коммунистов, да и давало возможность жить. Получали мы уж не помню какие тысячи, но тысячи платили и за сахар, кофе. Так что не совсем хватало, приходилось подрабатывать. Приглашали кое-куда читать. Занятие не из веселых, но...

* * *

— Как бы чего не вышло, смотрите,— говорили мне в Лавке.— Будете все-таки читать у коммунистов...

Тогда в Москве можно было еще позволить себе роскошь не читать у коммунистов! Надо сказать прямо: кроме нужды, меня никто не принуждал читать в Доме Печати. (Еще отчасти было любопытно, да и некий вызов.) Пригласил меня Полонский, известный критик,— кажется, он и заведовал этим учреждением: и приглашал-то с опаской, может быть, мол, еще не соблаговолит...

Я пришел часу в девятом, нарочно пораньше. После холодной моей комнаты, где мы с женой едва натапливали до десяти, одиннадцати градусов, приятно удивила теплота, освещение, культурный вид вестибюля, гостиной. Зала прямо отличная, с небольшой, но довольно элегантной эстрадой. И еще прелесть: буфет! Столики, как некогда в Литературном Кружке, можно спросить стакан чаю, бутерброд с красной икрой и т. п.— этого я нигде за годы революции не видал. Так что вражеский стан хоть куда.

Немедленно сел за столик, честь честью, все мне и подали — и вполне развеселили. Собственно, не барышня, мне подававшая, а соседи. Их было двое, за столиком у стены. Одного совсем не помню, а другой, спиною ко мне, был в какой-то фригийской шапочке, в три четверти виднелось суховатое лицо, бритое — я даже обратил внимание, про себя назвал его:

— Якобинец.

Они разговаривали между собой. Сначала о чем-то «вообще», потом о Доме Печати. Якобинец угрюмо сутулился, буркал. Видимо, скептик здешних мест, некий «печальный Демон, дух изгнанья».

— Что же сегодня такое будет? — спросил собеседник.

— Черт их знает, литературный вечер.

Собеседник зевнул.

— А кто будет читать?

— Известный мерзавец Борис Зайцев,— хмыкнул Робеспьер.

Собеседник, по-видимому, удовлетворился,— они спокойно продолжали о другом.

Подошел Полонский, любезно поздоровался, взглянул на мой крахмальный воротничок, приличный костюм, усмехнулся.

— Вы по-европейски...

Я улыбнулся тоже.

— Да и у вас по-европейски... светло, чисто, видите, чай пью. И меня только что обозвали мерзавцем.

Длинный нос Полонского выехал еще более вперед.

— ?

— Ничего, тут два типа рядом тоже чай пили, и делились впечатлениями... Их право...

— Ну, это недоразумение.

На эстраде у меня стоял стол, стул, электрическая лампочка, стакан с чаем. Зала была полна — все молодежь, довольно сдержанная, много барышень, люди в куртках, косоворотках, но фригийского своего приятеля я не заметил.

Особенно приятно было произнести вслух эпиграф: «Мирен сон и безмятежен даруй ми».— Молитва.

На слове «молитва» я даже остановился, оглядел публику. Некоторое, как бы легкое недоумение по ней прошло, но чуть-чуть, ветерком.

Читал я спокойно, и спокойно слушали. Настолько спокойно (и почти благожелательно!), будто я у себя в Союзе. Когда кончил, аплодировали — что за удивленье? Где же другие Робеспьеры?

— Наверное, в прениях-то насыплют...— Прения были объявлены тотчас за чтением. Но и тут что-то странное... Хотел ли Полонский быть наперекор всему любезен, или загладить давешнее, но произнес слово почти юбилейное (оговариваясь, конечно, что я «не наш»). Петр Семенович Коган, Львов-Рогачевский тоже сказали более чем дружественно. Возражать не на что, спорить не с кем, только кланяйся да благодари...

* * *

Не всегда так идиллически приходилось читать. Странно требовать, чтобы в революции все было «мирен сон и безмятежен...».

Наш Союз устраивал иногда большие выступления: для сбора средств, частью из целей литературных. Один такой вечер назначили в Политехническом музее. Читать пригласили Сологуба, Вяч. Иванова, Белого, Балтрушайтиса и меня.

Политехнический музей известен — кудреватое здание, смотрит на Ильинские ворта — внутри коридоры, переходы, яркий свет, огромная аудитория, круто подымающаяся вверх. В тот морозный вечер все это кишело, бурлило: на недостаток публики не могли мы жаловаться.

Белый не приехал. Сологуб сидел в артистической — лысый, холодноватый.

— Да,— говорил, слегка встряхивая на носу пенсне.— Будем читать. Да, читать так читать. Читать так читать.

Явился красный с морозу Балтрушайтис. Вячеслав Иванов в длинном старомодном сюртуке, с золотящимися седоватыми локонами вокруг лба (сильно обнажившегося) пил чай, устремляясь всею фигурою вперед (от него и вообще осталось впечатление, что, даже когда он стоит, тело его наклонено вперед — как бы плывущий корабль. Золотое пенсне, влажная кожа, слегка воспаленная, быстрые небольшие глаза, носовой голос, редкостный блеск речи — более интересного и значительного собеседника я не встречал).

В общем же мы кучка, горсть, а в приоткрытую на эстраду дверь видно, как втекают, растекаются по рядам скамей темные фигуры, и чем выше, тем все гуще. Еще в первых рядах можно кое-кого рассмотреть «своих», дальше идет «племя молодое, незнакомое...», разговаривающее, курящее, топающее в нетерпении ногами.

— Читать так читать,— говорил Сологуб.— Да, будем читать. (Любил он однообразно и «загадочно» повторять одни и те же слова.) — Львов-Рогачевский сделал маленькое вступление: сам социал-демократ, как бы преподносил нас своей аудитории.

Все это вышло мирно и естественно. Читал и Вячеслав Иванов — кажется, стихи. Мы с Сологубом сидели на эстраде. Вячеслав Иванович раскланивался на аплодисменты. Была очередь Балтрушайтиса.

Поэт сумрачный, одинокий, неблагодарного типа, Балтрушайтис никогда не пользовался «популярностью». Его ценили в литературе, и мало знала публика. В то время был он послом Литвы при СССР.

Но появление его вдруг оказалось необыкновенным: только он выступил, по аудитории пролетела молния, зигзагом разодрала массу, дотоле равнодушную. Особенно силен был разрыв на верхах. Сразу вскочили какие-то люди, замахали руками, поднялся шум, крик, ничего нельзя ни понять, ни разобрать. Кто-то пытался кого-то удержать, кто-то с кем-то спорил... Потом донеслось:

— Долой! Убийца! Кровь, убийца...

Юргис Казимирович Балтрушайтис так же похож на убийцу, как и я. Но уже сверху катились — буквально скатывались вниз, к нашему суденышку, разъяренные люди, потрясая кулаками, красные от гнева — с лицами ужасными, это я хорошо помню.

— Убийца! Долой! Прекратить!

Балтрушайтис стоял бледный, что-то пытался сказать, но ничего не удавалось.

— Скандал,— повторял спокойно Сологуб.— Это скандал. Настоящий скандал.

Выяснилось, что литовские коммунисты протестуют против казней их товарищей в Литве — ответствен оказался Балтрушайтис, как посол. В сущности, мы в их власти. Ни оружия, ни полиции — несколько литераторов на эстраде! Балтрушайтиса поскорее увели. Львов-Рогачевский добился слова. Объяснил: Балтрушайтис известный поэт, ни к каким казням не имеет отношения, и т. п. Несколько приутихли. Раздались даже аплодисменты, устроители ободрились. Но лишь только Балтрушайтис показался, все опять вскипело, и на этот раз уж безнадежно. Пришлось объявить перерыв, спешно отправить домой Юргиса Казимировича.

Затем выступать предстояло мне. Может быть, и я какой-нибудь «убийца». Не особенно радостно подходил я к кафедре...

— Господа, я прочту сейчас...

— Не господа, а товарищи,— поправили с верхов.

Но тут я проявил упрямство.

— Господа,— повторил громче,— сейчас я прочту свою вещь, называется она «Дон-Жуан».

Я читал плохо. Приходилось напрягать голос, и явно не было никакого созвучия. Но раздраженья тоже я не ощущал в толпе. Прямо перед собой, во втором ряду, видел фуражку молодого писателя, нередко у меня бывавшего. Он относился ко мне дружественно, и отчасти покровительственно. «Ах,—говорил,— нельзя теперь о т а к о м и т а к писать! Вот имажинисты — это другое дело». Его молоденькое лицо с рыжеватыми глазами, не без приятности, и не без плутовства, посматривало с обычной снисходительной сочувственностью. Заламывая назад кепку, ухарским своим видом хотел он сказать — вот тебе и Дон-Жуаны, знай наших, калуцких!

Сологуб прочел превосходные стихи — и то же было настроение: льда без прежней ненависти. Нет, кроме Балтрушайтиса, никто теперь не интересен.

* * *

Из Музея мы шли с Сологубом в Замоскворечье. Ильинка пуста, холодна. Идем серединою улицы, снег хрустит. Звезды. Небо протекает узкой лентою над головой, черны, угрюмы дома. На перекрестке костер, греются милиционеры. На углу Красной площади дохлая лошадь.

— Проклятая жизнь. Проклятая жизнь. Как при Гришке Отрепьеве. Жизнь как при Гришке Отрепьеве.

Сологуб поднял меховой воротник, пенсне запотело. Шагает неторопливо.

— Как при Гришке Отрепьеве...

Василий Блаженный, Красная площадь... Туман от мороза, скрип валенок наших, чернота в золоте неба, дальний выстрел, багровый костер сзади.

— А могли бы и нас с вами нынче в клочья разорвать. Да, могли бы в клочья. Так бы нас и разорвали в клочья. Мы бы ничего и не поделали. Вот бы и разорвали в клочья.

Говорил Федор Кузьмич, точно каркал. Да и правда, несло нам время великие беды. Та самая Анастасия Николаевна (жена его), что сопровождала нас по Москве застывающей, не так много позже кинулась в Неву... Федор Кузьмич скоро умер — в бедности, болезнях, отвержении... (советской власти он не поклонился). Испытал и я, что полагается, но тою грозною ночью все еще было в предвестии, за недалекими горами — только гул.

И тем резче противоположность с теплым домом, светлым и приветливым, куда мы, наконец, пришли.

В те годы в Москве находились люди промежуточной позиции (между «нами» и «ими»). Преуспевали они «там», но и прежних друзей не забывали. Некоторые из «нас» благодаря этому и выжили. Доктор, к которому шли мы, был именно из таких. Временами устраивались у него сборища — литераторов и художников, музыкантов, актеров. Практика в Кремле позволяла ему иметь порядочную квартиру, теплую, с электричеством, доставать коньяк, питаться по-человечески... какая роскошь для времен проклятой «пшенки»! Доктор был любителем «наук и искусств». Кружок, у него собиравшийся, назывался «Академия Неугомонных»; цель его — давать передышку в страшной жизни, и вообще: жить! хоть минутами. Вяч. Иванов сочинил гимн академический. (Начинался он словами: «Не огни святого Эльма...» Кажется, была и музыка к нему, если не ошибаюсь, А. Т. Гречанинова, одного из основателей кружка.)

Чуть ли не гимном этим нас и встретили. Помню Гречанинова с женой, веселых и оживленных, самого доктора (позже, когда помирал я от тифа, в числе других и он меня вытаскивал...). Главное, помню ощущение дружественности, свободы, изящества, своего художнического круга. Москвин и Юон, Гречанинов и Сологуб, Вячеслав Иванов, Чулков,— это не литовские большевики. Хозяин кормил нас, поил, ухаживал — видно было, что ему занятно, делает он это от души. Что-то играли на рояле, много болтали, хохотали, рассказывали о Музее и скандале. Потом Сологуб читал — и читал много, замечательно — в редком ударе находился, да и мы не в обычном состоянии. Этот пир артистический, если был и «во время чумы», то с

иным настроением, но не будничный, в странном сочетании восторга и беды, вокруг нас завивавшейся. Кажется, Сологуб договаривал последние свои слова, было это как бы прощание со всею нашей жизнью. Никогда раньше не пронзали так его стихи (да и читал он много; мы не замечали времени — до четырех часов).

Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит.
— Что сделал ты? — меня он вниз
Железным посохом не сбросит.
Скажу. слагал романы и стихи,
И утешал, но и вводил в соблазны.
И вообще мои грехи,
Апостол Петр, многообразны
Но я — поэт.— И улыбнется он,
И разорвет грехов рукописанье,
И смело в рай войду, прощен,
Внимать святое ликованье

Больше Сологуба я никогда не видел. Той ночью был он весь особенный и вдохновенный — вышел из обычного своего сумрака. Таким запомнился. Его дальнейшая, недолгая жизнь была, кажется, сплошной Голгофой.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПШЕНИЦА

...Годы после войны прожили мы в деревне, тульском имении отца. Не могу сказать, чтобы нас обижали. Меня не только не убили, но и заложником не взяли. Не лишили и крова. Я занимал по-прежнему свой флигель. Мне вернули книги, реквизированные во время моей отлучки: все Соловьевы и Флоберы, Данте, Тургеневы и Мериме не без торжественности возвратились (в розвальнях) домой — на родные притыкинские полки. Правда, пришлось воевать: молодой бешеный коммунист в Кашире, местный министр просвещения, библиотеки не хотел возвращать. Когда жена моя явилась к нему с разными «мандатами», он отказался их исполнить. В исступлении кричал:

— Вижу, что подпись Каменева! Пусть Чека из Москвы едет, пусть меня расстреляют, не отдам народного достояния!

— Да ведь это муж на свои деньги чуть не всю жизнь собирал...

— Ваш муж и так все знает — зачем ему книги, а народ жаждет просвещения...

В товарище Федорове, или Федулине, была искренность. Он искренне ненавидел нас, по его мнению, угнетателей народа. Малограмотный — искренне полагал, что «народ» жаждет прочитать Вячеслава Иванова и «Образы Италии» Муратова. Хуже, конечно, было то, что половина книг оказалась на французском языке. Комическое же состояло в Чеке: из Москвы жене удалось достать столь грозные бумаги, что ими можно было припугнуть каширского Сен-Жюста. К чести его, он не испугался.

— Хотя бы сам Карл Маркс пришел и потребовал — не отдам. Пускай расстреливают, наплевать.

Через несколько же дней потух, успокоился, и сдался на простое соображение: книги для меня орудия производства.

— Орудия производства мы обобществляем,— хмуро сказал было сначала.

— Да, в капитализме. Но я кустарь-самоучка.

На самоучку возражать не пришлось. Народ моими книгами не просветился.

Слух же о том, что «молодой барин» может раздобыть такой мандат, по которому и книги возвращают, в деревню проник. Это укрепляло наше положение. Жили мы с крестьянами отлично, все-таки не вредно было иной раз показать свое могущество.

В начале революции Кускова и Осоргин издавали в Москве кооперативную газету — очень приличную. Я там кое-что печатал. Писали иногда и обо мне. И вот раз, во флигеле, жена показала некоей собирательной Анютке номер газеты.

— Ну, видишь это, чье тут имя?

Анютка по складам прочла.

— Бариново.

— А тут?

Та не без трепета разобрала: При-ты-ки-но.

Жена сложила газету.

— А дальше сказано, что если барина хоть пальцем тронут, так деревню артиллерией снесут... Понятно?

В тот же вечер вся деревня это знала — артиллерия Кусковой и Осоргина выступила на мою защиту.

* * *

К осени 20-го года выяснилось, что семян для озимого у нас мало. Еще мать могла кое-что посеять, на деревне же у крестьян почти все было съедено (то есть остатки реквизиций и разверсток). Жуткая вещь — очутиться без семян! Сограждане мои забеспокоились. Да и нам приходилось туго.

И тогда пришла мне странная (но к революции подходящая)

мысль: спуститься прямо в пасть львиную, что-нибудь оттуда выудить. Съездить в Москву, добыть семян у того самого «правительства», которое нас обирало.

Нерадостно вспоминаешь поездки того времени: тряску в телеге, мытарства с разрешениями, билетами, забитые толпой вокзалы, запакощенные вагоны. Только осенние поля наши, крестцы овсов, запах мякины, конопли в деревнях, теплый дымок над трубами, спутанные лошади в ложочке — вечный пейзаж России — всегда прекрасны. В Кашире пришлось прожить целый день. Мы останавливались у знакомой дамы-железнодорожницы. Привозили ей ковриги хлеба, а она выхлопатывала билеты. От скуки забрели на митинг — в это время воевали с Польшей. Попали как раз на речь приятеля нашего библиотечного. Он громил с эстрады, перед сотней слушателей Польшу. От волнения побледнел, задыхался, грозил кулаком — но «панская Польша» ему не давалась, все он кричал:

— Товарищи, покажем империалистам польской панши...— Или: — Польская панша, вооруженная до зубов...

Слушатели равнодушно принимали паншу — может быть, даже больше так нравилось,— за Окой видны были синеющие леса, августовское солнце бледнело, и тощи казались деревца, запыленные в садике. Русь, Кашира! Пусть Дворянская называется улицей Карла Маркса, но такая ж скакучая мостовая на ней, такие ж булыжники, пыль, запах дегтя, заборы, и так же милы сады каширские — многояблочные, многовишенные,— над ними звонят колокола белых церквей.

Тяжким, ночным путем добрались до Москвы.

Через несколько дней удалось побывать и у Каменева. Он дал записку к комиссару земледелия. Тот и должен был все сделать.

Комиссар Середа помещался со своим учреждением на Пречистенском бульваре, в доме Управления Уделов. Ясным утром осенним подходил я, не без волнения, к этим Уделам: некогда гостил тут Тургенев, здесь читал друзьям «Дворянское гнездо», а теперь вот приходится подыматься по лестнице, в чем-то убеждать, чего-то просить у какого-то Середы... Ничего не поделаешь: голод есть голод.

И не сразу, конечно, дался Середа. Плотненькая, но приветливая барышня, секретарша, потомила — однако каменевское имя имело вес. Провели в угловой, огромный кабинет, весь залитый солнцем. Над большим столом увидал я черную народническую бороду (наверно, в этой комнате — лучшей — и жил Тургенев!).

Думаю, Середа был не большевицкой закваски, а эсеровской, и обще-интеллигентской: что-то человеческое, более мягкое, в

нем чувствовалось. Над столом он сгибался, как сотрудник «Русских ведомостей», тяготел к общине, летом, наверно, ходил в калошах. Бороду утюжил под Михайловского.

Я ему передал прошение наших крестьян, подтвердил, что положение вправду тяжелое, рассказал об общине — одним словом, получился разговор двух народолюбцев семидесятых годов. Середа успел разгладить, вновь завертеть свою бороду, опять разутюжить ее — и признал, что без семян сеять трудно.

Опять секретарша, машинки, печати — и через день, по всем правилам, предписание складу: выдать гражданам сельца Притыкина столько-то пудов семян озимой пшеницы.

Успех настолько удивительный, что за него простишь и Тургенева, и дом Уделов.

* * *

«Мандат» мой произвел в деревне впечатление огромное. Крестьяне, в осторожности своей и вековечной подозрительности, не очень-то сначала и поверили (все Дуньки и Анютки мигом перекинули победу из нашей кухни на деревню). Но на сходке я документ показал. Его ощупали, обнюхали, осмотрели: все в порядке!

Надо было решиться на одно: обозом двинуться в Москву, оттуда привезти семян — таково условие подарка. Начались разногласия. Мудрецы утверждали — что-нибудь тут да не так. Почему это ни с того ни с сего двести пудов пшеницы? И без возврата? На это ответили: а как же книги вернули? Он, барин-то, ты не смотри, что у себя во хригеле все книжки читает. Он свой интерес понимает: у бабушки (так называли мою мать) семянов тоже нет, он и хлопочет...

Взяло верх мнение, что ехать надо. Мы считались «гражданами сельца Притыкина», и от нашего двора выехал гражданин Климка, наш работник, знаменитый святою своей дуростью. Баба Авдотья голосила, что у ней нет лошади и подводы, «а семенов-то и на моих дармоедов, на моих праликов надо» (у ней были дети) — ей решили уделить сообща. После долгих сборов, споров, проволочек — обоз, наконец, тронулся. До Москвы сто тридцать верст, осень сухая, дней в пять-шесть обернутся...

Не без волнения ждали мы их. Мандат мандатом, но ведь Бог их знает, комиссаров...

На седьмой день Климка въехал на серой кобыле во двор — с нагруженным, укрытым брезентом возом.

— Что ж, хорошо в Москву съездил?

Климка был человек сумрачный, неразговорчивый. Да и слова не особенно гладко из него шли.

— Москва-то тебе понравилась?

— Понравилась... понравилась. Я тебе семянов привез... а ты... понравилась.

«Семянов» привез не один Климка — вся деревня.

— Даже замечательной пшеницы дали,— рассказывал на другой день Федор Степаныч, наш приятель и «комиссар деревни», неглупый, бойкий человек, из бывших приказчиков. Он немного кашлял, шея у него замотана шарфом.

— Так что, знаешь-понимаешь, не задаром в Москву съездили... И мужики премного вам благодарны.

Началась моя слава. Слава вообще связана с ужасом, особенно в «народных массах». Некоторый тихий ужас возник и вокруг моего «хригеля». Если возвращают книги, дают семена; если Кускова с Осоргиным угрожают артиллерией, значит же... И в те дни случалось, что в дверь ко мне раздавался стук. Отворял ее робкий посетитель откуда-нибудь из Мокрого, Оленькова, даже с Мордвеса.

— Значит, как мы слыхали, что вы очень до семянов ходовиты, то селение наше и кланяется, а насчет чего прочего мы завсегда поблагодарим...

Выходило что-то из «Ревизора». Бобчинский с Добчинским не являлись, но плакалась и баба, и вообще, будь у меня характер Хлестакова, я мог бы процвесть.

Но Судьба не так долго держала меня на подмостках.

Пшеницу посеяли. Кто подоверчивей — всю. Мудрецы (в том числе Федор Степаныч), смололи ее и пустили на пищу, а посеяли из остатков урожая — хотя зерном пшеница была превосходная: с Северного Кавказа.

Она взошла удивительно. На вечерних прогулках нередко я любовался ее мощной густой изумрудной зеленью. Стебелек к стебельку, как под щетку. Уже грач мог почти прятаться в ней, когда начались заморозки. Утром зеленя стояли седые — спутанные лошади, которые паслись на них — оставляли темнозеленые следы и борозды.

И к удивлению моему... стал я замечать, что днем всходы не так изумрудны. Они бледнели, с каждым днем прибавлялись погибшие стебельки.

Через несколько дней с нашей же кухни пришло известие: пшеница вся вымерзла. Середа подкузьмил — вместо озимой дал яровую.

* * *

— Куда же вы смотрели, когда брали? — спрашивал я Федора Степаныча.

— Оно, действительно, вышло ошибочно, но на глаз она что озимая, что яровая, одинаково оказывает, никак не разберешь, да и начальство спутало...

Я не могу и тут жаловаться: слава моя уходила под горизонт, наподобие солнца, медленно и непоправимо, но лояльно. Меня никто не укорял. Но в дверь больше не стучали, ходоков не присылали, и вокруг меня устанавливалась прохладная пустота.

Впрочем, это были последние вообще мои месяцы деревенские: с падением Перекопа и мы отступили на Москву.

ПАСТЬ ЛЬВИНА

Памяти недавно скончавшегося Я. Л. Г.

Всякому, кто Москву знает, ясно, что за Никитским бульваром, почти параллельно ему, идет Мерзляковский переулок (прямо к «Праге»), а около него ютятся разные Скатертные, Хлебные, Столовые и другие симпатично-хозяйственные: барская, интеллигентская Москва.

Скатертный, д. № 8, в нижнем этаже, помещалось писательское содружество — «Книгоиздательство писателей». На началах артельных выпускали там альманахи и собственные сочинения Бунин, Шмелев, Вересаев, Телешов, Алексей Толстой, Сургучев, я, другие. Управлял делами некий Клестов. Предприятие было поставлено основательно. Книги авторов прочных, альманахи отлично шли, писатели зарабатывали.

Войну книгоиздательство выдержало, даже преуспело. В революцию произошла такая вещь, что Клестов отошел к большевикам, Бунин, Толстой, позже Шмелев, уехали. Остались книжные склады, Вересаев, Телешов да я. Клестов издали, но по старому знакомству покровительствовал. Власти не закрывали — частью недоглядели, да и Вересаева настоящая фамилия Смидович. Значит, большая рука в правительстве.

Мы кое-что продолжали печатать, кое-как держались. Благодаря различным комбинациям дипломатическим, в 21-м году председателем оказался я: выбрали оставшиеся пайщики.

* * *

Вместо Клестова хозяйством заведовал теперь секретарь, старичок Яков Лукич. Прежде он служил бухгалтером в лабазе на

Ильинке — худенький, носил очки, сгорбленный, несколько напоминал Ключевского. Имел какое-то отношение к старообрядцам — работник был замечательный и человек дотошный. К нам относился сочувственно, но слегка покровительственно, как к людям книжным, непрактическим. Я покорно подписывал разные бумажки, какие он мне подавал, а он посматривал на меня иногда, строго, маленькими глазками, из-под очков. Я немного смущался. Что понимаю я в его бухгалтериях? Того и гляди, поставит «неполный балл», как некогда инспектор в гимназии.

Раз, в начале апреля, захожу в издательство. Яков Лукич расстроен — сразу видно.

— У нас маленько затрудненьице-с...

— Что такое?

— Выселяют. Что, мол, за писатели такие, вы больше контрреволюционеры, да и то ни черта не издаете. А мы коминтерн. И квартиру вашу заберем, и типографию.

— Невесело, Яков Лукич.

— До веселья даже весьма далеко.

— М-м... что же мы будем делать?

Яков Лукич призадумался.

— Что ж тут поделаешь... Аки в пасть львину махнем. На двенадцатое число — изволите видеть? — он показал бумажку,— назначено заседание, в Московском совете. Коминтерн выступит. Ну и мы... тово, не должны бы лицом в грязь ударить. Мы же кооперация, не забудьте! Трудовое товарищество, и зарегистрированы, и книжечки издаем, работаем...

— Отлично. Вы с Викентием Викентьевичем и займетесь...

Яков Лукич ухмыльнулся не без яду.

— Нет-с уж, какой там Викентий Викентьевич. В бумажке прямо сказано: обьяснения должен дать председатель Правления.

— Да ведь у Викентия Викентьича брат в совете...

— Мало бы что. Сказано — председатель, они иначе и разговаривать не станут... Да ведь и вы с товарищем Каменевым знакомы-с? Чего же проще.

Правление наше вполне подтвердило взгляд Якова Лукича: идти мне, а секретаря взять с собой — для справок, отчетности и тому подобного.

У Подколесина было окно, куда выскочить. Мне — куда же? Значит, надо идти.

* * *

Апрельский мягкий день. Лужи, почки на тополях, нежная московская дымка над полузамученным городом.

Дворец генерал-губернатора. Стучат машинки, входят и выходят товарищи, аккуратные барышни бегают. У входа два красноармейца.

— Я вчера у св. Андрея Неокесарийского в толковании к Апокалипсису читал-с... да, я теперь знаю уж точно... насчет коминтерна-с...

Яков Лукич, в потертом пальто, сильно закутав платком шею, в огромных калошах, входил со мной в вестибюль. Мрачный у него был вид. Хорошо бы закрестить всю эту дьявольскую чепуху.

Мы подали кому следует свою бумажку, сколько надо ждали, потом нас попросили в зал заседаний. Узкая комната с окном на площадь. Длинный стол, в центре Каменев, по бокам «товарищи», больше молодежь.

— Ваше дело теперь скоро,— шепнула барышня.— Можете здесь побыть.

Каменев сидел несколько развалясь, побалтывая под столом ногой. Ботинок снят, очевидно натер. Он — председатель совета, а тут заседание президиума. «В самое ихнее пекло и попали-с...» — шепнул Яков Лукич. И стал разбирать свои бумажки. (Там у него подробно, тщательно было разрисовано, какие мы когда выпускали книги, в каком количестве, как работала типография, и т. п.)

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы по виду пекло было страшное. Каменев кивнул почти любезно, «разбойнички» имели тоже веселый вид — слесаря, вроде приказчиков, булочники, некоторые с залихватскими вихрами. Во френчах, кожаных куртках. Тоже поглядывали на нас с любопытством. «Про Короленку, Владимира Галактионовича, не забудьте, про Короленку,— шептал Яков Лукич.— Что, мол, такого знаменитого писателя тоже издаем. Они его уважают. И Кропоткина... Гаршина, обязательно надо...» — «Яков Лукич, а как бы это не наврать, какой у нас с первого-то января баланс?» Яков Лукич не без раздражения тычет ведомость с колонкой цифр — все это я приблизительно знаю, да вдруг собьешься перед коминтерном.— «Я уж ведь вам показывал-с... А ежели, извините, собьетесь,— только уж не уменьшайте...»

Нельзя отрицать, симпатичные молодцы действовали решительно. До нас были дела тоже мелкие, хозяйственные по Москве. Отпуск дров районному совету, ремонт казарм, довольствие пожарным москворецкой части. Долго не разговаривали. Раз, два — готово. По правде сказать, темп и решительность даже понравились мне.

Наконец:

— Дело книгоиздательства писателей и коминтерна... Кто присутствует? А, председатель, так. Сядьте сюда. Коминтерн? Товарищ Герцберг. Слушаем. Товарищ, изложите свою претензию.

Товарищ Герцберг оказалась сытенькая, стриженая барышня еврейского вида. У нее тоже была какая-то папка, она разложила ее. Я сел рядом, справа Яков Лукич. «Про Толстого-то, Толстого не забудьте,— побледнев, зашептал Яков Лукич.—Он хоть Алексей, а для них вполне за Льва сойдет».

О, если бы слышала это товарищ Герцберг! Но она поводила плечами в кожаной незастегнутой куртке, напирала грудями на свою папку и сразу пошла галопом.

— Товарищи, так называемое Книгоиздательство писателей в прежнее время издавало реакционную литературу, но вот уже два года находится в полном интеллигентском параличе...

То ли слишком велик был ее азарт, то ли она не подготовилась, но ничего лучшего для нас и представить себе нельзя было. Она утверждала, что мы существуем лишь на бумаге, книг не издаем, квартира пустует, типография не работает...— в то время, как бедный коминтерн теснится, жмется в каких-то углах, у него нет ни помещений, ни достаточного количества типографских машин.

Говорила быстро, по-одесски. Все знает, все понимает товарищ Герцберг. Даже удивлена, что ей, представительнице могучей организации, приходится доказывать... (таков был тон).

Всякое собрание есть театр. На каждом представлении родится атмосфера, спасающая пьесу или ее губящая. Не ту ноту взяла товарищ Герцберг — и сразу это почувствовалось.

Каменев холодно разрисовывает круги.

Пугачевцы недовольны. Что-то говорят друг другу вполголоса. Неприязненно улыбаются. (Позже мы узнали, что у Московского совета именно тогда и были нелады с коминтерном.)

— Товарищ, кратче,— сухо сказал Каменев.

Она рассердилась и стала еще красноречивей.

— Хорошо, все ясно. Представитель другой стороны.

Не нужно было быть ни Маклаковым, ни Плевакой, чтобы по шпаргалке прочитать, сколько книг, и на какую сумму издали мы в этом году. (При имени Кропоткин, Толстой,— победоносные усмешки на лицах слесарей.) На следующий месяц предположен Короленко — избранные сочинения... Типография работает. В квартире издательства телефон и постоянные часы приема.

Коминтерн нервно попросил слова. Опять митинговая речь. «Гаршина-то, Гаршина позабыли...» — шептал сбоку Яков

Лукич тем тоном, как некогда, в молодости, говорил мне объездчик Филипп на охоте: «Эх, барин, опять черныша смазали!» Но теперь сам коминтерн на нас работал.

Каменев, наконец, вмешался.

— Все это, товарищ, известно. Вы повторяетесь. Мы теряем время.

— Довольно, довольно,— раздалось кругом.

Каменев предложил высказаться президиуму. Сказано было всего несколько слов. Трудовое товарищество работает,— и пусть работает. Издает великих писателей, как Толстой. Мешать не надо.

Товарищ Герцберг, не спросясь, перебила говорившего, вновь громя нас. Каменев рассердился.

— Товарищ, я лишаю вас слова. Мнение президиума? Да. Так. Постановлено: коминтерну отказать. Секретарь, следующее там что у вас?

* * *

Через полчаса мы сидели уж в Скатертном. Мимо окон проходили прохожие. Закат сиял за Молчановками, Поварскими. Недалеко особняк Муромцевых. Недалеко дом Элькина, где когда-то мы жили. Мирная, другая Москва.

— Что ж, Яков Лукич, пасть львина уж не так страшна? Победили мы с вами коминтерн — два таких воеводы?

— Изумляюсь, поистине...

Он встал и отворил шкафчик.

— Тут у меня на лимонной корочке настойка есть, то и следовало бы по случаю поражения иноплеменных чокнуться.

Нашлись две рюмки. И мы чокнулись.

— Разоряют Москву, стервецы-с,— сказал вдруг грустно Яков Лукич.— До всего добраться хотят, это что-с, квартира наша, типография. Пустяки. Подробность. Они глубже метят. Им бы до святыни дорваться...

Он помолчал.

— А что мы с вами так фуксом выскочили, это действительно...

— И то слава Богу, Яков Лукич. Я не надеялся.

Он вдруг засмеялся тихим смехом, погладил стол, кресло.

— Все теперь опять наше... И квартира, и типография. А как вы скажете, ежели по второй?

Выпив, Яков Лукич поднялся. Невысокий, сгорбленный, показался он мне дальним потомком дьяков московских, родственником Ключевского. Трепаная бороденка — не то хвост лошадиный, не то редкие кустарники по вырубкам.

— У св. Андрея Неокесарийского про этот самый коминтерн весьма даже ясно сказано...

И, трижды показав дулю невидимому врагу, обернулся ко мне. Что-то строгое мелькнуло в умных его глазках.

— А Гаршина вы все-таки изволили позабыть.

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

Много в Москве было для нас всяческого, и радостного, и горького, и большого, и малого, и через нашу жизнь Москва прошла насквозь, проросла существа наши, людей московских. Но в судьбе некоторых из нас было и удаление из Москвы, расставание с нею...— временное ли? Или навсегда?

Есть в Москве улица Арбат. Некогда названа она была Улицей Св. Николая — по трем церквам Святителя на ней: Никола Плотник, Никола на Песках, Никола Явленный. Вокруг всякие улочки и переулочки, с именами затейливыми — Годеинский, Серебряный, Кривоарбатский. Этот последний в самой середине Арбата, рядом со зданием Военно-окружного суда — и переулок действительно кривой: назван правильно.

Вспоминая московскую свою жизнь, видишь, что и началась она и окончилась близ Арбата. На углу Спасо-Песковского было первое, юное наше пристанище, в этом Кривоарбатском последнее.

Вижу его теперь, через много лет, взором неравнодушным. Пристанище для времен революции и совсем неплохое: мы снимали в квартире артистки одной огромную комнату, сами ее обставили, устроили печку, в зимнюю стужу обогревали и боками своими. Прожили в ней полтора года. В эту-то комнату и пришел раз, поздно вечером, друг наш, издатель Гржебин. Вполголоса, в полутьме, говорили мы об отъезде: сам он уезжал в Берлин, там основывая издательство, вывозя и меня, и мою семью.

В эту комнату пришла первая иностранная виза — из Италии! Отсюда мы уезжали.

Отсюда же, мысленно, веду я рассказ и сейчас — о последних моих днях на родине.

* * *

Та весна была теплая, почти жаркий май, и довольно пыльный. Много приходилось путешествовать по учреждениям...— грязноватые лестницы, очереди, товарищи, штемпеля, бланки. «Из

Ч. К. разрешения еще нет», значит, опять ждать: комиссариат иностранных дел без чеки ничего не даст.

Все равно мы терпели, ждали, дело серьезное. Сила же терпения и упорства велика. Одна бумажка выйдет, ждешь другую, один штемпель прибавился, и то хлеб, ждешь следующего. Удостоверения, разрешения — без конца.

Но конец все-таки пришел. Однажды, в начале июня, взобравшись на очередной третий этаж, получил я две красные паспортные книжки с фотографиями, печатями и подписями. Сохраняю их — след прошлого, а отчасти — знак хода судеб: на восьмой странице книжечек этих, по голубоватой сетке бумаги красными чернилами подпись: Г. Ягода. С ним рядом, мельче и тусклее: М. Трилиссер.

Участи Трилиссера я не знаю, судьба Ягоды всем известна. Не без содрогания смотришь теперь на эти имена, но тогда меньше всего я о них думал. Сквозь всю усталость пробивалось лишь одно: выпустили! Едем.

По улицам нес документы благопристойно. Дома же разложил их по полу и — надо сознаться — протанцевал над ними.

А между тем дело ведь шло об отъезде из родного города, родной земли! Мы покидали самых близких. Хоть и говорили, что на время, и в сознательной, освещенной части души так, как будто, и было, но в потемках глубин... Все-таки мы не колебались. Нас несла уже некая сила — корабли у пристани, на дальний запад, прочь от Трои пылающей. Это судьба. Все текло в жизни нашей к отъезду. То одно, то другое удалялось из комнаты — что дарили, а что продавали. И все ближе, ближе...

* * *

В Москве в эти дни шел большой политический процесс — эсеров. Процесс был многолюдный, публика волновалась, и все требовали смерти. На защиту приезжал из Бельгии Вандервельде. На Виндавском вокзале, откуда мы должны были уезжать, ему устроили такой прием, какого европейский человек не ожидал: орали и свистали, бросали камни, даже и ругали его по-французски. Это, кажется, его удивило, он не знал, что так распространен его язык в России (если бы знал, что несколько мальчишек специально были обучены, изображая народ, удивление его убавилось бы).

Приговор приготовили, разумеется, загодя, но ему надо было дать характер воли народа. Решили сделать это, «поднять массы».

Молочница, носившая нам молоко, тоже была из масс.

Накануне дня манифестации сказала моей жене:

— Завтра, барыня, прямо все пойдем. Вся Москва.

— Куда же это?

— И со знаменами, со флагами. Этих вот, как их там... чтобы требовать наказания.

— А что они тебе?

— Да мне-то ничего. А так, что сказано: кто пойдет, тому калоши выдадут. А достань-ка ныне калоши!

Мы должны были выезжать накануне манифестации. Но из-за Вандервельде, спешно, в беспорядке отступавшего со своими спутниками, наш отъезд отодвинулся: все места в заграничном вагоне оказались уж заняты. Так что день получения калош мы проводили еще в Москве. Это было именно наше последнее московское утро.

Поезд уходил в пятом часу. И среди всех формальностей отъезда все-таки одна не была еще выполнена.

Пришлось идти в Китай-город. Я шел по Арбату мимо «Праги», где когда-то мы веселились. Сперва Арбатская площадь с памятником Гоголя. Против Гоголя стена Александровского военного училища. Памятник при мне открывали, форму училища я одно время носил.

Мимо церкви св. Бориса и Глеба вышел на Воздвиженку, обогнул «Петергоф», прошел мимо университета, где учился. Повернул к Историческому Музею. Было теплое утро, солнечное, совсем как весной 1918 года, когда православная Москва вышла с иконами и хоругвями на улицу. С разных концов города, при громовом гуле колоколов, собирались крестные ходы ко Храму Христа Спасителя, а оттуда двинулись ко Кремлю. Наш Арбатский район шел Пречистенским бульваром, влился в общую массу, и потом все двинулось именно к этому месту — где я сейчас находился — проезду между Кремлем и Музеем: тут стоял патриарх Тихон и благословлял народ. Он был спокоен, сдержан. Навсегда запомнилось глубоко-народное, как у Толстого, лицо с крупным носом, ясными глазами, русой бородой. В руке у него был золотой крест, солнце горело в этом кресте. Он остался видением древней, несокрушимой Святой Руси, восставшей из тысячелетнего лона.

За патриархом были исповедничество, нищета, близкое заточение — тот самый крест, облик которого он держал в правой руке и на который как бы звал всех склонявшихся перед ним. Никольские ворота, в Кремль, были заперты. Из-за итальянских зубцов глядели солдатские лица в остроконечных шапках со звездой.

Мимо Музея повернул я теперь налево, наискосок через

площадь, к Ильинке — это Китай-город, московское Сити. Как в Сити, глухие и неказистые тут переулки, конторы, лабазы. На Варварке знаменитый трактир, тоже невзрачный, как и лондонские. И тоже — миллионные дела.

Здесь теперь оказался и комиссариат финансов — там и должны были мне ставить последний штемпель.

Вход тоже сумрачный. Свету мало, дома из узеньких улиц заслоняют. Большое здание — к удивлению, некоторому и ужасу моему, оказалось оно полупустым. Служащие расходились, конторки одна за другой закрывались.

Опять надо было упорствовать. Но ведь вечером поезд... Как-никак, чуть не у последнего окошечка, но бойкая барышня подала мне документ в исправности. И тотчас застучала на своей машинке. Вошел некто начальственного (но не из высших) вида:

— Товарищ, почему же вы работаете? Не знаете, на манифестацию идти?

Она продолжала выстукивать.

— Я сейчас кончаю и иду завтракать.

— Успеете завтракать. Наши уже все ушли.

Она вдруг остановилась, подняла на него голову в кудряшках, не без дерзости.

— Сверхурочные дадите?

— Слушайте, товарищ...— Он зашел к ней за прилавок, наклонился, стал говорить тише. Видимо, я его стеснял.

Барышня захлопнула машинку, поднялась.

— Ну, если так, согласна...

Торг пора было и кончать. Время, действительно, на исходе. Когда я вышел от них на Лубянскую площадь, снизу, от Театральной, подымалась уже голова процессии.

Шли люди в кепках и юноши, отряд голоногих спортсменов, работницы, служащие, несли плакаты, знамена, флаги. И везде одно: «Смерть! смерть! смерть!» Несли какие-то чучела, пели хором. Все шли и шли, рядами, строем, в беспорядке, как придется. Манифестация многолюдная. Но не более, чем тогда с патриархом.

* * *

Наша большая комната уже в полном разгроме. Даже печка уехала — хранительница наша, и спасительница от морозов. Несколько чемоданов на кровати без подушек и без одеял, ремни, пледы, картонки, сор на полу...— удаление человека, смерть жилья до минуты, пока новый насельник не оживит его.

Не так давно, уже здесь, в Париже, пришлось провожать друзей за море — в Австралию, навсегда: они туда переселялись.

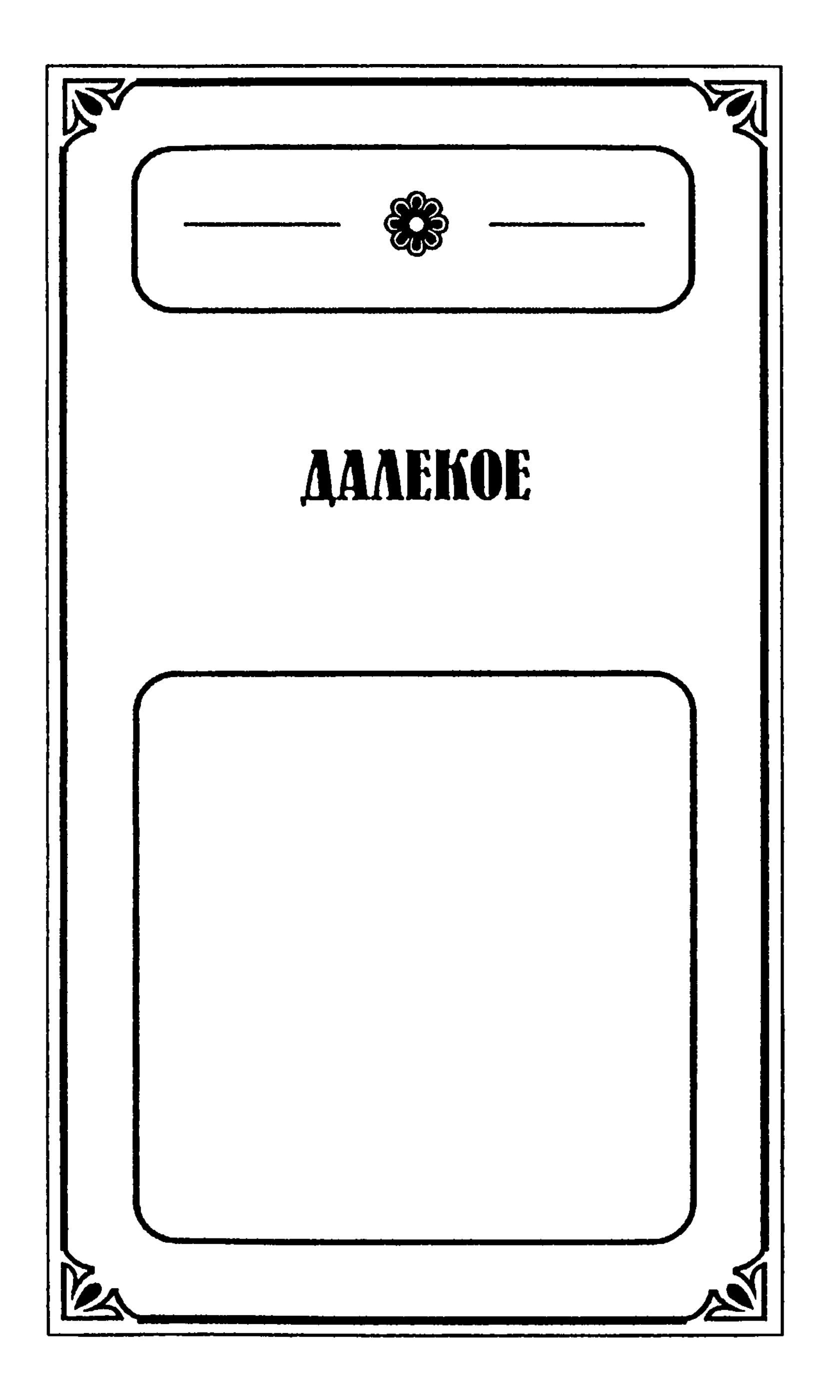
Может быть, наши друзья в Москве смотрели уже на нас — как и мы позже на австралийцев: тени иной планеты. Во всяком случае, это они скрывали. И все шло покойно и правильно. Пришел час, подъехали наши извозчики, передвинулись вниз чемоданы, присели мы на кровать, помолчали, перекрестились, да с Богом и тронулись. Извозчики нас везли по тому же Арбату юности нашей, мимо Николы на Песках, на Виндавский вокзал. Извозчики были обыкновенные. Тащились серенькою рысцою. Москва медленно протекала мимо.

Мы не встретили никаких процессий — нам давался свободный выход. Сретенкою, мимо Сухаревки со знаменитою башней, тенью Брюса таинственного, неторопливые наши возницы по Мещанской подвезли к невысокому и нехитрому зданию: Виндавский вокзал, на небольшой площади.

Странно сказать, но никогда раньше не приходилось не только что уезжать отсюда, а и видеть вокзал этот.

...Носильщики в белых фартуках, поезд дальнего следования, вагон, купе, последние звонки, последние поцелуи. Ждали, стремились и волновались, вот и пришла минута, преломился кусок хлеба в крепких руках — медленно утекала назад платформа, милые лица, платочки, слезы. Замелькали строения железнодорожные, а потом домики и сады. Мы одни были в купе. Погода менялась. Над Москвой заходила сизеющая туча, подбираясь к солнцу. Вот остался узкий златистый нимб, а там и он померк, ушло солнце в глубины туманно-смутные. Прохладная тень кинулась вниз. Начинались уже поля. Ветерком донесло запах дождя.

Мы почувствовали только теперь, как устали.



ДАЛЕКОЕ

Это книга о разных людях, местах — по написанию она разного времени, но все о давнем. Никого нет в живых из упоминаемых в ней, потому и много о смерти. Но, как и мы, еще живущие, составляли они часть своего времени, а вернее сказать — были цветом той полосы российской, которая стала уже теперь историей. Все оставили след, больший ли, меньший, в литературе, культуре нашей. Все связаны с юными годами автора, видит он их в воздухе своей молодости. Никак не рассчитывая на полноту, передает просто то, что в душе, памяти осталось — сквозь призму лет, всегда накидывающую на былое свой покров.

Бóльшая часть книги — о России. Но в конце и об Италии. Без нее трудно обойтись автору, слишком она в него вошла, да и не в него одного. С давнего времени — с эпохи Гоголя, Жуковского, Тютчева, Тургенева, и до наших дней тянется вереница русских, прельщенных Италией, явившейся безмолвно и нешумно в русскую литературу и культуру — по некоему странному, казалось бы, созвучию, несмотря на видимую противоположность стран.

Как бы то ни было, автору хотелось оставить о России, а частию и об Италии, некоторые черты виденного и пережитого — с благодарной памятью, иногда и преклонением.

Книгу эту посвящаю спутнице всей моей жизни Вере Алексеевне Зайцевой.

РОССИЯ

I

ПОБЕЖДЕННЫЙ

Я встретил Блока в первый раз весною 1907 года, в Петербурге, на собрании «Шиповника». Он мне понравился. Высокий лоб, слегка вьющиеся волосы, прозрачные, холодноватые глаза и общий облик — юноши, пажа, поэта — все показалось хорошо. Носил он низкие отложные воротнички, шею показывал открыто — и это шло ему. Стихи читал как полагалось по тем временам, но со своим оттенком, чуть гнусавя и от слушающих себя отделяя — холодком. Сам же себя туманил, как бы хмелел.

В те годы Блок переходил от «Прекрасной Дамы» к «Незнакомке». То, первое, весеннее от него впечатление более связалось с ранней его настроенностью (именно с настроением души, а как художник он вполне уж отходил от «первоначальной» своей манеры).

Июль 1908 года мне пришлось жить у Г. И. Чулкова, на Малой Невке. Осталась память о воде, прохладе, влажном Петербурге, запахах смоленых барж, рыбы, канатов. О взморье, о ночах туманно-полусветлых, о блужданьях — и о Блоке. Не глубокое воспоминание, и не скажу, чтобы значительное. Все-таки осталось. Блок заходил к нам, мы бывали у него. Его образ, ощущение его в то лето отвечали кабачкам, где мы слонялись, бледным звездам петербургским, бродячей, нервно-возбужденной жизни, полуискусственному-полуестественному дурману, в котором полагалось тогда жить «порядочному» петербургскому писателю.

Помнится, у Блока резче обозначились уже черты, вес в них прибавился, огрубел цвет лица. Уходил юноша, являлся «совсем взрослый». В этом взрослом что-то колобродило. Каким-то ветром все его шатало, он даже ходил, как бы покачиваясь. И на сердце невесело — такое впечатление производил. Мы ездили в ландо на острова, в ночные рестораны, по ночным мостам с голубевшими шарами электрическими, с мягким, сырым ветром.

Много и довольно бестолково пили, рассуждали, разумеется, превыспренно, особых незнакомок, впрочем, не встречали. Блок был довольно хмур, что-то утомленное, несвежее в нем ощущалось. Он нездорово жил, теперь-то это ясно, а тогда мы мало понимали.

От вина лицо его приняло медный оттенок, шея хорошо белела в отложных воротничках, глаза покраснели, потускнели. Но стеклянность взгляда их даже и возросла.

Странные вообще были у него глаза.

* * *

В эти годы и последующие Блок написал книги, глубоко вошедшие в нашу поэзию. Из них особенно пронзающей казалась мне «Снежная маска». Ее отчаянье заражало. Сильный, почти трубный звук был в ней. «Прекрасная Дама» рухнула, вместо нее метели (сильно Блоком, как и Белым, почувствованные), хаос, подозрительные незнакомки — искаженный отблеск прежнего, Беатриче у кабацкой стойки. Спокойным это не могло быть. Рыдательность, хотя и сдержанная (Блоку не шел бурный экстаз), все проникала — и большая искренность. Блок никогда не писал для «стихописанья». Формальное никогда его не занимало. У него не было особой выработки, «достижения» его не весьма велики. Стихом хмельным, сомнамбулическим записывал он внутренний свой путь. Его судьба — в его стихах.— А так как выражал он и судьбу некоей полосы русской жизни, то он идет в числе немногих «обязательных» в нашем веке.

В предвоенные и предреволюционные годы Блока властвовали смутные миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и «короткое дыханье». Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, но руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее — поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и «нервических» девиц, богемы и полубогемы, всех «Бродячих Собак» и театральных студий был Александр Блок. Он находил отклик. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и разымчивость, негероичность. Блоку нужно было бы свежего воздуха, внутреннего укрепления, здоровья (духа).

Откуда бы это взялось в то время? Печаль и опасность для самого Блока мало кто понимал, а на приманку шли охотно — был он как бы крысоловом, распевавшим на чудесной дудочке — над болотом.

* * *

16 августа 1912 года, свежим утром, на Мясницкой у Эйнем. я встретил Блока — и запомнил встречу потому, что это был день важного события в моей семье — рождение нашей дочери. Радостно было встретить именно тогда Блока московского,— спокойного, приветливого, дружески поздравившего и приславшего жене моей цветы и свои книги с очень ласковой надписью. Эти книги долго странствовали с нами, в разнообразных положениях страшной эпохи,— теперь развеяны по ветру.

А сам Блок надолго тогда ушел из поля зрения. Я жил в Москве, он в Петербурге — там и вел то сражение, которое есть — земной наш путь.

Ударила война. Он на нее как будто бы не отозвался (общее тогда явление в России). За нею революция, конец всего того и зыбкого и промежуточно-изящно-романтического, что и был наш склад душевный. Блок стал уж признанной звездой литературы. За это время написал «Розу и Крест» — одно из самых тонких и возвышенных своих произведений, с удивительною песнью Гаэтана. Пьеса — в очень разреженном воздухе. Печаль ее неразрешима.

Затем, уже в революцию, шел «Соловьиный сад» — прощанье с прежним — наконец, «Двенадцать».

Ясно помню вечер, в одном литературном доме, когда подали мне серый лист газеты.

— Вот, смотрите, что Блок написал.

Фельетоном была напечатана поэма. Блок на сером и унылом листе газеты. Но Блок иной. «Прекрасной Даме», «Розе и Кресту» шла готика. «Двенадцать» — другой мир, уже клубившийся вокруг нас — шинелей, и винтовок, и махорки, и мешочников, и крови. Ну, что же, взять его, не побояться, дать грозную его поэзию, возвести к высшему, *разрешить*... чем не задача?

Я принялся читать. А позже — возвращался домой снежной, бурной ночью. Трамваев не было уже. Кой-где постреливали, и нередко грабили. К обычному в те дни свинцу на сердце Блок подвесил гирьку новую — своей поэмой.

* * *

«Наш, наш!» — завопили одни, и кровавыми объятиями стали «обымать».— Блок с нами, вон он как попа продернул, и буржуя, и длинноволосого интеллигента... Ну, понятно, у самого пережитки... в белом венчике из роз, впереди Исус

Христос... старый словарь... Но это первые шаги, а там он разработается.

Другие отходили — некоторые резко, иные с грустью.

— Блок стал большевиком! Такой поэт... и с *ними*!

Ни те, ни другие сполна правы не были, а основания имели. Действительно, двусмысленна поэма.

Появление Христа, ведущего своих двенадцать апостолов-убийц, Христа не только «в белом венчике из роз», но и с «кровавым флагом» — есть некоторое «да». Можно так рассуждать: идут двенадцать разрушителей старого (и грешного), тоже грешные, в крови, загаженные. Все же их ведет — хоть и слепых — какой-то дух истины. Сами-то они погибнут, но погибнут за великое дело, за освобождение «малых сих» — и Христос это благословляет. Он простит им кровь и убийства, как простил разбойника на кресте. Поэтому им «да», и «да» их делу.

Чем не мысль? И чем не тема для поэмы? А пожалуй, даже и мистерии? Какое грандиозное *разрешение?* Сам Христос, за мир свою кровь изливший, сам омоет прегрешения?

Все это хорошо, но Блок такой поэмы *не* написал. Быть может, он *хотел* бы написать,— не смог.

Он написал не поэму разрешения, а духоты. В «Двенадцати» нет воздуха, ни света, и ни пафоса, ни искупления. Живое гибнет в ней, как в «Снежной маске» (но еще сильней) — ибо нет духа животворящего. «Скучно!» — так кончается восьмая главка. Как не быть скучно в атмосфере смерти?

«И сказал Иисусу: помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое!»

«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Это Священное Писание. Но Достоевский не-священный, просто писатель, и у него «убийца и блудница» читают вместе Евангелие,— только Евангелие — никакого Христа олеографического нет — и это трогает, и очищает. У Блока же все вышло мертво. В одном лишь «Петьке», застрелившем сдуру «Катьку», что-то шевельнулось — и заглохло. Разве дадут «этому» процвесть «апостолы»?

Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!

А раз Блок написал такую «скушную», «безвоздушную» и безнадежную революцию, то на что он, в сущности, революционерам? Разве может его поэма кого-нибудь воодушевить? Нет, ибо в ней нет духа. Потому-то она и двусмысленна,

потому-то более умные из «тех» должны *вполне* от нее открещиваться, она полна того маразма, нигилизма, с каким вообще ничего сделать нельзя,— даже человека убить.

Мертва духовно, и проникнута поэзией, вот удивительно! В «Двенадцати» есть поэзия, всегдашний блоковский хмель, и тоска, и дикая Русь, и мрак. И еще удивительно: «Двенадцать» менее всего «произведение искусства». Это явление, происшествие. *Показание* на некотором суде. Блок тут себя предъявил. И можно понимать поэму как порыв в борьбе, отчаянную контратаку в жизненном сражении — на давно наседавшего врага.

— Любви, любви! И разрешения! И воздуха!

Вот чего надо было Блоку. Надо было что-нибудь да полюбить, на чем-нибудь да утвердиться. Прекрасной Дамы давно нет, черти слопали ее, и даже Незнакомки нет, все это прежнее, «Соловьиный сад», а трудно жить ведь без чего-то «по ту сторону», да еще такому поэту — Блоку. И вот явилось «человечество», и «революция». Отдаться бы им!

Как будто бы отдаться. Как будто бы почувствовал трагедию полюбленного, и *мелькнуло* разрешение. Писал в подъеме очень сильном (поэтическом подъеме), звуки, слова, ритмы... из-под ног же земля уходила. Опереться не на что. «Музыка революции» дана, а разрешение...

Дело простое.

Чтобы Христос действительно сошел, чтобы действительно была оправдана, возведена трагедия, нужно, чтобы Блок действительно полюбил и революцию, и Христа. Этого не было. Христос *мелькнул* ему, призрачный и туманный, потому что *зова* настоящего в нем не было — исчез. Мелькнуло и видение революции, как ложная незнакомка.

И получилось то двусмысленное, путаное, мрачное, немалое и жуткое, поэзия и смерть, где имя Христа всуе помянуто, и что есть — «Двенадцать».

* * *

Вначале Блок читал свою поэму часто. Время шло. Революция двигалась, а он стоял на одном месте, после «Двенадцати» умолк. С некоторых пор и перестал читать эту вещь. Раз, на вопрос о Христе, ответил:

— У меня Христос компилятивный.

Что этим хотел сказать, не очень ясно. Вряд ли ответил бы так тот, кто Христа живого чувствует.

Весной 1920 года приезжал Блок в Москву. Под аккомпа-

немент взрывов на артиллерийских складах он читал стихи в Политехническом музее. Но «Двенадцати» не прочел. Был очень мрачен, на вопрос моей жены ответил:

— Я больше этой вещи не читаю.

Люди близкие передавали, что Блок в страшном упадке, что надорвано его здоровье,— он не пишет, окончательно во всем разуверился и едва жив. Надо сказать, что революция подорвала Блока сильно. Он таскал наверх дрова, дурно питался, холодал — в этом делил судьбу почти что всех. Но и особенный мрак над ним сгущался, не зависящий от дров или цинги.

Из деревни я послал ему последнюю свою книгу (печатавшуюся в самом начале революции). Получил длинное письмо, очень дружественное, от «сочувственного сердца». Поразил меня тон беспредельной грусти, разлитой в письме,— и тронул. Точно он прощался, и о чем-то сожалел, недоделанном, и самом важном. Нас же ощущал как «Путников» (так называлась книга). Я помню, была фраза: «Давно мы с вами встретились, да все были врозь, не пришлось сойтись ближе, хоть и можно было бы. А теперь, кажется, уж поздно».

Победители не пишут так. Что-то пронзало, убивало. И в тоске своей вы правильно почувствовали, Александр Александрыч: поздно было уж сходиться.

* * *

В последний раз Блок приезжал в Москву весною 1921 года. Слава его была значительна, его много читали, даже много и покупали (в Книжных лавках писателей). Много печатали. Дошло до того, что одно издательство объявило подписку на собрание детских стихов Блока (в детстве написанных).

Сколько мне помнится, эта глупость не удалась. Но все равно Блок считался признанным, прошедшим в публику и начинающим стареть.

Читал он в нескольких местах. Союз писателей устроил вечер в честь его.

Союз наш — старый особняк. Дом Герцена на Тверском бульваре, во дворе, в саду. Уютное и мягкое, покойное осталось в памяти от двух зал, большой, с библиотечными шкафами и диванами, колоннами у двери, и от малой, с креслами удобными, столом огромным, тоже книжными шкафами, бюстом Пушкина.

На вечер Блока собралось много народу. В первом отделении читал Чуковский, в малой зале, а потом подъехал Блок. В глубине большой залы он стоял у раскрытого в сад окна. На темной зелени яснее выступала голова знакомая, огромный лоб,

рыжеватые волосы. Вокруг кольцо девиц и литераторов. Чуковский кончил. Мы позвали Блока, он вошел, все аплодировали. Но какой Блок! Что осталось в нем от прежнего пажа и юноши, поэта с отложным воротничком и белой шеей! Лицо землистое, стеклянные глаза, резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка, и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол, и, полузакрыв усталые глаза, начал читать. Сбивался, путал иногда. Но «Скифов» прочел хорошо, с мрачною силой.

И в этой вещи, и в манере чтения, и в том, как он держался, была некая отходная: поэзии своей, и самой жизни. «Вот человек,— казалось,— из которого ушло живое, и с горестным достоинством поддерживает он лишь видимость».

Он был уж тяжко болен. Но думаю, что не в одной болезни было дело. Заключалось оно в том, что не хватало воздуха. Прежде тоска его хоть чем-то вуалировалась. После «Двенадцати» все было сорвано. Тьма, пустота.

В тот же приезд Блок выступал в коммунистическом Доме печати. Там было проще, и грубее. Футуристы и имажинисты прямо закричали ему:

— Мертвец! Мертвец!

Устроили скандал, как полагается. Блок с верной свитой барышень пришел оттуда в наше Studio Italiano. Там холодно, полуживой, читал стихи об Италии — и как далеко это было от Италии!

* * *

Он прожил после этого недолго. Страдальчески прошли последние его месяцы. Теперь он был обставлен материально уж неплохо, кажется. И разрешили ему ехать лечиться (раньше не позволяли) — было поздно. В августе на Никитской, в окне нашей Лавки писателей, появился траурный плакат: «Скончался Александр Александрович Блок. Всероссийский Союз Писателей приглашает на панихиду в церкви Николы на Песках, в 2½ часа дня». Этот плакат глядел на юг, на солнце. На него с улицы печально взирали барышни московские.

В 2½ часа дня о. Василий, в сослужении с о. Ник. Бруни, молодым священником-поэтом, отслужили панихиду в ясном, солнечном дне августовском — по «безвременно скончавшемся» поэте.

* * *

Так он ушел. Его уход вызвал в России очень большой отклик (заседания, собрания, статьи. Отличились и тут имажи-

нисты — устроили издевательские поминки, под непристойным названием). Пожалуй, Блок был любимейшим из писателей последних лет. Многие хоронили в нем часть и себя, своей души — повторяю: Блок выражал собою полосу России. Эта полоса кончалась с революцией, умирал «блокизм» — ибо ничего не мог противопоставить напору революции. «Блокизм» расплывчат и тепличен, нездоров, некрепок, и ничем активным не обладает.

Он истек «клюквенным соком» (крови настоящей не было!). Да как могло быть и иначе, когда сам его создатель сдался, повалился в «Двенадцати»?

По смерти Блока появилось множество статей, воспоминаний, книг. Неумеренные почитатели печатают теперь такое из его писаний, что, пожалуй, не весьма его порадовало бы. Как отнестись к этому? Заметки из записной книжки, строки, которых Блок не отдавал *сам* в печать, сейчас, однако, появляются. Раз напечатаны, мы вправе обсуждать их.

И один отрывок — величайшей важности для понимания Блока. Набросок пьесы из жизни Христа («Русский соврем.»). Может быть, Блок сам почувствовал, что нехорошо говорить об Иисусе: «ни женщина, ни мужчина», о св. Петре «дурак Симон с отвислой губой», или «все в нем (Иисусе) значительное от народа», «апостолы крали для него колосья» — все-таки *он написал*. Это, скажем, не литература. Но... что же, и не Блок? Увы, именно Блок, и помечено: 1918 г. Блок эпохи «Двенадцати». Вот еще новый поворот, новый свет на загадочную поэму. Вот *в каком настроении* она создавалась. Что же, «настоящий» Христос вел «Двенадцать» или блоковский, «ни женщина, ни мужчина», у которого «все значительное от народа»? Я говорил уже, что настоящий Христос вовсе не сходил в поэму. А теперь видно, какого Христа Блок *пристегнул* к своему писанью. Вот что значит-то: «компилятивный».

Так что здесь новое свидетельство о тяжком обострении давней болезни души Блока — погубившей его.

* * *

Я чувствую, что это надо написать, и все-таки писать мне грустно. В общем, вспоминая Блока, больше вижу его молодым, мечтательным, в низком отложном воротничке, слышу его стихи, пронзающий шарм их:

Уж не мечтать о подвигах, о славе,
Все миновалось, молодость прошла.
Твое лицо, в его простой оправе,
Своей рукой убрал я со стола.

Куда бы ни зашел Блок, и чего бы ни наделал, как бы жизнь свою ни прожигал, туманил, иногда грязнил — в нем было то очарование, которое влекло сердца и женские, и мужские, та печать, что называется «избранничеством». Хотелось бы, чтоб именно такой, которому дано не скупо, выдержал бы, пришел к Истине, победил. А он не выдержал. Жизненный бой проиграл. И побежден. Что же из этого? Показан нам облик печальный, может быть, даже трагический. И Данте находился in una selva oscura[1], и лишь любовь Беатриче, пославшая ему Вергилия, вывела из тьмы. Данте сам *сильно любил.* Ему и была дана помощь. В Блоке страстности, пылания никогда не было, и вышло так, что за него не заступилась та Прекрасная Дама, которой он изменил. Но тут уж мы подходим к тем истокам судеб, о которых не дано нам судить.

* * *

Здесь, в Провансе, часто вспоминаю вас, Александр Александрыч. Это край, и тот пейзаж, где жил Петрарка, где старинные труверы пели, край Лауры. Все это вам близко — вам, автору «Розы и Креста».

Когда идешь, пред вечером, по гребню гор, среди душистых сосен, а внизу разостланы долины, взгорья, хвойные леса, оливковые рощи и рыжеющие весной виноградники, фермы с задумчивыми кипарисами, вдали белеющие городки с храмами древними, и дальше все нежней и шире раздвигаются холмы, и тонкий, голубеющий свет разливается над всем — когда спокойно видишь чистый и изящный край, пронизанный благословенным солнцем, когда так *один* в горах, то... часто чувствуешь ваш облик, наш поэт. Быть может, это странно, и ненужно: кажется, показать бы вам вот этот светлый Божий мир. Дать бы глазам вашим, замученным туманами, болотами, снегами, войнами и бойнями,— взглянуть в голубоватые дали Прованса, светом и благоуханием смолистым вам омыть бы душу, как омыл лицо росой Чистилища при выходе из Ада Данте,— и вы вспомнили бы о Прекрасной Даме, вырвали б, раз навсегда, слова кощунственные. Вы бы дышали Истиной, она бы оживила вас.

Но это все напрасные слова. Вас нет. Мы все — души Чистилища. Из светлого Прованса хочется послать вам ток благоволения, благожелания. На этом свете не пришлось нам сблизиться.

Domaine de la Pugette.
Пасха 1925 г.

---

[1] В темном лесу *(ит.).*

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Царицыно — дачное место под Москвой, по Курской дороге. Недостроенный дворец Екатерины, знаменитые пруды, парк вроде леса. Очень красиво. Сила зелени, произрастание, свежесть и влага. В Москве многие любили Царицыно. Были там и собственные дачи, или — кому особенно нравилось — снимали помещения из года в год у местных жителей, становились как бы летними обитателями Царицына.

— Борю Бугаева отлично помню,— говорила моя жена, в юности тоже царицынская дачница.

— Я была девочкой еще, мы жили в Воздушных садах, около дворца. Дача Бугаевых недалеко оттуда. Боря был светленький мальчик, лет двенадцати, с локонами, голубыми глазами, очень изящный. Прямо скажу даже — очаровательный мальчик. Любил рыбу удить в пруду, так и представляется мне с удочкой, на берегу — пруды там огромные. Мать у него была бледная, красивая, отец — профессор в Москве, чудаковатый какой-то. За Борей присматривала гувернантка. Потом, много позже, я встретилась с ним в Москве, он стал студентом и, оказывается, поэт, пишет «Симфонии», «Золото в лазури»... Боря Бугаев оказался Андреем Белым!

Отец «Бори Бугаева» математик, крашеный старик с разными причудами — молва о нем шла однородная, вряд ли ошибочная.

Профессора этого не приходилось встречать. Мать Белого я немного знал: блестящая женщина, но совсем иных устремлений — кажется, очень бурных. Так что Андрей Белый явился порождением противоположностей.

На московском Арбате, где мы тогда с женой жили, вижу его уже студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем.

Особенно глаза его запомнились — не просто голубые, а лазурно-эмалевые, «небесного» цвета («Золото в лазури»!), с густейшими великолепными ресницами, как опахала оттеняли

они их. Худенький, тонкий, с большим лбом и вылетающим вперед подбородком, всегда закидывая немного назад голову, по Арбату он тоже будто не ходил, а «летал». Подлинно «Котик Летаев», в ореоле нежных светлых кудрей. Котик выхоленный, барской породы.

Он только еще начинал писать. Учился на естественном факультете, печатался в «Скорпионе» (издательство), в журнале «Весы» под началом Валерия Брюсова. Считалось среди молодежи тогдашней, что он «необыкновенный» какой-то — поэт, мистик с оттенком пророчественности и символист (по другим «декадент»). Но не просто декадент, а всем обликом своим являет нечто особенное — не предвестие ли «новой религии»? Видели в нем нечто общее и с князем Мышкиным из «Идиота». Передавали, что в университете вышел с ним даже случай схожий: на студенческом собрании, в раздражении спора, кто-то «заушил» его. Он подставил другую щеку.

Ранние его произведения быстро привлекли внимание — насмешливое у старших, сочувственное у молодежи. Лазурь бугаевских глаз в стихах «Золото в лазури» сияла почти ослепительно. Конечно, острей и *духовней* ощущал он свет, чем кто-либо. «Симфонии» показались необычайными и по форме — полулитература, полумузыка... Лес, кентавры, беклиновское нечто в «Северной». В «Драматической» синие глаза московской красавицы, Владимир Соловьев, Евангелие от Иоанна — все это неслось в туманно-музыкальном вихре.

В то время и он и Блок только еще выходили из-под плаща Соловьева — в «Симфонии» Соловьев с «брадою» своей и в крылатке, развевающейся фантастически, «шествовал» над Москвой в утренних зорях, обещавших и Белому и Блоку некие откровения, «раскрытия».

Все это оказалось призраком, мечтой, на церковном языке — «прелестью». И оба оказались — по-разному — но вроде одаренных лжепророков.

Как бы, однако, об этом ни судить, чтó бы ни говорить о Белом и Блоке в целом, юношеский образ «Бори Бугаева» оттиснут в памяти печатью романтическою — прозрачные, чистые краски в нем были тогда. И нечто певуче-летящее, с оттенком безумия.

* * *

В публике его сразу определили чудаком, многие и смеялись. Все газеты обошло двустишие из «Золота в лазури»:

Завопил низким басом,
В небеса запустил ананасом.

Это недалеко от брюсовского:

О закрой свои бледные ноги.

Но Брюсов был расчетливый честолюбец, может быть, и сознательно шел на скандал, только чтобы прошуметь. А у Белого это — природа его. Брюсов был делец, Белый — безумец.

Читал стихи он хорошо, в тогдашней манере, но очень своеобразно, как и во всем не походил ни на кого. Некоторые считали его гениальным.

Литературно-художественный кружок в Москве, богатый клуб тогдашний, часто устраивал вечера. Особняк Востряковых на Дмитровке отлично был приспособлен — зрительный зал на шестьсот мест, библиотека в двадцать тысяч томов, читальня, ресторан хороший, игорные залы. Брюсов был одним из заправил: заведовал кухней и рестораном.

На одном таком вечере выступает Белый, уже небезызвестный молодой писатель.

Из-за кулис видна резкая горизонталь рампы с лампочками, свет прямо в глаза. За рампой, как ржаное поле с колосьями, зрители в легкой туманной полумгле. А по нашу сторону, «на этом берегу», худощавый человек в черном сюртуке, с голубыми глазами и пушистым руном вокруг головы — Андрей Белый. Он читает стихи, разыгрывает нечто и руками, отпрядывает назад, налетает на рампу — вроде как танцует. Читает — поет, заливается.

И вот стало заметно, что на ржаной ниве непорядок. Будто поднялся ветер, колосья клонятся вправо, влево — долетают странные звуки. Белый как бы и не чувствовал ничего. Чтение опьяняло его, дурманило. Во всяком случае, он двигался по восходящей воодушевления. Наконец, почти пропел приятным тенорком:

— И открою я полотер-рн-ное за-ве-дение...

В ожидании же открытия плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты — присел основательно.

Это было совсем неплохо сыграно, могло и нравиться. Но нива ощущала иначе. Там произошло нечто вне программы. Теперь уже не ветер — налетел вихрь, и колосья заметались, волнами склоняясь чуть не до полу. Надо сознаться: дамы помирали со смеху. Смех этот сдерживаемо-неудержимый, веселым дождем долетал и до нас, за кулисы.

«И смех толпы холодной...» — но дамский смех этот в

кружке даже не смех врагов, и толпа не «холодная», а скорее благодушно-веселая. «Ну что же, он декадент, ему так и полагается».

Все-таки...— какая бы ни была, насмешка ожесточает. И лишь много позже, с годами, стало ясно, сколько горечи, раздражения, уязвленности скоплялось в том, кого одно время считали «князем Мышкиным».

* * *

В 1906—1907 годах кучка молодежи литературной издавала в Москве журнальчик «Зори», а затем газету «Литературно-художественная неделя». Объединяли участников родственные черты — некое «русское» (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и *не* брюсовского духа. Из петербургских молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкий. Из московских — Белый.

Все это предприятие оказалось недолговечным, влияния имело мало, во многом было наивным. Все же след, светлый, в наших сердцах остался — искреннее увлечение юных лет, правда некие «Зори».

Белый дал нам статью о Леониде Андрееве. Чуть ли не в том же номере появился какой-то недружественный отзыв о Брюсове.

Брюсов, конечно, разъярился. Белый был постоянным сотрудником «Весов» брюсовских — там была строгая дисциплина — он тоже разъярился (иначе и нельзя было). Как, он, Белый, тогда подчиненный «магу» и «пророку» с Цветного бульвара, сотрудничает у нас?

Встретив где-то П. Муратова, нашего сотоварища, сотрудника по отделу искусства, набросился на него исступленно, поносил и его и нас в выражениях полупечатных. Князь Мышкин вряд ли одобрил бы их.

Муратов, вне себя, прибежал ко мне.

— Он всех нас позорит, оскорбляет...

А одновременно появилась и статья Белого в «Весах» против нас, совсем исступленная. Видно было, в каком он запале.

Нетрудно себе представить, что — при нервности и обидчивости юных литераторов — из этого получилось. Собрались у меня, решили отправить Белому ультиматум.

Написал его я, в тоне резком, совершенно вызывающем. Белого приглашали объясняться. Если он не возьмет назад

оскорбительных выражений, то «мы прекращаем с ним всякие как личные, так и литературные отношения». Назначалось свидание в редакции, на квартире В. И. Стражева.

Труднее всего приходилось тут мне. Я был ближе других к Белому лично. Он просто мне нравился — изяществом, своеобразием, даже полоумием своим. Я считал его и большим поэтом, в спорах всегда и со страстью защищал его. Он со мной тоже был чрезвычайно приветлив и ласков. И вдруг — именно он... Если бы не Белый, было бы легче, можно бы не обращать внимания. Но он! За нехвалебный отзыв о Брюсове! Нет, и горестно, но и спустить нельзя.

В назначенное время собрались в кабинете поэта Стражева: кроме хозяина, Б. А. Грифцов, П. П. Муратов, Ал. Койранский, поэт Муни и я.

Звонок. Появляется Белый — в пальто, в руках шляпа, очень бледный. Мы слегка ему кланяемся, он также. Останавливается в дверях, обводит всех острым взглядом (глаза бегают довольно быстро).

— Где я? Среди литераторов или в полицейском участке?

Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили.

Первая же фраза задала тон. Трудно было бы сказать про свидание это, что «переговоры протекали в атмосфере сердечности и взаимного понимания».

— В таком тоне мы разговаривать не намерены. Или возьмите оскорбления назад, или же мы расходимся.

Сражение началось. Белый в тот день был весьма живописен и многоречив — кипел и клубился весь, вращался, отпрядывал, наскакивал, на бледном лице глаза в оттенении ресниц тоже метались, видно, он «разил» нас «молниями» взоров. Конечно, был глубоко уязвлен моим письмом.

— Почему со мной не переговорили? Я же сотрудник, я честный литератор! Я человек. Вы не мое начальство. Я мог объясниться, это недоразумение. А меня чуть не на дуэль вызывают...

Я не уступал.

— Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы возьмете назад слова о нашем сотоварище и о нас.

Он кричал, что это возмутительно. Я не подавался ни на шаг. Наконец, Белый вылетел в переднюю, я за ним. Тут вдвоем у окна мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную кисти Айвазовского.

Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лично» по-прежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости

«разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но «в глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы.

Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. (Издали, после страшных прожитых лет, это кажется смешными пустяками. Но тогда переживалось всерьез.)

И уже много позже, в светлой, теплой зале Эрмитажа петербургского, около Луки Кранаха случайно столкнулись — нос с носом. Прежние глупости растаяли. Белый засиял своей очаровательной улыбкой, чуть мне в объятия не кинулся. В ту минуту зимнего неверного дня, рядом с великой живописью так, вероятно, и чувствовалось. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбком песке можно что-нибудь строить. Нынче мог Белому человек казаться приятным, завтра — врагом.

Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам, и разные радиоволны на разное его направляли. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие.

Одно время это были «издатели». Все зло от издателей. У них тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником оказался Георгий Чулков. Белому представлялся он мистическим персонажем, как таинственная птица проносившимся над Россией, воплощавшим в себе... не помню уже что, но весьма не украшавшее. Много сердился тогда этот левый человек, тут в согласии с Пуришкевичем, и на евреев.

Не знаю, была ли у него настоящая мания преследования, но *вблизи нее* он находился. Гораздо позже я узнал, что в 14-м году, перед войной, ему привиделось нечто на могиле Ницше, в Германии, как бы лжевидение, и он серьезно психически заболел (книга Мочульского).

* * *

Вблизи Спасских ворот, наискосок вниз от памятника Александру II, была в Кремле церковка Константина и Елены. Она стояла уединенно, как-то интимно и поэтически, близ Москва-реки и стены, в осенении деревьев — к ней и добраться не так просто.

Одну пасхальную заутреню встречали мы в ней с Андреем Белым (уже после примирения). Ночь была сырая и туманная, палили пушки, толпа в Кремле, иллюминация — Иван Великий высвечивает золотым бисером, гудят «сорок сороков» торжественным, веселым гулом.

Белый был очень мил, даже почти трогателен — мы христосовались, побродили в толпе, а потом отправились к общему нашему приятелю С. А. Соколову («Грифу», поэту, издателю раннего Блока), разговляться.

Легко можно себе представить, что такое были розговены в Москве довоенной, даже не в Замоскворечье, а в доме литературно-интеллигентском: пасхи, куличи, окорока, цветные яйца, возлияния — все в размерах внушительных, в духе того веселого беспорядка, мирной сытости, что вообще уже стало легендой, а тогда стояло на краю пропасти.

У Грифа квартира была небольшая. В длинной и узкой столовой, за пасхальным столом все мы и разместились — литературная молодежь того времени. На одном конце стола Гриф, на другом жена его, артистка Лидия Рындина. Христосовались, смеялись, ели, пили. В середине, напротив меня, сидел Белый, за ним гладкая стена.

Сначала все шло отлично. Хозяева угощали, пили за гостей, мы поздравляли друг друга, уплетали пасху, куличи... Но в некий момент тон изменился. Белого стал задирать Александр Койранский — критик, художник, острослов — всегда он Белого не весьма чтил, а тут и вино поддержало. Белый начал волноваться, по русскому обыкновению, разговор скакнул с пустяков к серьезному. Смысл бытия, назначение поэта, дело его... Койранский подзуживал, разговор обострился.

И вот Белый впал в исступление. Он вскочил, начал некую речь — исповедь-поэму:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Последняя строчка стихотворения этого (ему принадлежащего) и была, собственно, главным звуком выступления. Тут уже и Койранский, и все мы умолкли. Белый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал горечь, незадачливость и одиночество жизни своей. Непонимание, его окружавшее, смех, часто сопровождавший,—

Не смейтесь над мертвым поэтом,
Снесите ему венок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.
. . . .
Пожалейте, придите,
Навстречу венком метнусь

О, любите меня, полюбите,
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь,
Вернусь...

Да, то же рыдательное, что и в лучших его стихах,— будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что странней всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человеку почувствовать себя в потоке мировой любви, единения братского. А он как раз тосковал в одиночестве. Пустой вихрь жизни, раны болят,— но пустынность внутренняя вообще была ему свойственна. Нечто нечеловеческое было в этом удивительном существе. И кого сам-то он любил? Кажется, никого. А груз чудачества, монструозности утомлял.

Фигура его металась на фоне стены, правда, как надгробный венок в ветре. Вдруг он раскинул руки крестом, прижался к стене спиной, совсем побледнел, воскликнул:

— Я распят! Я в жизни распят! Вот мой путь... Все радуются, а я распят...

Расходились поздно, туманным утром. Быть может, Александр Койранский и не так был доволен, что распалил Белого.

* * *

Большая публика не принимала его, но восторженные поклонники у него были. Позже примкнул он к антропософскому движению — приобрел и там верных почитателей.

В те предвоенные годы вышли книги его стихов «Пепел» и «Урна». Как и «Золото в лазури» это, пожалуй, лучшее, что он написал. Некоторые звуки его стихотворений и теперь пронзают и будут пронзать. (Одно было посвящено мне: «Века текут...», но в позднейшем берлинском издании Гржебина он это посвящение снял, несмотря на встречу в Эрмитаже.)

Дал и романы: «Серебряный голубь» — детская и лубочная вещь, и «Петербург» — безвоздушная фантасмагория. Много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. Имя его приобрело известность, но довольно странную. Во всяком случае, боевую.

Вот небольшой образец этой «боевой» его деятельности.

Читает он в Литературно-художественном кружке. Начинаются прения, выступает среди других некий беллетрист Тищенко, тем известный, что Лев Толстой объявил его лучшим современным писателем. Этот Тищенко был человек довольно невидный, невзрачный, невоинственный. Как вышло, что он разволновал Белого, не знаю. Но спор на эстраде, перед сотнями

слушателей, так обернулся, что Белый вдруг взвился и «возопиял»:

— Я оскорблю вас действием!

К нам, заседавшим наверху, в ресторане кружка, известие это дошло вроде того, как в деревне передают, что загорелась рига.

— Борис, Борис, скорей, там скандал!

Бросились тушить. Но было уже поздно. Из-за кулис вовремя задернули занавес, отделив публику (Белым возмущенную) от эстрады. Зал кипел, бурлил. «Безобразие!» «Еще поэтами называются...»

На большой лестнице картина: спускается Андрей Белый, в полуобморочном состоянии. Кругом шум, гам. Бердяев и моя жена поддерживают его под руки, он поник весь, едва передвигает ноги. Одним словом, Пьеро, и сейчас, как в «Балаганчике», из него потечет клюквенный сок.

Внизу его одели и увезли. Завтра дуэль. Вернулись мы из кружка на рассвете, условившись с Сергеем Соколовым утром быть уже у Белого,— секунданты не секунданты, а вроде того.

Часов в десять явились к нему в Денежный (близ Арбата. мы все жили в тех краях). Белый был действительно совсем белый, почти в истерике, не раздевался, не ложился, всю ночь бегал по кабинету.

Высокая, великолепная его мать спокойнее, чем мы и «Боря», отнеслась к происшествию. И оказалась права. Излившись перед нами как следует, Белый признал, что вчера перехватил.

Приблизительно говорилось так:

— Тищенко — ничего! Это не Тищенко. Тищенко никакого нет, это личина, маска... (Степун в блестящей статье о Белом называет самого Белого «недовоплощенным фантомом» и как бы сомневается в существовании его как человека.)

— Я не хотел его оскорблять. Тищенко даже симпатичный... но сквозь его черты мне просвечивает другое, вы понимаете... сила хаоса, темная сила, вы понимаете... (Белый закидывает назад голову, глаза его расширяются, он как-то клокочет горлом, издает звуки вроде м-м-м...— будто вот они, вокруг, эти силы.) Враги воспользовались безобидным Тищенкой... он безобидный. Карманный человек, милый карлик, да я даже люблю Тищенку, он скромный... Тищенко хороший.

Одним словом, окажись тут под рукой Тищенко, Белый кинулся бы его целовать, плакал бы на его груди. А через час мог опять возненавидеть, объявить носителем мирового зла.

По нашему настоянию Белый написал письмо-извинение, Соколов и передал его куда надо. До свинца дело не дошло. А о скандале... поговорили и забыли.

* * *

В самые страшные годы России вспоминается Белый более мирно.

Как будто ни с кем не ссорился. Увлекался антропософией, в Петербурге выступал в «Вольфиле», в Москве жил одно время во «Дворце искусств».

Этот «дворец» — дом гр. Соллогуба на Поварской, у Кудринской площади. Старый дом прославлен «Войной и миром». Там, где Наташа носилась резвыми своими ножками, поселился поэт Рукавишников — его избрал главой «дворца» Луначарский. Во «дворце» читались какие-то лекции, выступали товарищи, кажется, была и столовая, кое-кто поселился. Среди них — Белый, куда и позвал меня к себе в гости.

Он всегда был, с ранних лет, левого устремления. Что-то в революции ему давно нравилось. Он ее предчувствовал, ждал. Когда она пришла, *очень* многое в ней принял. В те годы (20-м — 21-м) всего был ближе к левым эсерам, разным «Скифам» (как и Блок). Белый не так страдал морально от революции, как мы, и уживался с нею лучше. Все же антропософия уводила его в сторону. Духовные начала движения этого уж очень мало подходили к уровню «революционной мысли», к калмыцкому облику Ленина.

Не без волнения шел я, в сумерках зимнего дня, по старым, благородным залам, комнатам, коридорам и закоулкам соллогубовского дома. Он построен «покоем» с боковыми крыльями, обнимающими просторный двор (подводы с вещами Ростовых, бегущих от Наполеона... Раненый князь Андрей в коляске своей... Великая слава России).

В больших окнах, до полу, мелькнул этот двор. Из залы можно было выйти на балкон перед колоннами,— а там дальше опять плакаты с расписанием лекций.

Белый встретил меня очень приветливо, где-то вдали, в своей комнате, выходившей окнами в сад. Он был в ермолочке, с полуседыми из-под нее «клочковатостями» волос, такой же изящный, танцующий, приседающий.

Комната в книгах, рукописях — все в беспорядке, конечно. Почему-то стояла в ней и черная доска, как в классе.

...Не то Фауст, не то алхимик, не то астролог. Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософию, на революцию. Может быть, с «убийцей Мирбаха» он говорил бы иначе, но со мной стал почти на мою позицию — тут помогала ему и его антропософия.

Теперь и доска оказалась полезной. Он на ней быстро рас-

чертил разные круги, спирали, завитушки. Мир, циклы истории поспешно располагались по волютам спирали. Он объяснял долго и вдохновенно — во всяком случае, это было редкостно, менее всего заурядно, почти увлекательно. Белый вообще был отличный оратор-импровизатор, полный образности и красок. Но постройкой не владел — вообще всегда *им* что-то владело, а не *он* владел.

Разумеется, понял я четверть, может быть — треть, самое большее. Астролог же и эуритмик вытанцовывал неутомимо и убедительно. Надо даже сказать, что в соллогубовском этом доме не было в нем обычного исступления. Скорее фантастика успокаивающая. Снег синел в саду, скоро спустится зимняя московская ночь. Граждане выйдут воровать заборы. Иногда слышны будут выстрелы. Глаза Белого сияют, он откидывается назад, взор соколиный, в горле радостное клокотание: м-м-м... На слушателя это хорошо действует.

— Видите? Нижняя точка спирали? Это мы с вами сейчас. Это нынешний момент революции. Ниже не спустится. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор.

Спираль долго еще выносила Россию на простор — море детских и юношеских гробов, море концлагерей, сотни тысяч погибших, раскулаченных... но мы с Белым в тот вечер искренне думали, что вот уже кончается Голгофа: наверно, потому, что *хотели* этого. Спираль же украшала желание.

* * *

В 1921 году отъезд Белого за границу, прощальный вечер у нас в Союзе писателей на Тверском бульваре, в Доме Герцена. Некая нелепость ранней полосы революции: правительство дало нам особняк, мы устроились там довольно основательно, коммунистов же в Союз никаких не принимали. Ни одного коммуниста у нас не было.

В напутственном слове Белому можно было еще сказать:

— Дорогой Борис Николаевич, передайте эмиграции, что литература в России жива...

Много прошло лет, а и сейчас чувствую, как спазма сдавила мне горло, надо было сделать усилие над собой, чтобы докончить:

— И никогда... никому... ни за что не уступит своей свободы.

Говорил я от лица Союза как его председатель. Белый сидел за столом напротив меня — в зале стало мертвенно тихо. Прекрасные его глаза расширились, весь он напрягался, что-то пролетело, метнулось, будто живая птицеобразная душа без слов сказалась. А потом он вскочил.

— Да, скажу, скажу...

В ту минуту, быть может, так и думал. Но сомнения нет, что, сев в вагон, все сразу же и забыл.

Через год встретились мы уже в Берлине, для нас в «новой жизни», для него это был эпизод: скоро возвратился он в Россию.

Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огрубил его. По всему облику Белого прошло именно *серое,* берлински-будничное, от колбасников и пивнушек, где стал он завсегдатаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг, от эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выражение стало иное. Он походил теперь на незадачливого, выпивающего — не то изобретателя, не то профессора без кафедры. Характер сделался еще труднее. С одной стороны — был он антропософом, и в этом направлении даже переделал (очень неудачно) свои прежние стихи, вышедшие в Берлине, строил даже в Дорнахе антропософский храм, Гетеанум. Потом вдруг накинулся на Рудольфа Штейнера с яростью:

— Я его разоблачу! Я его выведу на свежую воду!

И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучительной пустоты, решил опять бежать в Россию. (И опять я согласен со Степуном: что он любил, собственно? Россия для него такой же призрак, как и все вообще.)

Его пустили.

На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:

— Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись ей, и Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на эмиграцию, всех собак!

Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:

— Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас собак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я буду держать себя прилично.

Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о «берлинских друзьях» (с одним из которых, Ходасевичем, успел поссориться еще в Берлине, на прощальном обеде в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в концлагерь мало кому хочется.

Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком диковиным и монструозным.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел...

Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар.

И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном «солнечными стрелами» нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.

Богоматерь как бы не покинула его — горестного, мятущегося, всю жизнь искавшего пристани.

1938—1963

БАЛЬМОНТ

В поэзии серебряного века место Бальмонта немалое, вернее — большое. Я не собираюсь давать здесь облик его литературный. Всего несколько беглых черточек из далеких времен его молодости, расцвета.

* * *

1902 год. В Москве только что основался Литературный кружок — клуб писателей, поэтов, журналистов. Помещение довольно скромное, в Козицком переулке, близ Тверской. (Позже — роскошный особняк Востряковых, на Большой Дмитровке.)

В то время во главе кружка находился доктор Баженов, известный в Москве врач, эстет, отчасти сноб, любитель литературы. Немолодой, но тяготел к искусству «новому», тогда только что появившемуся (веянье Запада: символизм, «декадентство», импрессионизм). Появились на горизонте и Уайльд, Метерлинк, Ибсен. Из своих — Бальмонт, Брюсов.

Первая встреча с Бальмонтом именно в этом кружке. Он читал об Уайльде. Слегка рыжеватый, с живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички (de l'époque), бородка клинушком, вид боевой. (Портрет Серова отлично его передает.) Нечто задорное, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный шантеклэр[1], приветствующий день, свет, жизнь. («Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...»)

Читал он об Уайльде живо, даже страстно, несколько вызывающе: над высокими воротничками высокомерно возносил голову; попробуй противоречить мне!

В зале было два слоя: молодые и старые («обыватели», как мы их называли). Молодые сочувствовали, зубные врачи, по-

---

[1] Петух *(фр).*

жилые дамы и учителя гимназий не одобряли. Но ничего бурного не произошло. «Мы», литературная богема того времени, аплодировали, противники шипели. Молодая дама с лицом лисички, стройная и высокая, с красавицей своей подругой, яростно одобряли, я, конечно, тоже. Юноша с коком на лбу, спускавшимся до бровей, вскочил на эстраду и крикнул оттуда нечто за Уайльда. Бальмонт вскипал, противникам возражал надменно, остро и метко, друзьям приветливо кланялся. Тут мы и познакомились. И оказалось, что по Москве почти соседи: мы с женой жили в Спасо-Песковском вблизи Арбата, Бальмонт в Толстовском переулке, под прямым углом к нашему Спасо-Песковскому. Совсем близко.

Это было время начинавшейся славы Бальмонта. Первые его книжки стихов «В безбрежности», «Тишина», «Под северным небом» были еще меланхолической «пробой пера». Но «Будем как солнце», «Только любовь» — Бальмонт в цвете силы. Жил он тогда еще вместе с женою своей, Екатериной Алексеевной, женщиной изящной, прохладной и благородной, высококультурной и не без властности. Их квартира в четвертом этаже дома в Толстовском была делом рук Екатерины Алексеевны, как и образ жизни их тоже во многом ею направлялся. Бальмонт при всей разбросанности своей, бурности и склонности к эксцессам, находился еще в верных, любящих и здоровых руках и дома вел жизнь даже просто трудовую: кроме собственных стихов, много переводил — Шелли, Эдгара По. По утрам упорно сидел за письменным столом. Вечерами иногда сбегал и пропадал где-то с литературными своими друзьями из «Весов» (модернистский журнал тогдашний в Москве). Издатель его С. А. Поляков, переводчик Гамсуна, был богатый человек, мог хорошо угощать в «Метрополе» и других местах. (На бальмонтовском языке он назывался «нежный как мимоза Поляков».)

После нежного как мимоза Полякова Бальмонт возвращался домой не без нагрузки, случалось, и на заре. Но был еще сравнительно молод, по натуре очень здоров, крепок. И в своем Толстовском усердно засаживался за стихи, за Шелли.

В это время бывал уже у нас запросто. Ему нравилась, видимо, шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг жены моей,— нравилось, конечно, и то, что его особенно ценила женская половина (после «Будем как солнце» появился целый разряд барышень и юных дам «бальмонтисток» — разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру).

Из некоторых окон его квартиры видны были окна нашей, выходившие во двор.

Однажды, изогнув голову по-бальмонтовски, несколько ввысь и вбок, Бальмонт сказал жене моей:

— Вера, хотите, поэт придет к вам, минуя скучные земные тропы, прямо от себя, в комнату Бориса, по воздуху?

Он уже однажды, еще до Екатерины Алексеевны, попробовал такие «воздушные пути»: «вышел», после какой-то сердечной ссоры, прямо из окна. Как не раскроил себе черепа, неведомо, но ногу повредил серьезно и потом всю жизнь ходил, несколько припадая на нее. Но и это тотчас обратил в поэзию.

И семь воздушных ступеней
Моих надежд не оправдали.

Слава Богу, в Толстовском не осуществил намерения. Продолжал заходить к нам скучными земными тропами, по тротуару своего переулка, сворачивал в наш Спасо-Песковский, мимо церкви.

Раз пришел в час завтрака и застал меня одного. Я был студентом, скромно ел суп с вареной говядиной, изготовленный верною Матрешей.

Позвонили. Матреша кинулась отворять, потом вскочила ко мне в столовую, почесала пальцем в волосах, испуганно тряхнула огромной медной серьгой в ухе, сказала озабоченно:

— Вас спрашивают. Энтот рыжий, что у нас читает. Да сегодня строгий какой... Будто и не очень в себе они...

Бальмонт вошел, сразу заметно стало, что он не совсем «в себе». Вероятно, нынче не успел хорошенько отойти от угощений нежного как мимоза Полякова.

Был несколько и мрачен — Матреша права: «строг». Бальмонтисток никого не оказалось, вина тоже. Я налил ему тарелку супу с отличной говядиной.

— Где Вера? Люба Рыбакова?

Тон такой, будто я виноват в чем-то.

— Их нет.

— Вы один едите этот ничтожный суп?

— Суп неплохой, Константин Дмитриевич. Попробуйте. Матреша хорошо готовит.

Бальмонт сумрачно воткнул вилку в говядину, вынул кусок и стал водить им по скатерти. Нельзя сказать, чтобы жирные узоры украсили ее.

— Я хочу, чтобы вы читали мне вслух Верхарна. Надеюсь, у вас есть он?

Верхарн был тогда очень в моде. Бальмонт сказал внушительно. К счастью, под рукой как раз оказался томик стихов Верхарна. Если бы не было, возможно, он сказал бы мне колкость. («Поэт не думал, что в доме начинающего писателя

нет моего бельгийского собрата...» — нечто в этом роде. Себя он нередко называл в третьем лице, как и все его поклонницы.)

Я начал читать — и читал очень плохо. Частью стеснялся, по молодости лет, главное же потому, что вообще мало знал французский язык — хотя Верхарна как раз читал.

Продолжая путешествие по скатерти, Бальмонт спросил:

— Вы понимаете то, что читаете? Мне кажется, что нет...

Я все-таки протестовал. Понимать-то понимал, но читать вслух — другое дело.

Бальмонт недолго просидел у меня. Ушел явно недовольный.

* * *

Но бывал он и совсем другой. К нам заходил иногда пред вечером, тихий, даже грустный. Читал свои стихи. Несмотря на присутствие поклонниц, держался просто — никакого театра. Стихи его очень тогда до нас доходили. Память об этих недолгих посещениях, чтениях осталась вот как надолго — хорошее воспоминание: под знаком поэзии, иногда даже растроганности.

Помню, в один зеленовато-сиреневый вечер, вернее в сумерки, пришел он к нам в эту арбатскую квартиру в настроении особо лирическом. Вынул книжку — в боковом кармане у него всегда были запасные стихи.

Нас было трое, кроме него: жена моя, ее подруга Люба Рыбакова и я.

Бальмонт окинул нас задумчивым взглядом, в нем не было никакого вызова, сказал негромко:

— Я прочту вам нечто из нового моего.

Что именно, какие стихотворения он читал — не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные пленки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (еще не вышедшей тогда) «Только любовь».

На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны.

В конце он вдруг выпрямился, поднял голову и обычным бальмонтовским тоном заключил (из более ранней книги):

Я в этот мир пришел,
Чтоб видеть Солнце,
А если Свет погас,
Я буду петь, я буду петь
о Солнце
В предсмертный час.

* * *

Случалось и опять по-иному. Вот появляется он днем, часа в четыре, с Максом Волошиным (огромная шляпа, широченная лента на пенсне, бархатная куртка — только что приехал из Парижа. Полон самоновейшими поэтами французскими, посетитель кафе Closerir de Lilas и т. п.). Бальмонт в мажоре, как бы «заявляет», что будет читать стихи. У нас состав прежний — хозяева и неизменная красавица Люба Рыбакова («Милой Любе Рыбаковой, вечно юной, вечно новой...» — в альбом от Бальмонта).

На этот раз он победоносно-капризен и властен.

— Поэт желал бы читать свои произведения не в этой будничности, но среди рощ и пальм Таити или Полинезии.

— Но откуда же нам взять рощи и пальмы, Бальмонт?

Он осматривает нехитрую обстановку нашей столовой.

— Мечта поможет нам. За мной! — И подходит к большому, старому обеденному столу,— Макс, Вера, Люба, Борис, мы расположимся под кровлей этого ветерана, создадим еще лучшие, чем в действительности, пальмы.

И он ловко нырнул под стол. Волошину было трудно, он и тогда склонен был к тучности, дамы проскочили со смехом, по-детски. Но «Борис» не пошел.

Вскоре из пальмовой рощи Спасо-Песковского раздались протяжные «нежно-напевные» и «певуче-узывчивые» строфы его стихов.

Я не запомнил, что он оттуда читал. Но что *я* не полез в эти рощи, *он* запомнил.

Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне, с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида.

— Однако некогда в Спасо-Песковском гордый поляк не пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии.

(Он нередко называл меня поляком, находя нечто польское в облике.)

* * *

Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из «зачинателей» серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал — новизной, блеском, задором, певучестью.

Но потом времена изменились. Все эти чтения, детские чудачества, «бальмонтизм» и бальмонтистки кончились — наступили суровые, страшные годы войн, революций. Не до Бальмонта. Он отошел, и до сих пор полузабыт. Написал очень много. Некий пламень двух-трех книг его возгорится. Надо думать, придет это с Родины.

В 1920 году мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный как скалы Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный — и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой «пшенкой» без сахару и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь «особе...» — мало ли чем это могло кончиться.

Но, славу Богу, осенним утром, в Николо-Песковском (недалеко от нас), мы — несколько литераторов и дам — прощально махали Бальмонту с присными его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой: это были уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь.

Этим ранний Бальмонт и кончается. Эмиграция прошла для него уже под знаком упадка. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много. Скорее слабел — лучшие его вещи написаны в России. Продолжалась и тут бурная жизнь, расшатывавшая здоровье. Да и возраст не тот. Он горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем в местечке Noisy-le-Grand, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым.

Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния — считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить.

Некогда, на заре нашей литературы, другой поэт, тоже великий жизнелюбец, написал стихи, над которыми позже плакал Лев Толстой:

И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю

Казалось бы, Пушкин мало подходящ для покаяния, и написал это до дуэли, до трагедии своей, когда на смертном одре, как и Бальмонт, священнику «плакася горько».

Все христианство, все Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь.

Верю, твердо надеюсь, что так же милостив будет Он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту.

1963

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо-Песковском на Арбате.

Вечер. Сижу за самоваром один, жена куда-то ушла. В передней звонок. Отворяю, застегивая студенческую тужурку. Пришел Вячеслав Иванов с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он высокий, мягко-кудреватый, голубые глаза, несколько воспаленный цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление: мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама — его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал.

Смущенно и робко приветствую их — как мило со стороны старшего, уже известного поэта зайти к начинающему писателю, еще колеблющемуся, еще все на волоске... Учишься в университете, только что начал печататься, выйдет из тебя что-нибудь или не выйдет, все еще впереди: 1905 год!

Вячеслава Иванова знал я тогда очень мало, где-то бегло встречались, не у Чулкова ли, моего приятеля, «мистического анархиста»? Оба они принадлежали тогда к течению символизма, но и с особым подразделением — «мистического анархизма» (и оба кончили христианством: Чулков православием, Иванов принял католичество).

Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром — два странных гостя мои сидят в начинающихся сумерках — соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по-теперешнему «авангардным» в искусстве. Я угощаю чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чая с куском сахара мог — и устраивал — некий симпозион. Да, было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он говорить любил, сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых, а то и болтунов — сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда *свое,*

и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древнегреческие религии, разные Дионисы, философии того времени, вот где он как дома. Если уж говорить о родственности, то этот уроженец Подмосковья (был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда) — вот он-то и оказался праправнуком Платоновых диалогов.

У меня, в сумерках арбатской комнаты, сейчас же начал на тему более чем скромную: только что вышел в молодом журнале петербургском «Вопросы жизни» мой рассказ небольшой «Священник Кронид». Рассказ импрессионистический, быстрого темпа, но все дело для Вячеслава Ивановича в имени, названии. Как только наскочил он на имя Кронид, так и понесся: тут и Юпитер, Зевс, громовержец и творец — утвердитель стихий, земной жизни, природы, радости бытия здешнего и мощи... Такое, о чем я и в помыслах не имел, воспевая кряжистого и здоровенного Кронида, у которого пять сыновей, тоже здоровенных, священника благообразного, но и хозяина, отчасти даже помещика.

Нечего скрывать: ни о каких символизмах, ни о какой античности и возношении земной силы я не думал, когда писал эту нехитрую деревенскую поэмку (в прозе). Во всяком случае, тогда, у себя за чаем, в своей студенческой тужурке, робко поддакивал известному поэту.

Кажется, подошла потом моя жена, заговорила оживленно с многоцветной Зиновьевой-Аннибал. Но остановить Вячеслава Иванова было трудно, и, начав с моего Кронида, он прочел нам целую лекцию — да какую! Так вот и превратился скромный арбатский вечер в небогатой студенческой квартирке в настоящий словесный пир. Но, конечно, на симпозионе этом говорил он один. И слава Богу! Куда нам за ним угнаться.

* * *

Жизнь же шла. Это был предвоенный предгибельный расцвет символизма, импрессионизма — немало до революции было «измов» в литературе, и сама литература кипела. По-разному можно относиться к ней, но дух Мачтетов и Баранцевичей, провинцию восьмидесятых и девяностых годов она погребла бесповоротно.

Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение это предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве «социалистического реализма», не знаю. Я ни о чем не думал и ни от кого опасений не слыхал. А жили мы тогда литературою вовсю.

Часто ездили с женой в Петербург. Там останавливались у

Георгия Чулкова. Вячеслав Иванов был тогда как раз соратником его по «мистическому анархизму».

Были у него и «соборность», и разные другие превыспренности. Писал стихи — громкозвучные, тяжеловесные и в одеждах, изукрашенных пышно. Вспоминается нечто вроде парчи, в словаре — славянизмы и торжественность почти высокопарная. Нельзя сказать, чтобы стихи его тогдашние особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них маловато, но родитель их стоял высоко, на скале. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для *мужчин*.

Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но, конечно, по тогдашней моде на «особенное», считалось, что он живет «в башне», а сам он «мэтр» (сколько этих мэтров «невысокого роста» приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно, и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделать! В Москве Брюсов считался «магом» — этот маг заведовал отделом кухни в Литературном кружке). Такое было время. «Я люблю пышные декадентские наименования»,— говорил мне один приятель литературный в Москве.

Сло́ва «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммсена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц-Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов и религии тех лет, и поэзию, литературу — да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.

Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! — тоже снобизм), и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот, и не зря смотрели: от него действительно можно было чему-то научиться. Да и вообще, я уж об этом упоминал — собеседник он был исключительный.

Раз, в 1908 году, был я к нему приглашен *не* на собрание, а как бы давалась аудиенция с глазу на глаз. Тогда только что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из-за нее он и позвал меня, через Чулкова.

Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет — и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой — спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувст-

вовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею, действительно, живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что-то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспомнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, не обидного, сочувственного и не дифирамбического, видящего и свет и тени, так и осталось в душе.

Какая там «башня», какой «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов.

* * *

На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский и еще море юнцов, художники «Мира искусства». Читались стихи, разбирались — все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался.

«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Быстро все это пронеслось. Войны, революция все перебуравили. Подкрашенный Кузмин со своими «Александрийскими песнями» погибал в Петербурге в убожестве. Городецкий приспособился и проскочил, Вячеслав Иванов, Чулков перебрались в Москву, и уж там не до «башен» и снобистских собраний.

Жил Вячеслав Иванович на Зубовском бульваре, работал в каком-то литературном учреждении, кажется, «Лито» называлось. Луначарский, как более грамотный из «них», его поддерживал, покровительствовала и жена Каменева.

Как будто начинали сбываться давнишние его мечты-учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе — но именно только «как будто». Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда-нибудь «утечь».

На Зубовский бульвар жена моя носила молоко его грудному тогда сыну Диме (ныне известный французский журналист) — не так просто было и доставлять это молоко. Но сын, слава Богу, выжил, несмотря на соборность.

Здравый же смысл все-таки взял у «мэтра» верх: в 1921 го-

ду Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 году «утек» в Италию. Это гораздо оказалось прочнее, чем разные Азербайджаны и Баку. Да, Италия более подходящее место для Вячеслава Иванова, чем Кавказ.

В Риме он выступил с публичной лекцией по-итальянски. Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, завязались связи, и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского университета.

Тут долгое время никакой у меня связи с ним не было. Только раз, в тридцатых годах, я послал ему свою книжечку «Валаам». Его ответное письмо покоится теперь в Архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. (А в отделе редких книг бывшего Румянцевского музея в Москве хранятся мои книги с надписями Вячеславу Иванову.)

* * *

В 1949 году наш приятель — ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конквистадор и по жизни своей Казанова — нежданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.

— У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку, но вывезти не могу — проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.

Предложение заманчивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ницце — Анита из Мадрида, мы из Парижа, Казанова в Ницце уже заседал. Нас смущало, при неблестящем складе быта нашего, соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей и простой юной женщиной, сразу подружившейся с моей женой.

Началось наше blitz-tournée. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. Казанова то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местных казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино.

Во Флоренции оказалось, что денег в обрез. У нас с женой были обратные билеты. Я сказал Казанове:

— Поезжайте с Анитой, а мы вернемся.

Он даже рассердился.

— Я вам сказал, что довезу до Рима. Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но, увы, можно будет остаться всего день.

Помчались. Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака, в кабачке у Бернинневой колоннады, поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин.

Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы.

Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом. Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.

Тут жили некогда родители Алексея человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность, и сюда вернулся неузнанным.

Теперь известный поэт, столп русского символизма доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова.

Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на «башне», все же в этом слабом, но «значительном» старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был и настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева.

Мы обнялись не без волнения, расцеловались.

— Да, сил мало. Прежде в университет ездил, читал студентам, потом студенты у меня собирались, а теперь всего два-три шага сделать могу... Теперь уже не читаю.

Но велика отрава писательства. Через несколько минут он сказал мне, что хотел бы вслух прочесть новую свою поэму. «Это не длинно, час, полтора...» — «Дорогой Вячеслав Иванович, у нас минуты считаны. Мы на один день в Риме. Нас в Excelsior'е ждет импрессарио».— «Ну, так я вкратце расскажу вам...»

Не помню содержания поэмы — нечто фантастическо-символическое, как будто связанное с древней Сербией — какой-то король...— но не настаиваю, боюсь ошибиться.

Для меня дело было не в поэме, а в нем самом, отчасти и в моей дальней молодости, в счастливых временах цветения, поэзии, Италии — тут же был символ расставания. Разумеется,

бормотал я какие-то хвалебные слова. Как бы заря разливалась на старческом лице поэта, истомленном, полуушедшем. Все же — последний отклик былого. «Боевой конь вздрогнул от звука трубы».

Но минуты наши, действительно, были считаны. Ничего не поделаешь. Пробыли у него полчаса, обнялись и расцеловались Оба, конечно, понимали, что никогда не увидимся.

Автобус мчал нас через Рим. Знакомые места, «там где был счастлив», видениями промелькнули, и вот уже Quattro Fontane, Via Veneto, где жили некогда в пансионе у стены Аврелиана перед виллой Боргезе — и тот Excelsior, где нетерпеливо ждали уже нас Казанова с Анитой.

На другой день, рано утром, поезд уносил нас обратно, на север.

Месяца через два, летом, в римской жаре, Вячеслав Иванович скончался.

1963

II

БЕРДЯЕВ

Никого нет! Все ушли.
Неизвестный автор

Так давно все это было, а все-таки — было. Петербург начала века, журнал «Вопросы жизни», огромная квартира, где обитал при редакции приятель мой Георгий Чулков — вроде редактора. Жил там и худенький Ремизов, в очках, уже тогда слегка горбившийся, волосы несколько взъерошенные — секретарь редакции. Издатель журнала скромный меценат Жуковский. Главными тузами считались Булгаков (еще не священник) и Бердяев, только что начинавший, но сразу обративший на себя внимание.

Мы с женой, наезжая из Москвы, останавливались у Чулковых (недавно скончалась и Надежда Григорьевна Чулкова, супруга его — Царство небесное!).

Георгий тогда кипел, действовал, проповедовал вместе с Вячеславом Ивановым свой мистический анархизм (позже пришел просто к христианству).

Вот в этих «Вопросах жизни», где и сам я сотрудничал, встретились мы впервые с Бердяевым и его женой Лидией Юдифовной. Было это в 1906 году, в памяти удержалось первое впечатление: большая комната, вроде гостиной, в кресле сидит красивый человек с темными кудрями, горячо разглагольствует и по временам (нервный тик) широко раскрывает рот, высовывая язык. Никогда ни у кого больше не видал я такого. Очень необычно и, быть может, похоже даже на некую дантовскую казнь, но — странное дело — меня не смущал нисколько этот удивительный и равномерно-вечный жест. Позже я так привык, что и не замечал вовсе. (Не знаю, как относился к этому сам Николай Александрович: может быть, считал знаком некой кары.)

Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южа-

нин — это не наш орловский или калужский человек. (И в речи юг: проблэма, сэрдце, станьция.) В общем, облик выдающийся. Бурный и вечно кипящий. В молодости я немало его читал, и в развитии моем внутреннем он роль сыграл — христианский философ линии Владимира Соловьева, но другого темперамента, уж очень нервен и в какой-то мере деспотичен (хотя стоял за свободу). Странным образом, деспотизм сквозил в самой фразе писания его. Фразы — заявления, почти предписания. Повторяю, имел он на меня влияние как философ. Как *писатель* никогда близок не был. Слишком для меня барабан. Все повелительно и однообразно. И никакого словесного своеобразия. Таких писателей легко переводить, они выходят хорошо на иностранных языках.

В нем была и французская кровь — кажется, довольно отдаленных предков. А отец его был барин южнорусских краев, от него, думаю, Николай Александрович наследовал вспыльчивость: помню, рассказывали, что отец этот вскипел раз на какого-то монаха, погнался за ним и чуть не прибил палкой. (Монахов-то и Н. А. не любил. Но не бил. И к детям был равнодушен.)

* * *

Лента развертывается. И вот Бердяевы уже в Москве. В нашей Москве и оседают. Даже оказываются близкими нашими соседями. Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен — все это недалеко от Арбата, места Москвы дворянско-литературно-художественной.

Теперь Бердяевы занимают нижний этаж дома герценовского, Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахивая темными кудрями, картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и простодушный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице).

Иногда заходит к нам Лидия Юдифовна — редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Полная противоположность мужу: он православный, может быть, с некоторыми своими «уклонами», она ортодоксальнейшая католичка. Облик особенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого не похожий. Католический фанатизм! Мало подходит для русской женщины (хотя примеры бывали: кн. Зинаида Волконская).

Однажды, спускаясь с нами с крыльца, вдруг остановилась,

посмотрела на мою жену своими прекрасными, прозрачно-зеленоватыми глазами сфинкса и сказала:

— *Я* за догмат непорочного зачатия на смерть пойду!

Какие мы с женой богословы? Мы и не задевали никого, и никто этого догмата не обижал, но у нее был действительно такой вид, будто вблизи разведен уже костер для сожжения верящих в непорочное зачатие.

Николай Александрович мог приходить в ярость, мог хохотать, но этого тайного, тихого фанатизма в нем не было.

Много позже, уже в начале революции, запомнилась мне сценка в его же квартире, там же. Было довольно много народу, довольно пестрого. Затесался и большевик один, Аксенов. Что-то говорили, спорили, Д. Кузьмин-Караваев и жена моя коршунами налетали на этого Аксенова, он стал отступать к выходу, но спор продолжался и в прихожей. Ругали они его ужасно. Николай Александрович стоял в дверях и весело улыбался. Когда Аксенов ухватил свою фуражку и поскорей стал удирать, Бердяев захохотал совсем радостно.

— Ты с ума сошла,— шептал я жене,— ведь он донести может. Подводишь Николая Александровича...

Но тогда можно еще было выкидывать такие штуки. Сами большевики иной раз как бы стеснялись. (У нас был знакомый большевик Вуль, мы тоже его ругали как хотели. Он терпел, даже как бы извинялся. Потом свои же его и расстреляли.)

* * *

И вот в полном ходу революция. Тут мы с Бердяевым гораздо чаще встречались — и в правлении Союза писателей (не коммунистического), и в Книжной лавке писателей — это была маленькая кооперация, независимая от правительства.

Мы стояли за прилавками, торговали книгами. Осоргин, проф. Дживелегов, Бердяев, я, Грифцов.

Дело шло хорошо. Мы скупали книги у одних, продавали другим. Осоргин, Грифцов занимались коммерческой частью. Мы с Бердяевым были «так себе», в сущности, малонужные, во всяком случае не деловые. Покорно доставали с полок книги, редко знали цену, спрашивали Палладу, красивую нашу кассиршу, она была вроде «Хозяйки гостиницы», все знала и все умела. (Жива ли сейчас эта Елена Александровна или скончала дни свои в каком-нибудь концлагере, а то и просто в Москве? Если да, то мир тени ее!)

Мы жили дружно, по-товарищески. Но вот в этой самой Лавке довелось мне видеть раз огненность Бердяева.

Кроме нижнего помещения, была у нас и наверху комнатка и даже нечто вроде галерейки с книгами, напоминавшей хоры в залах старых домов.

Раз рылся я там в чем-то, искал книгу, что ли, вдруг снизу раздался громовой вопль Бердяева. Что такое? Перегнулся через решетку, вижу — Николай Александрович, багровый, кричит неистово на Дживелегова, а тот пятится, что-то бормочет смущенно... Проснулась кровь отцовская. Никаким монахом Дживелегов не был, ненавидеть его совсем не за что, но Бердяеву только недоставало костыля, чтобы получилось «action directe»[1].

Оказалось, «Карпыч» сказал что-то игриво-обидное, но пустяки, конечно. Бердяев же взбеленился. Дживелегов поднялся ко мне на вышку несколько бледный.

— Ну и характерец...

А через четверть часа взошел и Бердяев, уже успокоившийся, смущенный.

— Простите меня, Алексей Карпович, я виноват перед вами...

Это в его духе. Натура прямая и благородная, иногда меры не знающая.

Он перед этим написал книгу «Философия неравенства», против коммунизма и уравниловки, в защиту свободы, вольного человека (но никак не в защиту золотого тельца и угнетения человека человеком). Она печаталась частью в «Народоправстве», журнале Чулкова в Москве, в самом начале революции, когда такие вещи еще проходили. Книга-памфлет, написана с такою яростью и темпераментом, которые одушевляли, даже поднимали дарование литературное: уж очень все собственной кровью написано. Замечательная книга (позже он почему-то ее стеснялся... Думаю, в позднейшей его европейской славе она не участвовала, для европейского среднелевого интеллигента слишком бешеная).

* * *

Революция шла, и мы куда-то шли. Разносил ветер кучку писателей российских по лицу Европы. Бердяев попал в группу высланных за границу в 22-м году, я с семьей по болезни был выпущен в Берлин, и вот снова мы встретились, под иным уже небом. Не только что встретились, а целое лето 23-го года прожили в одном доме, в Прерове близ Штральзунда (на Балтийском море). В одном этаже С. Л. Франк с семьей, в другом Бердяев с Лидией Юдифовной, в нижнем я с женой и дочерью. Так что над головами у нас гнездились звезды фило-

---

[1] Прямое действие *(фр)*.

софии. С этими звездами жили мы вполне мирно и дружески. С Николаем Александровичем ходили иногда в курзал, я пил пиво, а Бердяев с моей женой разглядывали танцующих немцев, немок, хохотали, веселились — не помню уж из-за чего. (Странная вещь. Бердяев вспоминается очень часто веселым!)

Наверху сочинялись философии, внизу я готовил чтение о русской литературе (да и наверху, наверно, готовились: всех нас пригласил в Рим читать в Istituto per Europa Orientale проф. Этторе Ло Гатто — каждого по специальности).

Той осенью оказался в Риме как бы съезд русских: Вышеславцев, Осоргин, Муратов, Чупров (младший, сын профессора. Тоже экономист), Бердяев, Франк, я — каждый выступал перед публикой римской по своей части. (По-французски и по-итальянски.)

* * *

Италия мелькнула перед нами видением, как всегда, для меня блаженным, но прочно, «навеки» поглотил нас Париж — почти всех тех участников римских бдений. История, страшные волны ее, проносились над нашими головами в Париже. Николай Александрович обосновался в Кламаре, Вышеславцев, Осоргин, я, Муратов — в самом Париже.

Тут видели мы войну, нашествие иноплеменных, поражение сперва одних, потом других, появление советских военных как победителей — все, все как полагается...

Эмиграция же пережила некое смятение, некие увлечения, несбыточные надежды.

С Бердяевым произошло тоже странное: и немолод он был, и революцию вместе с нами пережил, и «Философию неравенства» написал, и свободу, достоинство и самостоятельность человека высочайше ценил...— и вдруг этот седеющий благородный лев вообразил, что вот теперь-то, после победоносной войны, прежние волки обратятся в овечек. Что общего у Бердяева со Сталиным? А однако в Союзе советских патриотов он под портретом Сталина читал, в советской парижской газете печатался, эмигрантам брать советские паспорта советовал, вел разные переговоры с Богомоловым — кажется, считался у «них» почти своим.

В Россию, однако, не поехал. Но в доме у него в Кламаре гнездилось чуть не все просоветское тогдашнего Парижа.

Да, это были не времена Лавки писателей в Москве и «одиночества и свободы». Одиночество было у тех, кто не ездил по советским посольствам, но и свобода осталась за ними.

Ты царь Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Мы с женой не бывали больше у Бердяевых. (Любопытно, что и Лидия Юдифовна никак не уступила: к коммунизму осталась непримиримой. И вот если бы попала в тогдашнюю Россию, вполне могла бы принять венец мученический за непорочное зачатие. Слава Богу, не поехала.)

Здоровье Николая Александровича сдало — последствия давнего диабета.

Наша последняя встреча была грустной. Мы с женой шли по улице Кламара — навстречу похудевший, несколько сгорбленный и совсем не картинно-бурный Бердяев. Увидел нас, как-то прояснел, нечто давнее, от хороших времен Сивцева Вражка, Прерова, появилось в улыбке. Подошел, будто как прежде.

Нет, прежнего не воротишь! Жена холодно, отдаленно подала ему руку — да, это не Москва, не взморье немецкое с пляшущими немцами.

Он понял. Сразу потух... Разговора не вышло никакого. Поздоровались на улице малознакомые люди, побрели каждый в свою сторону. Может быть, тик сильней дергал его губы. Может быть, и еще больше он сгорбился. Может быть, мы могли быть мягче с ним. (Но так кажется издалека! *Тогда* слишком все было остро. Он слишком был с «победителями». Тогда трудно было быть равнодушным.)

* * *

В Россию он не попал. Книги его там под полным запретом Я думаю! Очень он им подходящ!

1962

АРХИМАНДРИТ КИПРИАН

— Вас хотел бы видеть один монах.

Я спустился в приемную отеля, где мы остановились — русские писатели эмиграции, собравшиеся в Белград осенью 1928 года на литературный съезд.

Мне навстречу поднялся высокий, тонкий, с прекрасными большими глазами, изящными руками молодой монах. В руке у него была книжка.

— Киприан Керн,— назвал он себя.— Извините, что потревожил, но хотелось повидать вас, по маленькому делу.

Он очень мне сразу понравился. Красотой и изяществом, особой утонченностью облика и манер. Длинными пальцами подал книжку свою «Крины молитвенные», с надписью мне, подписью: «Архимандрит Киприан». Это был сборник его статей по литургическому богословию.

Очень молод, но уже архимандрит. Мы разговорились. Сразу выяснилось — не только архимандрит, но и любитель литературы и вообще искусства. Все это вполне вяжется с обликом его, прекрасными глазами, длинными изящными пальцами. Явно было из разговора, что ему хочется в Париж, в Богословский институт, к источнику русского богословствования (тогда жив был еще о. Сергий Булгаков).

Эта первая встреча была краткой, потом жизнь свела ближе. Митрополит Евлогий вызвал его в Париж, и он стал настоятелем церкви на рю Лурмель, ездил в Сергиево подворье читать лекции.

На рю Лурмель мы встречались и в церкви, и у матери Марии. Я познакомил его со своей женой, он стал бывать у нас. Скоро сделался нашим духовником и близким, дорогим человеком.

Он тогда полон был сил, склонный и к глубокой меланхолии, и к высокому подъему.

Помню одну Пасхальную заутреню на рю Лурмель. О. Кип-

риан служил в каком-то светлом экстазе. Он и вообще легко ходил, но тут высокая и тонкая его фигура в ослепительно белой ризе, при золоте света, просто носилась по церкви, почти невесомо. Глаза сияли. Он излучал восторг. Это запомнилось как некое видение иного, просветленного мира.

После заутрени Литургия кончилась в половине четвертого. Такой пасхальной ночи мы не переживали никогда — домой вернулись на рассвете, усталости не было: легкость, радость.

* * *

Сложная и глубокая натура. Характер трудный, противоречивый, с неожиданными вспышками. Колебания от высокого подъема к меланхолии и тоске, непримиримость, иногда нетерпимость. Острое чувство красоты и отвращения к серединке. Мистик, одиночка, облик артистический, некое безошибочное благородство вкусов. Особо ценил одиноких и непонятых, недооцененных. Константин Леонтьев, Леон Блуа были его любимцы.

И наука, книги! Он довольно скоро переселился от матери Марии (полная противоположность ему) в Сергиево подворье. Читал там лекции по патрологии, обрастал книгами. В комнате его всегда пахло ладаном, висели портреты Александра I, митрополита Филарета, Константина Леонтьева. Старинный образ, лампадки, стены все в книжных полках, в окнах зелень каштанов. Впечатление келии ученого монаха. В соседней крошечной кухоньке варил он для гостей турецкий кофе, крепчайший.

Приход получил в Кламаре, чуть не в двенадцати верстах от Сергиева. Но ничто не могло остановить его, когда надо было служить Литургию, исповедовать, причащать. Маленькая кламарская церковь, пахнущая ладаном и сухим деревом, простая, но столь изящная и намоленная, в зелени владения Трубецких...— вот где свил о. Киприан свое гнездо. Здесь его любили, чтили, здесь, я думаю, чувствовал он себя именно *дома,* и для Кламара рук не покладал. На Сергиевом подворье читал лекции, писал ученые сочинения (огромный труд «Антропология св. Григория Паламы», давшая ему голубой крест доктора богословия, «Евхаристия» и др.) — а в Кламаре служил, исповедовал, причащал.

Германское пленение мы проводили оба в Париже. Не забыть одного вечера летом 44-го года — после всенощной нельзя было уже вернуться из Кламара домой. Мы остались ночевать в доме рядом у О. А. Глебовой, тоже друга о. Киприана. К Парижу подходили союзники. Немцы безнадежно отбивались. Электричества не было, мы сидели в темной столовой Ольги

Александровны, издали слышались иногда взрывы и канонада, зарева таинственным, дрожащим светом полуосвещали нас. О. Киприан в особенном подъеме. В нервной этой полумгле прочел нам целую лекцию о св. Григории Паламе. В такой обстановке не впервые ли приходилось ему читать, а нам слушать? Да и воспринимать (под бомбардировку окрестностей). Но воспринимали. И как!

Летом 44-го года в Париже вовсе не было метро. Но не такой человек был о. Киприан, чтобы его остановило это. Из Сергиева подворья пешком шествовал он в Кламар. Мы тогда временно жили на рю Сен-Ламбер, в 15-м округе Парижа. У нас путник делал в субботу привал, жена моя подкармливала его, и он шел дальше, вечером служил всенощную в Кламаре, ночевал, утром Литургия — и тем же путем обратно.

Незабываема осталась одна суббота. Моего зятя немцы собирались взять в Германию на работу. Делались попытки отклонить это — неудачно.

Сирены гудели, как хотели. Все же дочь наша пришла вовремя. «Папа, плохие вести. Завтра Троица, ответа нет, во вторник уже ехать». Она легла на постель, на спину. Крепилась, но в лице что-то вздрагивало. «Мне будет ужасно скучно одной. Не забывайте меня». Мать целует ее, я тоже.

О. Киприан появился скоро. Я сказал ему, что хотелось бы отслужить молебен.

Стук в дверь. Усталый Андрей, но веселый. «Хорошие вести». До часа он сидел на службе — в последнюю минуту известие: немцы отменили решение. Мать обнимает Наташу. «Помнишь, мы начали хлопотать в канун дня Николая Чудотворца? Он всегда мне помогал».

Архимандрит тоже взволнован. Сквозь слезы слушаем мы молебен. Да, все пятеро объединены в волнении и любви. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Архимандрит стоял с крестом высокий, худой, несколько сутулясь. Крепко и пламенно сказал, обращаясь к Андрею: «Все будет хорошо. Все как надо. Полагайтесь на Бога. Чудеса Его не в том, что вот пред вами столп какой-нибудь огненный возникает, а в том, что Промысел так все устраивает, как надо для вашего же добра».

Завтракали весело и легко. Опять сирены, снова стрельба. Но радость не подавляется — тут уж могу сказать: радость нашей братской трапезы. Да, оттенок агапы, трапезы любви был во «вкушении» салата, макарон, вина, кофе настоящего, который сберегла жена к этому дню. А потом о. Киприан рассказывал

о своих ученических годах, просто веселое и смешное. Наташа заливалась смехом детским.

* * *

В небольшом дружеском кругу мы называли о. Киприана просто «авва». Разумеется, авва этот был очень переменчив, от подъема переходил к сумраку и меланхолии. Тогда умолкал, и добиться от него чего-нибудь было трудно.

Два военных лета мы проводили с ним вместе в имении покойного проф. Ельяшевича в Bussy en-Othe (Yonne), в отличном двухэтажном доме с фруктовым садом, почти на опушке огромного леса. (В память покойной жены своей Фаины Осиповны В. Б. Ельяшевич подарил потом этот дом и все владение русским монахиням. Теперь в комнатах, где жили летом о. Киприан, мы с женой, Мочульский, Л. Львов, Таганцев, Киселевский,— православный монастырь. Василия Борисовича тоже нет уже среди нас — а память о нем осталась.)

В этом Бюсси мы жили привольной и спокойной жизнью. За комнатой о. Киприана была маленькая часовня, там он служил как в церкви, я ему немножко прислуживал, для меня службы эти тоже незабываемы — все небольшое население дома присутствовало.

Потом авва засаживался за свои книги, я за свои, в промежутках гуляли в лесу, собирали грибы (кто больше?) — о. Киприан был большой знаток и грибов, и всяких растений, цветов, деревьев, птиц.

Рассказчик был замечательный, отлично изображал разных лиц, от простецких до архиереев. В нем вообще сидел артист, художник. Он вполне мог бы играть в театре у Станиславского. В церкви служение его было высокохудожественное — если позволительно так сказать о священнодействии. Прекрасный голос, музыкальность, вкус. (Терпеть не мог, когда протодиакон выкликал Евангелие так, чтобы стекла дрожали. «Замоскворецкий стиль, для людей Островского».)

В Бюсси он чувствовал себя среди друзей, был прост, ласков и откровенен. Иногда мы мальчишески забавлялись: ходили по огромному коридору «драконами», (авва подымал полы рясы своей, сгибал длинные ноги приседая), дразнили пса Дика, подсматривали, что будет в столовой к завтраку («какой пейзаж»).

Потом на него вдруг нападала тоска. Он укладывается, собирается.

— Что такое? Куда вы, о. Киприан?

У него измученное, беспокойное лицо. Прекрасные глаза несчастны, будто случилась беда.

— Не могу больше. Нет, должен ехать в Париж.

Удержать его невозможно. Что-то владело им, гнало к перемене места, и, хотя ему вовсе не нужно было в Париж, он неукоснительно уезжал. А потом мог так же нежданно приехать.

Кажется, это признак болезненной нервности. Гоголь в последние свои годы так же подвержен был передвижениям.

* * *

Нечто от православного бенедиктинца было в покойном авве. В мирные времена, да даже во время войны мы немало бродили с ним по парижским Quais с вековыми платанами, с вековой Сеной и Нотр-Дам на том берегу. Ларьки букинистов...— это был наш мир — мирный и тихий мир. У него были тут даже знакомства; нашелся какой-то поклонник Леона Блуа и среди торговцев. Мы рассматривали старые книги, я по части Данте, Италии, он — Леона Блуа, истории, богословия. Эти блуждания, разговоры и рассказы об Италии, Сербии, Иерусалиме, где два года был он начальником Православной миссии (как умел он рассказать о монахах, митрополитах, арабах, сербах...) — беседы эти тоже незабываемы, как и сам облик православно-восточно-русский самого архимандрита, ни на кого не похожего.

Думаю, что в церковном делании главное для него было — богослужение. Если бы его лишили служения Литургии, он сразу зачах бы. Литургия всегда поддерживала его, воодушевляла: главный для него проводник в высший мир — насчет нашего, births-трехмерного, у него взгляд был невеселый. «Председатель общества пессимистов», в шутку называл он себя. Но не вполне это была шутка. Он, действительно, нелегко переносил внешнюю жизнь — тут, вероятно, эстетизм и уединенное своеобразие играли роль.

Как исповедник он был очень милостив. Грешнику всегда сочувствовал, всегда был на его стороне. На исповеди говорил сам довольно много, всегда глубоко и с добротой. Иногда глаза его вдруг как бы расширялись, светились. Огромное очарование сияло в них: знак сильного и светлого душевного переживания. (А когда раздражался, в жизни повседневной — нередко от зрелища пошлости — эти же глаза становились холодными и мрачными.) «Не из легких он был, но цельный и настоящий» — так выразился о нем недавно один из близких ему. И еще добавил: «Вижу теперь, что больше его любил, чем догадывался сам»,— привожу слова эти, считая их правильными и меткими.

Может быть, и ошибаюсь, но думаю, что обычное служение его в храме было скорее прохладно-музыкально, чем эмоционально (или эмоция была глубоко спрятана). Только на одной службе — выносе Плащаницы — силу чувства он не мог или не хотел скрыть.

Мне годами выпадала радость присутствовать при выносе Плащаницы в Страстную Пятницу в Кламаре, стоять в алтаре рядом с другими участниками выноса, видеть вблизи о. Киприана молящимся, благоговейно обтирающим Плащаницу, легко и ритмически падающим перед ней ниц, поднимающим ее на свою голову. А мы четверо, поддерживая ее углы, осторожно выходили боковой дверью в церковь. Вся она сияла свечами, все стояли с этими свечами на коленях, взрослые и мелкая поросль детей, по всей церкви шел ток света и сдерживаемых слез.

И тут шествие о. Киприана, согбенного под нетяжкою ношей, в глубоком волнении, чуть ли не с «кровавым потом» на висках — все это чувствовалось как некое таинственное шествие голгофское.

* * *

Думал ли я тогда, в Бюсси, кое-как читая в часовенке Шестопсалмие, что через семнадцать лет в Сергиевом подворье, в комнате нашего дорогого аввы, доведется мне читать над его телом Евангелие? (Над скончавшимся священником Евангелие читают священники. Но вот тут вышла нехватка, читали и студенты, и я.)

Столь знакомые полки с книгами (стен почти нет, все книги) и длинный смертный одр по диагонали, головой к иконам и лампадке, к нам ногами. Изможденный, в торжественной мантии прах нашего друга. Лицо завешено воздухом с вышитыми греческими надписями, у правой стороны груди Евангелие, руки сложены симметрично. Нечто торжественно древнее, монастырское и сколь благородное. В его духе.

Читали над ним непрерывно. Последним читал я, и последнее, что прочел, была любимая его притча о блудном сыне. Он о всех нас и о себе самом всегда говорил, что это — про нас. Притчу эту выделял особой любовью из всего Евангелия.

Когда я кончил ее, пришел священник, началась служба при положении во гроб.

1960

III

АЛЕКСАНДР БЕНУА

Близким по жизненной связанности Бенуа мне никогда не был, но фигура его явилась в ранние мои годы и, то приближаясь, то удаляясь, сопутствовала более полувека. Так что, говоря о нем, невольно говоришь нечто и о своей жизни.

В начале века в Петербурге основалось издательство «Шиповник» — З. И. Гржебин, С. Ю. Копельман. Молодые авторы импрессионистическо-модерного рода участвовали в нем и художники «Мира искусства». Выходили в «Шиповнике» и мои книжки. По этим же литературным делам ездили мы с женой иногда в Петербург, перезнакомились с шиповниками, бывали на собраниях издательства, сразу попали в новый, высококультурный мир. Из писателей бывали на собраниях этих Леонид Андреев, Блок, Сологуб, Кузмин, Сергеев-Ценский и др. Художники — Бенуа, Добужинский, Лансере, Сомов, Кустодиев и тоже еще другие разные.

Бенуа был тогда в цвете сил и энергии, нестарый, лет под сорок, но уже вождь всех этих художников, уже чувствовался в нем вес и авторитет познаний, дарований, но ничего навязываемого. Просто любезный и приветливый человек, покорявший не напором или силой, а высотой культуры и одаренности. Многие из художников этих сотрудничали в альманахах «Шиповника», там же печатались воспроизведения рисунков Бенуа. Добужинский, Чемберс украшали обложки книг и т. п.

Первое знакомство с Бенуа было очень беглое и поверхностное, все же проходит оно некоей приятной чертой — чего-то легкого, культурного, может быть, и воспитательного: мы с женой были вроде студентов перед этим изощренным, многознающим Александром Бенуа.

Чувство ученичества еще усилилось, когда попали мы в Париж, впервые в мировой центр, после милой, домашней Москвы (тогдашний Париж отличался от теперешнего, пожалуй, больше, чем тогдашняя Москва от тогдашнего Парижа). И вот,

среди этих фиакров с красноносыми кучерами, омнибусов лошадиных, среди толпы парижской, мы робели и нуждались в покровительстве. В самом Париже нас устраивала и опекала покойная Екатерина Алексеевна Бальмонт, наш добрый гений, поместивший нас в Латинском квартале, опекавший по делам покупок, всяких мелочей. В это же время находился в Париже и Александр Николаевич Бенуа с семьей. Жили они тоже неподалеку. Однажды в Люксембургском саду две девочки играли в бильбокэ, подбрасывали нечто вроде катушки вверх, ловили на веревочку горизонтальную с двумя ручками и вновь подбрасывали.

— Это девочки Бенуа, Атя и Леля,— сказала Екатерина Алексеевна.

Да, это были «девочки Бенуа», и тогда были они совсем маленькие.

В Париже Екатерина Алексеевна свела нас ближе с Александром Николаевичем, наладила поездку в Версаль. Тут нам просто повезло. Ехать в Версаль с *таким* проводником!

Мы отправились все, под водительством Бенуа: Е. А. Бальмонт, Протопопов (старомоднейший и тишайший русский барин, их приятель), и мы с женой.

Передвижения тогдашние очень отличались от теперешних. Сколько было в Париже автомобилей? Не знаю. Я их почти не видел. Ездили мы с левого берега на правый на омнибусе двухэтажном, времен, быть может, Наполеона III. Круговое метро до «Этуаль» еще не доходило. Протопопов соглашался ездить от Pasteur по эстакаде, над землей, но в землю ни за что не хотел спускаться. В Версаль вся наша компания, под водительством Александра Николаевича, совершала путь в допотопных двухэтажных вагончиках — их тащил измученный маленький локомотив, задыхаясь от клубов черного дыма из конической трубы.

Но Версаль был Версалем. Тут Бенуа оказался как дома, все знал, все объяснял, мы почтительно слушали. И особенно чувствовали себя учениками, детьми дальней Московии. Для Бенуа все эти дворцы, зеркальные галереи, Трианоны были вполне свое (думаю, он вообще к Франции и Западу был ближе, чем к России. Вижу его в Версале, не вижу среди русских полей и лугов).

Для нас все это было весьма замечательно, но суховато, внутренне холодновато. Версаль Версалем, но по-настоящему сердца наши раскрылись несколько позже, в блаженной майской Флоренции.

В этом Версале провели мы с Бенуа чуть не целый день, светлый и веселый, видением молодости, артистизма остался он

в душе. Завтракали там же, что-то скромное, чуть ли не в crémerie[1]. Помню удивительные цветущие глицинии, нежного голубовато-лилового оттенка, где-то у Трианона. Помню оживленное, почти восторженное лицо Александра Николаевича, показывавшего нам Версаль как свое имение, где он знает и любит каждый закоулок, каждый гвоздь.

Через несколько дней он уехал с Протопоповым в Испанию, а мы с женой во Флоренцию.

* * *

Годы шли. «Шиповник» расцветал. Кроме альманахов, беллетристики, задумали они издание фундаментальное: «Историю живописи всех времен и народов» Александра Бенуа. Охват огромный — с древнейших эпох до нас. Выходило отдельными тетрадями, на отличной бумаге, со множеством воспроизведений.

Мне присылали эти тетради, из них слагались томы. Ученичество мое продолжалось, и, как тогда, в Париже и Версале, проводником, наставником оказался Александр Бенуа. Но теперь вел не по Версалю, а по всему миру. Удивительны мне казались познания этого человека. И древность восточная, и Греция, и итальянский Ренессанс, и фламандцы, и французский XVIII век. Притом — как это рассказано, до чего живо и своеобразно! «Вот я это вижу и рассказываю так, как вижу и чувствую, именно я, Александр Бенуа, и вы можете соглашаться со мной или не соглашаться, но так я вижу и так пишу, как мне нравится».

Я зачитывался этой «Историей живописи». Она, к сожалению, не была доведена до конца: подошла война, революция. Тут уже не до живописи.

Предвоенные мои годы связаны с Бенуа больше всего через эту «Историю». Она хранилась у меня в деревне, в том флигеле Притыкина, где была моя библиотека, рукописи, письма — от всего этого не осталось ныне и следа. Самого флигеля не существует — просто ровное место. «Возвратясь в свою комнату, взглянув на дорогие портреты, книги, с усмешкой скажешь, что, быть может, через тридцать лет твоим Пушкиным будут подтапливать печь, а страницы Данте и Соловьева уйдут на кручение цигарок»,— так писал я обо всем этом еще в России, еще когда флигель существовал. Так все и вышло, только можно прибавить еще «Историю живописи» Бенуа. Тоже она погибла.

Перед войной Художественный театр задумал ставить «Хо-

[1] молочная *(фр)*.

зяйку гостиницы» Гольдони. Декорации писал Бенуа. Мы жили ту зиму в Благовещенском переулке близ Тверской. Из деревни мать прислала нам замечательную индюшку. Мы решили угостить ею Бенуа, с которым мельком я встречался в Москве.

Бенуа приехал к завтраку, как всегда, оживленный, много рассказывал о Художественном театре. Мы сами были поклонниками Художественного театра. (Даже в обстановке столовой было отражение его: дубовый квадратный стол, у стены за ним дубовая же скамья, над ней полоса серого холста — только чайки на нем недоставало). Бенуа на этой скамье и сидел, а мы говорили о Гольдони, который всегда мне нравился.

— А выходит у них диалог гольдониевский? Ведь это быстрота такая, легкость, улыбка...

— Да приходите на генеральную репетицию, сами и посмотрите. А это кто писал? — спросил он, указывая на огромный картон, во всю противоположную стену, где углем и гуашью, разноцветно, изображена была в виде танцовщицы полулежащей, в маскарадном костюме и маске, моя жена.

— Это приятель наш, Александр Койранский.

— Очень недурно.

Завтрак прошел весело, Бенуа одобрил и живопись Саши Койранского, и индюшку,— Притыкино за себя постояло. Получили мы и приглашение на генеральную «Хозяйки гостиницы».

* * *

Когда раздвинулся занавес, сразу оказались мы во Флоренции. Милые сердцу черепичные крыши, развешанное на дворе белье по веревке, вдали бессмертная башенка Палаццо Веккио, свет, разлитый повсюду, голубоватые дали. Пьеса еще не начиналась, а вся зала аплодировала — приветствовали прекрасного художника и прекрасный город.

Но сама пьеса тоже имела успех. Конечно, гольдониевского диалога, легкости венецианской, и даже детскости писателя этого, серьезный, основанный на «переживаниях» и психологии Художественный театр дать не мог. Получилась русская версия «Locandier'ы», несколько отяжеленная (да и сам язык русский не приспособлен к гольдониевскому щебетанию).

Все же вышло очень хорошо. Сама «Хозяйка» — Гзовская, больше всех отвечала Гольдони,— в ее гибкости, легкости и быстроте было как раз созвучие. Из других запомнился Станиславский — кавалер Рипафратта. Он был уморителен. Никак не итальянец, но непрерывно вызывал благодушную усмешку, очень был смешон по-хорошему. Говорили, чуть не год учился и

изобретал, как сесть на стул,— особенно как-то заносил ногу через спинку, садился верхом. Прелестно.

Бенуа прошел через все акты с отличным успехом.

* * *

Тут наступает перерыв, все наши горести, трагедии войн, революций, многолетних землетрясений. А после землетрясений этих оказались мы снова в том Париже, из которого ездили некогда в Версаль. Бенуа на левом берегу Сены, я на правом. Теперь не было Художественного театра, Притыкина, Благовещенского переулка, и годы подводили ближе, ближе к неизбежному. Но Александр Николаевич так и остался художником-писателем, только декорации создавал не для Художественного театра, а для Миланской Scala, для Парижа, Лондона, Вены. Писал же теперь не историю живописи, а воспоминания — о Петербурге, своем детстве, о родных. Два первых тома вышли в Чеховском издательстве в Нью-Йорке.

Иногда заходили мы с женой в его квартиру-ателье — огромная комната с книгами, увражами, картинами, много света, здесь более официальный прием. А по узенькой лесенке подымешься выше, там небольшие комнатки, столовая, рядом рабочая комната Александра Николаевича. Постаревший, не такой, как в Версале, но живой, всем интересующийся, в небольшой ермолочке, он приветливо, с оттенком барственности встречает за чайным столом гостя, сидя в кресле своем.

Прежде Анна Карловна, супруга его, разливала чай, угощала пришедшего. Но уж несколько лет, как она скончалась, ее место занято Анной Александровной, той «Атей», что играла некогда в Люксембургском саду. Стиль Анны Карловны сохранен — скромность, простота, благожелательность. Да, тут мирный воздух художества и той высокой культуры, к которой принадлежал и принадлежит Александр Бенуа. Ушли все его сотоварищи по «Миру искусства», он один доживал свой век. Но век этот выдающийся. Ушли Лансере, Добужинский, Сомов — теперь новое племя из далекой петербургской земли шлет приветы, почтительные письма патриарху. А сам он тоже душою в Петербурге, показывает альбом свой, рисунки, теперь делаемые здесь в Париже,— опять петербургская старина.

* * *

Часто вспоминался Бенуа в эти эмигрантские годы, особенно в последнее время — хотелось, чтобы дожил он до недалеких

уже девяноста лет. Смысла никакого, но почему-то хотелось. Все-таки не дотянул. Двух с половиною месяцев не хватило. В феврале мы, почтительная толпа друзей и почитателей, провожали гроб его с rue Vitu в католический храм св. Христофора, очень от него близкий. Торжественный орга́н встречал и провожал его.

Один из друзей покойного сказал на похоронах:

— Что же, все мы любили и почитали Александра Николаевича. Но ведь и солнце заходит вечером, когда час его наступает.

Что-то естественно-закатное было действительно в кончине Бенуа. Прошла высокая и деятельная жизнь — в творчестве, писании, искусстве — и дошло все до положенного предела.

Русский замечательный поэт золотого века сказал об умершем германском знаменитом поэте:

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом.
. . . .
Был многих краше, многих долголетней
И сам собою пал, как из венка.

1960

П. П. МУРАТОВ

Давно, вероятно еще в Москве, он говорил мне:

— Мой отец умер шестидесяти девяти лет. Я его не переживу. Исполнится шестьдесят девять, и довольно...

Ему и исполнилось — в марте этого года. А в октябре он скончался, в имении друзей, в Ирландии.

* * *

Мы познакомились в 1903 году, он только что кончил Путейский институт в Петербурге, не отбывал ли в Москве воинской повинности? Жил, во всяком случае, у Никитских ворот в доме брата, офицера генерального штаба Муратова — вместе с тем самым отцом, тихим стареньким военным врачом чеховской формации, переживать которого не собирался. (Когда вспоминаю этого отца, его худенькую скромную фигурку в военной тужурке — он бесшумно читает «Русские ведомости» и бесшумно живет — то вот она, фраза няньки из «Дяди Вани»: «Все мы у Бога приживалы».)

Но Павел Павлович (мы тогда звали его дружески «Патя» — так до старости и осталось) — он тогда еще был юн, с мягкими рыжеватыми усиками, боковым пробором на голове, карими, очень умными глазами. Держался скромно. Иногда несколько застенчиво ухмылялся... «Да, Боря, гм...» Ходил уже тогда по-литераторски, а не по-военному,— левое плечо свисало, и вообще по всему облику мало походил на «фронтовика». Нечто весьма располагающее и своеобразно-милое сразу в нем чувствовалось.

При такой тихой внешности обладал способностью постоянно увлекаться — в чем, собственно, и прошла вся его жизнь. При его одаренности это давало иногда плоды замечательные.

Первое из известных мне увлечений Муратова было военное дело, вернее сказать, стратегия, фантазии о движении войсковых

масс, флотов и т. п. В 1904 году писал он вместе с братом в московских газетах: он о морской войне, брат о сухопутной (тогда воевали в Японии). Оба были оптимистами...— и на бумаге выходило много лучше, чем в действительности. Но читалось с интересом: вроде военного «магического рассказа».

После войны, кончившейся не так, как предполагали стратеги, Павел Павлович уехал в Париж, там занялся современной французской живописью. Помню весну 1906 года, московский журнальчик «Зори» — Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Италией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же вскоре и он попал в Италию и, так же как мы, навсегда *попался*. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу — в высокой и благородной форме.

* * *

Три тома «Образов Италии» посвящены мне: «в воспоминание о счастливых днях». В этом сходились мы вполне: для обоих лучшие дни были — Италия, а его слова относятся к 1908 году, когда вместе жили мы и во Флоренции, и в Риме.

Во Флоренции в том самом «Albergo Nuovo Corona d'Italia», который открыли мы с женой еще в 1904 году. (Существует и сейчас, и даже очень процвел.) Оттуда вместе ходили смотреть «Vedova allegra» в Politeama Nazionale, через улицу, за гроши видели знаменитого комика Бенини, вместе помирали со смеху.

Под Римом солнечный ноябрьский день с блаженной тишиной Кампаньи проводили на вилле Адриана, на солнце завтракали, запивая спагетти, сыр прохладным фраскати. (Это вино названо по городку Фраскати.) Рядом стоял осел и мило-бесстыдно ревел от избытка сил. Вдали, за серебристыми оливками, в голубовато-златистом тумане сияли горы. Да, есть чем помянуть... Правда, «счастливые дни» — были они счастливы и в 1911 году опять в Риме (где с Павлом Павловичем и его женой Екатериной Сергеевной — весело мы встречали Новый год). «Образы Италии» и явились плодом этих дней. Их корни в итальянской земле — как все существенное, они рождены любовью. Успех «Образов» был большой, непререкаемый. В русской литературе нет ничего им равного по артистичности переживания Италии, по познаниям и изяществу исполнения. Идут эти книги в тон и с той полосой русского духовного развития, когда культура наша, в некоем недолгом «ренессансе» или «серебряном веке»,

выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала XX.

* * *

Война перевернула его жизнь. Какие уж там Италии! Он тотчас оказался призван, как артиллерийский офицер. Сначала в гаубичную батарею на австрийский фронт, потом в зенитную артиллерию. Брата назначили комендантом Севастополя. «Патя» заведовал воздушной обороной крепости. Не знаю, много ли он сбил немецких аэропланов, да и вообще не была ли тогда воздушная война просто детской забавой.

К революции он вернулся в Москву — эти страшные годы мы виделись часто, и оба старались, уходя в литературу, совсем отдаленную от современности, уходить и от проклятой этой современности.

Читали, выступали в Studio Italjano — нечто вроде самодельной академии гуманитарных знаний.

Вот *наше* Studio Italiano. В Лавке писателей вывешивается плакат «Цикл Рафаэля», «Венеция», «Данте». Председатель этого учреждения Муратов. Члены — Осоргин, Дживелегов, Грифцов, я и др. Читаем в аудитории на углу Мерзляковского и Поварской, там были Высшие женские курсы. В Дантовском цикле у нас и «дантовский пейзаж», и Беатриче, и Дантова символика.

Но не в одном этом был «уход» Муратова — как раз тогда начал он свои опыты в художественной прозе — где-то в Николо-Песковском переулке, недалеко от нашего Кривоарбатского. Урывая время от службы в Охране памятников искусства, написал роман «Эгерия», сборник «Магические рассказы» (есть у него еще книга «Герои и героини»).

«Образы Италии» существеннее и благодарней, сама тема их более привлекает. Их место в литературе нашей неоспоримей. Но роман и рассказы, при некоторой бледности, книжности, слишком заметной связи (в языке особенно) с Западом, едва ли не больше еще раскрывают внутренний его мир: смесь поэта, мечтателя и в фантазии — авантюриста. В жизни он был и практичен, и проникнут внутренно романтизмом. Было в нем и весьма «реальное»; но более глубокий слой натуры — тяготенье к магическому, героическому и необыкновенному — к подвигам, необычайным приключениям, «невозможной» любви. «Эгерия» — это Рим XVIII века, действуют там разные шведы, графы, графини, иллюминаты, художники, есть Венеция и окрестности ее, и если персонажи скорей *названы,* чем написаны, все же некая терпкая и пронзающая местами поэзия сочится из

этой книги. Можно говорить о маниеризме языка, все-таки обаяние есть.

«Магические рассказы» еще бесплотнее, местами совсем фантастичны и в одиночестве своем, в плетении словесных кружев из фантазий особенно сейчас трогательны: кому, для кого ныне *такое?* А между тем, несмотря на всю зависимость от Запада, рождено это своеобразной русской душой.

* * *

Почти в то же время, что и Италией, увлекся он древними русскими иконами. Дело специалистов определить его долю и «вклад» в то движение, которое вывело русскую икону XV века на свет Божий, установило новый взгляд на нее — насколько понимаю, тут есть общее с открытием прерафаэлитов в половине XIX столетия. Во всяком случае знаю, что Павел Павлович сделал здесь очень много (эстетическая оценка иконописи, упущенная прежними археологами).

Иконами занимался он рьяно, разыскивал их вместе с Остроуховым, писал о них, принимал участие в выставках, водил знакомство с иконописцами и реставраторами из старообрядцев (трогательные типы из репертуара Лескова). Помню, водил нас к ним куда-то за Рогожскую заставу в старообрядческую церковь с удивительным древним иконостасом.

Имел отношение и к работам (кажется, Грабаря) по расчистке фресок в московских соборах. Странствовал на север, в разные Кирилло-Белозерские, Ферапонтовы монастыри. Перед началом войны был редактором художественного журнала «София» в Москве — там писал и о Гауденцио Феррари и о древних наших иконах.

* * *

Во время революции, повторяю, мы часто и дружески встречались. И в Союзе писателей, в Studio Italiano, Лавке писателей, заходил он и в огромную нашу комнату с печкой посредине, в Кривоарбатском.

Когда начался нэп и открылась свободная торговля, иногда мы у нас даже веселились.

«Патя» вынимал пять миллионов, моя дочь, потряхивая полудетскими косичками, бежала на Арбат, возвращалась с бутылкою Нюи.

В один теплый августовский вечер 1921 года, когда в особняке на Собачьей Площадке чекисты арестовали весь Комитет По-

мощи Голодающим, членами которого мы оба были, Павел Павлович вдруг (с опозданием) появился около дома.

— Куда, куда ты? — крикнул я ему в окно.— Уходи, тут...

Но он ухмыльнулся («...ну, Боря, что там...»), не замедлил шага. Неторопливо опуская левое плечо по-литераторски, перешагнул заветную черту, отделявшую нас от свободы.

— Чего там... будем вместе.

И первую ночь на Лубянке, в камере «Контора Аванесова», мы провели рядом, на довольно жестких нарах. В третьем часу привели молодого Виппера, книгу которого «Тинторетто» я купил здесь в прошлом году, и тотчас вспомнил ту ночь и как Павел Павлович сонно приподнялся, посмотрел на вошедшего, опять усмехнулся, сказал:

— Ну, вот, вот и еще...

Отодвинувшись слегка, указал ему место с собою рядом.

Те немногие дни, что мы провели в тюрьме (нас скоро выпустили), не были еще особенно скучны. Для развлечения — себя и других — мы читали лекции: Муратов о древних иконах, я что-то по литературе, Виппер по истории.

В 22-м году я едва не умер — от тифа. Как и ближайшие мои, Павел Павлович тяжко переживал это.

Верю, что добрым душевным устремлением близких я и обязан почти чудесным выздоровлением.

* * *

С 22-го года почти все мы, «верхушка из Москвы», оказались за рубежом. Тут пути скрещивались, расходились, опять встречались. Берлин, Рим, Париж. В Риме он и остался. Писал по истории искусства, позже перебрался в Париж, выпустил по-французски «Русские иконы», по-итальянски «Фрате Анджелико», затем книгу о готической скульптуре.

В «Возрождении» писал небольшие, острые, иногда политические, всегда своеобразные, и никакого отношения к Италии не имевшие статьи (например, превосходно написанный «Русский пейзаж»). Впрочем, «несвоеобразного» вообще ничего не мог ни говорить, ни писать. С этим умнейшим человеком, которому ничего не надо было *объяснять,* можно было соглашаться или не соглашаться, но никак не приходилось его упрекать за «середину», «золотую»: он всегда видел вещи с особенной, своей точки. Один из оригинальнейших, интереснейших собеседников, каких доводилось знать.

Дух некоторой авантюры завлек его в Японию, он писал и оттуда. В Токио оказался без средств, едва добрался до Сан-

Франциско, но в Америке сейчас же оправился, стал читать лекции — и вернулся в Париж, точно странник какого-то собственного произведения.

В Париже поселился уединенно и начал огромную новую работу: историю русско-германской войны 1914 года!

Однажды, зайдя к нему, я спросил:

— Ну как, много написал?

— Да-а... порядочно. Я сейчас на две тысячи пятнадцатой странице.

— А всего сколько будет?

— Думаю, тысяч пять. То есть моих, писаных...

Хоть и «писаных», все-таки я подумал: однако!

Но вторая война прервала этот труд. Он переселился в Англию, к которой всегда имел пристрастие. Знал язык, любил литературу ее. Кроме классиков, ценил Уольтера Пэтера, Вернон Ли (книга ее вышла по-русски в переводе Е. С. Муратовой). Считаю, что и к Италии у него был родственный с англичанами подход.

В Лондоне написал — как бы вспоминая юношеские свои опыты — часть истории самоновейшей войны (в сотрудничестве с г. Аллен. Если не ошибаюсь, опять русско-германской ее части) — это уже по-английски.

Годы войны провел в Лондоне. Бомбардировки, под конец летающие V-2 измучили и его сердце, и нервы. К счастью, удалось перебраться в Ирландию, в большое имение друзей, в тишину, сельское уединение.

* * *

Перед первой войной Павел Павлович раскопал удивительного англичанина XVIII века — Бекфорда, написавшего на французском языке полуроман-полусказку «Ватек»: редкостную по красоте и изяществу вещь. «Ватеком» этим меня пленил. Мы с женой перевели текст. Муратов написал вступительную статью, и в конце 1911 года, в Риме у Porta Pinciana я держал уже корректуру «Ватека» — пред глазами моими поднимались стены Аврелиана, за которыми некогда Велизарий защищал Рим.

Павлу Павловичу нравился облик таинственного Бекфорда, автора «Ватека». Нравилось, как уединился он под конец жизни в огромном своем Фонтхилле, приказав обнести все владение высокой стеной, чтобы окончательно отделиться от мира. Там вел жизнь затворническую, отчасти и колдовскую. В «Магических рассказах» появляется у Муратова некий лорд Эльмор, как бы трагический вариант Бекфорда, тоже отделяющий себя стеной от жизни.

Ни на Бекфорда, ни на Эльмора Муратов, конечно, не походил. Все же последние его годы, в большом ирландском имении, в одиночестве, книжном богатстве библиотеки, отшельнической жизни, вызывают воспоминание о его собственном писании, о каком-то недописанном персонаже его литературы.

Нельзя сказать, чтоб и раньше он обращен был душой к людям,— нет, скорее к своим интеллектуальным увлечениям. Хоть и был членом Помгола и даже «пострадал за свои убеждения», но это случайность. Узор его судьбы иной: книги, литература, одинокое творчество — в этом он и преуспевал, как бы разнообразны ни были эти увлечения.

В Ирландии привлекали его две вещи: история — на этот раз он занялся отношениями Англии и России в XVI веке — и садоводство.

Что навело его на эпоху Иоанна Грозного, я не знаю. Но какие-то тропинки неисхоженные он нашел, что-то *свое*, никем не сказанное, конечно, сказал... (это чувствовалось по письмам) — смерть оборвала все. А деревенский дом остался с рукописями его (наклон строк вниз — признак меланхолического склада), с грудою книг по XVI веку.

Садоводство во многом явилось, думаю, из условий жизни (хотя он всегда любил цветы, растения). Это знакомо. Живя в деревне, рядом с большим садом, в одиночестве, охотно занимаешься им, окапываешь яблони, спиливаешь сухие сучья, кусачкой обрезаешь побеги, на время забываешь о надвигающихся бедствиях. Павел Павлыч поставил это в Ирландии на научную почву: выписываются книги, он сам учится — и вот скоро он уже знаток своего дела.

Не только запущенный старый сад обратился в образцовый, но даже соседи приезжали учиться плодоводству и садовой премудрости.

Друзья — владельцы имения — нередко уезжали в дальние путешествия. Из-за болезни сердца Павел Павлович никуда не мог тронуться.

И раньше, в молодые годы, он чувствовал некое расположение к простым, народным людям. Теперь сближался еще более. Его считали не совсем обычным — что и верно. «Профессором» назвали в околотке. Может быть, для ирландских земледельцев был он отчасти и таинственным заморским персонажем.

Будто в некоей литературной постановке, последний его час пришел в одиночестве. Он скончался от сердечного припадка, безболезненно и мирно, как и жил. Как и у лорда Эльмора, при нем находился только француз-повар, недавно выписанный из Парижа.

1950

«ДУХ ГОЛУБИНЫЙ»

(К. В. Мочульский)

Худенький, живой, с милыми карими глазами — таким и остался в памяти от того лета Константин Васильевич Мочульский. Солнце Канн, зеленая тень платанов над кафе перед морем, теплый ветер, радостное загорелое лицо, а позже автобус в Грасс к Бунину, среди природы почти тосканской.

Я его мало тогда еще знал, но ощущение чего-то легкого, светлого и простодушного сразу определилось и не ушло с годами, как ушло солнце и счастье юга. Мы виделись в тот раз недолго, но одинаково любили море, блеск ряби солнечной в нем, одинаково чувствовали странствия и прекрасные страны: оба преданы были Италии, он знал и Испанию, тоже ею восторгался.

Позже, в Париже, медленно входил он в нашу жизнь. Сначала на горизонте, как приятный, изящный собеседник, незлобивый и просвещеннейший, с родственными интересами. А потом, в войну и житье под немцами — вдруг и сильно придвинулся.

Было тогда чувство большого одиночества. Полупустой Париж, кровь, насилия и истребления — оставалась кучка людей, которых никакие режимы не могли переделать. Ясно, что более, более мы тяготели друг к другу, люди страннического и вольного духа, единившиеся в религии и искусстве.

С этих лет что-то братское и родное появилось для меня в нем (мы даже называть стали друг друга по-иному, ласково-шутливо).

Мрачные, полуголодные, нервные годы. Но встречи с ним светло вспоминаются. Он приходил к нам, мы обедали, потом вслух читали: я ли ему мое писание, он ли мне главы из «Достоевского». Я, жена, он — мы были трое, упорно наперекор окружающему твердившие что-то свое.

Наше содружество выдерживало. Мы по-своему жили. По улицам могли шествовать патрули, в одиннадцать надо быть дома, в любой миг могла взвыть сирена — бомбардировка

прервала бы чтение: все равно, пока тихо и есть время домой возвратиться, он слушал тринадцатую песнь «Ада» по-русски или отрывок из романа, а я о женитьбе Достоевского или о князе Мышкине. Мы были писатели закоренелые, но и братья.

А летом пришлось жить вместе в Бургундии, вместе с архимандритом Киприаном, «насельниками» в дружеском русском доме, вместе гулять, собирать грибы, восторгаться природой, иногда любоваться детскими чертами горожанина Мочульского, который любил горячо закаты, тишину леса, но отличить подосиновик от боровика или колос пшеницы от овса весьма затруднился бы.

* * *

Семьи у него не было, он жил один, вечный странник, но не совсем одинокий: вместо семьи друзья. Может быть даже, в них семья для него и заключалась — не по крови, а по душевному расположению. Он любил дружбу и в друзьях плавал. Были у него друзья и мужчины, и женщины, женщин больше — маленькая, верная республика, клан, небольшое племя. Корысти быть не могло: «нищ и светел» — этот отсвет единственная корысть его друзей. Он давал только себя — излучение чистой и тонкой души.

Как человек одаренный, был на себе сосредоточен, был очень *личный,* но дружбу принимал близко. Без нее трудно ему было бы жить. А жизнь он любил!

Родом с юга России, нес в себе кровь исконно русскую (предки со стороны отца священники), и греческую — мать гречанка. Вышел русским, но и «средиземноморским». («...А я больше всего на свете люблю море, Средиземное море Одиссея и Навзикаи».) Сколько мы с ним мечтали о странствиях! По любимой Италии, по Испании, где ему (при всей скромности средств) удалось побывать, по Греции.

Но путешествия теперь просто фантазия. Жизнь же идет, куда ей надо. В ней друзья, рядом с любовью и радостью, несли и страдание. В те годы погибли ближайшие его — мать Мария (Скобцова), ее сын Юра, студент. Оба в лагерях немцев.

Можно думать, что в этих потерях проступило и для него самого нечто смертное. Внутренно он не оправился. Летом 43-го года тяжело заболел — очень долго лежал у друзей под Парижем.

* * *

Был уже автором книг — и значительных — о Гоголе, Соловьеве, Достоевском (в рукописи). Замышлял нечто о Блоке.

А душевный сдвиг давно определился, путь избран — христианский. Он уже не эстет довоенного Петербурга, а «чтец Константин». В церкви Лурмель читает в стихаре Шестопсалмие, часы. Только что не монах. А если б и постриг принял, не приходилось бы удивляться. Но жизнь кратка, дни малы. Недуг развивается.

И он вне обычной жизни. Помню его в санатории Фонтенбло,— сумрак зеленых лесов с папоротниками, сумрак неба и дождь, и он худенький, слабый. Но рад, что приехал «свой».

— Правда, у меня лучше вид?

Лучше, лучше. Посидим, побеседуем под шум дождя, потом он проводит до большой дороги в огромных платанах (дождь перестал) — и задыхается уже, но, конечно, ему лучше. Всегда должно быть лучше. И не надо противоборствовать. С тем и уедешь. С тем уехал однажды и он сам в дальний пиренейский край, столь целебный для туберкулезных.

Одно время казалось, что край этот вылечит. Зима прошла хорошо, весной он вернулся, жил под Парижем, считая, что уже оправился. Но к осени стало хуже. Снова надо в Камбо.

* * *

В старых письмах всегда раздирательное — образ прошлого, неповторимого. Что сказать о писании близкого человека, одиноко вдали угасавшего — и угасшего?

Друзья не оставили его. К нему ездили, при нем жили, и какую радость это ему доставляло! («Так мне больно без Ромочки».— Она побыла у него, сколько могла, и уехала. «Но нужно уметь всем пожертвовать. И от этого увеличивается любовь».)

Он, конечно, переживал свою Гефсиманию: с приливами страшной тоски, потом просветлением и примирением — опять богооставленностью и унынием. «Бывают дни скорбные, с мутной и горячей головой, когда с утра до вечера лежишь с закрытыми глазами, а бывают и благодатные часы, когда чувствуешь близость Господа и становится так радостно».

Рома рассказывала нам, возвратившись:

— В нем точно бы два мира. Физическому так тяжко, такая печаль в глазах, а духовный все выше, точно предвидит свет.

И еще: когда солнце заходит и краснеющий лучик передвигается рядом на стене, он с такою любовью за ним следит. «Прощается».

Да, жизнь любил. Но в предсмертных томлениях и испытаниях все принял и примирился. Это уж несомненно — и в письмах,

и по рассказам. Исповедовался, причастился прекрасно. А еще раньше писал: «Одышка такая, что трех шагов не могу сделать. И все же лежу и не горюю — рад принять из пречистых рук Господних и жизнь и смерть».

От Бога и смерть — радость. В письмах же, чем далее, чем рука слабее, тем тон выше, обращенья нежнее. (В последнем уже прямо: «Возлюбленные мои...»)

Что испытал, что пережил, этого до конца-то мы не узнаем. Но образ отхода ясен: умирал на руках двоих близких ему, в духе того, что говорится на ектении: «христианския кончины...»

По-другому и не могло быть. Такой был, к такому шел.

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был. хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.

Тютчев сказал это сто лет назад о Жуковском. А вот осталось, применилось лишь по-иному. Суть все та же:

Лишь сердцем чистые — те узрят Бога.

1948

IV

ПАСТЕРНАК В РЕВОЛЮЦИИ

Пастернак был уже взрослым, но молодым, когда началась революция. Вырос он в семье культурной и интеллигентной — его отец был известный художник-портретист Леонид Пастернак, довольно близкий ко Льву Толстому и лично, и по душевному настроению. Писал он и портреты Толстого, сделал рисунки к «Воскресению».

Мать писателя была музыкантша, и Борис Леонидович с детства знал и любил музыку, одно время собирался даже стать профессиональным музыкантом. При всем том получил отличное образование в России, заканчивал его в одном из германских университетов. Знал несколько иностранных языков.

Очень молодого я не знал его лично. По позднейшим своим впечатлениям могу представить себе Пастернака юного угловатым, темпераментным, внутренне одиноким, ищущим и пылким. Равнодушия и серости в нем никак не могло быть. Был он искателем — таким и остался. И поэтом — таким тоже остался. А путь выбрал литературный. В путь этот вышел в самую трудную пору: ломки и переустройства всего в России, грохота рушащегося, крови, насилия, новизны во что бы то ни стало — в ту бурю, которая никогда не благоприятна художникам и поэтам, да и вообще натурам художническим, склонным к одиночеству и созерцанию.

* * *

С первых же шагов революции в литературе русской дико зашумели футуристы. Появились они еще в дореволюционные предвоенные годы России, полные сумрачного тумана и предчувствия грядущих потрясений. Но футуристам-то потрясения и нужны были: на них легче выскочить, прошуметь, прославиться, чем в мирное время.

Еще до войны надевал Маяковский шутовские куртки из

разноцветных лоскутов, его приверженцы размазывали себе лица разными красками, и своим зычным голосом орал этот Маяковский: «Долой Пушкина! Сбросить его с корабля современности!»

На банкете в самом начале революции, еще «февральской», еще «бескровной», Маяковский, вождь футуристов, учинил зверский скандал, и все это как-то сошло ему безнаказанно, наглость победила еще оставшуюся благопристойную либерально-культурную Россию. А чем дальше, тем дело шло все хлестче. Маяковский мгновенно пристроился к победителям, кричал еще громче, вокруг расплодились подголоски, появились разные «заумные» поэты вроде Хлебникова, появилась литературная группа «имажинистов» («образ», «имаж» — сравнивали луну с коровой, вот как ярко).

Это было самое разудалое и полоумное время революции, когда разрушали церкви, а на площадях ставили наскоро слепленных из плохого гипса Марксов и Энгельсов — одна такая пара, помню, просто растрескалась в Москве от мороза, а потом растеклась под дождем, как снежная кукла от весенних лучей.

Это было очень страшное время — террора, холода, голода и всяческого зверства. Из виднейших писателей многие уже эмигрировали — Мережковский, Бунин, Шмелев. Но в Москве оставалась еще группа писателей культурно-интеллигентской закваски, державшаяся в стороне от власти, кое-как выбивавшаяся сама. У нас был даже в Москве Союз писателей и — по парадоксу революции — престиж «литературы» еще крепко держался у власть имущих — нам отвели особняк Дом Герцена, где мы и собирались. Ни одного коммуниста не было среди наших членов.

Пастернак в нашем Союзе не состоял, хотя коммунистом не был, по культуре подходил к нашему уровню.

Так что в Москве существовали как бы две струи литературные: наша — Союз писателей, с академическим оттенком и без скандалов, и футуристическо-имажинистская — со скандалами. Мы находились в сдержанной, но оппозиции правительству, они лобызались с ним, в самых низменных его этажах: в кругах Чеки (политическая полиция).

Власть слишком еще была занята тогда международным своим положением, гражданской войной, подавлением восстаний, грабежом, чтобы обращать внимание на нас, кучку интеллигентов-писателей, устраивавших свои чтения в Доме Герцена. Мы пользовались даже некоторой свободой. Бердяева не засадили за бурную и блестящую книжку «Философия неравенства» — против коммунизма (она вышла в самом начале революции,

когда существовали еще частные издательства). Айхенвальд прочел у нас в Союзе в 1921 году восторженный доклад о Гумилеве, только что расстрелянном за контрреволюцию в Петрограде. Троцкий ответил на это чтение Айхенвальда статьей «Диктатура, где твой хлыст», но ни Айхенвальда, ни Союз наш все же не тронули.

Подошла и полоса нэпа, некоторого вообще послабления, и нам, старшим писателям, разрешили открыть свою Лавку писателей, кооперативную, где мы могли торговать старыми книгами самостоятельно, не завися от власти. Это дало нам возможность не умереть с голоду.

Были в этой жизни революционного времени любопытные черты. Печататься открыто мы уже не могли. Писали от руки небольшие свои вещицы, тщательно выписывая, украшали обложками собственного изделия, иногда рисунками, и продавали в нашей же Лавке. Подбор таких рукописных произведений попал тогда же в Румянцевский музей (ныне Публичная библиотека в Москве). Не знаю, сохранились ли там эти образцы как бы «подпольной» литературы (но политического в них не было).

Во все эти ранние годы революции позиция Пастернака была довольно странная. Он сидел где-то безмолвно. Ни в каких выступлениях и бесчинствах футуристов и имажинистов участия не принимал. Не выступал в подозрительных кафе, куда набивались спекулянты всякого рода, а «поэты» типа Маяковского и подручных его громили этих же разжившихся на спекуляциях нэпманов (так называли тогда новых буржуа революции). А тем это как раз и нравилось, они аплодировали и хохотали.

Такие кафе были очень в моде. Там торговали тайно кокаином, и в сообществе низов литературных и чекистов устраивались темные дела, затевались грязные оргии. Это было время Есенина и Айседоры Дункан, безобразного пьянства и полного оголтения.

Ни к чему *такому* Пастернак не имел отношения. Кроме его собственной натуры, за ним стояла культурная порядочность отца и матери, а вдали где-то легендарная тень Льва Толстого. Но в писании своем тогдашнем все же тяготел он к футуризму и имажинизму. Что влекло его к этому? Позже он скажет: «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить». В этом «позже» он очень строг к себе, даже чрезмерно. (Опять тень Толстого и «золотого века» русской литературы — склонность к покаянию.)

Но тогда, при кипучести его натуры, ему вполне естественно было увлекаться некоей словесной новизной и невнятицей, увлекаться и чрезмерностью сравнений. Стихи его того времени,

сколько помню, являлись некими глыбами, в первозданном положении, не сведенные к гармонии. Да и вообще «гармония» не подходила к тому времени, полному крика и дисгармонии.

* * *

Я не знал того круга людского, где Пастернак вращался. Единственной точкой соприкосновения была известная поэтесса, тогда еще молодая, Марина Цветаева. Принадлежала она к «левому» литературному течению тогдашнему, но выступала с чтением своих стихов и у нас в Союзе. У нее было какое-то душевное соответствие, или родство, с Пастернаком тогдашним, но литературные пути их оказались разными. Она чем далее, тем становилась вычурнее, он, напротив, в созревании своем шел к простоте — великой силе великого века литературы нашей, девятнадцатого.

Не помню я Пастернака и у нас в Лавке писателей. У нас бывал Андрей Белый, даже писал что-то тоже от руки. Как почетный гость — Александр Блок, в 21-м году, незадолго до кончины. Есенин, в шубе и цилиндре на голове,— так мало это шло к его простенькому лицу паренька из Рязанской губернии! (Он тогда спивался вместе с Айседорой Дункан и водил компанию с очень подозрительными людьми.)

Но вот — все-таки с Пастернаком я был знаком, где-то бегло встречались, а потом встретились у меня, в огромной моей комнате, где жил я с женой и дочерью, подтапливая печку посреди комнаты, сложенную каменщиком, с железной трубой через все помещение.

Встреча с Пастернаком особенно мне запомнилась потому, что уж очень отличалась от другой литературной встречи, с «заумным» поэтом Хлебниковым, в этой же комнате, но несколько раньше.

Хлебников принадлежал к какому-то подразделению футуризма, но «тихого». Его считали (правда, немногие) «необыкновенным». Радость поэзии, насколько помню, заключалась для него в подборе бессмысленных слов, звучавших какой-то музыкой. По «необычности» и «новизне» это подходило к революционной эпохе, по содержанию нисколько. Но у него были все-таки некие связи с властями, и у него самого, с его последователями, был даже автомобиль, на котором вывесили они плакат: «Председатели Земного Шара».

Почему он забрел ко мне, не знаю. Сам этот председатель был довольно скромный молодой человек, бедно одетый, несколько идиотического вида, смотрел больше в землю и говорил

негромко. Чем-то он мне даже нравился: вероятно, беззащитностью своей и детскостью. Если память не изменяет, именно тогда и предложил мне прокатиться на всемирном автомобиле, все так же диковато и застенчиво поглядывая вниз на пол. Председатель Земного Шара! Звучит хорошо, все-таки я поблагодарил и отказался.

— Ну, тогда приходите к нам на Мясницкую. Там наши соберутся. Будут стихи. Но и от старших, серьезные люди. От символистов Вячеслав Иванов.

Он вздохнул и как-то задумчиво добавил:

— Будет очень учено и очень похабно.

Почему похабно, не объяснил. Я и не настаивал. Сам по себе молодой человек никаких безобразий не творил. Но сотоварищей его я представлял себе живо, тем более, что как раз не так давно Пильняк звал меня на вечер в загородном доме известного в Москве скульптора, где должны были быть Есенин, Дункан и выпивка. Я позже узнал, что там кончилось безобразным скандалом — о нем и написать невозможно. К Хлебникову и его друзьям я тоже не поехал.

Посещение Пастернака (тогдашнему Пастернаку могли нравиться стихи Хлебникова) — было совсем в другом роде. Ни автомобиля у него не было, ни Председателем Земного Шара он себя не считал. Этот высокий, с крупными чертами лица, несколько нескладной фигурой, крепкими руками и нервными, очень умными глазами тридцатилетний человек принес мне свою рукопись: отрывок произведения в прозе. Рукопись тоже походила видом на хозяина своего: написано крупным, размашистым почерком, нервным и выразительным. Пришел он как младший писатель к старшему, показать образец своей прозы — он этим доселе мало занимался, а я много. Не был я ни редактором, ни издателем, ни каким-нибудь другом правительства. Жил более чем небогато. Так что практического значения в том, что он принес мне рукопись, не было для него никакого. Я даже не мог угостить его порядочным завтраком или обедом — быт революционных эпох беден.

Мы сидели у окна, за моим столом, где лежали мои рукописи, говорили о литературе в простом дружеском тоне, а жена моя хозяйничала около той же каменной печки посреди комнаты. Десятилетняя наша дочь, в зимней ушастой шапке, только что вернулась из советской школы, скромно складывала свои тетрадочки, потряхивая двумя косицами с бантиками. А Пастернак, при всей своей склонности к самоновейшему, «передовому» в литературе, тоже скромно и совсем не по-футуристически со мной разговаривал. Он был ровно на девять лет, день в день,

моложе меня, но ему вообще был свойствен дух молодости, открытости и прямодушия. Будто свежий морской ветер. «В Пастернаке навсегда останется юность»,— сказала знаменитая наша поэтесса Анна Ахматова. Очень верно, насколько могу судить издалека. Молодое и открытое, располагающее.

Рукопись оказалась отрывком из довольно большого повествования. Описывалось детство на Урале, на горном заводе. Подробностей не помню, но общее впечатление такое: никакого крика, никакого футуризма, написано человеческим, а не заумным языком, но очень *по-своему*. То есть — ни на кого не похоже и потому ново. Ново потому, что талантливо. Талант именно и выражает неповторимую личность, нечто органическое, созданное Господом Богом, а не навязанное никаким направлением литературным.

Насколько знаю, те главы, которые он тогда приносил, вошли в повесть «Детство Люверс», изданную позже в Советской России, но гораздо раньше «Доктора Живаго». У меня нет этого «Детства Люверс». Весьма подозреваю, что все это были подходы, еще довольно несмелые, к позднейшему «Доктору Живаго». Можно было самым искренним образом — что я и сделал — приветствовать нового сотоварища по прозе, но никак нельзя было предугадать будущую судьбу этого молодого писателя с крупными чертами лица, крупным телом, неловкого и привлекательного, несущего в себе большой духовный заряд. Нельзя было предугадать и его будущую мировую славу.

* * *

Осенью 1922 года почти все правление нашего Союза выслали за границу, вместе с группой других профессоров и писателей из Петрограда. Высылка эта была делом рук Троцкого. За нее высланные должны быть ему благодарны: это дало им возможность дожить свои жизни в условиях свободы и культуры.— Бердяеву же открыло дорогу к мировой известности.

Берлин 1922 года оказался неким русско-интеллигентским центром. Туда как-то съехались и высланные, и уехавшие по своей воле (Андрей Белый, Пастернак, Марина Цветаева). Из Парижа, пробираясь уже из эмиграции в Россию, попал туда и гр. Алексей Толстой, впоследствии придворный Сталина и один из первых литературных буржуев Советской России.

В Берлине Пастернака я встречал очень бегло, кажется, на литературных собраниях, в кафе Ноллендорфплатц. Да все это продолжалось и недолго: в 23-м году начался разъезд. Одни выбрали направление на Италию — Париж, другие вернулись в Москву. Три последних были А. Толстой, Андрей Белый и

Пастернак. Там судьба их сложилась по-разному. Алексей Толстой нажил дом, автомобили, возможность кутить и пьянствовать сколько угодно и сколько угодно пресмыкаться перед Сталиным. Андрей Белый, всегда склонный к левому в политике, тоже старался изо всех сил, но ничего не вышло. Облику его не соответствовали дачи, деньги, безобразия — ловкачом и подхалимом он никогда не был. Писания же его, фантастический склад души и необычный язык казались там смешными и непонятыми, а потому ненужными. Жизнь его в России была очень тяжела. Он скончался в тридцатых годах.

Судьба Пастернака оказалась самой сложной (из вернувшихся в Россию тогда писателей). Уклонов «вправо», в смысле политическом, у него никогда не было. Скорее, левое устремление, свойственное ему с молодых лет. Насколько знаю, есть у него и произведение в таком духе («Лейтенант Шмидт»). Думаю, октябрьский переворот 1917 года он принял, но чем дальше шло время, тем труднее ему становилось. Очень уж он оказался самостоятельным, личным, не поддающимся указке. О том, что переживал внутри, судить трудно, но по роману «Доктор Живаго» и некоторым частным высказываниям можно о многом догадываться. Сыну художника, близкого Льву Толстому, выросшему в воздухе высшей культуры того времени, никак не по дороге с террором, кровью и диким насилием «сталинской эпохи».

В 1937 году Пастернак едва ли *не единственный* среди писателей в Советской России не подписал петиции писательской о смертной казни целой группы прежних большевиков-интеллигентов, не одобрявших в чем-то Сталина. Надо иметь понятие о жизни в тогдашней России, о беспредельной подавленности людей деспотизмом, чтобы достаточно оценить мужество писателя, сказавшего наперекор всему: «нет».

В это время была беременна его жена. Легко ли ему было сказать это «нет»? Сам он признает особый свой склад, требующий необычайной «свободы духовных поисков». Конечно, он понимает, какой он «неудобный» муж, отец, глава семьи. Но вот все поставил на карту, не побоялся — и выиграл. Его не тронули. Правда, и не печатали ничего, кроме его переводов — переводил он и Шекспира, и Гете (теперь, как будто, Рабиндраната Тагора).

Нелегкие для него годы. Но они, конечно, заново перепахали его душу. Теперь он далеко не тот, каким был в молодости. Трудно представить себе, чтобы тот Пастернак, которого некогда встречал и в Москве, позже в Берлине, писавший косноязычные, хаотические стихи, мог писать на Евангельские темы! А написал — опять все по-своему, но благоговейно.

Да, конечно, он и тогда писал хорошую прозу, но должен был пройти долгий и тяжкий путь, неся крест одиночества, отчужденности, видя страдания вокруг, нечеловеческие беды, среди подхалимов, льстецов, фанатиков и просто негодяев, чтобы прийти к Истине Христовой — к любви, милосердию, состраданию и уважению к человеку, к признанию его не роботом и машиной, а образом Божиим.

От своего раннего писания он отрекся. Отрекся и от Маяковского. В Советской России голос покаяния! О, не такого «покаяния», перед «партией», которое нужно для карьеры, а потому ничтожно, лживо и унизительно. Нет, у него — без припадания к стопам власть имущих — голос бескорыстный и внутренний. Некогда Маяковский кричал вместе со своей ордой: «долой Пушкина». Пастернак не кричит, а просто отходит от этого Маяковского — не по пути им.

«Одиночество и свобода» — так определяет, очень верно, критик и поэт Адамович положение писателя русского в эмиграции. Одиночество и не-свобода: так можно было бы сказать о положении Пастернака в России.

* * *

И вот, неожиданно для всех, появился роман его — «Доктор Живаго». Роман вызвал целую литературу о себе, вышел чуть ли не на всех европейских языках, получил автор за него Нобелевскую премию — только в России книги этой нет, но представители бесчисленных «республик» СССР, вплоть до ингушей и чувашей, не читавши строчки из этого «Живаго», «строго осудили» его, автора всячески поносили, а один Герострат советский в Москве заявил на собрании некоем, в присутствии Хрущева, что Пастернак «хуже свиньи». (Слава этого «товарища» стала мгновенной. Мгновенно и забудется его ничтожное имя.)

В действительности, «Доктор Живаго» выдающееся произведение, ни «правое», ни «левое», а просто роман из революционной эпохи, написанный поэтом — прямодушным, чистым и правдивым, полным христианского гуманизма, с возвышенным представлением о человеке — не таким лубочным, конечно, как у Горького: «человек — это звучит гордо!» — безвкусицы в Пастернаке нет, как нет позы и дешевой ходульности. Роман, очень верно изображающий эпоху революции, но не пропагандный. И никогда настоящее искусство не было пропагандной листовкой.

1960

ЕЩЕ О ПАСТЕРНАКЕ

Из его «Автобиографических заметок» я узнал мелочь, послужившую началом переписки: мы родились с ним в один и тот же день месяца, только он на девять лет позже меня.

Я написал ему наудачу и о совпадении, и о другом. С этого и началось. Начался странный, заочный, краткий «роман».

15 марта 1959 года он ответил мне: «Дорогой Борис Константинович, не могу Вам передать... как обрадовали Вы меня своим письмом. Наверно, никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражения, которой, наверно, нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти — спасибо Вам». Ему «чрезвычайно дорого», что я говорю о его книге, но «что бы Вы ни сказали, я все принял бы с величайшей благодарностью». «Как все сказочно, как невероятно! Не правда ли? Пишу Вам, мысленно вижу перед собою и глазам своим не верю. И благодарю и обнимаю...»

Его письма ко мне получали здесь большой отклик. Их всегда просили читать вслух. По этому поводу я написал ему о Петрарке. Письма Петрарки из Авиньона во Флоренцию друзьям считались там событием. Получавший созывал друзей, устраивал обед, потом читалось письмо — десерт высокого тона. Разбойники под Флоренцией, грабившие купцов с севера (они-то и возили письма), очень ценили, если в добыче попадалось письмо Петрарки — дорого можно было продать.

Это мое письмо о Петрарке, видимо, пронзило его. Но ответа я не получил — ответное письмо не дошло. Что оно не дошло, видно из его письма к моей дочери. («Мои восторги пропали по дороге») — да, очевидно, он-то получил и ответил со свойственной ему очаровательно-детской восторженностью, но,

вероятно, начальство решило, что это уж слишком — писать так эмигрантскому человеку.

Переписка все-таки продолжалась. В письме от 4 октября 1959 года он пишет о своей пьесе: «Пожелайте мне, чтобы непредвиденное извне не помешало ходу и, еще отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким я подходил к пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становятся заветным занятием или делом страсти».

«Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет установившимся и надежным».

В последнем письме, февральском, 1960 года, он меня поздравляет со днем рождения. Та же горячность и нежность. Та же детски-открытая душа. (Недаром Ахматова говорила о нем, что он вечно будет молод. Да, он был молод душевно, с большим темпераментом, несомненно. И гневался иногда. И бурно. Как тяжко таким натурам жить под ярмом!)

И вот что еще он пишет в предсмертном письме: «Все это (мои книги. Я ему посылал, они доходили) попадает в жадные и дорогие мне руки одной героини-приятельницы, которой порядком за меня в жизни достается и досталось в самом прямом смысле... слова и дела».

«...Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону... работа закипит и сдвинется с мертвой точки». (Дело идет о пьесе.)

* * *

Не знаю ничего о судьбе этой пьесы. Не знаю даже, окончена ли она. Вернее, что нет. Знаю, однако, что размах ее огромен, кажется, это триптих.

Жизненную же драму знаю и пред нею почтительно, с грустью склоняюсь.

Да, «баснословный» год. Менее чем через три месяца после февральского письма, 30 мая 1960 года, Борис Леонидович скончался. Для советской власти довольно удобно: неудобный писатель с мировой славой, стоявший поперек горла, ушел. Ну, что же, травили человека, травили после Нобелевской премии, потом лечили, лечили, он и умер. Все в порядке. Осталась могила, горе близких. У меня под иконой пучочек овса с этой могилы. И *где-то* рукопись пьесы.

Начинается вторая часть драмы. Передо мной фотография, очень хорошая: Пастернак стоит под каким-то деревом, слегка наклонив голову, щурясь, но невеселый. Под руку (правую)

держит его русская дама, в кофточке, довольно полная, улыбаясь — улыбкой любви. Слева совсем юная девушка, с приятным русским лицом, тоже держит под руку, глаза тоже улыбаются, прелестно. Вся она — юность и привлекательность.

Эти двое — Ольга Ивинская и ее дочь. Та Ивинская, в чьи «жадные и дорогие мне руки» попадали мои книги, прежде чем Борис Леонидович начинал их читать. Это Лара «Доктора Живаго», все ясно. Это ее детей (она вдова), Ирину и Дмитрия, опекал Пастернак, когда она сидела в тюрьме при Сталине, а они были еще детьми. Это она, Ольга Ивинская, трепетала за него, когда после Нобелевской премии шавки советской не-литературы лаяли на него, кричали, что он хуже свиньи. Это о ней он сказал, что ей «порядком за меня в жизни достается и досталось».

И предчувствием томился. Слова «достанется» не прибавил, но тревожился очень. Теперь лишь из гроба мог бы увидеть, как судили ее, и осудили, Ирину тоже. Подло судили, при закрытых дверях — осудили на восемь лет мать, дочь на три года. Виновата мать в том, что Серджио Анджело, бывший итальянский коммунист и сотрудник издателя Фельтринелли, через Ивинскую передал Пастернаку деньги из его западных гонораров — и в июле 1960 года по прижизненной просьбе самого Пастернака некую сумму для нее самой. Ее подвели под 15-ю статью (контрабанда оружием, взрывчатыми веществами, наркотиками и т. п.). А дочь? Дочь упекли за то, что знала и не донесла на мать. Ирина, выслушав приговор, упала на суде в обморок. (Перед этим ей уже поднесли милый подарок: за несколько дней до свадьбы выслали из России молодого француза, ее жениха.)

* * *

Да, фотография эта — Пастернак между Ольгой и Ириной, пронзает. Борис Леонидович в родной земле — да будет она ему легка. А память о нем, добрая и благодарная, иногда и восторженная, на родной этой земле, столько горестного ему причинившей при жизни, надолго останется. Не вечно будет там и полицейский участок. «Доктор Живаго» — лучшее Пастернака произведение с пророческим стихотворением «Август». (При жизни описал свои похороны так, как они и произошли. И с Ларой при жизни навсегда простился.

Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.)

Господь избавил его от зрелища ее последней Голгофы и Ирининой.

Глядя на них обеих, беззащитных и томящихся теперь «где-то», испытываешь даже смущение. Неловкость какую-то за собственную свободу. Вот ты живешь, ходишь, чувствуешь, любишь, страдаешь, но ты на свободе и в условиях жизни человеческих. А они? Да пошлет им Бог сил. Как написано на одной колокольне скромного итальянского местечка близ Генуи:

— Dominus det tibi fortitudinem[1].

* * *

Время идет. Пастернак все далее отходит в Вечность. Три сосны над его могилой все так же шумят в московском ветре. Зимой бюст его будет поставлен на могиле.

И вот все вспоминаешь его — значит, человек обладал тайной прельщения. Почему два раза вслух прочитан «Доктор Живаго», и после него многое кажется серым, неинтересным? Это и есть загадка власти. Ибо нет художника без власти. Только власть эта не навязана, никто не грозит ею, не ведет в участок, а сама она — незаметным образом овладевает. Тютчева никто мне не приказывал ценить, а вот сам он вошел в меня, без окриков, и уж не уйдет.

В рассказе о последних днях Пастернака супруга его передала журналисту, что более всего жалел он, умирая, что не сможет более писать. Писатель, узнаю тебя! Наша болезнь неизлечима. Узнаю и молодость твоего духа, хоть бытие твое достигло уж библейского предела. («Дней лет наших всего до семидесяти лет, а при крепости до осьмидесяти...») Пастернаку шел восьмой десяток, но в самом начале. Его Живаго, доктор, кажется старше автора (внутренно), более печален и разочарован. (В Москву он возвращается из тайги уже разбитым кораблем.) Усталости, печали в самом Пастернаке по его письмам не чувствуешь. Страдал он в жизни много, бурно, но никакого равнодушия и дряхлости к зрелым годам не нажил. Этой зимой близкий мне человек видел его в Переделкине — по его рассказу, Пастернак был очень оживлен и бодр.

А литература и искусство глубоко, крепко в нем сидели. Думаю, именно по горячности своей и нездравому смыслу молодости водил он некогда компанию с Маяковским, размахивался и в революцию — что-то ему нравилось во всем этом. Но наступила и расплата. Сам казнит он себя незадолго уже

---

[1] Да даст тебе Господь силу *(лат)*.

до кончины. «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить»... «Везде бросались переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда я не только не умел еще писать и говорить, но из чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то ни было, кроме чистой и совершенно ненужной белиберды».

«Моя жизнь далеко не гладкая...— меня окружают заботы и тревоги и на каждом шагу подстерегают,— выразимся мягко...— неожиданности. Но среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение».

Судит он свою молодость преувеличенно, строгость жестокая, но насколько же лучше это самолюбования и охорашивания перед зеркалом. В нем этого не было, хотя славу, вернее — любовь людей, он все-таки любил...— но это так по-человечески! «Вообще лучшая награда за понесенные труды и неприятности то, что лучшие писатели века... книгу читали, кто на других языках, кто в оригинале». «Как все сказочно, как невероятно!»

Поражает его изгиб собственной судьбы: «И только этот баснословный год открыл мне... душевные шлюзы, но совсем с другого боку. И о Фаусте написал я по-немецки по запросу из Штутгарта, где есть Faust Gedenkstätte (место рождения исторического Фауста), и по-английски о Рабиндранате Тагоре (совсем не восторженно) его биографу в Лондоне, и по-французски о назначении современного поэта, и в Италию. И стало легче. Но как это все странно, не правда ли? Оказывается, можно и думать». То есть думать, как самому хочется, как думается, а не как велят. «Я послал Вашей дочери Фауста. Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим работам собственного предисловия. А может быть, только для этого я переводил Гете, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом, и как! Всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для... «работы мысли» у нас есть другие специалисты, наше дело только подбирать рифмы».

Да, и Лозинскому, переводчику «Божественной Комедии», в России пришлось соседствовать с предисловием, где Маркс и Энгельс одобряют поэта и дают ему «путевку» в советское издательство. Для Данте понадобились Маркс и Энгельс, а для Фауста в переводе Пастернака пришлось объяснить читателям,

во введении, что слово Бог, часто встречающееся в поэме, надо понимать не в том смысле, какой оно имеет, а в особом (смысле «чисто пикквикийском».— *Б. З.*), то есть Бог собственно и не Бог, а что-то вроде «силы социальных отношений».

Судьба Пастернака одна из самых удивительных в литературе нашей — с трагическим и героическим оттенком. Уцелеть при Сталине (отказавшись подписать ходатайство писателей о казни целой группы правых коммунистов), высидеть годы в одиночестве Переделкина, вдруг получить Нобелевскую премию, стать из-за «Доктора Живаго» знаменитым на весь мир, так любить Родину, как он, и при громе рукоплесканий иноземных — от «своих» получать заушения как раз в этом 1959-м, «баснословном» для него году.

Пастернак был человек сильный. Все-таки такая травля дней не прибавляет. Что же, своего добились. Дни сократились. «Баснословный» год, год мировой славы оказался и последним. Полицейские от литературы могут быть спокойны: Пастернака нет. Вот уже полгода покоится он в родной земле жестокой родины. Превосходные фотографии (иностранные!) запечатлели нам его похороны, и его лицо в открытом гробу — лицо приняло особую, высше-торжественную красоту. Гроб окружен любящими, любящие несут его на плечах за версту с чем-то на кладбище, в том же открытом гробу, как носили в русской деревне покойников в моем детстве. Русские лица, русские лесочки, березы, мимо которых проходит процессия, русский деревянный мостик, столь убогий в простоте своей — но по нем переходит лента людей благополучно — тысяча с чем-то: все это пронзает. Медленно, но в любви и без серпа и молота подвигается Пастернак к Вечности.

* * *

Из Москвы прислали моей жене два снопика овса, совсем маленьких, с могилы Пастернака. Оба они лежали у нас под иконами, славные знаки памяти и любви: наш Пастернак, наша земля взрастила его, как и этот смиренный, иссохший овес.

И вот нас посетила иностранка, переводчица и поклонница Пастернака, графиня Пруаяр. Жена передала ей снопик. Та обняла ее и поцеловала. Французские глаза так же наполнились слезами, как заполняются и русские. И это хорошо. И это радостно. Франция прижала к сердцу бедный снопик русского овса и унесла его как память, как знак любви.

1960—1961

ДРУГИЕ И МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Прочитал список погибших («Известия Литературного Фонда») — все писатели, поэты, критики: «арестован», «пропал без вести», «расстрелян», «покончил с собой». Список длинный, есть имена общеизвестные, некоторых знал лично.

Есенина помню юношей-пастушком, кудреватым, довольно славным, но не моего романа. А потом заходил он к нам в Лавку писателей на Никитской уже в шубе, чуть ли и не в цилиндре, залихватски и совсем в моветонном роде. Начиналась его история с Дункан — для обоих бесславно кончившаяся.

Борис Пильняк был рыжеватый литератор, приходил иногда ко мне, в нем всегда чувствовалось пестрое, мутное. Природных сил довольно, а как их прилагать, неведомо. Прежний стиль свой (довольно бледный) он сменил на нечто по наследству от Белого. Получилась сумятица, с темпераментом, но без толку. Ему нравилось земляное, плотское. В революции привлекала стихия и разнузданность, думаю, нравился ему и разбойный дух ее — то есть первых ее шагов.

Однажды мы выходили с ним из моей квартиры в Кривоарбатском: был вечер, мрачно.

— Вам вот кровь не нравится,— говорил он.— Насилие. А на крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого. Возьмите Петра Великого. Они правы.

— Все равно ненавижу. С детства терпеть не мог и уж теперь навсегда. Никогда не приму.

— Да, конечно, вам неподходяще.

Потом через минуту:

— Поедем к Коненкову. У него отличная мастерская. Там будет Есенин, Дункан, имажинисты. Выпивка настоящая.

У меня был свой круг, веселились иной раз и мы, но по-другому, и чокались по-другому. С имажинистами я не пожелал.

Позже и оказалось, что в тот вечер творились в мастерской

Коненкова великие безобразия. Напаивали Есенина и Дункан, и прочее, прочее...— подробности нерассказуемы...

Прошло время. Пильняк очень прославился. Ездил по всему свету (не по-эмигрантски), в Америке ему устраивали банкеты, говорили речи. Но потом как-то вышло, он написал «Повесть о непогашенной луне» (смерть Фрунзе после «приказанной» операции) — и со своим своеволием, стихийностью земляной, резкостью попал в немилость. А там в ссылку и под пулю... «На крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого».

А Есенин, дарование простодушное и пронзительное, но изломанное, тоже русский безудерж, тоже в конце концов нигилизм,— Есенин в петлю.

Страшное время. Аминь, аминь, рассыпься.

* * *

Абрам Эфрос, секретарь Союза писателей в Москве. Это просто интеллигент, быстрый, многоречивый и предприимчивый, с тонким, изящным лицом, большими глазами, в бархатной артистической куртке — свой человек, но примитив, его дружески звали «Бам», он всегда в хлопотах, что-то устраивает, читает и пишет, увлечен искусством и литературой (у меня сейчас в руках его книжечка «Автопортреты Пушкина», 1945 г.).

— Ах, Бам, Бам, отчего не выслали вас в 22-м году вместе с профессорами, писателями в Германию? Были бы вы и сейчас живы. Писали бы в «Новом журнале», «Новом русском слове», и так как вы много моложе нас, принимали бы из рук старших, коих недолог уж век, завет свободы, человечности, творчества — всего наследия литературы нашей.— Но вас не выслали. «Абрам Эфрос, искусствовед, пропал без вести».

Вспоминаю вас — оплакиваю.

* * *

Две барышни, худенькие и миловидные, в одинаковых платьицах, читают с эстрады стихи — вдвоем, в унисон. Одна Марина, другая Ася, дочери профессора Цветаева (основателя Музея Александра III в Москве).

Стишки острые, колкие, барышни читают-щебечут, остроугольно, слегка поламываясь. Не только напев в унисон, но и улыбки, подергивания нервных лиц. Никакого спокойствия, основательности. Но к тогдашнему это подходило, даровитость же чувствовалась.

Вспоминая то время, предреволюционное, поражаешься,

сколько было поэтов, художников, философов, писателей, «богоискателей»... Марина и Ася тонули в артистическо-литературной среде: почти гимназистки!

Но вот Марина уже повзрослевшая, уже замужем за Эфроном (с удивительными глазами), уже у нее дочь Аля. В нашем кругу небезызвестна. Автор более зрелых и своеобразных стихов, ходит к нам в гости, помаргивая глазами — нервными, острыми,— восторгается Гейне, Германией, одновременно и Ростаном. Читает на вечерах нашего Союза, в Доме Герцена. (Подарила мне бюст Пушкина, отцовский еще, огромный. Он стоял на моем шкафу, под него я клал миллионы рублей, на которые можно было купить бутылку вина, два фунта масла. Позже Пушкин этот переехал в Союз писателей, белыми гипсовыми глазами смотрел, тоже со шкафа, как Марина стрекочет свои стихи,— им я тогда покровительствовал.)

Но жила она невозможно. Эфрон был «белый», где-то на юге, верно в эвакуации. Она одна с Алей, в квартире покойного отца, от нашего Кривоарбатского недалеко.

Этого всего не забыть. Везу по московскому снегу на салазках дровишки — у Марины с девочкой — 1 градус. Квартира немалая, так расположена, что средняя комната, некогда столовая, освещается окном в потолке, боковых нет. Проходя по ледяным комнатам с намерзшим в углах снегом, стучу в знакомую дверь, грохаю на пол охапку дров — картина обычная: посредине стол, над ним даже днем зажжено электричество, за ним в шубке Марина со своими серыми, нервно мигающими глазами: пишет. У стены, на постели, никогда не убираемой, под всякою теплой рванью, Аля. Видна голова и огромные на ней глаза, серые, как у матери, но слегка выпуклые, точно не помещающиеся в орбитах. Лицо несколько опухшее: едят они изредка.

Марина благодарит, но рассеянна, отсутствует. Верней, занята своим. А вот чем: крупными, почти печатными буквами переписывает произведение кн. Волконского (его писанием тогда увлекалась). Остальное не важно. Печка так печка, дрова так дрова.

— Аля, сиди смирно, опять ты там возишься...

— Мама, я крысов боюсь, вон опять за шкафом пробежали. Ты уйдешь, они на кровать ко мне вскочат...

— Глупости, ничего не вскочат...

Это Але виднее, но Марина не может сидеть с ней целый день. Обычно уходит, запирает на ключ, вот и жди в холоду с крысами маму.

Иногда Алю приводят к нам, она подружилась с моей дочерью. Ее кормят, отогревают. Ее огромные, серо-выпуклые, с

водянистым оттенком глаза смотрят веселей, она играет и хохочет с Наташей.

Весной решили взять ее на месяц в деревню — подкормить, подправить.

Мою мать не выселили еще из именьица, она жила в своем доме, очень скромно, но в сравнении с Алей совершенно роскошно. Молоко, яйца, масло, даже и мясо!

Как дочь поэтессы и девочка вообще даровитая, Аля вначале и вела себя поэтессой: видела необыкновенные сны, сочиняла стихи («Под цыганской звездою любви»,— ей было лет семь, она отлично подражала Марине).

Сидя утром в столовой за кофе с моей матерью, она рассказывала, что во сне видела три пересекающихся солнца, над ними ангелов, они сыпали золотые цветы, а внизу шла Марина в короне с изумрудами.

— Нет, знаешь, у нас дети таких поэтических снов не видят. Или ты каши слишком много на ночь съела, или просто выдумываешь.

На другой день, за этим же кофе, Аля рассказывала новый сон. Но теперь это был просто Климка, вез навоз в двуколке.

— Вот это другое дело...

Через месяц уехала Аля в Москву загорелая, розовая,— неузнаваемая.

* * *

Марина очень любила мужа, Сергея Эфрона. Когда Аля гостила у нас в Притыкине, Эфрон был белый офицер. Марина возводила белизну его в культ, романтически увлекалась монархизмом, пожалуй, соединяла ростановского «Орленка» со своим Сергеем... Стихи писала соответственные.

Началась и для нее эмиграция. И вот Эфрон оказался не прежним белым принцем в поэтическом плаще, а чем-то совсем иным... Как многие тогда, перешел к победителям. Да попал еще в самое пекло... От бывшего белого офицера много потребовали.

Тяжело говорить об этом — приходится. Я когда-то его знал лично, этот изящный юноша с действительно очаровательными глазами никак не укладывался в «сотрудника», да еще какого учреждения! Но вот уложился. Но вот принимал здесь участие в темном деле — убийство Рейсса,— после чего оставаться во Франции стало неудобно. Он и уехал в Россию.

Как относилась Марина ко всему этому? Не могу сказать. Знаю, что стала не той, что в Москве. Мы разошлись вовсе.

Аля выросла, обратилась в готовую коммунистку. И уехала тоже в Москву. Марина довольно долго влачила здесь одинокую жизнь, от эмиграции отошла, к «тем» целиком не прикрепилась...— но в Москву все-таки уехала. Это понятно. Что было ей делать в Париже? А там муж, дочь, сын. (Кое-где все-таки и тут печаталась. Стихи ее приобрели предельно-кричащие ритмы, пестрота и манерность в *слове*, истеричность и надлом стали невыносимыми.)

В Москве же «вкусила мало меду». Эфрон, видимо, погиб. (С Рейссом вышла неудача, слишком много шума — неудач там не прощают.) С Алей близости не было. Пробовала печататься — разругали, и дальше ходу уж не было. Одиночество, покинутость. Наступали немцы (август 1941 г.). Эвакуация, безнадежность.

Осенью 41-го года, не знаю точно когда, Марина покончила с собой.

* * *

«Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его».

Кто из нас смеет учить кого-то, кто жизнью заплатил за ошибки?

Но сказать — где правда, и где неправда — мы можем. Может быть, даже должны крикнуть:

— Отойдите! Не дышите парами серы! «Аминь, аминь, рассыпься!»

1950

V

ПАМЯТИ ИВАНА И ВЕРЫ БУНИНЫХ

Перед войной случалось иногда бывать на юге Франции — в Грассе жил Бунин (прелестная вилла Бельведер — простенькая и нехитрая, но с площадки перед домом такой вид на равнину к Канн, на горы Эстерель направо... А внизу черепичные крыши Грасса, собора. Некий тосканский дух чувствовался во всем этом).

Мы гостили у Буниных — и довольно подолгу. Хорошие дни. Солнце, мир, красота. Во втором этаже жили мы с женой, я кое-что писал. Рядом комната Веры Буниной. Внизу, в кабинете своем, рядом со столовой,— Иван. Выбежит в столовую, когда завтракать уже садимся, худой, тонкий, изящный, с яростью на меня посмотрит, крикнет:

— Тридцать лет вижу у тебя каждый раз запятую перед *и*! Нет, невозможно!

И с той же яростью, чуть не тигриной легкостью захлопнет дверь, точно я враг и нанес ему смертельное оскорбление.

Я не пугаюсь — слишком хорошо его знаю. Он и на Веру кричит (свою), и на себя самого. А кроме того, с «юности моея» он мне нравился эстетически, художнически. Натуру его знал я отлично, чего можно, чего нельзя от него ждать — все известно. А вот нравился.

Уже после премии Нобелевской, когда выходило здесь собрание его сочинений, он держал корректуру в этом самом Грассе.

Сижу у себя наверху, ставлю запятые, вопреки грамматике, перед *и*, вдруг внизу опять хлопает дверь и на весь дом крик:

— Писатель с мировым именем,— и вдруг написал такое... (скажем элегантно: «удобрение»).

Это значит, читает в корректуре «Деревню» и не одобряет. «Ты им доволен ли, взыскательный художник...» — да, взыскательным художником он был, конечно.

Мы с женой слушали эту «Деревню» еще в Москве, он сам

читал — брату Юлию, мне да двум Верам, в доме Муромцевых, родителей его жены. Чтец был превосходный.

Сказать правду, эта «Деревня» никогда мне близка не была, Бог с ней, мало нравилась. А вот он вдруг теперь распалился: такой уж нрав.

В Грассе, под провансальским солнцем, написал он многое свое основное, «Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Цикады».

* * *

Мы в Грассе только временно бывали, а два лета жили в департаменте Вар, в именьице друзей.

Это совсем другое дело. Пустынное и поэтическое, глухое место — леса, оливки, виноградники, ничего яркого и нарядного, но великое молчание и обаянье страны древней, высокоблагородной.

Дом «наш» небольшой, вроде фермы. Ему двести лет, стены расписаны в столовой какими-то наивными фресками, но все это очень мило. Свое вино, свой виноградник. В жаркий солнечный день хорошо подойти к лозам винограда «столового» (для еды, не для вина), сорвать гроздь, солнцем прогретую, и тут же «лозы виноградной» вкусить. Сходить под вечер пешком в Торонэ, деревушку в километре, где худенький молодой аббат наигрывает в одиночестве на органе (иной раз и он к нам заходит отвести душу от пейзан, к церкви совсем равнодушных. Но спрашивает опасливо: уважаем ли мы католицизм? Ничего, уважаем).

Днем пишешь, в полной тишине, в свете, под музыку цикад. Их серебро все мы — жена, дочь, я, очень любили — сколь мелодичен звон их, непрерывный, негромкий и ненадоедливый: какая-то бесконечная симфония юга и солнца. А вечером совы — тоже друзья, ауканье их нежно.

Хозяев нет в доме, они в других краях. В соседнем домике живет Фердинанд, провансалец, вроде приказчика, типа Тартарена из Тараскона (Додэ) и жена его, толстая итальянка Мадлэна. Она и готовит нам. Обедаем под каштанами, на воздухе, под зелено-золотой, божественной сетью солнца сквозь листву каштанов.

Однообразно, тихо, патриархально. Девочка рисует после обеда свои детские рисуночки, за этим же столом, вечерние прогулки — нередко в аббатство Торонэ — заброшенный и замечательный цистерцианский монастырь. Там тоже цикады, тоже вечером певучие совушки провансальские.

Вдруг в идиллии этой некое и событие: к нам едут Иван с Верой — Бунины! Из Грасса, навестить. Ну, очень рады.

В назначенный день автомобиль виден из-под наших каштанов, нерешительно он останавливается у поворота с большой дороги, наконец к нам, на скромную дорожку сворачивает. Да, Иван в каком-то шлеме, как путешественник в Индию, коричневатом, Вера в светлом платье, такая же спокойная и сдержанная, как и в Москве девушкой была, в доме родителей своих, Муромцевых.

— Ну вот, дорогой, в какую трущобу забрался, насилу нашли! Что, вы тут одни совсем? Скучища, наверно?

— Ничего, не скучаем.

— Это тебе не Притыкино твое. Вера, вылезай, вылезай!

Пока Вера целуется с моей Верой, он уже нетерпеливо рвется куда-то.

— Показывай, показывай свое Притыкино! Где у вас тут скотный двор? Конюшни где? Сколько лошадей держишь? Почем поденным платишь?

Но это все «так». В общем, он благодушен, в хорошем настроении осматривает дом, заходит в мою комнату — очень скромную, с несколькими рукописями да книжками о Провансе — собственно, вроде кельи.

— Тут вот и «творишь»... Твори, твори. А винцо у вас собственное? Виноградники развел, оливки... Ну, куда там Притыкину угнаться...

И все-таки старый, неказистый, но чем-то благородный дом ему нравится: может быть, неким древним своим запахом, тишиной, прохладой, жужжаньем отдельных шмелей и снаружи треском цикад.

— Да, я сам это люблю,— говорит он уже серьезно.— И Прованс, и глушь, и цикад, и каштаны.

Завтракаем внизу, в полутемной столовой. Иван надевает пенсне, разглядывает «живопись» на стенах.

— Это что же, Рафаэль изображал?

— Да, Рафаэль. Здешний. А жил тут полоумный одинокий старик, владелец имения. Здесь и умер. Будто бы призрак его ходит ночью по комнатам и постукивает.

— Ну, это вранье, конечно. Брехня. Призрак! Пьяница, наверно, был, спивался в одиночку.

— Бог его знает.

— А ты видел? Как он ходит и постукивает?

— Нет, не видел.

— Ну вот то-то и оно-то, душа моя. Все вранье.

Я подливаю ему «нашего» пюжетского вина.

— Будет, дорогой. Винцо хоть свое, притыкинское, а довольно-таки... (и опять словцо на четвертую букву алфавита).

* * *

Под вечер мы ходили в монастырь Торонэ. Какою-то тропинкой, среди мелкого леса — и вот другая тропинка пересекает ее — в старых, замшелых плитах-камнях.

— Иван, смотри, это древняя дорога в аббатство Торонэ. По ней ездил сюда на ослике св. Бернард. Тот, кто Крестовые походы проповедовал. Бернард Клервоский — он и считается основателем аббатства.

Еще довольно жарко, пахнет нагретой хвоей, цикады неумолчны. Выходим на большую дорогу, современную. Налево красные россыпи боксита, невдалеке романского стиля колокольня.

— Клервоский, Клервоский...— я этих Крестовых походов не видал... а вообще хорошо. Мне нравится.

Он снимает свой шлем.

— Да, братец ты мой, на ослике... Как Спаситель, «на осляти».

Иван делается вдруг серьезным — это не шуточки и «Притыкино», сейчас он поэт, как и подобает ему быть. Такой, как некогда читал стихи свои у меня на Спиридоновке.

— Да-а, святой Бернард...

Удивительна эта заброшенность аббатства Торонэ, одного из знаменитых памятников романской архитектуры. Как все сурово, строго тут! Ни украшений, никакой радости для глаза. Как будто сказано: «К чему обольщенья? Веруй, молись».

Голые каменные стены храма, сумрачная трапезная для монахов, портики во дворе на приземистых колоннах, нехитрый колодезь — и ни души! Даже привратника нет. Входи с дороги, кто хочет. Правда, и украсть нечего: сплошной камень, да так уж прочно приторочено, что веками стоит.

Во дворе присаживаемся у колодца, Иван закуривает.

— Да, это не то, что у нас в Ельце или у вас там в Кашире. А мне нравится. Ей-Богу, нравится. Ты посмотри, как строили... Да-а, писали не гуляли.

На закате солнца мы вернулись уж домой, взошли на взгорье за нашим домом, посидели на поваленном дереве. Тут другое. С возвышенности далеко видно — старинный городишко Лорг, леса, оливки, виноградники, окаймлено все невысокими горами, в туманной синеве сейчас. Это Вар, департамент Прованса, пустынный, поэтический, и откуда пейзане все-таки стремятся перебраться в город или ближе к городу. Поэтично, но и скучно. Сколько заброшенных виноградников, покинутых домов крестьянских, запустелых огородов и вообще развалин. Одно аббатство Торонэ неуязвимо.

Таким заезжим и случайным, как мы с Иваном,— нравится, а жить тут постоянно, и особенно зимой... (Воображаю, что за холодище в нашем доме, когда мистраль задует!)

Но сейчас мистраля нет и зимы нет. Есть наступающий вечер, вдруг ставший облачным, в сиреневых сумерках. Спускаемся домой — Иван начинает торопиться.

— На коней, на коней!!

Внизу, близ дома нашего, видны огни автомобиля.

— Видишь, пора! До Грасса еще далеко. Ночевать тут, что ли? Вера, поторапливайся!

И быстрой, сухой походкой, тонкий и бодрый сбегает вниз. (В движениях моложе своих лет.)

Фердинанд разглагольствует о чем-то с его шофером. Вероятно, что-нибудь по-провансальски-тартаренски врет.

— Ну, душа моя, прощай. Нет, обедать не останусь.

Две Веры целуются. Иван быстро вскакивает в машину.

— У-у, Вера, всегда возишься!

— Вот и я сажусь, Ян. Ничего я не вожусь.

— Прощайте! Хорошо у вас тут в Притыкине!

Через несколько минут автомобиль катит к большой дороге. Сквозь деревья мелькают золотые огни его, потом исчезают. Как мгновенно прилетели Иван с Верой, так и улетели.

* * *

Так улетело теперь и все то, прошлое, далекое. Вспоминаю обоих во времена бодрости их и хорошей жизни. Вспоминаю и Грасс, где подолгу мы с женой — подругой юности *его* Веры — гостили. Горестно представить себе предсмертные годы Ивана Алексеевича (только что прочел о них), ужасно грустно. А теперь и Вера ушла. Но вот в памяти они *тогдашние* остались, как и Прованс в солнце и золоте, Грасс, Пюжет.

1962

О ЛЮБВИ (БАЛТРУШАЙТИС)

И я тебя, мой день, мой свет небесный,
Боготворю!
Ю. Балтрушайтис

С Юргисом Казимировичем и Марией Ивановной знакомство мое давнее, еще со времен Москвы. «Мрачный как скалы Балтрушайтис», назвал его некогда Бальмонт.

Такие слова он любил. А Балтрушайтис был просто умен, не словоохотлив и замкнут, без всякого мрака. В жизни его литературной не было ни шума, ни широкой известности. Он шел медленно и одиноко, в благородной отдаленности. Принадлежал к символистам московским старшего поколения (Бальмонт, Брюсов), их сверстник и сотоварищ. Печатался в «Скорпионе», «Весах». Писал не так много: всего вышло в России две книги стихов: «Земные ступени», «Горная тропа». Читатели знали его мало, писатели ценили и уважали. В 1918 году Юргис Казимирович был избран председателем Союза писателей. На следующий год получил назначение литовским посланником (был литовского происхождения) — в Союзе его заменил другой.

Но личных связей с писателями он не прерывал. В 1920 году помог уехать за границу Бальмонту, в 1922-м мне с семьей в том же содействовал. С тех пор так и остался на дипломатическом посту в Москве до самой войны, погубившей самостоятельность Литвы.

Посланничество его кончилось, Юргис Казимирович с Марией Ивановной поселились во Франции. Здесь вновь пришлось с обоими встретиться, уже при немцах. Свидание произошло зимой, в ледяном кафе Closerie de Lilas — очень дружественно и тепло. Оба они мало изменились. Как тихо и дружно жили раньше, так же и продолжали. Но холод был не в одном Closerie de Lilas — дома у них топить тоже было нечем, Балтрушайтис писал свои литовские поэмы и мерз.

Вместе похоронили мы Бальмонта, тоже мучительной зимой, в условиях тяжких. (Идя за гробом, скромно и грустно улыбнувшись, Мария Ивановна сказала: «Бальмонт был шафером на нашей с Юргисом свадьбе... очень давно».)

Но холода и недоедания эти и самому «Юргису» не прошли даром: в январе 1944 года он скончался.

Произошло то, что для людей, вместе и в любви много лет проживших, всегда самое страшное: разлука.

С виду Мария Ивановна, оставшись одна, не изменилась: такая же спокойная и приветливая, негромко говорящая на отличном московском наречии (урожденная Оловянишникова), какая-то «основательная», «достойная». Старинная мебель в гостиной, вывезенная еще из Москвы, тихий ковер, на стенах гравюры Пиранези, книги в хороших переплетах...

А что от жизни осталось, сосредоточилось на покойном. Человек и ушел, но для любви он тут, рядом...— не смерти убить его.

Мария Ивановна вполне погрузилась в рукописи и письма. Все сошлось на писаниях «Юргиса». Разбирала архив его, размещала что надо и подбирала. Кое-что напечатала в «Новом журнале», главное же, готовила книгу его стихов. Начала, сколько знаю, и собственные воспоминания о том времени. В центре, разумеется, покойный.

Ее заботами, трудами и любовью издан лежащий передо мной том: «Лилия и Серп» — белая с голубым гербом изящная обложка. Под ней избранные стихи Балтрушайтиса за много лет.

* * *

Его раннее писание помню смутно — давно это было, те книги стали редкостью. Здесь, в эмиграции, как бы новая встреча. Общий облик, однако, все тот же, сильней только звук религиозности. Были ли мы тогда сами иные, он ли менялся, но *это* сейчас лучше слышишь. Замкнутость, немногословие, склонность к раздумьям в нем прежняя. Поэт он философской складки, мистик, благоговеющий перед Творцом, настроения молитвенного. Несколько однообразный, нелегкий, но без всякой дешевки и притязания на успех. Можно представить себе его путником, вот он шагает медлительно, опираясь на посох, по тропам не весьма гладким, но в гору. Вроде Сорделло, трубадура в Чистилище.

Иногда Тютчев вспоминается — по склонности к космическому, некой ночной тишине, возвышенной и отрешенной на-

строенности. Но в обаянии словесном кому угнаться за Тютчевым? И страстности, кипения тютчевского (в любви) тоже нет. Много стихов названо «Раздумья» — это любил Баратынский.

Но у Балтрушайтиса нет беспросветности. Он был сумрачен с виду (как и на портрете, открывающем книгу,— не считаю его удачным). Но это внешность. Конечное же в нем — поклонение, свет, Божество. И любовь. И вот это, в закатной полосе, особенно ему удавалось. К нему была направлена верная любовь, любовь шла и из его книги. Значит, и из жизни. Не терзающая страсть, как на закате Тютчева, а спокойная и примиренная любовь — боготворение и благодарность.

Пять стихотворений в «Лилии и Серпе» посвящены «Марии Б.» — все изошли из одного источника.

Ты принесла в мой путь, так часто тесный,
Как в ночь зарю —
И я тебя, мой день, мой свет небесный,
Боготворю!

* * *

К гордости, чести литературы русской и русской женщины, я вижу ряд преданных, смиренных в любви к ушедшим вдов. Имен не называю. Но бескорыстное благоговение их единит. Творчество ушедшего друга — их жизнь. Они собирают письма, тратят последнее на издание книг, пишут воспоминания, иногда обрабатывают недоконченное. «Если мне удастся выпустить в свет его труд, значит, Господь не напрасно дал эти годы жизни. Я спокойно уйду»,— это слова не Марии Ивановны, но она вполне могла бы их сказать (если и не говорила!).

Годами нести крест одинокой, достойной жизни, годами трудиться не для себя, а для славы ушедшего, годами хранить могилу, ее украшать, если можно, и памятник воздвигнуть: каменный или нерукотворный — годами оберегать память — это и есть та любовь, над которой ничто не властно.

...Мы возвратились в Париж в начале августа. На столе у меня лежала «Лилия и Серп» с надписью Марии Ивановны, начинавшейся словами: «Привет от Юргиса...»

Мы знали, что она плохо себя чувствовала еще в июле. Жена тотчас поехала к ней. Но, приехав, узнала, что уже два дня покоится она на Монружском кладбище, рядом со своим Юргисом: припадок сердца.

Слово в слово — «Я эту книгу выпущу и уйду».

1948

ВОЗВРАЩАЯСЬ ОТ ВСЕНОЩНОЙ

— Пойдем по rue de Passy,— сказала жена, когда мы спускались с крыльца, выходя из церкви.

Было половина восьмого, тихий августовский вечер. Сияние его теплело еще в перистых облачках — они высоки, легки. Розовеющее и зеленоватое господствует в небе.

Я не очень люблю rue de Passy. Она кажется мне несколько серой. Но жена не согласилась.

— Нет, помнишь, Бальмонт говорил: «это парижский Арбат». Правда, похоже.

Может быть,— я не стал спорить. И Бальмонт говорил что-то в этом роде...— ужасно давно, когда в первый раз мы попали в Париж, когда после деревенской Москвы мне казался этот город некиим Вавилоном, хотя мы ездили в нем на омнибусах, в фиакрах, а метро всего две линии существовало, и одна как раз доходила до Пасси.

Бальмонт жил на rue Singer, в двух шагах отсюда. Мы не раз у него обедали. В розоватом тумане из окна шестого этажа был виден Медон. Потом темнело, зажигались там огоньки. Бальмонт победно потрясал рыжеватой бородкой, повествовал что-нибудь об Уайльде или По, сердился на Метерлинка. («Этот жирный фламандец не был учтив с поэтом» — Метерлинк жил рядом и холодно его принял.) Екатерина Алексеевна спокойно, дружелюбно угощала нас.

— В сущности, это Пасси для нас вроде кладбища,— сказал я. Жена согласилась, и трудно, правда, было не согласиться. Ни Бальмонта нет, ни Екатерины Алексеевны, ни второй его жены, Елены Константиновны, да и многих других.

Мы шли медленно, по узенькому тротуару.

Париж безлюден. В этом есть свое очарование, прозрачная пустынность августа в столице. Вечер гас. Но принимал сочувственно, как бы приветливо. Этот вечер явно был расположен к нам и способствовал неколдовскому вызыванию теней. Нет,

это не заклинание. Просто — воспоминание: то, чему, может быть, и не следует предаваться, но иногда не поддаться трудно.

Вон там, на улице Colonel Bonnet, жили Мережковские, в доме, которого и вовсе не было в первый приезд наш сюда. Гиппиус полулежала в гостиной, покуривала папироску и читала. Дмитрий Сергеевич выходил в туфлях из кабинета — маленький, слегка сгорбленный, потирая рукой лоб. («Зина, а к чаю есть пирожные?» — «Не знаю, надо Володю спросить...» — пирожные пирожными, но до конца дней своих он трудился над Августинами, Паскалями...)

Тоже недалеко, на углу Raynouard и Chernoviz, заседал в пятом этаже «Илюша» Фондаминский, всем помогал, всех устраивал, мирил, был каким-то премудрым Соломоном «Современных записок» (вблизи гнездившихся, на rue Vineuse). Неистощима была его благожелательность к людям.

За спиною же у нас rue Scheffer, где тихо процветало замечательное книжное сокровище. Павел Николаевич Апостол собирал его десятки лет. Большеголовый, элегантно-невысокий, на тоненьких ножках, был он образцом порядочности и культуры, завсегдатай антикваров, аукционеров, букинистов. Редкостные Олеарии, Герберштейны, всякие старинные издания, роскошные и просто художественные, в превосходных переплетах украшали гостиную (книги на полках в три ряда вглубь!). Еврейское происхождение не мешало ему некогда служить в Париже по Министерству финансов (Императорскому русскому). Но Гитлер взглянул иначе. В последний раз видели мы Павла Николаевича в некоем убежище Ротшильда, за Лионским вокзалом — пленником немцев. (Кажется, в 43-м г.) Он от них и погиб, и супруга его, и библиотека. Погиб также Илюша. Вечная память и ему с женой, и Апостолу с Ольгой Николаевной.

А вот здесь, на rue Jean Bologne, прожили мы первые две недели эмигрантской жизни в Париже у Михаила Андреевича Осоргина, приятеля молодых лет, ныне покойного.

* * *

Русская зона Парижа простирается и на Отёй. Возвращаясь домой по метро, на станции Exelmans вспомнили о Шмелеве — недавно еще «обитал» он в этих краях.

Незадолго до кончины мы его навестили. Он сам отворил, не без трудности, потом зажег свет, лег на постель, худенький, слабый — весьма изменился. Выросла у него борода, небольшая, серебристо-седая, очень его украсившая.

Сначала говорил тихо, потом воодушевился, потрясал худым

пальцем, как бы заклинательно, бородка, и этот палец, и всклокоченные на голове волосы рисовали на стене остроугольную, прыгающую тень.

Всегда был Иван Сергеевич — густая, древняя Москва из Замоскворечья. Но в тот вечер особенно проступил в нем именно век Василия Блаженного. Даже крестился и ударял перстом в грудь так, как, наверно, делали давние его предки на папертях московских церквей при Иоанне Грозном.

Потом успокоился, встал. За ширмою надел бархатную куртку, волосы, бороду пригладил, сел в кресло к письменному столу и стал несколько другой — тихий и почти даже красивый (чего раньше не было). Во всяком случае, благообразный. Что-то в нем трогало и радовало.

— Если Господь даст жизни еще год, кончу роман...

И вновь перекрестился. И все, что ни говорил, было скромно и ласково. Мы тоже с ним были ласковы. На прощанье он подарил нам «Солнце мертвых» с дружеской надписью. И вот хорошо, простились мы братски.

А он умер скоро. Не год, а два месяца оставалось ему жизни. Скончался тоже благообразно, в православном монастырьке под Парижем.

Комнату его последнего вздоха хорошо знаю. Сам жил в ней не раз, когда и обители еще там не было. Но думал ли тогда, несколько лет назад, что именно в ней, в первый же день приезда «на отдых», скончается Иван Сергеевич Шмелев, который и знаком-то не был с тогдашним хозяином и владельцем усадьбы?

Значит же, где-то было написано: «Быть по сему».

* * *

Я довольно давно заметил, что четыре старых русских писателя, все из Москвы, все Россией рожденные и в ней сложившиеся, живут по линии метро Pont de Sevres — Montreuil. Бунин ближе всех к центру, затем Ремизов, Шмелев, дальше всех я. Теперь остался я один. Но это все ничего. Не вечно же тут жить. Не будет и меня. Жизнь идет — «жили-были». Не нами литература началась, не нами кончится. Все хорошо, все в порядке.

...Вот мы возвращаемся домой от всенощной. Всенощная эта отошла, но она вечна, так же будет звучать через сотни лет, так же будет в конце:

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

Хор так же ответит:

— Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.

Другие люди опустятся на колени. Но в этом ничего нет плохого. Нечего бунтовать. Мы уйдем, но все правильно. Ничего не случилось.

1950

ИТАЛИЯ

«1908» — РИМ

...Во Флоренции были мы в прошлом году в мае. Май, свет, радость — это Флоренция.

Рим — осень. Так оно и должно быть. Мы и прожили осень в Риме, близ Испанской лестницы у Монте Пинчио, снимали комнату у итальянцев, в какой-то огромной квартире. Опьянения и восторга Флоренции здесь не было. Серьезнее, строже, отчасти грустнее, всегда на пороге Вечности. Но вся жизнь и здесь — в нашей молодости, жажде красоты, поэзии, древностей. Думали ли тогда о чем ином? О России, даже о своих близких, там оставленных? Очень мало. Целый день по музеям, дворцам, руинам, катакомбам — не забыть бы еще какого фонтана знаменитого. Один день под темно-синеющим небом Рима, при прохладе, ясности и той великой тишине, которая была тогда в римской Кампанье,— такой день стóит года жизни обыденной.

Времени нет. Пока жив человек и не потускнел еще окончательно его мозг, бывшее полвека назад столь же живо, а то и живее вчерашнего.

Утро. Довольно раннее. Едем в вагончике трамвая за город, на виллу Адриана. Не быстро и как-то по-домашнему. Вокруг римская Кампанья, горы Сабинские в розоватом тумане, направо Фраскати на холмах своих виноградных, стройные цепи акведуков полуразрушенных, дикие поля — то мелкая травка на них, то просто ничего нет. Стада овец, пастухи с посохами в кожаных штанах — Кампанья времен Гоголя, Шатобриана, Стендаля. Собственно, это эпоха Авраама и Иакова. Великая тишина. Прообраз Вечности.

Вынимаю письмо. Из Москвы, рано подали, не успел еще распечатать. От Ивана Бунина. Он редактор альманахов «Земля», там моя повесть, вперед оплаченная, она и кормит, на нее странствуем.

Мне Бунин всегда художнически нравился. Изящный человек, худой, тонкий, барин средней России, давшей почти всю лите-

ратуру нашу. Не петербуржец, без всяких «мэтров», «измов», снобизмов. Характер нелегкий. Все равно нравился.

В юношеские мои годы я робел перед ним — и это было хорошо, правильно: он старший, и уже сложившийся художник. Но вот теперь, более оперившись и повзрослев, я несколько распустил хвост. Да и литературный оттенок иной: он вырос вполне на девятнадцатом веке, во мне было нечто и от модернизма (все-таки не избежишь «изма»: импрессионизм).

Не помню точно, что я ему написал из Рима (то ли насчет корректуры, некое нетерпение), но, видимо, в тоне повышенном. И вот проплывает серебристо-златистая, в утреннем благоухании Кампанья, безлюдие, вдалеке городок средневековый — Палестрина, или в этом роде нечто, а я читаю в письме приблизительно так: «Дорогой Борис Константинович, что с Вами? Почему такой тон? Требовательность такая? Если б не наши довольно уж давние добрые отношения, я бы по-иному ответил». Внушительно (и вполне мной заслуженно), все-таки сдержанно. А в конце: «кланяйтесь Вере».

Читаю и ничего не чувствую. Да, чепуха, какие-то пререкания, когда есть Рим, божественное это утро, сияющая Кампанья, рядом Вера, впереди вилла Адриана, где условлено встретиться с Павлом Муратовым, оттуда с ним и с Женей на виллу д'Эсте. Вот главное. Остальное пустяки.

Да, мы были в тот день на вилле Адриана, в опьянении некоем бродили среди обломков жилищ ее, по разным портикам, атриумам, заросшим плющом, видели водоемы,— все это двухтысячелетний сон, заплетенный зеленью, полный очарования неизъяснимого. Жил тут замечательный император, покоритель и победитель, был юноша Антиной божественной красоты, был и грех великий — чего, чего не видела вилла эта...— а теперь все сияет в блеске поэзии и руин, под вечным римским небом с плавающими в нем ястребами.

Мы, конечно, Муратова с Женей встретили — таких же, как мы, чудаков. Завтракали за убогим деревянным столиком, под открытым небом. Из скромной остерии носили нам скромные кушанья римской деревни, мы запивали эту козлятину, сыр, фрукты красным винцом и вдыхали благодать мира Божьего. Подошел к нам осел, стал рядом — принял за своих? У него выражение тоже было блаженное, вероятно, от тепла, солнца, сознания своей мужской силы, он вдруг закинул назад уши, прижал их и заревел таким диким истошным голосом, что мы покатились со смеху. Что ж, как мог и как умел, выразил ту же радость бытия, что и его соседи по столику. Только по-русски, к сожалению, не понимал.

На виллу д'Эсте, недалеко, пошли пешком. Там другой мир и другой век — фонтаны Ренессанса, божества вод, аллея льющихся струй. Хоть и другая эпоха, но воды все те же, что и в самом Риме — сухопутном городе великих вод.

Из садов виллы д'Эсте (она много выше виллы Адриана, на взгорье) открывается далекий вид. Снова мир особенный. Монте Соракто, Субиако, серо, голо, пустынно, там уже не император с Антиноями и не герцоги д'Эсте со своим роскошным дворцом и прославленными фонтанами — там монашество и отшельничество, это братья св. Франциска.

* * *

Так жили мы в Риме, беззаботно, беспечно. Был тогда там за Тибром, в высоком новом доме изящный Осоргин, тоже италофил, ерошивший себе на голове волосы, смеявшийся, припадавший на одно колено иногда пред дамами, написавший потом книгу итальянских очерков «Там, где был счастлив» — добрый товарищ и милейший человек. Был маленький ресторанчик Piccolo Uomo на Via Monte Brianza, недалеко от первого дворца Зинаиды Волконской (позже она купила себе другую виллу в Риме, прославленную, но довольно далеко).

В этом ресторанчике, под открытым небом, среди обломков старины и мелких статуэток в зеленых нишах, Осоргин, давнишний завсегдатай, ласково обнимал хозяина и припадал к нему, низенькому толстяку, коего потом воспел и он, и я сам. Это и был Piccolo Uomo, некий славный домашний лар Рима, кормивший за гроши художническую богему, немецких энтузиастов, русских литераторов, весь мелкий наш сброд. Художники дарили ему статуэтки, картинки, всякие пустяки, которыми он украшал свой летний сад и зимнее помещение. Была статуэтка-портрет и самого Piccolo Uomo, тоже стояла в нише. (Много позже видел я в Лондоне в старом ресторане статуэтку мистера Пикквика — будто бы Пикквик обедал в этом ресторане: тоже толстячок маленький, тоже в угловой нише, только более знаменитый, чем наш Piccolo Uomo.)

Сколько сил было и здоровья! Целый день на ногах — Ватикан, вилла Дориа Памфили, Музей Терм, Фарнезина, а то Монте Пинчио, прогулки после галереи Боргезе. Вид на Рим, запах лимонов на пригретом скате к площади, бессмертный фонтанчик с зеркалом горизонтальных вод. Вечером Café Greco на Vie Condotti, где Гете еще бывал, сиживал наш Гоголь. А позже, завалившись под перину на Via Belsiana близ Испанской лестницы — все тут же — никаких снотворных.

Café Greco мы любили. Старомодно, уютно, узкая комната, по стенам диванчики, перед ними столы. По стенам картины. Освещение газом.

Тут играл я в шахматы с итальянским профессором. Худощавый, изящный человек, чуть нас не погубивший.

— Поедемте вместе в Сицилию.

Жена моя, тут же сидевшая, очень воодушевилась.

— В Сицилию! Замечательно. Мы там никогда не были.

Договоримся окончательно через несколько дней. Ехать до Мессины, там дальше в Палермо, Таормину.

Спас нас эмигрант Фиц-Патрик. Попросил у меня взаймы — и сумму-то небольшую. Я дал. Но тут и выяснилось, что с деньгами туговато. Как бы не остаться без гроша на обратный путь. Ладно, Сицилия в следующий раз. Да нам и в Риме отлично.

Все же мы вскоре собрались домой. А профессор — в Сицилию. И сейчас же погиб, в знаменитом мессинском землетрясении.

А мы отступали на север. Италия полна была восторгом перед моряками эскадры нашей, стоявшей в Сицилии,— порыв, смелость в спасении погибавших, героизм наших матросов и офицеров поражали. Газеты полны ими. Истинная слава России!

Мы ехали почему-то через Германию — на Франкфурт, Берлин. Гонорар «Земли» кончился, надо спешно отступать, едва уносим ноги. Но вот Россия тогдашняя! Рядом с героизмом легкомыслие и беспечность изумительные (не удивляешься теперь, что такой склад жизни и развалился столь быстро).

В Варшаве сели, наконец, в прямой поезд на Москву. Кажется, полтора дня пути. Хорошо, ну мы — литературная богема, люди неосновательные. Но с нами, в том же вагоне, ехал один из директоров Румянцевского музея. Историк искусства. Возвращался из Равенны, изучал там мозаики, кажется, для работы об Айналове, русском «равеннисте». И вот у этого скромного и приятного человека не оказалось в Варшаве уже ни копейки денег, только билет до Москвы. У нас несколько рублей еще осталось. Равеннист должен был голодать полтора дня, мы кормили его в поезде — и узнали случайно, что он прожил все, увлекшись делом своим, в Равенне.

У нас не было в Москве квартиры. Не хватило даже денег на извозчика с вокзала. Но нас встретила сестра жены моей Таня, отвезла к себе на Сивцев Вражек. Дала приют — две комнатки.

* * *

Откуда брались деньги? Все-таки откуда-то брались. Больше авансами литературными.

В феврале на звонок вышел отпирать дверь я сам и увидел на крыльце заснеженного Ивана Бунина, того самого...— римского. Теперь он был в теплом пальто, меховой шапке, с меховым же воротником, весь занесенный снегом.

Встретились хорошо. Римская чепуха забылась — да я, видимо, написал ему оттуда же и другое письмо.

У меня в комнатке он сказал:

— Дорогой мой, вот какое дело. Графиня Варвара Бобринская устраивает журнал. Дайте что-нибудь для первого номера. Аванс получите.

Вот это и выход. Конечно, беру. Журнал даже и не осуществился, но златницы тут же и вынул Иван Алексеич (тогда были мы с ним еще на «вы»).

Что делать с этим авансом? Так вот и сидеть на Сивцевом Вражке, близ Арбата?

В конце марта я с женой и Сергей Кречетов («Гриф», издатель Блока, Бальмонта и сам поэт) — он тоже с женой Лидией, вместе укатили в Крым. Много еще сил, желаний. Мир велик. Всего не увидишь, а что можешь — вбирай. Крым не Италия, все-таки... (Чехова, к сожалению, ни в Ялте, ни на земле нашей уже не было.)

Вернулись тоже без гроша. Но на извозчика хватило.

1962

ЛАТИНСКОЕ НЕБО

К РИМУ

Поезд вышел из Сестри вечером, поздно. В темноте гремел по Генуэзской Ривьере — то влетаешь в туннель, то море бьет рядом о скалы, дышит влажным своим дыханием.

Край знакомый, прекрасный. Приходилось здесь жить, и сейчас семья в Кави близ Сестри, у моря.

Приближается Специя, военный порт. Его маяк всегда виден вечером из Виареджио. Виареджио — это молодость, давние времена. Май, солнце, купанье, кианти и беззаботность. Вдалеке, но своя — Россия, со всеми тульскими полями, перелесками, рощами Притыкина. В Виареджио, Пизе, Флоренции мы только гости, почитатели и поклонники. Когда кончатся деньги, сядем в поезд, через день в Москве, у себя дома.

Неизвестно, где мой дом теперь, осенью 1923 года, когда поезд летит мимо любимых мест к Риму.

В Риме Professore Lo Gatto, для нас Гектор Доминикович Логатто, неаполитанский пленник России, римский ученый, пестун русской культуры в Италии, устраивает нам чтения. Нам — горсти русских писателей, философов и ученых, оказавшихся за рубежом. Оттого мы и едем — кто из Германии, кто из Чехии, я из Кави. Что можем, везем. Бердяев, Франк, Вышеславцев философию. Муратов иконы (он читал позже нас, отдельно). Чупров, Новиков науку. Осоргин и я по литературной части.

В поезде ночью спать трудно. Не только потому, что неудобно. Впереди Рим! Это тоже часть жизни. Это юные странствия по церквам, катакомбам, по Аппиевой дороге, закаты на Монте Пинчио — мало ли еще что! Спокойным быть трудно.

Зеленоватая заря чуть брезжит. Мы за Ливорно. Места пустынные и дикие. Древняя Этрурия, колыбель чуть ли не всего искусства итальянского. Замедляем ход. Над приближающейся станцией хмурые утесы вдалеке, гора вздымается, какие-то зубцы, башни города — на зеленовато-розовеющем небе. Корнето!

Знаменитые саркофаги, загадочные этруски, невесть откуда взявшиеся со своим таинственным искусством. Все это повито в безмолвный утренний час тайною тысячелетнею суровостью, непроходимой пустынностью. Поезд стоит. Тихо. Совсем тихо. И под небом веронезовских шелков, в благоухании — тмином, горными травами — вдруг вдали вечный призыв: утренний петел, тот петел, что возглашал Апостолу две тысячи лет назад, возглашает и ныне в тульской деревне, и вот здесь, в тайном Корнето.

Рим подошел позже, ясным утром, в голубовато-золотистом сиянии. Незаметно и беззвучно приближался, себя не выставлял. «Мне не нужна картинность. Я и так велик. Если же покажусь не блестящим, не удивляйся: поймешь позже».

Но я знал Рим. Не удивлялся неказистости Stazione Termini, окружающих улиц, первого общего впечатления.

Носильщик взял мой литературный чемоданчик, взвалил на плечи и повел недалеко от вокзала в квартиру к знакомым: сдают комнату, и недорого.

От судьбы не уйдешь. Мы подымались на седьмой этаж, оказались в большой затхлой квартире римских Афанасия Иваныча и Пульхерии Ивановны. Все хорошо: и Мадонна над огромной кроватью, и бумажные цветы, и фотографии padre-madre в ракушках на комоде, и вековечная приветливость Италии. Пульхерия Ивановна, полная старушка, Афанасием Иванычем и тут управляла. Он жался в сторонке, распоряжалась она. Хочу ли я кофе? Хочу ли мыться? Удобна ли мне постель?

В комнате застоявшийся воздух, пахнет сладковатым, давним от вещей, тканей.

И когда отворил я оба окна, в голубоватой дали, нежно туманившейся, призрачной россыпью обозначилось на холмах Фраскати — как бы слегка дышавшее, струившееся в океане серебристого, светоносного воздуха. Римский покой, римская тишина!

Комната стоила не дешевле гостиничной. Место мало мне подходило, и сам подъем на седьмой этаж напоминал гору Чистилища. Но я остался. Рим так Рим. Это его народ, его жизнь.

ЧТЕНИЯ

Трудам, вниманию и заботам Гектора Доминиковича обязаны мы этим удивительным путешествием.

Еще из Флоренции я прислал в Рим свой текст. Логатто его перевел на итальянский язык. Здесь в Риме я тотчас

попал в его приветливые объятия, собственно в русский дом (жена его, Зоя Матвеевна, чистокровная русская). Но живость характера у него неаполитанская. Сто дел надо успеть сделать, приехавших опекать, приемы устраивать, давать сведения в прессу, не говоря уж об обычной работе в Институте Восточной Европы.

А теперь еще меня обучать. Дважды я читал ему вслух свой урок. Он поправлял и произношение, и особенно ударения.

Все мои сотоварищи остановились в отеле у Тибра, что-то вроде Альберго. Надо мною подсмеивались, что я Бог знает куда забрался, но все мы были оживлены, веселы, без устали гоняли по Риму (особенно Вышеславцев с женой и я), вечером вместе обедали недалеко от фонтана Треви, в ресторанчике «Est, est, est», знаменитом своим вином (длинная история, кажется, о кардинале каком-то, спросившем хорошего вина — по латинскому ответу и названо).

Бердяев, однако, и Франк предпочитали молочное, были верны своим яуртам. Но наша партия, с Вышеславцевым и Осоргиным, действовала по вину. Ученые предпочитали воду.

Не помню, кто из нас начал чтения. Но все старались, кто как мог. Бердяев, Франк, Вышеславцев читали по-французски. Осоргин, Чупров, я по-итальянски. Осоргин долго в Италии жил, очень любил ее, языком владел хорошо. Чупров, еще более «с бородкой», чем я, русский интеллигент с большой буквы, с милым простодушием произносил все итальянские буквы, как студент с Козихи или статистик из Рязани («ченни стори-чи, поли-ти-чи, эд эко-но-ми-чи»).

Выворачивался и я, как умел. Ударения все были размечены, усердия хоть отбавляй. Остальное предал я на волю Божию.

Целый час рассказывал о тогдашних писателях и литературе в России. Мы были пришельцами из загадочной страны. Наша жизнь в революцию для них фантастична. Голод и холод, чтения в шубах об Италии («Studio italiano» Муратова), торговля наша в Лавках писателей, книжки, от руки писанные за отсутствием (для нас) книгопечатания, наши пайки, салазки, на которых мы возили муку, сахар, баранину академического пайка,— все это воспринималось здесь как быт осады Рима при Велизарии.

Помню аудиторию Института Восточной Европы — не очень большую, но полную, много молодых лиц, студенты, дамы, литераторы, что-то очень сочувственное и созвучное. Я опасался этого вечера еще в Германии («на чужом языке...»). Но так хотелось побывать вновь в Италии, что Бог с ним, со страхом. И по-китайски согласился бы читать.

После чтения все устремились, конечно, в ресторан. Vino dei Castelli Romani, pollo arrosto...[1] — а Бердяев и Франк — яурт.

ГЕРЦОГИНЯ

Читали через день, два. У каждого своя манера. Бердяев говорил торжественно. Франк глубоко. Вышеславцев блестяще. Осоргин весело. Чупров простодушно. Все старались. В общем же получилось: не из одних деревообделочников состоит Россия.

Итальянцы относились к нам отлично. В римской прессе много, хорошо писали. Устраивались приемы, вокруг группы нашей сложился слой постоянных слушателей, сочувственных. Были некие и полуримские, полурусские друзья, странники, как и мы: вечный эмигрант Каффи, русский индус Сураварди — друг Художественного театра, нынче он в Риме, завтра будет читать в Калькутте — может быть, тоже о России.

Помню кое-кого из старомодных профессоров. Помню Ольгу Ивановну Синьорелли, мило нас принимавшую, и герцогиню с историческим именем — говорили, что ей принадлежат необъятные земли в Сицилии. И вот именно она, молодая еще барышня, как скромная курсистка, ходила нас слушать, а потом пригласила к себе в гости.

Это предприятие оказалось и несколько смелым. В Риме девушка высшего света не могла, собственно, принимать иностранцев, да еще без дам. Герцогиня проявила здесь своеволие (вроде русских аристократических барышень XIX века, знавшихся с нигилистами).

Мы нигилистами не были, но в огромном палаццо, где-то вблизи Корсо, нас провели непарадными лестницами наверх, в антресоли: личные апартаменты герцогини. Там все было просто, уютно. Небольшие комнаты, нехитрая обстановка, можно подумать, что в гостях у петербургской бестужевки, ученицы Гревса. Худенькая, черненькая герцогиня была серьезна, может быть, несколько и стеснялась северных медведей, может быть, и половины Сицилии своей пред интеллигентскими козлобородками стеснялась, но была приветлива и проста, хотя очень сдержанна. Угощала нас по-студенчески — вообще на Рим мало похоже.

Видимо, жаждала она знаний и «света». А уж всем ясно, что свет с востока.

Бердяев с пышной своей шевелюрой, галстук бабочкой, кар-

[1] Вино «Кастелли Романи», жареная курица... *(ит.)*

тинно раскинувшись в кресле, ораторствовал. Помогал Осоргин — ласковым и веселым разговором.

Все-таки получалось вроде театра. Театр симпатичный, но после него проще чувствуешь себя в «Est, est, est» или в кабачке у фонтана Треви, где выступает гитарист и ему аккомпанирует девочка-дочь. И потом по ночному Риму, мимо палаццо Барберини с пчелами в гербе, по улице Quattro fontane возвращаешься домой, на улицу Principe Amedeo, в мещанское пристанище Пульхерии Ивановны. Рим не был еще тогда так шумен, как теперь. Его ночная музыка, как полагается ему,— плеск нежных струй бесчисленных его фонтанов.

ХОД ИСТОРИИ

В юности моей Римом правили Джиолитти, Титтони — старомодные либералы. Носили эспаньолки, ездили в колясках. Строили бездарный памятник Виктору-Эммануилу. Как и мы сами тогда — думали, что вот и дальше так будет, трух-трух понемножку да потихоньку — «мирная эволюция».

Вышло не столь уж мирно. Не весьма мирно воевали, после войны всюду расклеен был в Италии на стенах древних руин Ленин. Потом опять изменилось. Даже в тихом нашем Кави появились молодые люди в черных рубашках, всегда готовые к «прямому действию»,— fascisticamente. Напевали они Giovinezz'y — фашистский гимн.

Много видел Рим на своем веку. Теперь в его пейзаж тоже влились эти черные рубашки, молодые, простовато-грубоватые.

На родине мы навидались товарищей. Эти — тоже товарищи, только навыворот. В первый раз встретился я с ними у Ватикана в ресторанчике. У них был в Риме съезд со всей Италии. Муссолини опьянял их фантазиями об Империи, о величии Италии. Они понаехали со всех концов, но в Риме, как провинциалы, держались довольно скромно.

И вот, близ Берниниевой колоннады, на фоне св. Петра, юный сосед по столику, в черной рубашке, спросил меня, как пройти ближе на Via Giulia. Я был горд — меня приняли за римлянина! Объяснил ему как умел. По мере того как говорил, на загорелом двадцатилетнем лице разливалось недоумение. Странный акцент! Может быть, я с юга Италии? (А он был из Бергамо.) Узнав, что я не из Апулии, а из Москвы, не без опасения на меня поглядел, вежливым, однако, быть продолжал. Но успокоился лишь когда я сказал, что я russo bianco.

В тот же день в гостиной Синьорелли слышал я впервые от мужа Ольги Ивановны, итальянского доктора, рассказ о том,

как Муссолини на их глазах овладел Римом (знаменитый «поход на Рим» — с горстью фашистов Муссолини пришел из Милана).

— Вот тут, у Porta Pia, и была баррикада...

Но ее никто не защищал. Удивительно, как легко стал Муссолини диктатором,— собственно потому, что все почтенные Милюковы Италии так же отцвели, как и у нас, сопротивления не оказали. У нас был Ильич, у них Муссолини. Столкнул их fascisticamente, не очень стесняясь, и решил, что создаст великую национально-трудовую Империю, мирового размаха.

Это были как раз медовые его дни: надежды, фантазии. Иной раз, завтракая с Вышеславцевым и Натальей Николаевной на Piazza Venezia, запивая белым фраскати удивительные pesci fritti, с любопытством поглядывали мы на Palazzo Venezia, где в необъятном зале-кабинете заседал этот Муссолини, обольщаясь несбыточным, не лучше Джиолитти и Титтони не угадывая будущего. Но и мы тогда никакого будущего не угадывали. А История шла своим ходом, никого не спрашиваясь, вознося и низвергая.

С капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды его кровавой...

И дальше:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...—

строки знаменитые. (Но я лично предпочитаю не роковые. Насмотрелись мы на эти «роковые».) Муссолини Тютчева не знал, имени его никогда не слышал. Но пришел как раз вовремя.

PALAZZO FARNESE

Вчера дочь французского посла показывала нам свои апартаменты в Палаццо Фарнезе с фресками Караччи..

Мы с Вышеславцевым страшно хохочем, до чего мы стали светскими людьми.

Рим, 6 ноября 1923 —
письмо в Кави жене

Старая часть Рима, закоулки, Campo di Fiori, via Giulia, будто бы и неказистые места, но каждый камень — история. На небольшой площади дворец Фарнезе, одно из чудес Рима. Знаменитые его карнизы, весь величественный и суровый облик

(отчасти детище Микель Анджело) — все мы снаружи его знаем, а кто был внутри? Там французское посольство. И фрески Караччи. Но смотреть их нельзя: посольство не музей. (Так было в 1923 году.)

Был серенький осенний день. Мы подходили к подъезду этого палаццо: Вышеславцев, его жена Наталья Николаевна и я — у нас были особые разрешения на осмотр.

Старый лакей в ливрее, штиблетах, с пробритым подбородком, как у наших капельдинеров в Большом театре, не торопясь повел по лестнице, потом еще куда-то через залы, смежные комнаты — в одной из них нам навстречу поднялась из-за письменного стола скромно одетая, интеллигентного вида девушка.

— Очень приятно. Я знала, что вы придете, меня известили. Вы хотите видеть Караччи?

Это была дочь французского посла.

— Будем очень благодарны.

Она поправила слегка на голове прическу, улыбнулась и повела нас еще через какие-то комнаты. Шли мы довольно долго. Она знала, что мы из России, бывала на чтениях наших, видимо, ими интересовалась. Да и вообще барышня образованная и культурная. Без всяких следов касты.

И вот она отворила дверь — мы оказались в длинной, неширокой зале-галерее. Свет, свет, свет... Просто все залито светом из огромных окон. Паркет устлан белейшими мягкими коврами. Такой чистоты и пуховости ковер, что жутко на него становиться — запачкаешь. Но какое он дает беззвучие!

Тут и находится знаменитая «роспись залы дворца Фарнезе» братьев Аннибале и Агостино Караччи.

Позднее дитя Ренессанса, конец XVI века. Называют Караччи эклектиками, наряду с Гвидо Рени, Доминикино. Другие — зачинателями (особенно Аннибале) барокко.

Так ли, иначе, все великое и главнейшее уже найдено. После Рафаэля, Тициана, Микель Анджело остается брать многое готовое, применять его к своему душевному складу. Аннибале Караччи был художник великого изящества и тонкости, с чертами даже нежности (это сильней выражено в нашей Луврской Мадонне и картинах Неаполитанского музея. Но и тут, у Фарнезе: Диана и Эндимион — при всей декоративности полно чувства).

Мифология! Вакх. Пан. Селена, Ариадна и Диана — все это переселилось в сияющую залу дворца Фарнезе (личные апартаменты посла), ведет здесь уединенную жизнь.

Хозяйка присела на небольшую скамеечку у стены.

— Я люблю эту залу и Аннибале Караччи. Иногда утром прихожу сюда и сижу тут подолгу.

В манере говорить, движениях, некоей задумчивости этой знатной, но и простой девушки осталось для меня нечто душевно близкое. «Три сестры» не слыхали никогда о Караччи, и в Риме им не бывать. Но если бы менее были они запрятаны в глушь, я бы не удивился, увидев Ольгу или Ирину в одиночестве и меланхолии любующимися Дианой и Эндимионом, вот как эта чужестранная их сестра.

Мы довольно долго бродили по бесшумным коврам, безмолвно в этой безмолвной зале — громко говорить и не подходило бы.

А потом хозяйка повела нас через другие комнаты.

— Тут вот можно взглянуть на Тибр.

Мы находились в столовой. Два лакея, помоложе приведшего нас сюда, накрывали на стол к завтраку. Тоже все было тихо и чинно. Слабо позвякивала посуда. Нежно сиял венецианский хрусталь графинов, бокалов. Темно-красные розы на столе.

Стеклянная дверь отворилась, мы вышли на террасу. Падавшие с каштановых деревьев листья, по-осеннему побуревшие, шелестели под ногой. Внизу, казалось совсем под террасой, катил воды Тибр, кофейно-мутный, вечный. По нем тоже плыли листья. Над ним, и над нами, и над всем Римом воздымался купол Апостола. Бледный луч солнца, на минуту открывшийся, прошелся и по куполу, и по Тибру.

НЕКИЕ МИНУТЫ

Бродим с Вышеславцевым у Тибра, выбираемся на другой берег, выше Фарнезины (откуда немало добра у Караччи — Рафаэль!). Подымаемся дальше памятника Гарибальди и виллы Дория Памфили, знаменитой анемонами своих лужаек.

Выходим и совсем из Рима. Для чего? Неизвестно. Просто дух бродяжничества и некоей восторженности. Все нравится! Все интересно. И Ватикан, и огороды, сразу тут начинающиеся. И вот этот тихий облачный римский день.

Сентябрский серенький денек,
И я, как прежде, одинок...

Нет, нынче мы не одиноки, это Андрей Белый так написал, а у нас, напротив, подъем. Мы воодушевлены. Рим. Италия...

— Борис Петрович, давайте тут и позавтракаем.

Я предложил первую попавшуюся корчму, с деревянными скамейками, рабочие тянули из горлышка вино. Вышеславцев нашел, что это уж слишком, можно получше. Прошли дальше,

выбрали остерию почище, но тоже сидели под открытым небом и тоже на деревянной скамейке у стола без скатерти. Тоже кругом огороды, кочны капусты, над нею, совсем вблизи, будто из-под земли (нижняя часть собора закрыта холмом), воздвигается купол св. Петра.

Это все было. И остерия. Вышеславцевы, и Рим, и огороды, и Ватикан. А кажется примерещившимся. Но напрасно. Это просто былое. Как был в тот же день небольшой прием у Синьорелли, с Логатто и профессорами итальянскими. И Пиранделло спросил у меня, самый ли замечательный наш драматург Евреинов?

Так же не сон и тот вечер, когда Сураварди водил нас с Осоргиным в гости к художнику, женатому на шведской журналистке. Близ самого Ватикана мы спускались при звездном небе в какой-то ложок, где в старинном небольшом доме жили художники. Пахло лимонными деревьями, теплой сыростью Рима. Шаги в полутьме дворика звучали по плитам. В двух освещенных комнатах, куда мы попали, выходивших окнами на косогор, было светло и весело. Пили вино. Я играл в шахматы со шведкой. Над косогором, каким-то садом по нем, заросшим всяким благоуханным добром, воздымался вездесущий Петр. Огромная звезда зацеплялась недалеко от его темного профиля за веточку олеандра. Все это, конечно, было.

* * *

Решено, что теперь мы, приезжие, даем маленький дружеский обед Логатто и близким итальянцам. Я и Каффи оказались дуумвирами по ресторану: нам поручили его найти, сговориться, создать и заказать меню.

Худой, остроугольный Каффи, вечный странник и эмигрант, Россией раненный (а сам итальянец), римлянин с русской прослойкой, выбирал тщательно: чтоб и недорого и прилично. Я прилично ему сопутствовал.

И в назначенный вечер узкая комната ресторанчика со стекляшками на висящих нитях у входа наполнилась братией нашей — на почетном месте Гектор Доминикович, вперемежку русские и итальянцы. Начался весело-бестолковый симпозион, никак не похожий на порядочные западноевропейские литературные обеды. Сколько съедено было макарон! Пострадали и куры, и агнцы, и сыры (горгонзола главнейше). Оплетенные фиаски с красным содержимым появлялись, уходили. Даже Бердяев, Франк не могли же чокаться с Логатто молоком.

Все это прошумело тоже и прошло, оставив легкий и веселый след.

ОТПЛЫТИЕ

Requiem aeternam...[1]

Тридцать три года — время человеку созреть, да и умереть. Мир сотрясался, государства перестраивались. Новые смерчи возникали, проходили.

Мы, тогдашние гости тогдашнего Рима, разъехались по домам — кто в Париж, кто в Германию, Чехословакию. Ничьи судьбы, слава Создателю, от нас не зависели: ни народов, ни государств. Как умели мы жили, радовались, страдали и умирали. Ясно вижу всех наших тогдашних: южнорусского живописного Бердяева, немногословно-глубокого Франка, Вышеславцева, артистичного и элегантного, изящную Наталью Николаевну, красивого Осоргина, странника Каффи, темноцветного Сураварди, простодушного Чупрова, серьезного Новикова.

Время не напрасно проходило. Его дело — приносить и уносить. Вместо нас оно приносит новых, мало нам известных. Но вполне известны те, кого уносит.

Рим изменился с тех пор, но на то он и Рим, чтобы, меняясь, оставаться вечным. Купол св. Петра виден по-прежнему ранее города. Ватикан непоколебим.

Мы, случайные и счастливые гости, сколько дано было кому, прожили.

1956—1964

---

[1] Вечный покой... *(лат)*

КОНЕЦ ПЕТРАРКИ

Сергею Эрнсту

Помню с юношеских еще времен путь от Падуи на Болонью: равнина с полосами пшеницы, гирляндами виноградных лоз от яблони до яблони по межам, иногда ковры красных маков. Поезд, treno omnibus с поперечными отделениями в вагонах, не торопится. Третий класс, итальянские крестьяне с загорелыми лицами — глаза кажутся на них светлее. Нехитрая добродушная болтовня. Кудахтанье курицы в кошелке, смех молоденьких черноглазых синьорин.

На станциях предлагают оплетенные фиасочки кианти.

— Ferrara, Ravenna, Rimini si cambia!

Так выкликали пересадку благодушные кондуктора под главенством capo della stazione, усатого начальника станции в красной фуражке, как у нас во времена чеховские.

Нам, по молодости лет и незнанию языка, казалось, что кроме Феррары и Римини, есть еще и неведомый городок Сикамбия, куда тоже можно проехать (а это значит просто «пересадка»).

И вот в некое время появляются к югу от Падуи холмы — невысокие, но весьма приятные. Мягкие и изящные, в виноградниках, по ним небольшие селенья — дальше городок Монселиче, опять остановка, снова кианти и Сикамбия.

Дальняя тишина Альп, почти фантастических, это одно, таинственный надземный мир. Эти возвышенности *свои,* это часть здешнего пейзажа, здешней жизни: Евганейские холмы. Отсюда недалеко и до родины Вергилия. Здесь бродил некогда Уго Фосколо. Шелли упоминает о них. Эти края не могут не нравиться поэтам.

Недалеко от Монселиче, в стороне от дороги, выбрал себе Петрарка последнее пристанище: местечко Аркуа, конец страннической и одинокой его жизни.

* * *

«Я был зачат в изгнании и родился в изгнании»,— сказал он о себе. Биограф добавляет: «Он и остался изгнанником».

Гражданские войны не с наших времен существуют. В век Данте и Петрарки были они чуть не общим правилом (в средней Италии). Одна половина горожан выгоняла другую, потом наоборот.

Собственно, настоящим изгнанником был отец Петрарки, нотариус мессер Петракко из Ареццо, принимавший участие в междоусобице. Из-за нее ребенок Франческо, будущий поэт, и лишился родины, попал в Авиньон, где основалась вся семья. Там и вырос, прославился, в Воклюзе близ Авиньона провел лучшие годы и лишь пятидесяти лет, уже знаменитым, увидел Италию.

Изгнание его было не такое, как у Данте. Никто ему не угрожал, опасности он не подвергался. Напротив, был даже увенчан в Риме на Капитолии.

Переписывался с папой, королями и кардиналами, слава его была необычайна. Верхи ценили в нем, может быть, более эрудита, знатока древностей, итальянские же его стихи доходили (без книгопечатания) и до простых людей. Что мог знать о нем, кроме канцон о Лауре, слепой из городка Понтремоли? А вот именно он и отправился в дальнее странствие только затем, чтобы «услышать голос Петрарки и дышать тем же воздухом, что и он». Или скромный ювелир — поклонник из Бергамо? У Петрарки было много почитателей.

Он любил славу, но глубоко чувствовал смерть и вечность, в зрелом возрасте вел жизнь полумонашескую, молился не только днем, но вставал и ночью,— всегда каялся и даже поклонение Лауре считал слабостью.

После разных скитаний по Италии поселился, наконец, в этом Аркуа, на Евганейских холмах, с дочерью и ее семьей.

Передо мной фотография дома Петрарки. В те времена строили основательно: дом простоял шестьсот лет — теперь в нем нечто вроде музея. Дом одноэтажный, простой, с черепичною крышей, лоджией — балконом в сад, густо разросшийся, где чувствую присутствие лавровых деревьев. Окна старинные, овальные. Со строгого бокового фасада смотрит балконная дверь — суховато смотрит, и только балкончик украшен лирообразной железной решеткой — очень изящно, мелочь, говорящая о стране искусств. Из-за угла крыши виден кусочек одного из тех Евганейских холмов, что нравились мне еще в молодости.

Петрарка был уже стар. Главная его радость теперь — книги, писание. Здесь написал он «Триумф Вечности», заключительную часть «Триумфов» — поэм видений. Каждый Триумф поглощает предыдущий. Любовь господствует над всеми людьми, сам поэт был подвержен ей. Но Целомудрие, под видом Лауры, побеждает Любовь. Смерть торжествует над всем вообще, даже над Добродетелью. Дальше идут Слава, переживающая Смерть, но Время одолевает и Славу. А все упокояется в Вечности, возводящей на небо к Богу.

Если всегда много думал о смерти — еще в Воклюзе, ложась спать, не был уверен, встанет ли утром,— то здесь конец жизни сильно придвинулся. Одолевали старческие немощи, но он духом не падал. «Я живу, дорогой брат, без шума, без путешествий, без забот, всегда читаю и пишу, благодарю Бога и за счастье, и за недуги мои, которые, если не ошибаюсь, не в наказание мне даны, а для постоянного испытания». Просит у Бога «доброго конца» и отпущения «грехов юности».

И какой писатель в этом полумонахе! Сколь древний прародитель всего нашего сословия!

Друг его Боккаччио пишет ему из Чертальдо, вблизи Флоренции — его беспокоит, что Петрарка много работает. Но тот полагает, что так и надо. «Постоянный труд и прилежание — пища моей души. Если я прекращу и стану отдыхать, то скоро прекратится моя жизнь» — правило, кажется, вековечное для преданных своему делу. И еще, тоже всегдашний завет для братии нашей: «Нет бремени легче, чем перо, и нет более приятного».

Этим пером некогда были написаны, еще в Провансе, те сонеты и канцоны «На жизнь Мадонны Лауры», «На смерть Мадонны Лауры», которые обессмертили его имя. Он писал их по-итальянски и как будто стеснялся, что не по-латыни. В старости всю эту любовь к Лауре считал грехом и писал длинные латинские поэмы, вполне забытые.

И вот теперь, в скромно-прелестном Аркуа, стране отличного вина, средь виноградников, олив, с дальними видами на равнину в сребристой дымке, в обрамлении Альп, он трудился, кроме «Триумфов», и над «Жизнью Цезаря».

В Цезаре заключалось некое душевное его изгнание. Он Италию обожал, но видел ее сквозь Древний Рим, хотел ее «как великое государство». Подобно Данте, ждал какого-то императора, сильную власть, которая объединила бы и привела в порядок страну прекрасную, но раздираемую распрями. Как произошло с Данте, как бывало и с другими изгнанниками, надежды его на иностранцев не оправдались. Как и у Данте, политика не удалась, поэзия же осталась бессмертной.

В Аркуа, впрочем, политикой он уже не занимался. Кроме литературы привязан был к семье дочери, очень любил маленьких внуков. Смерть одного из них переживал как великое горе.

* * *

Был еще один род литературы, которому он предавался здесь, как и в прежние времена, усиленно,— письма. Его письма ставятся вообще высоко, в один ряд с Цицероновыми, то есть в мировой ряд. Он любил эту форму, писал много, охотно отделывал и переписывал. До нас дошло пятьсот писем его. Они рано прославились, еще при его жизни.

В самом Аркуа жили тихо, с оттенком идиллии. Но вокруг не было покоя. Постоянно шли мелкие войны. Тут уже не грабители, а воинские заставы осматривали багаж проезжавших. Петрарка иногда нарочно не запечатывал писем — пусть прочитают, поучатся.

От последних месяцев жизни его здесь, в Аркуа, сохранились письма к Боккаччио в Чертальдо.

«Что касается меня, то из следующего за этим письма ты увидишь, как я далек от твоих советов быть ленивым. Я не довольствуюсь своими огромными предприятиями, на которые не хватило бы моей жизни, если даже ее удвоить. Постоянно ищу новых и новых трудов, настолько ужасна для меня дремота и вялость праздности...»

«...Да, теперь-то мне и кажется, что я начинаю — что бы вы обо мне ни думали — ты и другие — вот мое мнение о себе самом. И если, среди всего этого, придет конец моей жизни, который, конечно, не может быть очень далек,— я бы предпочел, не скрою, найти в конце жизни юность. Но как в моем положении это невозможно — я желаю, чтобы смерть застала меня за чтением, писанием или еще лучше, если угодно Господу Иисусу, за молитвой, в слезах».

После этого письма он написал Боккаччио еще одно, предсмертное. (Предыдущие пролежали у него два месяца: не находилось никого, кто мог бы доставить их в Чертальдо,— очевидно, дороги были слишком опасны.)

Это третье письмо показывает и трудничество последних его дней, и любовь к Боккаччио: он перевел на латинский язык и отправил другу перевод знаменитой заключительной его новеллы (из «Декамерона») о Гризельде, прославление женского терпения и смирения. Боккаччио не всегда писал легкомысленное!

В Национальной библиотеке есть экземпляр последнего произведения Петрарки «Жизнь Цезаря». По нем видно, как на-

двигался на него недуг, как портился почерк и как упорно боролся Петрарка: начало каждого дня крепче, к вечеру он устает, и рука слабеет. 20 июля 1374 года, в день своего рождения (ему исполнилось семьдесят), Петрарка найден был за письменным столом без сознания. Не приходя в себя, скончался.

А некая страница «Жизни Цезаря» так и осталась недописанной. С первых строк ее рукопись обрывается на полуфразе. Это и была смерть, умер он воистину, как полагается писателю. С тем, что любил, в чем прожил жизнь.

* * *

В то первое свое путешествие я слишком мало знал о Петрарке, и Евганейские холмы прошли просто изящными видениями.

Но позже, в той же Флоренции, куда мы тогда неторопливо пробирались (в Болонье тоже была сикамбия),— именно во Флоренции я и купил томик его стихов. Это случилось на одном из скромно-бессмертных мест мира, на небольшой площади церкви Сан Лоренцо. В церкви этой «Ночь» и другие творения Микель Анджело, рядом библиотека Лауренциана, на площади старый кондотьер Джиованни делле Банде Нере сидит на вросшем в землю пьедестале. Тут же рынок, торговали мылом, гребешками, висели красные шубы для извозчиков с собачьими воротниками, по тринадцати лир шуба. Стояли и ларьки с книгами. Оттуда родом мой Петрарка — нехитрое издание, но в переплете с корешком ослиной светлой кожи. Он уехал со мной в Россию, долго там жил. По нем я несколько и вошел в его мир. Книжечка же с пергаментным переплетом погибла в России, в революцию. Но поэтический след остался — и в ранних моих писаниях, и в душе, в воспоминании о страшных годах. Такой спутник помогал тогда. («Звон светло-серебряный стиха Петрарки».)

И теперь, вдали от родины и от Италии, вновь донеслась о нем весть. Глядя на изображение его дома, дружеской рукой присланное из Аркуа, на листик из его сада (сентиментально, но неплохо), думаешь о том, что все-таки еще хотелось бы побывать в тех местах — порадоваться на Евганейские холмы, с маленькой станции съездить на деревенском автобусе или на извозчике в недалекое Аркуа. Побывать в доме и комнатах Петрарки, посмотреть на кресло, где он сидел. По улице спуститься вниз к церкви, где на деревенском кладбище упокоились его останки,— могильный памятник розового мрамора увенчан небольшим бюстом Петрарки.

1954

«ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ»

Памяти П. П. Муратова

МАНТУЯ

«Мы приближались к Мантуе. Жаркий августовский день был готов разразиться грозой. Навстречу бегу поезда быстро двигалась сошедшая с Альп сизая туча».

Так описывал мой покойный друг Павел Муратов свое приближение к Мантуе. Немало в свое время странствовали мы с ним по Италии, но вот в Мантуе он был один — впрочем, вообще гораздо больше путешествовал, чем я (три тома «Образов Италии» — незабвенная в нашей литературе книга о стране этой).

Я не был никогда в Мантуе, но присутствие ее художническое и духовное чувствую. Этот странный город среди озер и болот, край Вергилия («O anima cortese Mantovana»[1] — Данте), город, прикрытый озерами и болотами, если и не вполне так, как лагуною Венеция,— я ощущаю его уединенное величие, связанное с искусством, культурой, наукою. Таинственное место, где маркизы Гонзага создали удивительное гнездо просвещения и мирного творчества. Мантуя, как Феррара и Урбино,— именно излучение искусств, нечто высшее распрей политики.

Мантенья, придворный художник маркиза Лодовико, провел почти всю великую свою жизнь в этой Мантуе. В старом гонзаговском прибежище, Castello, в зале Camera del Sposl, увековечил их семью. Какое спокойствие всей композиции! Какое величие! Как будто ни бурь не бывает здесь, ни страстей, ни страданий (сравнительно с другими, мантуанский двор, действительно, был более благополучен).

Лодовико важно беседует со склонившимся к его креслу министром, Барбара, жена, задумчиво смотрит вдаль, юноши,

[1] «О мантуанца чистая душа» *(ит.)*

дети, все в полном покое и торжественности, даже широколицая карлица невозмутима. А писал это Андреа Мантенья, человек вовсе не такой уж спокойный, нелегкий, с тяжелым характером. В творчестве же своем удивительно ровен, величествен, всегда склонен к грандиозно-классическому. Это человек более античного мира, чем христианского. (Изобразил S. Giacomo, исцеляющего калеку на фоне могучей римской арки. Монументальные солдаты вокруг, знамена, скромный святой как-то затерт среди них — Мантенье он, разумеется, менее интересен, чем они.)

Гонзаги прочно засели в Мантуе и прочно насаждали культуру. Три типографии, знаменитый педагог Витторино да Фельтре — к нему съезжались ученики и ученицы со всей Европы. (Сам Лодовико был его учеником и сохранил к нему такое уважение, что, уже будучи государем, не садился в его присутствии.)

Музей древностей, художники как Пизанелло, Мантенья, Донателло, проживший у них два года, архитектор Леон Баттиста Альберти, изящный, как творения его, как будто с лицом нашего времени — скромного писателя или художника. Позже — Джулио Романо, тоже много здесь поработавший. Так что целый цветник...

* * *

Страшной грозой встретила Мантуя Муратова, ливнем, не охладившим ночи в душной комнате гостиницы, с кисейными занавесками от москитов (кто не мучился летом в Венеции от этих zanzara!) — но как идет Мантуе озерно-болотной эта духота летняя, грозы, москиты...

Утро дало русскому пилигриму солнечную, сияющую Мантую, детище этих Гонзага (вовсе и не так богатых: чтобы вовремя заплатить Мантенье, маркизу пришлось заложить фамильные драгоценности, впрочем, папа Иннокентий VIII закладывал свою тиару, таково было время!).

Особый блеск Мантуи — при внуке Лодовико, Франческо Гонзага, женатом на Изабелле д'Эсте, женщине знаменитой, воплощавшей в себе дух Ренессанса со стороны культуры и меценатского собирательства. Всю жизнь отдала она собиранию художеств, покровительству искусству, заказывала картины, привлекала художников, поощряла, порицала, если не нравилось заказанное. И хорошо сделала, конечно, заменив этим семейную жизнь и любовь (как будто и вообще не ее это область). Хорошо, что она была больше интеллектуальной женщиной, чем женщиной чувства: муж ее, Франческо, некое исключение у Гон-

зага,— с виду настоящий пес (по крайней мере, такой на бюсте Джулио Романо — не знаю уж, нравился ли он себе в таком изображении). Лохматый, грубый вояка, занимался охотами, любовницами. Был генералом венецианских войск в битве при Форнуово против французов Карла VIII. Под его началом была полудикая конница далматинская, он обещал по десяти скуди за каждую голову француза — воображаю, что выделывали эти головорезы! Битва была кровавая, и обе стороны считали себя победителями.

Мантенья увековечил и этого Франческо.

«Madonna della Vittoria» (Лувр) — в великолепной капелле Мадонна с видом королевы благословляет стоящего у ее трона на коленях, в воинских доспехах курносого Франческо Гонзага. И даже Младенец на ее руках благосклонно взирает на него.

Но вот сложность и пестрота бытия! Его родная сестра, герцогиня Елизавета Урбинская, ни во что поставила бы этих долматинцев — изящная и тихая, друг Изабеллы д'Эсте, собирает у себя цвет тогдашней элиты духовной.

А Цецилия Гонзага, в самой Мантуе! Правда, она раньше его жила, все же в той же Мантуе. Такой Франческо, и смиренная юная праведница с именем знаменитой христианской мученицы.

Училась она у того же Витторино да Фельтре. Была девушкой необычайных способностей и одаренности, ненадолго залетела в мир Мантуи, скончалась совсем юной. Но след оставила — одна из красот Мантуи. Люди проходят, шум, слава, богатство...— искусство остается. Его тихий иногда голос слышен через столетия. Эту Цецилию, еще отроковицей беседовавшей по-латыни на богословские темы, увековечил Пизанелло, расписавший залы в Кастелло Гонзага, особенно прославленный медалями своими.

Она изображена на его медали — тонкий и длинный профиль, огромный пучок волос на затылке, высокая изящная шея, девический стан, платье вроде хитона, прямыми складками ниспадающее. Нечто кроткое, далекое от грохота и треска жизни, именно тихая мантуанская праведница, ненадолго залетевшая в этот мир. Недаром ценил и любил ее так Витторино да Фельтре, ее учитель, основатель «Пансиона» Casa Gioisa — Дома Радости, где преподавал он европейскому юношеству в мире, любви, играх, прогулках, общении с природой вершины науки, философии, поэзии. Конечно, Цецилия наизусть знала отрывки Вергилия, поклонялась Платону и пифагорейцам.

На обратной стороне той же медали изобразил Пизанелло Цецилию более таинственно и еще более обаятельно: юная дева, с едва прикрытым худеньким телом, опирается правой рукой

на покорного, мирного единорога, вполне ей подвластного. Его рог торчит горизонтально, несколько нелепо, но сам он, со смиренной своей мордой, длинной шерстью на теле, так же трогателен, как и дева, на него опирающаяся. Единорог — символ мудрости. Вдали вулканические горы. Загадочный полумесяц в таинственном тумане освещает это общение девы с мудростью, вблизи стелы, на которой Пизанелло и свое имя не забыл начертать.

Вот такою-то, от величественного Мантеньи, через просвещенных Гонзага и Изабеллы д'Эсте, до смиренной Цецилии, и была Мантуя, замечательная и мало заметная среди своих озер и болот — город искусств и культуры. Не довелось его видеть, ощущаешь отраженно.

УРБИНО

«Царство солнца, тишины и одиночества»,— говорит Сизеранн. В том же духе и Муратов. «Есть нечто бесконечно прекрасное в этом дворце (Урбинском.— *Б. З.*)... озаряющее золотым отблеском чистейшего Ренессанса приветливое и тихое Урбино».

Верю на слово, вполне верю, как и в то, что не случайно родился именно в Урбино Рафаэль.

Но тоже не довелось видеть ни этого дворца, ни пейзажа урбинского, ни горы Монте-Катриа.

А «лично» с Урбино все-таки был связан, в давние годы, еще в России, в деревне, и через Рафаэля, и через книги.

Как и в Мантуе — да как и вообще в мире,— удивительные контрасты. Глава, «слава Урбино» — герцог Федериго да Монтефельтре, воин, кондотьер на службе у Венеции, у папы, у кого угодно. Замечательный полководец, набожный человек и величайший любитель наук и искусств. Собственно, и войсками-то командовал, чтобы зарабатывать на книги и художества. Лучшая библиотека тогдашней Европы! Федериго этот «покраснел бы от стыда», если бы в его библиотеке нашлась хоть одна напечатанная книга: все драгоценные рукописи, с художественными миниатюрами, всегда редкости, иногда уники.

При дворе работал Пьеро-делла-Франческо и передал нам облики самого Федериго и жены его Баттисты Сфорца на знаменитом профильном диптихе во Флоренции (Уффици). Иначе как в профиль Федериго и не напишешь: другой глаз его выбит копьем на турнире — суровый, умный профиль и так-то обезображен ущельем у переносицы. На него смотрит другой, женский профиль некрасивой, смиренной женщины, его

жены, подвижницы и мученицы материнства. Эта Баттиста Сфорца, как и Цецилия Гонзага, тоже была ученейшая женщина, тоже с юности могла говорить с папой римским по-латыни. Тринадцати лет была выдана замуж, с пятнадцати начала рожать — каждый год по дочери (а Федериго мечтал о наследнике). Молилась св. Убальдо, чтобы родить сына. И родила, наконец, после семи дочерей. Видела пред рождением его вещий сон — Феникс улетая к солнцу. Поняла — смерть. Но она и молила только о сыне, не о себе. Родила и умерла. Было ей двадцать пять лет.

Она родила слабенького, хилого и несчастного Гвидобальдо Урбинского. (Ему дали имя в честь давнего предка Гвидо, которого Данте запрятал в ад, и в честь св. Убальдо, помогшего ему — на его же горе,— увидеть свет Божий. Опять удивительное сопоставление: великий грешник соединен в одном слове со святым.)

Юст Гандский изобразил герцога Федериго в кресле, читающим священную книгу. Рядом с грандиозом его и доспехов его воинских маленький мальчик с кротким лицом держит в ручке скипетр — это «наследник», Гвидобальдо.

* * *

Некогда, увлекаясь Урбино и жизнью его высокопросвещенного двора, собирался я даже написать нечто из того времени, вроде повести — о не подходившем к эпохе, незадачливом и безответном Гвидобальдо, о жене его, Елизавете Гонзага, родной сестре лохматого пса Франческо — тоже ничего общего не имевшей с братом, тоже болезненной и очаровательной, образованнейшей и утонченной герцогини Елизаветы, нежной подруги Изабеллы д'Эсте.

Повесть не написалась, но в воздухе Урбино жил я довольно долго, находясь в глуши Тульской губернии. Во время революции.

Как бы то ни было, но по смерти носатого Федериго герцогом Урбинским стал Гвидобальдо, и если войнами не занимался, то художники, ученые, поэты процветали при дворе Урбинском. Бородатый граф Кастильоне, чей портрет рафаэлевский висит в Лувре, описал в книге своей «Il Corteggiano» («Придворный») жизнь и изящные бдения вечерние этого двора.

Удивительно было читать при раскатах революции русской о кардинале Бембо, Чезаре Гонзага, самом Кастильоне, Пьеро делла Франческо и Юсте Гандском из Нидерландов, о философско-поэтических вечерах у герцогини Елизаветы, где гово-

рилось о любви, Платоне, высших реальностях бытия. Гвидобальдо где-то за сценой, его не видно, но он тут, тоже изящный и просвещенный, неблистательный и никак не правитель (наш «Царь Федор»: — «Я царь или не царь?»).

Несчастлив он был и в политике, и в сердечной жизни — родился как бы полумужчиной, мог больше только говорить об эросе, да слушать о нем, да покровительствовать художникам.

Как напомнил мне все это отрывок русского перевода «Corteggiano», попавшийся мне здесь! (В Притыкине я читал его по-итальянски.) «Синьор Гаспаро уже собрался ему отвечать, но герцогиня сказала, что пусть будет судьей им мессер Пьетро Бембо и на его решение останется спор их: способны ли женщины испытывать любовь божественную так же, как мужчины, или же нет?» (Дело происходит на вечере-диспуте у герцогини Елизаветы Урбинской.)

Герцогиня предложила отложить прения «до завтра», но Чезаре Гонзага возразил, что «вернее — до нынешнего вечера». Оказалось, наступило уже утро. Они не заметили этого. Лишь когда Елизавета отдернула занавеси, из окна ясно показалась вершина Монте-Катриа. «Они увидели, что на востоке уже занялась прекрасная розовая заря и что исчезли все звезды, кроме сладостной правительницы небес Венеры, которая царствует на границах дня и ночи» (перевод П. Муратова).

Радостно мне было увидеть вновь эти строки, в итальянской одежде волновавшие более сорока лет назад в глуши русской деревни. Повести не получилось, но в душе светлый след остался.

А мирная жизнь Урбино с Платоном, Бембо, звездой Венерой продолжалась недолго: хищник Цезарь Борджиа слопал это герцогство. Гвидобальдо и Елизавета стали изгнанниками — хорошо еще, что уцелели! Если не ошибаюсь, приютила их Изабелла д'Эсте в Мантуе. Библиотека покойного Федериго уцелела — его бесценные манускрипты на пергаменте, в бархате, с редкостными миниатюрами попали в Ватикан и доныне целы.

1962

«ЧЕГО УЖЕ НЕ УВИДИШЬ»

За все благодарите.
Ап. Павел

Был некий день во Флоренции XV века, когда несколько скромных художников в плащах и деревянных башмаках стояли на площади Санта Мария дель Фиоре, разговаривая о памятниках древности. Нехитро одетые, некоторые из них прославили свое имя навсегда. Донателло только что побывал в Риме, оттуда вернулся через Орвието и Кортону — видел знаменитый Орвиетский собор, а в Кортоне поразил его удивительный мраморный сосуд в церкви, украшенный скульптурой.

Брунеллески, выслушав рассказ Донателло, так воодушевился, что, не говоря ни слова, как был в своих деревянных башмаках и плаще, в тот же день отправился пешком в Кортону. Верст полтораста! Просто пропал Брунеллески, приятели удивлялись, куда он девался, но он преспокойно появился через некое время: сделал и принес с собой рисунок сосуда. Взад-вперед чуть не триста верст, зато радостный улов. Это был XV итальянский век, радостный улов талантов, творчества, энтузиазма.

КОРТОНА

Дорога из Флоренции в Рим идет через Ареццо, потом подходит Тразименское озеро. Сколько раз приходилось проезжать по этой дороге и, не доезжая до озера, на тоскано-умбрийской уже земле видеть справа на возвышенности небольшой городок, как бы увенчивающий ее собою. Вроде правильного трехугольника получалось, гармоничное и уединенное — версты две-три в сторону от главного пути. Вид этой Кортоны говорит: «я сама по себе, у меня свои храмы, есть лесистые обрывы, я живу тихой жизнью, но в церквах моих можно кое-что посмотреть, кроме сосуда, из-за которого Филиппо пропутешествовал некогда сюда пешечком».

Кортона всегда, странным образом, тянула к себе — и так и не пришлось побывать в ней. А попасть туда можно было проще, чем во времена Брунеллески.

Там родился и прожил жизнь (отлучаясь, конечно, для работ и в другие города) Лука Синьорелли, там оставил одно из лучших своих произведений, там работал Беато Анджелико, тихий, милый и скромный монах-художник, которому папа предлагал быть архиепископом флорентинским, но он предпочел оставаться со своими Мадоннами, ангелами, играющими на трубах, нежностью и небесной лазурью фресок. О его «Венчании Мадонны Христом» сказано: «Краски этого произведения кажутся приготовленными рукою святого или ангела».

Художнику этому особо близко Благовещение, он и сам благовеститель мира высшего, к этому его тянуло особенно. В затерянном и отчасти загадочном городке Кортоне прелестно его Благовещение — ангел стремительно, даже с повелительностью сообщает смиреннейшей Деве о великом, предстоящем Ей (ангел-то и сам очаровательно женствен). Думаю, женственное, трогательное особенно удавалось Беато Анджелико. В той же смиренной Кортоне есть его замечательная «Встреча св. Девы с Елисаветой» («Вставши же, Мария во дни сии с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету» — Лука, 1, 39—40). Вот это все — вполне мир Беато Анджелико. И никогда я не видел этого Visitazione кортонского, краски которого тоже готовил святой или ангел. Но и по снимкам вижу неземную прелесть склоняющихся друг к другу святых женщин, в златистых нимбах, на фоне иконописных гор итальянского «города Иудина», написанных в духе примитива, упрощенно и торжественно, как на иконах. Может быть, перед этим Visitazione, как и пред Благовещением в той же церкви, я бы помолился (пред ними можно молиться), но в те годы, когда экспресс Флоренция — Рим проносил меня мимо этой Кортоны, был я еще слишком полон искусством, светом, радостью любви к Италии... Вряд ли бы помолился.

Кортона, таинственно-привлекательный для меня, уединенный городок на горе, была намечена и в последнем нашем путешествии в Италию — из Парижа. Но тут не хватило уже сил. Пришлось быстро вернуться, повидав, кроме всегдашней моей Флоренции, только Ареццо.

ОРВИЕТО

Мимо Орвието тоже проезжаешь по той же дороге, но оно ближе уже к Риму. И другая местность, нет тосканской ясности,

уравновешенности. Более сумрачная, загадочная страна, вулканического характера. Над пустынной волнистой равниной вдруг воздымается как бы скала, на ней город. Почему-то помнится Орвието всегда вечером, поезд останавливается у подножия, постоит, подымит трубою паровоза и дальше в Рим. Темнеющая «игра природы», некий вырвавшийся из бездн всплеск земли и камня остался сзади, как *невеселое привидение.*

«Urbis vetus», древний город, так назывался Орвието во времена латинян, этрусков, разных вольсков. Военный пункт удивительный: потому и видел у своих стен разные орды, проходившие туда-сюда, но его мало задевавшие — слишком неприступен!

В средние века воздвигся там собор, весьма знаменитый, готический,— редкость в Италии. Я не знаю, кто его строил, но знаю, что тот Лука Синьорелли, который жил в Кортоне и которого Муратов называл: «незапятненнейшим из имен Возрожденья, стройнейшим, благороднейшим образом итальянского живописца»,— этот Синьорелли написал в соборе фрески на тему Апокалипсиса, Страшного суда, Антихриста. Это, конечно, подготовка к Страшному суду Микель Анджело — недаром флорентинско-римский гигант весьма изучал эти фрески. (Сухие, с зеленовато-медным оттенком красок — как бы отзвук пейзажа этой уединенной страны вулканического типа.) Муратов считает, что в теме Страшного суда Синьорелли провидел некие судьбы Италии. Не знаю, так ли это. Но что поражает — это облик самого художника. Среди апокалиптического хаоса он изобразил и себя, рядом с молодым монахом Беато Анджелико, и до какой степени они оба не подходят тут ни к чему апокалиптическому! Синьорелли изображен благосклонным, приветливым старым художником, отлично одетым (он и был как бы «барином» среди тогдашних живописцев). Беато Анджелико (начавший роспись собора,— Синьорелли его заместил) — тоже милый, с открытым и добрым лицом монах с капюшоном.

Вот Кортона и оказалась чем-то связанной с Орвието: Синьорелли был родом оттуда, а работал во многих местах, но в Орвието особенно, годы, и прославлен особенно за Орвието. Беато Анджелико был фьезоланец, из-под Флоренции, но трудился и в этих обоих городах, и, видимо, были они — старший и младший — в добрых отношениях.

Но все, что про Кортону, про Орвието знаешь,— из книжек, со снимков. Почву Орвието знаю только по знаменитому его белому вину — это уже реальность: сухое, златистое, сок таинственных земель. Все-таки о Синьорелли хочется сказать еще два слова. Был он знаком с отцом Вазари, и Вазари

мальчиком видел его у себя в Ареццо. Да, это был приветливый красивый старик, обласкавший смущенного ребенка (учившегося уже рисовать). Синьорелли остался в памяти его живым, благостным виденнем. «Старайся, дружок!» — сказал он ему, и эти слова, пятьсот лет назад сказанные, кажутся сейчас легендарными, как легендарно то, что пятьсот лет назад видел мальчик в доме отца этого высокого старика, красивого и благосклонного, при взгляде на которого никак не придет в голову, что вот он писал Страшный суд и «чудеса» Антихриста. «Impara, parentino!»[1] — и мальчик трудился. Но вышел из него не великий художник, а замечательный биограф чуть не всех художников Возрождения.

Дни же свои кончал Синьорелли в родной Кортоне, и может быть, увенчание этих дней, некий высший почет, оказанный ему, состоял в том, что последнее его произведение, заказанное ему монастырем в Ареццо, монахи, как чудотворную икону, несли на руках из Кортоны до Ареццо. За ними следовал престарелый художник.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ — БЛАГОДАРЕНИЕ

Да будет благословенно искусство. Да будут прославлены мирной славой художники, верно и честно творившие. Да будет благословенна Италия, родина их, страна доброго и ласкового народа, простая и очаровательная. Да будет благословен вечный свет ее, милый говор народа, плеск ее морей, синеющая даль Тосканы, вечный вид на Флоренцию с Сан-Миниато, катакомбы Рима и Аппиева дорога, все обаяния, все чудеса Италии, чудеса не-Антихриста, а Божии, явленные в ободрение и утешение кратких наших жизней.

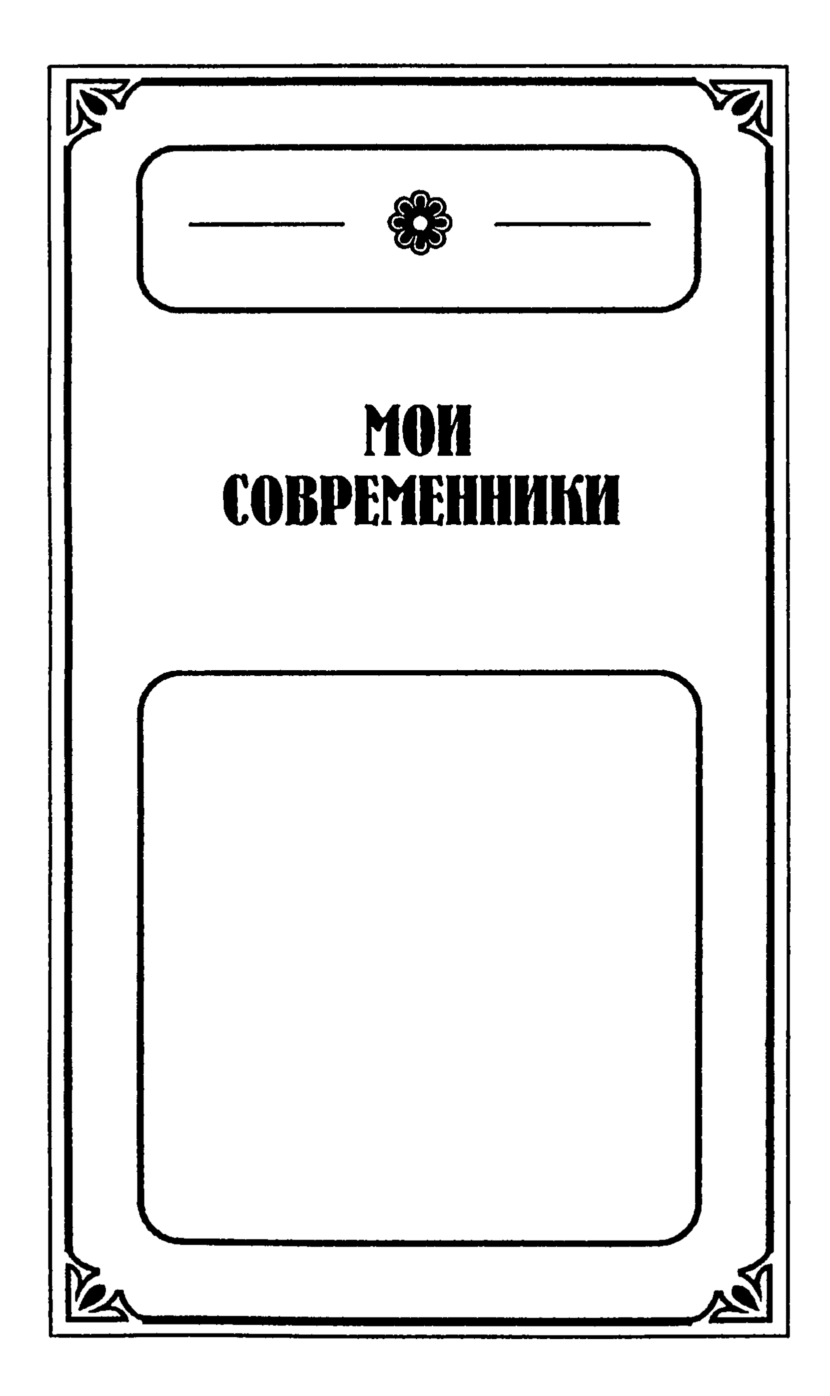
А если всего не увидел, если кроткая Кортона и сумрачно-таинственное Орвието глядят на тебя только из книг и со снимков, то возблагодари Бога и за то, чтó довелось видеть. Еще раз вспомни Апостола:

— За все благодарите.

1961

---

[1] «Старайся, дружок!» *(ит.)*


МОИ
СОВРЕМЕННИКИ

БУНИН УВЕНЧАН

«Русскому писателю Ивану Бунину присуждена премия Нобеля по литературе» — две строки телеграммы из Стокгольма. Что это значит?

Давно уже сложилось среди русских мнение о первенстве этого писателя. Сила изобразительности, сила слова, подлинность художества и поэзии — река, истекающая из океана — России, давно русскими вознесена. *Первоклассная литература,* строгая и крепкая, настоенная Родиной, на Родине в молодые годы возросшая, в изгнании окрепшая и закалившаяся. Приобретшая долгим одиноким художническим трудом последний закал, высшую — в простоте и силе чувства форму. Путь многолетний: сначала в России 90-х годов, народнической и интеллигентской, потом в России нового века — путаной, мощной, среди пестрых и острых литературных течений, нередко враждебных. Путь всегда прямой и независимый. Нельзя сказать, чтобы когда-нибудь клонил наш лауреат главу «к ногам народного кумира». Нет, просто шел и рос, как положил ему Господь. И вырос, и дожил до величайшего разгрома Родины. (Предчувствовал его: какой тоской, щемящей страстью переполнены его стихи 1916 года! Одно из них надо признать и просто гениальным по проникновению в трагедию России.)

Изгнание. Жизнь на чужбине. С удивительной силой переживание России — появление лучших созданий — после «Господина из Сан-Франциско» (еще до революции написанного) — «Митина любовь» и, наконец, «Жизнь Арсеньева» (не считая мелких шедевров).

Все это мы давно знаем. Знают и в Европе те, кто русскую литературу любит, ценит. Книги Бунина давно переведены и переводятся.

Но в шумном мире слишком много книг. И слишком много равнодушия. Чтобы пробить его, нужен удар. Этот удар пришел. Пришел он в виде лаврового венка из северного Стокгольма. На весь мир сказано слово, которого давно ждали русские.

— Увенчан!

Это и есть те две строки. Русский писатель Иван Бунин увенчан как первый, и в нем увенчана литература наша, и Россия, наконец, после тридцатилетнего молчания!

Еще удивительнее, и для нашего эмигрантского сердца особенно опьянительно: увенчан русский *эмигрант.* «Никогда эмигранту не дадут премии» — сколько раз приходилось слышать эту фразу, и у кого не возникло мысли: ну, а как и правда, *не* дадут *за то,* что эмигрант?

Слишком привыкли мы к снисходительному, пренебрежительному отношению. Слишком много наболело. Слишком бедны, бесправны, иногда *едва терпимы* мы. Какая сила за нами?

В этой прекрасной победе самое, может быть, острое, ценное и волнующее: редкий, редчайший в жизни случай победы *духовного* — бескорыстного *добра.* Беспристрастное некое судилище увенчало гонимого и беззаступного... «Безродинный» Иван Бунин несет ныне тяжесть лавров России — Родины, его родившей, в бедствиях неслыханных сейчас изнемогающей...

Это, конечно, праздник. Настоящий наш русский, *первый* после стольких лет унижений и бед. «Две строки» перерастают литературу, они входят в жизнь, озаряя ее, внося бодрость и веру. Не все еще в мире продажно! Еще есть справедливость. Не забыта Россия.

С глубоким и радостным волнением мы приносим сегодняшнему победителю привет — поздравление — можно даже сказать: восторг.

1933

БУНИН

Речь на чествовании писателя 26 ноября 1933 г.

...Девяностые годы прошлого века, вот литературное начало Бунина. Время, когда господствовало чистое интеллигентство типа «Русского богатства» и появлялся символизм.

Бунин писал тогда стихи и маленькие рассказы. Для толстых журналов лирические и поэтические очерки его, особенно же стихи, не были достаточно «идейными». Он считался «эстетом». Его ценили и печатали, но он не был «свой».

Не свой оказался и у только что явившихся символистов. Для этих слишком он реалист, слишком любит видимость, жизнь, воздух, краски. Он был сам по себе.

Двух станов не боец,
Но только гость случайный.

Так вступил Бунин на одинокий путь свой, иногда трудный и неблагодарный, но всегда воспитывающий: требующий выдержки, твердости, веры.

Литературное развитие его шло медленно — подобно росту органическому. Цветение, завязь, плод. Как у всякого истинного художника, это совершалось в глуби — и в молчании.

Наступил новый век, в нем шумели Горький, Андреев, сборники «Знания», «Шиповник», символисты, «сексуалисты» (Арцыбашев и др.) — много было оживления и даже как бы кипения в литературной жизни России предвоенной: Бунин занимался не шумом, а искусством. Вес его креп не от погони за модой, а от внутреннего созревания и совершенствования артистического.

Бессюжетный лирический рассказ типа «Тишины», «Надежды», очаровательного «У моря» — с ясным и чистым рисунком, в изящной, но еще с оттенком женственности манере, сменяется «Астмой» и «Суходолом», в особенности же «Деревней» — первой большой и очень «солоно» написанною вещью.

Тут задача чисто изобразительная, описательная — раздолье

для бунинского глаза, памяти, раздолье и для языковой щедрости. «Деревня» очень горькое и очень смелое произведение. Горька она сумрачным подходом к России, тяжким, почти беспросветным ее изображением. Говорят, Толстой в конце жизни очень тосковал, что народ «испортился». Похоже на правду! Народных фигур «Войны и мира», «Записок охотника» или лесковской галереи — в начале нашего века что-то не видать. Может быть, и сохранились Платоны Каратаевы, Лукерьи из «Живых мощей», Несмертельные Голованы — но уже где-то в подполье. Никак не они задавали тон жизни, подготовлявшей русскую трагедию. Народолюбческое же настроение и некоторая идеализация крестьянства удержались еще в просвещенном русском слое ко времени появления «Деревни».

Бунин не побоялся сказать горькую правду о деревне — ни с кем и ни с чем не считался, кроме своего глаза и своего понимания. «Так вижу, так изображаю». (В этом верный ученик Толстого.)

Он подвергся известным упрекам за «односторонность» — и прошел мимо них.

Но в «Деревне» смелость состояла не в одном этом. Смелость художника заключалась в том, чтобы и в самом строении вещи не считаться с читателем, не играть на внешней занимательности, слагать пласты повествовательные и описательные так, как это самому нравится, за легким успехом не гоняясь.

В своей прямоте и мужественности Бунин лишь выиграл. Победа оказалась медленной, но основательной. «Деревня», первая крупная вещь писателя полосы начинавшейся зрелости, прочно осела в литературе — осталась. (А сколько мы видали других побед, блестящих и дешевых, с тою же легкостью, как и пришли — ушедших!)

* * *

«Деревня» написана около 1910 года. Время отсюда до революции — первая полоса шедевров Бунина. За эти годы он много странствовал. Побывал в Константинополе и Палестине, Египте, Индии, не говоря уж о Европе. (Был в Италии, живал на Капри.) Мир очень раздвигался. И теперь это уж именно *мир*, а не только елецкое или воронежское, московское, «Господин из Сан-Франциско» живет не на Арбате. Небольшой рассказ вместил большую тему, вылился суровой и прекрасно-музыкальной прозой. Это удача бурного и шумного характера. Успех «Господина из Сан-Франциско» был огромный. Более в стороне сдержанно-спиритуальные «Сны Чанга». Удивительны

«Братья» и «Воды многие» — морской дневник, где чрезвычайной силы и значительности достигает слово, зрительная изобразительность доведена до предела: читатель почти галлюцинирует. (Замечательна любовь «сухопутного» и степного даже Бунина к морю и особенная его удача при изображении моря).

«Господин из Сан-Франциско» давно и по достоинству прославлен. Менее знали и ценили стихи Бунина, в сущности недооцененные и поныне. Думаю, причина та, что стихи эти расходились особенно по духу с господствовавшим направлением и жизнеощущением в стихотворчестве русском: с символизмом и его производными.

Действительно, Блок и Бунин — два мира, плохо уживающиеся. В одном смутная и туманная пена неких душевных состояний, музыка, неопределенный, иногда обольстительный, иногда ядовитый хмель. В другом крепость, пластика, изобразительность. Элемент музыки второстепенен. Но огромно дыхание, простор, воздух... Слово всегда точно, сдержанно и безошибочно.

Наивысший расцвет стихов Бунина — 1916 год. Самые сильные, мрачные, полновесные пьесы написаны накануне гибели той России, которая его родила и чью гордость он сейчас составляет. Из двухсот (приблизительно) стихотворений, помещенных в недавно вышедшем томе «Избранных стихов» — это стихи за всю жизнь! — пятьдесят помечены последним годом прежней России (1916). Их общее настроение — трагедия, надвигающаяся туча,— хотя говорят они и о самом родном. Среди них есть перлы.

* * *

Нередко говорят, что писатель вне родины чахнет. Он оторван, не знает быта, жизни, ему будто бы не о чем писать. Этим корили в свое время Тургенева. Этим травят сейчас эмигрантов.

Если понимать литературу в малом стиле — как фотографический аппарат, защелкивающий беглую современность, тогда это верно. Если брать в ней только внешность, обходя сердце, тогда тоже верно. И тогда придется счесть литературой всякий «очеркизм» — подменить литературу журналистикой.

Если же принимать ее в высоком смысле (но ведь только так и интересно говорить о ней) — как поэзию, некое духовное излучение, тогда центр интереса перемещается из внешнего во внутреннее. Если душа жива, растет и зреет, если дрожат внутренние волны, то всегда будет о чем писать.

Бунин покинул Россию в 19-м году. Значит, четырнадцать лет провел он вне Родины. Увял ли он?

Лишь невежество и недобросовестность могут утверждать, что увял. Не только людям, давно и верно Бунина любящим и следящим за его развитием, но и каждому, кто хоть *бегло* просмотрел бы произведения его *после* 1919 года, станет ясно, что как раз в изгнании Бунин поднялся *еще на ступень,* вошел в полосу *закрепленной зрелости.*

Изгнание даже пошло ему на пользу. Оно обострило чувство России, невозвратности, сгустило и прежде крепкий сок его поэзии.

Художник поселился в Грассе. Кто знает это прекрасное, чистое и тихое место, безмерный в красоте своей и в благородстве провансальский пейзаж — с морем на горизонте и внизу лежащим сухим, коричневым, с флорентийским оттенком городком Грассом, тот сразу поймет, что отсюда видение мира, как и видение России, должно было принять особенный характер. Русская литература может поклониться Грассу.

Здесь написаны «Несрочная весна», «Цикады», «Митина любовь». Здесь же и «Жизнь Арсеньева» — еще не законченная.

Бунин довольно давно отошел от стихов. Но поэзия еще сильней напитывает его теперешнюю прозу, чем раньше. Далеко в прошлом юная поэтичность ранних произведений (иным стало *слово*, закалившееся и окрепшее, иной *длина волны* во фразе, шире дыхание). Не так близка Бунину нашего времени и острая зрительная изобразительность, предметность среднего его периода (время «Деревни», путешествий).

Восторг и страсть, горечь и прелесть жизни, любовь и ревность, чрезвычайной силы как бы мифологическое переживание прошлого (Россия) — вот чем полны «Солнечный удар», «Митина любовь», «Жизнь Арсеньева». Бунин всегда был великим жизнелюбцем — религия священной жизни для него всегда была близка: теперь выступило это с особой силой.

«Жизнь Арсеньева» есть как бы capo lavoro автора. Детские годы в деревне, Россия Ельца и Орла, Малороссия, юг, порывы души созревающей, переходящей из отрочества в юность, в любовь, с жаждой вобрать в себя весь мир, с внезапными скитаниями, бурными, иногда резкими порывами сердца и темперамента — все это взято сквозь (волшебную) призму поэзии. Все — в некоем мифологическом, очень тонком и легком тумане. В нем отчасти меняются очертания. Действительность смешивается с воображением — и наоборот. Совсем ли такой был молодой Арсеньев и насколько портретна молодая женщина, с которой он впервые испытал жизнь страстей, неважно. Важно, как рассказано о них, как они изображены. Важно, что они живут в некоем мире, *не совсем* повторяющем обычный, будничный.

Поэзия есть ощущение мира с волшебным оттенком. Потому и мир, создаваемый поэтом, несет оттенок мифизма.

«Жизнь Арсеньева» не закончена. Но и в теперешнем виде она показывает как бы всего, цельно-собранного Бунина. Уже по ней одной можно сказать, что все творчество его есть хвала источнику жизни, Творцу. Бог-Отец, вот его ипостась.

* * *

В эти дни ко всему тому, чем был для нас Бунин, прибавилась еще черта: триумф.

Бунин увенчан не впервые. Трижды он получал в России Пушкинскую премию. 1 ноября 1909 г. был избран академиком по разряду изящной словесности (в заседании Академии, посвященном Кольцову). Ясно помню тот день, вечер в московском ресторане «Прага», где мы в малом кругу праздновали избрание Ивана Алексеевича академиком, «бессмертным»... Вряд ли и он забыл ноябрьскую Москву, Арбат. Могли ли мы думать тогда, что через четверть века будем на чужой земле справлять торжество беспредельно-большее — не гражданами великой России, а безродными изгнанниками?

Значит, так надо было. Надо было Ивану Алексеевичу пережить войну и революцию, перестрадать острою болью крушение той России, которая его породила,— и оказаться на Западе чуть ли не беспаспортным.

Он *не* поддался и *не* сломился. Искусству, Родине, своему пониманию жизни остался верен. В нелегких условиях жил, трудился, рос. Дожил до огромного торжества.

Все русские на чужбине, так уставшие, столь много видевшие бед, неудач, иногда пренебрежительно-высокомерного к себе отношения, радостно взволнованы победой Бунина — победой чистой и духовной, достигнутой лишь талантом и трудом. Радость их понятна.

И она еще больше у тех, кто долгие годы знал Ивана Алексеевича, чьи жизни прошли рядом с ним и его близкими. Кто любил его еще молодым человеком и ценил его дар еще тогда, когда он не был всемирно признан.

От лица этих приношу лауреату свой восторг.

1933

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ

8 ноября 1953 года скончался Иван Алексеевич Бунин — старый, больной, измученный и душевно, и телом. Я его знал с 1902 года. Целая жизнь, и его, и моя.

Всегда он мне «нравился». С самых юных лет, когда я был начинающим писателем, а он уже известным, он мне именно нравился «бессмысленно» и бездумно: как нравится лицо, закат, запах леса. Кончая жизнь и о нем думая, нахожу, что относился к нему собственно, как к явлению природы — стихии. В его облике, фигуре, движениях, манере говорить, неповторимой одаренности всегда было для меня некое обаяние, внеразумное.

Первые встречи связаны с Москвой — молодой богемой левого литературного направления (сам он к ней не принадлежал, но бывал у нас). А с другой стороны, оба мы были членами вовсе противоположной «Среды», кружка более взрослых писателей-реалистов.

«На половине странствия нашей жизни» ...лет в тридцать пять, был он изящен, тонок, горд, самоуверен. В большую публику не проходил. Горький, Андреев шумели, он — нет. Но прочная литературная оценка его росла. В 1910 году выбрали его и в Академию, по разряду «изящной словесности».

Война, годы предреволюционные и сама революция сильно нас разбросали. Только тут, в эмиграции, жизнь снова сблизила. Встречались постоянно и в Париже, но особенно остался в душе Грасс, милая вилла Бельведер, скромная, с поразительным видом на Канн, море, горы Эстерель направо. Юг, солнце, свет, необъятная ширь, запах лаванды, тмина — порождение Прованса — и вообще дух поэзии, окружавший жизнь Ивана, Веры, молодых писателей-друзей, с ними живших (Л. Зуров, Галина Кузнецова).

По утрам трое мы строчили каждый свое в верхнем этаже, моя Вера с Верой Буниной (подруги с юношеских лет, еще в Москве) вели женские свои разговоры, а внизу в большом

светлом кабинете Иван писал какую-нибудь «Жизнь Арсеньева» или «Цикады».

Весь в белом, тонкий, изящный, теперь уже много старше, чем в Москве во времена «Среды», но легкий и быстрый как прежде, опять нравился как-то художнически — ну вот, особое существо, даровитейшее в каждом слове, движении — пусть характер нелегкий (не всем легкими быть, выдающимся же особенно), но какой-то человек-стихия. Все в нем земное, в некоем смысле языческое. Мережковский сказал о Толстом: «Тайновидец плоти» — верно. Бунин Толстого обожал. Ему нравилась даже форма лба его. «Ты подумай, ведь как у зверя дуги надбровные...» В юности, как это ни странно, Иван был даже одно время «толстовцем» (о чем сам написал). С годами это ушло, преклонение же перед Толстым, толстовской зоркостью, изобразительностью осталось.

У самого Ивана внешней изобразительности чуть ли не больше, чем у Толстого. Почти звериный глаз, нюх, осязание. Не хочу сказать, что был для него закрыт высший мир — чувство Бога, вселенной, любви, смерти — он это все тоже чувствовал, особенно в расцветную свою полосу, и чувствовал с неким азиатско-буддийским оттенком. Будда был ему чем-то близок. Но вот чувство греха, виновности вполне отсутствовало. «Нет, дорогой мой, я никого не убивал, не крал ничего...» — не сомневаюсь, и никто его в этом не подозревал. В общем же, «тайновидец плоти» был ему ближе Будды. А к концу жизни самая эта плоть, которая у него к старости и ослабела, существом его как раз завладела очень, стала как бы даже душить объятиями своими.

* * *

Бог с ней, со старостью, со слабостью. Об этом вспоминать не хочется. А вот Грасс, свет, солнце, море... Иван в соломенном канотье, белой рубашке с короткими рукавами, в белах панталонах и туфлях на босу ногу, и все мы сбегаем вниз к небольшой площади грасской, откуда идут автобусы в Канн к морю. Иван впереди всех, хотя всех старше. И в самом автобусе усаживается как начальство (это само собой выходит, он усилий не делает). Все время вертится, торопится. «Ну, едем, едем...» Не сидится ему на месте.

Но и действительно едем, по прелестной приграсской долине, знаменитой душистыми травами и цветами своими (из них выделывают духи, это местное творчество).

Средиземное море! Море Улисса — но мы об Улиссе не

думаем. Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет. Набегает, набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног — он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское.

Засучивает совсем рукава рубашки.

— Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет... Ничего не поделаешь.

И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре. Жалко ему, но покорности нет, не в его характере. Хватает камешек, запускает в море — ловко скользит галька эта по поверхности, но пущена протестующе. Ответ кому-то. «Не могу принять, что прахом стану, не могу! Не вмещаю». Он и действительно не принимал изнутри: головой знал, что с рукой этой будет, душой же не принимал. Некогда, проезжая с Верой своей в свадебном путешествии мимо Фавора-горы, что-то радостно говорил Вере о Преображении, но давно это было, двадцать лет назад. Теперь над ним самим тогдашним и над чувствами его тогдашними лишь

Засинеет даль воспоминанья —

его же строка, но из еще более ранних писаний.

* * *

«Скажи Боре, что я очень смеялась, когда читала о зимних вьюгах в «Анне», вспоминая ту жару, в которой он писал — значит, была потребность в снеге, холоде...— эту часть написал он у нас... Теперь он, вероятно, пишет зной? Ян тоже так: в деревне писал экзотические рассказы, а на Капри деревенские». (Из письма Веры Буниной моей Вере, 13 января 1929 г. «Анна» — моя повесть, часть ее написана действительно в Грассе у Буниных, жара была знатная.)

Но мы выбирали все-таки дни полегче для выездов. Иногда я с младшими — Зуровым и Галиной, иногда с Иваном. В Грассе была тогда убогая и наивная узкоколейка, через Маганьоск, кажется, до Ванс, в сторону Ниццы. Доезжали до какого-нибудь городишки, бродили по разным ущельям — в горы, однако, не забирались, а довольно скоро засаживались в полудеревенское провансальское кафе, где прохладней, мухи сонно жужжат — мирное повседневное житье! Потягивали кисловатое винцо — что Бог пошлет. Все это на большой высоте. Благословенный край внизу открыт в нежносияющей, голубовато-туманной дымке. Замыкалась она таинственно синевшим морем.

Помню, раз мы доехали с Иваном до Ванса, городка живописнейшего, заселенного теперь художниками. Тогда, кажется,

никто еще не разводил здесь паров «мировой славы», досужие американцы не выкладывали еще восторженно кому следует своих долларов.

Мы с Иваном пешечком спускались вниз по шоссе к Ницце. Он был в духе, легок, сух, блестящ, рассказчик неподражаемый — с ним трудно было соскучиться. О чем рассказывал? Не помню точно. И о разных юбилеях литературных девяностых годов, о московских либеральных бородачах-ораторах («много видел кобелей я на этом юбилее»), и о мужиках, деревне, знал потрясающее количество таких выражений «народной поэзии», что при дамах и сказать нельзя.

В городишке Сен-Поль, уже гораздо ниже Ванса, древнем провансальском, вдруг встретили мы странную процессию. Какие-то рыцари на конях, в латах, шлемах, с копьями, средневековые стрелки с луками, пехота в маскарадных костюмах.

— Вот стерва, ведь это они для синема стараются. Тут их будут снимать, на фоне этого городишки — городишко-то, правда, средневековый... Рыцари... подумаешь! Небось только и думают, как бы в бистро coup de rouge хлопнуть (и добавлял еще кое-что из народной поэзии).

Но был в настроении отличном. И сам бы хлопнул с удовольствием, но — «нет, дорогой мой, здесь винцо дрянь, Бог с ним!»

Благодушно пропустил мимо себя рыцарей, мы же продолжали путь свой к Ницце.

А в другой раз поехали втроем: он, я и Галина, в городок Бар, тут осталось у меня даже смешное воспоминание.

Иван, как всегда, в канотье своем, во всем белом, веселый и оживленный, вышел с нами из вагончика на «вокзал» (милое провинциальное убожество тех времен в разных Лоргах, Драгиньянах, в этом Баре) — и вдруг быстро, легко подскочил ко мне, остановился и стал в упор разглядывать, точно врач для диагноза. Отлично помню почти вплотную придвинувшееся лицо, многолетне-знакомые глаза, в них выразился теперь почти ужас. Но и на леопарда он был похож, вот сейчас кинется...

— Это козел! — сказал он сдавленно, все с тем же ужасом.— Это страшный козел! Страшный козел!

Мы с Галиной чуть не прыснули со смеху. Не то было смешно, что нашел он во мне нечто козлиное, но тот почти мистический страх, который выразился в его лице, несколько даже побледневшем. Точно встретил неожиданно мистического фавна — вот заиграет он сейчас на тысячелетней дудочке. Но я не заиграл, на ногах у меня шерсти не оказалось, просто туфли белые, и копыт под ними тоже не было.

Ну, разумеется, пустяк и мелочь. Но Иван вообще был одареннейшей «особенной» натурой. Это о себе он знал и об этом говорил. «Не раз чувствовал я себя не только прежним собою — ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром, в свой срок кто-то должен, и будет, чувствовать себя мною».

Неудивительно, что и меня, сотрудника «Современных записок», ощутил он вдруг неким козлоногим, древнего происхождения.

* * *

Милые дни Грасса всегда вспоминаю по-хорошему. Как и все в жизни, они кончились. В один из последних — если не в последний — отъезд наш оттуда Бунины провожали меня с моей Верой в поезде до Сан-Рафаэль. Иван был особенно в ударе — весь этот переезд оказался чуть ли не сплошным капустником Художественного театра. Иван разыгрывал перед нами какую-то сценку собственного сочинения — Москвин позавидовал бы. (Но вообще театра он не любил, хотя актерский талант несомненно в нем был, вернее, имитаторский. Некогда Станиславский предлагал ему сыграть какую-то роль, комическую, конечно. «Нет, дорогой мой, я не дурак, чтобы на сцену вылезать. "В Москву, в Москву..." — сверчок трещит, ходульный ветер за сценой воет... покорно благодарю».)

В вагоне у нас сверчков не было, публики тоже, Иван разворачивался перед двумя Верами и мною, и мы трое хохотали до одури.

Где надо было, наконец, выскочил из вагона, наскоро нас поцеловал и куда-то заспешил со своей Верой.

Мы и уехали. И ничего мы не знали о будущем. Мы не знали, что скоро грянет война, что сначала мы будем под немцами, потом Бунины там на юге под ними же. Что вся жизнь бельведерская пойдет прахом и что Бунины хоть и останутся в Грассе, но в другом месте, и вообще что все в их жизни будет другое.

Когда война кончилась и мы вновь в Париже встретились, Иван был уже другой. Годы, треволнения, болезни, старость, неустройство — много тяжелого вошло в жизнь его. И чем дальше, тем больше. Давняя болезнь разыгрывалась. Терял много крови, бледнел, худел, раздражался. Материально опять стало трудно — Нобелевская премия прожита.

В эмиграции в это время начался разброд. «Большие надежды» на восток, церковные колебания, колебания в литературном,

даже военном слое. Все это привело к расколу. Некоторые просто взяли советские паспорта и уехали на этот восток. Другие заняли позицию промежуточную («попутчики»).

Странным образом, мы оказались с Иваном в разных лагерях — хотя он был гораздо бешенее меня в этом (да таким по существу и остался...). Теперь сделал некоторые неосторожные шаги. Это вызвало резкие статьи в издании, к которому близко я стоял. Он понял дело так, что я веду какую-то закулисно-враждебную ему линию, а я был *именно* против таких статей. Но Иваново окружение тогдашнее и мое оказались тоже разными, и Ивану я *не* сочувствовал. Тут ничего уже нельзя было поделать. Темпераменты разные, но я не уступал ни пяди. Он более и более раздражался. Озлобленность его росла. Мы перестали встречаться.

Если не ошибаюсь, в последний раз видел я Ивана перед операцией, полуживого и несчастного. А последнее письмо мне от его Веры помечено 1 сент. 1950 г. «Дорогой Борис, Ян просит поблагодарить тебя за то внимание, которое ты оказал в его горестном положении...» И дальше в том же тоне вежливого и уже далекого внешнего осведомления. Как бы то ни было, фраза «Временами Ян страдает нестерпимо» и сейчас ранит сердце.

Он прожил еще три года, очень тяжких. И физически, и морально. Я его больше не видел. Грустно вспоминать все это, и, может быть, надо было преодолеть его раздражение и мрак, но сил, очевидно, не хватило. Поздно теперь сожалеть.

Лишь за несколько дней до его кончины я написал ему письмо, точно восстанавливавшее факты. Ему, думаю, было уже все равно. Ответа не получил, На пороге стояла смерть.

Лицо скончавшегося иеромонаха прикрывают черной кисеей. Монахом Иван не был, но распорядился заранее, чтобы лицо его было закрыто.

Самый уход был тихий, в глухой ночной час, на руках той самой Веры, с которой встретился он в моем и моей Веры доме сорок семь лет назад.

Что можно сказать теперь, через тринадцать лет? Кажется, только одно: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Иоанна» — душу мятежную и бурную, на земле пристанища не нашедшую.

Ноябрь 1966 г.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

К юбилею

Слух обо мне пройдет
по всей Руси великой.
Пушкин

Имя Горького связано с воспоминаниями дальними. Кажется, в 1898 г. был напечатан в «Русской мысли» рассказ его «Супруги Орловы» — первая вещь, по которой запомнился он (говорю о себе; для других, может быть, это «Челкаш», «Мальва» и т. п.).

В зрелом возрасте «Орловых» я не перечитывал. Но юношеское впечатление помню: очень талантливо и очень чуждо. (У Чехова кто-то говорит: «Голос сильный, но противный».) Грубые, мутные краски, сильный темперамент, нескромность, мудрование и сентиментализм — в соединении с яркой изобразительностью. Как писатель известного масштаба, Горький сразу показал себя. Вот такой я, хотите, меня любите, хотите нет. Известен успех его начала. Нельзя сказать, чтобы он был незаслужен. Явилось в литературу новое, своеобразное — новый человек заговорил о новых людях. Все, конечно, помнят знаменитого босяка горьковского — сквозь ходули и слащавость от него все же отзывало Нижним, Волгой — Россией.

Встретиться с Горьким пришлось очень скоро, у Леонида Андреева. Высокий, сутулящийся, в блузе с ремешком, слегка закинутая голова с плоскими прядями волос, небольшие бойкие глаза, вздернутый нос, манера покручивать рыжеватые усики, закладывать руку за пояс-ремешок блузы, чтобы что-нибудь изрекать, окая по-нижегородски...— таким он помнится. Большая, все растущая слава. И некоторое уже «знамя», наклон влево. Чехов — чистая литература, Горький — вывеска для некоего буревестничества. В этом смысле он роковой человек. Литературно «Буревестник» его убог. Но сам Горький — первый, в ком так ярко выразилась грядущая (плейбейская) полоса русской жизни. Невелик в искусстве, но значителен, как ранний Соловей-Разбойник. Посвист у него довольно громкий... раздался на

всю Россию — и в Европе нашел отклик. Не удивляюсь, что сейчас Сталин так приветствует его: сам-то Сталин, со своими экспроприациями, бомбами, темными друзьями, был всегда двоюродным братом Горького. Горький лишь вращался в более приличном мире. (Этот просвещенный мир, увы, долго не распознавал истинного его лица...)

* * *

Правда, он это лицо затушевывал. О, Горький мог отлично играть под «любителя наук и искусств», чуть ли не эстета. Образованным не был, но читал много. (И мучительно старался подчеркнуть, что он «тоже кое-что понимает».)

К удивлению оказалось, например, что он любит Флобера! (Сомневаюсь даже, мог ли его в подлиннике читать.) Вот на этом мы встретились в 1905 г.— он оказался моим издателем.

* * *

При буревестничестве своем и заступничестве за «дно» Горький принадлежал к восторгающимся деньгами. Он любил деньги — деньги его любили. (Признак, что *уже* не принадлежал к большой русской литературе. Ни Толстого, ни Достоевского, ни Тургенева, ни Чехова не вижу дельцами, а если бы занялись чем-нибудь таким, прогорели бы.)

Горький не прогорел. При нем, как и при Сталине и других, всегда были «темноватые» персонажи, непосредственно делами его занимавшиеся. На них, при случае, все можно было и валить. Не знаю близко дел горьковского «Знания». Разно о них говорили... Во всяком случае, сборники шли превосходно. Писателей ублажали, таких гонораров, как «Знание», никто не давал тогда («Шиповник» явился позже). Предупредительность, любезность, почти доброта — все это я на себе испытал. Горький взял у меня перевод «Искушения св. Антония» Флобера (для сборника и отдельного издания). На нынешний курс выходило по тысяче франков за лист (перевода!). Было это в 1905 г. при начале революции.

Горький жил на Воздвиженке, рядом с «Петергофом», против Архива Иностранных Дел (какие в саду чудные ветлы, тополя — весенняя радость Москвы!).

Говорили, что черносотенцы готовят погромы. Горького, в огромной его квартире, охраняли. Я был зван на обед. Первое, что в прихожей бросалось в глаза,— выглядывавшие из-за дверей усатые чернявые физиономии восточного типа: будущие «дру-

жинники» восстания — ныне караул. Эти кавказцы, к счастью, с нами не обедали. Но «писатель из народа» был, конечно: тоже неизменный антураж бытия горьковского. Обед отличный. Хозяйка, Мария Федоровна Андреева — еще лучше. Некогда восторгались мы красотою ее в «Потонувшем колоколе» (Раутенделейн), потом разные роли она играла в Художественном театре... В те наивные годы никак нельзя было вообразить, как дальше все сложится в ее жизни... В те времена была она блистательной хозяйкой горьковского дома — простой, любезной, милой. Да и сам Горький... Вспоминая тот вечер, что плохого могу я сказать? Решительно ничего. Все как в «лучших» просвещеннейших домах. Разговоры о Брюсове и Бердяеве, «Новом пути» и Художественном театре, любезности, кофе, ликер. В сущности, всю жизнь так обедать, разговаривать и приходилось — будь то Петербург, Москва или Париж. Но вот Горький оказался особенный человек: с ним всю жизнь не прообедаешь.

А с Флобером и «Антонием» все обошлось отлично.

* * *

Разумеется, никто Горького не громил. Сам он, как раз вскоре после этого в газете своей «Новая жизнь» выпустил когти: произвел погром Толстого и Достоевского («М-мещане, знае-те ли...»). На этих «мещанах» Максим Горький, переезжавший с просто хорошей квартиры на великолепную, из одного первоклассного отеля в другой — засел довольно надолго. Так называемые «годы реакции» (с 1906 до войны) проводил в большинстве за границей. «Знание» в это время стало сильно сдавать, более модным и столичным оказался «Шиповник». Да и сам Горький находился в упадке. Первый, бурный успех его прошел, данных для успеха истинного и глубокого и вообще не было. Не зря появилась статья Философова «Конец Горького». Ю. И. Айхенвальд ответил: «Никогда Горький и не начинался». (И никогда не мог простить Юлию Исаевичу этих слов Горький, что, впрочем, и понятно.)

В те годы я его почти не видал. Запомнилась одна встреча в Эрмитаже петербургском перед самой войной. Высокий человек, в черном пиджаке (прошла мода на романтические блузы с ремешками), вздернутый нос, рыжеватые усики... И ни на кого этот мастеровой никак не действует. Было время, достаточно ему появиться в фойе Художественного театра, и тотчас толпа. А теперь ходят студенты, барышни, дамы, смотрят картины, на Горького хоть бы взгляд. Значит, прощай слава.

— ...Здравствуйте. Удивительное, знаете ли, это культурное хранилище, Эрмитаж. Прямо восхищаться приходится... Вот, например, этот Боттичелли...

— Алексей Максимович, это не Боттичелли.

— Нет, нет, не говорите... Боттичелли.

— Это Беато Анджелико.

Разве такой уж грех спутать Анджелико с Боттичелли? Но доктринальный тон, а потом краска смущения и раздражения. («Я не какой-нибудь босяк, я Максим Горький, культурный писатель...»)

Вот какие времена: Горький стеснялся Беато Анджелико. Видно, что еще не воевали.

* * *

Казалось бы, по романтизму ранних его лет, по патетичности, индивидуализму Горькому из левых ближе всех эсеры. Но он терпеть не мог русский народ — особенно не любил крестьян. Может быть, слишком хорошо на своей шкуре познал жизнь низов. Прекраснодушия интеллигентского в нем не оказалось. И затем, думаю, деляческая, грубая и беззастенчивая «линия» большевиков больше ему отвечает, чем «туманный идеализм» эсеров (с неким религиозным уклоном — это он всегда ненавидел). Ленин, решительный и циничный (если надо, солжет, если надо, предаст),— ему много ближе какого-нибудь Каляева. Реалисты были большевики — как будто бы и далеко метившие, но отлично знавшие низкую сторону жизни (три четверти «гениальности» Ленина и состояли в том, что сумел вовремя сыграть на низких страстях).

Кажется, в полосе литературного упадка Горький еще ближе сошелся с большевиками. На острове Капри, где жил, вокруг него кишели эти люди, чуть ли не из ленинской пропагандистской школы. Да и сам Ленин бывал. Горький угадал, где будущая сила — и отчасти к ней прильнул. Что-то тесно, внутренне связывало его с Лениным, гораздо больше, чем с приятелями молодых лет: Андреевым, Шаляпиным. На литературе его тоже это отразилось.

Рост истинного художника нередко в том заключается, что от раннего и чрезмерного, от непосредственного «трепета чувств» переходит он к более крепкому, суховатому, обдуманному — глубокому. Бывает даже так, что в этой зрелой полосе он имеет меньше успеха (Пушкин, Гете). Может быть, Горький тем же утешал себя в полном неуспехе натянутой и скучной «Матери» (основное произведение зрелого его периода). Во всяком случае

закат свой, и довольно скорый, переживал нелегко. Утешения, справедливые для Пушкина, Гете, для него не подходили. Ибо те развивались, росли, *углубляя* свое мироощущение. Зрелое творчество их становилось *не по зубам* толпе. Они меньше имели успеха потому, что слишком перерастали середину, и художество их питалось из глубоких источников религиозно-философских. Горький же поставил на марксизм. Правда, в ту пору еще осторожно. Сам был слишком силен, своеобразен, чтобы целиком лечь «под стопы паньски». Но последствия сразу определились: не было еще случая, чтобы выигрывал (внутренно) художник от соприкосновения с марксизмом. Острой талмудической серой выжигает он все живое, влажное, стихийное в искусстве. Вот уж подлинно закон, а не благодать! Искусство все построено на благодати и на живой таинственной человеческой личности. Марксизм человека вообще стирает. Он мертв и не благодатен. Враг художника. От него должен всякий, желающий идти «дорогою свободной», открещиваться, как от нечисти.

Горький не сделал этого.

* * *

И вот каково положение *пред* революцией: Горький очень знаменит, но почти не «действующая армия». Книги его идут слабо. Интереса к нему никакого, ни в публике, ни в критике, ни среди художников слова. «Все в прошлом» — это Горький 1912—1916 гг.

Да, но несмотря на Капри, Ленина, сочувствие в войне Германии и ненависть к оружию русскому — Горький все же русский писатель с весом, первоклассным именем, авторитетом. Пусть Толстой его не любил, все же Горький дружит с лучшими русскими писателями, принят и желанен в образованном обществе, оценен и за границей. По шаблону казалось бы — академия и безболезненный закат. Но Россия не Франция. С русской страной и русским писателем приключилось особенное — ни на кого и ни на что не похожее.

Литературно Горький в революцию не вырос, но и не очень сдал. Писал вечную историю некоей семьи «кулаков», «звериный быт» при царизме. Какой-нибудь Клим, Фома или Егор проходят жизнь с разными тяжкими и грязными эпизодами (любовь у него всегда животна), потом встречают замечательных социалистов, и все меняется к лучшему. Временами, например, в «Исповеди» (и в другом романе с «семейным названием»), попадаются яркие описания быта людей. Помню впечатление, лет шесть назад, от новой его вещи: «Все-таки еще

Горький держится...» Он действительно не терял формы. Даже в пределах врожденной аляповатости и вульгарности пытался над нею что-то делать. От молодости осталась внутренняя безвкусица, цинизм. И возросла антидуховность. Может быть, это одна из самых страшных черт Горького, чем дальше, тем грубей, мрачней, кощунственней он становился. Это сближало его с людьми «новой России».

Но не сразу — далеко не сразу — он сошелся с ними окончательно.

Долгое ли пребывание в интеллигенции, личные связи, свободолюбие молодости — но поначалу Горький оказался даже неким enfant terrible[1] революции. И газета его «Новая жизнь», и сам он в ней с большевиками враждовали. О, конечно, контрреволюционером никогда он не был. На первых порах позволялась ему дворянская вольность критики. Но только вначале. «Новую жизнь» все же закрыли. Горький был личный друг Ленина, и неприятностей для него самого не могло возникнуть... Он попал в положение либерального сановника при консервативном правительстве: ворчать можно, но про себя. А вообще начальство все и само знает, без критики.

В первые годы революции в нем появились новые страсти, окрепли и прежние. Из новых — к титулам, князьям, если можно, даже грандюкам. Для Чека это было, пожалуй, зазорно: Горький хлопочет за рюриковичей и, по-видимому, кое-кому помогает. Во всяком случае, в это время появилось у него не мало аристократических знакомств. Вторая страсть — к ученым. Не имев никогда никакого отношения к науке, он теперь твердо решил ее не выдавать. («Вы читали радиоактивиста Содли? Зна-ете ли, пре-восходная брошюра...») Здесь, как и с князьями, принялся он развивать полезную деятельность. Правда, радиоактивист Содли в пайке не нуждался, но влюбленный в него русский буревестник насчет отечественных радиоактивистов хлопотал. Чуть ли не при его содействии учрежден был и паек «цекубу», благодаря которому не окончательно вымерли ученые.

Страсть третья — вполне новая и вполне в русском писателе неожиданная: к спекуляции...

* * *

В Москве, на Николаевском вокзале.

— Куда это вы, Алексей Максимович?

— Да в Петербург, знае-те ли. Спекулировать.

---

[1] шалун, озорник, сорванец *(фр.)*.

Такой разговор передавал мне близкий к Горькому (и очень ему преданный) человек. С ним тот не стеснялся — впрочем, напрасно было и скрывать: горьковское «эстетство» неожиданно в революцию возросло. К восхищению Беато Анджелико, принимаемому за Боттичелли, прибавилось понимание в фарфоре, мехах, старинных коврах... а всего этого тогда появилось немало. И темных людей, вокруг Горького сновавших, тоже немало. Шушукались, что-то привозили, увозили. Доллары, перстни, табакерки... Та самая М. Ф. Андреева, что некогда играла Раутендейлен, теперь, по старой дружбе, летала «дипкурьером» в Берлин, тоже что-то добывала и сбывала, хлопотала, создавала «комбинации».

— Не нападайте на Алексея Максимовича,— говорил мне все тот же общий у меня с Горьким приятель,— он спас 278 человек!

Откуда это известно ему было с такой точностью — сказать не могу. Но и если 27, тоже отлично. Но вот странная черта: об этой деятельности Горького знали все, и кто бы мог ее не одобрять? А все-таки ему не доверяли. Пресса у него была неважная. Например, выборы председателя Союза писателей. Из оставшихся в России Горький несомненно был знаменитейший. Естественно и ему возглавлять оба отделения Союза — петербургское и московское. Но ни там, ни тут он не прошел (в нашем, московском правлении не получил *ни одного* голоса).

...Так из буревестника обратился он в филантропического нэпмана, в подозрительного антиквара, «уговаривающего» Дзержинского поменьше лить крови, в кутящего с чекистами русского писателя, в «кулака» и заступника ученых, в хозяина революционного салона, где мог встретиться Ягода и Менжинский со Щеголевым и другими пушкинистами или с «радиоактивистом» на пайке Цекубу.

Помню беглую встречу с ним в одной театральной московской студии. Шла его пьеса «Страсти-мордасти». Очень изменился Горький не только со времен Леонида Андреева, но и со встречи в петербургском Эрмитаже: был мрачен — совсем темное дуновение шло от него. При нем свита подозрительных личностей. После спектакля все они «проследовали» в какой-то кабинетик, где был снаряжен ужин. Помню тяжелое, щемящее ощущение: это уже не писатель. Что-то совсем другое. (Ни одного *литератора,* кстати, и не было с ним.)

Вот как показалось: в морозную ночь Москвы, когда одних расстреливают на Лубянке, другие мерзнут по Кривоарбатским, третьи («радиоактивисты») голодают — атаман со своей шайкой пирует в задней комнатке захудалого театрика.

* * *

В 1920 году, при другой встрече, Горький говорил мне:

— Дело, знае-те ли, простое. Коммунистов гор-сточка. А крестьян, как вам известно, мил-лионы... Миллионы! Всё предрешено. Это... непременно так будет. В мире не жить. Кого больше, те и вырежут. Пред-решено. Коммунистов вырежут.

В 1921 году наступил летом голод — один из самых ужасающих в России. На Волге, в Крыму ели детей... все это на нашей памяти. Летом создался в Москве Общественный Комитет Помощи — знаменитый Помгол — под председательством Каменева. Это — детище Горького. Он убеждал Прокоповича и Кускову, он втравил и других в это дело сотрудничества с властью в грозную для народа минуту. Сам был где-то за сценой. Вроде маклера и зазывателя. Но в комитет не являлся, и когда всех нас арестовали, Горького не было с нами. Мы сидели в Чеке — вдохновитель, быть может, «спекулировал» в Петербурге или развлекался в Москве.

Все-таки, по сведениям нашим, эту историю он пережил не совсем легко. Еще горше оказалось дело с проф. Тихвинским в Петербурге, на всякий случай расстрелянным.

Горький расстроился окончательно и уехал за границу. Начались годы размолвки с советской властью, годы в Берлине, Сорренто, журнал «Беседа». Тут, по-видимому, и возникла серьезная, сложная, с «переменным успехом» обработка его и вновь приручение. В Берлине дружил он с Алексеем Толстым, только что перешедшим в «Накануне» и еще красневшим перед старыми друзьями. С Горьким сближало Толстого чувство изгнанности из порядочного круга. А круг темных личностей так же плотно обступал обоих, как и полагается. В ресторанах у Ферстера и других стыд топить не так трудно.

К 26-му году положение выяснилось. Толстой давно был в Петербурге, халтурничал, денежно преуспевал. Горький тоже окончательно перешел к «ним». Вот что писал он о внезапной смерти одного из величайших русских палачей, Феликса Дзержинского:

«Совершенно ошеломлен кончиной Феликса Эдмундовича. Впервые его видел в 9—10 годах и уже тогда сразу же он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости. В 18—21 годах я узнал его довольно близко, несколько раз беседовал с ним на щекотливую тему, часто обременял различными хлопотами, благодаря его душевной чуткости и справедливости было сделано много хорошего. Он заставил меня и любить и уважать себя. И мне так понятно трагическое

письмо Екат. Павловны [Пешковой][1], которая пишет мне о нем: "Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его"».

* * *

> Когда я глядел, как он бродит между соснами, сгребая палочкой сухие листья, думалось: хорошо, должно быть, высоко, честно на душе этого большого человека и большого художника.
>
> *Ал. Толстой (О Горьком, 15 октября 1932)*

> — Ну, вот, профессор, вы пожили в Москве, многих видели... Скажите, что говорят теперь о Горьком?
>
> Иностранец:
>
> — Одно говорят, я всегда одно слышал: проданный человек.

Некогда — это кажется теперь случившимся сто лет назад — Горького избрала Академия, наравне с Чеховым и Короленко, академиком по разряду словесности. Государь его избрания не утвердил. В виде протеста Чехов с Короленко сложили и с себя звание академиков.

«Еду в Петербург спекулировать». «Бесконечно дорогой Феликс Дзержинский».

— Проданный человек.

Перевернутся ли в гробах Антон Чехов и Владимир Короленко?

Тот, кто не пустил Горького в русскую Академию, зверски убит с семьей горьковскими друзьями. Лицо Горького, с щетинистыми усами, смешное и жалкое, отпечатано на советских марках.

* * *

> Но дорого тебе, Литва,
> Досталась эта голова.
>
> *Лермонтов*

Низость людскую большевики хорошо знают. Умение закупать — их дело. Список велик, есть и европейские «звезды», типа Бернарда Шоу.

---

[1] Первая жена Горького.

Госиздат покупает сочинения нужного европейского писателя — хотя может печатать и даром, конвенции нет. Но купить лучше.

Горький мог, разумеется, изменить свое мнение о советах и их правлении. Вот если бы сказал он им «осанна!» и с осанною этою избрал бы бедность и безвестность, то пришлось бы над его судьбой задуматься. Но ему заплатили хорошо... Доллары, особняк, вино, автомобили — трудно этими аргументами защищать свою искренность.

Дали ему не только деньги. Дали славу. «На вольном рынке» ее не было бы, даже Западу Горький давно надоел. Но на родине «приказали», и слава явилась. Она позорна, убога, но ведь окончательно убог стал и сам Горький. В сущности, его даже и нет: то, что теперь попадается за его подписью, уже не Горький. У каждого есть свой язык, склад мысли, человеческий облик. Горький отдал его. Чрез него говорит «коллектив». Нельзя разобрать, Горький ли написал или барышня из бюро коминтерна! Горькому дорого заплатили — но и купили много: живую личность человеческую.

Слава же его, кроме позорного, имеет и комическое: назвать Горьким Нижний, Тверскую... Утверждать, что он выше Толстого и Достоевского. Окрестить именем его Художественный театр, созданный и прославленный Чеховым...

* * *

Тяжело писать о нем. Дышать нечем. Пусть он сидит там, в особняке Рябушинского и плачет от умиления над собою самим — слава Богу, что ни одному эмигрантскому писателю не суждена *такая* слава и такое «благоденственное» житие: Бог с ним. На свежий воздух — «дайте мне атмосферы»!

Милый праведник Чехов!

1932

СУДЬБЫ

Конец прошлого, начало нынешнего века — письма Горького к Леониду Андрееву.

Андреев еще молод, очень живописен, прекрасные глаза, собирается жениться (на А. М. Виельгорской. И женился. К несчастью, она скоро умерла). Слава его еще впереди, но уже не за горами.

Андреев в Москве — летом на даче в Бутове, на опушке березовой рощи — Горький в Нижнем, живет там под надзором полиции. Он старше Андреева на семь лет, уже известный писатель. Андрееву покровительствует. «Постараюсь... пристроить Ваши вещи в «Журн. для всех» и в «Жизнь», также в «Мир Божий».

Дает литературные советы. Они разумны и довольно самоочевидны. «Пишите... как вам кажется лучше». «Сжатости изображения учитесь у Чехова, но Боже вас сохрани подражать его языку! Язык Чехова неподражаем». Дальше, про этот же чеховский язык фраза, вдруг раскрывающая самого Горького: «Это красавица, но бесстрастная, она никому не отдается».

Горький был очень упорен, много работал над собой, о себе как писателе отзывался скромно — думаю, только отзывался, вообще же считал себя роковым «буревестником», да и был им, но не в литературе. (Таково, приблизительно, было мнение о нем и Чехова.)

В Горьком, при большой даровитости, сидела великая безвкусица. Вот он и учился у Толстого, Чехова преодолевать ее. К концу жизни многого добился. Но в годы переписки с Андреевым писание его вполне отзывает Скитальцем[1]: «Бей мещанина!» (из письма Андрееву). «В течение жизни моей я стучал кулаками по многим истинам, чтобы узнать, что у них внутри, и все они звучали, как пустые горшки».

[1] Хотя, конечно, «Подмаксимком» был именно сам Скиталец

Не знаю, как дальше пойдут письма, не все еще опубликованы. Но с Горьким Андреев разошелся, и довольно скоро, это я помню не из писем.

Андреева с юных лет близко знал, очень любил, по-молодому, все в нем тогда нравилось: и горячность, и глаза, и приветливость, и сочувствие начинающему.

Но с «Жизни человека» трещина: просто не понравилось — пафосом, сухостью, схематизмом. (А вот Блоку как раз нравилось!)

Слава же его тут-то и развернулась. Художественный театр, альманахи «Шиповника», лекции, диспуты. Поклонники, поклонницы. Раз входили мы с ним в ресторан «Прага» — румынский оркестр в честь его заиграл вальс из «Жизни человека». Вся зала поднялась, аплодируя. Как будто в те годы (1907—1910) затмил он даже бывшего своего покровителя и наставника Горького.

* * *

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

У Пушкина это покаянный псалом. Здесь просто годы жизни, годы ушедшего, оно вдруг появляется, вызванное хотя бы этими письмами, с силой горестности невозвратного.

У каждого свой путь, и теперь, издали, вот следишь за чужими судьбами со спокойствием и грустью.

Странные судьбы, действительно, Андреев (некогда звал я его просто Леонидом и был с ним на ты — Горький назвал его в раннем письме «Леонушко») — Андреев испытал столь бурную и стремительную славу, как редко кому дается. Легко пришла, и ушла легко. В Ростове-на-Дону писали, что он выше Шекспира, в годы начала войны и перед революцией его бессмысленно попирали и заушали.

В то время жил он в Финляндии (с 1907—1908 гг.), на своей вилле «Аванс» (вся была построена на авансы «Шиповника»), близ Черной речки, за Териоками.

Мы однажды гостили летом с женой у него на этой вилле. Постройка — «северный модерн», а внутри старушка мать московских древних времен (позже ходила она к нему на могилу читать вслух), бесконечные самовары, много прислуги, та русская бестолковщина, беспорядок, которые почти везде тогда и были, но и русская приветливость, душевность. Здесь он писал свои фантастические схемы («Царь-Голод», «Океан»), а маляры, раскрашивая наличники, напевали рядом вековую русскую песнь.

Несмотря на «богатство», славу, семью, это полоса жизни была, думаю, очень для него тяжела! Все колебалось. Он это чувствовал. Слава уходила, несмотря на огромные еще, по-тогдашнему, тиражи книг и авансы. Леонид ездил на моторной лодке по заливу, дома пил бесконечные чаи, по ночам писал, и во всем этом было нечто надрывное.

Когда в 1935 г. мы с женой проезжали мимо дачи, где некогда гостили,— и не нашли следа ее, все уничтожено, свезено куда-то, продано, просто голое место: сердце сжалось. Тут мы разводили философствования с хозяином, слушали пение маляров над окном нашей спальни, разговоры классической писательской мамы (мать Гоголя считала, что сын ее изобрел и пароходы). И от всего этого — ничего.

Но Леонид скончался у себя: никому не поклонился и не подчинился, остался в одиночестве и при своих взглядах. С побежденными, но вольными. Как писатель он сильно сейчас забыт — нечто о себе в «Жизни человека» угадал. Но если бы в эмиграции было больше толковости, то вместо зверских переводов американских писателей вполне можно было составить хороший однотомник Леонида Андреева. Совершенством его писание не отличалось, стихийное же ядро в нем было, и очень сильное: чувство ночи трагедии, одиночества. Это не буревестник. Но какую-то трещину, томление и тоску он обликом своим выразил — накануне страшных дней России.

* * *

Легких судеб нет. Все трудны. Леонид Андреев достаточно испил горечи. Но в судьбе Горького есть нечто особо-тягостное, в другом роде.

Как писатель он оказался гораздо выдержаннее Андреева, больше работал над собой и в некоторых своих поздних писаниях очень окреп.

Но...— подготовлять революцию, видеть триумф ее, оттолкнуться сначала от ее крови и ужаса (в Нижнем он водил все же знакомство с Короленко),— да, оттолкнулся и некоторых даже спас — а потом всему этому низко поклониться! (В эти же первые годы оказался приятель Короленко и Чехова видным нэпманом: любил предметы роскоши, скупал их во времена разгрома по дешевке.)

Однако в некий час будто вовсе не выдержал: уехал за границу, как бы порвал с Советами. Жил в Германии, Италии (Сорренто). К эмиграции не пристал, держался одиноко.

«Одиночество и свобода» — Адамович хорошо назвал свою

книгу. Горькому не удалось ни одиночество, ни свобода. В конце двадцатых годов, по зазывам и соблазнам из России, он вернулся. И помирился. С Андреевым поздно уже было переписываться: если бы даже остались добрые отношения, Леонида не было уже в живых: он скончался в 1919 году, еще на своей вилле, на той же Черной речке. (Могиле его мы с женой смогли поклониться в 1935 году, она сохранилась, простая и скромная, на недальнем кладбище. Украшена была шиповником. Как слезы висели капли росы в листиках.)

И если бы даже был жив, если бы оставался приятелем Горького, вряд ли бы переписка могла возникнуть: Андреев одиночка, на чужой земле, пишет свое обращение «S.O.S.» к Западу — Горький чуть ли не друг Сталина, глава всей советской «изящной» литературы (помнится, это он и изобрел «социалистический реализма») — тут уж не скажешь начинающему, как прежде: «пишите... как Вам кажется лучше». Казаться должно начальству. А наш брат пусть «перевыполняет».

Горький в это время вельможа, советский Потемкин. И как раз попал к полосе коллективизаций, концлагерей.

Его отправляли куда-то на север, к Белому морю, смотреть, как перевоспитывают в этих лагерях. Он растрогался, чуть ли не прослезился от умиления. Все превосходно! Новые люди умеют перевоспитывать, и т. п.

Страшный его шаг. Страшное пятно на памяти. Да, «они» обработали-таки его вполне. Чехов ездил когда-то на Сахалин и не плакал, увидел много тяжелого. После его поездки и книги назначена была сенаторская ревизия каторги. Русский писатель никогда не благословлял каторги. Но Чехов принадлежал к настоящей, великой христианской русской литературе, прославившей русское имя. Горький...— да стоит ли о нем много говорить?

В Москве жил он роскошно, но уже хворал — болезненным был с ранних лет.

Вот тут и пришло завершение мутной и безвкусной жизни. Троцкий в воспоминаниях своих объясняет дело очень правдоподобно: Сталин как будто и дружил с Горьким, и превозносил его социалистический реализм. И все-таки в пору террора тридцатых годов, при Ежове, Горький оказался неудобен — даже Горький! Может быть, не все одобрял (в молодости водился все же с Чеховым и Короленко, бывал у Толстого). Может быть, лишнее говорил заезжим иностранным журналистам. Бог их там знает. Жутко приближаться к этим людям. Только, по Троцкому[1], Сталин через Ягоду, Ягода через врачей подтолкнул

[1] Он утверждает, что в Кремле все отлично знали это.

его. «Вредный старик, с уклончиками». И несчастные врачи поторопили несчастного Горького уходить с этого света. Сталин же потом обернул все это против самого Ягоды и врачей. «Отравили, отравили моего лучшего друга!» Лучший друг умер, не зная, кто старался вокруг него. В общем-то все погибли, начиная с Ягоды, потом и Ежов, и сам Троцкий, да вернее всего, что и Сталину «дали понять»: пора, пора, надоел, стал опасным для «нас». Как именно поторопили, может быть, наши дети узнают. А может, и они не узнают.

Из «блестящих» людей эпохи, по литературному отделу, хорошо уцелел Алексей Толстой. Этот при всех плавал и выплывал, и пил, и зарабатывал сколько хотел, и скончался без принуждения. Но и за гробом продолжается фарс всей его жизни. В Москве поставили ему недавно памятник. А следующий за ним будет — Ломоносову! Так что «Алешка» — и Ломоносов. «Горьким смехом моим посмеюся».

* * *

Надо ли вызывать прошлое? Может быть, и не надо. То великое, настоящее, что в нем было, останется и без нас. А жалкое и ничтожное сгинет. Но мы все же люди, вот иной раз и захочется сказать о виденном, слышанном и пережитом. Письма Горького к Леониду Андрееву, связанные с почти наивными временами, потянули за собой воспоминания, забредшие в страшный мир. (Аминь, аминь, рассыпься...)

ДАВНЕЕ

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями...

ЛУНАЧАРСКИЙ

Этого молодого блондина в пенсне, довольно благодушного, встретил я некогда в Петербурге, в доме знакомых: студента естественника и его жены акушерки. Сам я тоже студент, место сумрачное, где-то меж Лиговкой и Пятью Углами. Маленькая квартирка, таинственные личности, «явки». Сам Ленин там бывал (но я его ни разу не встретил). Совсем нет солнечного луча в этом мире, где приятельница моего детства, друг хозяев, благоговейно наливала и подавала Ленину кофе и где сильно попахивало воздухом «Бесов».

Но человек молод, ему все еще интересно, мир так неясно-огромен, в нем всему есть место — и жаргону с «массовками», «студенчеством», «рабочими массами», «Путейкой», и мечтам, и тоске.

Какие-то личности появляются, довольно таинственные, шепчутся с хозяином — исчезают. Я тут случайно, из другого мира. Думаю, здешние относились ко мне иронически. Но вот этот блондин как-то приветливей, вносит оживление, смех, не чужд искусствам и литературе — вообще впечатление от него более легкое, даже с каким-то просветом.

Петербург ушел, вместе с раннею юностью, одиночеством и заброшенностью. В Москве легче. И жизнь не та. Намечается будущий путь. И крылатым сиянием входит в нее спутник — уже навсегда.

В этой московской жизни, на первых литературных шагах кое-где Луначарский — воспоминание о Петербурге: но беглое. На страницах журнала «Правда», где печатаешь кое-что из первых своих рассказиков и подрабатываешь корректурой —

длиннейшие статьи этого Луначарского, неразборчивейший почерк, но это только преддверие. Журнал-то марксистский, а литературой ведает Бунин. Его скоро, впрочем, выставят. Меня тоже. Мы, конечно, неподходящие. Тут нужны Ленин, Скворцов, Луначарский, Богданов.

И вот вновь идет жизнь, о Луначарском не думаешь, вновь бываешь в Петербурге, но уже вдвоем, молодым писателем, совсем по-другому, и все тот же ветер молодости выносит и в более просторный мир.

Весна в Париже, а там май, чрез Швейцарию, мимо Лаго Маджиоре скатываемся в благословенную Италию, сияющую и светозарную Флоренцию, залитую златистым, голубоватым, реющим и волшебным.

В городе этом, как из-под земли, и тоже вдвоем с молодой женой (сестрой Богданова) — вновь Луначарский. Тут уже не подполье Лиговки и Пяти Углов. Да и Лениным не пахнет. Здесь Albergo Corona d'Jtalia залитой солнцем, здесь крик осликов на улицах, смех, веселый говор простой итальянской толпы. Но здесь и наши друзья Боттичелли, Донателло, Беато Анжелико и Кастаньо, и сам Микель Анджело. Тут ходил некогда Данте, а теперь воздымается его памятник и на многих улицах надписи на дощечках стен — из «Божественной Комедии». Все настоящее, все мировое.

Надо сказать: Луначарскому это нравилось. Он тоже любил Флоренцию, в нем была жизненность и порыв к искусству, он и сам кое-что писал по нашей части (но по-любительски и легковесно).

Во Флоренции мы превесело вчетвером с ним заседали в разных ресторанчиках «Маренго» на Via Nationale, распивали кианти, он горячился и ораторствовал — теперь о флорентийской живописи. Пенсне прыгало на его носу, он вдруг обнимал и целовал Анну Александровну (очень был пламенен по этой части), потом опять кричал о Боттичелли. Единственно чем меня доезжал тогда — многословием. Глаза соловели у слушателя от усталости, а остановить его нет возможности.

Мы ходили вместе по Флоренции и раз очень весело и смешно сидели на вечерней иллюминации над Арно — на парапете набережной, как-то верхом сидели, хохотали, дамы взвизгивали от фейерверков и забавлялись как хотели.

А потом мы с женой уехали в Виареджио, к морю, и они очень нам помогли: дали адрес в рыбацкой части — тогда очень скромного еще Виареджио — у каких-то синьоров Luporini. Внизу маленькая остерия, наверху сдавали комнату. Луначарские сами жили раньше у них и оставили, видимо, хорошее о себе

воспоминание: раз мы amici dei signori Lunaciari, так мы тоже будем свои. (Италия есть Италия!)

В скромной комнатке рыбацкого домика, где Madonna висит над двуспальной кроватью с тюфяком, набитым морскими травами, кутаясь, бродя, вдыхая солнце и прелесть Италии, провели мы недели две-три идиллически-райски. А потом вернулись во Флоренцию. Луначарские были еще тут, но вид у них вовсе иной: очень кислый и отощалый. Дело простое: уже с неделю сидели они без гроша. Анатолий Васильевич снял пенсне, протер, опять надел и дернул слегка за шнурок его. Вид несколько смущенный.

— Не могли ли бы вы дать мне взаймы сто лир? Это меня очень выручило бы.

Теперь кажутся те времена младенческими. Сто лир! Но комната в отельчике нашем «Corona d'Jtalia» стоила три лиры, завтрак в «Маренго» лиры полторы.

Я повел всех в это «Маренго», угощал, пропитали мы лир десять-пятнадцать, у Луначарского в кармане было уже сто, он опять хохотал, целовал Анну Александровну,— к некоему удивлению (впрочем, сочувственному) — гарнизонных офицеров, столовавшихся здесь же, несколько опереточных, в голубой форме с длинными саблями. В окно выскакивала на улицу собака здешняя, потом весело впрыгивала обратно. Маленький черненький Джиованни, наш приятель, вихрем носился по ресторану, с макаронами, бифштексами, фиасками кианти. Только и слышалось его: «Pronto!» — всюду успевал. Все имело необыкновенно мирный и простодушный вид.

На другой день мы уехали, уже при страшной июньской жаре, в Равенну, по пути домой. Луначарские остались со своими ста лирами, в ожидании подхода подкреплений.

Все обернулось благополучно. А в Москве, через некоторое время, контора Юнкера вернула мне итальянские златницы в русских рублях.

* * *

И вот идут годы, и чем дальше, тем менее похоже на идиллию Флоренции и Виареджио. Луначарский в это время для меня за сценой. Вряд ли даже мы встречались с ним в России между 1907 г. и ноябрем 1917 г. Слишком разные миры.

Тут все фантастически меняется. Наступает другой эон.

Осень 1917 г. мы проводили в Тульском именьице отца. А по России шли события, значения которых мы недооценивали. (Идут, и вот скоро пройдут.)

Я попал в Москву после восстания конца октября. Москва разбита, не столь материально, как внутренне. Что-то надломилось в прежней жизни. Хаос во всем. Так чувствовали мы, интеллигенция. Победители в обмотках и с наганами, наверно, по-другому (многие, впрочем, и сами не верили в длительность свою).

Луначарский, с которым пили мы кианти во Флоренции, теперь министр, «народный комиссар» — кажется, по народному образованию.

Вот тут произошло нечто вовсе не похожее ни на ресторанчик Маренго, ни на споры о Боттичелли. Мы вступали в полосу страшную и кровавую, даже и не представляли, сколь кровавую — в ней воспоминание, связанное с Луначарским, вызывает теперь улыбку.

Во время восстания снарядами большевицкой артиллерии были повреждены некоторые купола Соборов в Кремле и, кажется, даже сбит крест. Символично, конечно, но сравнительно с тем, что творилось позже, это очень, очень мало — сколько церквей потом вовсе разрушили, начиная с храма Христа Спасителя, сколько епископов, священников, монахов замучили, сколько истребили крестьян («кулаков») — рядом с этим шрапнельные ранения на куполах... Но тогда это привело меня в почти истерическое негодование. В Москве не вся пресса была еще казенная. Издавалась, например, еженедельная газета кооператоров-демократов, если не ошибаюсь, «Власть Народа». Думаю, именно в ней поместил я открытое письмо Луначарскому. Это было что-то невообразимое. Дорого обошлись ему московские купола. Что именно написал, не помню, но чуть ли не площадная брань. Кажется, упрекал его в сумасшествии, алкоголизме, и, наверно помню, кончалось тем, что никогда я больше не подам ему руки.

Как смогла газета напечатать такую штуку, неведомо. Но моя шрапнель била уж совсем мимо. Луначарский оказался совершенно ни при чем. Он сам был в ужасе от разрушений, крови и насилий, в частности и от повреждения древностей. Настолько, что, как передавали тогда, заявил Ленину о выходе из партии, за что получил такой нагоняй, что поспешил отступить.

Ни мне, ни газете не попало за письмо нисколько. Вероятно, не до того было им самим. Что же до Луначарского, то я почти уверен, что он письма моего просто и не читал.

* * *

Положение же его самого оказалось довольно аховым. Он был интеллигент и человек вовсе не кровавый. А попал в

теплую компанию. «Они» не очень-то его жаловали. Он старался смягчать, заступаться, поддерживать артистов, писателей, налаживать разные академические пайки, и т. п. По этой части кое-что сделал. Но в террор и убийства смягчения никакого не внес.

В 21—22 гг. мы жили в самой Москве. Это было время нэпа, сравнительно легче. Луначарский устраивал иногда у себя в Кремле чтения и приемы, приглашал и писателей не-коммунистов. (Бывали у него Вяч. Иванов, Балтрушайтис, Гершензон, Чулков.) Мне после открытого письма не так удобно было встречаться с ним — я и не бывал на чтениях его пьес. По делам же Союза писателей приходилось нам, Правлению, ходить иногда в «Орду» — хоть и не были мы русскими князьями. Выхлопатывали Союзу разные льготы, пайки, охранные грамоты.

Но тут больше имели дело с Каменевым, тогда председателем Московского Совета. Все-таки, раз были и у Луначарского в Кремле. Помню, ухитрился я как-то тогда, в группе сотоварищей своих, не поздороваться с ним. Помню, стараясь выказать свою независимость и презрение к новому строю, я как-то особенно нагло разваливался в кресле, раскачивал его, высокомерно (как мне казалось) рассматривал, заставлял скрипеть, чтобы наглядно показать, как ничтожно это «высокое место» — кабинет кремлевского вельможи — в моих глазах.

Но не всегда мне так везло.

На Знаменке жил мой издатель — и приятель давний — Зиновий Исаевич Гржебин. Был он близок к Горькому, но навастривал лыжи за границу, хотел и устроил в Берлине начала 20-х гг. собственное издательство. А пока занимал отличную квартиру недалеко от Румянцевского Музея.

Я у него бывал нередко, по литературным и личным делам.

Помню великолепный подъезд, двойные стеклянные двери, светло, тепло, только швейцара нет, а то будто довоенный быт.

Вот подымаюсь с улицы на несколько ступенек, берусь за ручку двери — она покорно отодвигает ко мне свое стекло, а выходящий из дома человек в отличной шубе и меховой шапке тянет к себе другую, внутреннюю дверь, тоже стеклянную.

Чрез несколько секунд оба мы, нос с носом, сталкиваемся в этой ловушке меж дверями, шуба поправляет знакомым жестом пенсне, взглядывает на меня и оказывается просто-напросто Луначарским.

— А-а, здравствуйте! — и приветливо протягивает руку.

Совсем будто в Италии, сейчас начнет спорить о Боттичелли (только сто лир ему теперь не нужны, и там шубы такой не было).

Да, и я протягиваю ему руку. После торжественного печатного заушения — а вот тут, между анафемскими этими дверями протягиваю и жму...

Потом скорей шмыг в переднюю, в подъемник и к Зиновию Исаевичу. Там свой мир, литература, издательство, давняя доброжелательность с обеих сторон. Я рассказываю ему, он смеется.

— Анатолий Васильевич только что у меня был.

Я смущенно смеюсь.

— Ведь в печати сказал, что никогда руки не подам...

— Мало ли что в печати... А тут вышло непечатное.

И мы стали говорить о другом — о готовящемся нашем отъезде, о книгах моих, которые он собирался издавать в Берлине.

Так все и вышло. И попали в Берлин, и книги мои он там выпустил — Гржебину, Зиновию Исаевичу, во многом обязан и тем, что попал на Запад. Его уже нет в живых. Скончался он здесь, в Париже, гораздо позже. Благодарную память о нем храню.

* * *

Я никогда больше не видел Луначарского. Он продолжал быть «Наркомпросом». Думаю, все меньше, меньше подходил к эпохе, особенно, когда умер Ленин, и Сталин забрал все в свои руки.

Почти все люди того времени ушли. Умер и Луначарский. Воспоминания о нем главнейше связаны с юными, счастливыми годами, райскими днями Италии. Теперь, издали, улыбнувшись на многое, но и вздохнув, скажешь: «Все-таки слава Богу, что умер Анатолий Васильевич естественной смертью, а не в подвале Чека».

КАМЕНЕВ

Времена доисторические, еще до японской войны. Москва, университет. Был у меня знакомый один, Яхонтов, тоже студент, но старше меня и образованней. Он мне нравился: простой, негромкий и приветливый, с русской интеллигентской бородкой. Думаю, был этот Яхонтов социал-демократ, но умеренного толка (а может, и народник).

Вот он пригласил меня однажды к себе на вечеринку. Русская студенческая вечеринка! Не времен Герцена или Толстого (без мундиров и жженки), нечто п о с л е Достоевского, чай с лимоном и папиросы, окурки на блюдцах, сизый дым в комнате и споры, споры...

Не помню, о чем именно спорили, наверно, о политике — не по моей части. Я и помалкивал, просто смотрел, вглядывался.

Студент, довольно кудловатый, с широким открытым лицом, серыми спокойными глазами, сняв тужурку и устроившись верхом на стуле, так что спинка служила ему опорой и кафедрой, что-то толково разглагольствовал. Его слушали. Видно было, он здесь известен, что-то за ним есть.

Яхонтов нагнул ко мне бородку, блеснул стеклами пенсне, шепнул:

— Выдающаяся личность. Умен и начитан. Лев Розенфельд. Я вас с ним познакомлю.

И действительно, познакомил. И действительно, «Лев Розенфельд» произвел неплохое впечатление. О талантах его политических я не мог судить. Да мало это и занимало. Но так, сам по себе, он мне скорее понравился.

Знакомство это не укрепилось и не удержалось.

Все же в те годы мельком, то в Университете, то, кажется, у самого Яхонтова, я его встречал. Но никак не думал, что чрез четверть почти века встречу его в условиях, тогда показавшихся бы фантастическими.

* * *

Эти условия были — революция, о которой я у Яхонтова, по молодости лет и быть может дурости, вовсе не думал. Но она пришла, не спрашивая, хотим ли мы ее или нет, пришла и как зверь, и как суд над многими делами прошлого.

Фантастичность и в том, что такой Луначарский, занимавший у меня сто лир, вдруг стал министром, что кудлатый студент Розенфельд, переименовавшись в Каменева, обратился в Предс. Москов. Совета. А еще и в том фантастика, что сам зверь — так всегда бывает в революции — сам по себе обратился, много собственных детищ пожрал.

Как и Луначарский, Каменев был образованный интеллигент, тоже склонный отчасти к литературе и искусствам. Жена его — grande dame революции по части театров, выставок картин и т. д.— Каменевский «либерализм» зашел так далеко, что как московский генерал-губернатор он закрыл на третьем № «Вестник Чека» за открытый призыв к пыткам при допросах. (Чудный документ для человеколюбившей русской литературы! Лев Толстой, слава Богу, до него не дожил, как и Чехов. У одного из друзей моих литературных этот номер хранился. Интересно бы знать, сохраняется ли он в государственных библиотеках России сейчас, или благоразумно исчез?)

В новом «волшебном» мире все-таки мы как-то жили, копошились, даже писали кое-что, даже Союз писателей (независимых) у нас в Москве был. Карабкаясь, цепляясь, стараясь не унижаться, продолжали путь. На пути этом Каменев попадался не раз, в облике «заступника и покровителя».

Он обосновался на Тверской в бывшем доме генерал-губернатора, напротив каланчи и убогого памятника Скобелеву. В прежние времена внизу дворца была канцелярия, где чиновник с длинным вылощенным ногтем на мизинце выдавал нам заграничные паспорта: с ними ездить можно было по всей Европе без всяких виз.

Вот я иду к Каменеву посланцем от Союза. Но по пути, как раз в этой бывшей канцелярии, попадаю в другой мир: баба на коленях перед чекистом: «Батюшка, родимый, отпусти мужа, ведь сколько уж ни за что ни про что держите!» — «Пш-шла вон, убирайся! Держим, значит есть за что!» Так вкушала баба новый мир.

Подымаюсь по лестнице этого нового мира. Трещат машинки, бегают резвые, не без развязности, секретарши, потряхивая грудями. За зеркальными стеклами дворца как призраки, безмолвно проплывают извозчики, детишки тащат салазки, бредут граждане молчаливо, со своими заботами и горем.

После некоего ожидания пускают и в кабинет Каменева. Вот он, кудлатый студент моей молодости, за отличным столом, спиной к зеркальной Москве за ним, где медленно, беззвучно-горестно идет повседневность.

Принял он меня прилично, даже не без любезности, конечно, слегка покровительственно. Удивило, что он поджимал ноги под себя, в одних носках — ботинки стояли рядом: будто жали они ему, он отдыхал.

В Харькове арестовали Ильина (философа), Арсеньева и французского профессора Мазона, Союз хлопочет об освобождении их.

Каменев водит пальцем по каким-то спискам.

— За что взяли?

— Ни за что.

— Посмотрим, посмотрим...

Телефонный звонок. Грузно, несколько устало Каменев в своих носках берет трубку.

— Феликс? Буду, буду. Насчет чего? Нет, приговор пока не приводить в исполнение. Буду непременно.

Дзержинский, «золотое сердце». С дальнего конца проволоки пахнуло не-райским.

Каменев положил трубку.

— Если не виноваты, конечно, выпустим.

* * *

Мне повезло — их выпустили. С этого времени я оказался как бы «спецом» по Каменеву. Возникло мнение, что мне он не откажет, и по малым житейским делам Союза к нему направляли меня.

Например, так: надвигается голод, а Гершензон разузнал, что у Московск. Совета есть двести пудов муки, как бы с неба свалившихся. Хорошо бы до них добраться.

И добрались. На этот раз ходили в Орду уже вдвоем: я и Гершензон, к тому же Каменеву. Гершензон, извилистый, нервный, чем-то напоминавший черного жучка, волновался, нервничал, вместо «здравствуйте» говорил «датуте», и при всей своей высокой одаренности, духовном аристократизме обладал загадочным тяготением к новой власти. Казалось бы, все обратное: он индивидуалист, смиренный книжник, самый мирный человек — но сила, ломка, беззастенчивость почему-то магически подавляли его и он бормотал нечто совсем неподходящее. Меня стеснял несколько его тон с Каменевым на этом свидании о муке, он слишком робел, находился на границе подобострастия — давал повод Каменеву держаться слишком снисходительно-покровительственно.

Вообще-то миссия наша была нелегка (внутренно), но подгонял голод, а Гершензон не облегчал.

Миссия удалась. Каменев держался все же прилично, «хлеб наш насущный» мы получили, и вскоре по зимним улицам Москвы везли из склада на салазках кульки этой муки и Айхенвальд, и Бердяев, и Гершензон, и аз грешный, и Осоргин, и Муратов.

Действительно, мне на Каменева везло. Позже, когда оказался я во главе Книгоиздательства писателей, мне пришлось выступать в некоем заседании Правления, что ли, Моск. Совета, защищать нашу издательскую квартиру от Коминтерна, который хотел ее отобрать. К великому моему изумлению, при явном благоволении Каменева, мне удалось отстоять наше помещение. Помогло то, что у самого Каменева и Московск. Совета была в это время какая-то ссора с Коминтерном. Мы, писатели, на этом выиграли[1].

Так что, как и Луначарский, Каменев всегда оказывался на стороне интеллигенции. Такая же роль выпала ему и летом 1921 г., когда он возглавлял интеллигентский Комитет Помощи голодающим (Кускова, Прокопович и др.).

---

[1] Подробнее об этом в моей кн. «Москва».

Об этом тоже есть в «Москве» моей. Позволю только себе бегло напомнить насчет Каменева. Сила и власть все же сила и власть, дают некий тон, людям не-власти чуждый и неприятный.

Помню, после одного заседания этого голодного Комитета мы вышли с Осоргиным вместе. В Одессе «сидел» в это время писатель Андрей Соболь. Я попросил Каменева выпустить его.

Он спросил небрежно:

— Какой Соболь? Который написал роман «Пыль»?

— Да.

— Плохой писатель. Пусть посидит.

Через некоторое время Комитет наш вовсе закрыли. Каменева отстранили от председательства, а мы оказались в Чеке — большинство, правда, ненадолго.

В 22-м году Каменев помог мне выехать за границу после сыпного тифа, перенесенного в Москве.

Гржебину денежно. Каменеву по другой линии я обязан — наверно можно сказать — жизнью.

Жизнь же самого Каменева протекала в Москве и дотекла до страшного конца. В свое время он закрыл «Вестник Чека». Теперь эта же Чека добралась-таки до него. Применялись ли к нему те «способы», против которых он был, не знаю. В той ли, другой форме делалось это обычно (доводили до изнеможения и добивались подписи под чем угодно).

«Судьба загадочна, слова недостоверна». При Сталине, во время разных «процессов», Каменев сошел в подвал Чека, как и Бухарин, Рыков и другие, и уж не вышел из него. Зверь сожрал незверя, но все-таки «своего».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

М<илостивый> Г<осударь> Анатолий Васильевич!

В мае 1907 г. во Флоренции нам приходилось встречаться довольно часто, вместе бродить по городу, который вы любили, беседовать об итальянских художниках, делить маленькие жизненные невзгоды и быть в тех добрых отношениях, которые естественны между писателями, имеющими если не все, то некоторые общие устремления.

Прошло десять лет. Ныне, игрой фатальных общественных сил, вы сделались «министром». В вашем письме-крике о выходе из «правительства»,— письме, связанном с вестями о разрушении Кремля, насилиями и террором вашей партии, я как будто почувствовал того человека, с которым был знаком. Я не удивился, что вы пожалели сокровища Эрмитажа, кремлевские башни, дворцы, зубцы на стенах, напоминающие Castel Vecchio в Вероне.

Но это была минута. Вы опомнились, и на другой же день вернулись. Вы не протестовали против цензуры социалистических газет, против принятого центральным комитетом вашей партии решения о закрытии всех «буржуазных» газет — вы, русский писатель!

Вы пошли еще дальше. Уже от своего имени, как плод собственного литературного дара, выпустили вы циркуляр по своему министерству, где говорится, что учителя, бойкотирующие учителей-большевиков и вовлекающие в это учащихся, будут подвергаться аресту.

Я никогда не считал вас невменяемым. Насколько знаю, вы не страдали психическими заболеваниями. Вы и не алкоголик. За действия свои вы отвечаете и не можете не понимать, что они хуже действий, например, покойного Кассо. Остается предположить, что в вас есть черты, которых раньше я не замечал, прискорбные черты нравственной одичалости.

Всякой снисходительности пределы есть. Нельзя быть писа-

телем и дружить с полицейским. Сколь ни печально и ни тяжело это, все же должен признать, что с такими «литераторами», как вы, мы, настоящие русские писатели, годами работающие под стягом искусства, просвещения, поэзии — общего ничего иметь не можем. Я пишу это только за себя. Но уверен, что никто из соратников моих не будет с вами, равно и ни одна литературная организация.

За вами — штыки и солдаты, могущие арестовать любого из нас, без суда и следствия держать в тюрьме. За нами — традиция великой русской литературы, дух истинной свободы и правды.

Борис Зайцев

16 ноября <1917 года>
С<ело> Притыкино

СТРАННИКИ

Посвящается В. И. Немировичу-Данченко

МОЙ ГРЕХ

Однажды мне, девятилетнему мальчику, сказали:

— Завтра у нас обедает писатель, Немирович-Данченко. Тот самый, чьи детские рассказы ты читаешь в «Задушевном Слове». Поблагодари его.

Мы жили тогда в Людинове, Калужской губернии. Отец управлял людиновским заводом, одним из нескольких знаменитой тогда «мальцовщины». Василий Иванович объезжал эти заводы, собирал материалы для книги о них.

На другой день меня приодели, причесали потщательней, научили что сказать и повели в залу. Как сейчас вижу свет ее, сияющий паркет, большой рояль в углу. Весело разговаривая, вошли отец и плотный господин элегантного вида, вымытый, свежий, живой, с бакенбардами, очень барской манеры.

— Вот,— сказал отец,— это мой сын. Позвольте представить Ваш поклонник.

Я действительно читал кое-что в «Задушевном Слове», мне и вправду нравились рассказы Немировича-Данченко. Все же слово «поклонник» показалось чрезмерным. Тем не менее, я шаркнул, и пробормотал, как было указано, слова благодарности.

Василий Иванович погладил меня по голове, любезно, но с оттенком покровительственной снисходительности.

— Спасибо, юноша. Что же ты моего читал?

Я терпеть не мог снисходительного тона и очень не любил, чтобы меня называли юношей. С некоторым, сдерживаемым неудовольствием, ответил:

— Детские рассказы.

Опять какие-то одобрительные слова, возгласы, духовитая рука потрепала по шее и тот же веселый, уверенный в себе голос сказал:

— Да, конечно, детские. То, что я пишу для взрослых, ты еще не поймешь. Маленьким и не надо этого читать.

Тут я и согрешил. Что меня подтолкнуло? Самолюбие, раздражение? С той детскою «прямотой», от которой бледнеют родители, я ответил, что, если маленьким непонятно, то и взрослым не надо читать. Вот так отблагодарил писателя! Как он мог подумать, что я «не пойму»?

Василий Иваныч засмеялся, отец тоже. Они отправились куда-то дальше, по своим делам. Дела эти состояли больше в том, чтобы смотреть ружья отца, рассказывать друг другу охотничьи истории и, в конце концов, выпить по рюмке водки.

А в назначенный час мы обедали в огромной нашей столовой со стеклянной стеной, выходившей на озеро (раньше тут был зимний сад). Ничего больше не помню ни о себе, ни о Василии Ивановиче. Верно, так же бодро чокался он с отцом, и после обеда уехал с ним на охоту или на осмотр, а я, находясь под материнским прикрытием, так и остался «маленьким», которому еще не понять произведений взрослого.

Сколько помню, меня даже не укорили за дерзость. Но упорно живут в нас ошибки и слабости наши, неудачи. Прошло более сорока лет, Василию Ивановичу исполняется девяносто и свой почтительнейший ему привет я начинаю с покаяния.

ИТАЛИЯ

В том возрасте, когда «благодарил», не думал я, что и сам стану писателем. А все-таки стал. И через пятнадцать лет вновь встретился с Василием Ивановичем — незабываемым летом 1907 года, в незабываемом месте, на всесветной пьяццетте Венеции. Был июнь, вечер, свет и блеск огней венецианских, радостная толпа, окружение искусства, молодость, во всем Италия, Италия!

Покойный художник Первухин, всегда летом в Венеции живший, представил меня Немировичу.

Мы встретились очень душевно. И ко мне, как писателю, много приветливей отнесся Василий Иванович, чем некогда я к нему.

Отца и Людиново, и весь приезд к нам помнил он отлично, и был так же весел, любезен, еще более и наряден, чем в том медвежьем углу. Да и то сказать: Жиздринский уезд и пьяццетта!

Позже мы сидели в театре «Фениче». Некогда Карло Гольдони ставил в этой зале легкие и быстролетные свои комедии. Мы смотрели Эрмете Новелли в «Шейлоке». Любовались актером, но и нашим Василием Иванычем: в смокинге, с поседевшими бакенбардами, живой и кипучий, был он великолепен.

После спектакля ужинали в ресторанчике на канале, пили «Асти», хохотали, он рассказывал...

И было о чем рассказать! Чего-чего, но уж жизни немало повидал Василий Иванович. Меньше всего походил на русского интеллигента. Вот уж не чеховский герой! В сущности, он довольно редкий русский тип: человек ренессансного чувства жизни, жизнелюбец. Оттого и тянуло его всегда к солнцу, югу, краскам ярким и сильным. Он любил действенность, борьбу — сколько войн прошло перед глазами! На каких конях, по каким землям не ездил он с записной книжкой, начиная с Балкан, через Маньчжурию, до великой войны. Скольких орденов кавалер! С кем из монархов и главнокомандующих не встречался. А в полосы мирные — сколько путешествий, встреч. Какая бурная жизнь сердца! Сколько дуэлей.

Он Италию очень любил, как и Испанию. И в то знойное лето так пристало ему жить в Венеции, пить кофе у Квадри, ездить в гондолах, надевать в театре смокинг, слушать музыку близ Сан-Марко у Кампаниллы под открытым небом, заседать на пляже Лидо.

Он на Лидо и жил, в «Эксцельсиоре». Помню огромную столовую отеля, с окнами по обеим стенам, как бы насквозь прохваченную светом, и в одной веренице окон сине-кипящую, с бешеной зеленью, с белым вскипанием пены — Адриатику.

Все это шло к нему. В отеле его называли то сиятельством, то превосходительством, и пышность «Эксельсиора», широкий, барский склад жизни, были именно его мир, как для гондольера узкое весло и гондола, как своя Адриатика для маячащих рыбацких шхун с белыми и оранжевыми парусами.

Василию Ивановичу исполнилось тогда шестьдесят. Но по бодрости, жизнерадостности надо бы дать вдвое меньше. Он собирался в Швейцарию, а оттуда в Испанию, куда-то на Балеарские острова, может быть, на Мадейру... Трудно было представить себе его надолго прикрепленным — даже к Венеции, которую он очень любил.

И мы уехали почти одновременно. Он на запад, мы на восток.

БЕЛГРАД

Еще двадцать лет. Мир перевернулся, государства рухнули и вновь образовались. Будто целое столетие прошло. И опять встретились наши пути — в Югославии.

Вряд ли вскочил бы теперь на коня Василий Иванович. Вряд ли отправился бы и в кругосветное плавание. Ему перевалило

за восемьдесят. Но когда председательствовал он на писательском съезде, нельзя было не любоваться на его статную фигуру, седые бакены, живые глаза, речь полную и сдержанно-страстную...— если доживать до глубокой старости, то уж именно так. На русских и сербов произвел он огромное впечатление. Может быть, даже большее на сербов. Ведь сопровождал русские войска в той, первой освободительной войне — полвека назад! Белград помнит маленьким городком. И глядя на него, когда в тысячной аудитории произносил он речь, можно было почувствовать в нем фигуру еще того времени, александровского — богатырскую фигуру! Представитель великой державы. Именно Великодержавное было в нем, склад и дух Российской Империи.

Мы, остальные русские писатели, более или менее артистическая богема, интеллигенты. Он посол российский, высокопревосходительство. Он привычно разговаривал с министрами и генералами, единственный из нас умел правильно одеться, правильно держаться, естественно, и в то же время величественно: никому в голову не пришло бы назвать его иначе, чем превосходительством. Но в нем была простота. И появилась некоторая грусть! Не раздражительность, не озлобленность старости, а элегия. Что ни говори, а ведь все ушло: молодость, жизнь, блеск, Россия. Хорошо быть жизнелюбцем в тридцать, сорок лет, но настает возраст, когда сам царь Соломон возвестит суету сует. Из некоторых слов, замечаний Василия Ивановича можно было понять, что теперь и иные, высшие области духа стали ему ближе.

Среди шумных часов Белграда как-то особенно врезался один вечер.

Мы были на банкете министра иностранных дел. Обед давался в новом дворце Общества гвардейских офицеров, за городом. Прошел он с блеском, оживлением. Около полуночи начали разъезжаться. У нас с Василием Ивановичем оказался общий автомобиль. У ярко освещенного подъезда сели мы в него, и русский шофер, доктор философии, зарабатывающий извозом, быстро кинул нас во мрак каких-то садов, предместий Белграда. Лил дождь. Тьма за стеклами. Впереди бежит бело-зеленоватый косой столб света, выхватывает кусты, ямы, выбоины дороги, и в нем сеется дождь. Зелень в свете этом нестерпимо ярка, страшные, уродливые тени непрерывно дрожат вокруг — скачут, сливаются, гигантски вырастают, пропадают. По стеклам ползут капельки, отливая золотом. Рядом со мной массивная, такая знакомая, как бы даже родная фигура с седыми бакенами, в надвинутой на лоб шляпе. Электричество, фраки, смокинги, шампанское, цветы — это все позади. Только что кипело, и

его уже нет. А есть вот эта одинокая ночь, сильная машина, мчащая нас куда-то. И как будто все не в нашей власти.

— Василий Иваныч, скажите, можно ли было подумать тогда, у нас в Людинове, что через пятнадцать лет мы с вами встретимся в Венеции, а потом, через двадцать, вот так, темной ночью, будем вдвоем ехать вблизи Белграда?

— Да, конечно. В Людинове... Помню, помню... А ваш батюшка жив?

— Давно умер.

Он кивнул головой, точно хотел сказать, что и сам был уверен в этом.

— Царство небесное. Живо его вижу. Он еще возил меня на эту реку из Людинова... как ее? Да, на Болву.

Верно. Есть такая река, удивительна его память. И они туда ездили — вероятно, смотреть плоты, спускавшиеся в Десну и Днепр.

Он сказал еще несколько слов и смолк. Автомобиль покачивало. Стариковским, но и барским жестом опирался он на трость, скрестив на ней ладони. Огни стали чаще. Начинался Белград. И мы спокойно и благополучно доехали, каждый о своем думая, и я не знаю, о чем думал мой сосед, но о себе знаю, что испытывал странный, остро-волнующие и поэтические чувства, о которых рассказать трудно, но которые поймет всякий, кто способен ощущать таинственность жизни, неисповедимость судеб, причудливую мудрость встреч и расставаний, одиночеств и общений.

Где-то теперь встретимся с вами, Василий Иванович? — Патриарх наш, русский барин и писатель, русский джентльмен?

«ИИСУС НЕИЗВЕСТНЫЙ»

«Маленькая, в 32-ю долю листа, в черном кожаном переплете книжечка. Судя по надписи пером на предзаглавном листке: «1902», она у меня до нынешнего 1932 года — 30 лет. Я ее читаю каждый день, и буду читать, пока видят глаза, при всех, от солнца и сердца идущих светах, в самые яркие дни и в самые темные ночи; счастливый и несчастный, больной и здоровый, верующий и неверующий, чувствующий и бесчувственный. И кажется, всегда читаю новое, неизвестное, и никогда не прочту, не узнаю до конца; только краем глаза вижу, краем сердца чувствую, а если бы совсем — что тогда?»

Это слова Мережковского о себе. «Книжечка» — Евангелие, с виду именно книжечка, внутренно... «Или этой книге, или этому миру конец» (М.). А дальше опять, очень просто и человечно: «Надо бы отдать переплести заново, да жалко, и, правду скажу, даже на несколько дней расстаться с книжечкой страшно».

...Именно тридцать лет назад довелось прочесть ранние книги Мережковского: «Юлиан Отступник», «Леонардо», «Толстой и Достоевский». Они сыграли некую роль в юношеском развитии. Вспоминая Мережковского той поры, сопоставляю с нынешним.

Он и остался Мережковским, разумеется. Но очень изменился.

* * *

Не знаю, читал или не читал ежедневно Евангелие, когда писал те книги. Но глаз как-то не так смотрел, взор по-иному устремлен. Одновременно, и с холодком, видел верх и низ, по его тогдашним любимым словам, «бездну верхнюю» и «бездну нижнюю». Демоническое в Юлиане, демоническое в Леонардо — это его очень влекло. Сам стоял в сторонке. Еще можно было просто жить, в Петербурге, быть известным писателем, писать замечательные книги...— но в жизни ничего особенного не

случалось. Можно еще какого-то последнего выбора не делать. Подождать.

А затем — тридцать лет Евангелия и тридцать лет нарастания трагедии. «Иисус Неизвестный» явился уже в Пасси, на реках Вавилонских. Пасси место тихое, но вокруг все не тихо. Уже «Атлантида» написана по-другому, другими ритмами и словами — «Иисус Неизвестный» же — в особенности.

Тридцатилетняя «жизнь с Евангелием» состояла в том, что человек всматривался изо дня в день в тот Лик, без Которого все труднее, если не невозможнее, становилось жить. Трагедия росла, ощущение конца (в смысле апокалиптическом) тоже росло. Все это как бы *придвинуло* Мережковского ко Христу — тут уж не до холодноватых и двусмысленных высот.

...Мережковский, однако, всегда был, и остался, вольным и одиноким гностиком — ему хотелось и рассмотреть что-то о Христе, узнать, заглянуть в жизнь Иисуса-человека. Плодом чего и явилась книга: книга всматриваний припавшего ко Христу.

Эти всматривания касаются: и Евангелистов, и Крестителя, и Богоматери,— преимущественно же Самого Иисуса. Кроме Евангелия, привлекает автор огромный материал «Аграф» («незаписанного слова»), Церковью не принятого за достоверное, но откуда, по мнению Мережковского, можно извлечь драгоценные черты, слова, факты. Не боится он и Апокрифов. И идет еще дальше: о многом, чего не знаем мы в Иисусовой жизни, пишет сам «апокрифы», оговариваясь примерно так: да, это мой домысел, но рожденный из моего вживания и из моей любви. Пишу так, как подсказывает чутье. Если смело, то отвечаю сам. Но ведет меня любовь.

Отсюда: Рождество Христово, Иисус ребенком с козами на «злачных пажитях горных лугов Галилеи», Искушение Христа и др. «Назаретские будни» — мальчик Иисус в школе. Дева Мария, плотник Иосиф — бедная и святая жизнь, в которой Спаситель возрастает.

Мережковский не был в Палестине. Пейзаж взят им условно и «вообразительно». Я считаю, что очень удачно по тону: Иисус Пастушок, например, в одиноких горах с козами — прозрачностью, чистотой краски напоминает ранне-итальянское: Симоне Мартини или сиенцев. Рождение в яслях — Беато Анджелико. И своеобразный, текуче-мрачный тон в Искушении...

Вообще, надо сказать, что вся книга написана словом возбужденным, легким и патетическим. Нечто текучее, переливчатое есть в нем — по временам очень пронзительное. Вот уж никак не покойное повествование! Да и как мог бы покойно и удобно повествовать автор о том, что считает он столь великим и

таинственным — неисследимым, что всю жизнь надо читать и «сколько ни читай, все кажется, не дочитал, или что-то забыл, чего-то не понял».

* * *

В Мережковском нет детской простоты, такого безответственного отдания себя, как у жен мироносиц, или у «верующих баб» Оптинских старцев. Всякому ясно, что душа эта сложная, раздираемая, вопрошающая, непокорная и глубоко-своеобразная. Без Христа жить она больше уже не может, но, припадая к Нему, волнуется, пытает (иногда, может быть, и сомневается).

— Какой Ты был? Что думал тогда-то?? Что делал в такие-то часы Твоей жизни?

Некоторым (глубоко церковным) людям несколько покажется дерзновенной мечта Мережковского, упорство его, смелость, с которой он порою приписывает Иисусу чувства...— о которых просто как бы догадывается. Смелость, конечно, велика. Но источник ее глубок. Ее источник высоко — серьезен, значителен. Если бы Мережковский праздно разглагольствовал, было бы плохо, даже кощунственно. Этого вовсе нет.

— Я люблю Тебя, я Тебе поклоняюсь и благоговею перед Тобой, но я хочу все о Тебе знать,— вот что мог бы сказать Мережковский.

Может быть, это лучше равнодушия или привычки? Казенного холода?

* * *

ИЗОБРАЗИТЬ Христа невозможно — этой задачи не ставил себе Мережковский. Читателю кажется, что задача: проникнуть за видимую часть спектра, туда, где инфракрасные лучи. Тоже немалое намерение! Выполнено оно или нет в замечательном этом произведении?

На мой взгляд — да. Не в том смысле, чтобы в заглядывании «туда» был Мережковский всегда прав, а в том, что дается ощущение тайного: сложнее, противоречивей как будто оказывается все — и человечней. Христос не «закованный в ризы», а более свой, наш, человеческим взором — бедным и малым — видимый, человеческим ухом слышимый.

Человеку, в догадках своих, свойственно (и простительно) ошибаться. Никогда он не может разглядеть и расслышать не только всего, но и большого. И всегда, если даже «краем глаза» или «краем сердца», почувствует — и то хорошо.

«Иисус Неизвестный» волнует читающего, как волновал он писавшего. Как составлял часть жизни автора, так частью жизни становится и для читателя. Богослов, историк Церкви, христианский философ могут вести с Мережковским свою беседу. Просто читатель прочтет с увлечением своеобразнейшую книгу, написанную с некою исступленностью, острую, смелую — в центре которой величайшее Солнце мира.

1932

ПАМЯТИ МЕРЕЖКОВСКОГО

100 лет

Время идет, время проходит. Сто лет было бы теперь Дмитрию Сергеевичу!

Когда юношей встретился я с ним впервые — через книгу,— был он вовсе не стар, но писатель уже известный. Книги эти: «Вечные спутники», «Толстой и Достоевский». Первая — литературные очерки, все о «настоящих», действительно, спутники вечные. Сервантес, Марк Аврелий, Гете, Ибсен, Флобер мой драгоценный, великий Достоевский и еще другие. Все это — его раннее писание. Написано блестяще, сухо, сдержанно и очень по-другому, чем писали тогдашние писатели в толстых журналах. (Провинции никогда не было в Мережковском. Один из первых проветрил он русские восьмидесятые-девяностые годы, да и Михайловский стал историей.) Проветривание связано было с тем, что Мережковский внутренне воспитывался уже и на Европе — в образе ее истинной культуры,— а доморощенности в нем никакой не было.

Думаю, что книгой, резко повернувшей понимание двух наших великанов, был огромный труд «Толстой и Достоевский». Вот за него останусь навсегда и особо благодарен покойному, столь одинокому, хоть и знаменитому Дмитрию Сергеевичу.

Я был студентом, начинающим писателем московским с Остоженки и Арбата, когда довелось прочесть эту книгу. Оказалась она для меня неким событием — ее чтение было частью моей жизни. (И как Бога благодарю, что имел возможность часами уходить в то, что привлекало ум и душу!)

Не перечитывал с тех пор этого «Толстого и Достоевского», да несколько и боюсь перечитывать: так много времени ушло, так изменился сам, так изменилась жизнь, что и не хочется, чтоб изменилось впечатление. Но вот оно осталось. Многих, не меня одного, эта книга сдвинула. Не то чтобы фигуры действующих лиц выросли — они и так были огромны, без Мереж-

ковского. Но он передвинул их по-новому, осветил, оценил, получилось ярче и еще убедительней.

Некая схема в писании его и тогда чувствовалась: «Тайновидец плоти», «Тайновидец духа» — Мережковский любил такие вещи. «Бездна вверху, бездна внизу» — все же противопоставление что-то давало, даже и очень яркое. Обе фигуры получили особый оттенок (но и ярлык, конечно).

Сколько помню, Достоевского выдвигал он с бóльшим созвучием и сочувствием внутренним, чем Толстого. Оно и понятно. Как бы ни относиться к духовности Мережковского, начала природного, земляного и плотского в нем уж очень мало, пожалуй, совсем не было. Оба они — и он, и Зинаида Николаевна Гиппиус так и прошли чрез всю жизнь особыми существами, полутенями, полупризраками (в литературе. В жизни бывали, он особенно, иногда очень «жизненными»).

Все же трудно представить себе Мережковского отцом семейства, Гиппиус матерью.

* * *

Личная встреча произошла позже, но тоже в начале века.

Мы ездили иногда с женой из Москвы, где жили, в Петербург, по литературным делам. Друг наш, Георгий Чулков, основатель «мистического анархизма», вводил нас в петербургский литературный круг самоновейшей, сильно выдвигавшейся на смену прежней интеллигенции. Чулков редактировал «Вопросы жизни», где Булгаков и Бердяев особенно выделялись (журнал явился на смену «Нового пути» Мережковского, но Мережковский и тут сотрудничал).

Чулков жил в огромной квартире журнала, там же и Ремизов с женой — считался он «секретарем редакции». (Воображаю, что за секретарь был Алексей Михайлович!) С этим секретарем, и вернее с крошечной дочерью его Наташей, связано первое зрительное впечатление от Мережковского и знакомство с ним.

Вхожу в комнату Ремизовых — комната большая, большое кресло, в нем маленький худенький человек, темноволосый, с большими умными глазами, глубоко засел. А на коленях у него ребенок, девочка, едва не грудная, он довольно ласково покачивает ее на своей тощей интеллигентской ножке, чуть ли не мурлыкает над ней. Картина! Мережковский и колыбельная песенка. Верно, раз за всю жизнь с ним такое произошло. (Только недоставало, чтобы он пеленки Наташе менял.)

Тут же и Алексей Михайлович, худощавый, в очках, и могучая Серафима Павловна. Шестьдесят лет прошло, а как

вчерашнее помнится. И до сих пор непонятно, какая связь могла существовать между крохотным беззащитным младенцем, полустихией еще, и бесплотно-поднебесно-многодумным Мережковским. Но вот случай выпал. Конечно, только случай.

Вторая встреча в другом роде, у Федора Сологуба, на ужине где-то на Петербургской стороне или на Васильевском острове, не помню.

Сологуб был в то время известным, но еще не столь прошумевшим писателем, как позже. Служил инспектором в городском училище и жил в нем, в казенной квартире, с сестрой.

И квартира сама — большая, старомодная, с фикусами в горшках, рододендронами, столовая с висячей неяркой лампой, и тусклой хозяйкой, старой девой, лампадки, кисловато-сладкий запах — всё слишком уж мало шло к таинственному хозяину, автору разных дьяволических штучек, загадочных мальчиков и «Мелкого беса».

Федор Кузьмич казался старше своих лет — совсем лысый, водянистые серьезные глаза, пенсне, розоватые поблескивающие щеки (на одной крупная бородавка), неторопливые движения. Речь отрывистая, краткая. Сумрачный облик, соответственный писанию его. Но как хозяин очень гостеприимен. Кроме Мережковского, за столом сидели Кузмин, Ауслендер, может быть, Гржебин, Нарбут, Сомов, Чулков и я, оба с женами. Странным образом Федор Кузьмич все время был на ногах, в тусклой этой комнате (где хорошо бы поселиться сологубовским «недотыкомкам»), медленно обходил гостей и приговаривал загробным голосом:

— Кушайте, господа, кушайте! Прошу вас, кушайте!

Сестра его, бесцветная женщина с гладко зачесанными назад волосами, чуть не примасленными, если и проявляла какую деятельность, то предварительную, кухонно-кулинарную. Сейчас скромно помалкивала — куда уж там разговаривать наравне с Мережковским, бездной вверху и внизу.

За кофе Дмитрий Сергеич что-то перешептывался с Гиппиус, посматривая на нас с женой. Зинаида Николаевна нас разглядывала, наводя свой лорнет, как дальнобойное орудие. Мы были москвичи, в некоей степени провинциалы и вообще новички.

Мережковский завел общий разговор, характера, конечно, возвышенного, религиозно-философского. Гиппиус вдруг перебила его:

— Дмитрий, погоди... (У нее была манера — даже на публичных выступлениях мужа вмешиваться, будто сбивая его. Но все это входило в их семейный обиход, точно она его поддразнивала и вносила те некую пряность в мудрствования.)

— Погоди, я вот хочу спросить у Зайцева...

Дальнобойное орудие вновь было наведено на меня. За ним виднелся изящный, трудно забываемый облик, с огромными глазами, лицо несколько подрумяненное, худые тонкие руки. Облик высокомерный, слегка капризный, совсем особенный...

«Дмитрий» покорно замолчал. Своим слегка тягучим голосом — в нем отчасти было коварство, отчасти желание проэкзаменовать заезжего, все с тем же лорнетом у глаз — задала она мне в упор вопрос с видимым желанием «срезать».

Не помню в точности, как она выразилась. Был там только Христос и какая-то мушка. Как бы, по-моему, Христос поступил с мушкой, ползшей по скатерти — что-то вроде этой чепухи.

Неожиданно для себя я вдруг внутренне вскипел и ответил с почти неприличной резкостью юного, замкнутого самолюбия, почуявшего ловушку,— ответил вроде того, что самый тон вопроса в отношении Христа считаю кощунственным — и еще что-то в этом духе (с мужеством отчаяния, когда человек бросается вниз головой со скалы).

Но голова не разбилась, а эффект получился неожиданный: и Дмитрий Сергеевич, и сама Гиппиус весело рассмеялись. Отпора мне никакого не было — нечего и связываться с младенцем.

— Пейте, господа, кофе, пейте,— невозмутимо-погребально говорил Сологуб, прохаживаясь вдоль стола.— Пейте кофе!

* * *

Позже приходилось слышать Мережковского в Москве на открытых выступлениях. В Историческом музее маленькая его фигурка перед огромной аудиторией, круто подымавшейся вверх, наполняла огромным своим голосом все вокруг. Говорил он превосходно, ярко и полупророчественно. Некая спиритуальная одержимость влекла его. Это было и суховато, как бы без влаги, но воодушевление несомненно. Нет, не пророк, конечно, но высокоодаренное и особенное существо, вносящее неповторимую ноту. Мимо не пройдешь. Не зажжет, не взволнует и не умилит, но и равнодушным не оставит. Большой оратор, большой литератор, но никак не Савонарола.

Выходили в это время и некоторые замечательные его книги — «Леонардо да Винчи», «Гоголь и черт». «Леонардо» — вроде исторического романа. Но именно «вроде». Настоящим художником, историческим романистом (да и романистом вообще) Мережковский не был. Его область — религиозно-философские мудрствования, а не живое воплощение через фантазию

и сопереживание. Исторический роман для него, в главном,— повод высказать идеи. Но вот «Леонардо да Винчи» при всей своей книжности, местами компилятивности, все же вводил в Италию, в Ренессанс, просвещал и затягивал. Помню, зачитывался я этим «Леонардо» — проводником в милую страну.

Это было время так называемого религиозного возрождения в России, вовлечения интеллигенции в религию. «Религиозно-философские собрания» в Петербурге, где светские типа Карташева, Мережковского, Гиппиус и других встречались на диспутах с представителями Церкви. Замечательная полоса русской духовной культуры. Время Мережковского и Гиппиус, Булгакова, Бердяева, Франка, сборников «От марксизма к идеализму», «Смены вех», предвоенный и предкатастрофный подъем духа, прерванный трагедией революции, но перенесенный в зарубежье. Тот подъем и того духа, который породил Сергиево Подворье, Богословский институт, Студенческое христианское движение. (Подумать о христианстве в студенчестве моей молодости в России! Тогда надо было быть народником или марксистом, а уж какое там христианство. Gaudeamus igitur, московские студенты с Козихи, выпивка на Татьянин день, требование конституции...— тут не до Мережковских и Гиппиус, не до Бердяевых и Булгаковых.)

Слабость Мережковского была — его высокомерие и брезгливость (то же у Гиппиус). Конечно, они не кричали — вперед на бой, в борьбу со тьмой — были много сложнее и труднее, но и обращенности к «малым сим», какого-либо привета, душевной теплоты и света в них очень уж было мало. Они и неслись в некоем, почти безвоздушном пространстве, не совсем человеческом. Это не уменьшает, однако, высоты их идейности.

Теперь очень принято говорить о начале века как о «Серебряном веке» литературы русской. Взгляд правильный. Можно бы добавить: и культуры религиозно-философской. И в этой области надо сказать о Мережковском и Гиппиус, что были они писателями предутренними. От большой публики тогдашней далекие. Да одинокие и сейчас. Не зря некогда собиравшаяся меня срезать Зинаида Николаевна сказала о себе («себе» — значит и о Мережковском):

Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

* * *

В предвоенные и предреволюционные годы Мережковские были настроены очень лево. Но октябрьская революция и ком-

мунизм вовсе им не подходили. Как почти вся взрослая литература наша того времени, очутились они в эмиграции.

Как и некогда в Петербурге, в Париже вели труднически-литературную жизнь в своем Пасси, на улице Colonel Bonnet, в двух шагах от Бунина, Ремизова, да и от той rue Claude Lorrain, где мы с женой жили. После дня работы — писания, чтения выходили они вместе гулять — Дмитрий Сергеич старенький, сгорбленный, в еще петербургском зимнем пальто с заслуженным, вытертым воротником, Зинаида Николаевна с неизменным лорнетом. Высокая, тонкая, с прекрасными глазами русалочными, под руку с мужем. А он, согнувшийся, едва брел. Но по части писания остался неутомимым. В это время был уже автором многочисленных книг. И трилогия «Христос и Антихрист», и «Грядущий хам», и о декабристах, Александре I, Павле — все позади.

Теперь занимался разными Тутанкамонами, Египтом, Атлантидой. Писал и о великих святых, и об «Иисусе Неизвестном», и о Данте. И так же оставался знаменито-одиноким.

В Париже мы встречались, но не часто и поверхностно — в литературном салоне М. С. Цетлиной; иногда бывали и у самих Мережковских.

Но ближе и чаще пришлось видеть их в Белграде, на съезде эмигрантских русских писателей в 1928 году.

Меня поселили в одном с ними отеле, и нередко я к ним заходил. Тут воздух был уже иной, чем некогда в Петербурге. И Дмитрий Сергеич и Зинаида Николаевна держалась гораздо проще, естественней и приветливей, она в особенности. (На днях нашел я у себя книгу ее стихов с надписью 1942 года: «в знак нашей старой и неизменной дружбы» — это уже не Христос и мушка.) Странно, но получилось, что сблизила несколько чужбина. Хотя чужбина эта — Сербия — была весьма благосклонна. Сам Мережковский высказал это однажды, у себя в комнате отеля, за чайным столом.

— Первый раз в эмиграции чувствую себя не отщепенцем и парией, а человеком.

Действительно, в Югославии к нам относились замечательно. Тон задавал король Александр (учившийся некогда в Петербурге, говоривший по-русски, на русской культуре воспитанный). Но и сами сербы все же славяне, другая закваска, не латинская. Что-то свое. Наш Немирович-Данченко (Василий Иванович), старейший группы нашей, некогда был корреспондентом русской газеты в освободительной войне 1877 года, здесь же под Белградом сидел в окопах. Он сербами расценивался теперь как некий фельдмаршал от журналистики дружественной.

Мережковский был для них, конечно, как и для русской провинции, неким заморским блюдом, очень уж на любителя. Куприн проще, доступнее, без бездн и Антихристов, с ним можно было (и занятно) заседать по «кафанам», подпаивать его и быть с ним запанибрата. Мережковский капли вина не пил. Для Куприна капля — ничто.

Помню вечер-банкет у министра народного просвещения. Мережковский сидел в центре, за главным столом, рядом с министром. Слева от министра, тоже рядом, Гиппиус.

Были речи. В некий момент встал и Мережковский (на этот раз Зинаида Николаевна не перебивала его и вообще не мешала). Маленький, худенький, но подтянутый, в смокинге, говорил он хорошо, все же не с таким подъемом, как некогда в Москве, но возвышенно, о борьбе с коммунизмом. Без Антихриста, конечно, не обошлось. Сербы слушали почтительно, но отдаленно.

Вдруг в дальнем конце столов произошло некое движение, тяжко отодвинут стул, к нашему столу, сбоку, приближается нетвердой поступью человек с красным лицом, взъерошенными волосами, останавливается прямо напротив Мережковского и министра и начинает говорить. Александр Иванович Куприн! За день достаточно утешился сливовицей и пивом в кафанах, но у него тоже есть идейка насчет большевиков — тоже и он оратор. Ничего, что говорит Мережковский. Можно вдвоем сразу, дуэт. Мы тоже не лыком шиты.

Даже сосед мой, достопочтеннейший епископ Досифей — Царство ему Небесное! (впоследствии мученически убиенный) — не может не улыбаться.

Но недолго оказался дуэт. Из тех же глубин, куда засадили Куприна (по неблагонадежности его), вынырнули здоровые веселые молодцы, весело отвели его на галерку. Он не сопротивлялся. Мережковский продолжал плавать в стратосфере. Куприна же, вероятно, отвели в какую-нибудь кафану. Во всяком случае, в тылу у нас стихло. Мережковский кончил спокойно.

* * *

Через двенадцать лет настали жуткие времена. «Нашествие иноплеменных». Париж сначала сильно опустел. Остались больше всего консьержки. Позже многие возвратились. Мережковские жили по-прежнему на Colonel Bonnet в Пасси. В сумрачные эти годы принимали они по воскресеньям, и об этих скромных дневных чаях осталось хорошее воспоминание — уголок мирной культуры среди кипевшей брани.

Встречал гостей Злобин, секретарь Мережковских. Зинаида Николаевна подымалась с дивана в гостиной, где лежала до нас с папиросой и томиком французским в руках. Лениво подходила к кабинету Мережковского, лениво и протяжно кричала ему:

— Дмитрий, выходи! Пришли.

В столовой собирались понемногу литераторы — более молодого поколения — Адамович приходил, Оцуп, Терапиано, тихая Горская, иногда мы с женой, Тэффи, еще другие. Хозяйничал Злобин. Через несколько минут выходил сгорбившись Мережковский — маленький, пошаркивая теплыми туфлями, позевывая, с таким видом, будто говорил: «Ну вот, опять пришли»,— но все же руки пожимал довольно вежливо. («Зову, но не настаиваю».)

Злобину, вдруг хозяйственно, почти повелительно и громко:

— Володя, есть пирожные?

Володя разливает чай. За столом он главнокомандующий. На нем вообще держится весь жизненный оборот Мережковских: как заправские писатели дореволюционных времен, сами они вполне в этом беспомощны, как дети. (Чтобы увериться, что чайник закипел, Зинаида Николаевна подымала крышку и через лорнет рассматривала, бурлит ли вода.)

Дмитрий Сергеич все утро, до завтрака, писал своих Францисков, Августинов или читал. Лени в нем ни малейшей. Восьмой десяток, но он все «на посту», как прожил жизнь с книгами своими, так с ними и к пределу подходит. Теперь оба они много мягче и тише, чем во времена Петербурга и Сологуба. Зинаида Николаевна чаще приветливо беседует с моей женой, и меня не только задирает, но держится просто и сочувственно. Дмитрий Сергеич трет себе виски после дневной дремы, заводит разговорит, конечно, выспренний, но безобидный.

Так доживали они свои дни в Пасси, на улице Colonel Bonnet. Тут написал он раздирательную книгу о св. Иоанне Креста (St. Jean de la Croix). Долгий путь от «Вечных спутников», «Юлиана Отступника», но всегда плывет, всегда надземный, к небесам лицом, хотя и пирожными интересуется.

Раз, утром зимним, вышел он в кабинет, сел в кресло перед топившимся уже камином — думал ли о св. Иоанне Креста или о чем житейском? Бог весть. Но когда прислуга вошла поправить уголь в камине, он сидел как-то уже очень неподвижно в глубоком кресле этом. Встать с него самому не пришлось. Сняли другие.

На следующий день пришли мы поклониться ему прощально — он лежал на постели, худенький, маленький, навсегда замолкший.

Помню хмурое утро январского дня 1941 года — полутьму храма на Дарю, отпевание «раба Божия Дмитрия». Было в церкви нас человек пятнадцать. Хоронили знаменитого русского писателя, известного всей Европе.

* * *

Зинаида Николаевна тяжело переносила его уход. Я думаю! Вся жизнь вместе — ведь ни одного письма не сохранилось ее или его к ней: они никогда не расставались. Незачем и писать.

А пережила она его на четыре года. И на том же кладбище Sainte Geneviève des Bois упокоилась она, где и он, в той же могиле. Небольшой стоит там памятник, как бы часовенка. И никаких цветов, никаких знаков внимания от живых. Одиноко жили, одиноко и ушли.

1965

БРАТЬЯ-ПИСАТЕЛИ

Июльским вечером, двадцать пять лет назад, проходили мы с Алексеем Толстым по морскому берегу в местечке Мисдрой, близ Штеттина. Солнце садилось. Было тихо, зеркально на море. Паруса трехмачтовой шхуны висели мирно — казались черными.

Алексей собирался в Россию.

— Ну и поезжай, твое дело.

Но ему хотелось бы, чтобы я восхищался. Вот этого не было. И странный союзник у меня оказался — Максим Горький. Он жил в Херингсдорфе, тут же на побережье. Работу Толстого в «Накануне» и все предприятие с Россией — не одобрял.

Алексей вдруг остановился, отшвырнул ногой камешек и уставился широким, полным, уж слегка обрюзгшим лицом на меня.

— Ты знаешь, кто ты?

— Ну?

— Ты дурак. Ты будешь нищим при любом режиме — а-а, ха-ха-ха...

Он заржал тем невероятным, нутряным смехом дельфина или кита — если бы те собрались засмеяться,— о котором и сейчас с улыбкой вспоминаешь. А тогда нельзя было сопротивляться. Я и сам захохотал.

Он меня обнял.

— Пойдем пит таррагону.

Что мы и сделали. Через несколько времени он уехал в Россию.

* * *

Алексей не ошибся. Нечего говорить, по таланту, стихийности (писал всегда с силой кита, выпускающего фонтан), в России соперников не имел. Прожил жизнь бурную, шумную, но и мутную, со славой, огромными деньгами, домом-музеем в Цар-

ском Селе, тремя автомобилями. Был ли душевно покоен? Не знаю. По немногому, оттуда дошедшему, благообразия в бытии его не было. Скорее тяжелое и неясное. Он любил роскошь, утеху жизни, но не весь был в этом.

В живых его нет. И все кажется, что его жизнь была очень уж мимолетной, такой краткой... От всего шума, пестроты, вилл, миллионов и автомобилей точно бы ничего не осталось. Блеснул, мелькнул, написал «Петра» с яркостью иногда удивительной, с удивительной не-духовностью и прицелом на современность (по начальству) — и нет его. О нем вспоминаешь с туманной печалью.

Но не один он в России из процветших и процветающих. Вести доходят. Писатели обставлены там отлично. Гонорары огромные. Книги переводятся на несколько языков в самой России (татарский, калмыцкий, может быть, и якутский). Пьесы приносят много тысяч. Либретто оперы — рента пожизненная Сергей Городецкий (по молодости тоже приятель) переделал «Жизнь за царя» в «Ивана Сусанина» и получает по тысяче рублей за представление. У Катаева своя дача. Симонов миллионер. Эренбург подписывает 15 тысяч на заем. У кого виллы нет, может ехать в дом отдыха в Крым, на Кавказ, под Воронеж (недавно читал премилые очерки некоего Паустовского — как раз об этом воронежском «Монрепо»).

Есть премия, есть ордена. Премий порядочно, размер тоже немалый,— кто получает 50 тысяч, а кто 100 и 200. Орденоносцам особое уважение — скидки, поддержки. Одним словом, живи да работай. Но не зевай. А то будет плохо. Усмотрят неподходящее, так уж не жалуйся.

Пильняка я тоже хорошо помню и лично знал. Он одно время гремел. По всему миру ездил. Какие банкеты устраивали ему в Америке! Что в Москве он выделывал! А потом — «Повесть о непогашенной луне»...— и сорвался, исчез, сгинул. Кажется, погиб в ссылке. О самоубийцах уж не говорю — так писатели преуспели, что и Есенин, и Маяковский, и Соболь, и несчастная Марина Цветаева «почтительно билет возвратили». А Гумилев, Мандельштам?

Алексей, слава Богу, нигде не свихнулся. В опалу не попал, умер пышно, как жил. Теперь место его, кажется, занял Симонов. Дай Бог ему здоровья. Председатель Союза писателей, заседает в знакомом мне особняке Герцена. Талантливый человек (но не очень, с лубочной прослойкой). И все-таки за него жутко — говорю серьезно и по-человеческому. Ведь были Зощенко и Ахматова, все шло благополучно, а потом... Чем же он застрахован?

* * *

Эмигрантство есть драма и школа смирения. Это разговор длинный, отдельный. Драму свою эмигрант-литератор знает. Но вот речь зашла о российских собратьях, о воспоминаниях, о чужих судьбах. Могут спросить — как же относится здешний писатель к ремеслу своему в России: жалеет ли, что с Толстым не поехал, завидует ли дачам, автомобилям и тысячам?

Ответ простой (за себя): не жалеет. Каждый живет, как ему следует. «Сии на конях, сии на колесницах, а мы именем Господа Бога нашего». Одни банкиры и миллионеры, а другие пешечком или в метро. И без вилл. Это ничего. Зато вольны. О чем хочется писать — пишут. Что любят, того не боятся любить. Какой образ художника получили в рождении, какой дар у кого есть, тот и стараются пронести до могилы. В меру сил приумножить. А богатство, успех... Нет, зависти нет.

Есть другое. За многое мы жалеем собратьев наших. Жалостью не высокомерною, а человеческой, мы желаем им хартию вольности, желаем тем из них, кто художники, а не дельцы, чтобы их художество могло процветать свободно. Чтобы страшный склад жизни не уродовал человека. Чтобы голоса стали людскими, а не граммофонными. Чтобы они ничего не боялись.

...Ну, а может быть, и Алексей иногда боялся, при жизни? Но теперь спит мирно. О бессмертии души много мы с ним говорили когда-то.

1947

АХМАТОВОЙ

Показать бы тебе, насмешнице,
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей...

Я Вас встретил, Анна Андреевна, всего раз, Бог знает когда, в 1913 году. Веселая ли Вы были грешница, царскосельская ли насмешница, не знал — да и встреча была беглая, в Петербурге, в «Бродячей собаке». Все мы тогда (говорю о круге литературном) жили довольно беспечно, беззаботно и грешно, о будущем не думали, ничего не подозревали (кроме Блока и Белого: те предчувствовали).

Вот и Вы мне показались, в этой Собаке кабаретно-артистической, среди гама и шума, вина, распущенности, песенок Кузмина, разных «Паллад» тамошних, выкриков Бориса Пронина, конферансье — юной элегантной дамой, остролицей и изящной, избалованной, слегка с ужимкой — похожей на портрет ваш Сорина («Requiem» теперешний).

Мне представили Вас как молодую поэтессу, Вы уже и тогда выдвинулись. Литературно я вас знал, но мало. Да и позже — не скажу, чтоб очень. «Четки» и другие книги. Всё изящная дама.

Но вот грянуло. Ураган кровавый, дикий, все перевернувший. Правого и виноватого без разбору косивший. Но некие души и зажигавший. В нем они очищались, росли, достигали всей силы.

Души Чистилища. Всем живым, грешным, но с зерном горчичным, предстояло пройти сквозь это. И Пастернаку, и Вам, и еще другим. Пастернак раскланялся с Маяковским. Вы — с Бродячей Собакой: была она даже мила, богемна, но не по масштабу. Буря Вас взрастила, углубила — подняла. Кто не знает, что такое — биться головой об стенку, тот не видел революции.

Некогда Достоевский сказал юноше Мережковскому: «Молодой человек, чтобы писать, страдать надо». Если бы Достоевский не стоял у столба смерти и не побывал в «Мертвом доме»...— был ли бы он вполне Достоевским?

Вы ни в ссылке, ни в «Мертвом доме» не были, но около него стояли. Бились ли дома головой об стенку за близкого — не знаю. Но искры излетели из сердца. Вылетели стихами, не за одну Вас, а за всех страждущих, жен, сестер, матерей, с кем делили Вы Голгофу тюремных стен, приговоров, казней.

Вот о них, как и о себе, Вы и сказали позже:

Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

С даром поэзии Вы родились. Вначале безраздумно расточали, но Судьбе угодно было по-другому:

Чашу с темным вином
Подала мне Богиня печали.

Вот и выросла «веселая грешница», насмешница царскосельская — из юной элегантной дамы в первую поэтессу Родной Земли, голосом сильным и зрелым, скорбно-звенящим, стала как бы глашатаем беззащитных и страждущих, грозным обличителем зла, свирепости.

В эти отмеченные Вами дни обращаюсь к Вам, Анна Андреевна, с низким поклоном — от собственного человеческого сердца, от сердца старшего литературного собрата и, смею думать, от лица многих почитателей Ваших.

Храни Вас Бог. Дай сил и здравия.

1964

АЛДАНОВ

С Алдановым мы встретились в то давнее время, кажущееся теперь чуть не молодостью, когда мы еще только покинули Россию (и казалось, вернемся!) — Берлин 1922—1923 гг. Большая гостиная русского эмигранта. В комнату входит очень изящный, худенький Марк Александрович с тоже худенькой, элегантной своей Татьяной Марковной. Как оба молоды! Южане — из Киева — русские, но весьма европейцы. Помню, сразу понравились мне, оба красивые. И совсем не нашей московской закваски.

В России Алданова я не знал ни как писателя, ни как человека. Он только еще начинал, первая книга его «Толстой и Роллан» вышла во время войны 14-го года. Он вполне писатель эмиграции. Здесь возрос, здесь развернулся. Тридцать пять лет этот образованнейший, во всем достойный человек с прекрасными глазами поддерживал собою и писанием своим честь, достоинство эмиграции. Писатель русско-европейский (или европейский на русском языке), вольный, без пятнышка. Без малейшего следа обывательщины и провинциализма — огромная умственная культура и просвещенность изгоняли это.

Вскоре после первой встречи я получил от автора только что вышедший роман его исторический «Девятое Термидора». Сейчас он стоит у меня на полке в скромном, но приличном переплете, а тогда вид его очень скоро стал просто аховым: во-первых, мы с женой, читая наперегонки, разодрали его надвое, каждый читал свою половину. Потом его без конца брали у нас знакомые — позже переплетчику немало пришлось подклеивать и приводить в порядок.

Это был дебют Алданова как исторического романиста. Большой успех у читателей, но позже дал он вещи более совершенные — «Чертов мост», особенно «Заговор» (эпоха Павла I и гибель его). Да и многое другое. (Мне лично и нравился, и сейчас очень нравится «Бельведерский торс» — довольно мало известное писание Алданова.)

Заканчивал он жизнь свою «Истоками» — два тома уже почти из нашего времени, террористы 70-х гг., народничество, убийство Александра II-го — вещь, думаю, из центральных и важнейших у Алданова. Кроме романов исторических — много блестящих очерков тоже из истории — его особенно тянуло к политике и государственности, а внутренний тон всего, что он писал, всегда глубоко-печальный, экклезиастовский. Был он чистейший и безукоризненный джентльмен, просто «без страха и упрека», ко всем внимательный и отзывчивый, внутренне скорбно-одинокий. Вообще же был довольно «отдаленный» человек. Думаю, врагов у него не было, но и друзей не видать. Вежливость не есть любовь, это еще Владимир Соловьев сказал (выразился даже решительнее).

Вся моя эмигрантская жизнь прошла в добрых отношениях с Алдановым. Море его писем ко мне находится в архиве Колумбийского Университета (Нью-Йорк). Да и я ему очень много писал, и это все тоже там.

В начале мая 1940 года, когда Гитлер вторгся во Францию, мы в последний раз сидели в кафе Fontaines на площади P[te] de S[t] Cloud. Алданов, Фондаминский (Бунаков) уезжали на юг, мы с женой оставались, и в затемненном Париже, на самой этой площади в последний раз со щемящим чувством пожали друг другу руки и расцеловались.

Но все же пережили беду. Все вновь встретились через несколько лет. Алданов оказался в Америке, там и написал «Истоки» свои — как уже сказано. Очень искусно изобразил террористов и превосходно написал цирк и людей цирка — за океаном близко познакомился с ними, а в романе и деятели политики, и акробаты, наездники, вообще циркачи поданы как люди «тройного сальто-мортале», с явным перевесом, просто настоящей симпатией к цирку. Истинная расположенность его, и чуть ли не единственная во всем писании алдановском — именно к простым, нехитрым типам цирка, профессией своей занимающимся по необходимости, не крикливым и не собирающимся переделывать человечество или вести за собой Историю. В этом оказался он верным последователем Толстого (которого вообще обожал), Толстого с незаметными капитанами Тушиными и Тимохиными, смиренно геройствующими за спиной театральных военных. (Не выигрывая сражений, люди цирка тоже вечно рискуют жизнью.)

Гитлера все мы как-то пережили, он исчез (тоже человек тройного сальто-мортале), а Марк Александрович возвратился в любимый свой «старый свет», Европу с вековой культурой и свободой ее. Во французско-итальянской Ницце и кончил дни

свои по библейскому завету: «Дней лет человека всего до семидесяти...» Приезжал в Париж — очень его любил, и как в мирные времена, так и после войны — нередко заседали мы в том же кафе Фонтен на той же площади перед фонтанами, где расставались глухой ночью майской 40-го года. А потом настали и для него, и для меня... дни февраля 1957 года, и расставание оказалось уже навечным.

В России не знают его как писателя вовсе. На Западе он переведен на двадцать четыре языка. Но придет время, когда и в России узнают, только Марк-то Александрович из могилы своей ниццкой ничего не узнает об этом.

1964

ОСОРГИН

Я познакомился с Осоргиным в Риме в 1908 году. Он жил за Тибром, не так далеко от Ватикана, в квартире на четвертом или шестом этаже. Изящный, худощавый блондин, нервный, много курил, элегантно разваливаясь на диване, и потом вдруг взъерошит волосы на голове, станут они у него дыбом, и он делает страшное лицо.

Был он в то время итальянским корреспондентом «Русских ведомостей», московской либеральной газеты, очень серьезной. Считался политическим эмигрантом (императорского правительства), но по тем детским временам печатался свободно и в Москве, и в Петербурге («Вестник Европы» — первые его беллетристические опыты).

Нам с женой сразу он понравился — изяществом своим, приветливостью, доброжелательностью, во всем сквозившим. Очень русский человек, очень интеллигент русский — в хорошем смысле, очень с устремлениями влево, но без малейшей грубости, жестокости позднейшей левизны русской. Человек мягкой и тонкой души.

Нас он в Риме опекал, как ласковый старожил приезжих. Быстро устроил комнату, указал ресторанчик, где и сам столовался и который оба мы потом «воспели» (не в стихах, конечно): «Piccolo Uomo» назывался он — «Маленький человек». Хозяин был низенький толстячок, держал дешевый ресторанчик на Via Monte Brianza, около Тибра — пристанища международной литературно-художественной богемы. По ранне-осеннему времени завтракали в садике, под божественной синевы римским небом. Плющ, виноград, обломки «антиков», статуэтка полукомическая самого хозяина — дар юного немецкого скульптора, и, конечно, наши русские типы в больших шляпах, с бородками, с видом карбонариев — среди них и sor Michele, тоже в артистической шляпе, с летящим галстуком, приветливым похлопыванием по плечу, дружеское рукопожатие с хозяином...

Поэзии и простоты этой жизни нельзя забыть. «Там, где был счастлив» — название одной из лучших книг Осоргина, где много сказано и о том времени, и об Италии, и о Piccolo Uomo, и о приятеле осоргинском, не то поваре, не то прислужнике (Кокко назывался он уменьшительно-ласкательно).

Волна молодости, света и красоты несла тогда и его и нашу жизнь. Во многом sor Michele в эту волну вводил, и в самом Риме, и позже в Cavi, где устроил нас в чудесной рыбацкой деревушке на побережье генуэзском. Там тоже русские эмигранты жили — и это самое Cavi тоже мы с ним в писаниях своих не раз добром помянули.

Незадолго до войны графиня Варвара Бобринская стала устраивать (первые в России) групповые поездки молодежи в Италию. Сельские учителя из захолустья, учительницы разные, курсистки, студенты почти даром посещали Италию — так графиня устроила. Итальянцы называли это «caravani russi» — на улицах Флоренции и Рима сразу можно было выделить из толпы эти группы странных, но скорее симпатичных юных существ.

Лучшего водителя по Риму, да и другим городам Италии, чем Осоргин, нельзя было и выдумать — он очаровывал юных приезжих вниманием, добротой, неутомимостью. Живописно ерошил волосы свои. Несомненно, некие курсистки влюблялись в него на неделю, учителя почтительно слушали. Народ простецкий, мало знающий, но жаждущий. (Около Боттичелли в Уффици один учитель спросил: «Это до Рождества Христова или после?»)

Осоргин все показывал, выслушивал, изящно изгибаясь, объяснял, а иногда и выручал из малых житейских неприятностей.

В революцию Михаил Александрович вернулся в Москву и в 21-м году меня уже выручил: устроил в Кооперативную Лавку Писателей на Никитской, чем избавил от службы властям и дал кусок хлеба.

А осенью того же года засели мы с ним и с другими «интеллигентами» московскими в Чека — за участие в Обществ. К-те Помощи голодающим (тогда сильный был голод в Поволжье). На Лубянке, в камере, где мы сидели, его избрали старостой или старшиной, чем-то в этом роде, и он был превосходен: весел, услужлив, ерошил волосы ежеминутно на голове, представительствовал за нас перед властями. Меня очень скоро выпустили как «случайного», а он, Кускова, Прокопович и Кишкин долго просидели как «зачинщики». Этих троих последних спас от смерти Нансен, но все были потом высланы на восток — Осоргин, помнится, в Казань.

Он в Москву все-таки вернулся. Но в 22-м году, с группой

писателей и философов, выслан был окончательно за границу. Стал окончательно эмигрантом — и занялся беллетристикой в гораздо большей степени, чем раньше. Собственно, здесь он и развернулся по-настоящему как писатель. Главное свое произведение «Сивцев Вражек», роман, начал, впрочем (если не ошибаюсь), еще в Москве, но выпустил уже за границей. Роман имел большой успех. И по-русски, и на иностранных языках — переведен был в разных странах. Вышли и другие книги его тоже здесь: «Там, где был счастлив» в 1928 году в Париже, «Повесть о сестре», «Чудо на озере», «Книга о концах», «Свидетель истории» и пр.

Оказался он писателем-эмигрантом, сугубо эмигрантом: ничто из беллетристики его не проскочило за железный занавес, а тянуло его на родину, может быть, больше, чем кого-либо из наших писателей. Но его там совсем не знают. Да в России пореволюционной ему не ужиться бы было: слишком он был вольнолюбив, кланяться и приспособляться не умел, а то, что ему нравилось, не пришлось бы по вкусу *там*. Думаю, его быстро скрутили бы, отправился бы он вновь — только не в Казань на вольное все же житие, а в какую-нибудь Воркуту или Соловецкий лагерь, откуда не очень-то виден путь назад.

Но и здесь жизнь его оказалась недолгой. Подошел Гитлер, все треволнения войны и нашествия иноплеменных — этого он тоже не мог вынести. И с женой своей, Татьяной Алексеевной, отступил за черту оккупации, куда-то на юго-запад Франции. Годами вовсе еще не старый, но надломленный — многолетние треволнения дали о себе знать, сердце не выдержало. И в глухом французском городке, тогда еще не занятом, «в свободной зоне» этот русский странник, вольнолюбец и милый человек скончался.

1964

О РЕМИЗОВЕ - - К ДЕСЯТИЛЕТИЮ КОНЧИНЫ

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями...

Дальние времена, начало века. Мы с женой, молодые еще, приезжаем по временам из Москвы в Петербург, по делам литературным: там наш Гржебин — «Шиповник», первый мой издатель. Там журнал «Вопросы жизни». Его редактор — «мистический анархист» Чулков, из моих близких. Секретарь редакции Ремизов, Алексей Михайлович.

«Вопросы жизни» был толстый ежемесячный журнал модернистско-христианского направления. Первые скрипки в нем — Булгаков (тогда еще не священник), Бердяев. Но и Мережковский, Гиппиус, Розанов. Из совсем молодых Блок, Ремизов, Чулков и я.

Квартира у этих «Вопросов» была большая. В одной части ее жил Чулков с женой, на другом конце Ремизов со своей женой Серафимой Павловной и дочерью, совсем маленькой Наташей. Между Чулковым и Ремизовым редакционное пространство.

(Раз, зайдя к Ремизовым, застал я некую идиллию, довольно неожиданную: Мережковский, в кресле, покачивает на гностической своей тонкой ножке, эту крохотную Наташу. Может, правда, тронул младенец его полуледяное сердце?)

Алексей Михайлович Ремизов того времени — худенький, вихрастый, в очках и уже горбящийся молодой человек, автор романа «Пруд», вещи трудной и неблагодарной, вокруг которой многое ему приходилось претерпевать — не помню точно, все же кажется, что ее печатали в «Вопросах жизни» («с великим»... ну, скажем, «напряжением»). Но где-то и когда-то, во времена третичной эпохи, я ее читал — безрадостно.

Худенький человек в очках, подвластный своей мощной супруге, как будто и невидный, но и ни на кого не похожий

по внутреннему миру, затаенный, пришибленный и уязвленный, фантасмагорист, с колдовской прослойкой, очень умный и одаренный, склонный подшутить втихомолку и даже не без яду, но по пустякам. Кажется, этим занимались они сообща с Розановым (в некоем смысле это были два сапога пара).

* * *

Встретились мы впервые в Петербурге, в 1906 году, и российское знакомство шло все там же. А были оба из Москвы, и он гораздо более, чем я. Коренной москвич, как и моя жена — духом из Москвы, землей ее вскормленный.

На Садовой, в Москве, около Курского вокзала, было два соседних особняка: Орешниковых и Найденовых. Оба с садами, службами, просторами. Найденовский более роскошный, сохранился и поныне. Одноэтажный ампир, благородный стиль, воспроизводится в художественных изданиях. Орешниковский меньше, архитектурой не замечателен, просторный тоже, комнат с десяток, сейчас его вовсе нет: возведены на его месте и вокруг огромные дома.

Мать Ремизова была урожденная Найденова, замуж вышла за мелкого служащего Ремизова — брак неравный с точки зрения мещанской. Родила несколько мальчиков — среди них Алексея — рано потеряла мужа и осталась без средств. Братья устроили ее у себя, но в каком-то флигельке, и жизненно — на задворках: она нищая вдова, живет из милости. Они — баре, от купечества московского. Думаю — это первое, что сгорбило и внутренне Алексея Михайловича с ранних лет: детство полуприживальщицкое.

Орешниковы рядом, тоже «буржуазного» происхождения, но другой стиль. Алексей Васильевич Орешников, мой тесть, был археолог с европейским именем, специалист по скифским древностям, управлял Историческим музеем.

У Ремизовой мальчики, у археолога пять девочек, веселых, резвых шалуний. (Одна из них оказалась позже моей женой.) Много лет спустя, уже в Париже, Алексей Михайлович рассказывал, что водиться с орешниковскими соседками им запрещалось: слишком бойки. (Сами же Ремизовы-младшие были еще проказливей, но в другом, замысловато-затейном и отчасти издевательском духе.)

У самого Алексея Михайловича склонность к фокусам, «штучкам» сохранилась до зрелости. Первые встречи с ним в Петербурге были довольно отдаленны и прохладны. Он замкнутый, с внутренним изгибом и надломленностью, я тоже не нараспашку,

оба самолюбивые и застенчивые. Моей жены он как будто бы и стеснялся: слишком знала она его раннюю, с детства, придавленность и обиженность. Да и позже все давалось ему нелегко в жизни, мы с женой рядом с ним казались баловнями, белоручками.

Во всяком случае, в ту, раннюю полосу знакомства мы были далеки. Он как-то не входил в мой круг, а я в его.

Помню мелкий литературный случай, он не «случаен» и Ремизова отчасти рисует.

В одном из журналов тогдашних был напечатан рассказик мой «Океан» — плохенькая штучка, я его и в книги не поместил. Фантазия романтическая, навеянная Капри. «Герой» бросается под конец с горы в «океан» и летит *полторы минуты.* Мне тогда казалось, что ничего, лететь-то ведь немало. Но хитроумный Алексей Михайлович, ухмыльнувшись, вероятно, стал высчитывать — получилось: гора высотой в *шестьдесят верст!* Многовато. Я на это не рассчитывал, но среди литераторов петербургских не один Ремизов, конечно, ухмыльнулся.

А было литераторов немало. Эти годы, начала века, до войны, злачны были для литературы нашей — не напрасно названы они серебряным веком. Так оно всегда и бывает: в затишье «цветут Музы», войны и революции меняют жизнь, но не рождают искусства.

Перед войной Ремизова стали больше печатать, а когда возник «Сириус», богатое издательство меценатское, в Петербурге, то стали выходить довольно обильно и его книги. (В «Шиповнике» он тоже печатался, в альманахах.)

Но судьбы загадочны и неуловимы. Пришла война, революция все разметала, и всех нас порасшвыряло, кого куда: Блок, Ахматова, Горький, Кузмин в России остались и легли в русскую землю, большинство же тогдашних развеялось по краям западным, в том числе и мы с Ремизовым. Как почти все «наши», поколения нашего, оказались в Париже, насельниками Отей, Пасси. Здесь жили, здесь трудились, здесь и умирали. Из моих сверстников и старших меня все тут успокоились. Вокруг — кладбище: русская литература начала века.

* * *

Ветры после революции улеглись не сразу. Последняя волна вновь разбросала — кого в Грасс, кого в Америку.

Недавно, проходя по av. Mozart, я заглянул в тупичок Villa Mozart — там некогда жил Ремизов с Серафимой Павловной (дочь стала уже взрослой, из России не уехала и погибла где-то

на юге от немцев). Изменился тупичок с тех пор, как некогда читал здесь Ремизову и мне свой рассказик Мочульский!

И много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я.

Был подвержен «закону» и Ремизов. Позже, во время этой (опять!) войны, жил он уже на rue Boileau, там Серафима Павловна скончалась, и он остался один, слабый, полуслепой. Там выжил только благодаря друзьям — друзья-то оказались верные, больше, конечно, женщины, вековой облик милосердия, почти двухтысячелетний. (Были и мужчины, но гораздо меньше.)

Дело поставили серьезно, почти «научно». Роли распределены. Одна заведует корреспонденцией, другая чтица. Особенная кухонная женщина, попроще, в доме живет и готовит. Одна — главноначальствующая, главковерх, одна — писательница преданная, вроде начальника штаба. Невидимая (редко показывалась, но часто присылала «чего бы покушать»). Квартирными, налоговыми делами ведал ее муж. Преданный человек из шоферствующих — по «общей деятельности». А затем дилетанты-любители вроде меня: поговорить, что-нибудь вслух прочесть.

Дамский отряд и панихиду устраивал ежегодно по Серафиме Павловне — в церкви — сам Алексей Михайлович уже не мог бывать, но день считался торжественным и потом все к нему собирались на чаепитие.

Еще в давние времена, сорок лет назад, подарил он мне к юбилею замечательный альбом собственного производства — любил рисовать и разделывать всякие штуки (в то время еще порядочно видел, хотя всегда был близорук — с «Подстриженными глазами»). Надо было его терпение, чтобы подобрать и фотографии мои, с детских лет, и писать разные «грамоты», все мы, пишущие, считались членами «Обезьяньей Вольной Палаты», он — генеральный секретарь этого «Обезволпала» — по временам производил повышения в фантастических чинах наших, давал похвальные грамоты (мне к юбилею) — все это написано стилем и почерком XVII века, скреплено печатью Обезьяньей Палаты, с клоком какой-то шерсти — «обезьяньей», конечно.

Он любил рисовать. Странным образом, рисунки его, всегда фантастические, являли как бы сочетание древнерусского книжничества с самоновейшим сюрреализмом. Или абстрактной живописью. Думаю, они были даровитее многого хлама, которым теперь торгуют — и успешно — ловкачи. Ремизов природно

был чудодей, все в нем изначально искривлено, фантастично и перепутано, непролазные дебри. В юности горбился, к старости стал совсем горбатым, меньше ростом, конечно, в очках, с редковатым ежиком на голове. Злобности Черномора в нем совсем не было, напротив, ко всем обездоленным всегда сочувствие, но некое и ехидство таилось в умных глазах. Подшутить, дать прозвище (одну даму называл он «Солдат», верно, и меня как-нибудь называл, но своей клички не знаю).

Вообще же был существо особое, но таким создан и неповторим. Может быть, и юродство народное времен тезки, Алексея Тишайшего, отозвалось, но органически: этого не подделаешь. Допускаю, что сам он эту знал свою черту и несколько ее в себе выращивал.

Когда был не столь немощен еще, сам ходил по французским редакциям, закутанный в какой-то небывалый шарф, плохо видящий и беззащитный. Приемная Плона какого-нибудь или Галлимара мало походила, конечно, на паперть собора Московского триста лет назад, но талантливейший русский писатель смахивал, конечно, на своего дальнего предка с этой паперти. На французов (как мне рассказывали) он производил впечатление чуда-юда, отчасти ошеломляющее и располагающее.

В авангардных изданиях его иногда печатали. Что доходило в переводе до французского читателя, не знаю, но появлялись и книги, конечно, тиражами «на любителя».

Вот это, кажется, главная была его страсть: печататься. Он и по-русски печатался довольно много (число его книг мне называли — боюсь повторять, что-то уж слишком много, но что «немало» — ручаюсь). Печатался и в газетах, и в журналах. У нас, в «Русской мысли» того времени, много появлялось очень милых его вещичек «стиль рюсс» чрезвычайно. Этим я обычно занимался. Он давал мне текст, я по напечатании носил ему гонорары — скромные, но честные эмигрантские златницы. Небогато, но ему и это нравилось.

Он всегда, когда я входил, сидел за столом своим, в очках, в пледе каком-нибудь на плечах, курил, черная клеенка стола в желтоватой россыпи табачной, пепельница, окурки. Но не столь он видел, чтобы в пепельницу эту попадать. Встречались всегда дружественно. Он благодарил, гладил ласково бумажные скудные златницы (эмигрантские!), прятал в ящик письменного стола.

— Хорошо... вот это хорошо. Спасибо.

Прежде, когда лучше видел, много рисовал — фантастические свои загогулины. Теперь уже не до рисования. Дай Бог имя свое подписать членораздельно. Все же писал он иногда «пись-

ма»: несколько строк наобум, бедными кривыми буквами, строки вниз сползали непрестанно — горький вид последней борьбы с немощью. Ум же — ясный, слов мало, но не зряшных.

— А как доктор африканский поживает?

(Так он звал одного преданного ему писателя-врача, тот одно время служил в Африке.)

После долгих блужданий рукой со спичкой зажигал, наконец, папиросу.

— Давно не был. Да... А я собираюсь возвести его в главные хранители. В великие хранители обезьяньего знака.

Этот «африканский доктор», ныне уже тоже успокоившийся, прежде водил его гулять под ручку, помогал ванну брать, вообще смиренно действовал по домашним надобностям. Алексей же Михайлович был теперь уже вполне беспомощным. Главным развлечением его были посетители и чтение вслух. Это все друзьями было поставлено основательно, говорить не приходится.

В июне 1957 года ему исполнилось восемьдесят лет. В «Русской мысли» был номер с его портретом, приветственными статьями. Поздравляли и на дому. От Союза писателей отправились мы с А. А. Шиком. Это горестный был год для меня: тяжко и безнадежно заболела жена. Ремизов близко принимал к сердцу — в Париже он уже ее не стеснялся, напротив, оказалась она для него отзвуком давней Москвы, юности. Он к ней дружески теперь относился, беду ее очень ощущал.

— Денег надо побольше теперь... денег. Уход хороший. Это трудно, а надо. Денег, денег. Лечить.

Говорилось это не равнодушно. (Сам пережил не так давно Голгофу Серафимы Павловны.)

Вот и пришли мы к нему с Александром Адольфовичем «от Союза». Я начал что-то поздравительное, но в горле спазма, пробормотал несколько слов, мы обнялись и заплакали.

* * *

Редко к кому смерть легко приходит. Так вышло и с Ремизовым. Чуть ли не последней эта встреча наша и оказалась. Вскоре болезнь его усилилась, он задыхался, над ним воздвигали палатку кислородную для облегчения. Тут уже не до чтения вслух. И вообще не до посетителей.

Он умер в ноябре того же 57-го года, оставив по себе наследство многих книг, редкостно-своеобразных, трудно читаемых: «для немногих». Как во времена «Сириуса», теперь, в закатные годы, больше его печатали, чем в молодости,— и в «YMCA-Press», и в Чеховском издательстве. Одна из лучших

его книг, «Подстриженными глазами» (очерки-образы, воспоминания о Москве юных лет), вышла здесь в Париже, в «YMCA-Press».

Жизнь тяжелая и отшельническая, глубоко, исключительно даже писательская, проходила передо мной шестьдесят лет. И прошла. Теперь уж, из моих сверстников, некому проходить.

1968

О ШМЕЛЕВЕ

Вы спрашиваете меня об Иване Сергеевиче Шмелеве, что я о нем знаю, что помню. Вопрос законный, отвечаю охотно.

Оба мы москвичи, современники, но так сложилось, что именно в Москве мало знали друг друга. В годы до первой войны он не был членом кружка «Среда» (Леонид Андреев, Бунин, Телешов, Вересаев и др.— временами Короленко, Чехов, Горький). Там прошла моя юность. Не был в наших «Зорях», более молодом и «левом» (литературно) содружестве. Не ходил и в Литературный кружок — Клуб писателей и артистов на Большой Дмитровке.

Иван Сергеич был человек замоскворецкий, уединенный, замкнутый, с большим внутренним зарядом, нервно взрывчатым. В Замоскворечье своем сидел прочно, а мы, «тогдашние» от литературы, гнездились больше вокруг Арбатов и Пречистенок. Тоже Москва, но другой оттенок. В Замоскворечье писатель неизбежно одинок.

Где и когда мы познакомились? Теряется это во тьме времен доисторических. «Среда» расширилась, из частных квартир перекочевала в Литературный кружок, менее стала домашней. Шмелев в это время уж автор «Человека из ресторана» — первый большой его успех.

В этом Литературном кружке, наездами из деревни, встречал я его иногда, но бегло. На его чтения не попал ни разу (просто потому, что приезжал в Москву редко, ненадолго).

А потом мы оказались сотоварищами по «Книгоиздательству писателей», делу кооперативному, где и Бунин состоял членом «артели» литературной, и Алексей Толстой, недавно появившийся талант, и Шмелев, Вересаев, я.

Выпускали альманахи. Дело процветало, книги шли отлично, гонорары писателям тоже (мы сами были и хозяевами).

Подошла революция. Книгоиздательство довольно долго держалось. Но «сосьетеры» разъезжались. Раньше других Бунин с Толстым, потом Шмелев, даже Вересаев.

Страшное время. Террор, кровь, расстрелы заложников, гражданская война, массовое истребление молодежи. Мы с Иваном Сергеичем испили свою чашу — гибель близких (юных!).

В Крыму быль расстрелян его сын, молоденький офицер Белой Армии. Это произошло вдали от меня, но, зная Шмелева (хоть и поверхностно), его наэлектризованность, силу душевных движений, могу себе представить (да и сам имел опыт!), до какого отчаяния доходил он. Думаю, до некоей грозной грани...

Теперь и для него, и для меня Россия за горами, за долами. Встретились мы снова на чужой земле, в Берлине 1922 года. Помню, поразил он меня своим видом. Черные очки, бледность, худоба, некая внутренняя убитость — все понятно, все понятно, кончено...

В Берлине никак не мог он еще расправиться, выпрямиться и возопить. А потом принял нас всех Париж. Тут понемногу он оправился. Полагаю, как и не в нем одном, революция и ее муки обострили, повысили у него религиозное чувство и чувство Родины, Руси. Тут написал он одно из самых страстных своих произведений — «Солнце мертвых», тут появились и вообще лучшие его писания: «Лето Господне», «Богомолье». Это уже восторженные какие-то слезы (но сдержанные) о Москве, детстве, Замоскворечье. По силе вещественного воспроизведения с ним может равняться только Бунин, но подспудным духовным пылом Шмелев его превосходит — православным пылом (чего у Бунина вообще не было).

Как и в Москве, жил в Париже Иван Сергеич довольно уединенно, под сердечной опекой супруги. Читали его много. Думаю, он и Алданов были наиболее читаемые писатели эмиграции (разных, отчасти даже противоположных ее слоев).

Как и в Москве, встречались мы не особенно часто, но отношения всегда были добрососедские, доброжелательные.

Вместе переживали и немецкую оккупацию. Ремизов, он да я только и оставались тогда в Париже из старших. Это тоже сближало. Судьба не очень щадила Ивана Сергеича: уже в Париже супруга его скончалась. Удар тоже страшный. Остался совсем один. Здоровье сдавало, нервность росла, худоба тоже. Жил он на rue Boileau, в отейско-пассийском квартале, обиталище почти всех писателей «древних». И тут ему не везло. Бомба союзническая разорвалась на другой стороне улицы, как раз напротив его квартиры — ничего не осталось от домишки, а у Ивана Сергеича все стекла из окон вылетели (этим, впрочем, нашего брата не удивишь: в моей квартире тоже все окна были разбиты, а пол засыпан мусором).

Мы с женой заходили иногда к нему. Он был уже полу-

больной, но приветливый, более смирный, чем прежде, хотя в меру сил воодушевлялся — может быть, ему приятно было и то, что свои люди, московские, хоть и с Арбата.

Вот некий вечер, он в халате отворил нам, потом извинился, лег, но сейчас же закипел. Был уже очень худ, но жив, внутренно. Не помню точно, что он говорил, но с жаром и воодушевлением. Лампочка электрическая отбрасывала на стену его тень — угловатую, остроугольную, с всклокоченной головой. Тощей рукой потрясал он в воздухе, и тень от руки этой прыгала по стене. Волнуясь, запахивая на груди халат, громил он — известно кого! — знал, что среди «своих». Семнадцатый век, протопоп Аввакум, вот сейчас-то покажет из костра, где сгорает, два перста, обращенных к Небу.

В пятидесятом году друзья свезли его в Bussy-en-Othe в тот дом покойного В. Б. Ельяшевича, где в начале сороковых годов провели мы с женой два лета. Теперь там была женская обитель и пансион при ней.

Он очень ослабел. Утомил ли еще и путь (около 200 килом.), или час пришел «его же не прейдеши», только в день приезда, чуть ли не сразу же, в бывшей нашей с женой комнате он и скончался.

Мы хоронили его на кладбище S[te] Geneviève des Bois, пристанище эмигрантском замечательном, где лежит почти вся старшая литература изгнания, очень много и Белой Армии.

Карташев сказал надгробное слово. Друзья, сочувственники русского писателя поочередно подходили, и лопаточки с прощальною землей — любовью подымались, опускались над раскрытою могилой.

Всему этому восемнадцать лет. Карташев лежит недалеко. Моя жена много дальше.

Ивану Сергеичу Шмелеву, большому настоящему писателю российскому — низкий поклон, вечная память.

1968

ПИСЬМО СОЛЖЕНИЦЫНУ

Александр Исаевич, чрез тысячи верст, нас разделяющие, и чрез жизнь, не позволяющую встретиться, направляю Вам благожелания и сердечное сочувствие. Я не так давно Вас знаю, да не так давно и вышли Вы в литературу. Первое знакомство — Иван Денисович. В нем всего Вас я еще не ощутил. Но, конечно, это Вы. Только лишь приоткрытый. «Матренин двор» — дверь отворяется уже шире. «В этом авторе что-то особенное». Не просто советская жизнь в вольном освещении. Пусть первую половину хорошо бы посжать, но писание это органическое, авторская душа дает себя чувствовать непроизвольно, какая она есть, как создана Господом Богом.

Для меня с этой Матрены и начинается полный Солженицын. Не знаю хронологию Ваших писаний, для меня Ваш расцвет — «Раковый корпус» и «В круге первом». Опять оговариваюсь: оба для меня не совсем совершенство. Подчистить, подтянуть ремни, сократить (особенно «Круг») не плохо было бы. Сталин мне не нужен, это я все знаю и это журнализм. И вот: с одной стороны менее удавшееся, с другой — прощание с невестой или очаровательная докторша из «Ракового корпуса» и нежность неудавшейся любви. Прелестно!

Что же, во всех, даже великих произведениях («Война и мир»), не все на равном уровне. Есть горы, есть и долины — это почти неизбежно. Но Толстой писал с отдаления, и более олимпийски. Вы в злободневности, пестроте, в боли вчерашней. Вам труднее. Кроме пафоса обличительного, чаще всего уводящего от высокого художества, Вас могут упрекнуть и в другом: вообще в перевесе документального, choses vues, над вымыслом творческим.

Но, слава Богу, есть и иное, Ваше, органическое — в этом Вы в линии великой русской литературы XIX века, не подражательно, а врожденно. Есть глубокое дыхание любви и сострадание. Оно подземно у Вас, но подлинно. Вы его не

«возглашаете», оно само говорит, даже Вас не спрашиваясь, голосом тихим и непрерывным.

«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии...» Имени Христова Вы как будто и не упоминаете, но Оно стоит за всеми вашими строками тайно, прикровенно. Этого не скроешь. Это у Вас не «литературное», а выстраданное. Оно и придает силу писанию Вашему. Некий ток высокого напряжения идет от него и покоряет — не только русских, но и чужеземцев.

Некогда гимназист Мережковский пошел к Достоевскому за научением — жаждущий к зрелому (знакомая картина!).

Достоевский ему сказал:

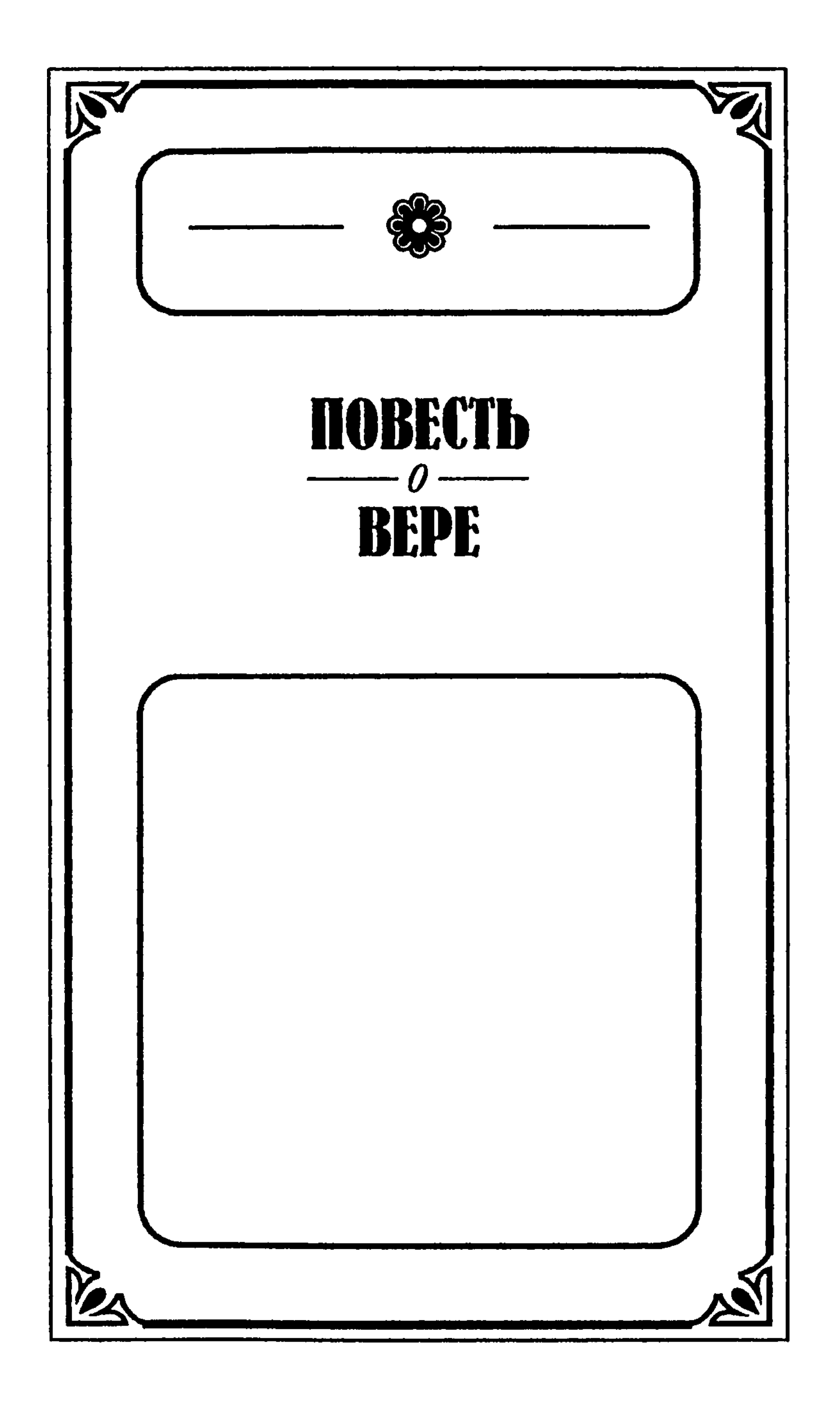
«Чтобы писать, пострадать надо, молодой человек!»

Людям нашей эпохи, «страшных лет России», говорит это уже не Достоевский, а сама жизнь — одному больше, другому меньше. Вам, Александр Исаевич, сказала достаточно. И голос Ваш доходит до всех, у кого живо сердце.

Письмо это совпадает с Рождественскою и Новогодней волною. Пусть так. Новый ли год или старый, великий ли Праздник рождения или дни обычные, во всякое время я, старший собрат Ваш по литературе, посылаю Вам лучшие чувства и самые искренние пожелания добра.

Писания, писания! Жду, чаю замечательного писания.

Декабрь 1968. *Борис Зайцев*


ПОВЕСТЬ
о
ВЕРЕ

I

Николай Андреевич Муромцев был тихий, благообразный и безответный человек. Служил по Московскому городскому управлению. Лидия Федоровна, его жена, мать Веры Муромцевой,— отчасти персонаж из Достоевского, нечто вроде генеральши Епанчиной или Татьяны Павловны из «Подростка». Буря и гром, сочетавшиеся с тишайшим иконописно-православным Николаем Андреевичем,— действительный залог со страдательным.

С Верой Орешниковой, моей будущей женой, Вера Муромцева познакомилась и сошлась дружески в незапамятные времена — конец XIX века, когда и я еще с Верой Орешниковой знаком не был. Дружба эта, несмотря на полную противоположность характеров, продолжалась всю жизнь. Из времен доисторических дошли отдельные лишь сведения. Например, Вера Орешникова обучала некоторое время подругу французскому языку!

Второе известие: во времена тоже отчасти легендарные, но уже когда Вера Орешникова перемещалась в Веру Зайцеву, Лидия Федоровна выгнала эту будущую Зайцеву из дома за то, что та читала Гамсуна и Бальмонта, водилась с «декадентами», вообще с юной богемой литературной того времени (начало нашего века). Но вскоре и помирились, обнимались, рыдали, все как полагается по Достоевскому.

Сердце же материнское все-таки угадало. Чрез мою Веру степенная Вера Муромцева, очень красивая девушка с огромными светло-прозрачными, как бы хрустальными глазами, нежным цветом несколько бледного лица, слушательница высших женских курсов Герье, неторопливая и основательная, соприкоснулась с совсем иным миром. Начинающие писатели, поэты «нового направления», молодые художники, литературно-артистические барышни и дамы, несколько полоумные, литературный кружок (клуб писателей, актеров, музыкантов, игроков) с лекциями

Бальмонта, Брюсова, Волошина — мало это походило на курсы Герье. В 1906 году мы жили уже с бывшей Верой Орешниковой вместе, снимали квартиру на Спиридоновке в доме Армянских. Там бывали у нас небольшие литературные встречи. Молодежь, участники журнальчика нашего «Зори». Кроме моих сотоварищей и сверстников — П. Муратова, Александра Койранского, Стражева, Муни, Александра Брюсова (брата известного поэта) и других, появлялись иногда и старшие — Вересаев, Бунин. Тут-то вот, у своей подруги, и встретилась Вера Муромцева с Иваном Буниным. Произошло это 4 ноября 1906 года. «Вернувшись из химической лаборатории, наскоро пообедав и переодевшись, я отправилась к Зайцевым. Шла быстро, боясь опоздать к началу чтения — жили мы очень близко, и никакого предчувствия у меня не было, что в этот вечер наметится моя судьба» — так она написала через много лет в своей книге о Бунине.

А судьба и правда наметилась. Спустя полвека, уже здесь в эмиграции, я спросил Веру: «Как ты запомнила, что это произошло именно 4 ноября?» — «А я, голубчик, помнила, что была суббота и начало ноября, только что снег выпал. Вот я и перебрала весь календарь за 1906 год, в ноябре суббота оказалась именно 4-е». Да, в ней была, конечно, складка основательности и усердия — не появись на перекрестке Иван Бунин, вышел бы, может быть, из нее ученый-исследователь. (Сама же она всегда очень боялась, как бы не сочли ее синим чулком.)

Но Иван появился. Было ему тогда тридцать шесть лет — изящный, худенький, с острой бородкой, боковым пробором, читал у нас стихи свои и зачитал Веру.

А в этой сини четко встал
Черно-зеленый конус ели
И острый Сириус блистал.

Она стихов не писала, литературно-богемной барышней не была, но нежным своим профилем, прекрасными глазами тоже его заполонила. Дело пошло быстро и решительно. Весной 1907 года мы с женой уехали в Париж и Италию, а Вера Муромцева с Иваном в Палестину.

«Утешаюсь и я, воскрешая в воспоминаниях те далекие светоносные страны Востока, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во Святую Землю Господа нашего Иисуса Христа».

Так написал он позже в прелестной страничке, названной им «Роза Иерихона», которою всю жизнь по праву будет гордиться Вера Николаевна Бунина — на чьих руках через сорок шесть лет скончался в Париже Иван Алексеевич Бунин («спутницей до гроба» — верно угадал).

* * *

Если за Гамсуна могла Лидия Федоровна устроить бенефис моей Вере, то что было с ней при известии, что Иван «умыкнул» из дворянской благообразной семьи ее дочь,— можно себе представить. Но этого я не видел. И даже не знаю ничего точно — просто не слышал. В нашей же тогдашней, литературно-богемской юной среде на «такое» смотрели спокойно: ну, роман и роман, значит — серьезный с обеих сторон, а дальше никому нет дела. Жизнь продолжается. Венчаться пока нельзя — Бунин не разведен с первой женой (фактически разошлись давно).

А потом, позже, все узаконено, Вера из Муромцевой стала Буниной. Незаконная, как и позже законная, по всем путям жизни сопровождала его и на всех путях оставалась верной моей Вере, бывшей наставнице — по французскому языку.

Жизнь Бунины вели кочевую, бродячую. Иван не мог долго сидеть на месте, но когда оседали в Москве, все же жили у Муромцевых, в Скатертном переулке — в квартире скромной, но украшенной благообразием и смиренностью Николая Андреича, страдательного залога. Когда являлись Иван и Вера, походило на вооруженный нейтралитет. Лидия Федоровна едва терпела Ивана. Вряд ли он ее обожал. В любой момент могла и перестрелка начаться. Тогда быстрое отступление с арьергардными боями — в Италию или еще куда.

И началось пестрое бунинское существование, с успехами литературно-академическими (не в большой публике), с юбилеями, странствиями — то опять Азия, Цейлон, то Капри с Максимом Горьким (с ним Иван тогда очень дружил), то чтение на «Среде», московской или Одесса с тамошними приятелями.

Дружественность обеих Вер не прекращалась, но жизнь очень разбрасывала. Да и обе жили очень полной своей молодой жизнью.

Началась война 1914 года. Моя Вера со мной прочно засела в имении моего отца, тульском. Бунины где-то «в пространстве», а потом революция, в некий ее момент мы снова в Москве, в 22—23-м годах в Берлине. Бунины уже в Париже, а в начале 24-го года в Париже и мы.

С этого времени соотношение Вер укрепляется снова, хотя

и в Париже Ивану не сидится. Выбирает он себе тихое пристанище — Грасс, горный городок над Канн, в Провансе. Там они проводят половину года, а на зиму в Париж. И чем дальше идет время, тем сильнее в Грассе укореняются (даже на зиму). Городок, правда, очаровательный, и скромная их вилла (наемная, конечно) «Бельведер», с незабываемым видом на далекое море, на горы Эстерель направо, на холмы в сторону Ниццы налево, и южное солнце, и цикады, и поджарый, изящный, теперь седовато-суховатый Иван, и Вера — уже не юная девушка московская, Муромцева, а вроде матроны и хозяйки дома, по утрам совещающаяся с провансальцем-поваром Жозефом (Тартарен из Тараскона),— все это незабываемо. Вере теперь много хлопот. На вилле живут ныне четверо — кроме старших, два писателя молодых — Леонид Зуров и Галина Кузнецова. Иногда и аз грешный гостил, и моя Вера, налетал и писатель Рощин, «капитан» по прозвищу бельведерскому (Иваново творчество, конечно). Все это не родственники, а друзья, двое первых к дому приросшие. Иван любил, чтобы было «окружение», да и правда, в Грассе, в прекрасном, но все же захолустье, близкие по складу внутреннему, с оттенком ученичества литературного, особенно являлись ценными: свой уголок, Россия, младшее поколение в чужой стране. Получалась некая литературная ячейка. Внизу, в большом своем кабинете, писал Иван какую-нибудь «Митину любовь», наверху, в меньших комнатах, трудились Зуров и Галина, а над Ивановым кабинетом, тоже в большой комнате, бывшая Вера Муромцева управляла, как настоящий капитан (а не Рощин), всем кораблем бельведерским. Вела и переписку с друзьями, с Парижем главнейше. Жизнь шла и мирно будто, но и сложно внутренне...

* * *

В России у Веры осталась семья, которую очень она любила: отец (особенно ей близкий), мать и три брата. Во Франции из близких или ближайших — моя Вера. С Россией переписка в те годы нелегкая, с Парижем совсем просто. Ни той, ни другой Веры нет уже в живых, но из грасских писем, моею Верою сохраненных и недавно предо мной целиком всплывших, так явно почувствовалось былое, дорогое и близкое, что вот появилось желание помянуть Веру Бунину, со всеми ее Скатертными переулками, безответным отцом, братьями, матерью, со всей грасской жизнью под началом Ивана с редкостной его талантливостью, но и трудностью, и с неиссякаемой любовью Веры к моей Вере, в которой, конечно, для Ивановой Веры сосредо-

точилась на чужбине чуть не вся Москва и юная жизнь с курсами Герье, вечерами на Спиридоновке, литературным кружком, Палестиной и Розой Иерихона.

«В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихонскую в гроба, в могилы.

«Роза» эта — скромный волчец, сухой стебель. Но обладает чудесным свойством: пролежать годы, а если опустить концы в воду, начинает зеленеть, распускаются мелкие цветочки бледно-розового цвета».

Вот и пачка писем, будто незаметный и иссохший стебель, но любовью внутренней оживленный, раскрывается и расцветает в писании одной Веры к другой.

В том повествовании Вера Бунина такая, как есть: перед Верой Зайцевой она так же проста и неприкрашенна, как пред самою собой, делится днями жизни своей, важное и неважное чередуются, главное — есть с кем побеседовать.

«Дорогая моя Верочка, оба твоих письма получила. Не сразу ответила потому, что пользуюсь всякой минутой, чтобы пожить прежней жизнью, т. е. заняться любимым делом, своим собственным. Ведь в Париже <...> нет возможности сосредоточиться, уйти в себя, почитать серьезную книгу. А письма те же гости, то же общение, а не уход в себя <...> поэтому я очень запустила ее. Теперь второй день пишу, вернее, вторую ночь.

Я почти всегда дома, даже на пляже бываю редко. Знакомых на Ривьере уйма, но мы видаемся с немногими и не часто» (*13 апр. 1925*).

Следует довольно большой перерыв — думаю, не все письма сохранились. Но и сама Вера признает перерыв.

«Дорогун мой, целую вечность не писала я тебе! Соскучилась даже. <...> Ян[1] занят большой вещью. Работает до полного изнеможения. Я всегда настороже, чтобы переписывать ему. Семнадцать дней занимаюсь английским, потом будет перерыв до начала сентября, а в сентябре снова, Бог даст, примусь за него. К декабрю овладею им. Чувствую себя гораздо лучше и физически и душевно. Целую тебя и Борю. *Твой Верун» (15 июля 1927).*

«Дорогой Золотун, третьего дня написала тебе писульку, а вчера получила твое послание. Сейчас захотелось поболтать с тобой. Все писатели ушли гулять, а я благодаря нездоровью осталась дома, смерть люблю быть совсем одна!»

---

[1] Всюду Ивана она называет Яном. *(Здесь и далее сноски, обозначенные цифрами,— примечания автора)*

«А сегодняшний вечер вызывает у меня много размышлений: полгода, как я уехала в Villejuif, готовилась к операции, стояла перед лицом смерти и т. д. Поняла, что значит быть инвалидом, радость выздоровления и спокойное отношение к страданиям. Поняла, прочувствовала до конца твои слова: «человек рождается один, страдает один, умирает один» — значит, и жить должен уметь один. Да, эти полгода, вернее год, можно считать за двенадцать лет, месяц за год. Радостно, что говели».

Определенно тут ничего сказать нельзя. Но впечатление такое, что обе подруги пережили за это время нечто нелегкое и глубокое — это тайна их сердец.

И в том же письме об Иване: «Ян в периоде (не сглазить) запойной работы: ничего не видит, ничего не слышит, целый день не отрываясь пишет... Как всегда в эти периоды, он очень кроток, нежен со мной в особенности, иногда мне одной читает написанное — это у него «большая честь». И очень часто повторяет, что он меня никогда в жизни ни с кем не мог равнять, что я — единственная и т. д.».

(В этом месте прибавлено: «это между нами». Никого уже нет в живых, полагаю, что теперь можно сделать, чтобы и не только «между нами».— *Б. З.*) «...Мережковских[1] видела раза три. Они со мной милы, но некогда мне все поехать и начать «роман» с Зинаидой Николаевной, а любопытно было бы... Целую тебя нежно. Поцелуй Боруха. Жаль, что я не видела его после Афона[2]. Яну очень нравятся его путевые картины.

Вера (17 июля 1927)».

«Дорогая Веруня, родная моя, спасибо тебе за твое письмо и за открытку, я все без слов поняла и оценила. Было грустно, что ты далеко. Но, может быть, и лучше. В одиночестве переживаешь все до конца и затем находишь скорей тот или другой выход. В самом тяжелом положении есть своя хорошая сторона. Это потребность, и сильная, быть одной. А ведь только когда ты одна, ты можешь идти куда хочешь и насколько хочешь...

<...>Я не могу сказать, чтобы чувствовала себя плохо. Конечно, тон моей души сейчас грустный, но даже не за себя, а за мир. Как люди портят все, что имеют, и даже не получают никакой радости за эту порчу. Все происходит главным образом потому, что жизнь наша не проникнута религиозным сознанием, что мы не умеем вовремя сдержаться.

<...>За молитву спасибо[3], хотя я знаю ее и очень люблю.

---

[1] Они жили тем летом в Канн.

[2] Я ездил на Афон весной 1927 г.

[3] Очевидно, моя Вера послала ей текст некоей молитвы.

Как ты обходишься с деньгами? Я кое-что сделала, не знаю — удачно ли, т. е. получила ли ты несколько сот франков или нет из одного места.

Фондаминский возмутился, что не дали Боре еще аванса.

Целую тебя и Наташеньку».

(Письмо без даты. Отношу его к лету 1927 г., когда я вернулся с Афона.— *Б. З.*)

II

1928 год открывается письмом от 13 мая, опять уже из Грасса. (Пасху Бунины провели в Ментоне.) Вот отрывок из письма этого: «Я говела в Ментоне на Страстной. Русские в Ментоне из прошлого века, мне казалось, что я в детстве: у меня юбка до колен, а вокруг длинные платья, шляпы со стеклярусом, с перьями, старушки в чепцах, старики с бакенбардами.

У заутрени не были, пошел дождь, идти было далеко, даже жутко, церковь в Ментоне стоит в глухом месте. Мне было грустно. Я не спала до 12 ч., а затем пропела трижды «Христос Воскресе!» А Пасхи так и не ели.

<...>У нас прислуга до 6 ч. веч., и потому пусть Борюшка не стесняется, и если ему приятно провести с нами время, то мы с радостью будем ждать его, напишите только, когда он приедет».

«Борюшка» предложением воспользовался, и две-три недели, проведенные им у Буниных в Грассе летом, остались очень светлым воспоминанием. Да, на вилле «Бельведер» еще одним писателем прибавилось. Теперь мы вчетвером — Иван внизу, Зуров, Галина и я наверху — все в своих углах строчили по утрам каждый свое, а во второй половине дня с небольшой площади под платанами закатывались в Канн к морю и до одурения купались, особенно я. Но годы были еще ранние, все сходило благополучно (Иван не купался). Вечером же, за ужином, на террасе «Бельведера», под средиземноморскими звездами, все это орошалось грасским красным вином (макароны, сыр...). Провансалец Жозеф подавал его в итальянских оплетенных бутылях, быстро облегчавшихся (моя Вера приехала позже).

Этот год был для эмиграции довольно знаменательным, осенью в Белграде сербское правительство устроило съезд русских эмигрантских писателей и журналистов — все прошло очень торжественно и серьезно. Но Иван по каким-то своим соображениям не поехал — думаю, из-за Мережковского.

«Дорогая Верочка, твое письмо к первому октября получила

в самый день мой (именины, 30 сент.— *Б. З.*), очень благодарю, целую за него <...> Мережковские парят, бредят Сербией, их чествование приравнивают к мировому событию, но мне кажется, что это чуть-чуть слишком. Дмитрий Сергеевич все повторяет, что такой орден только еще у одного сербского писателя, а об Немировиче молчит»[1].

Вот выдержки из письма уже следующего, 1929 года (20 окт.):

«Я ездила в Ниццу в ночевку, была у всенощной, богослужение было пышное, архиерейское. Потом я поужинала на набережной виноградом и хлебом и тихонько пошла домой. Утром исповедовалась и причащалась. Потом со своими завтракала — они приехали утром.

Затем Галина купила себе халат, а у меня так разболелась голова, что я была не в состоянии ничего себе выбрать, хотя Ян и предлагал купить «подарок». Да мне как-то ничего не хочется, кроме душевного спокойствия и любви к миру. Молилась за Лешеньку, я весь этот месяц думаю о тебе, о твоих муках, хотелось бы быть с тобой, говорить о нем. И мне как-то жутко, что взяли его накануне Покрова»[2].

Дальше, в том же письме: «Мы ведь или те, с кем мы,— цветы жизни, роскошь ее. А мне думается, что счастье простое, наивное, о котором говорит Христос, в жизни простой, не бросающейся в глаза обстановки. Везде, конечно, и зависть, и соперничество, но среди людей искусства это чувствуется острее, а между тем давно пора понять, что в конце концов всегда позолота сотрется, свиная кожа останется, что ни делай, как ни лезь из шкуры, время всех и каждого поставит на свое место... <...> Я счастлива, что живу далеко от злобы, зависти и соперничества. Как-то здесь мало трогает то, что трогает в Париже. Да хранит вас Господь. Всех целую.— *Твой старый друг»*.

За 1929 год это единственное сохранившееся письмо. Следующее помечено 1 окт. 1930 или 31 гг.— опять связано с именами обеих Вер. «Милый мой Золотун, твое письмо, которое я никому не показала, очень меня порадовало — прямо подарок ко дню Ангела <...> Почему ты думаешь, что я не могу понять тебя? Кто лучше меня знает твою душу? Боря? Наташа? Нет, близкие всегда знают не до конца. Надо отойти, чтобы знать.

---

[1] Василий Ив. Немирович-Данченко тоже получил орден св. Саввы I степени с лентой через плечо.

[2] Дело идет об Алеше Смирнове, моем пасынке. Большевики расстреляли его, вместе со многими юными офицерами, в Москве в 1919 году, ровно за десять лет до этого письма.

А душа, т. е. наше «я», не меняется, оно только частенько бывает завалено всякими наслоениями и мусором, потому и бывает оно невидимо. Я теперь занимаюсь тем, что разгребаю вокруг своего «я», и порой чувствую себя ближе к той, какой была в шесть лет, чем в двадцать пять, тридцать.

Завидую, что ты приобщилась 17 сент. Я было хотела поехать в Ниццу, да нездоровилось, кроме того, не хотела огорчать наше младшее поколение, для них большое развлечение мои именины: капитан вымел сад, Галина украсила весь дом цветами, убрав его предварительно, затем ели до отвалу меренги... В нашей однообразной жизни такие дни очень ценятся. Если будут деньги, может, Бог сподобит причаститься на Покров. Мне тоже иногда хочется пойти странствовать».

Две последние фразы довольно загадочны. «Если будут деньги...» Съездить в Ниццу из Грасса — пустое дело в смысле денег, но жизнь Буниных до Нобелевской премии была вполне необеспеченной, иногда деньги появлялись, потом вдруг исчезали. Все же странно себе представить, чтобы поездка в Ниццу могла быть трудной с этой стороны. Насчет «странствовать» — думаю, что и у парижской Веры, и у грасской это было временное настроение, связанное с некиими нелегкими переживаниями. Обе они были чрезвычайно русские женщины, ames slaves*. Не вижу как-то жену французского писателя, собирающуюся стать странницей, хотя бы по временному настроению.

* * *

Письма 1932 года открываются описанием похорон общего нашего друга Владимира Николаевича Лодыженского, скромного и достойнейшего писателя, скончавшегося в начале года на Ривьере.

23 янв. «От ворот гроб несли на руках. Нес и Леня[1]».

«Мне было приятно, что хоть один писатель несет его. Ведь только «наши дети» представляли литературу, которою он всегда жил. Ян не поехал. Была очень дурная погода, у него, того и гляди, ишиас начнется... Почему-то я все думала о тебе и до боли хотелось иметь тебя рядом.

<...>Когда Наташина свадьба? Кто будет шаферами? Сегодня письмо от папы. Он, слава Богу, здоров, хоть из дому ему выходить трудно. А у Андрея Георгиевича[2] был второй удар,

---

* души славянские *(фр).*

[1] Л. Ф. Зуров.

[2] Проф. Гусаков, близкий друг Муромцевых.

хоть и легкий, все же на несколько дней отнялась нога. Теперь он не выходит. Очень их всех жаль».

Это начало тоски по близким, оставшимся в России. В дальнейшем тоска эта будет расти, но сейчас Вера все еще под впечатлением кончины Лодыженского.

24 февр. «Милый мой Золотун <...> чем более думаю о Владимире Николаевиче, тем больше начинаю ценить его за смирение и редкое благоволение ко всем людям».

Вера права. Лодыженский был достойнейший человек. В свое время был близок с Чеховым. В письмах Чехова есть прелестные, шуточно-дружеские строки о нем. Мы с моей Верой очень любили и почитали его.

Из дальнейших строк письма Веры ясно, что в частном богатом доме в Париже устраивался какой-то вечер в нашу пользу — играли в покер. Моя Вера была, видимо, этим смущена. Подруга пишет ей из Грасса: «А ты не огорчайся, что наши «благодетели» в покер играли — «кому что дано», как говорил один мужик». (Наверное, слышала Вера это выражение от Ивана — он неистощим был в таких вещах.) «Не все ли равно, каким образом получать деньги, все мы живем главным образом подаянием. Книг никому не нужно. А писателей все же поддерживать нужно, так как без них у эмиграции совсем не было бы никакого оправдания. Если о России говорят, что она велика лишь Толстым, Гоголем да Достоевским с Пушкиным, то что сказать об эмиграции, если отнять у нее писателей? Слава Богу, что 5000 фр. помогли вам, это главное, а все остальное ерунда, все канет в вечность.

<...> Погода чудесная. В саду цветут мимозы, по зеленому дерну распустились красные анемоны, семь этих бархатных чашечек распустились у меня на столе, который тоже зеленый <...>

<...> Ян чувствует себя очень тяжело. Не по нем жить безвыездно, без людей. Ему скучно. А писать он может, когда его душа играет, а где взять игры, когда одни заботы».

23 мая. «Ян вчера все говорил, как бы он хотел, чтобы Боря приехал к нам. И это было бы чудесно, если бы наш подлец хозяин переменил кровать. И Боря до приезда Наташи пожил бы у нас. Как только увижу хозяина, буду с ним ругаться. Подумай, иметь кровать, на которой нельзя спать! Если бы мы не были так à sec*, то сами купили бы сомье. До чего обидна бедность!»

Этот последний «преднобелевский» год для Буниных, для Веры особенно, был очень труден. И безденежье, и боль за близких в Москве.

---

* На мели — о безденежье *(фр.)*.

Письмо *17 окт. 32 г.* «Дорогой мой друг, Верусь, спасибо за письмо, крепко тебя за него целую. Я накануне Покрова была в каннской церкви, очень молилась за Лешу и за вас всех. Я была в большой тоске из-за папы. Мне Соня Рохманова прислала письмо, что он «почти голодает», так что «жаль на него смотреть», ибо давно не имеет ни масла, ни сахару. Просит прислать для него немного денег через Торгсин, а у нас сейчас хоть шаром покати, а живем мы сейчас так скромно, как никогда не жили, каждый день сокращаемся и сокращаемся. Надеюсь на чудо, о чем и молилась. Решила у кого-нибудь занять, а потом отдам, напишу, или у Яна будут деньги, но все же это ужасно! Действительно, последние годы папа почти в забросе. Главное, нет ухода. Ему приходится самому накладывать заплаты, убирать комнату, и это в восемьдесят лет!

<...> Бог даст, как-нибудь проживем <...> в ноябре <...> начнется холод, с кот. трудно будет бороться, если откуда-нибудь не свалится чек. Должны были получить за перевод книги Яна на шведский, Ян ждал деньги еще с сентября, да что-то не присылают, и если не пришлют, то померзнем. Но в Москве мерзнут еще больше, а все-таки как-то живут.

<...> P. S. С людьми недуховными мне теперь скучно, безрадостно».

13 ноября/31 окт. «Дорогой Друг мой, всей душой я с тобой сегодня[1], буду и завтра. Знаю, что ты будешь тосковать и уже тоскуешь. Тоскую с тобой и я».

Из дальнейшего видно, что в этом году Бунины ждали премию Нобеля, но еще не получили.

«Я чувствую большое утомление, оказывается, ожидать, даже без большой надежды, вещь нелегкая <...>. Ян, слава Богу, пишет с утра до вечера, мы его видим лишь за едой. Пока мы «оттуда»[2] получили лишь коротенькую записку с сильным возмущением. Видимо, не решились дать русскому. Нет, «деньги и нас не любят».

Пока Ян пишет, Ça ira*, а вот когда кончит, вероятно, загрустит.

<...> Мучает меня папа. Значит, плохо, если Соня написала, сам он никогда ни звука, ни единого стона за все эти проклятые годы».

10 дек. 1932. «Если бы ты знала, дорогой друг мой, как мне что-то грустно. Сегодня день Ангела Севы[3]. Вспомнилась

---

[1] Годовщина гибели Леши.

[2] Из Швеции.

* Пойдет, пойдет! (Припев и название французской песни)

[3] Брат Веры, Всеволод.

его неудачная жизнь. Чувствую и свою вину перед ним. Ах, как мы не понимаем другого человека, и если и понимаем, то только не до конца. Как хорошо сказала одна замечательная душа: «Пропасть между душами может быть заполнена только Богом».

У меня теперь совершенно разное отношение к людям верующим и равнодушным к Богу, с первыми, мне кажется, легко до всего договориться, найти общий язык, а со вторыми точно в детскую игру играешь: «Барыня прислала сто рублей».

<...>Ты очень хорошо дала Сирина. Я вполне с тобой согласна, особенно с тем, о чем ты не написала. Думаю, мы оцениваем его одинаково».

Следующий, 1933 год был для Буниных особенным.

Иван получил наконец Нобелевскую премию (осенью). Начало же года по письмам Веры приблизительно в том же тоне.

14 марта. «Дорогие мои, то, что вас ожидает, со мной уже случилось. 5 марта скончался папа».

Вера пишет довольно подробно о кончине Николая Андреевича. Видимо, и ушел он в том же смирении, кротости, как и жил. «У меня на столе белоснежные фиалки и белоснежные нарциссы — такой белой, непорочной была и душа папы».

16/29 марта. «Веруня, радость души моей, как мы связаны: папа скончался в день рождения Леши. Значит, до скончания века нам с тобой в один день поминать их вместе. Да и они любили друг друга. Ежедневно, вернее, ежечасно я думаю о тебе, о том горе, которое тебе предстоит[1], и молю Бога, чтобы Он и тебе ниспослал сил переносить его. Главное, собери себя с самого начала и не распускайся дома, лучше уходи к близкой душе. А дома держись. Я, по крайней мере, изо всех сил бодрюсь со своими. Предпочитаю написать письмо и в письме поговорить о том, что на душе, чем говорить со своими, ибо тут легко перейти меру, а письмо все же ограничивает.

<...> Молюсь я и об Алексее Васильевиче и Елене Дмитриевне[2], ведь ты знаешь, как их люблю, и болезнь его очень меня мучает. Дай Бог лишь силы ему вытерпеть свои муки.

<...> Целую тебя и Борю со всей нежностью».

17 апр. «Христос Воскресе! Дорогая Веруня, ты, может быть, знаешь о новом ударе, меня постигшем? О болезни Павлика[3]. Он в нервной больнице. У него туберкулез. Прописано усиленное питание, а в больнице дают бурду вместо супа <...>.

---

[1] Намек на болезнь А. В. Орешникова, отца моей Веры. У него был рак.

[2] Родители моей Веры.

[3] Брат Веры Буниной, в Москве.

Павлик в первый раз за все эти страдные годы попросил послать ему 15—20 франков. Сию минуту я не могу. А между тем это нужно сделать как можно скорее.

<...> В Светлую заутреню были в каннской церкви. Разговлялись у Фондаминских. Мне было тяжело ужасно — первый раз в жизни я в церкви в эту ночь не испытала радости — приходилось удерживать слезы. А на жратву было тяжко смотреть — все представляла Павлика в больнице, голодного, одинокого, с думами обо мне и с печалью трагической о себе».

В письме от 4-го мая: «Никогда в жизни я не переживала таких тяжелых дней и почти все время была одна. Главное, мучило, что там голодают, что не могу я ничем помочь, и до безумия хотелось быть там. Ты это понимаешь, а потому я и пишу тебе».

III

Лето 1933 года проходит довольно спокойно и неопределенно.

Приближается осень, время присуждения Нобелевских премий. Несомненно, у Буниных были некие предварительные сведения о кандидатуре Ивана.

В начале октября обычные взаимные приветствия подруг (именины). Но в письме от 8 ноября тон иной. «Дорогой друг Верочка, спасибо за письмо, за те чувства, которые в нем сквозят. Сегодня трудный день. Скрывать не буду. Но большой надежды не имею. Для счастья надо родиться тарасконским парикмахером[1]. Какой великий беллетрист и юморист Жизнь! Но что бы ни случилось, надеюсь принять спокойно».

В этом много Веры. Ее основательности, любви к порядку, выдержки. «Я сегодня убрала à fond* свой шкап, постелила на стол белую бумагу — все равно надо как-то по-новому жить: спокойно глядеть в будущее, перестать гадать. Или тихо вести нашу жизнь, энергично работать, или... Во всяком случае буду рада, что так или иначе дело разрешится».

Оно действительно и разрешилось. Иван премию получил, чуть ли не на другой день (точно не помню). Знаю, что треволнение в Грассе было великое (более чем понятно). Треск телефонов, журналисты из Ниццы, телеграммы, поздравления, приезжих нечем и угощать было, но над всем нервно-восторженный туман.

Некое полоумие охватило и русский эмигрантский Париж.

---

[1] Парикмахер из Тараскона выиграл крупную сумму в национальной лотерее.

* Основательно, вполне *(фр)*

Я сам чувствовал себя именинником. «Наша взяла!» Убогая нищенская эмиграция вдруг «победила», да еще в европейском масштабе! Помню название своей передовой в «Возрождении»: «Победа Бунина»*. Первый и, наверное, последний раз в жизни писал я в типографии, во втором часу ночи.

Скоро приехал и Иван в Париж; мы с Алдановым, Андреем Седых встречали его на Лионском вокзале. Но Веры Буниной не было.

Она позже приехала. Тут начались сумасшедшие дни. Апартамент в «Мажестике», журналисты, рестораны, чествование Ивана в театре «Champs Elysees», море народу, Вера Бунина в ложе с митрополитом Евлогием — все это продолжалось с неделю, а потом с тем же Алдановым, моей Верой, кучей друзей проводы Ивана с Верой, Галиной Кузнецовой и Андреем Седых на Северном вокзале — в Стокгольм.

12 декабря, уже из Швеции, коротенькое письмо Веры: «Дорогая моя Веруня, все идет хорошо. Официальная часть празднования кончена. Теперь будут чествовать простые смертные. Два обеда провела в обществе королевских особ. И оба мои соседа оказались очень культурными людьми, кронпринц археолог и prince Eugène художник. Зала, где был обед, необыкновенно красива. Чудесные гобелены. Замечательные серебряные подсвечники, вазы. Тарелки были тоже серебряные сначала, а затем чудесного фарфора».

Да, разница с Грассом, где иногда не хватало десяти франков, немалая. Но надо сказать, что Вера, вообще говоря, была бессребреницей, ее радовал, конечно, успех Ивана, но никакого тяготения к роскоши, блеску в ней не было.

Все-таки потрясение большое. Премии ждали годы. Она освобождала от постоянной угрозы безденежья — по крайней мере, на известное время.

16 февр. 1934 года из Грасса: «Дорогой мой, золотой, не писала никому только потому, что не было сил. Я здесь вполне почувствовала свою усталость — каждое письмо оказывалось настоящим трудом».

Понемногу, конечно, все вошло в норму. Но жизнь Буниных несколько изменилась. Галина Николаевна уехала в Геттинген, где выступала в опере Маргарита (Марга) Степун, сестра известного писателя, ее новая приятельница. А затем и вовсе покинула Буниных. Зуров тоже уехал в Прибалтику, занимался там археологией.

---

* Или, б. м., «Победа эмиграции». (Имеется в виду статья «Бунин увенчан» в газ. «Возрождение» от 10 ноября 1933 г.— *Сост.*).

В 38—39-м гг. Бунины жили близ Монте-Карло, несколько выше моей дочери Наташи — она и нашла им небольшую виллу, куда вела от нее каменная лестница среди виноградников. Бунинская местность называлась уже Beausoleil, а не Монте-Карло.

19.1.1939. «Дорогая моя Веруня, сегодня Крещение. Вчера была в церкви ментонской у всенощной, народу там было очень мало, привезла святой воды. Мне здесь очень недостает церкви, а ездить дорого, всегда франков десять обходится. Не удалось и причаститься, радуюсь за Вас, что Вы причащались».

Что для жены нобелевского лауреата десять франков «дорого» — кажется странным. Правда, прошло уже пять лет. Часть премии Иван роздал сотоварищам литературным, остальное ушло в некоей беспорядочности, размахе после долгого поста — по стародворянской привычке Иван был отчасти расточителем. В данное время он в Париже, один. «Не знаю, когда приезжает Ян. Думаю, что на днях, так как не прислал денег. Я как-то очень беспокоюсь за него». (Беспокоится о его здоровье.— *Б. З.*) Но вообще за это время много она беспокоилась и страдала и за больного брата Митю в Москве, и за проф. Гусакова, угасшего там же. Вообще беспокойства и страдания из-за других весьма для Веры характерны, и хоть хотелось ей иногда слыть гетерой, к гетерству это нисколько ее не приблизило. Вот отрывок из письма ко мне. «Хочется написать тебе и по делу, то есть это не хотение, а необходимость. Дело будет идти о Тэффи. Я уже написала об этом Алданову. Она прислала мне отчаянное письмо. Положение ее очень тяжелое. Я знаю эту болезнь... Знаю, что это за страдания, и знаю, что она будет очень долго «безработной». Поэтому необходимо сделать сбор. Поговори с Марком Александровичем[1]. Составьте воззвание. Чьи подписи? Яна или мою? Марка Александровича? М. б., Милюкова или Марии Самойловны?[2] и еще какой-нибудь дамы с именем. Словом. Вы не хуже меня знаете. Но, главное, нужно найти, на чье имя собирать деньги».

Тут Вера как рыба в воде. Идут дальше советы, имена, способы обстрела обреченных — Вера все это даже любила и в совершенстве знала, как надо действовать. Кроме природной доброты и отзывчивости, была у нее и «профессиональная» какая-то черта: ей нравился артиллерийский огонь по богатым еврейским домам (дай Бог им здоровья — главная наша опора в таких начинаниях). Ускользнуть от Веры было трудно: с

---

[1] Алдановым.

[2] М. С. Цетлина, всегда много делавшая для писателей.

не-гетерской основательностью собирала она адреса. («У меня, голубчик, есть черный список. Ни одна не уйдет».) И действительно, черный список существовал, и к нему прибегали и тогда, когда устраивались большие балы благотворительные нашего Союза писателей (залы «Лютеции»), и когда трудно становилось кому-нибудь из отдельных писателей, начиная с самого Ивана (до Нобелевской премии).

На наших балах Вера всегда участвовала в дамском комитете. Бывало и так, что в отдельных случаях составлялись commando из двух-трех писателей для прямых атак. Туда чаще всего входили мы с Алдановым или Дон Аминадо. Такие нападения неотразимы. Помню, мы с Аминадо раз попали в квартиру, где оказалось семь уборных (она занимала целый этаж большого дома),— собирали на отъезд одного более молодого писателя в Америку. Уборные помогли — он процвел в Америке.

«Размножить «воззвание» можно в типографии, и подписи будут печатные, так Мережковские сделали для последнего вечера»,— опять замогильный голос Веры, не без волнения вписываю эти строки, отзвук давнего эмигрантского бытия, свидетелем коего из нашего писательского сословия чуть не я один и остался. Писала мне это Вера из «Красного солнышка», по-старинному — Beausoleil, той виллы близ Монте-Карло, которую наняла Буниным моя дочь. А был это роковой и для Франции, и для всего мира 1939 год.

Еще удивительней звучит теперь письмо чуть не за день до объявления войны, *31 авг. 1939 года:*

«Веруня, сердце мое, спасибо за письмо, за твой тон в нем. Рада, что Вы развлеклись. <...> Был Сорин, хотел писать Яна, но не вышло<...> Являлся Рощин, раз ночевал, затем пропал». И дальше в том же роде, совершенно накануне катастрофы, перевернувшей все наши жизни.

Не помню, как это случилось, но в начале войны Бунины уже опять в Грассе, но со своей прежней виллы «Бельведер» переезжают на другую, покинутую владельцами-англичанами, в Грассе же.

27 сент. 1939, 4 час. утра. «Дорогая моя Веруня, последняя ночь на «Бельведере». Долго вечером из большой спальни смотрела на Грасс в месячном свете, без единого огня. Непередаваемо хорошо. Четырнадцать лет этот вид был перед глазами. Вероятно, больше никогда не будет. Пережито очень много. В будущем новое. Новые страдания. Иногда радости. Все надо научиться принимать. Наша новая вилла еще выше. Вид шире, иной, в другую сторону. Видела при солнце. Божественно, но от этого еще тяжелее. Тоскую без церкви. В субботу надеюсь

поехать и причаститься...— Часто говорим о Вас всех. Скажи Наташе и Андрею, что я молюсь о них. Дай им Бог сил и бодрости...— Обнимаю тебя, Борюшку, Наташеньку и Андрея. Храни Вас Бог, Ян всех целует».

IV

Войну и оккупацию Бунины прожили на юге, в том же Грассе, на этой самой английской вилле. Переписка двух Вер ослабевает, письма становятся реже — быть может, из-за условий времени военного. Но тон прежний. «Дорогие друзья, 4 апреля я всей душой была с Вами. Надеюсь, что и материальный успех был хороший» *(1940 г.)*.

4-го апреля! Через два месяца немцы будут уже в Париже, а мы, очевидно, устраивали какое-то мое чтение, наверное в консерватории,— да ведь есть-пить надо и за квартиру надо платить. А Вера пишет: «Настроение мое сверхполитическое. Устремляюсь на ту сторону».

«Вот и июнь! Время летит необыкновенно быстро, моя дорогая Веруня...» Действительно, быстро: это июнь уже 1943 года. «Однообразный, правильный образ жизни, конечно, очень скучен, хочется порой видеть близких друзей, знакомых. Но я ежедневно благодарю Бога за то, что мы в такое тяжкое время сравнительно в хороших условиях. А я живу гораздо более однообразно, чем он[1]. Но ведь Царствие Божие внутри нас. Я думаю, что Яну тяжело не от внешних условий. Тяжело ему будет везде». Что хотела сказать этим Вера, что именно разумела, сказать не могу. Но угадала. Начиналось последнее десятилетие его жизни, едва ли не самое для него горькое.

Два письма Веры этого времени и ко мне. «За эти годы бывали периоды, когда ты мне очень недоставал». Тут дело идет о Флобере, которого мы оба очень почитали, Вера тоже его переводила («Education sentimentale»)* под «редакцией» Ивана. Думаю, что редакция эта была более чем поверхностна. Флобера он очень высоко ценил, но чтобы возился с чужой фразой... что-то на него непохоже.

Второе письмо — о бомбардировке Булони и Парижа. Видимо, я описывал ей ее. «Всегда после известий о бомбардировке Парижа мы мучительно ждем вестей». Все письмо в весьма ласковом, дружественном тоне.

19 февр. 1944 г. «Сегодня пришла твоя открытка, дорогая

[1] Иван.

* «Воспитание чувств».

моя Веруня, известившая о смерти Елены[1], и целый день тоска. Я более кошмарной жизни, чем ее, не знаю. Почему-то вспоминается она мне все на rue Raynouard в золотых башмаках, вскоре после их приезда из Москвы в Париж[2], куда-то спешащая, в каком-то странном плаще. И что ей пришлось заплатить за свою такую преданную любовь! Чего она не вынесла. Жутко все это представить, и все же она была как-то счастлива, даже удовлетворена своей такой кошмарной жизнью... Я никогда не слышала от нее ни единой жалобы на своих, особенно на Него! (Вера пишет Бальмонта с большой буквы.— *Б. З.*) В этом было даже какое-то величие. Все с нее скатывалось, как с гуся вода, вот действительно несла свой крест с радостным лицом. А как она себя держала после смерти Бальмонта? Изменилась ли она душевно или все так же стойко переносила все удары?»

Ответа моей Веры на это письмо у меня нет. Я же знаю только, что Елена Константиновна ненадолго пережила Константина Дмитриевича, умерла чуть ли не через год после его кончины.

К моим именинам, в начале августа, в том же 44-м году, Вера прислала мне поздравительное письмо. Привожу из него отрывок. (Наш духовник и друг, покойный архимандрит Киприан (Керн), написал в связи с праздником Преображения нечто Ивану, к которому хорошо относился.) «Передай, пожалуйста, о. Киприану, что мне очень близко все, что он написал Яну о преображении Плоти. (Собственно, Вере все это было гораздо ближе, чем Ивану.) Но то, что я смутно до его письма чувствовала, теперь озарилось, и я перечитываю его строки. С детства мой любимый был Праздник Преображения, м. б., и оттого, что освящались яблоки, груши. Потом чудо Фавора меня всегда глубоко трогало, но вполне я долго его не понимала. Когда мы проезжали мимо этой горы в наше «грешное» свадебное путешествие, которое все же было хорошо, то Ян что-то очень проникновенно говорил о том, что там совершилось. Но я в Святой Земля была далека от религиозного понимания. Но обстановка так действовала, что я уходила в детство, когда моя душа была проникнута верой, и часто там жила детскими религиозными чувствами, связанными у меня с папой, который был тонко верующим человеком и в детстве много мне дал в этом отношении. А затем — увы! — я поддалась «властителям нашим дум» и отошла на долгие годы от самого важного, что есть в жизни, и, собственно, от того, для чего мы посланы в наш столь непонятный мир. А когда мало-помалу, как шелуха

---

[1] Последняя жена Бальмонта, Елена Цветковская.
[2] В 1920 г.

от лука, от меня отделилось все наносное и я опять, почувствовав себя ребенком, обрела утерянное, дошла и до Праздника Преображения, на котором я присутствовала в чудесной церковке <...> восьмилетней девочкой. И очень много думала об этом чуде Фаворском и кое-где верно чувствовала, помогли и Мережковские, но все же не до конца. И вдруг теперь, когда я в таком одиночестве в этом отношении, это письмо на эту тему. Поблагодари его от меня».

Да, одиночество. Пути Ивана и Веры в этом отношении оказались различны. В молодости у него бывали порывы в запредельное, некие мистические настроения. Есть они и в «Розе Иерихона», и в только что приведенном Фаворе, во время «грешного» свадебного путешествия. Есть отзвуки даже в «Жизни Арсеньева», но в общем он от религии отошел. Особенно далеко было ему чувство греха. «Дорогой мой, я не убивал никого, не воровал...» Он обладал необыкновенным чувственным восприятием мира, все земное, «реальное» ощущал с почти животной силой — отсюда огромная зрительная изобразительность, но все эти пейзажи, краски, звуки, запахи — обладал почти звериной силой обоняния,— думаю, подавляли его в некоем смысле, не выпускали как бы из объятий. В последние же годы старческой болезни и некие обстоятельства «общественно-политического» его поведения очень его ожесточили — вообще против всего и всех.

Письмо Веры от 5 ноября 1949 года — последнее из времен прежних безоблачных отношений между двумя семьями.

«Дорогая Верочка, очень была тронута твоим поздравлением[1], поблагодарить, ответить у меня не было возможности.

<...> У всенощной перед Покровом я все время думала о Леше и почти видела его в трагическую ночь... Усталого, неспособного выпрыгнуть из окна». (В ночь на 1 окт. 1919 г. мой пасынок Алеша Смирнов был арестован в Москве. Он жил в нижнем этаже, и окно его выходило в сад, не охранялось, он мог выскочить и спастись. Но, значит, суждено было ему принять мученический венец.— *Б. З.*)

Это — последнее письмо Веры к Вере до тяжелых событий, разбивших многолетние дружеские мои отношения с Иваном.

* * *

Закатные его годы были для него очень тяжки — и в Грассе на этой «английской» вилле, и позже, когда Бунины окончательно

---

[1] Именинным.

перебрались в Париж. Усиливались болезни, росла раздражительность и слабость. Свет не мил. Все противно, и все будто виноваты в его тягостях. Сил нет, денег тоже, положение в эмиграции пошатнулось. «Мимо, читатель, мимо»... горестно вспоминать все это и не хочется вновь переживать. Можно вообще только сказать, что в этой ссоре полуживого Бунина с эмиграцией главным «страдательным залогом» оказался он сам.

Вера была «верная» жена и, конечно, держала его сторону, как и моя Вера — мою. Для всех четверых это было тягостно, более всего, думаю, для Ивана (некогда был он главой и как бы непоколебимым стягом эмиграции). Вот последнее письмо Веры Буниной ко мне, от 1 сент. 1950 года:

«Дорогой Борис, Ян просит поблагодарить тебя за то внимание, которое ты оказал в его тягостном положении.

<...> Нужна операция, для чего нужно готовить несколько дней. Это мучительно, приходится делать уколы морфия. Временами Ян страдает нестерпимо.

Операция, вероятно, будет на следующей неделе. Поцелуй от меня Верочку.— *Твоя Вера».*

Иван скончался через три года, 8 ноября 1953 года, глубокой ночью.

При нем была одна «верная Вера». Вспомнил ли он в эти или предшествующие часы Розу Иерихона, дни света и счастия во «Святой Земле Господа нашего Иисуса Христа», где рассказывал Вере сорок шесть лет назад о горе Фаворе и Фаворском чуде? Этого я не знаю. Дай Бог, чтобы вспомнил.

Вера на несколько лет пережила его. За эти годы подруга ее молодости и всей жизни Вера Зайцева сама тяжко заболела. Но Вера Бунина ее не забыла. Спокойная, разумная, теперь очень уже немолодая, появлялась она у нас нередко. Стала еще бледней — малокровие всегда у нее было, теперь увеличилось. С моей Верой держалась дружественно, благожелательно и участливо, все же тень некая чувствовалась, и была эта тень — я.

Но главная и ни с чем не соизмеримая тень была приближавшаяся Смерть.

Веру Бунину взяла она в 1961 году, Веру Зайцеву в 1965.

1967



ДРУГАЯ ВЕРА

ПОВЕСТЬ
ВРЕМЕННЫХ
ЛЕТ

I

Весной 1922 года я заболел в Москве сыпным тифом. Двенадцать дней был без сознания, на границе гибели. По ночам жена моя Вера выходила на улицу, обламывала сосульки льда с крыш и заборов, прикладывала мне ко лбу.

Наступила ночь, когда стали коченеть ноги — начинался так называемый менингитизм, от которого спасения нет. Доктор Павлик Муромцев, брат Веры Буниной, лечивший меня, наш приятель, так был подавлен, что решил на другой день утром не приходить: не хотелось видеть покойника. Но Вера не сдавалась. Верила в противоочевидность. Положила мне на грудь образок св. Николая Чудотворца, которого особенно чтила, молилась и твердила: «Боря будет жив!» Это была тринадцатая ее бессонная ночь. В ночь эту и произошло таинственное, чего здравый смысл не ждал, одна Вера верила, вопреки всему. Утром ко мне вернулось сознание.

Началось выздоровление. Все это переломило нашу жизнь и судьбу. Явилась возможность выехать за границу — предлог серьезный,— в Берлин, на отдых и восстановление сил.

Некогда, в Московском университете, был я слегка знаком со студентом Каменевым. В 1907 году во Флоренции встречался часто с Луначарским. Теперь Каменев был председателем Московского Совета, а Луначарский — министром народного просвещения. Они и помогли мне получить разрешение на выезд (с женой и дочерью) за границу на поправку. После довольно долгих все-таки хлопот мы смогли в июне тронуться в Берлин.

Вера Бунина, давняя подруга моей жены, жила в этом, 22-м году в Париже. Предлагаемые письма Веры Зайцевой Вере Буниной написаны вначале из Германии, затем из других стран.

Ясно, что приехали мы в Берлин чуть живые. Тон германских писем Веры более чем объясняется обстоятельствами. С Иваном Буниным она всегда была в дружественных отношениях. Оба одинаково ненавидели революцию, насилие и террор, оба усна-

щали «великий, свободный русский язык» словечками, для печати не всегда подходящими. Но во многом, конечно, были и совсем разные.

Вот первое письмо Веры Зайцевой из Берлина.

20 июня/3 июля 1922 г.

«Дорогие мои, родные Ваня и Верочка, бесконечно рады были получить от тебя письмо, моя близкая, родная! (Бунины уехали из Москвы гораздо раньше нас. В 1918 году оказались уже в Одессе, откуда и выбрались в Париж — через Болгарию и Сербию.— *Б. З.*).

<...> До сих пор не верю, что мы вне советской жизни. Так устали, что слов нет. Пока нравится все, воздух, люди, цветы, чистота, а главное — нет кровавого тумана. Писать не могу, слишком все еще близко, а когда увидимся, все расскажу. Но увидимся ли? Теперь еще нет, т. к. валюта не позволяет. (В Берлине мы жили прилично на печатавшееся у Гржебина собрание моих сочинений, но немецкая марка с каждым днем падала безнадежно, для Парижа обращалась в ничто.— *Б. З.*) Но надеемся очень выбраться, только сначала надо поправиться. Борюшка после болезни все еще слаб очень, хотя уже поправляться начал, ну а про меня и говорить не хочется, одно слово: страсть кобылья. (Она любила это выражение, ею, кажется, и выдуманное.— *Б. З.*) Наташенька бледновата тоже. Все расскажу, когда увидимся! Боже, как мы устали!

Жена у Павлика хорошая русская женщина, и пока ему хорошо с ней. Она о нем заботится, бережет его. Теперь это главное в советской жизни. Только бы человеку не дать ослабнуть — нет, не могу писать, как все страшно.

Павлик прекрасный, сколько слез пролила я у него на френче в холодной кухне, накалывая лед для бедной головушки Бориной, а потом топили печурку в комнате в 2—3 часа ночи и говорили об Эросе (это когда Боря выздоравливал). Хороший, редкий человек Павлик. Живет он в одной комнате. Средне живет, как большинство. Радость, конечно, большая, когда «Ару»-посылку получает от вас, а жена его поддерживает и бережет. Родители твои выглядят хорошо. Веруня, Веруня, мечтала сколько раз встретить вас и реветь. Боже мой, если б можно все сказать (в этом месте черное небольшое пятно, вероятно, от капнувшей слезы.— *Б. З.*). Какая горечь и печаль. Лешку-то не вернешь? Тут Боря, Наташа и еще в коробочке земля с могилы бедного моего. Вот две макушки не помогли. (Леша — ее сын от первого брака, мой пасынок, расстрелянный большевиками в 1919 году, юноша офицер. «Две макушки» считается знаком счастливой жизни! — *Б. З.*)

Милый Ваня! Родной, любимый Борюшка очень благодарит и говорит, что сейчас не надо ему посылать 500 франков. У нас деньги есть пока, нам теперь не надо. Потом — что Бог даст, а теперь у нас есть.

Господь храни вас! Ваня! Мечтаю поговорить с тобой о стервецах. Без конца обнимаю. Хорошо, если на свадьбу к вам попадем. Боря целует». (Бунины были вместе с 1907 года, но развода с первой женой он не получал долго и «узаконить» все с Верой Муромцевой смог только уже в эмиграции, кажется, в том же 22 году.— *Б. З.*)

15/28 июля 1922. Остзеебад. Мисдрой.
(Местечко между Штральзундом и Штеттином.)

«Дорогая моя, родная Верунечка, получила от тебя письмо и от Яна[1]. Боря получил тоже. Мы живем на море в Мисдрое (не очень для русского уха благозвучно). Погода убийственная, холод и дожди беспрерывные. Но я рада, что мы не в Берлине. Все-таки мы мечтаем и добьемся ехать в Италию. Как это мы добудем денег, это фантастично еще, но все же мы надеемся. За 500 фр. спасибо. Боря уже написал спасибное письмо. Веруня, несмотря на погоду, мы поправились очень. Как-то отдохнули в нашей жизни. Здесь живет Тостой[2], первое время мы питались в одном пансионе, но теперь устроились с обедами отдельно. Пропасть нас разделяет страшная, и мне кажется, что он это чувствует. Мне вот ни капли не больно, что мы с ним разошлись. Близости никогда не было, а были поверхностные распивочные отношения. Ну и Бог с ними. В России, конечно, та часть, на которую он рассчитывает, примет с распростертыми объятиями, ну а наши «без энтузиазма». Я нашла и его, и его жену хорошо упитанными, и тон у них неприемлем для моих ушей и сердца моего. Это люди чужие, и Бог с ними. Наружно мы вежливы, и только.

Вас, тебя, Ваню, я любила всегда и теперь люблю, как никогда, вы оба для нас дорогие, близкие, родные. Вера, как бы мне хотелось поговорить с вами. Многое не напишешь. О Москве скучаю и надеюсь вернуться. (Очень распространенное в то время настроение у только что уехавших.— *Б. З.*) Папа неузнаваем, христианином стал, мягкий, добрый. Мама моя худенькая и очень старая. Сильно нуждались, голодали. Дом весь занят, только две проходные комнаты и папин кабинет. Остальное занято семьями рабочих. Жизнь адская. В Москве очень сплоченные были люди, если б не друзья — гибель.

---

[1] Так Вера Бунина всегда называла мужа.
[2] Алексей Толстой, «граф».

(Думаю, вспоминает она тут и время моей болезни, когда незнакомые оставляли нам на подоконнике деньги, еду.— *Б. З.*) Все друг друга поддерживали и не кланялись никому. Анофриева держит столовую, обед два с половиною миллиона, из двух блюд.

В Москве сейчас страшное религиозное течение. Церкви все полны. Никогда столько не молились, как сейчас.

<...> Перемерло народу уйма. Ник. Нилыч Филатов[1] был арестован и умер сыпным тифом. Чулковы[2] до сих пор не могут оправиться после смерти ребенка. Очень сошлись мы с Новиковыми[3]. Бердяев благороднейший человек. Айхенвальд молодцом держится, но уж очень его травят наши правители. Все это я тебе только пишу и Ване. Милые мои, сколько бы вам порассказать и страшных и смешных вещей. Жизнь столь фантастична в Москве — представить трудно. Ужасный кошмар! Даже не верится, что все это пережито. Да и пережито ли? Наташенька стала розовая, скоро пришлю вам карточку, ее и Лешину — его последнюю. Офицерскую боялись везти через границу. Ждем сюда Муратова, это тоже наш друг. Написал роман «Эгерия». (Выйдет у Гржебина.) Господь с вами, нежно целую вас, милые мои! Веруня! Родная сестра моя, и Ваня, братик мой».

8 сент. 1922. Рождество Богородицы. (Мисдрой).

«Дорогая моя, родная Веруня, получила твое письмо, и на сердце стало легче. Неужели же мы не увидимся? Ведь так близко теперь... Мы все еще в нашем Мисдрое. Все уехали, пустота, и нам это нравится. Боря начал писать повесть[4], размордел очень. Так счастлива за него.

Веруня моя, кажется, сто лет не виделись! У нас хорошая дочка растет. Ты ее совсем не знаешь. Сниму и пришлю карточку. Как Ян? Поцелуй его за нас, родного нашего.

Вспоминаю, когда вы уезжали[5] в 18 году, как он меня ветчиной накормил и шляпу мою назвал плантаторской.

Толстые жили здесь все лето, но отношения далекие. Все хорошо бы было, если б он не наскакивал со своими сменовеховскими разговорами. Мы отклонялись, но 3—4 раза жестоко поговорили. Он очень изменился, мрачный. Ты знаешь, на мой

---

[1] Известный в Москве врач.

[2] Георгий Чулков, писатель.

[3] Писатель Ив. Новиков.

[4] Роман «Золотой узор»

[5] Из России

взгляд, в его поклонении большевикам главную роль играет материальное благополучие.

Конечно, вздор, что они ему деньги дают, но его привлекаст сила их. Между прочим, он уже взял на год квартиру в Берлине и не собирается теперь ехать. Страшно злится, когда его спрашивают, скоро ли он в Москву поедет? В Москве и Петербурге прием ему будет дурной, если он туда поедет. (В «наших» кругах, подразумевается. В правительственных его приняли превосходно, он все получил, чего искал. Но не уважение — обе стороны в этом держались одинаково.— *Б. З.*)

Ждем наших друзей из Москвы. А когда мы вернемся — не знаю. Боюсь, что годы и годы придется отсиживаться. Страшно за Россию, что будет. Мне Таня[1] писала так: «Хорошо, что вы вовремя уехали. Кольцо сжимается. Живем в безвоздушном пространстве». А тут еще разговор о том, жива ли Россия? Верю, что жива... но помоги моему неверию.

Веруня, я пишу все, что думаю, ты письма Ване не показывай, а то смеяться будет, что понять трудно. <...> Я тоже здесь стираю, глажу, готовлю, но как все это легко после советской России! Там до того доходилась я, что со мной два раза обморок был, весной. Вообще физически здесь хорошо живется.

Ты, Веруня, очень хорошо стала письма писать. Каждый раз я перечитываю без конца. Какая ты стала?

Вера!! Знаешь, кого я здесь встретила, друзей Лешиных, из их дома он был взят. Если бы они все трое (и Лешенька) уехали! Но они не успели и только спустя полгода перешли границу. Они сюда ко мне приезжали. Как плакали мы все, вспоминая весь ужас. Обнимаю, пиши мне. 1-го октября будем в Берлине. Обнимаю, люблю и всегда молюсь за вас».

28/9 ноября. Курфюрстенштрассе, 144. Берлин.

«Дорогая моя, родная! 1 окт. по-нашему я вспоминала тебя, день твоего рождения. Нежно целую тебя. Дня три тому назад получила от тебя письмо, теперь вы в Париже. А мы застряли в Берлине, чему я не рада очень, но ехать никуда нельзя, здесь напоминает жизнь советскую. Цены растут чудовищно. Ну, все равно. Как-нибудь проживем. Бог даст, все же летом с вами встретимся. Вот было бы счастье! Здесь теперь почти все наши, из Москвы. Бердяевы, Осоргины, Айхенвальд, Муратов (сам приехал, его не выслали). Но жить в Москве совсем нельзя, такие репрессии, что не приведи Бог.

Наташенька учится у учителя (дроби), немецк., геогр., истор.

---

[1] Старшая сестра Веры, оставшаяся в Москве.

и т. д. и, кроме того, танцует в балетной школе Девильер, с большим успехом. Это ее очень забавляет. Она очень хорошая, интересная девочка, с чудесным характером. Это такое наше счастье. Завтра 20 лет нашего союза с Борей, 20 лет! Вся жизнь. С Толстым почти не видаемся, он зверски хамеет. Отовсюду его исключают, а он хвастает, что зато он богат. Они два сапога пара — только бы деньги, больше им ничего не надо. Когда у них денег много, они счастливы и довольны. Он, говорят, пьет. Но мы нигде не бываем там, где они. У нас своя компания подобралась. Верун мой, любимый, как я хочу тебя и Ваню видеть. Проклятые деньги, из-за них не смогу приехать. Может быть, летом на Рейн вы и мы приедем, хоть месяца три прожить вместе. Получила письмо из Москвы, сахар стоит 12 миллионов фунт. Как там живут — представляешь. У меня чувство, что сердце у меня висит на тонком волоске и постоянно болит. Это физически. Правда, у меня всегда болит сердце — ранка какая-то! 1/13 ноября три года, как погиб Леша, пойдем все в церковь. Бедный, бедный мальчик! Весь этот месяц, день за днем, переживали все снова. Что пишет Ваня? Боря пишет повесть. Скоро выйдут на немецком языке его три рассказа.

Какой <...> город Берлин, бездарный, скучный, да еще эта деревенщина. Приехавшие из Москвы устраивают «Союз писателей» — я очень рада, там будем встречаться по субботам. Здесь был «Дом литерат.» (кажется, так наз.), но там мы не бывали, это все советск. учрежд., и «Накануне»[1]. Веруня, как ваши денежные дела? Мы живем, день за днем. Но отлично сравнительно с Москвой. Чисто, уютно и тепло. Ну, мой родимый, целую тебя, Ваню. Господь храни вас. Боря, Тата целуют тоже. Пиши мне. Да? Буду ждать и сама напишу».

18 нояб.— 2 дек. 1922. Курфюрстенштр., 144. Берлин.

«Дорогой друг мой, нежно целуем тебя и Яна и поздравляем. Мы очень рады, что вы повенчаны. Бог над вами, родные мои. Верун, спасибо тебе за заботу о нас, но теперь пока нам денег не надо. Мы живем хорошо, т. е. не голодаем, кое-что себе делаем из одежды. А вот папе и Добровым устрой, родная. Я тоже посылаю папе 2 доллара — это пустяки, но все же хоть что-нибудь. Веруня, меня всегда страшно трогают твои письма — до того близка и дорога ты — как никто сейчас, и я мысли не допускаю, что мы не увидимся.

В Россию мы не знаю когда вернемся. Там жизнь невыносимая. И знаешь, странное дело. Все, кто сюда приезжает,

[1] «Сменовеховская» газ., там и Толстой участвовал.

первое время только и говорят о том, что вернутся,— пройдет месяц, и все с грустью признаются, что вернуться туда немыслимо. Здесь Пат Муратов[1] теперь, мы каждый день с ним видимся — это большая для нас радость. Кроме того, мы с ним спаяны ненавистью к нашим негодяям. Столько вместе пережили. Не знаю, писала я тебе или нет,— но сейчас я очень грустная и вообще подавлена Берлином. В Мисдрое было лучше, а здесь бездарный город, никаких ярких впечатлений.

Здесь в миссии праздновали 5-летний юбилей октябрьской революции, и Граф читал отрывок из романа. После этого вечера встретился коммунист с одним из высланных, Мавичем, и рассказывал ему: «Вот хам этот, «граф», у нас теперь передние околачивает, переигрывает в своем усердии». А дней пять назад узнали, что здесь будет живая, красная церковь и Толстому поручено охранять церковные ценности (!???!), жутко от такого места. Мы совершенно теперь уже не встречаемся... Здесь теперь устроили Клуб писателей, больше из высланных людей. Я была только один раз».

29 дек. 1922 (ст. стиль).

«С наступающим Новым Годом, мои родные, дорогие Веруня и Ян! Мы живем на людях, т. е. я очень мало где бываю, а у нас много очень. Сейчас жизнь напоминает московскую, бешеное вздорожание, это печально для нас, хотя мы пристукались. Спасибо тебе за моих стариков — вперед. Если можно, сделай и для Добровых.

Конечно, Художеств. театр готовит себе обратный въезд в Россию. Ты еще не знаешь последнего хамства Маяковского. У него шла в Москве пьеса, где Господь Бог становится перед рабочим на колени. И все это в виршах. Я бы ему предложила <...> а не писать стихи. Недавно Борис, говоря с Эренбургом о Маяковском, спросил его (это было в Клубе писателей), серьезно ли он считает поэтом этого хама? На что Эренбург ответил, что Есенин и Маяковский величайшие поэты. Все это отвратительно.

Я о вас тоскую ужасно. Здесь у меня почти никого нет любимых. Один Павел Павл. Муратов, да с Айхенвальдом душу отвожу, вспоминая прежнюю Россию и обкладывая наших правителей. Наташенька учится по-немецки. И по-прежнему кроткий ребенок. Борюшка работает, пишет повесть. Шмелев у нас был, он совсем старый стал. Я боюсь с тобой увидеться, так я изменилась, совсем старая <...> стала. Скажи Ване, чтобы он

---

[1] Известный писатель, автор «Образов Италии», наш давний друг.

мне хоть три строчки написал. Веруня, Юлий Алексеевич[1] скончался во сне, лег отдохнуть и во сне скончался, он не страдал. К нему подошли через 10 минут, как он лег, и он был уже мертв. Я его видела за десять дней до кончины. Когда увидимся, все расскажу. Живите, мои дорогие, Бог даст, мы тоже доживем до того, когда в Россию можно будет вместе ехать[2].

Толстого не видели. Верун мой, есть ли у тебя фотогр. карточки? Я скоро сниму Тату и пришлю тебе. Я тоже сама готовлю, целый день верчусь как белка в колесе. Гуляю с Татой. Читаю, штопаю. Берлин не люблю, но приходится жить здесь. Мы Новый Год встречали дома, а Боря ездил в Скалу и вернулся в 7 час., он там встретил Lolo и вообще многих других, которые в Париже жили. Под наше Рождество втроем ходили в церковь, а на другой день к обедне с Татой ездила в Тегель (кладбище русских).

Боря, Тата и я нежно целуем вас. Пиши мне, моя Душа родная. Яна целуй. Господь вас храни».

21 февр. 1923 г.

«Дорогая моя Веруня, что-то ты давно не пишешь? Ваня писал, что был болен, а потом и ты захворала. Милый Друг мой, получила грустное письмо от Тани[3], что была больна очень моя мама, а теперь Лидия Федоровна[4] серьезно захворала. Знаешь ли ты это? Веруня моя, у меня такое чувство, что мы стариков наших больше здесь не увидим. Я верю, что в Той Жизни и Юлий Алексеевич, и моя мама, и твоя, и Лешенька, все мы будем вместе. А я так привыкла терять близких, что как-то меня это и не очень ушибает больше. Я тебе пишу все это для того, чтоб ты держалась крепче в этой жизни и не падала духом. Умерла мать Макса Волошина, скажи Бальмонту. Веруня, если б не занятие Рура, я бы приехала к тебе хоть на недельку. Сил нет, как хочется быть с тобой. Ваню моего дорогого повидать. Летом должны мы быть вместе. Ведь и мы, вероятно, скоро не вернемся в Россию.

У Толстых родился сын, 14 фунтов, гигант. Она[5] чуть не умерла. Я была у нее один раз. Очень уж он сытый, и вечный разговор о доблести Красной армии и уме наших правителей.

---

[1] Старший брат Ивана, умер в Москве в 1920 году.
[2] Не дожили. Все трое успокоились в Париже, на русском кладбище.
[3] Старшая сестра Веры в Москве.
[4] Мать Веры Буниной.
[5] Тогдашняя жена Ал. Толстого, Нат. Крандиевская.

Бог с ними. Наташенька моя, мой Жар-Птенчик, страшно милая. Она велела написать, что тебя нежно целует и Яна и что она вас хорошо знает по моим рассказам. Как она трогательно молится за всех по вечерам, и за живых и за мертвых. И кончает она молитву: Богородица, Дева, Матерь Бога, сохрани Православную Россию (3 раза).

Это сказал один священник, что если все будут так молится, то Россия спасется от большевиков. Сейчас очень серьезно Тэффи больна. Лежит в клиниках. Я к ней пойду. На две минуты пустят меня. Веруня, все эти дни я особенно близка к тебе. Ничего не значит, что мое старое тело[1] в Берлине, но Душой я с тобой, моя дорогая Беатриче (как тебя дядя Доля[2] звал. Он старый и большевик!!!). Господь храни вас».

3 апр. 1923.

«Моя дорогая, родная Веруня! Через 5 дней наше Светлое Христово Воскресенье, а послезавтра именины дорогой Лидии Федоровны. Поздравляю тебя, моя дорогая, с дорогой именинницей. На этой неделе мы говели, и я очень много думала о тебе и о ней. Веруня! Моя Веруня! Твое письмо я получила, и плакала, плакала, и еще больше хочу тебя видеть. Не отвечала тебе потому, что возилась с одной страдалицей.

А из Москвы следующие новости. Лидин женился на красавице — в апреле, год тому назад, а недели три тому назад она умерла в Москве, заразили во время родов. И так каждый день что-ниб. ужасное. Мою маму чуть не засадили в М. Ч. К. за то, что она позволила поставить узел какой-то в коридор, одной пролетарке, а там оказались краденые вещи. Кошмар, Веруня! Когда «Ара»[3] им послана? Спасибо тебе, тысячу раз целую тебя. Напиши мне, дорогой мой.

Последняя литературная новость — Горький выставил Толстого. Он, т. е. Горький, журнал[4] хочет издавать и пригласил Толстого, но условие — уйти из «Накануне». Толстой сказал — я уйду, мне там мало платят. Горький спросил: а если в монархич. журнал вас пригласят и хорошо платить будут, вы пойдете? Толстой: да.— Горький вышел из комнаты. Толстой сидел с его сыном, пьянствовал, остался ночевать и утром уехал — Горький к нему не вышел. (Это было у Горького[5].)

---

[1] Ей было тогда 45 лет, она была очень жива и молода.

[2] Адольф Штраус, любитель и знаток Данте. Брат матери моей Веры

[3] Американские продовольственные посылки.

[4] Он и издавал в Германии «Беседу»; Г. тогда был в оппозиции Советам. Журнал левый, но не советский.

[5] Очевидно, в Герингсдорфе, на Балт. море, где Г. тогда жил.

Мне рассказывал это Гржебин. Мы не видались ни с тем, ни с другим. Посылаю тебе вырезку из «Накануне». Кланяйся Шмелеву и скажи, что они его почему-то за своего считают. Я так злюсь, когда они хороших людей <...> лижут. Милый мой, пишу тебе все, все, пустяковое, важное, а о самом большом, тяжелом не могу писать. Должны увидеться. Борюшка благодарит Ваню за письмо, напишет ему сам. Какие чудесные стихи Яна «Петух на церковном кресте», «Ночью». Целуй его от меня. Друг друга поцелуйте. Мы очень хорошо говели, молились о вас — просфорочку вынула. Ну, Господь с вами. Дорогой мой, любимый друг».

6 мая 1923. Курфюрстенштр., 144. Берлин.

«Дорогая моя Веруня, отчего так давно не пишешь? Я тебе это третье письмо пишу, неужели не доходят? Я лежу уже 3-ю неделю. У меня грипп. Ползучее воспаление обоих легких плюс расширение сердца. Как встану, а это через неделю или полторы,— поедем в Кави. Мих. Андр. Осоргин там, и жизнь там не дороже здешней, а доктор велел меня на солнце, т. к. легкие оказались слабы. Да вообще вся я расклеилась. Милый мой, незабвенный Друг, напиши, куда вы поедете? Что Ваня? Как ты? Что из Москвы пишут? Приехала Олечка из Москвы, дочь Тани[1], и говорит, что нам (а ей 26 лет) нельзя там жить, потому что мы прежняя Россия, и если жить как современные, т. е. не имея ни чести, ни совести, можно отлично жить. Все почти церкви переходят в «живые» (и она говорит, что это самое ужасное). Веруня! Нет героев, умерли герои. Как все это страшно.

В день именин Мамы твоей я была в церкви, молилась за нее, а вечером была на Двенадцати Евангелиях. И все думаю, думаю, как жить? В высоком смысле. Что-то иногда хочется сделать для России, а не только языком трепать.

Алексей Ник.[2] уехал в Москву, они там вчетвером будут отделывать какой-то особняк: Клестов, Вересаев, Толстой, а четвертый не знаю кто. Наташа[3] тут с детьми. Когда узнала, что я больна, пришла ко мне (он уже уехал в Москву).

Боря тоже захварывает, и я боюсь, что он тоже сляжет. Уже жарища, ласточки визжат, а я как колода лежу, вся в компрессах. Наташенька, радость наша, помогает, все делает, что по хозяйству. Дорогой Друг мой, пиши же мне. Боря работает, но теперь меньше, т. к. с моей болезнью хлопот масса. Были мы у

[1] Старшая сестра Веры, оставалась в Москве.

[2] Толстой.

[3] Жена Толстого, урожд. Крандиевская, поэтесса.

заутрени[1], всех вспоминала вас. Олечка говорит, что Папа мой удивительно бодр, добр, а Мамочка очень плоха. Так пала духом, хворает всю зиму. Ты мне писала, что «Ара» Папе и Добровым послана (в каком месяце?). Все это мне ответь. Мы из Италии (побудем там 1½ мес.) приедем опять сюда. Какие дивные стихотв. Ванины в «Медном Всадн.». Поцелуй его, моего Брата дорогого. Перед смертью хотелось бы вас повидать. А где Бальмонт? Боже мой! Как ему плохо!

Ну, родная, устала. Очень устала. Господь храни вас всегда. Получил ли Ян письмо от Бори? Без конца целую».

23 июля 1923.

«Дорогая моя, золотая Верочка, я тебе не отвечала 2 месяца. Весной у меня было воспаление легких, а у Бори плеврит. Мы живем в Прерове, на берегу моря. Перед самым отъездом из Берлина Наташе делали операцию в носу — очень ей это было на пользу. Она изумительно поправилась. Было две недели жары, мы купались, но вот уже 2 недели дождь и холод. Это ужасно. Дорогая моя Веруня, напиши мне сейчас же, если тут невозможно будет жить, то возможно ли нам отступить на Париж? (В Германии произвели девальвацию, цены бурно возросли, и в политическом отношении стало беспокойно.— *Б. З*) Второй раз переживать революцию нет никаких сил, ни физических, ни моральных, а здесь на это похоже. Цены взбадриваются каждый день на десятки тысяч. Уже проживаем 6 миллионов в месяц, нет, теперь больше. Сахару достать почти невозможно... все это мерзко. Многие уже поговаривают о возвращении назад. А мы... не можем. Лучше смерть, чем опять туда. Верун, если бы не Наташа, я бы не думала ни о чем, но ее хочется сохранить. Она отличный Человек и все чувствует, и ей тоже, видимо, жутко. Она мне вчера говорит: «Мама, какие мы все несчастливые, неужели и тут революция будет?» И так это грустно сказала, и посмотрела на меня. Борюшка работает пока, но и его все это мучает. Весь народ здесь мучается. О, Господи! Что это такое? Прости, мой дружок, что жалуюсь, но я Боре стараюсь не показать, как я волнуюсь. Что же его зря терзать? Напиши, как вы живете? Читали мы Ванину сказку. Милый Ян, поцелуй его бесконечно нежно. Так хорошо, так прекрасно написал. Его словечки все так дороги — читаем мы вслух с Олей Полиевктовой[2]. Она тут теперь живет, Бердяевы, Муратовы, Осоргины, Рабенек[3] и многие другие, все москвичи.

---

[1] Очевидно, до болезни.

[2] Племянница Веры, дочь ее старшей сестры Тани.

[3] Танцовщица, если не ошибаюсь, в духе Дункан.

Боря совсем не поправился, я больше, а Наташа отлично выглядит. Дорогой мой, что знаешь о Москве? Как себя чувствуешь? Что дорогой Ян? Господь вас храни. Верю, что увидимся. В Италию нам визу отказали (красн. паспорт). Теперь по-иному хлопочем[1]. Все же верим, что туда поедем. Боря там (в Риме) приглашен лекцию читать. Пока это секрет. Где Шмелев? Про всех пиши. Сейчас же ответь насчет Парижа. Все трое целуем».

Это — последнее письмо Веры Зайцевой Вере Буниной из Германии. Дальнейшее складывалось не совсем так, как Вера думала. Я сам тоже заболел. Когда оба поправились, то на окончательную поправку поехали с Наташей в Преров, на Балтийское море, в тот же край, где в прошлом году летом были. В этом Прерове снимали помещение в нижнем этаже большого дома, а над нами жил С. Л. Франк с семьей, еще выше Н. А. Бердяев. Там я, как и другие писатели-эмигранты, получил от проф. Ло Гатто приглашение прочесть в Риме нечто о России в Instituto per Europa Orientale*.

Чтения в Риме происходили в ноябре (1923 г.), но мы, Зайцевы, оказались в Италии уже в сентябре — ненадолго в Вероне, потом в Венеции, Флоренции и наконец осели на лигурийском побережье в очаровательном рыбацком местечке Кави-ди-Лаванья — там провели остаток осени, оттуда ездил я в Рим читать. Сохранились два письма Веры Вере из Кави во Францию.

18 окт. 1923.

«Дорогой мой Дружок, я очень рада, что ты все еще в Грассе, быть может, я одна приеду к тебе на 1—2 дня. Это выяснится на днях. До сих пор Боря не был еще в Риме. Ждет письма о дне лекции.

1 октября мы праздновали по-настоящему твое Рождение. Пили вино (цел. Фиаско Кианти). Фрукты, пирожные, конфеты, чай и «макароны». В гостях у нас был Кочаровский, приятель Фондаминского, «кавийский фантасмагорист»[2], и я вспоминала этот день с ранней молодости до 1912 года, когда последн. раз была у вас. За всех, всех пили мы; вспомнила, как кто-то сказал:

---

[1] И получили.

* Институт Восточной Европы *(фр.)*.

[2] Слово моей выдумки

«Какая музыкальная семья Муромцевых», имея в виду Лутона[1] и меня. (Кстати, где он?)

Если Боря не скоро поедет или очень скоро съездит в Рим, а я после него, оставив Наташу с ним, приеду к вам. Я жалею, что не знала, что вы еще в Грассе. Во всяком случае, если вы останетесь после 10 ноября, то заранее напиши мне.

Эти дни мне очень тяжки, под день твоего рождения, под Покрова Пресвятой Богородицы был арестован Леша в 1919 г. И я до такой степени во власти воспоминаний, что мне трудно очень. Но нельзя поддаваться унынию — это, Веруня, большой грех. Я молюсь за Лешу, Лидию Фед.[2] и еще за друзей раза по три в день. Мне легче. И им легче. Это наверное знаю. Как об Юлии Алексеевиче[3] сердце болит тоже. Я тебе писала или нет? Перед его кончиной, за пять или 6 дней, я у него была. Он сказал сиделке: «Вот моя сестра, Алексеевна». Слабо улыбнулся. Я ему принесла статью Ванину (вытащили из Кремля знакомые и принесли нам). Он очень равнодушно отнесся. Как-то был уже вне жизни. Прочел и сказал: «А что, по-твоему, я мог бы до них доехать?» Когда я уходила, я его перекрестила и он меня перекрестил. Я очень внутренно удивилась, а потом поняла. Мы всегда все слишком поздно понимаем. Веруня, я на днях...» (конца этого письма нет).

Все та же осень 1923, Кави-ди-Лаванья, очевидно, позже 18 окт. Начало письма утеряно.

«...жду друзей моих и Лешиных (от которых он и был взят). Они во Франции; я их зову сюда заехать, к нам. Верун, есть ли у вас квартира в Париже? Вообще напиши мне, как это делается, ищут комнаты. Мне почему-то кажется, что мы в Париж не попадем. Боюсь я его. Мы все-таки страшно замученные, и страшно мне за Борю.

Я к тебе с Наташей только потому не приехала, что она безумно кашляла, 6 недель прошло коклюша, и она продолжала задыхаться. Тут[4] она изумительно поправилась. Мы, т. е. Боря и я, тоже потолстели до неузнаваемости. Подумай, с 1914 года я тут в первый раз сама себе хозяйка. А то Притыкино (отвратно), затем уплотнение в Москве, в Берлине хозяин[5], а тут у нас три

---

[1] Знакомый Муромцевых, не помню его фамилию. Лутон — это кличка. Ни моя Вера, ни он к семье Муромцевых не принадлежали, в этом и комизм замечания.

[2] Мать Веры Буниной.

[3] Брат Ив. Бунина.

[4] В Кави.

[5] Герр Больте. Мы снимали у него две комнаты на Курфюрстенштрассе.

великолепных комнаты, кухня. Клозет на таком балконе, что не уйдешь. Здесь жизнь райская, но кэ фэр-то кэ?[1] Не знаю. Играю в банко ди лотто. Проигрываю. Борик себя чувствует хорошо. Вчера получила я из Москвы письмо от Жилкиных[2],— ужасно они живут. Только Т. процветает. Пишет: Толстой ездит по провинции с Василевским[3] и читает лекции... Зарабатывает уйму. В Петербурге наняли роскошную квартиру (там никого нет), а в Москве не мог.

Его пьеса «Любовь, книга золотая» была принята в студ. Худ. театра, а теперь вернули. Он, пишет Жилкин, очень уязвлен. Но Жилкины с ним все покончили. А писатели некоторые с ним любезны (конечно, из новых). Андрей Соболь[4] в нищете, написал покаянное письмо и, кажется, очень страдает. Грозится повеситься. Вообще ужасно грустное письмо, трагическое. Они все, оставшиеся писатели и интелл., только что не голодают, но измучены в лоск. Андрея Белого не пустили в Россию[5]. Сюда к нам Осоргин приедет погостить. Он в Париже будет жить. Из Берлина бегство поголовное. У кого нет заработка.

Верик, радость. Целую моего милого Ваню. Голубую кровь и белую кость. Боря, Тата целуют. 1 октября она была очень довольна, что мы праздновали твое Рождение. Господь храни вас».

Бунины раньше нас обосновались во Франции, не позже 1920 года. Жили в Париже, в том Пасси, тихом и тогда не столь нарядном округе (аррондисман) города, где, как и в соседнем Отей, провело и закончило свое земное странствие старшее поколение литературной русской эмиграции. Явление, думаю, беспримерное в истории: вся тогдашняя действующая армия писательская ушла с Родины из-за невозможности думать и писать по-своему (вовсе даже не в области политики).

Париж стал центром изгнанничества. К этому ему не привыкать стать: издавна был он средоточием свободы, и не зря на Плас-де-л'Альма бронзовый Мицкевич, хоть и невелик ростом на пьедестале своем, экстатически зовет куда-то.

Бунин, Мережковский, Бальмонт, Куприн, Шмелев, Ремизов,

---

[1] Из расск. Тэффи.

[2] И. В. Жилкин, член Госуд. думы, партии не то кадетов, не то народн. социалистов.

[3] Не знаю, с каким именно.

[4] Писатель, с.-р. Бедствуя, перешел к коммунистам. Позже покончил самоубийством.

[5] В конце концов пустили, позже. Но не на радость.

Алданов, Осоргин — все они обитатели Пасси и Отей, большинство тут же в Париже и головушки свои сложило, упокоившись кто на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, кто на других.

Бунины, кроме Парижа, избрали себе как второе местопребывание чудесный городок на юге Франции, в Провансе, Грасс. Сначала ездили туда только на лето, позже жили подолгу, зимой в Париж только наезжая. Дальнейшая переписка двух Вер — Зайцевой и Буниной — идет между Парижем, куда мы докатились из Италии, и Грассом Буниных.

II

Вознесение Христово, 5 июня 1924 г.

«Дружба моя любимая, сколько времени тебе не отвечала. Но все у нас горести. Наташе в «Эколь Менажер» обварили ножку, слава Богу, не сильно. Теперь жду из Ниццы Алексинского[1], надо ей аппендицит вырезать. Тэффи[2] медленно угасает, Верочка. Она говорит, что не сердись на нее, писать ей трудно. Она Вас обоих целует. Я боюсь, что она скоро умрет. Я к ней бегаю раза 3—4 в неделю (от нас 3 версты)[3]. Теперь она уже совсем не встает. Я к ней привязалась, как к родной, и ужасно жалею ее, бедную. Она совсем не может двигаться. У нее фиброма (страшное кровотечение, 6 недель беспрерывно, оттого сердце ослабло, а операцию из-за сердца делать нельзя). Очень больна Киса Куприна[4]. С ума сошел Гуковский, из «Современных записок».

Мы держимся и не падаем духом. У нас отлично. Розы кругом, воздух чудесный. Боря был на вечере Куприна, этнический «стиль рюсс». Народу было много. Принимали довольно сдержанно его, а Плевицкой хлопали. Боря говорит, что она похожа на девку-мананку[5], которую можно было раньше за 20 коп. Осоргины переехали в квартиру за 450 фр. Веруня, Боре очень хочется к Вам — страшно, но... операция Наташе, если даже Алексинский ничего не возьмет (он и не взял.— *Б. З.*), и то будет стоить, лечебница и то и се, франков 600—700. Но Бог даст, все сойдет хорошо. В понедельник были именины Леши.

---

[1] Известный профессор, хирург.

[2] Это оказалось неверным. Тэффи прожила еще 28 лет (1952).

[3] Тэффи жила тогда в Со-Робинсон.

[4] Дочь писателя.

[5] «Мананки» — бродячие артели девок-поденщиц из Калуж. губ., села Мананкова.

Целуй от нас дорогого Ваню. Отчего он портрета мне не подарил. Вечер Бориса собрал около 5 тысяч. Пиши мне. Целую Вас.

Господь храни Вас обоих на радость нам.

Твоя Вера.

Получила чудесное письмо от Айхенвальда. Рыцарь он!

Без даты. Лето, вероятно, конец июня 1924 г. (вблизи Парижа).

«Верун! Милун! Целую. Обнимаю. Таточка дома. Операция прошла отлично[1]. Денег маловато! Тэффи точно лучше, но... я не верю, что она скоро поправится. Напиши мне, как узнать, посланы ли деньги, 10 долл., моему папе. Они не получили. Их еще уплотнили, на чердак, в коридор, в ванн. комнату поместили «товарищей плотников», и они боятся уехать даже на несколько дней к Наде[2]. Мама пишет — всё последнее сожгут.

У папы было воспаление легких. Живут тяжело. Ванины рассказ и стихи в «Соврем. записках» дивные. Поцелуй его от нас 3-х. Боря к Вам хочет, а карман не хочет! Господь с Вами.

Ваша В.»

День Казанской Божией Матери. (8 июля ст.ст.) 1924 г.

«Верунчик мой, получила твое письмо и не ответила сразу. Титова еще не была, но эту неделю провели необычайно. В день убийства Государя и его семьи 4/17 июля была заупокойная литургия — чудесно было. Вчера все ходили к обедне, а сегодня я с Наташей была. Мечтаю, если Бог даст силы, поступить в сестричество. С каждым днем я укрепляюсь мыслью быть ближе к Богу. Верочка, я очень хочу познакомиться с Екат. Мих.[3], если она не против этого. Как следует хочется с ней быть. Приехал Петр Конст.[4] (как он умеет молиться!), Вышеславцевы и Бердяев. Я очень счастлива. Часто видимся.

Вера! Я очень недовольна, как мы были с тобой эти месяцы. Нельзя в суете вечно быть. Я верю и знаю две вещи — это я до всего сама додумалась:

1. Как есть церковь на земле и есть мистическая церковь на Небе, так и дружба моя и любовь к Вам (не смотря на это

---

[1] Аппендицит.

[2] Сестра Веры.

[3] Лопатина, сестра философа Лопатина. Весьма достойная православная женщина. Близкая знакомая Веры Б.

[4] Иванов, литератор, мистик, наш давний знакомый еще по Москве.

легкомысленно) то же, что церковь там. А здесь ошибки и недостаточное внимание Друг к Другу[1]. Раз Ваня написал Розу[2], он и это поймет. Надо держаться друг за друга.

2. Москва с Кремлем, вернее Кремль — Россия, закрылась от взоров наших, как бы град Китеж (не знаю, *ш* или *ж*), и вот надо всем христианам читать по нескольку раз: Богородица, Дева, Матерь Бога, сохрани Православную Россию. Это приказал отец Нектарий из Оптиной Пустыни. В Москве многие молятся. И вот Россию надо вымолить, и мы опять ее увидим.

— Аминь. —

Тебе странно мое письмо? Но я захотела все записать самое важное, что меня мучит.

Наташа спрашивает, получил ли Ив. Алекс.[3] ее открытку из больницы?

Я получаю отчаян. письма из М-вы. Голодают все почти поголовно. Боря во мраке — его мать выселили из Притыкина. Сестра Борина пишет: «Мама вынуждена покинуть Прит. и в отчаянии. Жить будет у меня»[4]. И все в таком роде... Верочка, я ужасно возмущена всем этим. А Боре очень тяжело. Он вообще легче падает духом, чем я. У нас денег почти нет, но я знаю, что Бог не даст нам погибнуть. Душевно чувствую себя крепко, как никогда. Через 2 месяца переедем в Париж[5],— квартиру ищу. Буду Тату учить танцевать. По-франц. говорит очень хорошо, до сих пор они еще учатся, до 1-го августа.

Ну, Господь с Вами, дорогие мои. Всю Вашу обитель целую от себя, Бори и Наташи.

Верун — милый! Друг мой! Яна целую».

Осенью 1924 г. мы переехали в Париж, в освободившуюся квартиру Бальмонта на Рю Беллони (он перебрался в Капбретон, к океану). Там прожили осень 1924 г. и первые месяцы 1925 г.

10 апреля, Рю Беллони, Париж (15).

«Дорогая моя Веруня, наконец могу писать тебе покойно.

---

[1] Сознательно оставляю неправильность расстановки слов и большие буквы. Автор своеобычен.

[2] «Роза Иерихона», прелестная вещица в прозе, вдохновленная ранней любовью к Вере Буниной.

[3] Бунин.

[4] В Москве.

[5] Жили близ Парижа.

Вчера уехал Боря в Авиньон, оттуда поедет к Ельяшевич[1] — погостит несколько дней и, может быть, проедет к Вам[2]. Напиши мне, можно ли где-нибудь за недорогую плату остановиться вблизи Вас?

Верочка! Мы в ужасном огорчении, что скончался Патриарх[3]. Это для всех нас большой удар. Когда думала о Москве, то всегда о Донском монастыре. Вспоминала, как причащалась у него, когда Лешенька был в чека. Большое потрясение для православных. Милый, я недавно в Париже видела поразительную икону — я тебе уже писала. Просветленную. Когда видишь это, то еще хочется жить. Как ты? Вчера получила письмо от папы, пишет, что получил из банка он и Алекс. Андр.[4] бланки на 20 рублей. Когда они пришли в банк, то ему сказали, что это из «землячества какого-то». Они оба отказались. Папа так и пишет: побоялись мы. Я была у Титова и сказала это. Подумай, посылать отсюда не от частных лиц. Если деньги придут назад, то пошлю от моего имени, а папе сейчас напишу, что это подарок ему от меня, а А. А. от Верочки М. <...>

Верочка, родная, не обращай внимания, что я редко пишу. Но мне ужасно нет времени, да одно время и адрес потеряла. Вечер нам дал 5 тысяч, до сих пор все отдают[5]. Тэффи уехала в Ниццу. Слава Богу, здорова. Я с ней ужасно сжилась[6]. Чудесная женщина. Наташенька ест постное, говеет. Я на первой неделе говела и на седьмой буду. Были мы на освящении Сергиева Подворья. Это было поразительно. Я бы очень хотела быть рядом с сестрами — кланяйся им[7]. Да! Я и забыла. Борин роман «Золотой узор» купило одно немецк. издательство и аванс 500 марок присылает. Боря уже подп. контракт с ними. Это значит — 2000 фр. получим. Вот я и надеюсь, если будет еще получка, то на месяц к Вам поближе переедем. А ты узнай, есть ли 2 комнаты, и я бы сама готовила.

Скажи Ване, что «Митина любовь» изумительная вещь (впрочем, он сам знает). Поцелуй его от меня нежно. 23 марта была в церкви и все время думала о всех Вас. Как мы все рассыпаны.

---

[1] Василий Борисович и Фанна Осиповна, знакомые по Парижу. В деп. Вар у них было имение Пюжст.

[2] В Грасс, недалеко от Пюжста.

[3] Тихон.

[4] Корзинкин, брат жены Н. Д. Телешова.

[5] Что-то я читал, а что — не помню.

[6] Нек. время Тэффи снимала у нас комнату, в кв. на ул. Беллони.

[7] Разумеет Лопатину и Еремееву, друзей В. Б, живших на Ривьере.

Ну, дорогой мой. Ты на седьмой говеть будешь? С наступающим праздником. Христос Воскресе!

Целую тебя, Ваню. Христос с тобой.

Твоя люб. Вера.

Наташенька целует. Пиши мне скорее».

Домэн-де-ля-Пюжет близ Торонэ (Вар). 7/20 июня 1925 г.

«Дорогие мои, мы очень близко от Вас. Весна была довольно тяжкая. У Наташеньки было воспаление легких, а меня парикмахер заразил, я остриглась, и у меня заболело лицо.

Теперь все прошло. Здесь дивно — не думала, что во Франции будем жить в настоящей деревне. Наташенька поправляется, уже порозовела. Встаем рано, а днем спим. Не слишком жарко, чему я очень рада. Боря работает. Я мечтаю, чтобы Вы к нам приехали. И мы к Вам приедем[1], но чуть позднее. Получила письмо от сестры Тани[2], их всех, т. е. ее, Машу с детьми и Ек. Алекс.[3], всех гонят с квартиры. Они в отчаянии. Посылаю письма твоего папы. Помнишь, как на даче Бахрушина я с ним бегала на четвереньках. Папа забыл.

Приехали из Москвы люди, рассказывают возмутительные вещи и... представь, привыкли. Очень грущу о Тэффи, она переехала в отель, но думаю, зимой опять вместе будем жить, если не приедет мать Борина из Москвы.

Мы нашу квартиру сдали до 1 октября. Мирра Бальмонт[4] собирается замуж за Диму Шульгина. Познакомились они у Филиппова (брата «Русской газеты»), где она живет. Он очаровательный. Настоящий белый Юноша, во всех отношениях. Кончил он школу морскую и теперь гардемарин. Здесь работает на минах.

Ну, мои дорогие, все написала. Насчет денег у нас, чтобы нет, так да, и наоборот. Думаю, продержимся кое-как. Здесь жизнь недорогая, трое в день 24 фр. тратим. Готовит итальянка, 100 фр. в месяц буду давать. Очень благодарна я Ельяшевич, что они нас пригласили к себе.

Обнимаю, целую. Господь храни Вас.

Ваша Вера.

До сих пор поют два соловья (соловьиный Бальмонт)».

---

[1] В Грасс.

[2] Из Москвы.

[3] Бальмонт, жена Бальмонта в Москве.

[4] Дочь Бальмонта, от его последней жены, Елены. Шульгин — сын известного общ. деятеля Шульгина. Брак не состоялся. «Мины» — залежи боксита вблизи Торонэ.

15 август, Успенья День. 1925 г.

«Верун! Милый! Получила твое письмо, и Наташенька тоже получила. Здесь Ф. О. с Ирочкой[1]. Ф. О. очень жалела, что вы без нее были. Живем по-прежнему. Вчера был у нас «бал». Наташенькино рожденье справляли. Были 3 молод. человека — гардемарины.

Вера! Напиши мне прямо, можно ли мне с Борей приехать к Вам — в след. субботу, с ночевкой. Мы спим на одной постели охотно. Если можно, то я приеду вместе, а если нельзя, то Боря один приедет, а я после. Надо ли брать 2 простыни? Все это напиши.

Наташа лежит теперь на солнце, и очень это ей на пользу. И Борю сегодня умолила лечь. Может, и ляжет. Как провели голодный день? Утром взвесились — было 77.400, а вечером 77 ровно (после голода).

Пусть мальчики (Ян и Боря) будут шляться, мы им мешать не будем. Но, главное, напиши, как тебе лучше, чтоб я одна приехала или вместе.

Поцелуй твоего Великого Тайновидца Плоти. Очень мы счастливы, что Вы были у нас. До того радостно, что Вы одни были с нами[2].

От Тэффи писем нет, и я ужасно беспокоюсь, здорова ли она?

Господь Вас храни, дорогие. Напиши мне. Наташа благодарит за письма, Боря целует».

10/23 сентября 1925.

«Дорогие мои Ян и Веруня, родимые, в субботу едем в Париж. Что будет, не знаем.

Живем пока дивно. В. Б. и Ф. О. к нам страшно милы и предупредительны. При ближайшем знакомстве они гораздо, гораздо симпатичнее. Такие ласковые, отзывчивые. Он мне казался холодноватым, а теперь он такой, скажу, молодой. И Ф. О. очень к нам привыкла, и мы с ней отлично ладим. Она по-настоящему добрая. Ирочка поправилась. Веруня, на ванданж я еще похудела!!! Ура! Ура! Ура!

Получила я из Москвы письма, от которых я в отчаянии. Аничка, Танина дочь, тяжело больна, у нее, кроме болезни, будет ребенок, 4-й. Таня совершенно без денег, абсолютно. Я прямо в отчаянии. Мне стыдно, что я еще смеюсь и говорю

---

[1] Фаина Осиповна Ельяшевич, Ирочка их дочь.

[2] Бунины приехали к нам в Пюжет из Грасса.

какие-то гадкие слова. Они там погибают. Я ума не приложу, что делать? Мне Леля[1], ее подруга, пишет: «Мы с Катей (Бальмонт)[2] нищие, у Кати ноги пухнут, мы Танюше помогаем грошами. А ей нужно рублей 25 на необходимое — чтобы с голоду не помереть».

У папы тоже очень мало, он ей помогал, хоть немного, а теперь у него тоже нечем. А мы-то жалуемся. Я еще, б.., думаю о том, что похудела. Кому это нужно? Буду искать какое ни на есть место и стараться посылать им.

Сейчас мы ничего не можем посылать. Не знаешь, к Титову нельзя обратиться? Скажи Яну, что мы «Окаянные дни» всегда, всегда читаем. Вас. Борисович читает. Это отлично! Нежно целуй его.

Как тебе нравится в стихах Ходасевича — «жизнь надменную мою»? По-моему, г...ю. А Кустова? Что это? Искренно? Горячо молюсь за Вас. Ельяш. кланяются».

11/24 мая 1927 г. Рю Клод Лорэн.

«Верун мой! После твоего письма я долго лежала, получила утром, в 8 час. Господь сохрани тебя![3] Верун, что ты не думаешь съездить в Пюжет? Хоть дней на 5—6, сейчас там чудесно соловьи поют. Как счастлива за тебя, что ты говела. Как это хорошо. Боря пишет счастливые письма. Афон на него произвел потрясающее впечатление. Досада, что денег дико мало. С трудом достала у Нюшеньки[4]-капиталистки 300 фр. и послала ему. 1 июня надо платить за квартиру — просила в «Соврем. записках» — Вишняк отказал, вот единственная моя забота — это денежная. Ужасно с Наташей мы трудно живем, но Бог пошлет — молюсь я Матери Божьей, Николаю Чудотворцу и Пантелеймону. Вот молитва, кот. должна быть всегда в сердце твоем: (приведен текст молитвы Богородице.— *Б. З.*).

Только эту молитву спиши и выучи наизусть. Вчера получили письмо от Бориной матери, ей разрешили приехать сюда. Подали газету — ура!!!! Разрыв англичан со стервецами! Сегодня напьюсь! Знаешь ли ты, что они срывают Алексеевский монастырь и многие могилы сравниваются с землей Нов.-Дев. монастыря. Уже могилу Кости, Таниного сыночка, срыли, Влади Протопопова, но Таня по приметам (сиреневый куст и т. д.) находит их. Письма невыносимо тягостные. Где Леша похоронен, там

---

[1] Леля Анненкова, антропософка.

[2] Вторая жена К. Д Бальмонта, Ек. Алексеевна, урожд. Андреева.

[3] Дело идет, по-видимому, о чем-то очень тяжелом для Веры Буниной.

[4] Иванова, друг Бальмонтов. Тоже полунищая.

хотят футбольное поле сделать. Во вторник молись за него (чернильное расплывшееся пятно, явно слеза капнула.— *Б. З.*), его[1] день Ангела (20 мая ст. ст.). Родная моя, девочка моя, как жаль, что я не могу к тебе хоть на 3—4 дня приехать. Не изменяй мне. Отчего твоя ручка еще не владеет как следует? Под Николин день, после всенощной, в Шавиле читала Борино письмо Владыке[2] с Афона, он очень взволновался. Он никогда не был на Афоне. Милый мой, «мысль изреченная есть ложь», и поэтому ты читай за этими буквами, что я переживаю вместе с тобой[3]. Если бы я знала, что это письмо ты одна будешь читать, я бы больше писала. Бальмонта буквально на руках носят в Польше, он присылает газеты. Я познакомилась с дочкой Тэффи — они вместе уехали в Экс. Очень славная девушка, сестра актрисы. У Тэффи 2 дочки. Тэффи мне очень скрашивает жизнь, и я без нее сиротею. Такая она моя — точно сестра. Мне покойнее, когда она в Париже. Ну, Господь храни тебя. Очень я буду рада, если ты напишешь. Обязательно съезди к Ельяшевич; это тебя развлечет, и у них чудно[4]. Поцелуй Яна.

Твоя люб. Вера».

26 июня 1927, Париж.

«Дружило мое! Прости, что давно не писала. Но жизнь — это «настоящий роман», как говорит Тэффи, «из кухни в корыто и обратно». Как ты живешь? Иван? Как твое здоровье? Боря чувствует себя довольно хорошо. Путешествие было изумительное, но очень трудное. Мне Михайлов[5] передал 500 фр. Спасибо, это было более чем кстати. В среду к нам в гости приедет Владыка[6], сам изъявил желание у нас побывать. Я очень счастлива этим. Была очень расстроена. У Лели Анненковой (моей приятельницы) расстрелян брат в Москве. Вообще ужас и кошмар там. От своих ничего не получаю. У меня в гостях были Греч и Налетов, влюбились в твою карточку и сказали — вот бы она (это ты) подходила к Жанне д'Арк, в синема играть. Приехала Тэффи, очень поправилась. Мы никуда не поедем, т. е. Боря и я. Я даже рада, не тащиться. Если б с комфортом, это дело другое. Лучше дома сидеть. Если вернусь в Россию, буду странствовать, это моя мечта. Пешком по Руси, по монастырям. В будущее воскресенье у меня будут гости.

---

[1] «Это» — пропущено.

[2] Евлогию — письмо не ему, а Вере.

[3] Явное указание на горестные сердечные переживания Веры Буниной.

[4] Все тот же Пюжет, имение Ельяшевич в деп. Вар.

[5] Приятель Буниных.

[6] Митрополит Евлогий.

Все одно и то же — безденежье. Но «я, Маша, доволен»[1]. Наташа прелестна. Ласкова и умна. Да и Боря, слава Богу, вернулся здоровым и обновленным. Изумителен Афон!

Господь храни Вас, дорогих. Целуй Яна».

13 июля 1927.

«Веруня, пишу тебе под музыку. Сегодня добрый народ начал праздновать «Великую французскую». Бог с ними. Наташа у Карбасниковых, и мы вдвоем. Мне нравится Париж летом, особенно в Булонском лесу и у нас в квартире. Прохладно! чисто, и одни!!! В воскресенье жду Наташеньку, по ней соскучилась, она на несколько дней приедет. У нас был в гостях Владыка[2] — большая радость была. А одно воскресенье было 12 евреев и 3 русских, нас включая. 9 августа Борина мама выезжает из Москвы, Боря поедет ее встречать в Берлин, если пришлет деньги зять[3]. Поблагодари и поцелуй Яна за карточки; без шляпы он «желанен», как скажет Бальмонт! А в шляпе не нравится. Боря вернулся с Афона обновленный и изнутри светлый! Много работает.

Как твое здоровье? Что рука? Все напиши о себе. Поправилась ли? В воскресенье Тэффи, Пав. Андр., Боря и я ездили кататься по Булонскому, а потом он, т. е. Пав. Андр., угощал нас в «Rotisserrie Perignirdine»*. Было весело и интересно. Тэффи мне как родная. Ничего я от нее, кроме хорошего, не вижу. Остальное все то же: что сказала хозяйка? Кто что пишет? Кто что сказал? Я сейчас от этих отошла и вожусь больше с людьми, причастными к церкви на Рю Дарю.

Верун! Напиши мне. Я тебе давно написала, но ответа не получила. Обнимаю Яна от нас. Что Гиппиус? Видаетесь ли Вы? Был у нас Бальмонт, как хорошо он на суде сказал!!! Огорчается, что про него в газетах пишут, что он был будто груб с русскими. Господь с Вами. Мир и многие лета дому Вашему.

Твоя В.»

---

[1] «Три сестры», слова Кулагина.

[2] Митрополит Евлогий.

[3] Моя мать, Татьяна Васильевна Зайцева, действит. собиралась к нам. В Москве ей 16 раз отказали в разрешении на выезд, в 17-й позволили, но она через неск. дней скончалась от сердечного припадка, наверное в связи с волнениями. Жила в Москве у моей старш. сестры Татьяны, в замужестве Буйневич. «Зять» — это муж Тани, жил в Берлине, горный инженер.

* Название закусочной.

11/24 сентября 1927.

«Дорогая моя Веруня, ночью, когда не спится, я тебе пишу длинные письма (мысленно), а утром некогда писать. Сегодня получила от тебя письмо и «группочку». Ты очень мила. Мы, т. е. Борух и я, прожили изумительное тихое лето. Во всем доме остались одни. Боря горевал, да и до сих пор горюет о матери. Много он работает, «Афон» будет еще в 3 или 4-х подвалах[1]. Материально нам дико трудно. Проживаем по 2 тыс. в месяц, а теперь с Наташенькой расходы. Лето она провела изумительное. Карбасниковы к ней относились как к родной дочери. Она чувствовала себя совсем как дома. Бог послал нам таких друзей для Наташи. Анна Самойловна и ласкала и заботилась, как будто Наташа ее дочь.

Среда[2]. Верун! Пока я писала тебе письмо, у нас произошло событие. Боря будет писать в «Возрождении»! «Последн. новости» отказались платить по 1.50 с., а по 1 фр. Боря больше писать не будет. Думали, думали, да и решился Боря. Не знаю, но у меня нет чувства, что это неправильно. К Струве он никогда не был близок, единственно, что Боре неприятно относительно Ивана, но Ваня-то ушел опять-таки из-за Струве. «Возрождение» осталось «Возрождением». Теперь, Бог даст, не будет вечера, довольно благотворительности. Все надоело! Верун! Боря сказал, что рассказ послан Глану[3] <...>. Нина Петровская[4] бомбардирует письмами, через мои руки прошли 1.400 фр. ей, да через Борины фр. 600, да Аминадо помог, и все это как в бездну. Жаль мне ее, и отвратна она мне. Она вся изолгалась, несчастная. Я с ужасом развертываю газету — покончила она с собой или нет? Но что делать? Она больна, хромает и пьет вдобавок. Послезавтра именины. Наташа и я будем причащаться. В понедельник мы все ходили ко всенощной — канун Крестовоздвижения. Веруня! Это такая служба, что можно сравнить со Светло Христовой службой. Поют 500 раз «Господи помилуй». Вся церковь почти лежала на полу и рыдала. Я всегда хожу в этот день, 13 сентября. Если доживем до будущего года — иди обязательно. В столовой Наташа и Боря рассматривают игру Алехина и Капабланки. Наташа очень похорошела. Друг! Если б у меня были деньги, я бы приехала к тебе на 3—4 дня. Церковные распри очень расстраивают. Боря был у Владыки (19 человек заседало). Это было очень

[1] Первая часть «Афона» мною печаталась фельетонами в «Последн. новостях».

[2] Очевидно, уже после Крестовоздвижения.

[3] Рощин.

[4] Писательница.

интересно. Как всегда, Владыко прекрасно ответил и поступил как настоящий христианин. А Бердяева статья средняя... Много высокомерия и презрения. Я записалась в библиотеку и все время читаю советскую литературу, ну и «merde». Тебя, родная, с Ангелом поздравляю. 1 октября вспомню тебя[1]. О маме твоей молюсь. У Анечки, племянницы, пятый ребенок родился! В Москве ад, так трудно. Что Ваня? Целуй его от нас.

Твоя В.

Машу Каллаш[2] видела в церкви, тоже была вся зареванa».

30 сентября 1927 г.

«Вся полна воспоминанием. Завтра буду вспоминать маму твою и братьев. И папу. Домик в Скатертном и Столовом.

Родная моя, очень жалею, что не с тобой в этот день. Я получила письмо от родителей, где они тебя с Ангелом поздравляют — Верочку М. Мы живем пока тихо, хотя начинает народ «нахлынивать». Боря пишет. Я забыла написать тебе имя поэта, кот. едет на Афон,— это Диомед Монашев.

Сегодня ночью, ровно 8 лет назад, под Покрова, был арестован Леша. Я получила письмо от Тани, она пишет, что где он был похоронен, там все вытоптано и следа нет от могилок. Алексеевское кладбище срывают, и Девичье кладбище тоже срывают, оставляют «исторические» могилы. Вообще там очень тяжело жить. А сестра Борина, старушка, живет как монахиня. Видела Ходасевичей, они очень, по-моему, поправились. С восторгом отзываются о Мережков., Гиппиусах![3]

Завтра пойду в церковь! Буду молиться и за тебя, и за Ваню — обними его и за нас крепко. Как его работа? Боря еще будет об Афоне писать 3—4 подвала, и все в «Возрождении». Пока материально еще нелегко, ну, конечно, если «Возрождение» не закроется, то немного мы вздохнем. А главное, вечера не делать! Когда Вы приедете? Я не поняла. Я пишу, полуживая от усталости. Стирала сегодня. Господь храни тебя, Ваню. Пошли тебе Бог покоя душевного, и чтоб Ваня писал, и чтоб денег было больше. Кульманов мы очень полюбили — хорошие они по-настоящему. Наташа целует, и Боря.

Завтра зайду в бистро и выпью касиса за твое здоровье. В день Ангела получила дивные духи Dandy Orsay в черном граненом флаконе».

---

[1] День рождения В. Буниной.

[2] Мария Александр. Каллаш, писательница.

[3] Неясно, почему во множ. числе. Вера к З. Н. относилась неплохо, а позже и совсем хорошо.

1/14 декабря 1927.

«Дорогая моя, прости, что столько времени не писала. Я каждый день буквально о Вас думаю. Почему не едете? Скажи Ване, что рядом с нами есть мэзон мёбле недорогой. На ав. де-Версай (в 2-х минутах от нас). Если хотите, посмотрю и напишу. То, что смотрела для Вас по Пасси, очень дорого. Итак, если надо, я поищу, только около нас (это дешевле). У нас туман, холод. Сегодня туман, дождь!

Из Москвы ужасные письма. Все время арестовывают Сергея Полякова[1] (Скорпиона) и многих других. Буквально стон стоит. Нищета и ужас. С деньгами легче, отдаем пока долги. Наташенька хорошо учится, очень устает. Борух пишет. Была третьего дня у Цетлин. Там были Ходасевичи[2]. Всего не напишешь. Был Аминадо, он очень хороший. Мы с ним в дружеских «половых» отношениях. Он очень хороший и слажен с женой!

Были у Юшкевичей. Книга не идет (мне сказали в книжном магазине). Алдановы хандрят. Тэффи вернулась из Варшавы, посвежела и похорошела. Вся такая же родная к нам.

12/25 января Наташу повезу на Московское землячество, первый раз на бал. (Это уже начинается 1928 г.— *Б. З.*) Недавно кутили всю ночь у Кошиц, после ее концерта,— пела она дивно. Успех был огромный. Сегодня провожали ее в Америку[3]. Хочется мне безумно к моим в Москву. Но, конечно, я никогда не увижу никого, и ужасно мне это грустно. Письма редки, грустны и безнадежны.

Милый Верун, родной! Недавно я вдруг вспомнила тебя в красном картузике[4] и заревела. Но я теперь с радостью все хорошее вспоминаю и Бога благодарю за все прошлое, и хорошее и дурное,— заслужила, значит. Есть такие ужасно большие вещи! (как смерть Леши). Да, ты знаешь, где он похоронен, вытоптали все могилы и устроили футбольную площадку для пионеров. Как сейчас грустно, 4 часа, темно. Туман, и где-то на рояле играют. Наташеньки еще нет, а Боря спит.

Целую Вас крепко. Господь с тобой. Силы тебе, здоровья желаю. С наступающим праздником. Мы празднуем по-старому. Не могу привыкнуть к новому стилю.

---

[1] Серг. Александр. Поляков, владелец самого раннего в России «декадентского» изд-ва «Скорпион» (Брюсов, Бальмонт, Белый и др.). Переводчик Гамсуна — хороший («Нежный как мимоза Поляков» — Бальмонт).

[2] В. Ф. Ходасевич был тогда вместе с Н. Берберовой, потому Вера и называет их «Ходасевичи».

[3] Оттуда эта замечательная певица и не возвратилась. Там скончалась.

[4] Веру Бунину, тогда Муромцеву, ребенком.

В субботу будет читать Мережковский. Я взяла билеты, но, вероятно, не пойдем. А может, пойдем».

III

1928 год для русской литературной эмиграции оказался несколько особенным — как бы с праздничным оттенком: сербское правительство устроило осенью съезд сначала русских ученых эмиграции, затем писателей. Конечно, это внесло большое оживление в нашу жизнь.

Для моей же семьи лето 1928 г. сложилось тоже не совсем обычно, часть его прошла врозь: жена и дочь поехали на океан в Парнише (вблизи Бретани), а я довольно долго прожил у Буниных в Грассе.

16/19 июня 1928.

«Милая моя Верочка, давно тебе не писала, но лозунг «все для войны» не давал мне минуты покоя, хотя у нас постановка кустарная. Книги идут, слава Богу, неплохо[1]. Когда продается книга неизвестным, то у нас зовется эта минута «тихая радость в окопах».

Почему Шмелев ушел из «Возрождения», мы прочли в «России и Славянстве». Кажется, уж очень хамил Маковский с ним, ну, Ив. Серг. обозлился. Но больше ничего не знаю. Они, кажется, смущены его уходом.

Из Москвы грустные известия. Боюсь, что папу уволят, «сократят» на их жаргоне. Но об этом, конечно, писать нельзя.

Вожусь с Лялей Полонским[2], он мне сегодня говорит: «У Вас, Вера Алексеевна, лисо красивое, и я Вас люблю, и от Вас хорошо «с духами» пахнет». Боря начнет писать скоро о Тургеневе.

Ходит ко мне золотая молодежь, Володя Лодыженский[3], Горянский[4]. Был у нас «Фолъ Журнэ» — было 28 человек. Иногда нас возит за город Тэффи с Павл. Андреев., а также угощают нас Мейтчики всякими развлечениями. Ельяшевич продали 5 экземпляров.

---

[1] Продавали мои писания по знакомым и «меценатам». Что именно в 1928 г — не помню Позже «Анну», было специально напечатано 100 нумеров экз Я делал автографы, а «подсудимые» платили. Я же за квартиру этим платил.

[2] Мальчик лет 8-ми, сын Любови Александр. Полонской, сестры Алданова. Наш сосед — жил на той же площадке, что и мы. Постоянно у нас бывал.

[3] Старенький писатель, приятель Чехова. Мы его очень любили, Вера его подкармливала

[4] Поэт, тоже «люмпен-пролетариат».

Последний анекдот в России: «Лозунг — бей жидов и почтальонов». Кому это ни скажешь, все спрашивают: а за что почтальонов? — В этом вся соль анекдота. Даже Мелитта[1] спросила, а за что почтальонов? Были у нас Кульманы, Кепиновы, Гречаниновы. Вообще светская жизнь идет большими шагами, но куда приведет — неизвестно. Были у меня Дейкарханова, и Леля, и Алексинская, Татьяна Александровна. Париж очарователен.

Целую тебя нежно. Пиши. Яна и Галину Ник. Боря и Наташа целуют».

20 июля, Порнише.

«Дорогой Верун, прости, что не ответила столько времени на твои 2 письма. Большое тебе спасибо за ласку и заботу о Боре. Я очень счастлива, что Боре хорошо и уютно у Вас. Мы живем изумительно. Первый раз в жизни я на океане. Это красота поразительная. Наташа поправилась совершенно, темно-красный персик. Даже у меня ноги загорели, стали темно-розовые. Настроение веселое, дружное. Софья Дм. почти все время занимается хозяйством. На это идет часа $1^1/_2$ во весь день. Едим мы отлично, проживаем гроши. Жарко очень, но вечером прохладно. И никогда не обливаемся потом, всегда чуть прохлада с океана. А ночью звезды, да какие. Все время душа замирает от этой красоты. Боюсь, что Боре будет плохо в наших комнатах, но квартиры здесь очень дороги, а наши комнаты дешевые. Вот это меня беспокоит, но если ему не понравится, то, быть может, что-нибудь найдем подходящее для него. Оказывается, Ля-Боль один из шикарных курортов, а наш Порнише не отстает. По шику несравнимо с Жуанле-Пен. Здесь такие женщины, такие испанки и американки, что я на юге не видела. Но мы больше ходим по лесу, по пляжу. 2 раза были в кафе, С. Д. и Наташа танцевали. Верочка, когда я уезжала, то была в полном отчаянии, так я устала. А теперь прошло только 2 недели, и я чувствую себя как в 20 лет. Одним словом, «ванька-встанька». Как ни пригибаюсь к земле, в конце концов поднимаюсь. Наташа стала очаровательная. Не узнать ее. Она играет в мяч, бегает. Здесь Дагмара. Она сказала мне, что Бальмонт страшно пьет. Веруня, неужели Мережковский[2] не поедет к сербам? Мне представляется, что это невозможно. Деньги брать «швейцар», а ехать «не швейцар» (Тэффи). Кстати: от Тэффи получила прелестное нежное письмо, она в Руая живет. Сейчас сижу в рубашке, и у меня варится цветная капуста. А С. Д. и Наташа на пляже.

---

[1] Еврейка. Погибла при Гитлере. Мученица

[2] Мережковский поехал.

Я рада, что под старость я чувствую, что могу быть одна. Бога благодарю, что так сейчас живу. Душа расправляется и омывается от этой красоты. Ближе к Свету от этого, здешнего, Бытия. Видишь, как я загнула, точно плохой поэт. Господь храни тебя и Яна. Поцелуй его. Пиши, и еще раз спасибо».

Открытка без даты. Надо поместить перед предыдущ. письмом, это видно из содержания. Написано из Парижа еще.— Б. З.

«Милый Верун, через день или 2 увидишь Боруха. Я уже пишу на Ваш адрес. Я очень устала, до предела. У Наташеньки экзамены идут блестяще. Погода мердовская, но все же Париж прекрасен. Кланяйся Г. Н. Фондаминским. А Яна нежно обними».

5/18 августа 1928. День Преображения.

«Верочка моя, прости, что не писала тебе, но очень была не в форме писать. Первое время отдыхала, а теперь много на пляже. Вчера Наташа уехала на 2 дня, в лагерь христ. молодежи. Там все ее подруги: Карбасникова и друг. Уехала она тоже с нов. подругой, Энден. Приедет, Бог даст, завтра. Спасибо тебе, родная, за Батюшку[1]. Он очень хорошо у Вас прожил и с любовью вспоминает Грасс. Говорит, как родной дом. Я нашла, что он замечательно поправился. По вечерам ходим с ним по шелковому берегу отлива, а Наташа катается на велосипеде. Она изумительно выглядит. Темно-красная, загорелая; спит отлично, купается. Да и я очень хорошо себя чувствую. Тоже загорела, ноги черные стали. Боря работает и чувствует себя хорошо. Все рассказывает о юге. Я сама юг люблю, но жара для Наташи невозможна. Здесь погода дивная, много солнца, но нет безумной жары. Климат мне очень нравится, а в океан я влюблена.

Поедет ли Ваня в Сербию? Кульман не едет, так как Нат. Ив. едет лечиться в Руая, а он без нее не едет.

Я не рада возвращаться в Париж. Мне тут очень, очень хорошо, а там опять: «Что будете варить?» «Кто с кем живет?» «Кто как одет?» И т. д., и т. д. Одна радость, что церковь там, а тут уже 2 месяца почти не была в Храме Божием.

Обнимаю, целую нежно. Боря тебя целует и всем кланяется. Очень он отдохнул у Вас. Спасибо еще раз. Господь сохрани тебя и весь дом».

---

[1] Это я. К этому времени уже вернулся к своим в Порнише.

Париж. Август 1928.

«Верун! Милый! Пишу тебе накануне Наташиных именин. Мы сейчас вдвоем с Борей, выпили 2 бутылки вина, и я сильно «на взводе». Друг мой, почему Ян не поедет в Сербию? Мне ужасно это досадно. Да и нельзя, по-моему, не ехать. Боря, Алданов ужасно жалеют. Мне кажется, так хорошо было бы встряхнуться. Напиши мне про Белича. Что он и как он? Мы живы, здоровы, чувствуем себя хорошо. Отвечаю за себя и за Наташу, а Боря работает — и тоже впечатление от него приятное, а там не знаю. Спасибо тебе за письмо, очень я была тронута. Наташенька получила 14 писем, на рождение. Она очень похорошела и повзрослела. Я ей подарила на именины ракетку, и она играет в теннис. Я тоже. Во мне теперь 68 кило, и я бегаю прытко. Сейчас получила письмо от Айхенвальда[1]. К нему приехала жена из Москвы. 6 лет они не виделись! Злоба дня — мое похудение и что мы не видели Вишняка в Порнише! Почему это так волнительно — я не знаю и не понимаю.

Еще обида это для меня, почему Иван не едет. Это не модель!

Прости за нескладное письмо, но я непременно хотела тебе написать. Может, Ян раздумал... и поедет. Господь Вас храни. Обнимаю. «Золотой Рог» мне понравился, но «Олесь» — лучше. Скажи Яну — чтоб ехал».

Иван на этот съезд, в некоторых отношениях замечательный, все-таки не поехал. Причина, думаю, соперничество с Мережковским. При чрезвычайном самолюбии Ивана и его избалованности в эмиграции, у него твердо установился взгляд, что он всюду должен быть первым. В данном случае уверенности этой не было. Он предпочел позже приехать одному в Белград. Что и осуществил. Не знаю, как это прошло, но, конечно, такой торжественности, как на съезде, быть не могло.

Белич — глава «Державной комиссии» по устройству съезда. Сколько помню, накануне съезда был у Ивана в Грассе, б. м., от него Иван и узнал, что Мережковского в правительстве сербском расценивают очень высоко. Так или иначе, съезд прошел весьма пышно. Мережковский сказал мне в Белграде: «Первый раз чувствую себя в эмиграции не последним, кому-то нужным». Да, сербы принимали нас очень дружески, даже восторженно, это бесспорно. К такой внимательности и гостеприимству мы и на самом деле не привыкли. И в этом тон

---

[1] Литер критик, наш друг. Остался в Берлине, где вскоре погиб — попал под трамвай (по близорукости не заметил его)

задавал сам король Александр. Устраивались торжественные собрания, банкеты, спектакль в театре в честь приезжих, завтрак у короля. (Он получил в юности образование в Петербурге, был поклонником культуры русской, да и помнил, конечно, заступничество России в 1914 году, приведшее к трагедии ее, но сохранившее независимость Сербии. Сам король Александр, как известно, был убит в Марселе каким-то хорватским фанатиком — французское правительство не сумело охранить своего гостя и союзника от покушения примитивнейшего.)

Из писателей русских на съезде были Мережковский, Гиппиус, Немирович-Данченко <В. И.>, Куприн, Чириков и я. Кроме того — журналисты. Немировича сербы считали патриархом (во время русско-турецко-сербской войны 1877 г. он сидел корреспондентом «Нов. времени» в окопах под Белградом). Популярностью наибольшей пользовался Куприн — начиная с короля до простонародья — был «свой» по уровню культуры, литературным собраниям предпочитал «кафаны», где утешался винцом, разными «ракй» и т. п. Сербам нравилась его «простота». Мережковский — Олимп и малопонятен, но имя европейское, и начальство, мало в чем понимая, относилось к нему как к загадочной иконе.

Не обошлось и без обид, недоразумений. Тэффи получила приглашение уже к шапочному разбору, насчет Шмелева и Бальмонта причин не знаю — что последнего не было, и слава Богу (вина было достаточно, а это делало его невменяемым). Куприн вел себя сравнительно тихо (слегка развернулся лишь в Загребе, где мы с ним выступали на скромном собрании памяти Толстого (столетие рождения). Бальмонт же мог быть опасен по большей действенности («хочу быть дерзким, хочу быть смелым») — веселие Руси пити. Бестактные слова какого-то серба на банкете задели Вишняка по национальной линии, и он уехал до конца съезда.

Вот отражение съезда этого в Париже — письмо моей Веры из Парижа Вере Буниной в Грасс.

28 сентября/11 октября, четверг, 1928 г.

«Дорогой мой Верун, прости, что к Ангелу тебе написала только три слова на Наташенькином письме, но я была ужасно не в духе писать. В понедельник приехал Борик, довольный, чувствует себя отлично и до сих пор все нам рассказывает, как хорошо было в Сербии. Приехал он с Куприным. Куприн очень много пил, но Боря его жалеет. И говорит, что сербы его очень любят и он очень был популярен. Мережковские держались особняком. Их не любили, хотя принимали изу-

мительно, «начальство» с ними носилось как с писаными торбами. Приехавшие раньше журналисты их ругали за нетактичность. Вообще теперь есть почесать язычки новая тема: ордена, прием у короля и т. д. Боря (да и все) страшно жалеют, что Ивана там не было. Боря сам напишет Ивану. Орден очень красивый и звезда. Ты увидишь орден у Зинаиды[1]. А у Мережковского — орден и лента через плечо. Боря устал очень, но страшно веселый. Насчет стипендий ничего не вышло. Дали две стипендии: Чирикову и Немировичу, а о других безнадежно. Если бы Тэффи была, то ей бы, конечно, дали, но приглашение она получила слишком поздно.

Обнимаю тебя, родная![2] Для меня этот день страшный. Лешеньку взяли в че-ку. Я буду служить панихиду о нем.

Боря видел отца Иоанна Шаховского[3]. Он у него был в «Белой Церкви». Его очень хвалят, и производит он прекрасное впечатление. Кланяется Вам. Он аскет и живет совершенно по-христиански. Отдает все, что у него есть, ходит по больным. Боря был в двух институтах и кадетском корпусе. Там он читал и говорил с молодежью. Всего не опишешь. Вчера у нас были Тэффи и Пав. Андр., пригласил он нас завтра к себе обедать. Без Бори он угощал два раза обедом, в ресторане. Потом возил нас в синема, и я ночевала у Тэффи. Еще завтракала у Кошиц, она в субботу едет в Америку. Дом наш стоит незыблем, и все жильцы тоже — без перемен. Веруня, когда мы увидимся? Ведь Вы поедете в Сербию? Значит, не раньше весны. В день моих именин было много народу у меня и масса цветов. С Наташей мы причащались в день Ангела, очень, очень хорошо было. А в Сергиев день была в Сергиевском Подворье, там теперь колокола, и звонил в колокола Карташев. Был крестный ход. Очень хорошо было! Я все больше и больше втягиваюсь в жизнь церкви. Поцелуй Яна крепко от всех нас. Как ему работается? Обнимаю тебя. Боря тебя нежно и Яна целует, и Наташа тоже. Господь с Вами, со всеми. Пиши мне, что ты сейчас пишешь?[4] Милый, 1 октября я за тебя выпью.

Твоя Вера».

---

[1] Мережковский и Немирович получили орден св. Саввы (покровитель культуры и искусства) первой степени, Гиппиус, Куприн и я — второй, со звездой, но без ленты через плечо. Журналисты некот.— третьей.

[2] 1 окт.— день рождения Веры Б.

[3] «Белая Церковь» — местечко в Югославии, где нынешний архиепископ С.-Францисский был в то время иеромонахом.

[4] Вера Б. давно писала разные воспоминания, дневники. Позже выпустила книгу «Жизнь Бунина».

13/26 ноября 1928.

«<...> Из Москвы ужасные были вести. У мамы был заворот кишок. Она была при смерти, но, слава Богу, все прошло бесследно. Получила от папы две открытки. Закрытые письма не доходят. Таня[1] бедствует. Послала ей гроши, но она пишет, что, когда получила от меня деньги, у нее было 21 коп. и негде было на еду взять. Это кошмар какой-то. Коля Бруни без места, и Анечка[2] с детьми надрывается. Машенька тоже без работы. Здесь атмосфера неприятная, и я стараюсь мало с кем видеться. Поездка в Сербию возмутила многих, и ты знаешь по «Последним новостям», как Азов, Аминадо и Талин[1] издевались над этим. Все это очень мердовато выходит. С деньгами нам очень трудно теперь. И мы с трудом вывертываемся.

В день Лешиной смерти я приобщалась, и с амвона поминали убиенных, и была панихида. Все было до того раздирательно, что до сих пор я каждый день реву и все вспоминаю.

Получили известие, что Борина сестра Танечка собирается к нам — у нее сахарная болезнь, и она, как пишет моя Таня, безнадежна. Я жду ее страшно. Хоть перед смертью ее еще раз увидеть.

Невеселое письмо! Но что же делать?

Поедете ли Вы в Сербию? Ведь Вам только до 1 апреля жить в Грассе. Я очень люблю Любочку Полонскую[3], она очень милая и добрая, а сын ее — прямо прелесть какой мальчик.

Были на генеральной репетиции «Летучей мыши» — провал форменный. Леля[4] к нам ходит. Живет она теперь вместе с Балиевым. У них отличная квартира. И Леле, кажется, неплохо. Боря пишет «Анну». Наташа учится, иногда «выезжает», в субботу была вечеринка Московского землячества, она была милушка, танцевала все время и была в авантаже. Я прочла дивный роман «Climats» (Maurois), советую: прочти. Не оторвешься. Верун, напиши, что ты пишешь сейчас. Ваня работает, или передышка? Тэффи очень мила и хороша. Она мне очень дорога, и я рада, что она существует... Перечла письмо[5] и подумала, что какой мрак. Но не все же плохо. Погода отличная, луна по ночам, и все же доживать надо как-то, не падая духом.

---

[1] Старшая сестра Веры.

[2] Дочь Татьяны, племянница Веры моей. Замужем за Бруни. Поэт, принял священство, был сослан, умер в ссылке.

[3] Сестра М. А. Алданова.

[4] Племянница Веры, замужем за Балиевым, главой «Летучей мыши». Леля была актрисой в театре Балиева.

[5] Упоминает о ряде автомоб. катастроф и ранений общих знакомых.

Господь Вас храни. Яна целуй. Обнимаю крепко. Пиши мне. Я буду отвечать.

Твоя Вера».

9 января 1929.

«Дорогой Верун, с праздником Рождества Христова и с наступ. Новым Годом! Прости, что так долго не писала, но у меня было много всяких огорчений. Умер офицер, к которому я ходила (туберкулезный). Потом отравилась одна родственница (Буйневич), брат третий был женат на Любе, и вот она отравилась, ее еле-еле спасли. Придя в себя, пыталась повеситься. После этого три недели к ней ездила в Медон и развлекала ее. Теперь она поехала к мужу в Ковно. Все было тяжко. Теперь смерть дорогого Юлия Исаевича[1]. Очень много горевали мы. Потом внезапная смерть Гайдукова. Помнишь? Друг Орешниковых[2].

Сегодня выезжает из Москвы Борина сестра Танечка. Она серьезно больна. У нее сахарная болезнь. Пока она доедет до Берлина, к мужу, а там, Бог даст, и к нам приедет. Мы пока здоровы. Вчера от папы получила длинное и веселое письмо. Страшно милое, он нам советует излечиться от ностальгии... Но от Тани письма очень тяжелые, они голодают, видимо. Чехи[3] прекратили высылать. Были мы на «Зеленой лампе». Зинаида[4] прокрякала о «мечте о Царе», потом говорил Фондаминский (очень хорошо), Мельгунов (злился) и Масловв («по существу»). Боря пишет «Анну». А я готовлю, мою, стираю и т. д. Хам де менаж нет. Новый Год хорошо встречали. В ресторане на Монмартре. Были Тэффи, Рощина-Инсарова, Пав. Андр., доктор Гольденштейн и мы. Угощал Пав. Андр. Выпили много, и было приятно. Теперь готовимся к балу[5]. И к Моск. землячеству. Накануне Рождества, после церкви, были у Ельяшевич до 4-х час. утра. Денег у нас ни..., без перемен! Все ходят друг к другу, без конца, и обижаются, что не зовем. Я скоро устрою «вечер гала».

Холодище ужасный! Топим камин. Была раз с Борей в театре, смотрели «Зигфрида» (комедию)[6]. Было занятно. Ал-

---

[1] Айхенвальд.

[2] Родители Веры.

[3] Чешское правительство некоторое время поддерживало русских эмигрантских писателей старшей группы.

[4] Гиппиус.

[5] Союз писателей. В то время балы были в «Лютеции», в огромных залах, программы. Обычно под старый Новый год, 13 янв. н. ст.

[6] Жироду.

дановых видела у Полонских (Полонских очень люблю). У них чудесный мальчик. Верун, ты молодец, как написала про Андреева. Как Ян? Господь с Вами. Скорее приезжайте. Молодец король Александр! (Сербский. Не помню, почему молодец.— *Б. З.*)».

1 июня 1929 (вероятно).

«Дорогая Веруня, прости, что я тебе так долго не отвечала, но жизнь идет совершенно невыносимо скоро, и я не успеваю ничего делать. Дико устаю. Из России очень мрачные известия. Там голод. А у нас в «Городке»[1] все то же. Новостей никаких, разве кто что «пошил». Твоя «Пиккола Марина» имела большой успех. Всем нравится[2]. Книга Борина не вышла, и думаю, долго не выйдет[3]. Надо было 15 апр., а теперь 1 июня. Все разъезжаются скоро, и думаю, все провалится. У меня энергии никакой нет. Страстную неделю провела очень хорошо. Мой Наташе́ц очарователен — ездила на 2 дня с Содружеством под Париж, там они молились, и лекции читали им, и гуляли, и прыгали через костер... Приехал Бальмонт, был у нас два раза — прост. В восторге от Болгарии. Приехала моя племянница Леля, через месяц едет с Джимми и Балиевым в Италию. Живется ей хорошо,— она довольна.

Весна чудесная! Недавно в Булонском лесу букет диких гиацинтов набрала. Иногда делаю «аусфлюге». Кажется, все написала. Был у меня «фолъ журне» (это я пишу как в «Любовной истории»: «белъ фам» через *ять*). Было у нас 28 человек, не считая нас. Говорят, было не скучно. А вечером я ходила слушать Вертинского. От Берлина Б. в ужасе, мердовый город, говорит, и народ неприятный[4].

Что ты еще пишешь? Что пишет Ян? Летом я совершенно не знаю, куда поеду. Наташа поедет с Содружеством в Савою. Я бы хотела жить где-нибудь в деревне, совсем одна, но не знаю, куда ехать? Хотелось бы, чтобы Боря поехал к морю, но не знаю, удастся ли. Я буду всячески стараться, чтобы он поехал куда-нибудь. А если мне не удастся, то я и тут одна проживу хорошо. Буду много спать и ничего не делать.

Господь с тобой.

Твоя В»

---

[1] Тэффи иронически называла эмиграцию «Городок».

[2] Дружеское преувеличение, но бескорыстное.

[3] «Анна». Обошлось благополучно, вопреки пессимизму Веры

[4] Я ездил в Берлин повидать больную сестру Таню, приехавшую к мужу из России.

6 дек. 1929. День Николая Чудотворца.

«Дорогой Верун, я ужасная св., что тебе не писала 3 месяца и не поблагодарила Яна за его книгу, дорогой подарок. Спасибо ему. Все трое его целуем. Мы живы и, слава Богу, здоровы. Наташа занимается каждый день до 12 ч. ночи. Переутомлена страшно. Но проклятое башо[1] на носу. Не знаю, как они все занимаются. 70 часов в неделю. Мы, матери, ходили к директрисе и жаловались, что дети так много работают. Она сама говорит, что в этом году программа чуть не вдвое. Боря пишет о Тургеневе, а моя романтическая жизнь на кухне продолжается. Последние дни вожусь с Миррой[2]. У Марины Цветаевой болел туберкулезом муж, и тоже достаем ему денег. Вообще все несчастны и растерянны. Денег мало. Борю переводят на итальянский, «Анну», «Афон» и «Золотой узор». А по-франц. «Анну». Но денег кот нарыдал.

От своих не получала 3 месяца писем. Знаю, что Таню, Екат. Алекс.[3] выгнали с квартиры, и что они делают — не знаю. Были мы на концерте Рахманинова (чудесно) и 2 раза на казацких концертах, я совсем с ума сошла от радости, так хорошо было. Была у меня Нина Берберова. Пишет роман. Ходасевич худ до предела. Были раз на «Кочевье». Вчера зашел к нам Вадим Андреев — жена его родит через месяц. Пришел справиться, не знаю ли я что-нибудь о Дане[4]. Но я ничего не знаю про Москву. Ходили мы «сближаться» с французами — очень интересный был вчера вечер о «Достоевском», Кирилл Зайцев читал, а потом Лалу. Было человек 300. Говорил паршивец Вова П-р! Кошмар! Алданов лучше выглядит и точно поспокойнее чувствует себя. Он огорчен смертью брата. Душенька моя, письмом ничего не скажешь. Знаю, что у Вас Зуров,— и радуюсь, что Вам уютно с ним. Что ты пишешь? Мне ужасно понравился последний кусок «Жизни Арсеньева» — особенно последние страницы. Боря целует Яна и тоже благодарит за книгу. Он ему сам напишет. Как-то обедали с Куприным у Соболевых — он был пьян, но добродушен».

2 января 1930.

«Дорогая моя Верочка, с Новым годом поздравляем Вас. Как Вы живы? Перечитываю Гамсуна и нахожу, что я похожа

---

[1] Выпускной экзамен лицея.

[2] Дочь Бальмонта и Елены Цветковской.

[3] Бальмонт.

[4] Вадим и Даниил, сыновья Леонида Андреева. Даня был сослан на 10 лет, вернулся разбитый. Рано умер в Москве.

на Глана — не люблю я общества[1], мне бы в леса уйти. Надоело все. Все кругом одно и то же. Из России ужасные вести. Все они там голодают.

Теперь готовимся к балу[2] — мне безумно не хочется ехать на него, но для Наташи придется ехать. Ей розовое платье мастерим (Леля подарила).

Вчера были у нас днем Тэффи, Тикстоны, Серовы, Кампанари и еще Наташины подруги. У нас елка маленькая. В общем денег очень мало, ну да это не новость. Обнимаю тебя и Яна».

Суббота, 23 декабря 1930.

Письмо начинается с сообщения об отпевании Мани Муромцевой, двоюродной сестры Веры Буниной. Ее моя Вера совсем не знала, но по этому случаю вспоминает детство, Царицыно под Москвой,— помнит Веру Бунину еще девочкой, в красном картузике («Беатриче», как тебя звал дядя).

«<...> Милый Верун, ты мне не пишешь, также и я тебе. 1 октября я все думала о твоем дне рождения и видела во сне всех твоих... и раздумалась, что ведь ни одной клеточки не осталось в нас — нас уже нет. Милый Верун, я всю службу думала о тебе и жалела, что тебя нет.

Я себя чувствую неплохо. Много работаю. Хам де менаж совсем не ходит. Гуляю три, четыре иногда раза в неделю с Лялей и за это деньги получаю. Хоть и мало, а все-таки прирабатываю. Наташенька дает урок одной девочке, франц. и математику, а вчера еще получила урок разговаривать по-франц. с одним господином, мужем Клавдии Бирюковой. Ты, наверное, уже знаешь, что Пав. Андр. Тикстон[3] очень болен. У него паралич, правая сторона отнялась, и не мог говорить, но теперь, славу Богу, поправляется, хоть и очень медленно. Немного ходить начал. Тэффи безумно устала, 2 месяца за ним ходит, хотя там есть сестра милосердия, но она через день ночует, а днем всегда у него. Жалеем его безумно мы все. Хороший он человек. Из России мне не пишут, а окольными путями знаю, что здоровы, слава Богу, но живут бесконечно трудно. Боря скоро кончит «Тургенева». Отчего ты давно не печатаешься? Как Ян, Галина, Зуров? Наташец работает много, иногда веселится. Вижусь с Лелей[4], переписываюсь с Олечкой, вот и все мои «кровные», как маленькая Наташа звала родных. Милая

---

[1] Была чрезвычайно общительна, и без людей трудно себе ее представить

[2] Очевидно, бал нашего Союза писателей 1/13 янв., новогодний, в «Лютеции».

[3] Друг Тэффи.

[4] Леля Балиева, племянница; Оля тоже племянница.

Душенька, сохрани Вас всех Господь. Если захочешь, то напиши мне. Я буду очень рада получить от тебя весточку. Боря и Наташа тебя целуют.

Твоя Вера».

12/25 декабря 1930.

«Дорогой Верун, спасибо за письмо. Я тебе не отвечала потому, что занята очень. В Николин день вспоминала дорогого твоего папу и молилась за него. Очень обидно с Нобелевской премией, но теперь мы уверены, что в след. раз Ян получит. Дай Бог![1] Мы сидим тоже без «грошей», как говорит Бальмонт. Вообще здесь очень сейчас трудно, в нашем «мозге России» (эмиграции) стоит скул[2] (от глагола скулить), многие потеряли место, денег нет. Кругом крахи. Ты знаешь, Тикстоны тоже разорены. Слава Богу, Павлу Андреичу лучше. Тэффинька ходит за ним и устала очень, но она все время с ним, только недавно бросила ночное дежурство, т. к. он стал уже ходить и рука двигается. Все же он еще далеко не поправился. 2 недели тому назад постригся в монахи сын Ник. Карл. (Кульмана) Володя — теперь он брат Мефодий. Я была на пострижении, потом (через неделю) его рукоположили в диаконы[3]. Дней пять тому назад я ездила к Танечке, Бориной сестре, в Сен-Жермер-де-Фли. Был там епископ Вениамин, брат Мефодий (Кульман) и священник, бежавший из России. Верун, он делал доклад о положении церкви. Несмотря на гонения, там такой религиозный подъем, о котором мы не имеем понятия. Жаль, что тебя нет, ты бы очень была счастлива узнать все это, а писать долго. И сколько там чудес!

С наступающим Новым Годом. Целуй Яна.

Твоя Вера».

6/19 июля 1931.

«Дорогая моя Верун, прости, что не писала тебе столько времени. Но у нас все неудачи последнее время. Наташец провалился на 2-м башо, не хватило 3-х «пуэн», надо 60, а у нее 57. Но она не огорчилась, потому что и Серова, Ивашкевич, Кравцова и т. д. провалились... Соня Карбасникова вышла замуж. Леля Комиссаржевская (по первому мужу, в то время уже Балиева, племянница Веры.— *Б. З.*) была при смерти неделю

---

[1] Кандидатура Ивана выдвигалась, кажется, и еще раньше, но получил он лишь в 1933 г.

[2] Слово это производства самой Веры.

[3] Ныне епископ Мефодий, в Париже.

тому назад, ей селезенку вырезали, и она поправляется теперь. У нее была болезнь Калазар[1], а ее лечили от малярии 7 месяцев, она иссохла вся. Эта болезнь очень редкая, и только три случая за 15 лет зарегистрированы в Париже. Вчера была у нее в лечебнице, и она похожа на прежнюю. А теперь две недели болел Боря, у него огромный карбункул на шее. Он очень страдал, теперь тоже поправляется. Я тебе ничего не написала про вечер Яна. Было изумительно хорошо, флюиды были отличные. Все говорили о нем с любовью. И Ник. Карл.[2] особенно хорошо и ласково сказал. Да и Демидов, и Боря, и Алданов все помянули с лаской Яна. И за тебя пили. Что касается лета — то это? — знаешь, у нас как у турка... да трубка. Ничего не знаем, куда поедем. Благодарное население одевает нас, и живем не спеша. Спешить некуда — наш лозунг, как говорили в России. Бывает у нас Патя, страшно свой. Из России кошмарные новости, все они голодают. Папа 15 лет не брал отпуска и теперь не берет. А мама еле ходит. Я хожу с Лялей, гуляю и зарабатываю в неделю 40 фр. 50 сант. Хам де менаж нет, и у нас такая поговорка: «Мама, если хочешь отдохнуть, выглади, сидя, белье или — прополоскай белье». Я не присаживаюсь с утра до вечера и по утрам еле встаю. От Тэффиньки было письмо, она ничего не пишет про Павл. Андр., но я была у Елены Васильевны Тикстон[3], и она мне сказала, что он неважно себя опять чувствует, но если будешь писать Тэффи, ничего не пиши грустного о его здоровье. Он мне одно время сам писал левой рукой. Очень я за него беспокоюсь. Такой он человек-то душевный. Бедный Тэффик, тоже измучилась. Алданов в Испании. Куприна не вижу совсем. Борина «Анна» вышла по-французски, и «Золотой узор» у Ашэтт выходит.

Дорогие мои, всех Вас целую. Яна крепко, крепко. Если у него есть лишний экземпляр стихов его, очень прошу выслать мне. Господь Вас храни.

Недавно была в гостях у Владыки Евлогия. Очень он хорош и мудр. Люблю, Верун, тебя, но жизнь мердовая и суетливая.

Твоя В.»

Конец сентября 1931 г.

«Дорогая моя Веруня, с Ангелом тебя поздравляю, родная моя! Желаю здоровья и денег, остальное приложится. Спасибо тебе за поздравление на рожденье мое. Мы здоровы, но бед-

---

[1] Африканский какой-то микроб.

[2] Проф. Кульман.

[3] Жена П. А.

ны — в «Возрождении» уменьшили, и сербы тоже. Но не падаем духом[1]. Пасу детей... Сегодня Боря получил письмо от Ивана, что же предпринимать? Конечно, ничего, раз даже чиновникам своим убавили жалованье. Слава Богу, что совсем не отменили, как чехи сделали. Мы думаем квартиру менять — на 2 комнаты, т. к. эта дорога нам теперь, живем мы очень замкнуто, нигде не бываем. Но все же Париж покидать не хочется. Вернулись Тэффи и Пав. Андр. Остальное без перемен. Все то же. Ор и стон, что денег нет. Были у всенощной под Крестовоздвижение, впечатление огромное. Очень было хорошо.

Обнимаю. Привет твоим, и целую нежно. Боря целует ручки и поздравляет».

Понедельник, 12 окт. 1931 г.

«Дорогая моя Веруня, спасибо за поздравление. Я всегда рада получать от тебя письма. Из Москвы вести ужасные. (Перечисление смертей.— *Б. З.*) Лелю Анненкову куда-то сослали за то, что она антропософка.

Борюшка просил написать, что он считает обращение к королю бесполезным. В Сербии всем, всем сокращение, как и вообще во всем мире. С этим надо примириться. У нас тоже положение аховое. В месяц мы «имеем» 1500 фр., но мы не унываем. Квартиру придется переменить на 2 комнаты. Наташа в четверг держит башо. Но она и сейчас умудрилась заработать себе 120 фр. Ходила утром гулять с детьми. Насчет времени ее свадьбы еще не решено. Мне кажется, что только в Париже можно заработать, а Вы сидите там как на острове. Бедный Ян, что это у него, вернулась опять его болезнь? Напиши, у какого доктора он был и что тот сказал. Бальмонты сидят в большой нужде.

<...> Милый мой Верун! Сейчас уже месяц, как у нас солнце и тепло. Бабье лето. Вчера мы все были в церкви, пришли с Нат. Ник. Вышеславцевой[2] к нам, поели и пошли в Булонский лес. Волшебно там, листопад, пахнет прелыми листьями.

Третьего дня был Павел Муратов, его дела тоже швах. Ты знаешь, в «Возрожд.» сокращение тоже. Ну, Бога надо благодарить, как мы все живем. Что в России! Там действительно кошмар, голод, холод и отчаяние. Сегодня идем с Борей на «Белую гвардию»[3]. Все хвалят очень. Алданов все скулит насчет

[1] Чешское и сербское правительства поддерживали одно время группу старших эмигрантских писателей русских, потом понемногу поддержка сокращалась и прекратилась наконец вовсе.

[2] Жена проф. Б. К. Вышеславцева.

[3] Пьеса Булгакова.

денежных дел. А я, Верун, легкомысленна и думаю, Бог не попустит нашей гибели. Бог дал день, Бог даст и пищу. Я думаю, как Володя Лодыженский[1]. Кстати, что он? Видела ли его еще раз?

Ну, Верун, сейчас уже 8 час., начну кофе варить, и вставать скоро будут мои. Господь сохрани Вас всех. Яна особенно обнимаю и целую. 1 окт. проведи весело, хоть сама с собой повеселись...

Твоя В.

П. С. Может быть, Бунину и Мережковскому оставят пенсию целиком, как более знаменитым и старшим. Таково мнение и Бори.

Видела Павл. Андр., он очень поправился, такой трогательный. Я его ужасно люблю. Тэффик устал очень, часто ее вижу. Она хорошо «смотрит».

14/27 ноября 1931.

«Веруня, моя дорогая! Спасибо тебе, что написала в день Лешенькиных страданий. А это было в воскресенье, я была одна в церкви, и только Нат. Ник. Вышеславцева была на панихиде. А Бор. нездоровилось, а Наташа проспала. Теперь Боря лечится и очень поправился. У него нервное истощение. Жрет он кол'у и пьет.

Ты меня спрашиваешь, что я думаю о Сирине[2]. Он, конечно, талантливый очень... но что дальше? Теперь уже есть, но все-таки хотелось бы еще. Он «Новый Год» без религии (что мы под этим разумеем — наше поколение). Глядя на него, не скажешь: «Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое»,— на это Алданов ответил: «Ему материально тоже очень трудно». Одним словом, он очень модерн. Но изящный, воспитанный, и я думаю, что знает, «откуда ноги растут». Нам он очень понравился. Читал блестяще, очень интересный отрывок. Народу было полным-полно — 3300 фр. собрали, а зал маленький. Илья Исидорович милейший смотрит на Сирина влюбленно...[3]

Париж одно время говорил только о Нобелевской премии. И Боря и я раскладывали пасьянс на Яна и Мережковского — но ни разу не вышло. Бог даст, на будущий год получит Ян. Потом увлечение Сириным, затем банкет «Соврем. записок». Мы живем слава Богу, говорю тебе без всякой позы. Что кругом делается, так мы еще богатые. В январе бросаем квартиру —

---

[1] Старый писатель, наш общий друг. В это время жил на юге Франции.

[2] Набоков писал тогда под псевдон. «Сирин».

[3] И. И. Фондаминский, один из редакторов «Совр. записок».

дешевле ищем[1] (вернее, не ищем) и в городе обязательно: Я бы очень хотела, чтобы Вы приехали. Недавно Боря сказал: «Я бы хотел, чтобы Верочка была с нами!» Как Париж хорош! А это перламутровое по вечерам, фонтаны на Конкорд. Чудо.

Тэффи все с Павл. Андр.,— а он, между нами, очень плох. Я к нему захожу иногда, и все кажется — он тает. Перед отъездом в Марокко Владыка пригласил Борю и меня чай пить к себе, вечером. Очень хорошо было. Много нам интересного говорил он. Теперь через неделю поджидаем его. Поцелуй от нас дорогого Ивана. Зурову привет, и Галину целую.

В среду, если все будет благополучно, пойдем на банкет[2]. Почему-то думала, что Ив. приедет. Надо Ване вечер устраивать! И нам надо! Мне ужасно надоело вечно благодарить... Но смирение! Уф!

Боря целует! Кланяется! Господь Вас храни. До скорого свидания! Бог даст!

Завтра муч. Гурия, Самона и Авива. Надо молиться о счастье брака им. Так говорят умные люди».

3/16 дек. 1931.

«С дорогим именинником[3] поздравляю тебя, милый Верун! Сто лет не писала, и не потому, что не хотела, а просто не знала, с чего начать. В феврале Наташина свадьба, если Богу угодно. Она мила, весела и все прижимается ко мне. Очень трудно с ней расстаться. Но он хороший, а там что Бог даст. На днях был Мережковский с З. Н. у нас (пришел отказаться от лекции, читать о Достоевском), кричал, что Россия у Достоевского «скверный анекдот». Потом возопил громким голосом: «Вы счастливы. Вы уже на дне, а мы еще держимся, но опускаемся, а Вы привыкли». Я сказала: «Привыкните!» Хохотали мы с Наташей ужасно. У них есть слова, не покрытые плотью, а как бы привычно шелестящие — как Антихрист, Христос, Россия и т. д. У нас дела материальные ужасные, 3500 фр. за «Тургенева» Б. получил, это чудо. Но мы жили 2 месяца, отдали долги, купили кое-что из одёжки, а теперь надежд нет. У Наташи приданое состоит из 6 серебряных ложек, золотой коронки на зубе и велосипеда. И все же надо хоть немного чего-нибудь. Мы после Наташиной свадьбы бросаем квартиру и не знаем, как будем дальше жить. Ну, Бог подаст, не погибнем же. Через месяц Больмонт приезжает в Париж.

---

[1] От «богатства» ищем подешевле.

[2] Если не ошибаюсь, юбилей «Совр. записок».

[3] Николай Анд. Муромцев, отец Веры — 6 дек. ст. ст. св. Николай Мирликийский.

Очень было приятно, что Ян побывал в Париже, он такой был ласковый и свой какой-то! Галина, мне кажется, немного проветрилась. Поцелуй ее за меня. Она очень нежная и трогательная была. Мне жаль, что Вы в такой глуши живете. Ну, да, впрочем, и здесь теперь жутковато, не знаешь, где лучше! Из России отчаянные известия. О своих знаю через третьи руки. Живы пока, холодают и голодают. Верун, милый, приезжай ты весной в Париж. Тоже тряхнешься! Ведь без людей трудно жить. Когда их много — плохо, а нет — пусто. Мы очень мало где бываем. Цетлины в Лондоне будут жить, наверно, ты уже знаешь. Все еврейство в панике от кризиса, все «теряют», а у нас все потеряно. Как Ян скажет — вещи <...> да клещи». Я безработная теперь, всех детей матери сами пасут. Буду искать какое-нибудь занятие.

Все Вас целуют. Да, еще Мережковский сказал: «Это хорошо, что Наташа замуж выходит, она Вас кормить будет». Умора. Про одну статью из газеты «Борьба за церковь» он сказал: «Прочел и всю ночь адски хохотал». Прямо нежить какая-то. Статья очень интересная, а над чем хохотать — неизвестно. В Николин день буду мысленно с тобой. Что тебе пишут?

Обнимаю. *Твоя В.*

Господь Вас храни».

IV

110, Рю Тьер (Булонь-сюр-Сен). 21/8 февр. 1932.

«Дорогая моя Веруня, долго тебе не писала, ласковая моя, потому что жизнь была столь суетна, что и рассказать трудно. Мы переехали на другую квартиру, у нас две комнаты, ванна, кухня, лифт (на 5-м эт.), горячая вода и центральное отопление, и за все это 5000 в год.

Денег у нас не было ни гроша, и Фаина Осиповна[1] устроила нам с Михельсон вечер у Шик — но вечер танцев, бриджа и покера. Боря был там один. Я не пошла[2]. Да и Боря приехал с Плевицкой, Кайдановым, Игнатовым и Лабинским. Было их выступление в 12 ч. ночи. Дало это около 5000. Мы расплатились с частью долгов и переехали. Теперь выдаем Тулушку замуж. 6 марта, в воскресенье, свадьба в 4 ч., на Дарю будет только венчание, а потом на 8 дней они едут в Фонтенебло. Разумом я счастлива за нее, а сердце у меня болит, что расстаюсь с моей доченькой, и нередко втихомолку плачу. Трудно мне с

---

[1] Ельяшевич.

[2] Думаю, нечего было надеть порядочного.

ней расставаться. Она счастлива, весела; он хороший, интересный и ходы[1]. Влюблен в нее тоже.

Она ко мне припадает иногда и говорит: «Мамик, я счастлива, но расставаться мне трудно с Вами». Боря тоже грустит, но оба мы крепимся. Андрей приходит каждый день к нам, и они веселятся, болтают. Иногда выезжают на балы. Наташа похудела и похорошела очень. «Приданое» у нее набирается. Ну, дружок мой, нежно обнимаю тебя, Яна, поцелуй Галину, кланяйся Зурову. Может быть, Наташу скоро увидишь. Они к Вам заедут, если будут посланы в Ниццу[2]. Пав. Андр. до сих пор болен. Я к нему хожу. Тэффи ужасно устала. Иногда мы собираемся у нее. Пав. Андр., Боря и я. Он очень слаб, но такой же чудесный. Слушаю лекции о. Иоанна[3], к сожалению, он уехал в Берлин. Его Владыка[4] послал. Боря нежно тебя целует — Ваню тоже и кланяется всем. Что делает Лоло? Мирра Бальмонт родит в начале марта. Ее «муж» уехал в Румынию, и бедному Бальмонту приходится содержать Мирру. Мирра очень довольна, что у нее будет ребенок. Но она не представляет, как же жить будет? Бальмонт в Париже, и очень ему туго. Он не пьет совсем уже месяцев 10. Безумно грустный! Совсем не такой, как был.

Господь с тобой. *Твоя В.*»

Среда. 9 марта 1932.

«Дорогая моя Веруня, вот уже 3-й день, как Наташенька улетела от нас. Очень, очень без нее мы тоскуем. Свадьба была прекрасная[5]. В целом была масса народа, говорят, около 400 человек. Я волновалась адски, но держалась. Все опишу. Наташа была как облако. Платье креп-жоржет, с мал. треном, и фата длинная. Рери ей дала надеть в лимузин (за ней прислал Андрей чудную машину) белую меховую кофточку. Букет, тоже прислан Андреем с шафером Сережей Одарченко (племянник нашего), букет из лилий и ландышей, гирляндой ниспадавших до полу. Боря ее ввел в церковь, и запел хор: «Гряди, гряди голубица, прекрасная моя!» Верочка, пели дивно, все женщины плакали. Было что-то трогательное в этой юной паре. От. Георгий дивно служил и сказал слово. Начал он так: «Милая Наташа, должен сказать, что венчаю я тебя, как бы венчал свою дочь...» и т. д.

---

[1] Так на условном языке Веры и подруги ее московского времени молодости Любы Рыбаковой называлась «мужская» привлекательность.

[2] Андрей служил в Барклейс Банк, и его посылали во франц. отдел банка для инспекции.

[3] От. Иоанн Шаховской, ныне архиепископ С.-Францисский.

[4] Митрополит Евлогий.

[5] 6 марта дочь наша Наташа вышла замуж за Андр. Влад. Соллогуба.

Он так говорил, что даже Вишняк сказал потом, как хорошо сказал священник. После поехали домой дружки и шафера. Дружки были: Кира Лилье, Ирочка Серова и Наташа Карбасникова, 6 шаферов, родители. Квартира превратилась в цветущий сиреневый сад. Было огромных 8 букетов белой сирени и один лиловый букет (от Аминадо). Белые фиалки, подснежники и т. д. Угощенье было: кулебяка, печенье, сандвичи, конфеты, шампанское и асти. Знак итальянского происхождения. На другой день, наплакавшись досыта, и Боря и я, мы начали жить одни. Говорила с Тулушкой по телефону вчера я, а сегодня Боря. Она веселенькая, и Андрей тоже. В субботу вернутся, а через дне недели, может быть, поедут в Марсель или Ниццу. Милый Верун, спасибо и за письмо, и за телеграмму... Наташа похудела и мила необычайно (что не я говорю, а другие). Мы с ней один вечер очень плакали, а потом я старалась не смотреть на нее. Дай Бог ей радости и счастья. Ну, вот и конец. Пиши мне. Господь над Вами, милые мои. Пишите и не забывайте нас.

Ваша В.»

Привожу выписку из письма об этой свадьбе Нат. Ив. Кульман (жена профессора) несколько комического характера. После венчания «молодые» уехали в прекрасном автомобиле. Кто-то спросил: «Чей это автомобиль?» На это Ходасевич ответил: «Не знаю чей, но не Бориса Константиновича. У его автомобиля другой номер».

У нас не только автомобиля, но и вообще гроша медного не было тогда в кармане — и все это знали.

20/7 марта 1932.

«Дорогой мой Верун, получила твое письмо, целую нежно, а Боря Ванино получил, тоже крепко целует. Душенька! Наташа вернулась счастливая, радостная, но представь себе — через три дня Андр. Влад. захворал стрептококковой ангиной. Сегодня, слава Богу, лучше. Наташенька за ним ходит, спят они в одной постели, т. к. живут в отеле. Я ей посоветовала не рисковать, она на это ответила: «А ты бы ушла от папы, если б он был тяжело болен?» Пока она не заразилась — ухаживает как ангел за ним. Сегодня поведу ее по солнцу гулять, а то ее и не вытащишь.

Веруня! Я от Галины письма не получила, ни я, ни Наташа. Неужели бы я не ответила ей, если б получила от нее письмо.

Мы живем тихо и на голодном пайке, выплачиваем долги.

Верун! Скажи Галине, что мы оба будем рады, если она из Грасса остановится у нас. Конечно, в том случае, если ей это удобно. Она будет на Наташиной кровати спать, отдельная

комната. Ванну может каждый день брать, горячая вода и днем и ночью. Скажи ей, что мы живем в 10 минутах от Порт Сен-Клу. Сообщение удобное, трамвай рядом. Одним словом, пусть едет к нам, не стесняясь, т. к. место у нас есть и мы с радостью ее приютим.

10 фр., которые ты прислала на панихиду о Володе Лодыженском, я дала литератору безработному Курсинскому. Он пришел совершенно голодный. Не хотел брать, но я ему пояснила, что деньги не мои, а помянуть надо Владимира, он тогда взял. Это «быстрая помощь».

Обнимаю тебя, Яна! Господь Вас храни.

Твоя В.»

30 сент. 1932.

Моя дорогая, завтра целый день буду тебя[1] и всех твоих вспоминать, тех твоих, которые далеко. Папу, братьев. Дай Бог тебе здоровья и покоя душевного.

У нас теперь, слава Богу, более или менее благополучно. А было очень тревожно: захворала сестра Борина, Танечка. У нее было вроде паралича (7 часов продолжалось), и я к ней ездила в Сен-Жермер[2]. Наконец ее уговорила приехать, и она у нас уже месяц. К сожалению, уезжает во вторник. Оба мы ее любим, и она светлая, жалеем, что она опять будет одна. Ну, она как монахиня. Тебе надо с ней познакомиться.

Наташенька с Андр. уехала из Руана. Наташенька веселая. Похудела со свадьбы 7 кило, но к ней это страшно идет... Борюшка себя чувствует так себе. У него все голова болит, но денег так мало, что к доктору не идет. Очень лекарство дорого стоит. Мы бросаем квартиру и, Бог даст, переедем в Париж дешевле, тысячи за 4. Уже присмотрели на Шардон Лагаш квартиру. В Париже будет открыто Общежитие для женщин, и я буду устраивать, если Бог поможет, какие-ниб. вечера для денег. Это будет возглавляемо Владыкой. Господь Вас храни. Борюшка тебя нежно целует. Христос с Вами.

Твоя В.»

19/31 декабря 1932 г.

«Дорогая моя Веруня, с Новым Годом поздравляю тебя. Вечером Боря и я ходили ко всенощной, а теперь купили шпроты, мандарины и бутылку вина. Боря раскладывает пасьянс.

---

[1] День именин обеих Вер.

[2] Сен-Жермер-де-Фли, около Бовэ, там сестра моя жила при женской обители, учила девочек.

Что же тебе пожелать? Мой маленький, кроткий Друг? Здоровья, конечно. Милая моя Веруня, ужасно все мы жалели, что ты не приехала в Париж. Как-то ты там с Леонидом Федоровичем?[1] Не представляю. Мне почему-то кажется, что у Вас холодно. У нас такая теплынь, как в апреле. 6 ноября я послала 100 фр. в Москву, они получили. Я им послала 8 декабря 200 фр.— но ни слуху ни духу. У моей мамы был припадок грудной жабы, а папа слабеет. Все это меня беспокоит до ужаса. И я иногда ночью просыпаюсь с бешеным сердцебиением. Я немного зарабатываю, франков 30—40 в неделю, а что делаю — секрет. С дитенком не гуляю, а что делаю — секрет!

Верун! Дорогой мой, напиши мне о себе и как твое здоровье?

Павлу Андр. плохо, по-моему, он на глазах слабеет, а Тэффи молодец. Какая у нее выдержка... Нам повезло: Боре Ашэтт заплатил за «Золотой узор» 2400 фр., из коих мы отдали 1800 фр. долгу, и столько же долгу у нас еще осталось.

Но все же, слава Богу, пока живы и здоровы. Привет от нас Зурову. Нежно оба обнимаем тебя. Господь с тобой. Что из Москвы?

Твоя В.»

V

Наступивший 1933 год был значителен и для жизни Ивана, и отчасти для эмиграции — особенно литературной ее части. Иван получил наконец в ноябре 1933 г. Нобелевскую премию. Борьба за нее началась давно, еще в двадцатых годах, в ней большое участие принимал М. А. Алданов, верный почитатель Бунина. Старались и другие. Дело осложнялось тем, что, кроме нерусских соискателей (у каждого свой отряд защитников), соперником Ивана оказался свой же, эмигрант, Мережковский — писатель более даже, чем Иван, в Европе известный, хотя, конечно, весьма «особенный». Мережковского поддерживал архиеп. Седергольм, у Ивана были другие покровители. В самой семье Нобелей (здешних, парижан) существовало разделение: муж за Бунина, жена за Мережковского. Советы проводили своего кандидата, если не ошибаюсь, Горького. Но тогда Европа считалась еще с эмиграцией, а советы гораздо меньше значили, чем сейчас. Как бы то ни было, положение создавалось острое.

Весь этот 1933 год, до ноября месяца, был как раз очень трудным для Буниных. Перехожу к первоисточникам.

---

[1] Зуров.

Воскресенье (янв. 1933)[1].

«Дорогой Верун, сейчас была у Яна. У него грипп, никаких осложнений нет. Там был Серов[2]. Но ты знаешь, какой Ян нетерпеливый. Когда мы пришли, он был в сильном упадке духа. Я ему поставила банки. Боря сходил в аптеку. Дали ему лекарство. Поставила ему горчичник на икры, и он сказал, что ему легче. Стал веселый, и температура у него спала. Хотя он и не ставил градусник, но на ощупь у него температура небольшая. И он вспотел. Не волнуйся, все образуется. Сегодня пойду опять, и я и Боря, и тебе напишу. Позвонила Фондаминским, чтобы они его навестили. Господь храни тебя, моя Душенька. Привет Л. Ф. Боря тебя целует. Он отлично действует на Яна.

Твоя В.»

Понедельник. (Открытка.)

«Дорогой мой, пишу тебе от Яна. Он совсем поправился и сейчас ел куриный бульон. У Яна уже 36,7°. И он хорошо себя чувствует. Бог даст, на днях приедет. Грипп по всему Парижу ходит. Обнимаю тебя. Не волнуйся. Господь храни Вас. Привет Зурову.

Твоя В.»

17 февр./2 марта 1933.

«Милый мой Верун, не думай, что я забыла тебя. Но «жизнь молодая проходит бесследно». С утра и до ночи на ногах, если быть антропософкой и верить в переселение душ, то думаю, моя душа будет маховым колесом. Теперь я опять, можно сказать, безработная.

Наташенька уехала в Бордо, и страшно им там нравится, и город, и люди. Они были на балу, вообще веселятся вовсю. Конечно, грущу. Мы живем тихо, почти нигде не бываем по вечерам. Теперь у нас лозунг: «Все для лекции». Вчера получили билеты и сегодня уже начали раздавать по рукам. Я тебе не писала два с лишним месяца. Получила от моей мамы письмо. Она была очень больна, чуть не умерла, а у папы колит с июня месяца. Я им 200 фр. послала и Тане 200 — на расстоянии 2-х месяцев. Что зарабатываю, то и посылаю. Мамочка пишет: поцелуй от меня крепко-крепко Верочку Б. Ужасно плохо им всем. Голодают, а тут еще с этими сволочами французы начали

---

[1] Число не указано. Письмо из Парижа в Грасс. Иван приехал сюда и заболел.

[2] Врач, наш и Буниных приятель.

возиться. Ну, не могу об этом писать. Камни должны кричать, если люди терпят коммунизм.

Скажи Л. Ф.[1], что ужасно жаль, что такими клоками печатают его вещь! Впрочем, не говори, он и сам, вероятно, страдает. Мне понравилось, но целого впечатления нет.

Верун! Я почему-то думаю, что летом мы приедем на юг, хотя мы дико бедны. Мы проживаем 1200—1300 фр., но я, да и мой Друг не падаем духом. Верун, ты знаешь, Боря читал в нашей бианкурской церкви о Серафиме Саровском. Была битком набита церковь, расставили стулья. Боря читал 1 час, потом перерыв, молитвы пели, потом еще 25 минут, и никто не шелохнулся. Было чудесно. Это не я одна говорю, но все, кто там был. Знакомых были: Наташа, я, да еще две барышни, а остальные все прихожане. Очень жалко, что тебя не было, и Боря жалел.

Ну, что же писать? Хотела анекдот, но теперь пост. Борюшка всех целует. Ужасно мне понравился отрывок из «Арсеньева». Поцелуй Ваню. Иван твой — это стихия: Огонь, Вода, Солнце, Ветер. Поцелуй его, братика моего названого. Кланяйся Фондаминским. Господь храни Вас всех. Галину поцелуй. Как ее здоровье? Когда выйдет роман? И Зурова роман? Отчего ты давно не пишешь? Отчего?

Вера, пиши, пиши! Что из Москвы? Христос с Вами.

Твоя В.»

Четверг (6 апр. 1933). Открытка.

«Веруня! Папа мой скончался 4 апреля. Была телеграмма.

Сейчас его хоронят, я думаю. Очень бы тебя хотела видеть. Вчера причащались. И потом была панихида. За моего Папу, за Твоего, за Лидию[2] (вчера были мамины именины) и за убиенного Алексея, за Севу[3] и всех родных. Что же тебе сказать. Я плачу и мучаюсь обо всех. Когда получу подробное письмо, пришлю тебе. Господь храни Вас, целуй Яна. Боря целует.

Привет всем. Верочка! моя милая. Ведь опять так близко прикоснул. Твоя и моя семья. Папа накануне умер маминых именин, а телеграмму получила в день ее именин.

Твоя В.»

6/19 апр. 1933.

«Воистину Воскресе! Моя Веруня! Целую тебя и всех твоих трижды. Милый мой, папа мой умер изумительно, оттого и дает

---

[1] Леонид Федорович Зуров.

[2] Лидия Фед., мать В. Буниной.

[3] Всеволод, брат В. Б.

мне силы, бодрости. Из писем: «27 марта, в ночь, папу рвало желчью; только в 11 ч. утра он смог встать и открыть дверь. Вошла мамочка, Валя и Надя[1]. Он стал говорить о смерти — не плачьте, я верю в бессмертие, иду туда, где свет. Читайте Евангелие. 6-ю главу от Луки. Похороните меня на Пятницком кладбище, не в красном гробу. До 4 апреля говорил о потустороннем, просил прощения. За несколько минут до смерти (а умер он в 3 час. 20 м. дня) он взглянул на портрет своей матери, кот. висел у него над кроватью. Крепко закрыл глаза и сложил руки крестом. И заснул.

Музей[2] хоронил его с большой торжественностью и вниманием к родным: хоронили в дубовом гробу и похоронили на Введенских горах, близ могилы бабушки Агнессы. За гробом шли сотни людей. Бабушке оставили дедушкину комнату и пенсию. Вот и все. Мамочка держится молодцом, хотя у нее грудная жаба».

Сегодня я ужасно тоскую о папе. Ужасно, что здесь я не увижу его. Панихида была, и о твоем папе молилась. Зернов отказал. Ему ему должны 400 фр. Я думаю, он и отказал за это. Живем мы материально очень трудно, но смирились. Даже думать не смеем, как живем здесь.

То, что Зуров огород «городит»[3], это отлично... Но, значит, зимой опять в Грассе останетесь? Смотри, если у него легкие слабые, чтоб не очень уставал. Мне сейчас стыдно жить. Вся мысль, все у меня там, у них. Кто же шел за гробом? Пишут, сотни людей! Все меня это интересует, и я ничего не знаю. Ф. О. Ельяшевич сказала: Вас. Бор. пошлет А. Г. Гусакову[4] через Торгсин денег! Узнаю, если правда пошлет. Я буду у них в воскресенье и спрошу. Прости, что так пишу странно, но я ужасно плохо чувствую себя. Хочется выплакаться, и не могу. Боря нежен со мной, но у меня страшное одиночество на душе. Все время думаю о папе и Леше.

У меня есть друг безработный. Я его спросила: «А что, по-вашему, нам дадут с голоду умереть?» Он твердо ответил: «Дадут!» — Но я думаю — нет. Вам, наверху, одиноко! Здесь не так жутко. Мы очень мало где бываем. Очень тронули меня люди. Сколько сочувственных писем. Я не понимаю, отпевали моего папу? Как получу письмо — напишу тебе. Боря целует тебя и Яна и кланяется вам».

---

[1] Дочери.

[2] Исторический московский А. В. Орешников был его директором.

[3] В прямом смысле. Выращивал в нем овощи для стола.

[4] Старый профессор, друг Муромцевых.

(Приписки: «При смерти папы были: мамочка, все сестры и верная слуга Аннушка». «Заутреню были на Дарю, потом разговлялись дома. Я 7 недель мяса не ела. Кланяйся твоим, Фондаминским и Степунам».)

Без даты, относится к 1933 г. Вероятно, весна, после кончины отца в Москве.

«Дорогой Верун, эти письма прочти одна и верни сейчас же мне[1]. Я тебе писать ничего не могу. Очень жалеем, что не пришлось поехать на юг, хотя очень хорошо прошел Борин «день». Около 5 тысяч, но долги свыше 3-х тыс., а жить надо как можно дольше на эти гроши.

Книга Галины мне понравилась. Что и как понравилось, расскажу при свидании, а писать не знаю как. Обнимаю. Господь храни тебя. Как папа умирал! В Эрмитаже и в музее было торжественное заседание о папе. Около 100 заглавий, книги стояли на полках в Историч. музее, папин портрет. А после музыкальное отделение: то, что любил: Глинку, Чайковского. Моцарта, Брамса. Пели и читали стихи Пушкина. Было очень торжественно. Мне безумно жаль мамочку, бедная, как ей тяжело. Эти письма я читаю и перечитываю. Посылала Оле[2]. Папе (там) лучше. Он с Лешей встретится, и о нас помолятся. До свиданья. Храни Вас Господь. Обнимаю тебя. Твоя В. Осенью надо место искать мне. Посылать в Москву. Очень им трудно всем. Наташец счастлива очень. Слава Богу. Отошли сейчас же письма назад».

Ноябрь 4/22 окт. 1933.

«Моя дорогая Веруня, сегодня пошла в «Послед. новости» насчет посылки в Москву М. З. Ярцевой[3], и там мне сказали, что получена из Копенгагена, из комиссии по Нобелевской премии, телеграмма — адрес Ивана и его подданство. У меня ноги задрожали. Неужели??? Боюсь даже вслух сказать. Подумай, как это было бы чудесно. Не говоря уже о вас всех, но ведь какое счастье для нашей бедной России. Какая оплеуха большевикам! Верун! Пошли Бог, чтоб Иван получил. Сегодня праздник Казанской Божией Матери... и это не зря, что запросили в такой день. Писать не могу ни о чем, так взволновалась. Обнимаю Вас, дорогие, и пошли Бог, чтоб исполнилось.

Из М-вы ужасные вести. Слава Богу, мы посылаем каждый

---

[1] Думаю, письма из Москвы. Их у меня нет.

[2] Племянница, дочь Тани Полиевктовой, старшей сестры Веры.

[3] Вдова драматурга П. М. Ярцева, нашего друга

месяц по 100 фр. Маму все время жильцы гонят, и она, бедная, беспомощная. Очень сдружилась с Таней, и дети все очень ее поддерживают. Она получает 100 руб. и паек. Господь с Вами! Четверга[1] буду ждать с трепетом. Обнимаю Ивана, и привет ребятам.

Твоя В.»

16 ноября 1933.

«Верун! Дорогой мой! Вчера встретили Ивана, и ужасно горько было, что ты не приехала вместе. Вся жизнь прошла у меня перед глазами. Как Вы собирались в кругосветное путешествие[2]. Как он был влюблен и как Вы оба хороши были. Говорить не приходится, какой переполох был и какой восторг обуял всех, когда узнали, что Иван получил премию. Русские все чуть не целовались, гордились, и легче всем стало, что русский писатель как бы возвеличил бедных, обмордованных большевиками эмигрантов. Иван помолодел, растроган. К сожалению, я не присутствовала за завтраком у Корнилова, т. к. дежурила у Павл. Андр. Но сегодня была в «Возрождении», и опять его чествовали. Верун, приезжайте скорее. Иван говорит, что Вы все должны приодеться, но ведь это здесь лучше можно сделать. Я была уверена, что ты приедешь, поэтому не писала. Как жаль, что папа твой не дожил до этого. И Юл. Алексеевич. Всех ушедших вспоминаю. Милая моя Веруня, родная. Везде твои портреты. Помнишь, в день твоего совершеннолетия мы ходили к фотографу на Тверской, к Оцупу кажется, и ты снялась. Как было хорошо и все впереди. Ну а теперь Бога благодарить надо за всю его милость! Я очень взволнована, и трудно все написать. Приезжай, моя родная, поскорей. И напиши, когда приедешь. Мы встретим тебя, как подобает. Привет Гале и Л. Ф. от нас обоих. Воображаю, как все волнуются. Господь храни вас. И ждем, ждем. А то какой-то провал, что тебя нет здесь. Боря, Наташа целуют. Андрей кланяется. Наташа поправилась и прибавила 2½ кило. Ей впрыскивают мышьяк. Все расскажу, когда увижу.

Твоя В.»

Иван приехал в Париж один, Вера позже. Мы с Алдановым и А. Седых встречали его на Лионском вокзале утром, в начале

---

[1] Видимо, день присуждения Нобелев. премии.

[2] «Кругосветное» — в Палестину, весной 1907, неоформленное «свадебное» путешествие.

ноября. Завтракали у Корнилова (в то время лучший русский ресторан Парижа). Поздравлял и хозяин, «угощал» Ивана и друзей его бесплатно.

С этого начались бурно-шумные дни чествований, очень искренних и возбужденных. Ивану сняли две отличные комнаты в отеле «Мажестик», А. Седых стал его секретарем — и дел ему было немало. Приходили интервьюеры, переводчики на иностр. языки, просители. Помню одно насмешившее всех нас письмо от эмигранта «дю простой» из провинции: просил деньжонок и уверял, что если Иван просьбу его исполнит, то «Бог поможет ему и в следующем году получить премию». Вторую премию Иван не получил, но деньги послал — за простодушие. Позже, когда Иван фактически деньги получил, раздачу поставили на серьезную почву: комитет под председ. проф. Н. К. Кульмана распределил по отдельным писателям, учреждениям, организациям эмигрантским десятую часть добычи, а уже частным образом и «по-клошарски» все было прекращено.

Не одна Вера Зайцева, но и очень многие с эмиграции были искренне обрадованы победой именно вольного, изгнаннического и полунищего, но настоящего писателя. Дни до отъезда Ивана в Стокгольм вспоминаются как почти сплошной праздник: от литературного вечера в огромном театре «Шан-з' Элизэ», где многие из нас выступали, а Вера Бунина сидела в ложе с митрополитом Евлогием, до разных приемов, банкетов — адреса, цветы, подношения. В «Мажестике» вечная толчея посетителей, в газетах эмигрантских статьи, все как полагается.

Бунины давно ждали этой премии, и как раз этот год был для них особо трудным и нервным — и денежно трудным, и душевно. Зато хорошо кончился. Прилагаю последнее письмо моей Веры за этот год.

31 декабря 1933 г.

«Дорогой мой Верун, через два часа наступает Новый Год — что написать? Старый год был очень страшен, сколько потеряли друзей и кровных. Получила твое письмо и плакала. Что-то в нем пронзительное было. Все переживала снова и снова. И Садовую и Скатертный переулок[1]. И маму, и Павлика в красной рубашечке, и тебя в красном картузике. Беатриче, как тебя звал дядя Доля (он до сих пор еще жив). Мне знакомо чувство вины перед своими. И ты знаешь, что моей вины много. Не терзайся, мой любимый друг,— все ты делала, что могла, для дорогого

---

[1] На Садовой детство моей Веры, в Скатертном — Муромцевой-Буниной.

нашего Павлика. Я Андрею Георгиевичу[1] написала открытку ко дню Ангела, но ответа не получила. Что с Митей?[2] Ох, дорогой, как все страшно.

Мы уезжали на пять дней в имение Елеяшевич. Отдохнули чудно. Чудесный дом, сад. Много с Бабушкой (мать Ф. О. Ельяшевич.— *Б. З.*) была. Она очень тебя целует и с любовью вспоминает. Неподражаемо рассказывает, какая ты была красивая в коралловых серьгах!!!»

1 янв. 1934 год. (В том же письме.)

«Верун! Вчера пришли Полонские и принесли жареного петуха. Мы выпили Асти Спуманте и тихо посидели. Всех вспоминали в 12 час., и я мысленно поцеловал тебя. Верун, сейчас опять перечла твое письмо, строки из письма М. Ф.[3] раздирают сердце. Да, она очень верующая и терпеливо будет ждать очереди идти к Павлику. Мне кажется, что на Рождество все ушедшие встречаются и все в белом. Твои, мои, Лешка, Павлик, может, и узнали друг друга. (В подлиннике тут от капнувшей слезы пятно чернильное.— *Б. З.*) Вера, я ужасно тоскую о своих, и об ушедших и об далеких.

В Николин день была (накануне всенощной) у нас в Бианкуре и очень я хорошо выревелась. Как-то реально почувствовала св. Николая. Павлик посмеивался надо мной, когда я говорила с ним об этом и еще о Любви, во время болезни Бори[4]. Верун, когда Вы приедете, прошу прийти к нам и мы поговорим о наших. Ну, до свидания, спаси Господь, сохрани. Боря целует и поздравляет. Письмо бестолковое». (Вера в волнении даже не подписалась.— *Б. З.*)

Январь 30/12 февр. 1934.

«Верун, малый[5] мой! Как же твое здоровье? Вот уже почти месяц, как ты уехала, и ни слуху ни духу. Вчера было рожденье Бори, и к нам пришли, кто помнил: Нат. Ив,. 2-е Кампанари, Феничка с галстуком. Очень интересно рассказывали Кампанари о боях[6] на Конкорд'е. Все мы волновались очень. Какое <...> оказалось правительство. Сегодня забастовка, но, слава Богу, есть газ, электричество и вода.

---

[1] Проф. Гусаков, друг семьи Муромцевых.

[2] Павлик и Митя — братья Веры Буниной.

[3] Жена умершего Павлика.

[4] Еще в Москве, в 1922 г, когда у меня был тиф.

[5] Вероятно, в смысле «маленький». Написано ясно *а*, а не *и*

[6] Выступление полк. де ля Рока с французской фашистской группой Шли на Парламент.

Читала Цветаеву об Иловайских, что же, блестяще написано... но нельзя так ломаться. Я читала с огромным интересом, но иногда «промелькивало» в голове: попроще, попроще. Что Иван и как его геморрой? Поцелуй Ивана крепко, крепко. Что «мóлодежь»? Так в эмиграции ставят ударение. Верун, как твое сердце? Лежишь ли ты? Что делаешь? Пишешь ли что-нибудь? Борух, слава Богу, чувствует себя неплохо. Мы почти никуда не ходим. Я хожу к Тэффи. Бедный Пав. Андр. ужасно слаб, гораздо слабее, чем был при Вас. Тэффи устала... до предела. Но бодрится.

Борух всех целует, и я тоже кому кланяюсь, кого целую. Спаси Вас Христос!»

6 марта 1934.

«Дорогой мой Верун, ровно 2 года тому назад была свадьба Наташи. А в четверг они уехали в Марсель. Пробудет с месяц, а потом, Бог даст, пошлют их в Ниццу или в Канн. Конечно, мы новостримся к ним съездить. Благодаря подарку Ивана, мы с ноября живем как коты. Зубы оба починили, я набрала себе на два платья. Спасибо ему, поцелуй его. И Боре рубашки купила, да и всякую мелочь приобрели. Верун, на первой неделе поста я говела. В субботу, в сороковой день кончины отца Георгия[1], приобщалась. Накануне пошла к обедне, а вечером на Парастас, и не знала, у кого исповедоваться. И решила пойти к незнакомому иеромонаху Кириллу. Он оказался тоже духовный сын о. Георгия. И я страшно была довольна своим говением. Давно так хорошо мне не было на душе. Я очень скучаю по о. Георгии. Но чувствую, как он молится за нас. Наташенька уехала очень веселая. И, когда села в вагон, высунула мордочку и сказала: «Мамик, мы как будто в свадебное путешествие едем!» Значит, ей хорошо. Накануне Андрей ей купил в Труа Картье пальто, сам выбрал. Оба они нежные и радостные. Дай им Бог счастья подольше...

Хожу к П. А. 3—4 раза в неделю. Он очень слабеет, и боюсь, недолго ему жить. С Тэффи мы об этом стараемся не говорить. А напротив, всячески подбадриваю ее. Бедная Любовь Столица[2] умерла. Мы очень мало кого видим. Думаю, на вечере Шмелева кое-кого увидим. Борюшка себя чувствует неплохо. Получаю из Москвы письма. Теперь, благодаря Ивану, посылаю им каждый месяц по 100 фр. Сейчас мне очень грустно, дождь, слякоть! Тучи ползут. Господь Вас храни!

---

[1] От. Георгий Спасский, наш духовник и друг. Выдающийся проповедник и оратор. Скончался в янв. 1934 г.

[2] Довольно известная в свое время поэтесса.

Всем кланяйся. В Прощеный день была пасхальная служба (монастырская). Изумительно было. Это в первый раз Владыка разрешил. Жду от тебя письма. Боря целует и кланяется всем. *Твоя В.»*

1/19 апреля. Вербное воскресенье. 1934 г.

«Дорогой Верун, отчего ты так долго не пишешь? Здорова ли? Все ли благополучно? Что из Москвы? Вот и докатились до Пасхи! Верун, милый мой, этот четверг буду с тобой мысленно, именины твоей мамы, буду жить прошлым, нашей молодостью и глупостью нашей. А во вторник день кончины папы моего. Посылаю некролог, верни его мне по прочтении. Здесь все то же. В 9½ час. пошли к Рери[1], был «сейдер» — ихняя Пасха. Исход из Египта? А мы, эмигранты, тоже, пожалуй, будем «сейдер» справлять, исход из России!! О, Боже, Боже, когда все это кончится?

Иван твой очень поправился, тьфу, тьфу, не сглазить! У него и цвет лица стал хороший, и даже помордел чуть! Боря собирается к Вам в конце апреля, и если Наташенька будет на юге, то и я к ней подъеду. Все время хожу к П. А., привыкла к ним. Он, бедный, очень слабеет, ноги почти не ходят, но последние дни он повеселел опять. Тэффи устала. Но какой она сильный человек, удивительно. Дай ей Бог здоровья побольше. Во вторник пойду панихиду служить по папе и по всем твоим близким. Боря будет говеть, а я уже отговела. Напиши о здоровье Мити! Милый, не молчи так долго. Целую и кланяюсь всем.— *Твоя В.»*

25 мая 1934. Открытка из Ниццы в Грасс.

«Живем чудесно, дорогие мои, наслаждаемся! Да здравствует жизнь, как таковая!!! Ждем в воскресенье, не опоздайте. Наташа с Андреем в субботу собираются купаться в Жюан-ле-Пэн. Целуй всех крепко, от меня и Бори. Ивана особенно, и сто раз спасибо ему за все. У Вас было тоже изумительно. Господь Вас храни».

Пятница, 9/22 июня 1934.

«Дорогой Верун! В понедельник мы уезжаем. Еще раз спасибо Вам за все, за все...

Ивана целуй крепко, крепко. Прожили мы этот месяц дивно и едем окрепшие. Борух купается, а я загораю, лежу на солнце. Наташенька с Андреем уехали во вторник утром в Авиньон, а

[1] Жена М. А. Осоргина.

в среду должны были быть в Лионе. Без них грустно. Я прохожу мимо квартиры, где она жила, и каждый раз сердце сжимается. Вчера были в Монако, чудесный город (напоминает, как ни парадоксально, Венецию).

Верун, напиши мне поскорее — как Вы все? Когда приедет Марга?[1] Поцелуй ее за меня. Она нам понравилась — своеобразная. Если б не так далеко, еще бы с тобой повидалась. Но слишком далеко.

Борух очень поправился. Господь Вас храни.

Твоя Вера».

Воскресенье, 9/22 июля 1934.

«Дорогая моя Веруня, в четверг утром получила телеграмму из Москвы. Мама моя умерла ночью 19 июля, прислала телеграмму Танюша. За несколько дней до кончины мама получила письмо от Танюши, где она пишет: «Мама и я благодарим за память и целуем Верочку М.»[2] Я им послала еще и от Наташи».

Понедельник.

«Верун, вчера пришлось прервать письмо, а сегодня получила письмо от Танюши от 18 июля, канун маминой кончины. С 14 на 15 июля около 4-х ч. утра, во время сна, случилось кровоизлияние в мозг. Лежит она четвертые сутки без сознания, с параличом левой стороны. А в четверг получила телеграмму о ее кончине.

Верун! Ты знаешь, к смерти я отношусь без особого ужаса (иногда только смертельно боюсь смерти, в минуту слабости). Мама умерла без страдания, хотела[3] смерти, а я все равно грущу и... Ну, да, впрочем,— целая стена рухнула. Все равно погребено все. И ей-то, конечно, лучше.

У нас в среду был о. Иоанн Шаховской, и мы молились. Он был светлый, и чувствовалось его присутствие, нужное для нас. О многом говорили, о том, что непонятно. О неумении молиться. Очень он все хорошо объяснил, а на другой день телеграмма.

С понед. на вторник, когда уже Мамочка лежала в агонии, я видела во сне Царицыно[4] и всех Вас и всех моих (всех и Маму и Папу). Меня этот сон ужасно потряс, и я села у окна.

---

[1] Сестра Степуна.

[2] В. Муромцеву (Бунину).

[3] Пятно от слезы упавшей.

[4] Дачное место под Москвой, куда на лето выезжали и Орешниковы, и Муромцевы

Было $4^1/_2$ ч. утра. Смотрела Венера — слеза прозрачная на бледно-зеленом небе, и я плакала, кажется, всю душу выплакала слезами. А в понедельник было полгода кончины о. Георгия, и мы тоже ходили в церковь, и была чудесная заупокойная Литургия. В субботу служил на Дарю панихиду о Мамочке о. Иоанн. Теперь он уехал. Что ты будешь молиться о Маме, не сомневаюсь. Целуй Яна, крепко. Сестре Бори плохо, все еще в клиниках.

Твоя Вера.

Господь Вас храни, дорогие.

Эпилог

На юге было так нам хорошо, что я не удивляюсь, что сейчас столько у нас горя. Все так и хорошо и плохо — Жизнь. Надо потерпеть, и эта полоса пройдет. До свидания. Особенно помолись за меня, скажем, в пятницу — 9-й день смерти Мамы».

Нечаянная Радость. 11 июля 1934.
Сен-Жермер-де-Фли. День св. Ольги.

«Дорогая моя Веруня, пишу тебе из Обители Нечаянной Радости, где я прогостила 8 дней у сестры Танечки[1]. Мне здесь очень, очень нравится, но, к сожалению, получила письмо, что должна вернуться в Париж, т. е. не то что должна, а Наташенька приезжает завтра с Андреем к нам на 5 дней перед каникулами, и мне хочется с ней пробыть. Боря у них гостил 12 дней, ему там было очень хорошо. Это 5 верст от Булонь-сюр-Мэр. Я не поехала, мне хотелось побыть одной и сосредоточиться, а здесь это можно хорошо было сделать. Был 2 дня Владыка, я его очень и очень люблю. Потом Танечка светлая и еще одна монахиня, Кампанари, сестра Ефросиния, знакомая Ольги Львовны Еремеевой. Чудесная она! Так мне с ними хорошо и легко. Каждый день служба, а днем гуляем по полям. Вечером рано ложусь, в $10^1/_2$ ч. Отдохнула вполне. Батюшка[2] тоже очень доволен своим прибытием[3] у Наташеньки и Андрея. Конечно, никогда я бы не могла быть монахиней, это ужасно трудно, для меня невозможно, но жить рядом с такими людьми мне отрадно.

Раза 4 была у Тэффи и Пав. Андр. в Марли-ле-Руа, под Парижем. Оба они хорошо поправились; конечно, П. А. останется инвалидом, но хоть сейчас он повеселел и подбодрился.

---

[1] Моя сестра.

[2] Это я. Б. З.

[3] Вероятно, «пребыванием», а м. б., каприз стиля.

Очень последнее время я измучилась с Аслановым[1] — он от голода и одиночества покушался на самоубийство, и пришлось денег доставать. К сожалению, люди омердели и мало собрали. Кепиновы дали сразу 200 фр. и хлопотали еще.

А твое как здоровье? Фондаминский сказал, что ты бледновата. Напиши мне, дорогой друг мой!

Мне хочется очень на море, но мы бедны до предела.

Верочка, отчего ты больше не пишешь?[2] Почему? У тебя всегда интересны твои воспоминания. Ты много читаешь, можешь и франц. литер. написать.

Целуй всех твоих нежно. Кланяйся, кому можно, а кого можно, целуй. Напиши о всех. Скажи Яну, что я его нежно целую. Пошли ему Бог здоровья».

3/16 августа 1934.

«Дорогой мой Верун, получила давно твое письмо, да все лень была ответить. Мы тут живем в Обители 8 дней, я в самом монастыре, а Боря на деревне. Здесь рай! Вчера вечером (в 10½ час.) был изумительный случай. Светила луна, часть парка и небо были бледно-голубые, и только в середине неба грозовые тучи, лил дождь и беспрерывно блистала молния. Это было прямо волшебство какое-то!

Целуй Яна за открыточку, Боря получил тут ее.

Бедный Ваня, какой ужас его кровотечение. Бедный, поцелуй его крепко, крепко за нас.

Была у Тэффи и Пав. Андр., целый день пробыла. Ведь ты знаешь, я отсюда выезжала на 12 дней в Париж (свидание с Наташей), и вот в эти дни я и к Тэффи съездила. А потом мы приехали сюда вместе с Борей. Не знаешь ли ты подробностей о смерти А. М. Черного? Бедная Мар. Ив.[3], как ей жить? Ведь в ее жизни был только он один!

У нас здесь дикая жара. С Борей нас возили в Бовэ на автомобиле. Чудесный город. Там изумительный собор и церковь Сент Этьенн. В готическом стиле. Чудесно. Жизнь здесь тихая и хорошая. Боря несколько раз говорил, что жалеет, что Вас здесь нет. Мне кажется, очень бы Вам понравилось. К сожалению, в четверг мы едем в Париж. В субботу Наташа приезжает с Луары, они там три недели отдыхали. Живет она, слава Богу, очень хорошо пока...

Боря платит за комнату 5 фр. в сутки с электричеством. А

---

[1] Артист Моск. Худ. театра, позже вернулся в Россию.

[2] Не печатаешься.

[3] Вдова Саши Черного.

кормится у нас в келье. Очень мила мне Танечка. Каждый день хожу в церковь, раз пропустила. Служат здесь хорошо. Чудесные монахини. Я уже тебе писала про них.

Боря очень поправился, даже округлился. О зиме не думаем. Как Бог пошлет. Если нужны, то не погибнем. Обнимаю крепко. Борис целует, и всем привет.

Твоя В...»

Вторник 21 августа 1934.

«Дорогой Верун, наконец отвечаю тебе на твое милое письмо. Я как-то не могла скоро ответить. Мне из Москвы все сестры прислали подробные письма о кончине мамочки. Леля[1] мне прислала фотографию, Маму в гробу. Отлично вышло. Конечно, все это бесконечно тяжело, но я рада, что Мама не мучилась. Когда приедешь, прочту эти письма.

Борюшка не очень веселый, но все же крепится. Сегодня встретила Алданова. Он не очень доволен Довиллем. Было холодно. Сейчас Париж пустой. Странно ходить по пустым улицам. В воскресенье 40-й день смерти моей Мамы. Как идет быстро время.

В понедельник Наташино рождение — 22 года ей. Вчера с Борей были мы у Пав. Андр. Бедный он, все время плачет. И ничего уж почти не говорит. Не ходит. Тэффи устала ужасно. Но в ней есть необычайная выдержка. Она молодец. Мы гуляли, ели на берегу Марны фритюр'ы, запивали белым вином. Было приятно и грустно. Верочка, что Митя? Напиши мне о нем побольше.

Как вы все? Прошел слушок, что Вы приедете. Ну, не теперь же. В Париже очень жарко сейчас, хотя у нас прохладно в нашей квартире, а Растеряева улица[2] пышет жаром. Сейчас у Вас рай, вероятно, цветут всякие злаки.

В этом году ужасно много народу уехало в Савуа. Мода такая! Я очень о многом бы хотела написать о своем, внутреннем, но как-то слов нет. Странно, мало меня заботит «жизнь, как она есть». Самое главное, мы здоровы. Как будто мало, но это ужасно важно. Кругом сплошной вой и ор, все стонут. Да, конечно, радости мало, эмигрантам особенно. Недавно на рынке я поругалась по-русски с франц. коммунистом. Когда приедешь, в лицах изображу. Это было кратко и сильно. Много взяли они

---

[1] Младшая сестра.

[2] Рю Тьер в Булонь-сюр-Сэн, очень некрасивая. Мы прожили иа ней с 1932 по 1964. Иван называл ее Растеряевой ул., это из Глеба Успенского, убогая ул. в Туле, где мастеровые жили.

здесь силы. Только хорошо, когда никого не видишь. Всякий со своим горем как бы на плечи накладывает что-то тяжкое. Борик целует всех Вас.

Господь храни Тебя, моя детка! Вспоминаю часто, как мы сидели с тобой наверху у огорода и разговаривали. А этот «оргийный вечер» 17 июня! И сколько горя после этого, а прошло 2 месяца. До свидания. Целуй Яна нежно и всем привет.

Твоя В...»

Суббота. Сентябрь 1934.

«Дорогой Верун, со днем рождения тебя поздравляю. Мысленно буду с тобой. Сейчас проводили с Наташей Борю. Уехал на съезд иностранных журналистов, от правления Союза,— в Бельгию. Звал меня с собой. Женам тоже почти даром — не поехала. С одежкой и обувкой не крепко. Поехал с женой Милюкова и Миркин-Гецевич. Потом бродила по Парижу, была в Пале-Руаял'е, Тюильрийском саду. Чудно! Осенний прекрасный день, и как всегда в меланхолической дымке Париж.

Верун, начала тебе днем, в 12 часов, а кончаю сейчас, теперь 10 ч. веч. Наташа берет ванну, а я легла в 5 час. дня и все время или спала, или читала, и совершенно без сил. Этот страшный месяц для меня. Под Покрова Божией Матери, под твое рождение, был Леша взят.

Господь с тобой и со всеми вами. Целуй всех.

Твоя В...

Читала ли «Изольду»?

Воскресенье. Сейчас 8 час. Встаю, и поедем с Наташей в церковь. Панихида по покойной Государыне, а днем поеду в Севр, смотреть фарфоровую выставку, там замечательный русский отдел. Крепко обнимаю тебя. На этот раз желаю здоровья и денег, а остальное приложится.

Твоя В...»

14/27 сентября 1934 г.
День Воздвижения Креста.

«С Ангелом, мой старый друг, пошли тебе Господь радости и здоровья. Всех с именинницей поздравляю.

Последние дни у нас живет Борина сестра. Я этим летом к ней 4 раза ездила. Она была тяжко больна, и теперь я ее сюда привезла, чтобы показать профессору Лаббэ. Она чуть не умерла. У нее спазмы сосудов и был временный паралич (6 часов продолжался).

Но она такая изумительно духовная. Ты никогда не скажешь, что она больна. Веселая, светлая и бодрая. Я ее очень люблю.

Она моя опора в юдоли житейской. Собираетесь ли в Париж? Вчера узнала, что Куприны на этот раз вынырнули. Киса[1] получила место в синема (крутится).

Верун! Вчера я была одна на Дарю — вынос Креста. 500 раз поют «Господи помилуй». Это каждый год мне кажется, что все лучше и лучше. Я о тебе думала, лежа на полу. Встала за Крест, и там никого не было, я одна стояла, ну а церковь была набита людьми. И вот сейчас много думала я и плакала, как все видно, когда проходит. Я не умею выразить, но ты понимаешь.

Наташец и Андрей сейчас в Руане живут. Скоро приедут. С Борухом нам сейчас очень хорошо. Он в крепком виде. С Божьей помощью живем, хотя материально очень, очень трудно. Ну, что ж делать, квартиру бросаем в январе, уже сегодня откажемся. Боря и я не выносим наш Бианкур. Но что найдем? Не знаю[2]. Очень мне хорошо было в Сен-Жермере,— я тебе писала об этом.

Хороший рассказ «Марианка»[3]. А ты опять замолчала? Почему? О Верхарне хорошо было. Ты, Верун, скромен очень. Пиши. Если б я умела писать, я бы писала. Но я ничего не умею, и поэтому Боря должен меня ложэ, нурир и т. д., а ему одному это трудно. А я мучаюсь, хотя он никогда ничего мне не говорит.

Утром была у Алдановых, с рынка зашла. До свидания. Целую Яна, и привет всем от меня. Боря поздравляет и целует тебя и всем кланяется.

До свидания, друг мой!

Твоя В...»

30 сент./13 октября 1934.

«Верун, милый! Как всегда, в этот день с Тобой. Дай Бог Тебе здоровья и спокойствия душевного. Этот день Покрова Божией Матери для меня в прошлом веселый день. Помнишь, как отплясывали у Вас? А в 1919 г. под эту ночь был арестован Лешенька...

Милый Верун! Какой опять ужас — убийство Короля! Патриоты, рыцари гибнут. Дольфус, Александр, а Литвинов жив. Мне рассказывали бывшие в Лиге Наций — за 30 шагов никого не подпускали к нему, охраняли! А тут знали, что за Королем охотятся, и не было охраны. Мы все ревем, ведь это последний

---

[1] Ксения, дочь Куприна.

[2] Ничего не нашли и прожили на этой кв. еще 30 лет.

[3] Л. Ф. Зурова.

друг России — Рыцарь! У меня чувство, точно родной умер. Если бы ты жила в Париже, то ты бы видела, как все почти левеют. Верун, я жду от тебя писем... Я беспокоилась о Мите. Поцелуй Амалию Осиповну[1] и кланяйся настоящему Человеку, Зензинову, от нас обоих. Боря Амал. Ос. целует ручку. Господь храни Вас!»

16/29 декабря 1934.

«Дорогая моя Верунечка, с Новым Годом поздравляю Тебя и Леонида Федоровича. Желаю здоровья, и тогда все приложится, а Л. Ф. написать еще книгу.

Ты меня спрашиваешь о нашей жизни. Мы живем, слава Богу, неплохо (душевно), а материально с камешка на камешек прыгаем. Борух пишет бошую вещь... но печатать негде[2].

Летом собираемся в Финляндию на 2—3 месяца. У нас там оказались друзья. Все расскажу тебе при свидании, если до лета увидимся, а писать лень. Это одно из чудес! Ивана за этот месяц в «общем» видела 1 час или 2 часа. Он инвизибль, для нас по крайней мере. Завтра встретимся у Цетлиных. Наташа с Андреем в Оране, из Алжира переехали. П. А. и Тэффи все по-старому. Устает она, а он плачет или читает. Жаль их бесконечно. Из Москвы ужасные, печальные вести. Голод, холод и безнадежность. Митечке твоему еще не написала, но непременно напишу. Боря сейчас пасьянс раскладывает. Он тебя целует, а Л. Ф. очень кланяется. Бальмонты медленно погружаются в болото. Если бы приехала, поговорили бы, а писать лень.

Господь тебя храни. Обнимаю.

Твоя В.»

VI

1935-й год в нашей с Верой жизни был отмечен «событием», для нас значительным, внесшим в скромное эмигрантское бытие наше оживление и освежение.

В 1933 и 34 гг. скончались в Москве родители Веры — Алексей Вас. и Елена Дм. Орешниковы. Вера получила тогда очень много «соболезнований». Ответила благодарностью в газ. «Возрождение». Случайно ее ответ попал в дальней Финляндии

---

[1] Фондаминская, жена Ильи Исидоровича Ф-го.

[2] Загадочная фраза. Печатался в «Совр. зап.». Намек на статью о Гоголе? Из-за нее вышла размолвка с «С. з.». Но статья все же была напечатана, правда, позже. И это не «большая вещь» (о «Переписке с друзьями»).

в руки Нины Геннадиевны Кауше, дальней родственницы Веры, некогда, девочкой еще, жившей в доме Орешниковых в Москве,— кажется, она была сиротой и росла вместе с Верой и ее сестрами. У ней осталось хорошее воспоминание о том времени и об Орешниковых. Прошли годы, революция, эмиграция — Вера и Нина совсем потеряли друг друга из виду, но благодаря попавшему ей в руки «Возрождению» Нина узнала о Вере и пригласила нас к себе летом в Финляндию — она была уже замужем за состоятельным немолодым человеком, жили они в Колломяках на собственной вилле. Пребывание там ничего нам не стоило, все расходы взяла на себя Нина (своими силами мы никак не могли бы осуществить предприятия такого).

Оно оказалось в высшей степени удачным. Огромная перемена впечатлений, очень милые и дружественные хозяева, поездка из Колломяк на Валаам, давшая мне возможность написать книжку о Валаамском монастыре и замечательном острове на Ладожском озере, где он стоит,— все это редкостная удача, о которой через тридцать лет вспоминаешь как о посланной Милости и вечно благодаришь в душе за нее.

Начинается этот 1935 год с записей Веры печальных, но по другой линии.

Суббота. 24 февр. 1935.

«Дорогой Верун, прости, что не писала, но у нас всякие горести большие. Колю Бруни арестовали, пишут: «Коля серьезно заболел, вряд ли выкрутится». Арестовали его 16 декабря. Анечка[1] с 6-ю детьми живет в сарае. У нее аппендикс и почка больная.

Еще горесть. У Нюшеньки туберкулез. Она уже 6 недель в больнице Бруссэ. Я к ней хожу через день, она счастлива, что ее все балуют. Удивительное существо. Кротость и смирение. Через 3 недели Боря читает лекцию. Скажи Яну, что я не успела 20 фр. сдачу отдать, за такси. Он так скоро уехал, что я не смогла это сделать. Как здоровье его? Как Л. Ф.? Галина?

Летом мы, Бог даст, поедем в Финляндию. Нас зовут друзья наши. Писать лень; как-нибудь напишу, как странно переплетается прошлое с настоящим. 40 лет не виделись, а теперь переписываемся, будто не разлучались. Прости за письмо такое. Как Митя? Сохрани Тебя и Твоих Господь. П. А. все так же страдает, а Тэффи вместе с ним.

---

[1] Племянница Веры, дочь старшей сестры, Татьяны. «Коля» — муж, поэт, авиатор, священник. Погиб на Севере в концлагере.

Обнимаю Вас всех крепко, а Тебя особо, моя хорошая. Напиши мне скорее. Лично нам с Борухом хорошо, а кругом страшно.

Твоя В.

Боря целует тебя и Яна нежно, а молодым шлет привет дружеский».

7/20 июня 1935 г.

«Милый Верун, пишу тебе при открытом окне. Жарко. Сейчас 10 час. вечера. Только что ушел Шмелев, на минутку зашел, а Боря пошел к одному господину узнавать о пароходе в Финляндию. Визы, паспорта есть. В воскресенье бридж, и вот тогда решится — поедем или нет[1].

Живем мы, как всегда. Наташа приехала. Очень поправилась. Загорелая, пополнела, и Андрей тоже. Видимся каждый день с ней. Пока остаются в Париже. Бальмонт неважен. Все еще в лечебнице. Была у него Дагмара (потихоньку от Елены) и говорит, что удручающее впечатление производит. В страшном возбуждении. Похудел! Но самое страшное, это Елена. Она всем говорит, что он здоров, и всячески старается, чтоб его оттуда взять. Сама совершенно сумасшедшая. Видела его 10 минут один раз только. Ее стараются к нему не пускать. Пав. Андр. все то же. Тэффи тоже утомлена, но, как всегда, бодрится и при нем неотлучно. Я к ним захожу часто. Нюшеньку никак не удается в санаторию поместить. Все видит плохо. Недавно получила Нюшенька письмо от Кати Бальмонт из Москвы. Кошмар! Бедную Анечку из Москвы с детьми выселяют. Верун милый, ты мне писала о Мите. Как его теперь здоровье? Как твое сердце? Что Ян? Борюшка работает, чувствует себя довольно хорошо. «Панкриноль» ему очень помог.

Похоронили Амалию Осиповну[2]. В день похорон была панихида у Матери Марии[3]. Служил о. Сергий Булгаков, но ненастоящую панихиду, т. к. всегда она была близка к христианству, но некрещеная. Бедный Илья Исидорович, Влад. Мих.[4] очень страдают. Мне было очень тяжело на этой службе[5]. Каждый вечер к нему все ходят. Я с Бор. были два раза, и в эти вечера их как раз не было дома.

---

[1] Платить за билеты надо было здесь. Для этого и устраивался «бридж» в нашу пользу. Не помню точно где. Кажется, под Парижем, на даче у сочувственного мецената

[2] Жена И. И. Фондаминского.

[3] Скобцовой, в церкви на Рю Люрмель.

[4] Зензинов, давний друг Фондаминских.

[5] Служба началась очень странная и невразумительная — ни то ни се.

Ну, вот и все, все наши новости. Прочла «Любовь к шестерым» — хохотала до слез, похабщина необычайная!!!

Борюшка всех Вас целует. Он сейчас вернулся. Если будут деньги, то поедем числа 3-го июля!

Завтра 13 лет исполнится, как мы выехали из Москвы. Здесь тяга на СССР. Кое-кто из знакомых уезжает. Напр., жена Айхенвальда (он скончался в Берлине, раньше.— *Б. З.*), ты ее, кажется, знаешь. Асланов уехал, и в таком роде.

Обнимаю Вас всех. Верун милый, напиши перед отъездом.

Твоя В.»

Из Финляндии. Лето 1935 г. (Начала письма нет.)

«<...>От Наташи веселые письма, она у Оболенских в пансионе Ла Фавьер. Там и Цветаевы. Бедный Бальмонт все еще болен. Из Парижа ужасно грустные письма от всех. Обнимаю.

Твоя В.

Напиши: Вилла Поммер, Колломяки. Финляндия.

Против нас Кронштадт. Были два раза у границы. Солдат нам закричал: «Весело Вам?» Мы ответили: «Очень!» «Он нам нос показал, а я перекрестилась несколько раз. Очень все странно и тяжко, что так близко Россия, а попасть нельзя. Но люди здесь очень, очень свои. Вообще Россию чувствуешь, прежнюю. Теперь уже как-то привыкла, что так все близко, а первое время странно было».

2 августа 1935. (Открытка.)

«Моя дорогая! 3-й день на Валааме — нет у меня сил все выразить. Все как в сказке. От «переживания» ходим как оголтелые. Б. доволен, тихо улыбается. Познакомились с дивными старцами схимонахами. Красота! Солнце сейчас. Ездили с Отцом Игуменом на моторной лодке к схимникам. Верун! Еще раз послал нам Бог видеть чудо Земли Валаамской. Нина[1] прелестна. Такой широты и доброты я не видела. Она нас заласкала. Прекрасный человек. Борю она полюбила ужасно и как человека. Целуй от нас Яна крепко, крепко. Господь Храни.

Твоя В.

М-м Кауше, Колломяки, Финляндия».

8/22 августа 1935.

«<...>Верун, 10 июля мы сели в Антверпене на пароход «Балтик», ехали $4^1/_2$ суток. Погода была дивная. <...> Трудно тебе рассказать, как к нам внимательна Нина. Мы друг друга тотчас узнали... и как будто не расставались. Живем мы в

---

[1] Нина Кауше, у кот. мы жили в Колломяках.

пансионе (у нее больной муж, потому не у них). Две большие комнаты, балкон, весь в цветах, 2-й этаж. Окна кабинета Борина выходят в сад, вернее парк, с цветами, яблонями, и дальше пляж. А спальня в рощу. Когда приехали, был сенокос. Поразили нас ароматы, иначе нельзя назвать воздух здесь. Все пропитано смолой от сосен. Цветы, трава, все пахнет изумительно. Нина каждый день приносит букет роз, и каких! У нас комнаты как бы надушены. Теперь еще душистый горошек. Приносит букеты и других цветов. Что здесь трогает, это внимание и необыкновенная ласковость к Б. Уж отвыкли в Париже. Б. читал лекцию в Териоках, рассказы в Райвола. Народу было масса. Это все, если Бог пошлет увидеться, расскажу при свидании. Прибавлю одно — настроена молодежь националистически, не скулят, как в Париже, и не колеблются.

Верун, я как бы оттягивала описание Валаама! Я не смогу написать то, что я чувствовала. Минутами казалось, что не хватит дыхания от восторга. Вот опишу тебе одну ночь. Но я не опишу, а намекну какой-то слабой тенью. Из Ревеля муж, жена, 13-летн. сын, Борюшка и я — в 2 часа ночи вышли из гостиницы. Было темно, хотя звезды погасли. Взяли лодку; Боря и господин Тот[1] гребли, а мы трое сидели на корме. Красота была изумительная. Ехали почти час, мимо островков, скиты, часовни. Начало светать. Доехали, привязали лодку и пошли в церковку имени Коневской Божией Матери, там нас ждал схимник, это было уже три часа. Исповедовал. Это при свидании тебе расскажу. Вышла из церкви в слезах, села на скамейку, пока другие исповедовались, и увидела, что пруд был весь розовый и отделялся туман фантастическими фигурами. Обедню служил о. Федор, который нас исповедовал, а все остальное — за диакона, пел другой схимник, о. Николай. Вера! Ты себе представить не можешь, что это за Человек! Это дух с огромным серыми глазами, невесомый. Трогательный. Ему 71 год. Я описывать не буду — расскажу. Мне хотелось пасть на колени и... ну, да, впрочем. Мне кажется, он сразу познал нас. Сколько любви, сколько облегчения дала мне эта ночь. В церкви был еще лишь один монах и больше никого. Когда кончилась Литургия, о. Николай позвал к себе чай пить. Его хижина на берегу пруда. Тишина. Красота. Он совсем один живет уж 15 лет и зиму и лето. Я тебе пишу и плачу от умиления. Разговоры тоже писать не буду — расскажу, если Бог приведет увидеться. Во мне говорит не истерия (верно, Иван скажет: «у, истеричка!» Целуй его от меня). Наоборот, никогда так покойно и хорошо не чувствовала себя.

---

[1] Янсон, учитель. Из Ревеля. Позже тоже написал книгу о Валааме.

Возвращались в шестом часу, уже солнце. Такая голубизна неба и тишина. Вода как зеркало, не знаешь, где камыши кончаются, в воде ли, на воздухе ли. Проезжали мостик со сводом, казалось, въехали в кольцо, так было тихо и отражалось в зеркале. Приехали прямо к пострижению бывшего игумена, постригали в схимники... Это тоже изумительно. Пробыли мы там 9 дней, приобрели много друзей, монахов. У игумена пили чай (3 часа сидели), не отпускал. У о. наместника тоже пили чай. Все они очень интересные и образованные. Верун! как Вы? Напиши мне, очень прошу. Где Зуров? Галина? Уехала ли Марга? Пишет ли Ян? Всем шлем привет. Батюшка[1] очень доволен, что мы здесь. Нина нас не пускает до конца сентября. Она вообще просит, чтоб подольше быть с ней.

Никогда такого отношения мы не видели. Она буквально все делает, чтоб нам хорошо было. Боря будет читать в Выборге и Гельсингфорсе. Много приезжают с Б. знакомиться. Поэты, писатели (молодые) и вообще читатели.

Душенька, как Митя? Где Кульманы? Наташенька на юге с Андреем».

VII

Мы возвратились из Финляндии осенью 35-го года. Следующий, 36-й, был довольно бурным для Западной Европы: в Испании началась гражданская война, во Франции — кипение революционное, до войны, однако, не дошедшее, в Германии укрепился национал-социализм Гитлера. В письмах Веры этого времени есть отголоски французских событий — она их воспринимала сквозь трагический русский опыт.

Эта часть переписки ее как бы завершительная: с 1939 года война прервала ее (можно было писать из Парижа при немцах только открытки на юг с отдельными фразами). А позже Бунины и вообще переехали в Париж, письма прекратились.

Четверг. 1936 г. Канун Николина дня (8/22 мая).

«Дорогой Верун мой! Очень меня волнует здоровье Мити[2]. Бедный, бедный, действительно Иов Многострадальный. В понедельник мы похоронили Грифа[3] — рак в мозгу. Было ужасно

---

[1] Так она меня называла.

[2] Брат Веры Буниной в Москве

[3] Сергей Алексеевич Соколов, наш давний приятель еще по Москве. Поэт («Сергей Кречетов»), глава книгоизд. «Гриф», где некогда вышли «Стихи о Прекрасной Даме» Блока Известный журнал «Перевал» — первые годы века.

грустно, плакали все очень. Он у нас не так давно был. Страдал очень. Умер в Питье, без сознания. Ему сделали операцию, т. е. вскрыли черепную коробку.

Вообще все грустно. Мне все омердели, все оборонцы, социалисты, идеалисты, ну их всех... Вчера была в церкви на Отдании Пасхи. Проревелась, и лучше всегда. Одно утешение. А сейчас пришла от Всенощной.

Бальмонт совсем плох. Стал тих, его развязали. А был связан месяц, и руки, и даже одно время ноги. Нюшенька, «Ангел вопияше», на 6 фр. кормит Елену[1], Мирру[2] и себя. В ней больше нет тела. Одни огромные фонари — это глаза. С Тэффи редко вижусь, очень я устала и хожу только туда, где я действительно нужна. Тэффи больна, но не лежит. У нее почки не в порядке.

Вера, странно сказать — я люблю жизнь и веселюсь, но для меня мир сейчас как-то зыблется, нереален, я больше с теми, кто ушел. У меня какое-то странное ощущение — передам, когда увидимся с тобой. Но мне очень хорошо, так никогда не было. Мне ничего не надо материального, т. е. надо необходимое. Я люблю многое — но, пойми, самое важное со мной. Борю я очень, очень люблю.

Верун! Обнимаю тебя. Напиши о Мите,— милый, бедный Митя!! Храни Вас Господь. Целуй Яна и Леон. Фед. Его последний очерк отличный. Всем нравится. Борин «Валаам» выйдет в Ревеле.

Поцелуй Отпечаток губ мой тебе».

Воскресенье, 5 ч. вечера.
Грасс (вероятно, июнь), 1936 г.

«Верун, родной! Весь первый день думали, как едешь. Я говорила: наша лягушка-путешественница[3] едет там-то, сейчас же Зуров говорил: нет еще! Не доехала. Иван очень тебя жалел, что в жару ты едешь, да еще не спавши.

Живем мы чудесно. Я давно, давно не видела Ивана таким, как он сейчас. С Борей много они говорят о литературе и еще о разных бывших темах. Иван очень нежен, работает целые дни. В пятницу вечером вчетвером ходили гулять. Иван очень, очень мил, и мы рады, что он так работает и так чувствует

---

[1] Тогдашняя жена Бальмонта.

[2] Дочь Елены.

[3] Мы гостили в Грассе у Буниных, а Вера уезжала в Париж — не помню зачем.

себя хорошо. Много говорили о тебе, урывками. Он беспокоится, что ты утомишься. Зуров весел, тоже пишет. Сейчас пойдем втроем в Грасс, опускать письма.

Верун! Дорогой! У Вас нам чудесно. Вчера я была одна на вилле, мне было как в волшебном сонном царстве. Чудесно.

Жозеф[1] прекрасно готовит. По утрам я беру солнечные ванны.

Как Галина? Поцелуй ее от Бори и от меня. Боря в ее комнате поселился. Он себя хорошо чувствует. Читает Иова, а я Книгу Странника. В Канн Мочульский, его видел Леня. Мочульский сказал, что приедет на «Бельведер». Господь Вас храни обеих. Узнай, если сможешь, о сербах — дают ли? Боря целует крепко. Леня тоже. Целую, *В.*»

Среда. 1936 г. (лето, июль).

«Дорогой Верун! Сейчас, в 4 ч. дня, получили экспресс от тебя. 1. Ян сказал, что денег тебе пошлет. Оставайся до вторника. 2. Письмо от Мити он тебе послал. 3. Мы живем отлично. Давно так себя оба не чувствовали. Иван в очень хорошем виде. С Борей говорят много о его книге. Он работает целые дни. Вчера ездил в Канн постричься и быстро вернулся. Вечером ходили вчетвером гулять. Леня поехал сегодня в Канн. Я ему сказала: гуляй, сынку, гуляй! Он тоже много пишет. Сегодня получил от Руднева письмо, тот просит ему дать в «Соврем. записки» кусок из романа или еще что-нибудь. (Я хорошо не поняла.) Борюшка тоже пишет. Все мы живем дружно и весело. Вчера Яну вечером помогли вымыть голову. Иногда он нас смешит до слез, так хохочем. 4. Платье купи, если оно рябенькое, не крупно, и если стоит 35 фр. Одно мне жаль, что ты не будешь в Борин юбилей с нами, это будет как раз 15/28 июля (во вторник[2]). Конечно, для этого не приезжай, а поживи с Галей. Ваня сказал: пусть поживет, я ей деньги дошлю. За квартиру послал уже тебе.

Верун, у меня к тебе просьба: сходи к Тэффи, она очень плохо себя чувствует (этого, конечно, ей не говори). Мне ее бесконечно жаль. И физически она никуда. Все время хворает.

Мужики волнуются газетами...[3] читают; бегаем вечером за последними известиями. Ян ждет всегда очень известий от тебя и рассказывает нам, он беспокоится, что ты устаешь очень. Ну, Верун, храни Вас Господь. Ты забыла иконку с Валаама для

---

[1] Повар, провансалец

[2] 35 лет тому назад был напечатан мой первый рассказ в москов. газ. «Курьер».

[3] Гражданская война в Испании — начало ее.

Гали — посылаю. Борина кн. «Валаам» послана из Эстонии 17 июня (500 экз.) и застряла[1].

Если не забудешь, то попроси Тэффи, чтоб она сказала Джурджиеву (в «Возрожд.»), чтоб он узнал в таможне, т. к. склад этой книги будет в «Возрождении». Я ей писала 2 раза, она ничего не отвечает про это. Прости, что затрудняю. Если забудешь, то ничего, я еще раз напишу.

Кормит нас Жозеф отлично, я не велела ему брать каждый день рыбы для меня. Здесь такая масса овощей! Леня дает нам укропу со своего огорода. Здесь чудесно! Погода дивная. Жары нет. Много солнца. Вчера вечером Иван нам рассказывал, как Вы в Софии жили и как Вас обокрали.

Все тебе пишу, что и как! Боря и я целуем Тебя и Галю. Храни Вас Царица Небесная.

Твоя В.

Ужасно душа скорбит об Иване Серг[2]. Бедный, бедный! Посылаю тебе, вместе с деньгами Ивана,— 40 фр., на платье 35 фр., а 5 выпейте кофейку за мое здоровье. Узнала ли насчет сербов? Если увидишь Алданова — спроси, он, наверное, знает. Про Бальмонта, про Нюшеньку что слышно?»

Среда (лето, Париж 1936).

«<...>Здесь ужасно: вчера видели шутовские похороны. Гроб, там лежал «буржуй» — не то Киапп[3], не то Делларок[4], кукла в маске. Впереди шел (переодетый) полицейский, священник несли крест огромный. Позади ехала повозка с быком (Испания) и «Россия», б... одетая в «русский костюм», и толпа, но что за рожи. Все с кулаками.

Через четверть часа другая процессия. Повозка в красных флагах, и уже 3 б... А рядом шагал опять пролетариат! Но какой!

Пока тебе пишу, опять процессия, синдикат какой-то! Но без масок. Кажут кулак и орут: «Ура!» Вот тебе и начало: великой, бескровной! А наши мироточивые закатывают глаза и говорят: все прекрасно! Верун милый! Очень хочется сейчас к вам, но сейчас очень соскучилась по Наташе, три месяца не виделись, а их скоро могут послать куда-нибудь[5]. Мы думаем

---

[1] Была напечатана в Ревеле.

[2] Шмелев. У него только что скончалась жена, Ольга Александровна.

[3] Префект Парижа, правый

[4] Глава националист. партии, типа фашистов.

[5] Андрей Соллогуб, муж Наташи, служил тогда в инспекции Барклейс Банк'а, его посылали ревизовать отделения банка в провинции (Франция).

поехать в пятницу, выедем в 8 ч. утра и приедем в 12 ч. в Монте-Карло.

Может быть, в Ницце устроим свидание. О многом нужно поговорить. И о панихиде! Я вообще отказываюсь многое понимать! «Все перевернулось в доме Облонских», а теперь уже не дом Облонских, а мир перевернулся. Фальшь, игра в большие вопросы.

Чувствуем себя очень одиноко, но, слава Богу, мы вместе. Батюшка мой правильный и чувствует все как-то кожей и всегда правильно. Это меня поддерживает.

Господь храни Вас. Целуем крепко Вас всех троих. Люблю, и еще раз спасибо.

Твоя В...»

Пятница. 1936 (лето). Париж.

«Дорогой Верун, что ты ничего не пишешь? О Мите? Все думаю о нем.

Сейчас здесь мердово! Забастовки. Везде красные тряпки. Пролетариат ходит, кулак кажет и приговаривает: «Les Soviets partout»*. Поет звонко «Интернационал». Ждали общей забастовки. Народ бросился за свечами, сахаром, спиртовками. Но сегодня Блюм объявил, что забастовка кончилась. Газеты вышли: «Юм», «Попюлэр» и «Аксьон Франсэз». А другие газеты, и наши две тоже, не вышли. Очень противно все.

Дорогой мой, буду ждать от тебя письма. Жаль, что Ивана почти не видели. Очень жаль. Нам мало осталось, у меня чувство, что хочется ближе быть с остатками своих друзей. Писать лень. Завтра годовщина Амалии Осиповны. Будет панихида. Ах, как много надо сказать тебе. Господь храни Вас. Целую тебя, Яна, Леню. Боря тоже целует. Я хочу спать... Возьму ванну и лягу. Обнимаю. Пиши тотчас же.

Твоя В.»

Апрель 3/21 марта 1937 г.

«Дорогая моя Веруня, поздравляю тебя с дорогой именинницей. Буду вспоминать о прошлом.

Спасибо тебе за письмо. Напиши мне, как ты себя чувствуешь душевно. Осталось ли то, что в тебе было на выносе Креста? Во мне осталось: «Да будет Воля Твоя». Так молюсь всегда.

От Наташеньки веселые письма, и фотогр. карточки присылает. Батюшка работает. Всех Вас троих целует, особенно тебя. Мы мечтаем летом ехать на юг, но это все проблематично.

---

* Советы повсюду *(фр.)*.

На Пасху нас зовут Ельяшевич, в первый день Пасхи поедем, если будет хорошая погода. Я должна полежать в тишине, дня три тому назад у меня ночью был сердечный припадок. Заснула и вдруг проснулась от диких болей в груди. Позвала Батюшку, он мне накапал валерианок и положил горчич. на грудь. Через 3 минуты все прошло. Только рука еще болит. Была у Серова[1] — он мне дал капли и сказал то же, что и все доктора, кот. смотрели: «Наполеоновский пульс и нервность». Все прошло.

Бальмонт уже совсем гибнет. У него мания преследования, и он ничего не ест. Связаны руки и ноги. Елена ходит как сомнамбула, а Нюшенька кормит Елену и Мирру на 6 фр. в день. Сегодня пришла газета из Милана, «Корриере делла Сера», большая статья о Боре и о Мережковском. Помянула первым Батюшку потому, что о нем гораздо больше написано. Мы почти нигде не бываем, чем очень «гневаем» Тэффи и других. Надо ходить и крыть друг друга, как хочешь, вот это жизнь. Скажи Леониду Федор.[2], что мы получили письмо с Валаама, все ему кланяются с любовью. Как поживает Галя? Что она пишет о немцах?[3] Будешь писать, от нас кланяйся. Мне хочется спать.

Господи храни Вас, дорогие. Поцелуй Яна, дорогого братика. Недавно у нас обедали Фондаминский и Влад. Мих.[4]. Когда-нибудь расскажу наш разговор, а сейчас лень писать: интересного мало.

Целуй — это
мои губы.

Верун! Дорогой! Пиши. Завтра 4 апреля. 3 года, как Папа умер».

Это — последнее из сохранившихся писем Веры Зайцевой давней подруге ее — Вере Буниной. Почему нет больше за 37-й год и ни одного за 38-й — не знаю. В 1939-м началась война, все прервавшая. Бунины осели безвыездно в Грассе, мы безвыездно в Париже. Переписка вообще стала трудной, а когда немцы в 1940 году заняли Париж, переписываться можно было только открытками с заранее напечатанным по-французски текс-

---

[1] С. М. Серов, доктор, наш друг.

[2] Л. Ф. Зуров. В 1935 г. он тоже был на Валааме, но не одновременно с нами. Той же осенью мы встретились с ним в Финляндии на даче Нобеля, где вместе провели два дня.

[3] Галина Ник. Кузнецова в это время уже не жила у Буниных, а перебралась в Германию.

[4] Зензинов.

том с пропусками — туда можно было вставить два-три слова: «здоров», «болен», «скончался». Несколько таких открыток уцелели, одна из них вызывает улыбку, и сквозь лаконизм ее мелькает облик моей Веры, и в эти тяжкие годы не утратившей всегдашнего своего brio*.

«La familie ...... va bien»**. В свободный промежуток вставила она: Jisn...— такое словечко, что немцы понять не могли, а по-русски выходит слишком живописно.

По окончании войны Бунины вернулись в Париж, мы тоже жили в Париже, и переписки уже никакой не было.

1968

---

* живость, жар, блеск исполнения *(фр)*.

** Семья ... живет хорошо *(фр.)*.

ПРИМЕЧАНИЯ

В шестом томе Собрания сочинений Б. К. Зайцева публикуются его мемуарные книги «Москва» (1939), «Далекое» (1965) и «Мои современники» (1988; составлена и издана в Лондоне дочерью писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб с включением новых очерков). В том также включены две малоизвестные в России автобиографические повести в письмах — «Повесть о Вере» (1967) и «Другая Вера» (1968), документальной основой которых стала многолетняя дружеская переписка жен писателей Веры Алексеевны Зайцевой-Орешниковой и Веры Николаевны Буниной-Муромцевой.

МОСКВА

Первая публикация из будущей книги воспоминаний «Москва» относится к июню 1917 г.: в еженедельнике «Народоправство» (№ 1—2) Зайцев напечатал вариант главы «Мы, военные...». Планомерная публикация очерковых глав мемуаров началась 23 февраля 1928 г. в газете «Возрождение» и продолжалась до 24 сентября 1937 г. («Эпилог»). Первое книжное издание — Париж: Русские записки, 1939. Затем книга переиздавалась еще дважды — Мюнхен: ЦОПЭ, 1960 и Мюнхен: Echo-Press, 1973. Печ. по второму (прижизненному) изд. Книга открывалась издательским обращением к читателям:

«Издательство ЦОПЭ, переиздавая книгу Б. К. Зайцева «Москва», хочет ознакомить современного читателя с той Москвой, которая по своему духовному и внешнему облику так далека от теперешней столицы «советского государства».

Борис Константинович Зайцев дает в этой книге ряд портретов и зарисовок, воскрешающих утонувшие годы и ушедших людей той тревожно-замечательной эпохи, которая предшествовала войне и революции. Но и отклики войны, и февральские дни семнадцатого года,

и первые «октябрьские» годы — до выезда писателя за границу — отражены в книге. Отражены живо и умиротворенно.

«Если слова автора дадут Москву почувствовать (а может быть, и полюбить), то и хорошо, цель достигнута»,— говорит писатель. Издательство ЦОПЭ к этому хочет прибавить, что авторское «если» в данном случае — излишне. Слова автора дадут не только Москву почувствовать и полюбить, но через Москву — и всю нашу РОССИЮ».

I

Памяти Чехова

Впервые — в органе русской национальной мысли газете «Возрождение». Париж, 1931. 15 февр. № 2084. (Здесь и далее в примечаниях большинство сведений о первых журнально-газетных публикациях взяты — с уточнениями — из кн.: Борис Константинович Зайцев. Библиография / Сост. Рене Герра; Под ред. Т. А. Осоргиной. Париж: Institut D'Etudes Slaves, 1982).

С. 13. *Отец... назначен в Москву управлять огромным заводом.*— Отец писателя Константин Николаевич Зайцев (1849—1919) управлял крупнейшим в Москве металлургическим заводом Гужона (ныне «Серп и молот») до октябрьского переворота 1917 г.

...У Зимина в кассе можно купить билет на начинающего Шаляпина...— Очевидно, имеется в виду Московская частная русская опера С. И. Мамонтова, на сцене которой молодой Ф. И. Шаляпин выступал триумфально с 13 мая 1896 г. Оперный театр С. И. Зимина возник позднее, в 1904 г. Шаляпин, уже давно не начинающий, а всемирно известный, выступал в нем в 1910 г.

С. 18. *...встретил я его на «Среде» у Телешова...*— «Среда» («Московская литературная среда») — кружок писателей-реалистов, основанный Н. Д. Телешовым. С 1899 по 1916 г. «Среда» была одним из авторитетных литературных центров столицы. После 1917 г. попытки возобновить собрания «Среды» не удались. А. П. Чехов бывал на «Средах» нечасто, но очень дорожил дружеством с кружковцами. Последняя его встреча с ними состоялась незадолго до смерти — в 1904 г., когда он приехал из Ялты в Москву ставить свою последнюю пьесу «Вишневый сад».

Начало Художественного театра

Возрождение. Париж, 1932. 27 нояб. № 2735.

С. 19. *...помещался там целый театр «Эрмитаж».*— В 1894 г. сад в Каретном ряду арендовал Я. В. Щукин и построил там театр

«Эрмитаж» для своей опереточной труппы. На этой же сцене давал спектакли МХАТ в 1898—1901 гг.

С. 19. ..*разговор тотчас перепрыгнул... на Катуара...*— Григорий Львович Катуар (1861—1926) — композитор и музыковед; с 1917 г.— профессор Московской консерватории.

С. 20. *«Царь Федор Иоаннович»* — трагедия А. К. Толстого (1817—1875), ставшая первым спектаклем Московского Художественного театра, основанного К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Премьера состоялась 14 октября 1898 г. Далее Зайцев цитирует книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (гл. «Перед открытием Московского Художественного театра»). «Успех «Царя Федора»,— вспоминал Станиславский (в неизданных записках),— был так велик, что сравнительно скоро пришлось праздновать его сотое представление. Торжество, помпа, восторженные статьи, много ценных подношений, адресов, шумные овации свидетельствовали о том, что театр в известной части прессы и зрителей стал любим и популярен».

...не то, к чему мы привыкли... у Корша.— Русский драматический театр Ф. А. Корша (основан в 1882 г., закрыт в 1932 г.) был крупнейшим среди частных театров не только в Москве, но и в России. В его спектаклях играли многие выдающиеся актеры (М. М. Климов, А. П. Кторов, Л. М. Леонидов, И. М. Москвин, П. Н. Орленев, А. А. Остужев). В 1915 г. у Корша была осуществлена постановка пьесы Зайцева «Усадьба Ланиных»; она шла здесь более пятидесяти раз и, по словам автора, «к удивлению моему, с большим успехом».

С. 23. ...*не кровь, а клюквенный сок блоковского «Балаганчика».*— Паяц в пьесе «Балаганчик», поставленной в 1906 г. В. Э. Мейерхольдом в Театре В. Ф. Комиссаржевской, восклицает: «Помогите! Истекаю клюквенным соком!»

Леонид Андреев

Коллективный сб. «Книга о Леониде Андрееве. Воспоминания». Берлин; Пб.; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1922; см. также: Молодость Леонида Андреева // Возрождение. Париж, 1929. 24 февр. № 1362; Леонид Андреев в зрелые годы // Там же. 1929. 13 марта. № 1380. Газетные варианты очерка опубликованы Л. Назаровой и Л. Афониным в «Андреевском сборнике. Исследования и материалы» (Курск, 1975). Л. Андреев стал одним из персонажей романа «Юность» в автобиографической тетралогии Зайцева «Путешествие Глеба» (он выведен в образе молодого писателя Андрея Ивановича Александрова). Этот факт Зайцев подтвердил в письме к Л. Афонину, опубликованном в «Андреевском сборнике»: «Да, насчет Александрова автобиографично. И, конечно, это Леонид Андреев. Он

был тогда очень красив, приветлив, добр с начинающими — облегчил мне чрезвычайно первые, обычно трудные шаги в литературе».

С. 26. *...его не без основания ставили рядом с Эдгаром По...*— См. рецензию Г. И. Чулкова «Третий «Сборник товарищества «Знание» за 1904 г.» (Вопросы жизни. 1905. № 1), в которой говорится: «Одним из наиболее талантливых подражателей Эдгара По нужно признать Леонида Андреева». В этом же номере, посвященном памяти А. П. Чехова, была опубликована повесть Андреева о безумии войны «Красный смех» (она и называлась сперва «Война»), над которой он работал в состоянии на грани нервного срыва. «Когда он писал этот «Красный смех»,— вспоминает Н. Д. Телешов,— то по ночам его самого трепала лихорадка, он приходил в такое нервное состояние, что боялся быть один в комнате. И его верный друг, Александра Михайловна (Виельгорская.— *Т. П.*), молча просиживала у него в кабинете целые ночи без сна». Повесть такое же сильное впечатление произвела и на читателей. «Читая «Красный смех» Андреева,— делился Блок с С. М. Соловьевым,— захотел пойти к нему и спросить, когда нас всех перережут. Близился к сумасшествию...»

С. 31. *...«судьба загадочна, слава недостоверна»...*— Афоризм из второй книги «Размышлений» Марка Аврелия.

Шла его пьеса «Тот, кто получает пощечины».— Эта драма Андреева впервые была поставлена в 1915 г. на двух сценах: 27 октября в Московском драматическом театре в саду «Эрмитаж» и 27 ноября в Александринском театре в Петрограде.

С. 32. *Он скончался в сентябре 1919 г.*— Андреев умер в Финляндии и был похоронен в Ваммельсу; в 1956 г. перезахоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде.

Сергей Глаголь

Печ. по кн.: Зайцев Б. Москва. Париж: Русские записки, 1939.

С. 33. *В том же сборнике... был и его рассказ.*— В сборнике «Книга рассказов и стихотворений», изданного для юношества участниками кружка «Среда» (М., 1902), опубликованы три рассказа С. Глаголя («Васька», «Два педагога», «Война») и один Зайцева («Волки»). Впервые имя Зайцева соседствовало с писателями уже известными — Буниным, Горьким, Куприным, Андреевым, Маминым-Сибиряком.

Литературный Кружок

Возрождение. 1931. 13 июня. № 2154.

С. 36. *Николай Николаевич Баженов... водрузил клубно-литератур-*

ное знамя над Москвой — Основанный Баженовым (см. Указатель имен) Литературно-художественный кружок впервые собрался в октябре 1899 г. на Кисловке в доме Игнатьева.

С. 36. *В «Скорпионе» Поляков... выпускал «Северные цветы»...* — «Скорпион» (1900—1916) — издательство символистов, основанное С. А. Поляковым (см. Указатель имен). Его издательство в 1900—1904 и 1911 гг. выпускало также альманах «Северные цветы» и главный орган символистов — журнал «Весы» (1904—1909), которым распоряжался В. Я. Брюсов.

«Homo sapiens» — кто из барышень не зачитывался этим романом? — «Homo sapiens» («Человек разумный») — роман польского писателя С. Пшибышевского, переведенный и изданный С. А. Поляковым в 1901 г.

А совсем юный Белый — «Золото в лазури» и «Симфонии». — «Золото в лазури» — первая книга стихов Андрея Белого (1904). В 1900—1908 гг. А. Белый написал ритмической прозой и издал повести «Северная симфония (1-я, героическая)», «Симфония (2-я, драматическая)», «Возврат (3-я симфония)» «Кубок метелей (4-я симфония)».

«Будем как солнце», «Только любовь», «Горящие здания» — сборники стихов К. Д. Бальмонта, упрочившие его славу выдающегося поэта Серебряного века (книги вышли в 1900 и 1903 гг.).

...«тише, тише совлекайте с древних идолов одежды». — Первая строка стихотворения без названия (из книги «Только любовь»).

С. 37. *Вот как описывает это летописец...* — Зайцев цитирует свой роман «Дальний край».

С. 38. *...художников «Голубой розы» или «Мира искусства», писателей «Знания» или «Шиповника»...* — «Голубая роза» — недолго существовавшее в 1907 г. художественное объединение, возникшее после одноименной выставки (организована в Москве журналом «Золотое руно»). В него входили такие крупные мастера, как Н. П. Крымов, П. В. Кузнецов, А. Т. Матвеев, Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян, С. Ю. Судейкин, А. В. Фонвизин и др. «Мир искусства» (1898/99—1904, 1910—1924) — самое значительное художественное объединение начала века, которое выпускало в 1898/99—1904 гг. литературно-художественный журнал писателей-символистов «Мир искусства». Культурно-просветительское издательство «Знание» (1898—1913) было основано на паях группой во главе с К. П. Пятницким (с 1902 г. его совладельцем стал М. Горький). «Шиповник» (1906—1922) — издательство, основанное художником-карикатуристом З. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом (первая книга «Шиповника» — «Рассказы» Зайцева). Издательство выпускало также одноименный альманах, в котором сотрудничали Зайцев и Л. Андреев.

С. 39. *Раз Андрей Белый с эстрады вызвал на дуэль литератора Тищенку...*— См. об этом эпизоде в очерке «Андрей Белый» в нашей книге.

В нижних комнатах... «Эстетика»...— Литературный, музыкальный и художественный кружок «Эстетика» собирался в 1907—1917 гг. под руководством В. Я. Брюсова.

С. 40. *С молодым еще (но уже академиком) Буниным...*— И. А. Бунин (ему в этот год исполнилось 39) был избран почетным академиком Российской Академии наук 1 ноября 1909 г. (см. подробно об этом в очерке Зайцева «Бунин увенчан»).

...издавал журнал (небольшой)...— Журнал «Известия Литературно-художественного кружка» выходил в 1913—1917 гг. (вып. 1—18).

«Зори»

Газ. «Последние новости». Париж, 1926. 9 дек. № 2087 (с подзаголовком «Из литературных воспоминаний»), а также: Возрождение. 1934. 13 мая. № 3266.

С. 42. *...Александр Диесперов... впоследствии автор тома о блаженном Иерониме...*— Исследование А. Диесперова «Блаженный Иероним и его век» издано в Москве в 1916 г.

С. 43. *...прислал мне А. Блок свое чудесное стихотворение...*— Имеется в виду стихотворение «Осенняя воля» («Выхожу я в путь, открытый взорам...»), напечатанное в сб. «Факелы» (СПб., 1905. Кн. 1).

С. 44. *В «Литературно-художественной неделе» Б. Грифцов ставил Блока выше Толстого, кажется, мы заодно разгромили и Репина...*— Б. Грифцов в статье «Москва, 17 сентября» заявил, что «Снежная маска» Блока является «более волнующим, более желанным событием литературной жизни, чем новые произведения Льва Толстого» (1907. 17 сент. № 1), а К. Миткевич в статье «К уходу Репина» утверждал, что «...как педагог, Репин скорее плох, чем хорош. Даром твердой инициативы он не наделен совершенно! (...) Вся суть в том, что громкое имя Репина, его всемирная известность служили прекрасной ширмой для прикрытия мертвого застоя, царящего в высшем художественном училище» (1907. 8 окт. № 4).

Молодость — Иван Бунин

Возрождение. 1934. 18 февр. № 3182.

С. 45. *Можно ошибиться в годе, когда встретились.*— Знакомство Бунина с Зайцевым состоялось зимой 1902/03 г.

С. 45. *...в передней профессора Р.*— Имеется в виду Федор Евгеньевич Рыбаков, психиатр, профессор Московского университета. «Любочка Р.» — его жена Любовь Ивановна Рыбакова, художница, сестра писателя Г. И. Чулкова, с которым Зайцев был в приятельских отношениях.

С. 47. *А время, обстановка как раз подталкивали писателя начинающего «запускать в небеса ананасом» (Белый).*— В кавычках — цитата из стихотворения А. Белого «На горах» (1903):

Голосил
Низким басом.
В небеса запустил
Ананасом.

...подарил мне в тот вечер... «Песнь о Гайавате»...— Поэма американского поэта Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855) была издана в переводе Бунина в 1898 г.

С. 48. *«И сладко жизни быстротечной...»* — Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Я помню время золотое...» (1836).

Недалеко и церковь Вознесения, где Пушкин венчался... Ныне разрушена.— Примечание автора (в сноске) ошибочно: церковь Большого Вознесения у Никитских ворот не разрушена, она сохранилась до наших дней и является действующим храмом. Пушкин венчался здесь с Н. Н. Гончаровой 18 февраля 1831 г.

С. 49. *«Острый Сириус блистал»...*— Из стихотворения «Сапсан» (1905).

«Старых предков я наследье чую...» — Такого стихотворения в собраниях сочинений Бунина не обнаружено.

«Деревню» читал автор несколько вечеров...— Повесть «Деревня» (1910) — один из шедевров Бунина.

Несколько позже — 25-летний его юбилей...— 25-летие литературной деятельности Бунина общественность России отметила 27 октября 1912 г.

Юлий Бунин

Возрождение. 1928. 11 марта. № 1013.

С. 50. *Юлий Алексеевич... был редактором журнала «Вестник воспитания»...*— Владельцем-издателем журнала и номинальным редактором был Н. Ф. Михайлов, а фактически его редактировал Ю. А. Бунин.

С. 52. *...замечательная «Переписка из двух углов»* ...— Эпистоляр-

ная книга философской публицистики «Переписка из двух углов. О некоторых аспектах общечеловеческой культуры» (Пб.: Алконост, 1921) — это двенадцать писем двух выдающихся представителей Серебряного века Вяч. И. Иванова и М. О. Гершензона, которые они написали друг другу летом 1920 г., проживая в одной комнате московской здравницы «для работников науки и литературы».

II
«Дело богемы»

Возрождение. 1928. 17 июня. № 1111.

С. 54. *«Утром нежность, сверхземное успокоение Ассизи открылись ..»* — Зайцев неточно цитирует свой очерк «Ассизи» из книги «Италия» (см. в нашем собрании т. 3. Звезда над Булонью. С. 534).

Поэт В. С., очень близкий мне тогда человек.— Имеется в виду В. С. Стражев (см. Указатель имен).

.. Бурцев раскрыл ...грандиозную провокацию: ее душой была Ольга Путята.— О «Деле Путяты» В. Л. Бурцев рассказал в книге «В погоне за провокаторами» (М.; Л., 1928). А вот что пишет А. Белый об этой авантюристке, устраивавшей благотворительные вечера в пользу большевиков: она «подчеркнуто всюду шныряла с видом томной модернистки, занятой собой; я ее видел: и в «Кружке», и у Зайцевых (в квартире последних она, кажется, временно жила); позднее обнаружилась ее истинная физиономия: и жене Зайцева пришлось ехать в Париж для дачи объяснений Бурцеву. О. Ф. Пуцято (Белый так пишет ее фамилию.— *Т. П.*) была уличена, оказавшись провокаторшей; Зайцевы были потрясены; дружить с провокаторшей — значит: и на себя бросить тень; Бурцев долго допрашивал В. А. Зайцеву; провокаторша выбрала себе недурной обсервационный пункт: в квартире Зайцева толпились писатели, считавшие себя левыми: и символисты, и полусимволисты, и бытовики. (...) Провал подпольной организации, произведенный Пуцято, был очень чувствительный; средь писателей толка Зайцева не на шутку переполошились; дело доходило и до третейских судов; но в Париже выяснилась непричастность зайцевской группы к преступлениям Пуцято. А были моменты, когда один глядел на другого, переживая ужас: не предатель ли перед ним...» (Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 245—246).

Флобер в Москве

Возрождение. 1930. 11 мая. № 1804.

С. 61. *Флобера вознес в «Вечных спутниках» Мережковский...*—

Очерк Мережковского «Флобер» (в сб. «Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы». Пб., 1897) произвел большое впечатление на Зайцева, увлекшегося Флобером.

С. 62. *Засел в Румянцевском музее...*— Румянцевский музей образован в Москве в 1862 г. на основе коллекций и библиотеки Николая Петровича Румянцева (1754—1826), министра иностранных дел. После ликвидации музея в 1925 г. его фонды были переданы в другие хранилища, а библиотека стала главной составной частью Государственной библиотеки СССР им. Ленина (ныне Российская государственная библиотека).

...описывать царицу Савскую..— О ней рассказывается в Библии, в Третьей книге Царств, гл. 10, ст. 17.

С. 63. *Прелестны его художнические бдения в Круассэ...*— Отцовский дом Флобера в Круассе близ Руана (Флобер именует его сперва «берлогой», «пещерой», «раковиной», а затем знаменитой «Башней из слоновой кости») стал для великого француза местом творческого уединения. «Надо,— писал он,— невзирая ни на что, независимо от человечества, которое нас отвергает, жить для собственного призвания, восходить на свою башню из слоновой кости и оставаться там наедине со своими мечтами...» По примеру Флобера так уединялся и Зайцев в отцовском доме в приокской деревне Притыкино, где им написаны лучшие вещи до эмиграции.

С. 64. *«Искушение» появилось в сборнике «Знания».*— Сб. «Знание». 1907. Кн. 16.

В одном из сборников «Шиповника» появилось в моем же переводе «Простое сердце»...— Альманах издательства «Шиповник». 1910. Кн. 12.

Огромные томы собрания сочинений выходили... — Выпуском полного собрания сочинений Флобера в 1913—1915 гг. занималось издательство Гржебина «Шиповник», однако издать удалось только пять томов.

Гоголь на Пречистенском

Возрождение. 1931. 29 марта. № 2126.

С. 65. *Александровское училище* размещалось в бывшем здании графа С. С. Апраксина на Пречистенском бульваре. Первоначально (с 1830 г.) здесь находился Александринский сиротский институт, преобразованный в 1850 г. в Александринский сиротский кадетский корпус, а в 1863 г.— в Александровское военное училище. О годах учения в этом училище Зайцев рассказал в разделе III книги «Москва».

С. 66. ... *тот глиняный бюст, что лепил с меня.*— Бюст Зайцева,

выполненный скульптором Н. А. Андреевым, находится в Третьяковской галерее.

С. 67. *Открывали памятник в сырости, холоде...*— Торжества по случаю открытия памятника Гоголю состоялись 26 апреля 1909 г. Материалы об этом событии составили книгу «Гоголевские дни в Москве» (1910).

Ясно запомнилась... фигура знаменитого кадета-юриста.— Речь идет о князе Евгении Николаевиче Трубецком (см. Указатель имен), выступившем на торжествах с яркой речью «Гоголь и Россия».

С. 68. *Выступал там Валерий Брюсов*— На торжественном заседании Общества любителей российской словесности, состоявшемся 27 апреля 1909 г., В. Я. Брюсов прочитал доклад «Испепеленный. К характеристике Гоголя».

«Но последний царь вселенной...» — Из стихотворения Брюсова «Бальдеру Локи» (1904).

С. 69. *...«скандальчик» в духе праздника гувернанток в «Бесах».*— Имеются в виду первая и вторая главы третьей части романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

Ю. И. Айхенвальд

Возрождение. 1928. 22 дек. № 1299.

Эпиграф — из первой элегии к Делии Альбия Тибулла. Это двустишие произносит вслух умирающий герой рассказа Зайцева «Смерть» (см. т. 1).

С. 70. *...писал в «Руле» литературные обзоры...*— «Руль» (1920—1931) — одна из главных газет русской эмиграции в Берлине.

Бессмысленный трамвай раздробил ему череп.— Ю. И. Айхенвальд погиб 17 декабря 1928 г. в Берлине.

С. 71. *...резко не любил Гоголя и Тургенева.*— Размышляя о трагизме гоголевского гения, Айхенвальд писал: «Художественное бессилие в области серьезного Гоголь переживал как драму — оно было для него религиозным страданием. Но оно же было для него и эстетической обидой, потому что в создании положительного он имел не только нравственную потребность. Дело в том, что и как писателя его ужаснули собственные детища. Липкие, нудные, отвратительные, они обступили его плотной стеною, одно безобразнее другого; они плясали вокруг него дикую пляску смерти, смешной смерти; они простирали к нему свои лица и руки — неудивительно, что ему стало душно и тошно среди этой неотвязной свиты людских чудовищ, среди калек и ходячих нелепостей.(...) Гоголь беспечно смеялся и высмеивал, сочетал в одно карикатурное целое диковинные, вычурно-изломанные линии, творил

один живой курьез за другим — и вдруг оглянулся и, как городничий, увидал перед собою «свиные рыла», оскаленные рожи, застывшие человеческие гримасы. Он содрогнулся и отпрянул, творец и властелин уродов; он почувствовал себя испуганным среди нелепого мира, который он сам же, как некий смешливый и насмешливый бог, сотворил для собственной потехи. Он забавлялся смешным, играл с этим огнем, и какое-то серьезное начало, царящее над нами, отомстило ему тем, что смешное претворилось для него в страшное. Веселое стало печальным» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Вып. 1. Изд. 3. М., 1911. С. 58).

Свой очерк о Тургеневе Айхенвальд начинает словами: «...жизнь успела заслонить его, изящного рассказчика, его, старомодного, и невольно зарождается предчувствие, что при новом восприятии его произведений они не сохранят своего прежнего благоухания». Однако заканчивает критик свое эссе почти гимном Тургеневу: «Не для того, чтобы смягчить жесткость предыдущих строк... а во имя истины следует прибавить одно: то, что сказано раньше, можно и должно сказать о Тургеневе, но все же Тургенев — это музыка, это — хорошее слово русской литературы, это — очарованное имя, которое что-то нежное говорит всякому сердцу... Он уходит в прошлое, но прошлое не смерть. Над ним веет благодарность за все, что он дал нашей молодости» (Силуэты русских писателей. Вып. 2. 1908. С. 137 и 146).

С. 71. *Не выносил Белинского...*— В неприятии социализма «первого критика России» и чудовищной противоречивости его эстетики Айхенвальд был солидарен с Достоевским, сказавшим в письме к Н. Н. Страхову от 23 апреля 1873 г.: «Смрадная букашка Белинский (которого Вы до сих пор цените) именно был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда». В очерке о Белинском, вызвавшем бурную полемику в 1910-х годах, Айхенвальд пишет: «Белинский — это легенда. То представление, какое получаешь о нем из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когда подходишь к его книгам непосредственно... Отдельные правильные концепции, отдельные верные характеристики перемежаются у него слишком обильной неправдой; свойственна ему интеллектуальная чересполосица, и далеки от него органичность и дух живой системы. А то, что в самой правде своей был он так изменчив и неустойчив,— это подрывает даже ее. Его неправда компрометирует его правду. Белинский ненадежен. У него — шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса. Одна страница в его книге не отвечает за другую. Никогда на его оценку, на его суждение положиться нельзя, потому что в следующем году его жизни или еще раньше вы услышите от него совсем другое, нередко — противоположное. У него не миросо-

зерцание, а миросозерцания. Живой калейдоскоп, он менял их искренне...» (Силуэты русских писателей. Вып. 3. Берлин, 1923). И далее — десятки тому примеров, в разрез с тем, что утверждалось, насаждалось впоследствии соцреализмовским политизованным литературоведением, слепившим из него (с помощью надерганных, угодных властям цитат) революционного идола-догматика, каким он, гениальный человек неистовых крайностей, на самом деле не был (см. подробно об этом статью: Прокопов Т. Рыцарь идей на полчаса. Как Неистовый Виссарион сокрушал Виссариона Смиренного // Книжное обозрение. 1998. 31 марта. № 13).

С. 71. *Брюсов находился в полной славе, когда сказал о нём Айхенвальд: «преодоленная бездарность».*— Свой очерк «Валерий Брюсов» (Силуэты русских писателей. Вып. 3. М., 1910. С. 99) Айхенвальд закончил так: «...если Брюсову с его тяжеловесной поэзией не чуждо некоторое величие, то это именно — величие преодоленной бездарности».

«Горький и не начинался...» — В очерке Айхенвальда «Максим Горький» (Силуэты русских писателей. Вып. 3. М., 1910. С. 62—63) сказано: «И тяжело это говорить, но правду сказать надо: когда, в последнее время, толкуют о конце Горького, то невольно является мысль, что Горький, собственно, и не начинался». «Конец Горького» — так назвал свою вызвавшую долгие споры статью Д. В. Философов (журн. «Русская мысль». 1907. № 4 и в кн. «Слова и Жизнь». СПб., 1909), начав ее главным тезисом, подробно разъясненным в этой и еще в трех статьях: «Две вещи погубили Горького: успех и наивный, непродуманный социализм».

С. 72. *...«к ногам народного кумира не клонит гордой головы»...*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» («Пока не требует поэта...»; 1827).

...вскоре после убийства Гумилева прочел восторженный доклад о Гумилеве и Ахматовой.— Очерки Айхенвальда о Гумилеве и Ахматовой вошли в его сборник «Поэты и поэтессы» (М., 1922) и в вып. 3 «Силуэтов русских писателей» (Берлин, 1923, изд. 5; 1929, изд. 6).

С. 73. *Как ясно представляю я его себе... среди молодежи монпарнасского христианского движения!* — Зайцев имеет в виду Русское студенческое христианское движение, возникшее в 1923 г. в США и во Франции; тогда же начало свою плодотворную деятельность издательство этого движения ИМКА-Пресс, первой книгой которого стала житийная повесть Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский». Ныне президентом Русского христианского движения во Франции является внук Зайцева профессор Сорбонны, Московской школы экономики и Московского университета Михаил Андреевич Соллогуб.

П. М. Ярцев

Возрождение. 1930. 18 и 19 дек. № 2025, 2026.

С. 74. *Художественный театр репетировал тогда «У монастыря».*— Премьера спектакля по лирической пьесе Ярцева состоялась 24 декабря 1904 г. Несмотря на участие лучших мхатовцев В. И. Качалова (в роли Бортеньева) и М. Н. Германовой (исполнила роль Наташи) пьеса успеха не имела.

С. 75. *Мария и Марфа одновременно.*— В Евангелии от Луки (гл. 10, ст. 38—42) рассказывается о посещении Иисусом Христом Вифании, где встречали его две сестры — практичная, земная Марфа и склонная к восторженной созерцательности Мария; они стали символом двух типов жизнедеятельности как отдельных христиан, так и церковных общин.

С. 78. *Он писал в «Киевской мысли».*— Ежедневная газета «Киевская мысль» выходила в 1906—1916 гг.

С. 79. *...писал в «Речи» у Гессена и Милюкова.*— Ежедневная петербургская газета «Речь» (1906—1917) — центральный орган кадетов, редактировавшийся депутатом Государственной Думы, членом ЦК партии кадетов И. В. Гессеном и историком, публицистом, политическим деятелем П. Н. Милюковым.

Надежда Бутова

Возрождение. 1931. 13 июня. № 2202.

С. 85. *Не нравились клистирные трубки Мольера, смешные штучки «кавалера» в «Хозяйке гостиницы».*— Речь идет о постановках Станиславского в МХТ «Мнимого больного» Мольера в 1913 г. и «Хозяйки гостиницы» К. Гольдони в 1914 г.

С. 86. *Замечательно сыграла у Островского Манефу...*— Об этой роли Бутовой в пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», поставленной в МХТ в 1910 г., Вл. И. Немирович-Данченко писал: «Образ Манефы, при необыкновенно яркой бытовой окраске, при изумительном сохранении грани между бытом и сатирой, доходящей до шаржа, давал повод к самым широким обобщениям и в характеристике гения русской нации, и в области общечеловеческих характеристик» (Немирович-Данченко Вл. Дух твой с нами! Памяти Н. С. Бутовой // Культура театра. 1921. № 1. С. 52).

...Федр, Медей не было в репертуаре.— «Федра» и «Медея» — трагедии крупнейших представителей французского классицизма Жана Расина (1639—1699) и Пьера Корнеля (1606—1684).

III

«Мы, военные...» Записки шляпы

Еженедельный журнал «Народоправство». Москва, 1917. Июнь. № 1—2. Полный текст: Возрождение. 1932. 27 марта, 17 апреля, 8 и 15 мая, № 2490, 2511, 2539.

С. 90. *...вряд ли устояли бы и стены Иерихона!* — Иерихон — первый город, захваченный евреями на пути из пустыни к земле Ханаанской. Во время осады этой крепости полководец Иисус Навин прибег к хитрости: в течение шести дней священники в сопровождении воинов с высокими серебряными трубами молчаливо обходили иерихонские укрепления, деморализуя противника, а на седьмой трубы взревели, да так оглушительно, что стены и башни Иерихона рухнули. Город сдался и был до основания разрушен.

С. 97. *Думали ли мы, чем будет... этот дом Страхового Общества?* — В доме Страхового общества «Россия» на Лубянской пл. разместилась Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК).

...Кокошкина... приведшего к кончине мученической.— Ф. Ф. Кокошкин и министр Временного правительства А. И. Шингарев в ночь с 6 на 7 января 1918 г. были зверски убиты матросами-анархистами в петроградской Мариинской тюремной больнице.

С. 100. *«Скажи-ка, дядя, ве-едь не даром...»* — Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» (1837), положенное на музыку 23 композиторами; до сих пор исполняется как солдатская строевая песня с музыкой Брянского.

С. 105. *...романтический мир: «Воображаемые портреты» Уольтера Патера...*— В переводе П. П. Муратова и с его вступительной статьей «Воображаемые портреты» Уолтера Патера выходили дважды — в 1908 и 1916 гг. (изд. 2-е, исправленное и значительно дополненное).

Офицеры (1917)

Возрождение. 1932. 12 июня. № 2567.

С. 108. *...пасынок мой, прапорщик Алеша С. (впоследствии большевиками расстрелянный).*— Алексей Смирнов — сын Веры Алексеевны Зайцевой от первого брака; заподозренный в участии в контрреволюционном заговоре, он был казнен в конце 1919 г.

С. 109. *О, знаменитая музыка революции, Блоку мерещившаяся...*— Статья Блока «Интеллигенция и революция» (1918), вызвавшая бурную полемику, заканчивается призывом: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

...знаменитое поле, некогда трагическое...— 18 мая 1896 г. во время раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II на

Ходынском поле произошла давка, в которой погибло 1389 чел. и изувечено 1300.

С. 110. *...я писал для одного издательства брошюру о необходимости войны до победного конца...* — Брошюра Зайцева «Беседа о войне» издана Московской просветительной комиссией в 1917 г.

С. 111. *«О, дайте, дайте мне свободу...»* — Ария князя Игоря из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь».

«Кто штык точил, ворча сердито...» — Из стихотворения Лермонтова «Бородино».

...ждал на перекрестке Бутырок трамвая, к «Трухмальным»... — то есть к Триумфальным воротам, возведенным в честь въезда в Москву императора Александра I после победоносного окончания Отечественной войны. До 1932 г. они располагались в конце Тверской ул., затем были разобраны и восстановлены в 1968 г. на Кутузовском проспекте.

IV
Москва 20—21 гг.

Возрождение. 1928. 27 марта. № 1029.

С. 118. *Studio Italiano* — Общество итальянской культуры было создано в Москве в апреле 1918 г. (собирались в здании МГУ в Мерзляковском пер., д. 1).

...много читал Петрарку, том «Canzonieri»... — «Канцоньере» Ф. Петрарки — книга любовной лирики, посвященная Лауре. Этот поэтический дневник состоит из двух частей: «На жизнь мадонны Лауры» и «На смерть мадонны Лауры»; он содержит 317 сонетов, 29 канцон, 9 секстин и 4 мадригала.

...Джованни делле Банде Нере сидит на своем монументе... — Памятник знаменитому кондотьеру Людовику Медичи Непобедимому (его прозвище — Джованни делла Банде Нере) возведен в 1540 г. флорентийским скульптором Баччо Бандинелли (1493—1560).

...того Луначарского, с которым во Флоренции... пили кианти... — Зайцев и Луначарский были во Флоренции в мае 1907 г.

С. 119. *...и над убогой жизнью дантовский Орел...* — В «Божественной Комедии» Орел — символ идеально представляемой будущности Римской Империи как государства теократического.

На половине странствия нашей жизни... — Зайцев цитирует свой перевод «Ада» (Песнь 1, ст. 1—9) из «Божественной Комедии» Данте.

С. 120. *...время так называемого «восстания Чиомпи»...»* — Восстание итальянских наемных рабочих (чомпи) произошло во Флоренции в июне 1378 г.

С. 120. *Данте сражался при Кампальдино...*— В предисловии к своему переводу «Божественной Комедии» Зайцев пишет о Данте: «Мы знаем еще, что он был воином, в 1289 г. сражался в рядах флорентийских войск, при Кампальдино, с аретинцами. В том же году присутствовал при занятии пизанской крепости Капроны».

М. О. Гершензон

Печ. по кн.: Москва. Париж, 1939.

С. 123. *...извлекает свою «Грибоедовскую Москву», «Декабриста Кривцова»...*— Названы книги Гершензона, вышедшие в 1914 г.

С. 124. *...напоминавшее главы известного романа Достоевского...*— Имеется в виду глава «У наших» из второй части романа Достоевского «Бесы», рассказывающей о собрании заговорщиков.

«Веселые дни». 1921 г.

Возрождение. 1928. 29 янв., 12 февр. № 971, 985.

С. 127. *...с Грифцовым о Бальзаке...*— Б. А. Грифцов переводил и комментировал Бальзака, а также издал книгу своих статей «Как работал Бальзак» (1937).

С. 129. *...в городе организован Комитет Помощи Голодающим...*— Комиссия помощи голодающим при ВЦИК (Помгол), созданная под председательством М. И. Калинина, работала с июля 1921 до сентября 1922 г.

С. 137. *Правда, я не хотел играть под Архимеда...*— Великий математик древности Архимед (287—121 до н. э.) во время вражеской осады Сиракуз не пожелал отвлечься от своих занятий геометрией и был римлянами убит.

Чтения

Возрождение. 1931. 13 сент. № 2294.

С. 139. *...был в какой-то фригийской шапочке... Якобинец.*— Фригийский колпак (головной убор древних фригийцев) стал моделью для шапок участников Великой французской революции 1789—1794 гг. Якобинцы — самое радикальное крыло восставших, возглавлявшееся Робеспьером.

...некий «печальный Демон, дух изгнанья»...— В кавычках строка из поэмы Лермонтова «Демон».

С. 140. *«Мирен сон и безмятежен даруй ми».*— Пятая молитва вечернего молитвенного правила; Зайцев избрал эту молитву в качестве эпиграфа к рассказу «Рафаэль».

С. 142. *...называется она «Дон-Жуан».*— Небольшая пьеса Зайцева, опубликованная в альманахе «Пересвет» (М., 1922. № 2).

С. 143. *Та самая Анастасия Николаевна... кинулась в Неву.*— Жена Ф. Сологуба А. Н. Чеботаревская покончила с собой 23 сентября 1921 г., бросившись с Тучкова моста в речку Ждановку.

С. 144. *«Когда меня у входа в Парадиз...»* — Отрывок из стихотворения Ф. Сологуба «Я испытал превратности судьбы...» (1919).

Революционная пшеница

Возрождение. 1931. 10 сент. № 2321.

С. 145. *...жаждет прочитать... «Образы Италии» Муратова.*— Посвященные Зайцеву «Образы Италии» впервые вышли в Москве в 1911—1912 гг.; впоследствии переиздавались и в двух и в трех томах.

...Кускова и Осоргин издавали в Москве кооперативную газету — Имеется в виду первая российская литературная газета «Понедельник», выходившая в первой половине 1918 г. Зайцев напечатал в ней отрывок из повести «Голубая звезда» (26 февр. № 2) и очерк «Дни в Риме» (7 мая. № 12).

Пасть львина

Возрождение. 1931. 16 июля. № 2966.

С. 149. *Значит, большая рука в правительстве*— Троюродный брат писателя В. В. Вересаева (Смидовича) — Петр Гермогенович Смидович (1874—1935) — был в 1918 г. председателем Моссовета, в дальнейшем член ВЦИК всех созывов.

С. 150. *...с Викентием Викентьевичем и займетесь...*— т. е. с Вересаевым.

С. 151. *«Я вчера у св. Андрея Неокесарийского в толковании к Апокалипсису читал-с...»* — До наших дней дошло единственное сочинение архиепископа Кесарии Каппадокийской Андрея (жил во второй половине V в.) — его толкование на Апокалипсис; из восьми мировых царств, считал он, восьмое есть царство антихриста.

Прощание с Москвой

Печ. по кн.: Москва. Париж, 1939.

С. 155. *В Москве в эти дни шел большой политический процесс...*— Судебный процесс по делу членов ЦК партии правых эсеров проходил летом 1922 г. Трибунал допустил к их защите представителей Интернационала Эмиля Вандервельде, Теодора Либкнехта, Курта Розенфельда,

Обвинителями были назначены Н. В. Крыленко, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский и деятельница Коминтерна Клара Цеткин.

С. 156. *...тут стоял патриарх Тихон и благословлял народ.*— Тихон (в миру Василий Иванович Белавин; 1865—1925) был избран патриархом Московским и всея Руси на Поместном соборе Русской православной церкви 5 ноября 1917 г. В 1922 г. патриарх был арестован и год провел в заключении. Канонизирован в 1989 г.

ДАЛЕКОЕ

Россия

I
Побежденный

Современные записки. Париж, 1925. Кн. 25.

С. 161. *В те годы Блок переходил от «Прекрасной Дамы» к «Незнакомке».*— Так Зайцев определяет два лучших этапа в творчестве Блока: годы рыцарского поклонения идеализированной Прекрасной Даме, которую он воспевал в романтически-возвышенных стихах первого сборника (1904), и тот период, когда героиней его поэтических книг стала страстная и трагичная Незнакомка (в одноименных стихотворениях, трилогии «Лирические драмы», а также в сборниках «Нечаянная радость», «Снежная маска» и «Земля в снегу», вышедших в 1907—1908 гг.).

С. 162. *...богемы и полубогемы, всех «Бродячих Собак» и театральных студий...*— Среди множества литературных, художественных и театральных объединений, обществ, групп, салонов, кафе-клубов, студий начала века едва ли не самое популярное — литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака», открывшееся в Петербурге (Михайловская пл., 5) в ночь 31 декабря 1911 г. Его членами-учредителями были: Б. К. Пронин (директор-организатор), А. Н. Толстой, Ю. С. Судейкин, М. В. Добужинский, архитектор И. А. Фомин, режиссер Н. Н. Евреинов и др. Кабаре устраивало театрализованные вечера (ночи) знаменитых гостей, их концерты, лекции, диспуты и банкеты до 3 марта 1915 г. (см. подробно: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1983. Л., 1985).

С. 164. *«И сказал Иисусу: помяни мя, Господи...».*— Цитаты из Евангелия от Луки, гл. 23, ст. 42, 43.

...у него «убийца и блудница» читают вместе Евангелие.— В романе Достоевского «Преступление и наказание» (часть четвертая, гл. IV) Соня читает Раскольникову Евангелие от Иоанна (главу о воскресении Лазаря).

С. 166. *Из деревни я послал ему последнюю свою книгу.*— Это был сборник рассказов «Путники», вышедший в 1919 г.

.. одно издательство объявило подписку на собрание детских стихов Блока...— Сборник Блока «Отроческие стихи» был издан посмертно, в 1923 г. московским издательством «Первина».

На вечер Блока собралось много народу... читал Чуковский...— Вечер в Союзе писателей, на котором Чуковский выступил с докладом о Блоке, состоялся 9 мая 1921 г.

С. 167. *В тот же приезд Блок выступал в коммунистическом Доме печати.*— В «Дневнике» Чуковский об этом вечере, состоявшемся 7 мая, записал: «В Доме Печати» против Блока открылся поход. Он пришел туда и прочитал неск. стихотворений. Тогда вышел какой-то черный тов. Струве и сказал: «Товарищи! Я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина, и сам тов. Блок — мертвец». «Верно, верно! — сказал мне Блок, сидевший за занавеской.— Я действительно мертвец». Потом вышел П. С. Коган и очень пошло, ссылаясь на Маркса, доказывал, что Блок не мертвец» (Чуковский К. Дневник. 1901—1929. М., 1991. С. 167). Александр Филиппович Струве (1874—?) — автор стихотворных сборников, статей, брошюр; в 1920—1921 гг. заведовал литературным отделом Московского губернского Пролеткульта.

В августе на Никитской.. появился траурный плакат..— А. А. Блок скончался 7 августа 1921 г.

Отличились и тут имажинисты — устроили издевательские поминки под непристойным названием.— В клубе поэтов «Домино» московские имажинисты устроили 28 августа 1921 г. эпатажный вечер «Чистосердечно о Блоке», на котором А. Аксенов, С. Бобров, А. Мариенгоф и В. Шершеневич прочитали свой хулиганский коллективный доклад «Слово о дохлом поэте». Возмущенный Есенин после этого вечера порвал с имажинистами.

С. 168. *Набросок пьесы из жизни Христа («Русский соврем »)* — Эти дневниковые записи от 5—11 января 1918 г. опубликовал в 1924 г. журнал «Русский современник» (№ 3).

Уж не мечтать о подвигах, о славе...— Неточно приведена последняя строфа стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе...». У Блока: «Уж не мечтать о нежности, о славе...»

Андрей Белый

Журн. «Русские записки». Париж, 1938. Июль. № 7.

С. 170. *Мать у него была бледная, красивая, отец — профессор в Москве. .*— Мать А. Белого — Александра Дмитриевна Бугаева,

урожд. Егорова (1858—1922). Отец — Николай Васильевич Бугаев (1837—1903), математик, декан физико-математического факультета Московского университета.

С. 171. *Подлинно «Котик Летаев»...*— Котик Летаев — герой одноименного автобиографического романа А. Белого.

С. 172. *Завопил низким басом...*— У Белого в стихотворении «На горах»: «Голосил низким басом».

О, закрой свои бледные ноги.— Получившее шумную известность однострочное стихотворение В. Я. Брюсова впервые появилось в сб.: Русские символисты. Вып. 1. М., 1894. Один из критиков спросил у автора: «Какой смысл могло иметь Ваше одностишие о «бледных ногах»?.. Правда ли, будто оно относилось к снятому с креста Христу? В таком случае, в нем в самом деле был смысл». Брюсов ответил: «Нет. Я не разумел этого. Тогда, в самом начале, я и Бальмонт ничуть не меньше, чем и сейчас, интересовались всякими новыми формами стиха. Мы остановились на факте, что у римлян были законченные стихотворения в одну строку. У них в самом деле есть однострочные эпиграммы или эпитафии, вполне округленные по смыслу. Я просто сделал такую попытку с русским стихом» (Измайлов А. Литературный Олимп. М., 1911. С. 395). В черновых тетрадях Брюсова сохранилось еще несколько однострочных стихотворений 1894—1895 гг.

И смех толпы холодной...— Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830).

С. 173. *Белый дал нам статью о Леониде Андрееве.*— Статья Белого «Смерть или возрождение. «Жизнь Человека» Л. Андреева» была опубликована в первом номере «Литературно-художественной недели» (17 сентября. 1907 г.)

Чуть ли не в том же номере появился какой-то недружественный отзыв о Брюсове.— В передовой статье этого номера было сказано: «На имена иных из них — К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова — уже лег зловещий налет «маститости» и «популярности», который говорит о прекрасном конце. Нетерпимость к новому и молодому, к тому, что не-«они», уже звучит в речах иных из «них»,— верный признак генеральства, олимпийского величия».

...появилась и статья Белого в «Весах» против нас, совсем исступленная.— Статья Белого «На перевале. X. Вольноотпущенники» опубликована была позже, в 1908 г. (Весы. № 2).

С. 175. *Ему привиделось нечто на могиле Ницше...*— Этот эпизод, приведенный К. В. Мочульским в книге «Андрей Белый», взят им из «Записок чудака» Белого и принят за реальный факт биографии писателя, в то время как автор в предисловии предупреждает: герой «Записок» не он, а Леонид Ледяной

С. 176. *Золотому блеску верил...*— Из стихотворения Белого «Друзьям» (1907).

С. 177. *Одно было посвящено мне: «Века текут...»* — Стихотворение «Века текут... И хрипло рухнул в лог...» с посвящением Б. Зайцеву опубликовано в сб. «Пепел» (1909). Впоследствии оно без посвящения включено автором в раздел «Золото в лазури» (цикл «На буграх») в изд.: Белый А. Стихотворения. Берлин; Пб.; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1923.

С. 178. *Степун в блестящей статье о Белом...*— Большая статья-размышление профессора Ф. А. Степуна «Памяти Андрея Белого» была опубликована в «Современных записках» (1934. Кн. 56); впоследствии автор включил ее в книгу «Встречи» (1962).

С. 179. *...в Петербурге выступал в «Вольфиле», в Москве жил одно время во «Дворце искусств».*— Вольфила — Вольная философская ассоциация (16 ноября 1919—1924). Белый был избран председателем совета ассоциации. В этом кружке он выступал часто. В марте 1920 г. прочел курс лекций «Культура мысли», 2 мая сделал доклад «Солнечный град» (к трехсотлетию книги Кампанеллы); 16 мая участвовал в диспуте «Что такое Вольфила», 30 мая — лекция «Ветхий и Новый завет», в июне — новый курс лекций: «Антропософия как путь самопознания». В июле — августе 1920 г. живет в Москве, во Дворце искусств и участвует в организации его археологического отдела. 19 и 27 августа в Доме искусств состоялись два вечера Андрея Белого (сведения почерпнуты из «Хронологической канвы жизни и творчества А. Белого», составленной А. В. Лавровым (в кн.: Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации / Сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М., 1988).

...всего был ближе к левым эсерам, разным «Скифам»...— «Скифы» — сборники, изданные в 1917 и 1918 гг. (два выпуска) Ивановым-Разумником. А. Белый в них был обозначен как соредактор (в «Скифах он напечатал свой автобиографический роман «Котик Летаев»). В эти годы Белый разделял «скифское» революционно-максималистское умонастроение, «вечную революционность» Иванова-Разумника, с которым подружился. Огромный том их «Переписки», состоящий из 267 писем-откровений, недавно издан: СПб.: Atheneum; Феникс, 1998. Публ., вступ. ст. и коммент. А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада.

С. 180. *Астролог же и эуритмик...*— Астролог — занимающийся изучением воздействия небесных светил на земной мир и человека. Эвритмия (греч.: соразмерность, ритмичность) — название искусства движений, разработанное на основе антропософского учения Рудольфа Штейнера. Эвритмия получила применение в театральном искусстве (у М. А. Чехова, С. М. Волконского), педагогике, медицине.

С. 181. *...строил даже ...антропософский храм, Гетеанум.*— А. Белый с женой А. А. Тургеневой в 1914 г. поселились в Дорнахе (Швейцария) и приняли участие в строительстве антропософского храма-театра Гетеанум (в честь Гете), возводившегося под руководством Р. Штейнера.

Бальмонт

Газ. «Русская мысль». Париж, 1963. № 2082 (под заголовком «Ранний Бальмонт»).

С. 183. *Он читал об Уайльде.*— Бальмонт выступил с докладом о творчестве Оскара Уайльда в Литературно-художественном кружке 18 ноября 1903 г. Текст доклада вошел в его сб. статей и эссе «Горные вершины» (1904).

Портрет Серова отлично его передает. — Этот портрет, написанный В. А. Серовым в 1905 г., ныне в Третьяковской галерее.

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» — Первая строка стихотворения без названия, открывающего книгу Бальмонта «Будем как солнце» (1902).

С. 184. *Первые его книжки стихов...*— Первые книги Бальмонта: «Сборник стихотворений» (1890), «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895), «Тишина» (1898), «Горящие здания» (1900).

...кроме собственных стихов, много переводил — Шелли, Эдгара По.— В 1893—1899 гг. Бальмонт переводит и издает сочинения П. Б. Шелли в семи выпусках со своей вступительной статьей и две книги Э. По («Баллады и фантазии», «Таинственные рассказы»; обе 1895).

С. 185. *И семь воздушных ступеней...*— Неточная цитата из стихотворения «Воскресший». У Бальмонта: «Но пять воздушных сажень...».

С. 188. *И, с отвращением читая жизнь мою...*— Последняя строфа стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»; 1828). Л. Н. Толстой в «Воспоминаниях» записал: «Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении: «Воспоминание»... Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее: «6 янв. 1903 г. Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь...» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1983. Т. 14. С. 378—379).

Русская мысль. 1963. 19 сент. № 2049, а также: журн. «Современник». Торонто, 1964. Май. № 9.

С. 190. *...был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда.*— Вяч. Иванов о себе: «Я родился в собственном домике моих родителей, почти на окраине тогдашней Москвы, в Грузинах, на углу Волкова и Георгиевского переулков, насупротив ограды Зоологического сада» (Автобиографическое письмо В. Иванова С. А. Венгерову // Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 301).

С. 191. *Знал древность насквозь, всех Дионисов и религии тех лет...*— В 1904—1906 гг. Вяч. Иванов опубликовал в журналах «Новый путь», «Весы» и «Вопросы жизни» свои работы «Эллинская религия страдающего бога», «Религия Диониса. Ее происхождение и влияние», «Ницше и Дионис», «Вагнер и Дионисово действо».

...о Достоевском «глаголаше премудро».— Вяч. Иванов — автор исследований «Достоевский и роман-трагедия» (1914), «Лик и личины России: К исследованию идеологии Достоевского» (1917).

С. 192. *Какая там «башня»...*— «Башней» называли петербургский салон Вяч. Иванова и его жены Л. Зиновьевой-Аннибал, объединявший литературную элиту Серебряного века. Собирались литераторы в квартире Ивановых на углу Таврической и Тверской улиц на шестом этаже, увенчанном круглой башней (см.: Кобак А., Северюхин Дм. «Башня» // Декоративное искусство. 1987. № 1).

«Дни бегут за годами...» — Зайцев цитирует свое стихотворение в прозе «Призраки» (1918).

Кузмин со своими «Александрийскими песнями»...— «Александрийские песни» (Весы. 1906. № 7) — самый известный и высоко оцененный критикой стихотворный (верлибровый) цикл М. А. Кузмина, исполнявшийся им самим под аккомпанемент фортепьяно. М. А. Волошин первым из критиков написал восторженную статью «Александрийские песни» Кузмина» (Русь. 1906. 22 дек. № 83), в которой сам себе задает восхищенный, не требующий ответа вопрос: «Но почему же он возник теперь, здесь, между нами в трагической России, с лучом эллинской радости в своих звонких песнях и ласково смотрит на нас своими жуткими огромными глазами, уставшими от тысячелетий? Зачем он с своей грустной эллинской иронией говорит нам жесткие слова:

Солнце греет затем,
Чтобы созревал хлеб для пищи
И чтобы люди от заразы мерли.
Ветер дует затем,
Чтобы приводить корабли к пристани дальней

И чтобы песком засыпать караваны.
Люди родятся затем,
Чтобы расстаться с милою жизнью
И чтобы от них родились другие для смерти».

С. 192. *...жена моя носила молоко его грудному тогда сыну Диме...*— Д. В. Иванов, будущий журналист, писатель, родился 17 июля 1912 г.; один из редакторов брюссельского собрания сочинений отца.

С. 195. *Месяца через два... Вячеслав Иванович скончался.*— Иванов умер 16 июля 1949 г. в Риме.

II
Бердяев

Русская мысль. 1962. 3 июля. № 1859 (под заголовком «Далекое. О Бердяеве»).

С. 197. *И вот Бердяевы уже в Москве.*— В Москве Бердяевы жили с 1908 по 1922 г.— до года их насильственной высылки из России.

С. 199. *Он перед этим написал книгу «Философия неравенства»...*— Книга «Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии» писалась в 1918 г. и печаталась в газете «Народоправство» (здесь Бердяев опубликовал 16 статей); отдельным изданием книга вышла уже в Берлине (1923).

С. 200. *...в советской парижской газете печатался...*— Имеется в виду газета «Русские новости» (Париж, 1945—1970).

С. 201. *Ты царь. Живи один. Дорогою свободной...*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830).

Архимандрит Киприан

Русская мысль. 1960. 5 марта. № 1495 (под рубрикой «Из воспоминаний»).

С. 202. *...подал книжку свою «Крины молитвенные»...*— Издана в Белграде (1928).

...стал настоятелем церкви на рю Лурмель...— Этот храм Покрова Пресвятой Богородицы был основан в 1934 г. матерью Марией при общежитии для одиноких русских женщин.

С. 204. *«Ибо всякий просящий получает ..»* — Евангелие от Матфея (гл. 7, ст. 10) и Евангелие от Луки (гл. 11, ст. 10).

С. 206. *...два года был он начальником Православной миссии...*— Архимандрит Киприан (Э. А. Керн) возглавлял русскую миссию в Иерусалиме в 1928—1930 гг.

С. 207. *...была любимая его притча о блудном сыне.*— Евангелие от Луки (гл. 15, ст. 11—32).

III
Александр Бенуа

Новое русское слово. Нью-Йорк, 1960. 24 апр. № 17202 (под заголовком «Дни. Об Александре Бенуа. К 90-летию со дня рождения»), а также: Русская мысль. 1960. 30 апр. № 1519.

С. 210. *...задумали они издание фундаментальное: «Историю живописи всех времен и народов» Александра Бенуа...*— Эту «Историю живописи» выпускало издательство «Шиповник» в 1912—1917 гг. (вып. 1—22; издание не завершилось).

С. 212. *Писал же теперь не историю живописи, а воспоминания ..*— Частично они изданы в Нью-Йорке издательством имени Чехова в 1955 г. под названием «Жизнь художника» (Бенуа посчитал его «нелепым»). Полный текст вышел в серии «Литературные памятники» (Мои воспоминания. М.: Наука, 1980; изд. 2-е, доп., 1990).

С. 213. *«На древе человечества высоком...»* — Из стихотворения Ф. И. Тютчева «На древе человечества высоком...» (1832), написанного на смерть И. В. Гете.

П. П. Муратов

Русская мысль. 1951. 3 янв. № 307.

С. 215. *...Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках...*— В «Зорях» Муратов публиковал корреспонденции под одним заголовком: «Парижские весенние выставки» (1906, вып. 9—14).

Три тома «Образов Италии» посвящены мне...— Ремарка «Посвящается Борису Константиновичу Зайцеву в воспоминанье о счастливых днях» опубликована в четвертом издании «Образов» (Берлин, 1924).

С. 216. *...написал роман «Эгерия», сборник «Магические рассказы» (есть у него еще книга «Герои и героини»).*— Муратов издал книги художественной прозы: исторический роман «Эгерия» (Берлин; Пб.; М., 1922), сборники рассказов «Герои и героини» (М., 1918; Берлин, 1922; Париж; 1929), «Магические рассказы» (М., 1922, 1928), «Морали» (Берлин, 1923). Все эти книги изданы в одном томе: Муратов П. П. Эгерия. Роман и новеллы / Сост. и автор вступ. ст. Т. Ф. Прокопов. М.: Терра, 1997.

С. 217. *...был редактором художественного журнала «София»...*—

Журнал искусства и литературы «София» издавался в Москве К. Ф. Некрасовым в 1914 г. (вышло шесть номеров).

«Дух голубиный» (К. В. Мочульский)

Русская мысль. 1948. 9 апр., № 52; позднее — в кн. К. Мочульского «Андрей Белый». Париж: YMKA-Пресс, 1955 (Предисловие). Название очерка подсказано стихотворением Ф. И. Тютчева «Памяти В. А. Жуковского» (1852), в котором есть строка: «Но веял в нем дух чисто голубиный...»

С. 224. *«Лишь сердцем чистые — те узрят Бога».*— Из стихотворения Тютчева «Памяти В. А. Жуковского» — парафраза стиха Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 8).

IV

Пастернак в революции

Русская мысль. 1960. 5 и 7 июля. № 1469, 1470.

С. 225. *...получил отличное образование в России, заканчивал его в одном из германских университетов.*— Б. Л. Пастернак окончил классическую гимназию в 1913 г. и одновременно изучал все курсы композиторского факультета консерватории; в 1912 г. один семестр занимался на философском факультете Марбургского университета, а в 1913 г. получил диплом философского отделения историко-филологического факультета Московского университета.

С. 227. *«В годы основных и общих нам всем потрясений...»* — Из письма Пастернака к дочери Зайцева Н. Б. Зайцевой-Соллогуб от 29 июля 1959 г. (опубл. в кн.: Ивинская О. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. Париж, 1978. С. 329). В письме Пастернак говорит и о Зайцеве: «Я когда-то навсегда запомнил и люблю его спокойную и чистую цельность. Она придает красоту и естественность его мыслям и движениям, а его прозрачному слогу позволяет становиться как бы собственным языком положений и вещей, которые он изображает. Я в обновленном виде опять испытал это за чтением его «Жуковского». Это высшее, о чем смеет мечтать писатель, когда кажется, что говорит не он и его прихоти, а само нарисованное им» (цит. по: Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5. Письма. С. 573).

С. 230. *...те главы, что он тогда приносил, вошли в повесть «Детство Люверс»...*— Повесть «Детство Люверс» впервые опубликована в альманахе «Наши дни» (М., 1922. Кн. 1), затем вошла в книги «Рассказы» (1925) и «Воздушные пути» (1933).

С. 231. *...мог писать на Евангельские темы!* — Таких среди «Стихотворений Юрия Живаго», заключающих роман «Доктор Живаго», восемь (из 25): «На Страстной», «Август», «Рождественская звезда», «Чудо», «Дурные дни», «Магдалина-1», «Магдалина-2», «Гефсиманский сад».

С. 232. *«Одиночество и свобода»* — так называется одна из лучших книг о литературе русского зарубежья Г. В. Адамовича (Нью-Йорк, 1955).

Еще о Пастернаке

В основе очерка — две публикации Зайцева: Дни. Полгода // Русская мысль. 1960. 1 дек. № 1611; Дни. К годовщине Пастернака (30 мая 1960) // Русская мысль. 1961. 10 июня. № 1693.

С. 233. *Из его «Автобиографических заметок» я узнал мелочь...*— Как и Зайцев, Пастернак родился 29 января (10 февраля), но на девять лет позже — в 1890 г.

С. 234. *В письме от 4 октября 1959 года он пишет о своей пьесе...*— В это время Пастернак писал пьесу «Слепая красавица», которую закончить не успел. Здесь же он делится своим впечатлением о романе Зайцева «Юность»: «...я опять с первых страниц... был охвачен тем же самым, о чем я Вам писал по поводу «Жуковского»: сходством Вашего духа с существом изображаемого; так что Ваши личные особенности, то, что называют субъективностью, на пользу Вашей работе, словно и они (а не только Ваш слог, Ваше мастерство) — какие-то краски на палитре, изобразительные какие-то средства. В Ваших писаниях, как воздух, всегда присутствует живая, все охватывающая, движущаяся, дышащая зыблящаяся ясность. В нее погружаешься сразу, с первых Ваших слов. Окна везде промыты и протерты так, точно в них не стало стекол. И в описываемых Вами домах и, так сказать, в мире Вашей души... Я очень люблю Вас и крепко целую» (Пастернак Б. Собр. соч. Т. 5. Письма. С. 575).

С. 235. *...выслали из России молодого француза, ее жениха.*— Речь идет о французском литературоведе Жорже Нива.

С. 236. *«Дней лет наших всего до семидесяти лет, а при крепости до осьмидесяти...*— Псалтирь. Псалом 89, ст. 10.

С. 237. *«Везде бросались переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать...»* — Здесь и ниже Зайцев цитирует письмо Пастернака к Н. Б. Зайцевой-Соллогуб от 29 июля 1959 г.

«И только этот баснословный год открыл мне...» — Здесь и ниже цитируется письмо Пастернака к Зайцеву от 28 мая 1959 г.

С. 238. *...пришлось объяснять читателям, что слово Бог... что-то*

вроде «силы социальных отношений».— Н. Н. Вильмонт в статье «Гете и его «Фауст», предваряющей пастернаковский перевод (ГИХЛ, 1953), вынужден был лукаво пояснять: «Господь и архангелы, Мефистофель и т. п. не более как носители извечно борющихся природных и социальных сил».

С. 238. *...переводчица и поклонница Пастернака, графиня Пруаяр.*— Графиня Жаклин де Пруайяр также автор предисловия к собранию сочинений Пастернака в четырех томах (1961—1962) и книги о нем: G. Proyart. Pasternak. Paris, 1969.

Другие и Марина Цветаева

Русская мысль. 1951. 16 февр. № 320.

С. 240. *...написал «Повесть о непогашенной луне»...*— «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка была издана в 1926 г.

С. 241. *...уже у нее дочь Аля.*— Ариадна Сергеевна Эфрон (см. Указатель имен).

...переписывает произведение кн. Волконского...— О С. М. Волконском и об этом эпизоде Цветаева так рассказывает в письме к Ю. П. Иваску: «...Подружилась с ним в Москве 1921 г. и тогда переписывала ему начисто — из чистейшего восторга и благодарности — его рукописи,— трех его больших книг и вот таким почерком, и ни строки своей не писала — не было времени...» (Цит. по: Эфрон А. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М., 1989. С. 469—470). Цветаева посвятила Волконскому цикл стихотворений «Ученик» (1921) и статью «Кедр. Апология. О книге С. Волконского «Родина» (альманах «Записки наблюдателя». Прага, 1924).

С. 242. *Стихи писала соответственные* — Это были стихи неизданного в те годы (1917—1922) цикла «Лебединый стан», романтически воспевавшие гибельный, но рыцарский путь воинов Добровольческой армии, в рядах которой был и ее муж С. Я. Эфрон. «Белая гвардия, путь твой высок: Черному дулу — грудь и висок»,— писала она.— «Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли. А останетесь вы в песне — белы-лебеди!» Об этом гибельном времени Цветаева тогда же написала и поэму «Перекоп».

С. 243. *Осенью 41 года, не знаю точно когда, Марина покончила с собой.*— М. И. Цветаева повесилась в Елабуге 31 августа 1941 г., оставив три записки: Асеевым с просьбой, чтоб позаботились о сыне Георгии («А меня — простите — не вынесла»), друзьям и сыну («Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до

последней минуты, и объясни, что попала в тупик». «Папа» — С. Я. Эфрон — в этот же 41-й год был расстрелян в ГУЛАГе; дочь Аля — А. С. Эфрон — провела в тюрьмах и ссылках с августа 1939-го до реабилитации в 1955-м и узнала о смерти матери не скоро.

С. 243. *«Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его».*— Первая фраза молитвы Честному и Животворящему Кресту Господню.

Памяти Ивана и Веры Буниных

Русская мысль. 1962. 6 янв. № 1783.

С. 244. *...в Грассе жил Бунин...*— В Грассе, на юге Франции, Бунины жили с 1922 по 1945 г.

Уже после премии Нобелевской...— О присуждении Нобелевской премии Бунин узнал 3 ноября 1933 г.

...читает в корректуре «Деревню» и не одобряет.— К редактированию своей лучшей повести «Деревня» Бунин возвращался много раз, будучи недовольным в ней то одним, то другим. А незадолго до кончины, 2 сентября 1947 г., написал М. А. Алданову: «Поражен «Деревней» — совсем было возненавидел ее (и сто лет не перечитывал) — теперь вдруг увидал, что она на редкость сильна, жестока, своеобразна» (Лит. газ. 1984. 1 авг. № 31).

«Ты им доволен ли, взыскательный художник...» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной...»; 1830).

С. 245. *...два лета жили в департаменте Вар...*— В имении своих друзей Василия Борисовича и Фаины Осиповны Ельяшевичей Зайцевы провели лето 1925 и 1926 гг.

...прогулки — нередко в аббатство Торонэ — заброшенный и замечательный цистерцианский монастырь...— Цистерцианцы — ветвь бенедиктианского монашеского ордена, достигшего расцвета при Бернарде Клервоском (1091—1153). Из некогда действовавших 2 тыс. монастырей цистерцианцев в Европе одно из старейших — французское аббатство Торонэ.

О любви (Балтрушайтис)

Русская мысль. 1948. 10 сент. № 74.

С. 249. *И я тебя, мой день, мой свет небесный, // Боготворю!* — Эпиграф из стихотворения Балтрушайтиса «Ты мне всегда — в моем пути суровом...» (1943), посвященного жене Марии Ивановне Балтрушайтис, урожденной Оловяшниковой, с которой поэт тайно обвенчался в 1899 г.

С. 249. *...всего вышло в России две книги стихов...*— «Земные ступени. Элегии, песни, поэмы» (1911), «Горная тропа» (1912); в 1910 г. была объявлена и третья, лучшая,— «Лилия и Серп», но издана она была посмертно, в 1948 г. в Париже. Все три его сборника составили однотомники, вышедшие в Вильнюсе (Дерево в огне; 1969, 1983) и в Москве (Лилия и Серп; 1989).

С. 250. *Вместе похоронили мы Бальмонта...*— Е. А. Андреева-Бальмонт, вторая жена поэта, в мемуарах 22 июня 1945 г. записывает: «На днях узнала из письма Веры Алексеевны Зайцевой из Парижа о том, что Константин Дмитриевич Бальмонт скончался 23 декабря 1942 г. в 4 часа утра под Парижем, где жил в «Noisi-le-Grand», от воспаления в легком. (...) Отпевали Бальмонта в церкви при «Русском Доме». Похоронили в «Noisi-le-Grand». На похороны приехали Юргис Балтрушайтис с женой, Борис Константинович Зайцев с женой и еще несколько человек близких» (Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоминания. Последние годы Бальмонта. М., 1997. С. 438).

Возвращаясь от всенощной

Русская мысль. 1950. 1 сент. № 272.

С. 253. *...надо Володю спросить...*— Володя — В. А. Злобин, литературный секретарь Мережковских (см. Указатель имен).

...он трудился над Августинами, Паскалями..— Имеются в виду книги Мережковского «Павел и Августин» (1936) и «Жизнь Паскаля» (1949—1950).

...заседал в пятом этаже «Илюша» Фондаминский...— И. И. Бунаков-Фондаминский, редактор журнала «Современные записки».

Редкостные Олеарии, Герберштейны...— Имеются в виду раритетные книги этих авторов (см. Указатель имен).

С. 254. *«Если Господь даст жизни еще год, кончу роман...»* — И. С. Шмелев говорит о третьем томе своего романа «Пути небесные», завершить который ему было не суждено.

Скончался тоже благообразно, в православном монастырьке под Парижем.— Шмелев скоропостижно умер 24 июня 1950 г., в день приезда в обитель Покрова Божьей Матери в Бюси-ан-От (Бургундия, в 150 км от Парижа), куда его привезли на долечивание после трудной операции. «Мы хоронили его,— вспоминал Зайцев,— на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, пристанище эмигрантском замечательном, где лежит почти вся старшая литература изгнания». Добавим: где ныне упокоен и он сам, и Бунины, и Мережковский с Гиппиус, и Ремизов, и многие другие, с кем свела их судьба изгнанников и служение русской литературе.

Италия
«1908» — Рим

Русская мысль. 1962. 17 февр. № 1801.

С. 256. *...эпоха Авраама и Иакова.*— То есть эпоха древнейшая. Авраам — библейский патриарх, легендарный родоначальник евреев, родившийся за 2040 лет до н. э. Иаков — один из ветхозаветных патриархов, получивший от бога имя Израиль; прародитель 12 колен (племен) «сынов Израиля».

Он (Бунин) *редактор альманахов «Земля».*— Владелец «Московского книгоиздательства» Георгий Густавович Блюменберг, решив выпускать сборники «Земля» (1908—1917; вышло 20 сб.), пригласил их редактировать И. А. Бунина. Иван Алексеевич предложение принял и в 1908—1909 гг. составил первые два выпуска «Земли». Во втором сборнике (1909) он опубликовал повесть Зайцева «Спокойствие». В последующем сборники редактировали Л. Андреев и М. Арцыбашев.

С. 258. *...изящный Осоргин, тоже италофил...*— М. А. Осоргин в 1908—1916 гг. жил в основном в Италии, являясь корреспондентом московских изданий «Вестник Европы» и «Русские ведомости». Из его публикаций составились позже книги «Очерки современной Италии» (Москва, 1913) и «Там, где был счастлив» (Париж, 1928).

С. 260. *Графиня Варвара Бобринская устраивает журнал.*— В. Н. Бобринская в 1908—1909 гг. издавала журнал «Северное сияние». Зайцев в этом журнале не печатался.

Латинское небо

Новое русское слово. 1956. 30 сент. № 15800; Русская мысль. 1956. 2 окт. № 959.

С. 262. *...тот петел, что возглашал Апостолу две тысячи лет назад...*— В Евангелиях рассказывается о предсказанном Иисусом отречении апостола Петра от Него, «прежде нежели пропоет петух». После этого Петр «горько плакал» и был прощен воскресшим Христом. Он стал одним из главных вождей христианской общины и погиб за веру мученической смертью: по приказу Нерона был распят вниз головой вместе с апостолом Павлом.

Трудам и заботам Гектора Доминиковича...— Гектором Доминиковичем русские звали итальянского слависта Этторе Ло Гатто (см. Указатель имен).

С. 266. *«С капитолийской высоты...»* — Из стихотворения Тютчева «Цицерон» (1830).

С. 268. *Сентябрский серенький денек...*— Неточная цитата из стихотворения А. Белого «Прошлому»; у автора: «Сентябрьский свеженький денек...»

С. 270. *Requiem aeternam* — начальные слова заупокойной католической мессы.

Конец Петрарки

Русская мысль. 1954. 5 нояб. № 708.

С. 272. *Биограф добавляет...*— Этим биографом был Джованни Боккаччо, написавший очерк «О жизни и о нравах господина Франческо Петрарка» (1349).

...был даже увенчан в Риме на Капитолии.— Эта коронация на Капитолии произошла при огромном стечении народа 8 апреля 1341 г.: здесь на Петрарку возложили лавровый венок и объявили «великим поэтом и историком».

С 275. *...рядом библиотека Лауренциана...*— Начало этой уникальной библиотеке положили старинные рукописи, собранные Медичи — Козимо Старшим (1389—1454) и Лоренцо Великолепным (1449—1492); к XX в. в ней было собрано более 10 тыс. манускриптов. Здание библиотеки построил Микеланджело в 1523—1534 гг.

«Повесть о двух городах»

Русская мысль. 1962. 15 сент. № 1891 (с заголовком «Мантуя и Урбино. Памяти П. П. Муратова»).

С. 276. *«Мы приближались к Мантуе...»* — Зайцев цитирует очерк «Мантуя» из «Образов Италии» П. П. Муратова.

«O anima cortese Mantovana»...— Так обращается к Вергилию Беатриче (Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь вторая, ст. 58).

С. 279. *«Есть нечто бесконечно прекрасное в этом дворце...»* — Цитата из очерка П. П. Муратова «Путями Пьеро делла Франческа» (Образы Италии. Т. 3. Ч. 1).

С. 281. *...наш «Царь Федор»: — «Я царь или не царь?»* — Слова царя Федора из трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович».

«Чего уже не увидишь»

Русская мысль. 1961. 11 февр. № 1642; Новое русское слово. 19 февр. № 17513.

С. 282. *«За все благодарите». Ап. Павел.*— Из первого послания апостола Павла к фессалоникийцам (гл. 5, ст. 18).

С. 283. *О его «Венчании Мадонны Христом» сказано...*— Далее Зайцев цитирует «Жизнеописание фра Джованни да Фьезоле, ордена братьев проповедников живописца» из т. 2 пятитомника Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

МОИ СОВРЕМЕННИКИ

Мемуарная книга «Мои современники», составленная дочерью писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб, вышла на русском языке в 1988 г. в лондонском издательстве Overseas Publications Interchange Ltd. В сборнике представлены три очерка из книги «Москва», девять — из книги «Далекое» и двенадцать новых, публиковавшихся в разные годы в парижских газетах «Возрождение» и «Русская мысль». Как пишет составительница, объясняя свой принцип отбора, «все они в большой мере относятся к воспоминаниям Бориса Константиновича о его современниках, поэтах и писателях Серебряного века». Мы сочли возможным дополнить раздел газетно-журнальными очерками, также не вошедшими в книги «Москва» и «Далекое», из числа тех, что расширяют читательские представления о круге общения писателя с современниками — друзьями, недругами, сподвижниками. Во вступительной статье к лондонской книге «Мои современники» Борис Филиппов (наст. имя Борис Андреевич Филистинский; 1905—1991) привел суждения многих критиков русского зарубежья о своеобразии мемуарной прозы Зайцева. Американский литературовед рассматривает высказывания Я. Горбова, П. Грибановского, Вяч. Завалишина, Ю. Иваска, С. Маковского, Р. Плетнева, Л. Ржевского, Ф. Степуна, Г. Струве. Ю. Трубецкого. Как пишет исследователь, «этим нагромождением цитат хотелось мне показать, что представители далеко не одного поколения находили и находят в творчестве Б. К. Зайцева одну доминирующую черту — лирический поток тишины и взгляд на жизнь, на мир, на его современников — sub specie aeternitatis (под углом зрения вечности.— *Ред.*), позволяющий при этом смотреть на окружающее и окружающих отнюдь не с холодным мнимым объективизмом, отнюдь не отрешенно, а с подлинным любовным вживанием в самую сердцевину их души, но без часто неизбежного налета желчи и сиюминутной злободневности. И вот эта зайцевская боговдохновенная тишина поэтому так и неприемлема советским властителям, что, скажем, в «Краткой литературной энциклопедии» (Москва) Зайцеву, крупному русскому писателю, уделено всего 45 строк, а бездарнейшему и безграмотнейшему тупице, критику-нигилисту второй половины прошлого века Варфоломею Зайцеву — 124 строки. Ибо Борис Зайцев выразил, мол, и склонность к «мистическому восприятию жизни», и «враждебное отношение к революции». Но вот Бунин, например, громогласно и яростно, на первый взгляд, гораздо более крепко, чем «тишайший» Зайцев, высказал

свое отвращение к Октябрю и большевикам, но отнюдь не вызвал своими ожесточенными проклятиями такой вражды к себе, как его давний приятель — лиричнейший Борис Константинович. В той же «Краткой литературной энциклопедии» Бунину отведено целых четыре столбца и говорится, что «во многом противоречивое наследие Бунина обладает большой эстетической и познавательной ценностью». Тихое, сдержанное и без размахивания кулаками осуждение большевизма Борисом Зайцевым кажется Советам куда более опасным, чем та же бунинская ярость» (Филиппов Б. Борис Зайцев и его портреты современников // Зайцев Б. Мои современники. Лондон, 1988. С. 11—12).

Бунин увенчан

Возрождение. 1933. 10 нояб. № 3083.

Бунин. ***Речь на чествовании писателя 26 ноября 1933 г***

Возрождение. 1933. 28 нояб. № 3101.

С. 292. *...Платоны Каратаевы, Лукерьи из «Живых мощей», Несмертельные Голованы...*— Платон Каратаев — персонаж из «Войны и мира» Л. Н. Толстого. «Живые мощи» — рассказ И. С. Тургенева из «Записок охотника». «Несмертельный Голован» (1880) — повесть Н. С. Лескова. Герои этих произведений — Платон, Лукерья, Голован — чудаки и праведники.

Тринадцать лет

Русская мысль. 1966. 10 нояб. № 2541.

С. 297. *Бунин Толстого обожал.*— К размышлениям о творчестве и личности Л. Н. Толстого Бунин обращался постоянно; помимо книги «Освобождение Толстого» (Париж, 1937) он написал еще несколько очерков о великом своем современнике.

Средиземное море! Море Улисса...— Улисс — латинская форма имени Одиссей; этот легендарный царь острова Итака, отправившийся в десятилетние странствия, стал героем эпических поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Максим Горький. *К юбилею*

Возрождение. 1932. 15, 30 окт. № 2692, 2707. Очерк написан к сорокалетию литературной деятельности Горького: 12 сентября 1892 г. в тифлисской газете «Кавказ» был опубликован первый его рассказ

«Макар Чудра». Личное знакомство Горького и Зайцева относится к самому началу века: они встречались в кружке «Среда» у Н. Д. Телешова. Поначалу все, что писал Зайцев, Горьким оценивалось весьма высоко. Однако уже в ту пору многих удивляло, настораживало и отвращало некое лукавое раздвоение в его высказываниях. Вот, с одной стороны, прочитав книгу рассказов Зайцева, Горький называет его в письме к Леониду Андрееву (август 1907 г.) первым в числе тех, с кем тот мог бы делать хорошие сборники «Знание», ибо такие, как он, «любят литературу искренно и горячо, а не для того, чтобы обратить внимание читателя на ничтожество и нищенство своего «я». Однако, с другой стороны, в письме А. Н. Тихонову (А. Сереброву), написанном в это же время, грубо, на грани бестактности уже выражается активное неприятие зайцевской творческой манеры: «Вам, кажется, знаком Б. Зайцев, и Вы немного поддались его манере выражать истерическую радость жизни? Это — бросьте, советую. Есть такое состояние психики, кое медицина именует: «надеждой фтизиков» — у Зайцева источник вдохновения — именно эта надежда». Не здесь ли, не в двоедушии ли одна из первопричин того, что многие горьковские дружбы и привязанности оборачивались в конце концов если не враждой, то неприязнями и разрывами (Андреев, Бунин, Амфитеатров, Ходасевич...)? Не удержался от размышлений на эту тему и Зайцев в юбилейном очерке о Горьком, как ни стремился он остаться на позиции объективности и справедливости.

С. 304. *...восторгались мы красотою ее в «Потонувшем колоколе» (Раутенделейн)...*— В этой драме Г. Гауптмана, поставленной МХТ в 1899 г. и имевшей ошеломляющий успех, М. Ф. Андреева блестяще сыграла главную роль.

Разговоры о «Новом пути»...— «Новый путь» (1903—1904) — журнал З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского, П. П. Перцова и Д. В. Философова, орган Религиозно-философских собраний. Иоанн Кронштадтский назвал журнал «Сатанинским путем», обвинив его в антиправославной пропаганде, и добился его закрытия. Возобновился журнал под новым названием — «Вопросы жизни» — и под новым руководством: его возглавил Н. А. Бердяев.

...в газете своей «Новая жизнь» выпустил когти: произвел погром Толстого и Достоевского...— «Новая жизнь» — газета, издававшаяся в 1905 г. поэтом и большевиком Н. М. Минским. Здесь в октябре — ноябре Горький опубликовал свои «Заметки о мещанстве», в которых в числе прочего обрушился на Достоевского и Толстого за проповедь «смирения и непротивления».

Не зря появилась статья Философова «Конец Горького».— Статья Д. В. Философова была опубликована в «Русской мысли» (1907.

№ 4) в разгар полемики вокруг повести «Мать», пьесы «Враги» и некоторых других горьковских произведений «с тенденцией» («социал-демократ, увлекается политикой и оттого талант падает»). «Успех у Горького,— пишет Философов,— был совершенно особенный. Такого раболепного преклонения, такой сумасшедшей моды, такой безмерной лести не видали ни Толстой, ни Чехов. Горький был герой дня, «любимец публики», нечто вроде модного оперного певца, который в течение коротких лет кружит голову своим поклонникам и затем, потеряв голос, сходит со сцены, погружаясь в забвение. Увлечение Горьким психологически понятно, легко объяснимо. Слишком вовремя появился он, слишком глубокие струны задел он, чтобы не встретить отклика во всей новой России, которая только начинает просыпаться. Широкой публике казалось, что дарование Горького неисчерпаемо, что развитию его нет пределов, и она подстегивала Горького, щекотала его самолюбие, сделала его своим кумиром. Она не давала ему возможности сосредоточиться, оглянуться, понять самого себя, меру своих сил, характер своего дарования. Драма «На дне» была высшая точка творчества Горького; после нее начинается падение». «...Начинается калечение Горького-художника — Горьким-социал-демократом».

Однако еще до Философова (заметим: и до первой русской революции) в шести номерах «Русского вестника» за 1904 г. и одновременно отдельным изданием вышла «обличительная» (по словам автора) и, как сказал бы Даль, «провидливая» работа Н. Я. Стечкина (1854—1906) «Максим Горький, его творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни русского общества». В ней публицист приходит к выводу, прозвучавшему тогда взрывом бомбы террориста: «Максим Горький интересен и важен, как вредный противообщественный элемент»; «В Максиме Горьком вижу я деятеля со стремлениями не лучшими, чем стремления беглого каторжника Емельки Пугачева. На лбу Максима Горького я читаю братоубийственную печать Каина, ибо ему любо возбуждать отбросы общества против общества, ему любо видеть, как одурманенные красными словами его, слепцы из членов этого общества сами лезут в босяцкую пасть, сами готовы вложить топор и лом в руки этого босяка» (цитирую по републикации в кн.: Максим Горький: pro et contra. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. С. 616—617).

С. 305. *...какого-нибудь Каляева* — И. П. Каляев (1877—1905) — террорист из «боевой организации» Б. В. Савинкова, бомбой взорвавший 4 февраля 1905 г. великого князя Сергея Александровича, за что был казнен.

С. 306. *Вот уж подлинно закон, а не благодать!* — Зайцев здесь

напоминает о знаменитом литературном памятнике XI в.— «Слове о Законе и Благодати» Иллариона. Пламенный патриот, ратовавший за духовную независимость Руси, Киевский митрополит Илларион был едва ли не первым, кто власть духовности противопоставил власти законов, насаждаемых силой и страхом.

С. 306. *...Какой-нибудь Клим, Фома или Егор проходят жизнь...*— Имеются в виду герои произведений М. Горького: «Жизнь Клима Самгина», «Фома Гордеев», «Егор Булычов и другие».

С. 307. *...при его содействии учрежден был и паек «цекубу»...*— ЦКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых при Совнаркоме РСФСР — была создана по инициативе Горького в 1920 г. (просуществовала до 1937 г.).

С. 308. *...в хозяина революционного салона, где мог встретиться Ягода и Менжинский со Щеголевым...*— В. Р. Менжинский (1874—1934) и Г. Г. Ягода (наст. фам. Иегула; 1891—1938) — руководители ОГПУ и НКВД, организаторы массовых репрессий. П. Е. Щеголев — известный пушкинист (см. Указатель имен).

С. 309. *...дело с проф. Тихвинским, на всякий случай расстрелянным.*— Имеется в виду знаменитое «таганцевское дело», сфабрикованное в 1921 г. петроградскими чекистами. Вместе с Тихвинским был расстрелян 61 чел., среди которых — Н. С. Гумилев и В. Н. Таганцев (см. о них Указатель имен, а также: Тименчик Р. Д. По делу 214234 // Сажин В. Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. № 11; Жизнь Николая Гумилева. Л., 1990; Эльзон М. Д. Письмо в защиту Н. С. Гумилева // Русская литература. 1988. № 3).

...журнал «Беседа».— Под руководством Горького, при участии В. Ф. Ходасевича и А. Белого «Беседа» (1923—1925) издавалась в Берлине С. Г. Каплуном-Сумским.

...дружил он с Алексеем Толстым, только что перешедшим в «Накануне».. — «Накануне» (1922—1924) — «сменовеховская» (по названию сб. «Смена вех»; 1921) русская газета в Берлине, призывавшая эмигрантов сотрудничать с большевиками и возвращаться в Советскую Россию.

С. 310. *...Горького избрала Академия, наравне с Чеховым и Короленко, академиком по разряду словесности. Государь его избрание не утвердил.*— Это случилось в 1902 г. Николай II дал указание президенту Российской академии наук (а им был великий князь Константин Константинович, известный поэт, писавший под псевдонимом «К. Р.») отменить выборы Горького в почетные академики. Возмущенные этим решением Чехов и Короленко отказались от звания академиков.

Судьбы

Русская мысль. 1957. 31 авг. № 1102.

С. 312. *«Постараюсь.. пристроить Ваши вещи в «Журн. для всех» и в «Жизнь», также в «Мир Божий»* — Из письма Горького Андрееву от 20...25 апреля 1899 г. «Журнал для всех» (СПб., 1895—1906) — иллюстрированный и научно-популярный ежемесячник «для семейного чтения», основанный врачом Д. А. Геника. Через три года журнал переходит к В. С. Миролюбову и вскоре достигает пика популярности — тираж удваивается и составляет более 90 тыс. экз. Андреев опубликовал здесь восемь рассказов, в том числе «В тумане», за который журнал был строго предупрежден, а затем закрыт. «Жизнь» (СПб., 1897—1901) — литературный, научный и политический журнал, орган «легальных марксистов», редактировавшийся В. А. Поссе. Закрыт за публикацию «Песни о Буревестнике» Горького. «Мир Божий» (СПб., 1892—1906) — литературный и общественно-политический ежемесячник для юношества и самообразования, основанный педагогом и писателем В. П. Острогорским; с 1902 г. издавался А. А. Давыдовой, редактировался Ф. Д. Батюшковым.

С. 313. *Здесь он писал свои фантастические схемы («Царь-Голод», «Океан»)*..— Экспрессионистские драмы Л. Андреева «Царь Голод» (1908) и «Океан» (1910) вызвали острую полемику. В них, по мнению Блока, писатель выразил «ярче всех до сих пор трепет нашего рокового времени» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1962. С. 257).

С. 315. *...Андреев одиночка, на чужой земле, пишет свое обращение «S.O.S.» к Западу*..— Темпераментная статья «S.O.S.», призывающая народы Европы не прерывать борьбу с большевизмом, впервые была напечатана на французском языке в газете В. Л. Бурцева «Общее дело» (Париж, 1919. 22 марта. № 39), а в следующем номере этой же газеты — на русском языке; статья многократно переиздавалась, даже распространялась в листовках. Недавно издана в сборнике: Андреев Л. «Верните Россию!» М.: Московский рабочий, 1994.

Давнее. Луначарский. Каменев

Русская мысль. 1960. 5 нояб. № 1600; Новый журнал. Нью-Йорк, 1960. № 61.

С. 317. *О поле, поле, кто тебя // Усеял мертвыми костями.*— Из арии Руслана в третьей картине второго акта оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».

...где сильно попахивало воздухом «Бесов».— «Бесы» Ф. М. Достоевского — «самый политический роман мировой литературы»,

«модель зла» (Ю. Ф. Карякин), роман-обличение революционной бесовщины.

С. 317. *На страницах журнала «Правда», где печатаешь кое-что из первых своих рассказиков...*— В журнале «Правда» Зайцев напечатал рассказы «Мгла» (1904. Февр.) и «Сон» (1904. Апр.).

С. 318. *...тоже вдвоем с молодой женой (сестрой Богданова)...*— Анна Александровна Луначарская, урожд. Богданова (1883—1959) — первая жена будущего наркома.

С. 320. *...если не ошибаюсь, «Власть Народа».*— «Власть народа» — демократическая и социалистическая газета (кооперативное издание), выходившая в Москве с 28 апреля 1917 по 20 марта 1918 г.

Открытое письмо А. В. Луначарскому

Газ. «Власть народа». М., 1917. 23 нояб.

Странники *(Посвящается В. И. Немировичу-Данченко)*

Возрождение. 1934. 30 дек. № 3407.

С. 332. *...сопровождал войска в той, первой освободительной войне...*— Немирович-Данченко — участник освободительного похода русской армии в войне болгарского народа против турецкого ига в 1877—1878 гг. Будучи корреспондентом, в походе он сопровождал доблестного русского полководца М. Д. Скобелева, о котором написал яркую мемуарную книгу. «Я был около него в тяжелые и радостные дни,— вспоминал писатель,— я с ним встречался и после, со мной он был откровеннее, чем с другими... Обо многом мы мыслили далеко не одинаково... Я не разделял его взглядов на войну, не понимал его боевого энтузиазма; мы подолгу спорили по разным вопросам народной жизни, но я его любил, я видел в нем гения, тогда когда вражда и зависть шипели кругом... Мне выпала честь в прошлую кампанию первому рассказать о нем, о его подвигах и доблестях...» (Немирович-Данченко В. И. Скобелев. Личные воспоминания и впечатления. СПб., 1884).

«Иисус Неизвестный»

Возрождение. 1932. 18 дек. № 2756.

Памяти Мережковского. *100 лет*

Русская мысль. 1965. 2 дек. № 2393.

Русская мысль. 1947. 5 июля. № 12; Новое русское слово. Нью-Йорк, 1947. 3 авг. № 12883.

С. 347. *Работу Толстого в «Накануне» и все предприятие с Россией — не одобрял* — Берлинская ежедневная газета «Накануне» (1922—1924), созданная вместо закрывшегося 25 марта 1922 г. на № 20 журнала «Смена вех», объединяла группу деятелей культуры, ратовавших за возвращение эмигрантов в Россию. Среди берлинских «сменовеховцев» был и А. Н. Толстой: в «Накануне» он ведал Литературным приложением (последний, 62-й, его номер вышел 22 июля 1923 г.). Что Горький не одобрял увлечение Толстого «сменовеховством», видно из его письма к нему от 20 января 1923 г.: «Слышал, что Вы ушли из «Накануне»,— это очень хорошо! Но Вам необходимо заявить об этом гласно, напечатав, хотя бы в «Днях» (газета А. Ф. Керенского.— *Т. П.*), коротенькое письмецо: больше в «Накануне» не сотрудничаю. Сделайте это!» (Переписка А. Н. Толстого: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 345). Но Толстой сделал другое и большее: в августе этого же года он вместе с другими «сменовеховцами» (основателями движения Ю. В. Ключниковым, И. М. Василевским и А. В. Бобрищевым-Пушкиным) осуществил то, за что агитировал других: вернулся в Россию. Толстой уцелел, а его доверчивые соратники, обманутые большевиками (они им устроили показательное шоу-путешествие по стране), погибли в сталинских лагерях.

С. 348. *...написал «Петра» с яркостью иногда удивительной*..— Имеется в виду знаменитый роман А. Н. Толстого «Петр I», над которым писатель работал с 1930 г. и завершить не успел.

Сергей Городецкий... переделал «Жизнь за царя» в «Ивана Сусанина»...— Либретто Г. Ф. Розена, по которому М. И. Глинка создал свою гениальную оперу «Жизнь за царя», в 1939 г. было отвергнуто как монархическое, и поэт С. М. Городецкий написал новый текст под названием «Иван Сусанин».

Кажется, погиб в ссылке.— Писатель Б. Б. Андроникашвили-Пильняк через полвека после гибели отца получил на свои запросы ответ (приводим его как типичный документ) из Военной коллегии Верховного Суда СССР: «Пильняк-Вогау Борис Андреевич, 1894 года рождения, был необоснованно осужден 21 апреля 1938 года Военной коллегией Верховного Суда СССР по ложному обвинению в совершении государственных преступлений и приговорен к расстрелу. По уточненным данным, приговор приведен в исполнение 21 апреля 1938 г.».

Ведь были Зощенко и Ахматова, все шло благополучно, а потом...— А потом появились постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.

«О журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклад А. А. Жданова об этом постановлении. В них выдающиеся представители русской культуры М. М. Зощенко и А. А. Ахматова были подвергнуты оскорбительному, разнузданному разносу, после которого до конца их дней не решалось печатать «врагов советской литературы» ни одно издание.

Ахматовой

Русская мысль. 1964. 13 июня. № 2164.

С. 350. *Показать бы тебе, насмешнице...*— Из «Реквиема» (1935—1940) А. А. Ахматовой.

..разных «Паллад» тамошних...— Поэтесса и актриса Паллада (Палладия) Олимповна Богданова-Бельская (1885—1968), урожд. Старынкевич, в замужестве также Падди-Кабецкая, Дерюжинская и Гросс, была в 1910-е годы хозяйкой литературного салона и популярным завсегдатаем литературно-артистического кабаре «Бродячая собака». Ей, утонченной и артистичной, посвятили свои стихи И. Северянин, Г. Иванов, Б. Садовской и др.; она — прототип героини романа М. Кузмина «Плавающие-путешествующие» и повести О. Морозовой «Одна судьба».

...похожей на портрет ваш Сорина...— Портретный рисунок «Анна Ахматова» создан С. А. Сориным (1878—1953) в 1913 г.

С. 351. *Буду я, как стрелецкие женки...*— Из «Реквиема» А. А. Ахматовой.

Алданов

Русская мысль. 1964. 7 апр. № 2135. Публикация имела заголовок: Далекое. Наброски. Алданов, Осоргин.

С. 352. *...первая книга его «Толстой и Роллан»...*— Первый том литературоведческого этюда М. А. Алданова «Толстой и Роллан» вышел в Петрограде в 1915 г. (2-е изд.: Загадка Толстого. Берлин, 1923). Рукопись т. 2 погибла в годы гражданской войны. Первое его художественное произведение — повесть «Святая Елена, маленький остров» — увидело свет в 1921 г. в журнале «Современные записки» (кн. 3, 4); этой повестью писатель впоследствии завершил свою тетралогию «Мыслитель».

С. 353. *Заканчивал он жизнь свою «Истоками»...*— Лучший роман Алданова «Истоки» (Париж, 1950) был написан в 1940-е годы. После «Истоков» им созданы романы «Повесть о смерти» (1952), «Живи как хочешь» (1952), «Бред» (1954—1957), «Самоубийство» (1958).

Осоргин

Русская мысль. 1964. 7 апр. № 2135.

С. 355. *Считался политическим эмигрантом...*— М. О. Осоргин с 1904 г. состоял в партии эсеров (в ее радикальной части максималистов-террористов); после поражения первой русской революции 1905—1907 гг. эмигрировал.

..ресторанчик, который оба мы потом «воспели»...— В ресторане Piccolo Uomo (маленького человечка) столуются герои романа Зайцева «Дальний край».

О Ремизове — к десятилетию кончины

Русская мысль. 1968. 4 февр. № 2668.

С. 360. *В одном из журналов... рассказик мой «Океан».*— Рассказ Зайцева «Океан» был опубликован в журнале «Вопросы жизни» (1905. № 2) и в книги не включался.

...когда возник «Сириус»... стали выходить довольно обильно и его книги.— Издательство «Сирин» (у Зайцева в названии неточность) было основано в Петербурге промышленником М. И. Терещенко и его двумя сестрами в 1912 г.; оно выпускало книги до 1915 г. при активном сотрудничестве А. Блока. В «Сирине» были изданы собрания сочинений А. Ремизова (8 т.; часть тиража в издательстве «Шиповник» в 1910—1912 гг.), Ф. Сологуба (16 т.), В. Брюсова (из 25 т. успели выйти 8), а также однотомники Ремизова «Докука и балагурье» (1914), «Весеннее порошье» (1915) и др.

С. 361. *И много // Переменилось в жизни для меня...*— Из стихотворения А. С. Пушкина «...Вновь я посетил...» (1835).

Одна — главноначальствующая, главковерх, одна — писательница преданная, вроде начальника штаба...— Имеются в виду Наталья Викторовна Резникова-Чернова (1903—1992), написавшая мемуарную книгу «Огненная память» (Беркли, 1980), и писательница Наталья Владимировна Кодрянская (1901—1983), автор книг «Алексей Ремизов» (Париж, 1959) и «Ремизов в своих письмах» (Париж, 1977).

...все мы, пишущие, считались членами «Обезьяньей Вольной Палаты»...— Шутовское общество «Обезьянья Великая и Вольная Палата» («Обезвелволпал») А. М. Ремизов придумал в 1908 г. «В палату,— вспоминает один из «серапиновых братьев», принятых в это общество, К. А. Федин,— выбирались только литераторы, и выборы производил сам Ремизов, носивший звание «старшего канцеляриуса», в то время как сочлены палаты величались кавалерами, князьями, епископами и многими другими титулами, придуманными для каждого отдельного

случая, иногда лестными, иногда насмешливо позорящими, вроде, например, «великого гнида». Знаменитый пушкинист Павел Елисеевич Щеголев звался «старейшим князем», беллетрист Вячеслав Шишков — «князем Бежецким и Сибирским». Был в палате «епископ обезьянский смиренный Замутий, в мире князь обезьянский Евгений Замятин». Но больше всего числилось «кавалеров», и многие из них знали друг друга только по именам, потому что палата не устраивала собраний и вообще никакой общественной жизни не вела, а существовала как бы в абстракции, в фантазии ее канцеляриуса. Он возводил в звания и раздавал титулы, вел счет кавалерам, писал и разрисовывал «обезьяньи лавровые грамоты», которыми наделялись новопосвященные. Это были забавные ремизовские документы, сплошь увитые его замысловатыми росчерками, вязь из букв и слова, с печатями, заключавшими в себе чертовские знаки, изображения уродов и непонятные надписи глаголицей, которую Ремизов изучил совершенно» (Федин К. Собр. соч: В 12 т. М., 1986. Т. 10. С. 94).

С. 362. *...времен тезки.. Алексея Тишайшего..*— Алексей Михайлович («Тишайший»; 1624—1676) — второй царь дома Романовых.

Приемная Плона какого-нибудь или Галлимара...— Имеются в виду известные парижские издательства Плона и Галлимара, которые издавали и книги русских эмигрантов.

С. 363. *В «Русской мысли» был номер с его портретом, приветственными статьями* — Юбилейный номер «Русской мысли», посвященный 80-летию А. М. Ремизова, вышел 6 июля 1957 г. (№ 1087). В нем были опубликованы большой очерк Ю. Терапиано, «Письмо Ремизову» Зайцева (как близкого друга и как председателя парижского Союза писателей и журналистов), приветствие Г. Адамовича и большой портретный рисунок юбиляра, выполненный О. Ковалевской.

О Шмелеве

Русская мысль. 1968. 31 окт. № 2710.

С. 365. *...оказались сотоварищами по «Книгоиздательству писателей», делу кооперативному...*— Книгоиздательство писателей в Москве было основано в 1912 г. паевым товариществом, в которое входили И. А. Бунин, И. А. Белоусов, В. В. Вересаев, Б. К. Зайцев, С. А. Найденов, Н. Д. Телешов, И. С. Шмелев и др.

С. 367. *Карташев сказал надгробное слово.*— После заупокойной литургии и отпевания в парижском храме Александра Невского Ивана Сергеевича Шмелева 28 июня 1950 г. хоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Гроб несли члены президиума Союза писателей, сотрудники газеты «Русская мысль» и ближайшие друзья. Надгробное

слово произнесли профессор-богослов А. В. Карташев, профессор Ф. Е. Волошин, председатель Союза писателей Б. К. Зайцев и член редколлегии «Русской мысли» В. Ф. Зеелер.

Письмо Солженицыну

Вестник Русского студенческого христианского движения во Франции (РСХД). Париж; Нью-Йорк, 1969. № 94.

С. 368. *Первое знакомство — Иван Денисович* — Повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1959), впервые опубликованная А. Т. Твардовским в журнале «Новый мир» (1962. № 11), принесла автору всемирную известность.

«Матренин двор» — дверь отворяется уже шире.— «Матренин двор» (1963) — один из лучших рассказов Солженицына.

...для меня Ваш расцвет — «Раковый корпус» и «В круге первом».— Роман «В круге первом», над которым писатель работал в 1955—1968 гг. (имеет 7 редакций), и повесть «Раковый корпус» (1963—1967) Солженицыну в те годы опубликовать на родине не удалось — они распространялись в «самиздате»; впервые изданы и получили широкую известность за рубежом.

С. 369. *«Приидите ко мне вси труждающиеся и обременные»...*— Из Евангелия от Матфея, гл. 2, ст. 28.

ПОВЕСТЬ О ВЕРЕ

Русская мысль. 1967. 14, 17, 19, 21 янв. № 2569—2572. Журнальная републикация: Мосты. Мюнхен, 1968. № 13/14. По этому тексту первое книжное изд. в сб.: Зайцев Б. Золотой узор: Роман. Повести / Сост. Т. Ф. Прокопов. М.: Интерпринт, 1991 (на обложке 1992). Печ. по этому изд.

С. 374. *«Вернувшись из химической лаборатории...»* — Цитата из кн.: Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Наедине с памятью. Составитель А. К. Бабореко. М.: Советский писатель, 1989.

А в этой сини четко встал...— Строки из стихотворения И. А. Бунина «Сапсан» (1905).

С. 375. *Венчаться пока нельзя...*— Вера Николаевна венчалась с Буниным не скоро, уже в Париже в 1922 г.

С. 376. *Тартарен из Тараскона* — хвастун и фанфарон, герой трилогии французского писателя Альфонса Доде (1840—1897) «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона», «Тартарен в Альпах» и «Порт Тараскон».

С. 378. *«...Мережковских видела...»* — Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус (Мережковская) — о них см. Указатель имен.

С. 390. *С детства мой любимый был Праздник Преображения*.— Преображение — один из двенадцати главных праздников православной церкви; установлен в честь чуда Господня, которое свершилось на горе Фавор, символизирующей все возвышенное и величественное. Как рассказывается в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, однажды, когда Иисус молился на горе Фавор со своими учениками, лицо его преобразилось — просияло, «одежда Его сделалась белою, блистающею», «и был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте» (Евангелие от Луки, гл. 9, ст. 29, 35). На Руси праздник приурочен к началу уборки урожая, в частности яблок (яблочный Спас), и отмечается он 6 (19) августа.

С. 391. *...событий, разбивших многолетние дружеские мои отношения с Иваном.*— См. об этом статью О. Н. Михайлова «К истории одной дружбы: И. Бунин и Б. Зайцев» (Российский литературоведческий журнал. М., 1994. № 4).

ДРУГАЯ ВЕРА. Повесть временных лет

Новый журнал. Нью-Йорк, 1968. № 92; 1969. № 95, 96; 1970. № 98, 99. Первое книжное изд. в сб.: Зайцев Б. Золотой узор: Роман. Повести / Сост. Т. Ф. Прокопов. Печ. по этому изд.

С. 395. *Доктор Павлик Муромцев... лечивший меня...*— Заболевшего сыпным тифом Зайцева лечил не только брат В. Н. Буниной Павел Николаевич Муромцев, но и Д. Д. Плетнев (1872—1941). «Не дешево обошлось и докторам,— вспоминал Зайцев в 1967 г.— Дмитрий Дмитриевич Плетнев, лечивший меня от тифа в 22-м году, в этом 34-м тоже в тартарары спустился — кажется, где-то в ссылке и скончался — за Горького» (О Горьком и о былом // Русская мысль. 1967. 9 нояб. № 2660). Выдающийся терапевт профессор Плетнев в марте 1938 г. был осужден по сфабрикованному обвинению в причастности к так называемому «антисоветскому правотроцкистскому блоку» и 14 сентября 1941 г. расстрелян вместе со 156 безвинными узниками Орловской тюрьмы. В 1990 г. на месте казни сталинско-бериевских жертв воздвигнут скорбный памятник (см.: Трагедия в Медведевском лесу // Известия ЦК КПСС. М., 1990. № 11).

С. 398. *...но уж очень его* (Айхенвальда) *травят наши правители* — Эта травля достигла пика после того, как 2 июня 1922 г. в «Правде» появилась статья Л. Д. Троцкого (укрывшегося псевдонимом «О») «Диктатура, где твой хлыст?», подвергшая разносу книги и литературно-эстетические взгляды Ю. И. Айхенвальда. Кончалась статья требованием к диктатуре взять хлыст и «заставить Айхенвальда убраться за черту, в тот лагерь содержанства, к которому он принадлежит по

праву — со всей своей эстетикой и религией». И тут же, осенью, последовала его (и многих других) высылка в вечное изгнание без семьи. Семью же ожидала судьба более горестная. Сын высланного, известный советский экономист А. Ю. Айхенвальд был репрессирован в 1933-м и расстрелян в 1941 г. Его внук Ю. А. Айхенвальд, поэт, прозаик, литературовед, переводчик, дважды арестовывался и до 1955 г. был заключенным ленинградской тюремной «психички». Об этой скорбной одиссее своей семьи внук рассказал в очерке «Отцы и деды» (Московские новости. 1990. 1 июля. № 26).

С. 398. *...если б он не наскакивал со своими сменовеховскими разговорами* — Термин «сменовеховство» произошел от названия сб. «Смена вех» (Прага, 1921), который был приурочен к началу в России новой экономической политики. Нэп породил в эмигрантской среде надежды на перерождение советского строя и потому на возможность сотрудничать с Советами. Однако, как показало время, надежды эти оказались иллюзорными. «Сменовеховцы» в двадцатые годы выпускали около десятка изданий, среди которых главными были журнал «Смена вех» (Париж, 1921) и газета «Накануне» (Берлин, 1922—1924).

С. 402. *Умерла мать Макса Волошина...*— Мать М. А. Волошина (см. Указатель имен) — Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина, урожд. Глазер (1850—1923), умерла в Коктебеле 8 января.

...если б не занятие Рура...— Имеется в виду так называемый Рурский конфликт: 11 января 1923 г. в ответ на невыполнение Германией ее репарационных обязательств французские и бельгийские войска оккупировали Рурский бассейн, выселив из него около 130 тыс. чел. Оккупация завершилась только в августе 1925 г.

С. 403. *Когда «Ара» им послана?* — «АРА» (ARA — от англ. Amerikan Relie Administration — «Американская администрация помощи»; 1919—1923) была создана для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в первой мировой войне. В связи с голодом в Поволжье в 1921 г. деятельность «АРА» была разрешена и в России.

С. 405. *Какие дивные стихотв. Ванины в «Медном Всадн.»* — В берлинском альманахе «Медный всадник» в 1923 г. (кн. 1) Бунин опубликовал стихотворение «Петух на церковном кресте» и рассказ «Косцы».

С. 410. *Ванины рассказ и стихи в «Соврем. записках» дивные.*— В 1924 г. главный журнал эмиграции опубликовал пять рассказов и два стихотворения Бунина. Очевидно, имеется в виду кн. 20, в которой помещены рассказы «Звезда любви», «Преображение» и стихотворение 1916 г. «Молодость».

С. 421. *Почему Шмелев ушел из «Возрождения», мы прочли в «России и славянстве».*— Имеется в виду письмо И. С. Шмелева в

редколлегию «Возрождения», в котором он выразил протест против цензуры, воцарившейся в газете с приходом в нее С. К. Маковского и В. Ф. Ходасевича. Это «Письмо в редакцию» было опубликовано 29 мая 1929 г. в газете «Россия и славянство».

С. 428. *Были мы на «Зеленой лампе».*— Общество «Зеленая лампа» возникло по инициативе Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус; его первое собрание состоялось 5 февраля 1927 г. Председательствовал на собраниях Георгий Владимирович Иванов (1894—1958) — замечательный поэт, прозаик, критик. Как вспоминает Ю. К. Терапиано, «собрания «Зеленой лампы» были доступны только для избранной публики. На каждое собрание, по заранее утвержденному устроителями списку, приглашались литераторы, философы, журналисты и сотрудники литературных журналов вместе с представителями квалифицированной интеллигенции... Около девяти вечера зал обыкновенно был уже полон. И. А. Бунин с супругой, Б. К. Зайцев, М. А. Алданов, А. М. Ремизов, Владислав Ходасевич, Н. А. Тэффи и другие литераторы занимали место в первом ряду... В течение всего довоенного периода, с 1927 по 1939 год, «Зеленая лампа» была одной из достопримечательностей русского Парижа» (Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. 1924—1974. Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 38—40).

С. 429. *...ты молодец, как написала про Андреева* — Имеется в виду очерк В. Н. Буниной-Муромцевой «Л. Н. Андреев». Помимо переводов (ими Вера Николаевна занималась до эмиграции, хорошо зная немецкий, французский, английский и итальянский языки), она была также автором статей (в основном мемуарных): «Памяти С. Н. Иванова», «Найденов», «Piccolo Marina», «Овсянико-Куликовский», «Юшкевич», «Кондаков», «Московские «Среды», «Эртель», «У старого Пимена (Иловайский)», «С. А. Муромцев», «Заморский гость (Верхарн)», «Завещание», «Умное сердце (О. А. Шмелева)», «Москвичи», «Коллективные курсы», «Вечера на Княжеской (Волошин)» и др. А теперь широко известна ее книга «Жизнь Бунина» (Париж, 1958; М., 1989), в которую в последнем издании вошли ее мемуарные очерки «Наедине с памятью», публиковавшиеся в изданиях «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Грани» (Мюнхен) и в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк).

А у нас в «Городке»...— «Городок. Хроника» (Париж, 1927) — рассказ Н. А. Тэффи о русской колонии в Париже, после которого многие «городком» стали иронически именовать эмиграцию.

...как в «Любовной истории»: «белъ фам» через ять.— «История любовная» — роман И. С. Шмелева.

С. 430. *Были раз на «Кочевье».*— «Кочевье» — литературный кружок, созданный в 1920-х годах в Париже молодыми поэтами.

Кружок проводил тематические вечера, диспуты, привлекшие многих участников.

С. 430. *Говорил парижанец Вова П-р.*— Выступал, очевидно, Владимир Соломонович Познер (1905—1992) — поэт, прозаик, журналист, критик, публицист, киносценарист, переводчик, мемуарист. С мая 1921 г. в эмиграции. Окончив Сорбонну, принял французское гражданство и поселился в Париже. Участник мероприятий литературного кружка «Кочевье». Настороженное отношение к нему русских изгнанников объяснялось тем, что он в 1933 г. вступил во французскую компартию.

С. 433. *...«Золотой узор» у Ашэтт выходит* — Роман Зайцева «Золотой узор» вышел на французском языке в парижском издательстве Ашетт (Hachett) в 1933 г.

С. 445. *Книга Галины мне понравилась* — В 1930 г. в Париже был издан первый сборник рассказов Г. Н. Кузнецовой «Утро».

С. 457. В сноске: *Намек на статью о Гоголе?* — Имеется в виду очерк Б. К. Зайцева «Жизнь с Гоголем», опубликованный в журнале «Современные записки» (1935. Кн. 59).

С. 466. *«Все перевернулось в доме Облонских».*— Вторая (неточная) начальная фраза романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Наш алфавитный аннотированный Указатель основных имен является разделом примечаний, в который вынесен необходимый минимум сведений о лицах, упоминающихся в текстах данного тома. В указатель не включены имена эпизодические и многие из общеизвестных.

Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог и церковный деятель; родоначальник христианской философии истории, автор основополагающего труда в западной патристике «О граде Божием» и автобиографической «Исповеди».

Аврелий Марк (121—180) — римский император из династии Антонинов; автор философского сочинения «Размышления».

Адамович Георгий Викторович (1892—1972) — поэт, критик, переводчик. С 1923 г. в эмиграции во Франции. Автор книг «Одиночество и свобода» (1955), «Комментарии» (1967), статей и рецензий о Б. К. Зайцеве.

Азов Вл.— псевдоним журналиста, фельетониста и переводчика Владимира Александровича Ашкенази (1873—1941), приобретшего известность еще в годы сотрудничества в журналах А. Т. Аверченко «Сатирикон» (1908—1914) и «Новый сатирикон» (1913—1918). С 1926 г. в эмиграции в Париже.

Айвазовский Иван Константинович (1817—1900) — живописец-маринист.

Айналов Дмитрий Власьевич (1862—1939) — историк искусства; автор трудов о византийской живописи и русском монументальном искусстве.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928) — критик-импрессионист, переводчик; автор знаменитого трехтомника «Силуэты русских писателей» (шесть раз переиздававшегося), в котором один из лучших очерков посвящен Б. К. Зайцеву.

Аксенов Иван Александрович (1884—1935) — поэт-модернист, художественный критик, переводчик; с 1915 г. идеолог «западнической» ориентации в группе московских футуристов «Центрифуга». Автор знаменитой книги «Пикассо и окрестности». В 1920-е годы входил в группу конструктивистов; активно занимался шекспироведением.

Алданов (наст. фам. Ландау) *Марк Александрович* (1886—1957) — прозаик, драматург, публицист русского зарубежья; автор знаменитых исторических романов.

Александр I (1777—1825) — император России с 1801 г.

Александр I Карагеоргиевич (1888—1934) — с 1921 г. король Югославии; инициатор первого (и единственного) съезда русских пи-

сателей и журналистов эмиграции, состоявшегося в Белграде в сентябре 1928 г. Убит хорватскими националистами.

Александров Николай Григорьевич (1870—1930) — артист и помощник режиссера МХТ со дня его основания.

Алексеев Михаил Павлович (1896—1981) — литературовед, академик АН СССР (1958).

Алексинский Иван Павлович (1871—1945) — хирург; в эмиграции в Париже возглавлял Общество русских врачей им. Мечникова, оказывал безвозмездную медицинскую помощь русским эмигрантам.

Аллен Уолтер (род. в 1911) — английский прозаик, литературовед, историк; в соавторстве с П. П. Муратовым написал книгу по военной истории Кавказа в XIX в., а в годы второй мировой войны Аллен и Муратов совместно работали над исследованием, посвященным стратегическому анализу советско-германской войны (The Russian campaigns of 1944—1945. N. Y., 1946).

Алехин Александр Александрович (1892—1946) — чемпион мира по шахматам в 1927—1935 и 1937—1946 гг. С 1921 г. жил во Франции.

Альберти Леон Баттиста (1404—1472) — итальянский ученый, архитектор, теоретик искусства эпохи Раннего Возрождения.

Анджелико Беато (собств. Фра Джованни да Фьезоле; ок. 1400—1455) — итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения; представитель флорентийской школы.

Андреев Вадим Леонидович (1902/03—1976) — поэт, прозаик, мемуарист; автор автобиографической повести «Детство» (М., 1963). Старший сын Л. Н. Андреева; после 1917 г. в эмиграции. Во время второй мировой войны участвовал во французском Сопротивлении.

Андреев Даниил Леонидович (1906—1959) — поэт, прозаик, философ; автор ныне знаменитых книг — философско-поэтического трактата «Роза мира» и сборника стихотворений и поэм «Русские боги», созданных в основном в сталинских концлагерях. Сын Л. Н. Андреева и А. М. Велигорской.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — прозаик, драматург, публицист; заведовал отделом в газете «Курьер», где опубликовал 15 июля 1901 г. первое произведение Б. К. Зайцева — этюд «В дороге». Зайцев — автор нескольких мемуарных очерков об Андрееве.

Андреев Николай Андреевич (1873—1932) — скульптор, график, театральный художник; автор памятников в Москве Н. В. Гоголю (1909), А. И. Герцену и Н. П. Огареву (1922), А. Н. Островскому (1929), а также скульптурного портрета Зайцева.

Андреева Александра Алексеевна (1853—1926) — критик, историк литературы, переводчица, сестра жены К. Д. Бальмонта.

Андреева Александра Михайловна, урожд. Велигорская (1881—1906) — первая жена Л. Н. Андреева; мать будущего писателя Вадима Леонидовича; умерла от послеродовой горячки, родив второго сына Даниила Леонидовича — будущего выдающегося поэта и мыслителя, который в 1947 г. был вместе с семьей безвинно арестован и осужден на 25 лет за... покушение на жизнь Сталина.

Андреева Анна Ильинична, урожд. Денисевич, в первом браке Карницкая (1885—1948) — вторая жена Л. Н. Андреева, мать Саввы Леонидовича (1909—1970; в будущем артиста балета), Валентина Леонидовича (1912—?) и Веры Леонидовны, в будущем автора автобиографической дилогии «Дом на Черной речке» и «Эхо прошедшего» (М., 1986).

Андреева (в замужестве Бальмонт) *Екатерина Алексеевна* (1867—1950) — переводчица; знаток европейской и русской поэзии. Автор книги «Воспоминания» (1997).

Андреева (наст. фам. Юрковская, в первом браке Желябужская) *Мария Федоровна* (1868—1953) — актриса (с 1898 по 1905 в МХТ); вторая жена М. Горького. В 1919 г. вместе с Горьким и Блоком участвовала в создании Большого драматического театра в Петрограде. В 1931—1948 гг.— директор московского Дома ученых.

Анненкова Ольга Николаевна (ум. в 1949) — одна из последовательниц антропософского учения Рудольфа Штейнера о сверхчувственном познании мира через самопознание человека как космического существа.

Апостол Павел Николаевич (1872—1943) — историк, библиофил.

Арсеньев Николай Сергеевич (1888—1977) — философ, богослов, культуролог, литературовед. В 1919 г. дважды арестовывался. С 1920 г. в эмиграции.

Артем (наст. фам. Артемьев) *Александр Родионович* (1842—1914) — актер; с 1898 г. в МХТ.

Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — прозаик, драматург, публицист; автор знаменитого романа «Санин» (1907).

Асланов Николай Петрович (1877—1949) — артист МХТ.

Ауслендер Сергей Абрамович (1886—1943) — прозаик, драматург, критик.

Ахматова (наст. фам. Горенко, а замужестве Гумилева) *Анна Андреевна* (1889—1966) — поэт.

Баженов Николай Николаевич (1857—1925) — профессор-психиатр; организатор Литературно-художественного кружка в Москве. Автор книги «Психиатрические беседы на литературные общественные темы» (1903).

Базаров (наст. фам. Руднев) *Владимир Александрович* (1874—1939) — философ, экономист, критик, публицист; один из авторов двух марксистских сборников «Литературный распад» (1908, 1909). Безвинно репрессирован.

Балиев Никита Федорович (наст. имя и фам. Балян Мкртич Асвадурович; 1876, по другим данным 1877—1936) — актер, режиссер; один из основателей (с 29 февраля 1908 г.) и руководитель первого в России театра-кабаре «Летучая мышь», выросшего из «капустников» МХТ. Блистательно выступая в качестве конферансье и пародиста, Балиев утверждал новый для русского театра жанр.

Балиева (в первом замужестве Комиссаржевская, урожд. Акопиан) *Елена Аркадьевна* (1895—1981) — актриса; племянница В. А. Зайцевой, жена Н. Ф. Балиева.

Балтрушайтис Мария Ивановна (1878—1948) — жена Ю. К. Балтрушайтиса.

Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873—1944) — поэт, переводчик, театральный деятель, дипломат. В 1921—1939 гг.— полномочный представитель Литвы в СССР; с 1939 г. в Париже.

Бальмонт Е. А.— см. *Андреева-Бальмонт.*

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт, критик, эссеист, переводчик; один из вождей русского символизма. С 1920 г. в эмиграции.

Бальмонт Мирра Константиновна — дочь К. Д. Бальмонта и Е. К. Цветковской.

Бальмонт (в замужестве Бруни) *Нина Константиновна* (1901—1989) — дочь К. Д. и Е. А. Бальмонт.

Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927) — прозаик, драматург.

Бахрах (Бахрак) *Александр Васильевич* (1902—1985) — критик, литературовед, журналист. В 1940—1944 гг. жил в доме И. А. Бунина в Грассе; автор мемуарных книг «Бунин в халате» (1979), «По памяти, по записям. Литературные портреты» (1980).

Бекфорд Уильям (1760—1844) — английский прозаик; автор фантастической повести «Ватек. Арабская сказка», переведенной Зайцевым и изданной с предисловием П. П. Муратова.

Белич Александр (1876—1960) — югославский языковед, президент Сербской Академии наук (с 1937).

Белоруссов (наст. фам. Белевский) *Алексей Станиславович* (1859—1919) — публицист, журналист, сотрудник «Русских ведомостей».

Белоусов Иван Алексеевич (1863—1930) — поэт, прозаик, переводчик; автор мемуарных книг «Воспоминания» (1926), «Ушедшая Москва» (1927), «Литературная среда. Воспоминания. 1880—1928» (1928),

«Писательские гнезда. Дома в Москве и подмосковные усадьбы, где родились, жили и умерли известные русские писатели» (1930).

Белый Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934) — поэт, прозаик, литературовед, мемуарист; теоретик символизма.

Бенкендорф К. А. (1880 — после 1953) — граф, автор мемуаров «Half a Life; The Reminiscences of a Russian Dentleman» (London, 1954).

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — живописец, график, художник театра, теоретик и историк искусства, художественный критик; один из основателей художественного объединения «Мир искусства» (1900—1924) и одноименного журнала (1898—1904). С 1924 г. в Париже.

Берберова Нина Николаевна (1901—1993) — поэт, прозаик, критик, мемуарист; автор известной книги воспоминаний «Курсив мой. Автобиография» (на англ. яз. 1969, на рус. 1972), в которой немало страниц посвящено дружбе с семьей Зайцевых.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — один из самых известных философов и публицистов Серебряного века и русского зарубежья; в 1922 г. выслан из России.

Бердяева Лидия Юдифовна, урожд. Трушева (1889—1945) — жена Н. А. Бердяева.

Бернард Клервоский (1091—1153) — настоятель монашеской общины ордена цистерцианцев в Клерво, организатор Крестового похода (1146); канонизирован в святые католической церкви.

Бернштейн Осип Самойлович (1882—1962) — международный гроссмейстер; доктор права, адвокат. В 1920 г. эмигрировал в Париж.

Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт, критик, публицист; один из вождей русского символизма, высоко оценивший дебютные произведения Зайцева.

Блуа Леон (1846—1917) — французский писатель.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — прозаик, драматург, публицист, критик, мемуарист.

Бобринская Варвара Николаевна — писательница и публицистка, сотрудничавшая в «Русских ведомостях»; жена известного археолога и коллекционера графа А. А. Бобринского (1852—1921).

Богомолов Александр Ефремович (1900—1969) — посол СССР во Франции в 1945—1947 гг. В июне — июле 1946 г. он проводил встречи с русскими парижанами, посвященные разъяснению Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 г. «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции». По этому Указу получили советские паспорта 11 тысяч эмигрантов, среди которых оказалось немало таких, кто

рискнул вернуться на родину и попал в сталинские лагеря. Зайцев был в числе того большинства, которое предпочло не искушать судьбу и остаться в изгнании.

Борджиа Чезаре (ок. 1475—1507) — правитель Романьи, сын римского папы Александра VI (одного из самых порочных и безнравственных), с которым создавал в Средней Италии государство с абсолютной властью, не брезгуя ради этой цели никакими средствами.

Брамс Иоганнес (1833—1897) — немецкий композитор.

Британ Илья Александрович (псевд. Глеб Сорин и др.; 1885—1941) — поэт, прозаик, драматург, публицист, юрист. В 1923 г. выслан из России. В 1941 г. арестован в Париже фашистами и расстрелян как заложник.

Брунеллески Филиппо (1377—1446) — итальянский архитектор, скульптор, ученый; один из создателей архитектуры Возрождения.

Бруни Николай Александрович (1891—1938) — поэт, прозаик, всесторонне одаренный человек: пианист с консерваторским образованием, живописец, знал несколько европейских языков; один из первых русских авиаторов; играл в первой петербургской футбольной команде; полный Георгиевский кавалер. В 1918 г. неожиданно для всех принял сан священника; в 1921 г. служил панихиду над гробом А. А. Блока. В 1934 г. незаконно репрессирован. Находясь в заключении, к 100-летию гибели А. С. Пушкина создал памятник (установлен в г. Ухте).

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — граф, генерал-фельдмаршал, сенатор; сподвижник Петра I. В Сухаревой башне открыл Московскую гражданскую типографию. Переводил иностранные книги. В подмосковной усадьбе Глинки проводил физико-химические и др. эксперименты, породившие немало легенд о нем и давшие повод называть его колдуном и чернокнижником. Именем Брюса назван гражданский календарь 1709—1715 гг.

Брюсов Александр Яковлевич (1885—1966) — поэт, археолог; брат В. Я. Брюсова.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик, литературно-общественный деятель; один из вождей и теоретиков русского символизма. Инициатор и руководитель ведущих органов символистов — издательства «Скорпион» (1899—1916) и журнала «Весы» (1904—1908), основанных С. А. Поляковым. Брюсов — автор первой рецензии на дебютный сборник рассказов Зайцева, которая заканчивалась сбывшимся предсказанием: «...Вправе мы будем ждать от него прекрасных образцов лирической прозы, которой еще так мало в русской литературе» (рецензия опубликована в т. 1 нашего собрания).

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940) — прозаик, драматург.

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — религиозный философ, экономист, публицист, священник. В 1922 г. выслан из России.

Булгакова Елена Сергеевна (1893—1970) — жена М. А. Булгакова; будучи в Париже в 1967 г., гостила у Зайцева.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — поэт, прозаик, переводчик; лауреат Нобелевской премии. Ближайший друг Зайцева.

Бунин Юлий Алексеевич (1857—1921) — публицист, литературно-общественный деятель; один из основателей и бессменный председатель литературного кружка «Среда» (1897—1916), директор Литературно-художественного кружка (с 1910 г.). Брат И. А. Бунина.

Бунина (урожд. Муромцева) *Вера Николаевна* (1881—1961) — переводчица, автор мемуарных книг «Жизнь Бунина» (1958) и «Беседы с памятью» (1955—1963); близкий друг семьи Зайцевых.

Бунина Мария Алексеевна, в замужестве Ласкаржевская (1873—1930) — сестра И. А. Бунина.

Бурджалов (наст. фам. Бурджалян) *Георгий Сергеевич* (1869—1926) — актер и режиссер МХТ. По мнению Станиславского, присутствие в труппе Бурджалова «имело важное облагораживающее значение».

Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — публицист, издатель; автор мемуарной книги «Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания. 1882—1922» (Берлин, 1923), более известной в сокращенном переиздании «В погоне за провокаторами» (1928).

Бутова Надежда Сергеевна (1878—1921) — актриса МХТ с 1900 г., театральный педагог.

Бухарин Николай Иванович (1888—1938) — партийный и государственный деятель СССР; автор трудов по философии и политэкономии. Необоснованно репрессирован.

Вазари Джорджо (1511—1574) — итальянский архитектор, живописец, историк искусства; автор многотомного труда «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (в рус. пер. т. 1—5, 1956—1971).

Валентин — философ-гностик из Александрии, живший в первой половине II века в Риме; умер в 160 г. на Кипре.

Вандервельде Эмиль (1866—1938) — бельгийский социалист; в 1914—1937 гг.— член правительства Бельгии. В 1922 г. приезжал в Москву на судебный процесс над партией левых эсеров в качестве их защитника.

Василевский Илья Маркович (псевд. Не-Буква; 1882—1938) — фе-

льетонист, критик. После 1917 г. эмигрировал, но в середине 1920-х гг. вернулся в СССР. Безвинно репрессирован.

Василид — философ-гностик, уроженец Сирии, живший во II в. в Александрии.

Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — живописец-передвижник, создавший произведения на темы национальной истории, русских былин и сказок.

Вахтангов Евгений Багратионович (1883—1922) — режиссер, актер МХТ; с 1913 г. руководил Студенческой драматической студией, выросшей в театр (с 1926 г.— Театр имени Вахтангова).

Велигорская А. М.— см. *Андреева А. М.*

Велизарий (Велисарий; ок. 504—565) — византийский полководец.

Вересаев (наст. фам. Смидович) *Викентий Викентьевич* (1867—1945) — прозаик, литературовед, поэт-переводчик; автор «Воспоминаний» (1936).

Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.) — римский поэт; автор героического эпоса «Энеида» о странствиях троянца Энея — высшего достижения римской классической поэзии.

Вертинский Александр Николаевич (1889—1957) — композитор, поэт, популярный эстрадный певец с изысканно-интимной исполнительской манерой. С 1919 до 1943 г.— в эмиграции.

Верхарн Эмиль (1855—1916) — бельгийский поэт-символист, драматург, критик.

Верховский Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, переводчик, историк литературы.

Виктор Эммануил II (1829—1878) — первый король объединенной Италии с 1861 г.

Вилламовиц-Меллендорф Ульрих (1848—1931) — немецкий филолог и историк античности.

Виппер Борис Робертович (1888—1967) — историк искусства, музейный деятель.

Витторино да Фельтре (1378—1446) — итальянский педагог, основатель светского учебного заведения нового типа, дававшего классическое образование.

Вишневский Александр Леонидович (1861—1943) — один из основных артистов МХТ (с 1898 г.).

Вишняк Марк Вениаминович (1883—1975) — политический деятель, публицист, журналист, юрист, эсер. Один из ведущих руководителей главного журнала эмиграции в Париже — «Современные записки» (1920—1940) и журнала «Русские записки» (1937—1939).

Вогюэ Эжен Мелькиор де (1848—1910) — французский прозаик, драматург, литературовед; автор книг и статей о русской литературе.

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) — театральный и художественный критик (возглавлял отдел в парижской газете «Последние новости»), прозаик, литературовед, мемуарист; театральный педагог. Автор двухтомника «Мои воспоминания» (Берлин, 1923—24; М., 1992) и книги философских очерков «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего и вечного» (Берлин, 1924), посвященного М. И. Цветаевой. В эмиграции с 1921.

Волконская Зинаида Александровна, княгиня, урожд. княжна Белосельская-Белозерская (1789—1862) — поэт, прозаик, музыкант; устроительница просветительских обществ в Москве, хозяйка литературного салона, который посещали В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Д. В. Веневитинов, Е. А. Баратынский, П. А. Вяземский, А. С. Хомяков и др., посвятившие ей восторженные стихотворные послания. С 1829 г. она живет в Риме; ее вилла-музей и здесь стала гостеприимным пристанищем для русских путешественников — Н. В. Гоголя, С. П. Шевырева, М. П. Погодина, художников К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, С. В. Щедрина и многих других.

Волошин (наст. фам. Кириенко-Волошин) *Максимилиан Александрович* (1877—1932) — поэт, критик, художник, переводчик.

Волынский (наст. фам. Флексер) *Аким Львович* (1861—1926) — литературный и балетный критик, историк и теоретик искусства.

Воротников Антоний Павлович (1857—1937) — драматург, беллетрист, переводчик, журналист, режиссер, сценарист. После 1917 г. в эмиграции.

Высоцкий Владимир Александрович — переводчик с польского, друживший с Зайцевым.

Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954) — философ, социолог, критик, публицист, мемуарист. В 1922 г. выслан из России.

Гамсун (наст. фам. Педерсен) *Кнут* (1859—1952) — норвежский классик, Нобелевский лауреат (1920).

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, один из вождей национально-освободительного движения против иностранного господства, за объединение раздробленной Италии.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — прозаик, критик.

Гауптман Герхардт (1862—1946) — немецкий драматург, прозаик, глава немецкого натурализма. Нобелевский лауреат (1912).

Гезель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ, создавший систематическую теорию диалектики.

Гейне Генрих (1797—1856) — классик немецкой поэзии.

Герберштейн Зигмунд фон (1486—1566) — немецкий дипломат, дважды посетивший Россию и издавший «Записки о московитских делах» (1549).

Германова (Красовская) *Мария Николаевна* (1884—1940) — актриса МХТ в 1902—1919 гг.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — писатель, философ.

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк литературы и общественной мысли, философ, публицист, переводчик; инициатор и организатор знаменитого «крамольного» сборника «Вехи» (1909), вызвавшего многолетнюю острую полемику и скорбно отразившегося на судьбах его авторов: в 1922 г. они были высланы из России.

Герье Владимир Иванович (1837—1919) — профсссор всеобщей истории в Московском университете, основатель и руководитель Высших женских курсов в Москве (1872—1905).

Гессен Иосиф Владимирович (1866—1943) — один из лидеров партии кадетов, адвокат, публицист; редактор газеты «Речь» (1906—1917). В эмиграции издал многотомный «Архив русской революции»; один из основателей (вместе с А. И. Каменкой и В. Д. Набоковым) берлинской газеты «Руль» (1920—1931).

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — поэт, прозаик, драматург, философ, основоположник немецкой литературы нового времени.

Гзовская Ольга Владимировна (1889—1962) — актриса Малого и Художественного театров в Москве.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853, по другим сведениям 1855—1935) — журналист, прозаик, поэт; «король репортеров», написавший знаменитые книги «Москва и москвичи» (1926), «Мои скитания» (1928), «Записки москвича» (1931) и др.

Гиппиус Зинаида Николаевна, в замужестве Мережковская (1869—1945) — поэт, критик, прозаик; автор рецензий о книгах Зайцева.

Глаголь (наст. фам. Голоушев) *Сергей Сергеевич* (1855—1920) — врач, художник, публицист, театральный критик. Автор книг «Художественная галерея Третьяковых», «И. И. Левитан, его жизнь и творчество», «Очерки по истории искусства в России» и др. «Душа» кружка «Среда». «Жизнь его была полет сумбурный»,— вспоминал Зайцев.

Головин Федор Александрович (1867 — после 1929) — земский деятель, один из основателей партии кадетов; председатель 2-й Государственной Думы. В 1917 г.— комиссар Временного правительства.

Гольдони Карло (1707—1793) — классик итальянской драматургии.

Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — публицист, критик, ученый; с 1885 г. фактический редактор журнала «Русская мысль».

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт, прозаик, драматург, переводчик.

Горская (наст. фам. Гривцова) *Антонина Алексеевна,* урожд. Подерни (1893—1972) — поэт, критик, литературовед, мемуаристка. С 1922 г. в Париже.

Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868—1936).

Гославский Евгений Петрович (1861—1917) — прозаик, драматург, поэт; участник «Сред».

Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — историк, специалист по античной и средневековой Италии; профессор Высших женских курсов («бестужевских») и Петербургского университета.

Греч Вера Мильтиадовна (1893—1974) — артистка МХАТа.

Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956) — композитор, автор духовных сочинений. С 1925 г. за границей.

Гржебин Зиновий Исаевич (1877—1929) — издатель, художник-график; один из основателей петербургского издательства и альманаха «Шиповник» (1906—1918) и Издательства З. И. Гржебина в Берлине, в которых печатались многие произведения и книги Зайцева, в том числе его собрание сочинений.

Грифцов Борис Александрович (1885—1950) — критик, искусствовед, литературовед, переводчик.

Грузинский Алексей Евгеньевич (1858—1930) — филолог, переводчик, педагог. С 1886 г. преподавал на Высших курсах *Герье* (см.), в Московской консерватории; с 1911 г.— профессор Московского университета.

Гуковский Александр Исаевич (1865—1925) — юрист, публицист, эсер; сотрудник журнала «Современные записки» в 1920—1925 гг. Покончил с собой.

Гумилев Николай Степанович (1886—1921) — поэт, критик, переводчик; один из ведущих акмеистов. Осенью 1920 г. был вовлечен в так называемый «таганцевский заговор» (см. *В. Н. Таганцев*) и 24 августа 1921 г. приговорен к расстрелу.

Гусаков Андрей Георгиевич — профессор Петербургского политехнического института, друживший с Муромцевыми, а также с И. А. и В. Н. Буниными.

Гучков Николай Иванович (1860—?) — в 1905—1913 гг. московский городской голова; один из директоров чайной фирмы Боткиных, председатель Русско-американской торговой палаты.

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920) — юрист; председатель окружного суда в Москве, председатель театрально-литературного комитета.

Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка; автор шедевра мировой литературы — поэмы «Божественная Комедия» (Зайцев перевел ее первую часть — «Ад»).

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869) — композитор, один из основателей русской классической музыкальной школы.

Демидов Игорь Платонович (1873—1947) — член 4-й Государственной Думы; в Париже — один из ведущих сотрудников газеты П. Н. Милюкова «Последние новости», в которой до 1927 г. работал и Зайцев.

Дени Морис (1870—1943) — французский живописец-модернист, театральный декоратор и книжный иллюстратор, теоретик искусства.

Денисевич А. И. — см. *Андреева А. И.*

Дживелегов Алексей Карпович (1875—1952) — литературовед, театровед; автор трудов по искусству и литературе эпохи Возрождения.

Джолитти Джованни (1842—1928) — итальянский государственный деятель; в 1892—1921 (с перерывами) — премьер-министр Италии.

Джулио Романо (собств. Джулио Пиппи; 1492 или 1499—1546) — итальянский архитектор и живописец; ученик Рафаэля.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926) — партийный и государственный деятель; с 1917 г. председатель ВЧК и нарком внутренних дел в 1919—1923 гг.; с 1924 г. председатель ВСНХ СССР.

Диесперов (Диэсперов) *Александр Федорович* (1883 — не ранее 1931) — поэт, критик, историк литературы.

Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — график, живописец, театральный художник; оформитель спектаклей, книг (в том числе Зайцева) и журналов «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон».

Доменикино (собств. Доменико Цампьера; 1581—1641) — итальянский живописец болонской школы.

Дон Аминадо (наст. имя и фам. Аминад Петрович Шполянский; 1888—1957) — поэт, сатирик, мемуарист.

Донателло (собств. Донатоди Никколо ди Бетто Барди; ок. 1386—1466) — скульптор, представитель флорентийского Раннего Возрождения.

Дункан Айседора (1877—1927) — американская танцовщица, много раз гастролировавшая в России; вторая жена С. А. Есенина (с 1922 г.).

Д'Эсте Изабелла (1474—1539) — супруга Франческо II Гонзага.

Евлогий (в миру Василий Семенович Георгиевский; 1868—1946) — в 1921—1946 гг. митрополит Западноевропейских Русских Церквей.

Евреинов Николай Николаевич (1879—1953) — режиссер, драматург, историк и теоретик театра; один из создателей знаменитых пародийных театров «Кривое зеркало» (1910—1916), «Летучая мышь» и др.

Елизавета Урбинская (1471—?) — жена герцога Гвидобальдо Монтефельтро, покровительствовавшая искусствам.

Ельяшевич Василий Борисович (1875—1956) — правовед, историк, экономист; в эмиграции — профессор гражданского права Парижского университета.

Ельяшевич Ирина Васильевна — дочь В. Б. и Ф. О. Ельяшевичей.

Ельяшевич Фаина Осиповна — жена В. Б. Ельяшевича. В имениях Ельяшевичей, в Ла-Пюжетт и в Бюсси-ан-От, гостили Зайцевы летом 1925, 1926, 1940—1943 гг. Дом и все владение в Бюсси-ан-От профессор Ельяшевич впоследствии подарил русским монахиням — «в память покойной жены» (Зайцев); ныне это православный монастырь Покрова Божией Матери.

Есенин Сергей Александрович (1895—1925).

Жилкин Иван Васильевич (1874—1958) — журналист, прозаик, общественный деятель.

Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1868—1943) — издатель журналов «Новый путь» (1903—1904) и «Вопросы жизни» (1904—1905), переводчик философской литературы.

Зайцев Кирилл Иосифович, архимандрит Константин (1887—1975) — богослов, литературовед, историк, критик, публицист. С 1920 г. в эмиграции.

Зайцев Константин Николаевич (1849—1919) — отец Б. К. Зайцева; инженер, видный деятель промышленности, управлявший крупнейшими предприятиями Центральной России. В последние двадцать лет возглавлял в Москве металлургический завод Гужона (ныне «Серп и молот»).

Зайцева Надежда Константиновна, в замужестве Донзель (1878—1959) — сестра Б. К. Зайцева; ее муж Морис Донзель перевел на французский язык роман Зайцева «Золотой узор».

Зайцева Татьяна Васильевна, урожд. Рыбалкина (1844—1927) — мать писателя.

Зайцева Татьяна Константиновна, в замужестве Буйневич (1875—1936) — сестра Б. К. Зайцева.

Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — революционерка-террористка, покушавшаяся на жизнь петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова.

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — публицист, прозаик, мемуарист; член ЦК партии эсеров. С января 1919 г. в Париже, соредактор журналов «Современные записки» и «Воля России».

Зёрнов Николай Михайлович (1898—1980) — философ, богослов, литературовед; автор многих книг, в том числе — «Три русских пророка: Хомяков. Достоевский. Соловьев» (1944). В 1925—1929 гг. первый редактор журнала «Вестник Русского христианского студенческого движения».

Зимин Сергей Иванович (1875—1942) — театральный деятель, ме-

ценат; основал в 1904 г. частный Оперный театр Зимина в Москве и привлек к подготовке спектаклей первоклассных режиссеров, дирижеров, певцов, художников. После 1917 г.— художественный консультант МХАТа и Большого театра в Москве.

Зиновьева-Аннибал (наст. фам. Зиновьева) *Лидия Дмитриевна* (1866, по др. сведениям 1865—1907) — прозаик, драматург, хозяйка литературного салона; жена Вяч. И. Иванова.

Злобин Владимир Ананьевич (1894—1967) — поэт, критик, публицист, мемуарист; с 1919 г. литературный секретарь З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского, секретарь литературного кружка «Зеленая лампа» (1927—1939).

Зощенко Михаил Михайлович (1894, по др. сведениям 1895—1958) — прозаик, драматург. Подвергся гонениям вместе с Ахматовой: в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946) был оскорбительно назван «пошляком и подонком литературы», изображающим «советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме».

Зуров Леонид Федорович (1902—1971) — прозаик; с 1929 г.— личный секретарь и наследник архивов И. А. Бунина.

Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский писатель; классик мировой драматургии.

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, драматург, филолог-классик, критик, теоретик символизма.

Иванов Петр Константинович — литератор, мистик, общавшийся в начале века с И. А. Буниным.

Игумнов Константин Николаевич (1873—1948) — пианист, педагог; профессор Московской консерватории (с 1899), в 1924—1929 гг.— ее ректор.

Ильин Иван Александрович (1883—1954) — философ, правовед, культуролог, публицист, критик. Автор многих трудов, издающихся ныне издательством «Русская книга» (вышло 13 томов).

Ильнарская (наст. фам. Ильинская) *В. Н.* (1877 — конец 1920-х) — актриса театра *Корша* (см.).

Иннокентий VIII (Джованни Баттиста Чибо) — папа римский в 1484—1492 гг., прославившийся незаконнорожденным потомством и тем, что ввел законы против колдунов и ведьм.

Казаков Юрий Павлович (1927—1982) — прозаик. Весной 1967 г. встречался в Париже с Зайцевым (запись их беседы опубликована в «Новом мире». 1990. № 7).

Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский писа-

тель; автор знаменитых «Мемуаров» (т. 1—12) о своих любовных и авантюрных приключениях.

Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681) — крупнейший испанский драматург, создавший более 400 пьес разных жанров, в том числе 120 комедий.

Каменев Лев Борисович (1883—1936) — большевик, занимавший высокие посты в СССР; репрессирован Сталиным. В одни годы с Зайцевым учился на юридическом факультете Московского университета.

Каменский Анатолий Павлович (1876—1941) — прозаик, драматург, киносценарист; один из лидеров (вместе с М. П. Арцыбашевым) «эротического» течения в литературе Серебряного века. В 1930 г. эмигрировал, но через пять лет вернулся и в 1937 г. был арестован. Погиб в Ухтижемлаге.

Кант Иммануил (1724—1804) — родоначальник немецкой классической философии.

Капабланка Хосе Рауль (1888—1942) — кубинский шахматист, дипломат, шахматный литератор; чемпион мира в 1921—1927 гг.

Карзинкин Александр Андреевич (186?—1932) — один из совладельцев торгово-промышленного т-ва Ярославской Большой мануфактуры. Был также членом Художественного совета Третьяковской галереи. Участвовал в издании книг И. А. Бунина. Брат жены *В. Д. Телешова* (см.). Дружил с А. В. Орешниковым, отцом *В. А. Зайцевой-Орешниковой* (см.).

Карл Смелый, граф Шароле (1433—1477) — герцог Бургундии, возглавивший мятеж феодалов против французского короля Людовика XI; погиб в битве при Нанси.

Карраччи Аннибале (1560—1609) — итальянский художник болонской школы; один из основателей (вместе с братьями) «Академии вступивших на правильный путь» (ок. 1585), проповедовавшей академизм в искусстве.

Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — богослов, историк церкви; в 1917 г. обер-прокурор Святейшего Синода. После октябрьского переворота был арестован; в январе 1919 г. бежал за границу. С 1925 по 1960 г.— один из основателей и профессор Свято-Сергиевского Богословского института в Париже. Автор многих богословских трудов.

Каспирович Ян (1860—1926) — польский поэт-символист, филолог, переводчик.

Кастильоне Балдассарре (1478—1529) — итальянский поэт, прозаик; автор трактата в 4 книгах «Придворный», переведенного на русский язык другом Зайцева П. П. Муратовым.

Катаев Валентин Петрович (1897—1986) — прозаик, драматург, сценарист.

Катулл Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до н. э.) — римский поэт.

Качалов (наст. фам. Шверубович) *Василий Иванович* (1875—1948) — актер МХТ с 1900 г.

Киссин С. В.— см. *Муни.*

Киприан, архимандрит (в миру Керн Константин Эдуардович; 1899—1960) — в 1936—1960 гг. профессор Богословского института в Париже.

Кишкин Николай Михайлович (1864—1930) — врач, один из лидеров партии кадетов; в 1917 г.— министр Временного правительства.

Клёстов Николай Семенович (псевд. Ангарский; 1873—1941) — журналист, редактор-издатель, критик, мемуарист; один из инициаторов «Издательства товарищества писателей» в Петербурге (1911) и «Книгоиздательства писателей в Москве» (1912).

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — историк, крупнейший представитель русской историографии.

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959) — актриса МХТ с 1898 г.; жена А. П. Чехова и первая исполнительница ролей в его пьесах.

Коган Петр Семенович (1872—1932) — историк литературы, критик, переводчик; автор известных многотомников «Очерки по истории западноевропейской литературы» (1903—1910) и «Очерки по истории новейшей русской литературы» (1908—1911), где одна из лучших глав посвящена Б. К. Зайцеву.

Кодрянская Наталья Владимировна, урожденная фон Гернгросс (1901—1983) — детская писательница, литературовед, мемуаристка; автор книг «Алексей Ремизов» (Париж, 1959) и «Ремизов в своих письмах» (Париж, 1977).

Кожевников Валентин Алексеевич (1867—1931) — инженер-путеец, редактор-издатель журнала «Правда» (1904—1906), газеты «Книговедение» и при ней еженедельника литературы и искусства «Зори» (1906).

Кожевников Петр Алексеевич (1872—1933) — прозаик, археограф.

Койранский Александр Арнольдович (1884—1968) — поэт, художник, литературный, художественный и театральный критик. Брат Б. А. и Г. А. Койранских.

Койранский Борис Арнольдович (1882—1920) — поэт, журналист, адвокат.

Койранский Генрих Арнольдович (1883—?) — врач, литератор, публиковавшийся под псевдонимом «Г. Тверской».

Кокошкин Федор Федорович (1871—1918) — юрист, публицист, лидер партии конституционных демократов (кадетов). Убит матросами-анархистами.

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — поэт.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — актриса; в 1904 г.

в Александринском театре создала свой театр символистской ориентации.

Комиссаржевская Е. А.— см. *Балиева.*

Комнины — династия византийских императоров в 1081—1185 гг.

Коненков Сергей Тимофеевич (1888—1954) — скульптор.

Копельман Соломон Юльевич (1881—1944) — основатель (вместе с *З. И. Гржебиным* — см.) и главный редактор издательства «Шиповник» (1906—1918), в одноименных альманахах которого печатался Зайцев.

Коровин Константин Алексеевич (1869—1939) — живописец, театральный художник.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — прозаик, публицист; с 1895 г. соредактор петербургского журнала «Русское богатство».

Корш Федор Адамович (1852—1932) — драматург, переводчик, владелец популярного театра в Москве.

Кранах Лукас Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график.

Крандиевская-Толстая Наталия Васильевна (1888—1963) — поэтесса. В 1915—1935 гг.— жена А. Н. Толстого.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — публицист, мемуарист; теоретик утопического социализма и международного анархизма; географ, геолог, историк, биолог. Автор знаменитых книг «Дневник» и «Записки революционера».

Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936) — поэт, прозаик, критик, драматург, переводчик, композитор.

Кузнецова Галина Николаевна (1900—1976) — поэт, прозаик, мемуарист; с 1927 по 1942 г. жила в Грассе в семье И. А. Бунина. Автор книги воспоминаний «Грасский дневник» (1967).

Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1886—1959) — юрист, историк; в эмиграции католический священник. Первый муж *Е. Ю. Кузьминой-Караваевой* (см.).

Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко, по второму мужу Скобцова, в монашестве мать Мария) *Елизавета Юрьевна* (1891—1945) — поэтесса, прозаик, публицистка; с 1920 г. в эмиграции. Казнена в газовой камере гитлеровского концлагеря Равенсбрюк как участница движения Сопротивления.

Кульман Николай Карлович (1871—1940) — филолог, критик, публицист; профессор, декан русского отделения при Сорбонне; сотрудничал в журнале «Современные записки».

Куприн Александр Иванович (1870—1938) — прозаик, публицист, критик. С 1919 г. в эмиграции; в конце мая 1937 г. вернулся в СССР.

Курсинский Александр Антонович (1873—1919) — поэт.

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — публицист, идеолог

«экономизма»; после 1917 г. работала в Комиссии помощи голодающим при ВЦИК. В 1922 г. выслана из России.

Кустодиев Борис Михайлович (1878—1927) — живописец, график и театральный художник.

Кутлер Николай Николаевич (1859—1924) — юрист, политический деятель; один из лидеров партии кадетов.

Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1932) — прозаик, поэт; автор мемуаров «Дни и встречи» (1917), «За рубежом» (1930). В эмиграции с 1919 г. Зайцев посвятил его памяти очерк «Старый барин» (Возрождение. 1932. 30 янв.).

Лалу Рене — французский критик, принимавший участие в публичных литературных дискуссиях русских эмигрантов в 1920—1930-х годах.

Лансере Евгений Евгеньевич (1875—1946) — график и живописец, иллюстратор книг и журналов; входил в объединение «Мир искусства».

Левитан Исаак Ильич (1860—1900) — живописец, творчество которого составило эпоху в развитии русской пейзажной живописи.

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — философ, прозаик, литературовед, публицист. В берлинской газете «Дни» 4 апреля 1926 г. Зайцев опубликовал о нем статью «Константин Леонтьев» (размышление о книге Н. А. Бердяева «Константин Леонтьев»).

Лесков Николай Семенович (1831—1895) — прозаик, публицист.

Лидин Владимир Германович (1894—1979) — прозаик, библиофил.

Лилина (наст. фам. Перевощикова) *Мария Петровна* (1866—1943) — любимая актриса А. П. Чехова в МХТ; с 1889 г.— жена К. С. Станиславского (ей он посвятил свою книгу «Работа актера над собой»: «Посвящаю свой труд моей лучшей ученице, любимой артистке и неизменно преданной помощнице во всех моих театральных исканиях»).

Лирондель Андре — английский славист, переводчик и издатель русской литературы; профессор Лилльского университета.

Литвинов Максим Максимович (наст. фам. и имя Валлах Макс; 1876—1951) — с 1918 г. дипломат; в 1930—1939 гг. нарком иностранных дел СССР.

Ло Гатто Этторе (1890—1983) — итальянский славист, друживший с Зайцевым и др. писателями русского зарубежья; автор семитомной «Истории русской литературы» и мемуаров «Мои встречи с Россией» (М., 1992).

Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955) — поэт, переводчик «Божественной комедии» Данте, произведений Шекспира, Мольера и др.

Лоло (Lolo; наст. имя и фам. Леонид Григорьевич Мунштейн;

1866/67—1947) — поэт-фельетонист, драматург, театральный критик, переводчик, издатель.

Лонгфелло Генри Уодсуорт (1897—1882) — американский поэт, прозаик; автор поэмы «Песнь о Гайавате», переведенной на русский язык И. А. Буниным.

Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — философ, психолог; профессор Московского университета, редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

Лопатина (псевд. К. Ельцова) *Екатерина Михайловна* (1865—1935) — прозаик; сестра Л. М. Лопатина. После 1917 г. в эмиграции во Франции.

Лужский (наст. фам. Калужский) *Василий Васильевич* (1869—1931) — артист МХТ, режиссер, педагог.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — критик, публицист, драматург; с 1917 г. нарком просвещения.

Львов-Рогачевский (наст. фам. Рогачевский) *Василий Львович* (1873/74—1930) — критик, публицист; автор книги «Новейшая русская литература» (1919; с главой о Зайцеве), выдержавшей семь изданий.

Мазон Андре (1881—1967) — французский филолог-славист; исследователь русской классической и древнерусской литературы и славянских языков.

Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) — юрист, публицист; один из лидеров кадетов. С августа 1917 г. посол России во Франции (оставался им без аккредитации до 1924 г.).

Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — поэт, критик, искусствовед, мемуарист, издатель. Один из основателей и редакторов журналов «Старые годы» (1907—1915) и «Аполлон» (1909—1917). В эмиграции с 1920 г.; в 1926—1932 гг. заведовал литературно-художественным отделом парижской газеты «Возрождение». Автор мемуарных книг «Портреты современников» (1955) и «На Парнасе Серебряного века» (1962).

Мамонтов Савва Иванович (1841—1918) — предприниматель, меценат, театральный деятель, режиссер, либреттист, переводчик. В своем подмосковном имении Абрамцево в 1870—1890 гг. Мамонтов открыл мастерские для художников, где работали В. М. Васнецов, И. Е. Репин, В. Д. и Е. Д. Поленовы, В. А. Серов, М. А. Врубель, К. А. Коровин, М. В. Нестеров. В 1885 г. основал Московскую частную русскую оперу, сыгравшую новаторскую роль в совершенствовании русского музыкального театра.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938) — поэт; погиб в сталинских лагерях.

Мантенья Андреа (1431—1506) — итальянский живописец и гравер эпохи Раннего Возрождения.

Мартини Симоне (1285—1344) — итальянский живописец сиенской школы.

Матусевич Иосиф Александрович (1879 — не ранее 1940) — прозаик, драматург; в 1917-м — один из организаторов московского издательства «Северные дни», в котором вышла книга Зайцева «Грех». В 1922-м выслан из России.

Мать Мария — см. *Кузьмина-Караваева.*

Мачтет Григорий Александрович (1852—1901) — прозаик, поэт.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — режиссер-новатор, актер МХТ (с 1898), театральный деятель. Необоснованно репрессирован.

Мельгунов Сергей Петрович (1879—1956) — историк, публицист, издатель, мемуарист. С 1922 г.— в эмиграции. Автор книг: «Красный террор в России. 1918—1923» (Берлин, 1923), «Трагедия адмирала Колчака» (т. 1—3, 1930—1931), «На путях к дворцовому перевороту» (1931), «Как большевики захватили власть» (1939), «Судьба императора Николая II после отречения» (1951) и др.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — прозаик, поэт, драматург, литературовед, философ, публицист, критик, переводчик; теоретик и один из вождей русских символистов. С 1919 г.— в эмиграции.

Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт-символист, критик; автор шедевра мировой драматургии — драмы «Синяя птица», впервые поставленной в 1908 г. на сцене МХТ. Лауреат Нобелевской премии (1911).

Мечев А. А. (ок. 1860—1923) — отец Алексей, священник церкви св. Николая в Клепиках на Маросейке в Москве.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт; крупнейший представитель Высокого Возрождения.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, политический деятель; один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г.); министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В Париже — председатель Союза русских писателей и журналистов (1922—1943; его сменил на этом посту Зайцев), редактор влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости», с которой до 1927 г. сотрудничал Зайцев.

Минский (наст. фам. Виленкин) *Николай Максимович* (1855—1937) — поэт, философ, публицист, драматург, переводчик.

Минь Жан-Поль (1800—1875) — французский аббат, издававший богословские энциклопедии и труды.

Мирбах Вильгельм (1871—1918) — с апреля 1918 г. германский посол в Москве; убит левым эсером *Я. Г. Блюмкиным*.

Михайлов Николай Федорович (1849—1915) — врач по профессии, с 1895 г. редактор и издатель научно-популярного педагогического журнала «Вестник воспитания» (1890—1916), в котором фактическим редактором был *Ю. А. Бунин* (см.).

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — публицист, социолог, критик, теоретик народничества. В 1892—1904 гг.— редактор журнала «Русское богатство».

Моммзен Теодор (1817—1903) — немецкий историк; главный труд — «Римская история». Нобелевский лауреат (1902).

Монтень Мишель де (1533—1592) — французский философ и писатель; автор книги философской эссеистики «Опыты» (1598).

Монтефельтро Гвидобальдо (1472—1508) — герцог Урбино, покровительствовавший литературному обществу при своем дворе; сын знаменитого *Федериго да Монтефельтро* (см.).

Монтефельтро Федериго да (Федериго III; 1422—1482) — герцог Урбино, кондотьер, дипломат, покровитель искусств.

Москвин Иван Михайлович (1874—1946) — актер МХТ (с 1898 г.).

Мочульский Константин Васильевич (1892—1950) — историк литературы, критик. С 1919 г. в эмиграции. Автор очерка «Б. К. Зайцев» (1926) и книг «Владимир Соловьев. Жизнь и учение» (1932), «Духовный путь Гоголя» (1934), «Достоевский. Жизнь и творчество» (1947), «Александр Блок» (1948), «Андрей Белый» (с предисловием Зайцева; 1955), «Валерий Брюсов» (1962).

Мошнин Константин Васильевич — преподаватель механики в Александровском военном училище, которое окончил в 1917 г. Зайцев.

Муни (наст. имя и фам. Самуил Викторович Киссин; 1888—1916) — поэт. Застрелился в Минске, где находился на военной службе. Близкий друг В. Ф. Ходасевича, написавшего о нем мемуарный очерк (в книге «Некрополь»).

Мунштейн Л. Г.— см. *Лоло*.

Муратов Павел Павлович (1881—1950) — искусствовед, историк, прозаик, литературный и художественный критик, драматург, публицист, переводчик. Автор неоднократно издававшейся книги «Образы Италии», посвященной Зайцеву, с которым Муратов дружил с начала века.

Муромцев Николай Андреевич (1852—1933) — член Московской городской управы; отец В. Н. Муромцевой-Буниной.

Муромцев Павел Николаевич — врач; брат В. Н. Буниной-Муромцевой.

Муромцева Вера Николаевна — см. *Бунина В. Н.*

Муссолини Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор Италии в 1922—1943 гг.

Набоков Владимир Владимирович (псевд. Сирин; 1899—1977) — прозаик, поэт, драматург, критик, переводчик.

Найденов (наст. фам. Алексеев) *Сергей Александрович* (1868—1922) — драматург; автор популярной пьесы «Дети Ванюшина».

Нансен Фритьоф (1861—1930) — норвежский исследователь Арктики; в 1920—1921 гг.— верховный комиссар Лиги Наций по делам военнопленных, один из организаторов помощи голодающим Поволжья в 1921 г.

Нарбут Владимир Иванович (1885—1938) — поэт. Погиб в сталинском ГУЛАГе.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/45—1936) — прозаик, поэт, публицист; брат Вл. И. Немировича-Данченко. С 1921 г. в эмиграции.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943) — режиссер, драматург, прозаик, критик; основатель (вместе с К. С. Станиславским) МХТ; реформатор театра.

Нижинский Вацлав Фомич (1889—1950) — артист балета, балетмейстер; с 1911 г. за границей.

Новиков Иван Алексеевич (1877—1959) — поэт, прозаик, драматург, эссеист; один из ближайших друзей Зайцева в 1910-е годы (прототип Христофорова из его повести «Голубая звезда» и рассказа «Странное путешествие»).

Олеарий (Адам Эльшлегер; 1603—1671) — немецкий путешественник; был в России в 30-е годы XVII в. и написал книгу «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» (1647).

Оловяшникова — см. *Балтрушайтис М. И.*

Орешников Алексей Васильевич (1855—1933) — историк, нумизмат и сфрагист; с 1883 г.— в Историческом музее в Москве. Отец жены Б. К. Зайцева Веры Алексеевны.

Орешникова Елена Дмитриевна (?—1934) — мать В. А. Зайцевой.

Осоргин (наст. фам. Ильин) *Михаил Андреевич* (1878—1942) — прозаик, публицист, критик, переводчик, мемуарист. С 1906 по 1916 г.— корреспондент московской газеты «Русские ведомости» и журнала «Вестник Европы» в Италии. В 1921 г. по просьбе Е. Б. Вахтангова перевел в стихах пьесу Карло Гоцци «Принцесса Турандот», которая принесла славу и ему, и режиссеру, и театру. В 1922 г. выслан из России.

Осоргина Рахиль Григорьевна — первая жена М. А. Осоргина.

Осоргина (Бакунина) *Татьяна Алексеевна* (1904—1995) — историк, библиограф; редактор библиографии Б. К. Зайцева (сост. Рене Герра). Третья жена М. А. Осоргина.

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — классик русской драматургии.

Остроухов Илья Семенович (1858—1929) — живописец-передвижник; собиратель русских икон, руководитель и попечитель Третьяковской галереи в 1898—1913 гг.

Отрепьев Григорий Борисович (Лжедмитрий I; ?—1696).

Оттокар Николай Петрович (1884—1957) — историк; автор трудов о средневековой Италии.

Оцуп Николай Авдеевич (1894—1958) — поэт, критик, прозаик, драматург, литературовед, мемуарист. В эмиграции с августа 1922 г.

Патер Уолтер (1839—1894) — английский прозаик и критик; автор сборника новелл «Воображаемые портреты», изданного в России в переводе П. П. Муратова в 1908 г.

Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик, философ, писатель; автор знаменитой книги философской эссеистики «Мысли Паскаля о религии и некоторых других вопросах».

Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) — поэт, прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской премии (1960). Был знаком и дружески переписывался с начала 1920-х годов с Зайцевым, написавшим о Пастернаке более десяти статей, очерков, заметок.

Пастернак Леонид Осипович (1862—1945) — живописец, книжный график, иллюстрировавший произведения Л. Н. Толстого. Один из учредителей Союза русских художников. С 1921 г. в эмиграции. Отец Б. Л. Пастернака.

Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968) — как и Зайцев, поэт прозы. 24 декабря 1962 г. Паустовский, будучи в Париже, побывал у Зайцева в гостях.

Первухин Константин Константинович (1863—1915) — живописец, график, педагог.

Перский Роберт Давидович — кинопредприниматель с 1906 г.; издатель журналов «живой фотографии» — «Кинемо» (1909) и «Кинежурнал» (1910). После 1917 г. в эмиграции.

Петрарка Франческо (1304—1374) — итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения; автор лирического дневника «Канцоньере» («Книга песен») — сборника сонетов, канцон, секстин, баллад, мадригалов на жизнь и смерть своей возлюбленной Лауры.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878—1939) — живописец.

Петровская Нина Ивановна (1884—1928) — прозаик, критик, переводчица; первая жена *С. А. Соколова* (см.). Покончила с собой в эмиграции в Берлине.

Пешкова Екатерина Павловна (1876—1965) — первая жена М. Горького (с 1896 г.). После переворота 1917 г. возглавляла Московский политический Красный Крест, через который Горький пытался спасать (некоторых спасал) безвинно осужденных.

Пизанелло (собств. Антонио ди Пуччо ди Черрето; 1395—1455) — живописец, рисовальщик и медальер эпохи Раннего Ренессанса.

Пильняк (наст. фам. Вогау) *Борис Андреевич* (1894—1938) — прозаик, ставший жертвой сталинских репрессий.

Пиранделло Луиджи (1867—1936) — итальянский поэт, прозаик, драматург.

Пиранези Джованни Баттиста (1720—1778) — итальянский гравер и архитектор.

Плевако Федор Никифорович (1842—1908) — юрист, адвокат.

Плевицкая Надежда Васильевна (1884 — предполож. 1941) — эстрадная певица (меццо-сопрано); исполнительница русских народных (главным образом городских) песен. После 1920 г. в эмиграции.

По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский поэт, прозаик, критик; зачинатель детективного жанра в мировой литературе.

Поздняков (Позняков) *Николай Степанович* — московский богач-меценат, руководитель студии танца.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) — художник-передвижник; мастер лирического пейзажа.

Полонский (наст. фам. Гусин) *Вячеслав Павлович* (1886—1932) — критик, историк; редактор журналов «Печать и революция» (с 1921 по 1929) и «Новый мир» (с 1926 по 1931), директор Музея изящных искусств (с 1929 по 1932).

Поляков Сергей Александрович (1874—1948) — переводчик; владелец московского издательства «Скорпион» (1900—1916), выпускавшего журнал «Весы» (1904—1909) и альманах «Северные цветы» (пять выпусков в 1900—1904 и 1911 гг.).

Попов Иван Иванович (1862—1942) — журналист, публицист.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — прозаик, драматург.

Правдин Осип Андреевич (наст. имя и фам. Оскар Августович Трейлебен; 1849—1921) — актер Малого театра с 1878 г.

Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — политический деятель; в 1917 г.— министр Временного правительства. В 1922 г. выслан из России.

Пронин Борис Константинович (1875—1946) — актер МХТ и

драматического театра В. Ф. Комиссаржевской; режиссер-распорядитель и основатель знаменитых литературно-артистических театров-кабаре в Петербурге «Дом интермедий» (1910—1911), «Бродячая собака» (1911—1915) и «Привал комедиантов» (1916—1919).

Пруайяр Жаклин де — переводчица, исследовательница и друг Б. Л. Пастернака, переписывавшаяся с ним.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — крупный помещик, ставший лидером «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела»; участник убийства Г. Е. Распутина.

Пшибышевский Станислав (1868—1927) — польский прозаик, драматург.

Пяст (наст. фам. Пестовский) *Владимир Алексеевич* (1886—1940) — поэт, переводчик, стиховед; автор мемуаров «Встречи» и учебника «Современное стиховедение».

Рабенек (Книппер, урожд. Бартельс) *Елена* (Элла) *Ивановна* (1875—?) — танцмейстер.

Рафаэль (собств. Раффаэлло Санти; 1483—1520) — итальянский живописец и архитектор Высокого Возрождения, оказавший огромное воздействие на европейскую живопись.

Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943) — композитор, пианист, дирижер. В конце декабря 1917 г. эмигрировал; жил в основном в Нью-Йорке.

Рейсс (наст. фам. Порецкий) *Игнатий Станиславович* (1899—1937) — советский агент; в организации его убийства (по приказу из Москвы) принял участие С. Я. Эфрон, муж М. И. Цветаевой.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — прозаик, драматург, критик, публицист, переводчик, мемуарист. С 1921 г. в эмиграции. Неизданные письма Ремизова к Зайцеву — в архиве Н. Б. Зайцевой-Соллогуб.

Ремизова-Довгелло Серафима Павловна (1875—1943) — палеограф, жена А. М. Ремизова с 1903 г. Ей писатель посвятил большинство своих книг, а в трилогии «В поле блакитном» (1922), «Оля» (1927), «В розовом блеске» (1952) она — главная героиня (под именем Оля). Письма Ремизова к жене изданы в книге «На вечерней заре» (Рим, 1985). Дочь Ремизовых Наталья, в замужестве Бунич (1904—1943) не уехала с родителями в эмиграцию и жила в России, где у нее в 1928 г. родился сын Б. Б. Бунич-Ремизов.

Ремизова Наталья Алексеевна (1904—1943) — дочь А. М. и С. П. Ремизовых.

Рени Гвидо (1575—1642) — итальянский живописец.

Репин Илья Ефимович (1844—1930) — живописец.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — философ, писатель, критик, публицист.

Роксанова Мария Людомировна (1858—1903) — журналист, театральный критик, входила в состав труппы Художественно-общедоступного театра К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Россолимо Григорий Иванович (1860—1928) — невропатолог и психоневролог, один из основоположников детской неврологии в России; сокурсник и друг А. П. Чехова.

Ростан Эдмон (1868—1918) — французский поэт и драматург; автор героико-романтической комедии «Сирано де Бержерак» (1898).

Рощин (наст. фам. Федоров) *Николай Яковлевич* (1896—1956) — прозаик, журналист. С 1925 до 1940 г. жил в основном в семье И. А. Бунина на вилле «Бельведер». В декабре 1946 г. выслан в СССР французской полицией как давний платный агент советского посольства в Париже (Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж; М., 1996. С. 205).

Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна, урожденная Пашенная (1883—1970) — актриса Малого, Александринского и др. театров; с 1925 г. в Париже. Зайцев — автор мемуарного очерка «О Рощиной-Инсаровой» (газ. «Русская мысль». Париж, 1970. 16 апр.).

Руднев Вадим Викторович (1879—1940) — публицист, издатель; член ЦК партии эсеров. В апреле 1919 г. эмигрировал в Париж. Один из основателей и редакторов журнала «Современные записки».

Рукавишников Иван Сергеевич (1877—1930) — поэт, прозаик, драматург.

Рыбаков Федор Евгеньевич — врач-психиатр; профессор Московского университета.

Рыбакова Любовь Ивановна — художница; сестра Г. И. Чулкова, жена Ф. Е. Рыбакова.

Рындина (наст. фам. Брыкина) *Лидия Дмитриевна* (1883—1964)— актриса; вторая жена *С. А. Соколова* (см.).

Рябушинский Павел Павлович (1871—1924) — промышленник, банкир; в 1915 г. основал и возглавил в Москве Военно-промышленный комитет, член Государственного совета. С 1920 г. в эмиграции.

Северянин Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев; 1887—1941) — поэт.

Седых Андрей (наст. имя и фам. Цвибак Яков Моисеевич; 1902—1994) — журналист, прозаик, критик, мемуарист; автор книги воспоминаний «Далекие, близкие». В 1933 г. стал секретарем И. А. Бунина (в дни получения им Нобелевской премии).

Семашко Николай Александрович (1874—1949) — врач; в 1918—1930 гг. нарком здравоохранения.

Сен-Жюст Луи (1767—1794) — якобинец, стороник М. Робеспьера; казнен термидорианцами.

Серафимович (наст. фам. Попов) *Александр Серафимович* (1863—1949) — прозаик.

Сергеев-Ценский (наст. фам. Сергеев) Сергей Николаевич (1875—1958) — прозаик, драматург, публицист.

Середа Семен Пафнутьевич (1871—1933) — статистик-экономист; в 1918—1921 гг. нарком земледелия РСФСР.

Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец, автор серии портретных образов.

Сизеранн Роберт де ла (1866—1911) — французский писатель, историк, искусствовед; автор серии книг «Маски и лица» об итальянском Ренессансе.

Симонов Константин (Кирилл) *Михайлович* (1915—1979) — поэт, прозаик, драматург, публицист.

Синьорелли Анджело (1877—1952) — итальянский врач, профессор; коллекционер античного искусства. Муж О. И. Синьорелли-Ресневич.

Синьорелли Ольга Ивановна, урожд. Ресневич (1883—1973) — хозяйка литературно-художественного и артистического салона в Риме, в котором бывали Зайцев, Вяч. И. Иванов, П. П. Муратов, М. Горький, К. С. Станиславский, С. П. Дягилев, В. Э. Мейерхольд, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов и др.; переводчица на итальянский Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Блока, Белого и др. Близкий друг великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе, о которой написала книгу, переведенную на многие языки, в том числе на русский (М., 1975).

Сирин — см. *Набоков В. В.*

Скворцов-Степанов Иван Иванович (1870—1928) — деятель КПСС, публицист.

Скрябин Александр Николаевич (1872—1915) — композитор, которому друживший с ним Вяч. И. Иванов посвятил несколько статей и стихотворений.

Словацкий Юлиуш (1809—1849) — польский поэт-романтик.

Смирнова Надежда Александровна (1873—1951) — актриса театра *Корша* (см.) и Малого театра, педагог.

Собинов Леонид Витальевич (1872—1934) — знаменитый лирический тенор Большого театра (с 1897 по 1933 г.).

Соболь Андрей (наст. имя Юлий Михайлович; 1888—1926) — прозаик. Покончил с собой.

Соколов Сергей Александрович (псевдоним Сергей Кречетов; 1873—1936) — поэт, владелец издательства «Гриф», редактор журнала «Перевал».

Соллогуб Андрей Владимирович (1906—1996) — муж дочери Зайцева Натальи Борисовны. Их свадьба состоялась 6 марта 1932 г.

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — прозаик, поэт, драматург, мемуарист.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, поэт, публицист; сын историка С. М. Соловьева.

Сологуб (наст. фам. Тетерников) *Федор Кузьмич* (1863—1927) — поэт, прозаик, драматург, переводчик.

Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н. э.; ему приписывается авторство Песни Песней в Библии.

Солоухин Владимир Алексеевич (1924—1997) — поэт, прозаик.

Сомов Константин Андреевич (1869—1939) — живописец и график; один из активных сотрудников журнала и объединения художников «Мир искусства».

Сорделло — поэт-трубадур XIII в., погибший насильственной смертью; писал на провансальском языке. Как и Вергилий, уроженец Мантуи. В «Божественной Комедии» он проводник Данте и Вергилия по «Чистилищу» (Песнь шестая).

Сорин Г.— см. *Британ И. А.*

Станиславский (наст. фам. Алексеев) *Константин Сергеевич* (1863—1938) — режиссер, актер, педагог, теоретик и реформатор театра; в 1898 г. основал (вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко) Московский Художественный академический театр.

Степун Маргарита Августовна — певица; сестра Ф. А. Степуна, приятельница Г. Н. Кузнецовой (обе жили у Буниных на вилле «Бельведер»).

Степун Федор Августович (1884—1965) — философ, историк и социолог культуры, прозаик, критик; автор двухтомных мемуаров «Бывшее и несбывшееся» (Лондон, 1990). Автор очерка «Борису Константиновичу Зайцеву — к его восьмидесятилетию».

Столица Любовь Никитична, урожд. Ершова (1884—1934) — поэтесса, драматург. С 1920 г. в эмиграции.

Стражев Виктор Иванович (1879—1950) — поэт, прозаик, критик; редактор-издатель еженедельника литературы и искусства «Литературно-художественная неделя» (сентябрь — октябрь 1907, № 1—4).

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — политик, историк, экономист, издатель. Участник сборника «Вехи» (1909), вызвавшего долгую политическую полемику, завершившуюся изгнанием ее авторов из России в 1921 г. Лидер партии кадетов. В эмиграции с 1920 г. С мая 1925 до августа 1927 г. возглавлял парижскую ежедневную газету «Возрождение», затем — еженедельник «Россия».

Суворин Александр Сергеевич (1834—1912) — журналист и издатель;

основал в Петербурге газету «Новое время» (1876) и журнал «Исторический вестник» (1880). На паях с П. П. Гнедичем и П. Д. Ленским организовал в Петербурге частный театр (1895—1917), который с 1912 г. назывался Театром литературно-художественного общества имени А. С. Суворина.

Сургучев Илья Дмитриевич (1881—1956) — прозаик, драматург.

Суриков Василий Иванович (1848—1916) — живописец-передвижник; автор монументальных полотен, отразивших многие остроконфликтные моменты русской истории: «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком» и др.

Таганцев В. Н. (1890—1921) — профессор, руководитель «Союза возрождения России», все члены которого в августе 1921 г. были арестованы и расстреляны (в их числе — поэт Н. С. Гумилев).

Тагор Рабиндранат (1861—1941) — индийский прозаик, поэт, драматург, публицист и общественный деятель.

Талин В. И. — один из псевдонимов Семена Осиповича Португейса (1880—1944), журналиста, публициста. С 1920 г. в эмиграции.

Тарасевич Лев Александрович (1868—1927) — микробиолог и патолог, один из организаторов борьбы с эпидемиями в годы Гражданской войны.

Твардовский Александр Трифонович (1910—1971) — поэт; главный редактор журнала «Новый мир».

Телешов Николай Дмитриевич (1867—1957) — прозаик, мемуарист; основатель литературного кружка «Среда».

Терапиано Юрий Константинович (1892—1980) — поэт, прозаик, критик, переводчик, мемуарист. С 1920 г. в эмиграции. Автор посмертной книги «Литературная жизнь Парижа за полвека. 1924—1974. Эссе, воспоминания, статьи» (сост. Герра Р., Глезер А. Париж; Нью-Йорк, 1987).

Тетмайер (Пшерва-Тетмайер) *Казимеж* (1865—1940) — польский поэт, прозаик.

Тимковский Николай Иванович (1863—1922) — прозаик, драматург.

Титтони Томмазо (1849—?) — итальянский политический деятель; с 1903 г. министр иностранных дел.

Тищенко Федор Федорович (1858—?) — украинский писатель из крестьян, переписывавшийся с Л. Н. Толстым.

Токарский Ардалион Ардалионович (1859—1901) — гипнотерапевт, психиатр, лечивший алкоголизм; приват-доцент Московского университета.

Толстой Алексей Николаевич (1882/83—1945) — прозаик, драматург, поэт, публицист; в 1919—1923 гг. жил в Париже и Берлине.

Трилиссер Меер Абрамович (1883—1938) — большевик-чекист; с 1926 г. зам. пред. ОГПУ. Подвергся репрессии.

Троцкий (наст. фам. Бронштейн) *Лев Давидович* (1879—1940) — политический деятель, один из вождей октябрьского переворота. В 1929 г. выслан за границу и там убит террористом по заданию НКВД.

Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — религиозный философ, правовед, общественный деятель.

Тэффи Надежда Александровна, урожд. Лохвицкая, в замужестве Бучинская (1872—1952) — прозаик, поэт, критик, драматург. С конца 1919 г. в эмиграции в Париже. Близкий друг семьи Зайцевых.

Уайльд Оскар (1854—1900) — английский прозаик, поэт, драматург, эссеист.

Урусов Александр Иванович, князь (1843—1900) — известный в Москве адвокат, переводчик, литературный и художественный критик.

Феррари Гауденцио (ок. 1481—1546) — итальянский живописец, мастер фрески.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — революционерка, участвовала в организации покушения на императора Александра II, за что была приговорена к вечной каторге; 20 лет провела в заключении в Шлиссельбургской крепости. Впоследствии отошла от участия в политической деятельности. Автор двухтомных воспоминаний «Запечатленный труд».

Филарет (в миру Дроздов Василий Михайлович; 1782—1867) — митрополит Московский (с 1826 г.).

Филатов Николай Нилович — врач; сын Н. Ф. Филатова, основоположника педиатрии в России.

Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — публицист, критик; один из организаторов и руководителей Религиозно-философского общества в Петербурге (1907—1917). С 1920 г. в эмиграции в Варшаве; соредактор газет «За свободу!» (1921—1932), «Молва» (1932—1934) и «Меч» (1934—1939).

Флобер Густав (1821—1880) — французский классик.

Фондаминский (Фундаминский; псевд. Бунаков) *Илья Исидорович* (1880—1942) — публицист, общественно-политический деятель; эсер, в 1917 г.— комиссар Временного правительства. С 1919 г. в эмиграции: один из основных учредителей парижского журнала «Современные записки» и объединения «Православное дело» (вместе с *Бердяевым* и *матерью Марией* — см.). Погиб в фашистском концлагере Освенцим.

Фондаминская Амалия Осиповна, урожд. Гавронская (ум. в 1935) — жена И. И. Фондаминского.

Фосколо Никколо Уго (1778—1827) — итальянский писатель, критик и политический деятель; автор статей о Данте, Боккаччо и Петрарке.

Франк Семен Людвигович (1877—1950) — философ, критик. В 1922 г. выслан из России.

Франческо делла Пьеро (1420—1492) — живописец.

Хлебников Велимир (наст. имя Виктор Владимирович; 1885—1922) — поэт; один из зачинателей футуризма.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, прозаик, критик, мемуарист. С 1922 г. в эмиграции.

Хотяинцева Александра Александровна (1865—1902) — художница, знакомая семьи А. П. Чехова. Сохранилось много ее карикатур и дружеских шаржей на Чехова.

Цетлин (Цетлина) *Мария Самойловна,* урожд. Тумаркина (1882—1976) — издатель, общественный деятель. С апреля 1919 г.— в эмиграции; щедро помогала бедствующим во Франции писателям и ученым.

Цетлин Михаил Осипович (псевд. Амари; 1882—1945) — поэт, критик, прозаик, переводчик, издатель, мемуарист. Муж М. С. Цетлин. В 1920—1940 гг.— редактор отдела поэзии в журнале «Современные записки»; в 1942—1945 гг.— один из редакторов-основателей (вместе с женой и М. А. Алдановым) «Нового журнала» в Нью-Йорке. В этом журнале (1946. Кн. 14) Зайцев опубликовал мемуарный очерк «М. О. Цетлин».

Цветаев Иван Владимирович (1848—1913) — основатель (в 1912 г.) и первый директор Музея изящных искусств императора Александра III в Москве (ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина). Отец М. И. Цветаевой.

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941) — поэт, драматург, прозаик.

Цветковская Елена Константиновна (1880—1943) — третья жена К. Д. Бальмонта.

Чеботаревская Александра Николаевна (1869—1925) — переводчица, сестра Ан. Н. Чеботаревской, жены Ф. Сологуба. Покончила с собой.

Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876—1921) — критик, переводчица; жена Ф. Сологуба. Покончила с собой.

Чехов Михаил Александрович (1891—1955) — актер, режиссер, педагог. Племянник А. П. Чехова. С 1928 г. за рубежом.

Чехова Мария Павловна (1863—1957) — мемуаристка, текстолог;

сестра и помощница А. П. Чехова; в 1921—1957 гг.— директор его Дома-музея в Ялте.

Чехова (Морозова) *Евгения Яковлевна* (1835—1919) — мать А. П. Чехова.

Черный Саша (наст. имя и фам. Гликберг Александр Михайлович; 1880—1932) — поэт, сатирик, прозаик, переводчик. С 1918 г.— в эмиграции.

Чириков Евгений Николаевич (1864—1932) — прозаик, драматург, публицист; автор обличительного очерка о Горьком «Смердяков русской революции» (1921). С 1920 г.— в эмиграции.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — прозаик, поэт, критик, философ, мемуарист; автор полемического труда «О мистическом анархизме» (1906) и воспоминаний «Книга странствий» (1930).

Чулкова Надежда Григорьевна, урожд. Степаиова (1874—1961) — мемуарист; жена Г. И. Чулкова.

Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882—1969) — критик, литературовед, историк литературы, детский писатель, переводчик. Автор статей о Б. К. Зайцеве.

Чупров Александр Александрович (1874—1926) — экономист, теоретик статистики; сын А. И. Чупрова.

Чупров Александр Иванович (1842—1908) — экономист, статистик, публицист, общественный деятель.

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — певец, солист Московской частной русской оперы, Большого и Мариинского театров.

Шаховской Дмитрий Алексеевич, архиепископ Иоанн Сан-Францисский (1902—1989) — богослов, поэт (псевд. Странник), критик, философ; переписывался с Б. К. Зайцевым и бывал у него в гостях.

Шелли Перси Биш (1792—1822) — английский поэт-романтик.

Шик Александр Адольфович (?— 1968) — журналист, критик; автор книг о Пушкине, Гоголе, Денисе Давыдове. Умер в Париже.

Шингарёв Андрей Иванович (1869—1918) — врач, публицист, один из лидеров кадетов; в 1917 г. министр Временного правительства. Убит анархистами-матросами.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — прозаик, публицист; с 1922 г.— в эмиграции в Париже.

Шмелева Ольга Александровна, урожд. Охтерлони (1875—1936) — жена И. С. Шмелева.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ.

Шоу Джордж Бернард (1856—1950) — классик английской драматургии.

Штейнер Рудольф (1861—1925) — немецкий философ-мистик, основатель антропософского учения и общества (с 1913), вовлекшего в свои ряды многих последователей, в том числе русских писателей и деятелей культуры.

Штраус Адольф — знаток Данте, брат матери В. А. Зайцевой-Орешниковой.

Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — общественно-политический деятель, прозаик, публицист, мемуарист. С 1920 г. в эмиграции. Автор книг «1920», «Дни», «Три столицы. Путешествие в красную Россию», «Годы» и др.

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — литературовед, историк.

Щепкин Иван Семенович (1788—1863) — до 1822 г. крепостной актер; реформатор театра, основоположник реализма в русском сценическом искусстве.

Эллис (наст. имя и фам. Кобылинский Лев Львович; 1879—1947) — поэт-символист, критик, литературовед, переводчик.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — прозаик, поэт, публицист, мемуарист, общественный деятель.

Эрнст Сергей Ростиславович (1894—1980) — библиофил, искусствовед, изучавший историю современного русского искусства; участвовал в похоронах Зайцева.

Эртель Михаил Александрович (ум. в нач. 1920-х годов) — историк, филолог, теософ; член кружка «аргонавтов».

Эфрон Ариадна Сергеевна (1912—1975) — мемуарист; дочь М. И. Цветаевой, в детстве дружившая с дочерью Зайцева Натальей Борисовной; в тридцатые годы они дружески встречались в Париже. Автор книги «О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери» (М.: Сов. писатель, 1989). В 1937 г. она (первой из семьи) вернулась на родину, но в 1939-м была арестована и на свободу вышла только в 1947-м; в 1949-м арестована вновь. Реабилитирована в 1955-м.

Эфрон Сергей Яковлевич (1893—1941) — журналист, критик, прозаик; в годы гражданской войны — офицер Добровольческой армии, в составе которой в 1920 г. эмигрировал. С 1931 г. сотрудничал с иностранным отделом ОГПУ; с 1934-го — генеральный секретарь парижского Союза возвращения на родину. В 1937-м под чужой фамилией вынужден был бежать в СССР. В 1939 г. арестован и расстрелян.

Эфрос Абрам Маркович (1888—1954) — искусствовед, театровед, критик, переводчик, историк русского искусства.

Эфрос Николай Ефимович (1867—1923) — журналист, театральный критик и историк театра; редактор газеты «Новости дня» (1896—1906);

автор труда «Московский Художественный театр. 1898—1923» (1924) и книг о К. С. Станиславском, В. И. Качалове и др.

Юон Константин Федорович (1875—1958) — живописец.

Юст Гандский (Йос ван Гент; ок. 1435 — после 1475) — живописец, родом из Нидерландов. В конце жизни работал при дворе герцога *Федериго да Монтефельтро* (см.) в Урбино и написал его портрет с сыном.

Юшкевич Семен Соломонович (1869—1927) — прозаик, драматург, публицист. С 1920 г. в эмиграции.

Яблоновский (наст. фам. Потресов) *Сергей Викторович* (1870—1953) — литературный и театральный критик, поэт, переводчик; в 1901—1917 гг. сотрудник газеты «Русское слово». С 1920 г. в эмиграции.

Яковлев (наст. фам. Трифонов-Яковлев) *Александр Степанович* (1886—1953) — прозаик.

Ярошенко Николай Александрович (1846—1898) — живописец-передвижник.

Ярцев Петр Михайлович (1861—1930) — драматург, театральный критик, режиссер; в эмиграции (в Болгарии) с 1922 г.— главный режиссер театра в Пловдиве, режиссер Народного театра в Софии.

СОДЕРЖАНИЕ

ДАЛЕКОЕ

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Собранне сочинений

Том 6 (дополнинтельный)

МОИ СОВРЕМЕННИКИ

Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести

Редактор В. П. Шагалова
Художественный редактор Г. Л. Шацкий
Технический редактор И. И. Павлова
Корректоры Н. Д. Бучарова, А. З. Лазуткина

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96 г.
Подписано в печать 01.12.99. Формат 84×108/32. Бумага писчая. На вкл.— мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. п. л. 29,51 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 30,18 (в т. ч. вкл. 0,03). Тираж 5000 экз. С.— 39. Зак. № 1785. Изд. инд. ЛХ-165.

Издательство «Русская книга» Комитета Российской Федерации по печати.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.
Набрано и отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, Архангельск, Новгородский пр., 32.

